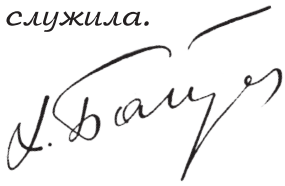
КАРАЧАЕВСКО-БАЛКАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СЕРИЯ «КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА»

ФОНД «ЭЛЬБРУСОИД»



Служи поэзии, моя строка!
Жизнь ей отдать -
моим призваньем было.
Мне б так служить ей, как она века
Достойно человечеству служила.



К 90-летию
со дня рождения
народного поэта
Карачаево-Черкессии
Халимат
Байрамуковой

elbrusoid

Автор проекта А.Х.Тоторкулов

Составители:
Ф.И. Байрамукова, Л.А. Батчаева

Редактор Ф.И. Байрамукова

В сборнике использованы рисунки Николая Крицкого

Печатается решением редакционно-издательского
совета фонда “Эльбрусоид” .

Размещение материалов в сборнике осуществлено с разрешения родных
Эдуарда Токова и Земфиры Кубановой,
правообладателей литературного наследия Х.Б. Байрамуковой

Издательство Фонда «Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» начинает выпуск серии книг «Карачаево-балкарская литературная классика». Открывает ее сборник избранных сочинений известной карачаевской поэтессы и прозаика Халимат Байрамуковой. В него, помимо известных широкому кругу читателей стихов, рассказов и повести «Вечные всадники», вошел роман «Четырнадцать лет», который на русском языке публикуется впервые.

Халимат Байрамукова

«Я спустилась к тебе за огнем»

Поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей с 1939 года Халимат Башчиевна Байрамукова родилась 15 августа 1917 года в горном ауле Хурзук Карачаево-Черкесской республики. Она училась в педагогическом институте. Окончила Литературный институт им. М.Горького и Высшие литературные курсы в Москве.

Халимат Байрамукова – автор 14 поэтических сборников, четырех романов, пяти повестей и многих рассказов, четырех публицистических книг, либретто первой национальной оперы «Последний изгнанник», а также первой карачаевской музыкальной комедии «Бесфамильная невеста»… Её произведения печатались на пятидесяти языках мира.

Первым литературным произведением её была пьеса «Два сердца», изданная в 1939 году. Последующие годы появляются поэтические сборники: «Любимые горы», «Люблю я жизнь», «Исповедь», «Дым очага», «Снова в путь», «Суд аула», «День за днем», «Весенний полдень», «Восьмой день недели», «Одержимость» и другие.

Её перу принадлежат повести: «Семья Карчи», «И плакал сын», «Вечные всадники», романы: «Годы и горы», «Утренняя звезда», «Мёлек», «Четырнадцать лет» и другие.

«Моя жизнь» - так называется последняя книга писательницы, вышедшая в год её смерти 1996 году. Эта автобиографическая книга, плод жизненных наблюдений и размышлений, которая дает глубокое представление о среде, в которой она росла и взрослела.

Халимат Байрамукова работала в школе, в редакции газеты, в книжном издательстве. Больше десяти лет руководила писательской организацией Карачаево-Черкесии.

Литературные заслуги народного поэта Карачаево-Черкесии Халимат Башчиевны Байрамуковой были отмечены правительственными наградами – орденами: «Знак почета», «Дружба народов»; Юбилейной медалью «За доблестный труд». Её имя носит Национальная библиотека Карачаево-Черкесской республики.

«СУДЬБА ПОЭТА – ВСЯ В ЕГО СТИХАХ…»

Халимат Байрамукова. Меня не покидает чувство, что Она всегда с нами! Хотя прошло двенадцать лет, как угас костер её большой и светлой жизни, угас, превратив всё её творчество в литературный памятник Карачая.

Поэт и философ, писатель и мать – она остро переживала все трагедии своего времени и откликалась своими прекрасными, глубокими стихами, философскими размышлениями с самых разных трибун. Её беспокойное сердце билось в ритм с пульсом времени.

Что со мной?! Я снова жду ответа
На вопрос. И вновь тревогу бью …
То ли многого я жду от века,
То ли мало веку отдаю?

Её родной Карачай свое национальное, человеческое достоинство пронес через все невзгоды веков. Своим неравнодушием к добру и злу, к дружбе и вражде, верности и предательству землепашец и пастух, кузнец и храбрый воин становились не только защитниками родной земли, но и певцами, и сказителями. Они в своих песнях, как и в радости и в горе, в любви и в гневе были искренни. И она, дочь сельского плотника Башчы, не лукавила, когда писала:

…Расплескалась жизнь моя с разгона, -
Невозможно было уберечь.
Но когда бы снова чашей полной
Стала жизнь, я так сказала б ей:
Расплещись!
До капли, но запомни:
Никого не обожги! Не смей!

Она много и проникновенно писала о Великой Отечественной войне. Тема войны и мира занимает в её творчестве особое место.

Молодость запахнула в шинель
И плотно шинель застегнула.

С болью и горечью писала о соплеменниках, и о себе, вынужденных покинуть родные горы. Способы и последствия изгнания из родных очагов были изуверскими, а причины и мотивы были окутаны тайной. Этот факт нес в себе нескончаемое бедствие, ибо нет несчастья большего, чем потерять Родину.

…Изныла душа по родимым горам,
сгорела в любви молчаливой...

Прожитое и пережитое убедили её в том, что чувство Родины – ёмче, богаче, притягательнее всех пристрастий и интересов.

Ей всегда было в радость видеть красивые, добрые лица дорогих земляков, кунаков, друзей. Она не могла не радоваться, когда смотрела на двуглавый Эльбрус, когда любовалась полетом орла, когда слушала старинные песни, в которых сохранилась история аулов, уходящая в глубь веков. Она радовалась, что её маленький народ сумел сберечь все сокровенное, что над ним оказались не властны многочисленные войны, революции, репрессии, преследования и выселения. Радовалась тому, что горцы любили свои неприступные скалы, и защищали их, как самое драгоценное …

Она делилась мыслями не только со своим поколением, но и теми, кто вступал в жизнь и теми, кто придет после неё, ибо через сокровенное, родное она говорила об общечеловеческих ценностях. Чувство сопричастности миру и ответственности перед ним и острый нравственный смысл: моя судьба – судьба страны, проявлялось во всем творчестве.

Поэт Кайсын Кулиев, который читал произведения Халимат на родном языке, писал ей: «Ваши стихи подлинны, человечны. В них я чувствую выразительность и хорошую образность. Горская мысль всегда была лаконичной и образной. Вы верны этой не умирающей горской традиции. И во многом именно это верность придает силу и обоняние Вашим стихам. Мое убеждение такое: в прочитанных мною стихах много обаяния, искренности».

Ростовский поэт, один из переводчиков её прекрасных стихов Николай Скребов утверждал: «Прочитанные впервые и перечитанные не раз новые стихи ещё раз убеждают меня в том, что в Вашем лице Северный Кавказ, да и литературная Россия в целом, имеет превосходную, очень самобытную поэтессу. И я рад за карачаевский народ, к которому, как и к балкарскому, питаю особые, вполне понятные Вам чувства симпатии, уважения и солидарности. Рад тому, что у этого народа, издавна стоящего у истоков просвещения своей области, сегодня переживает пору блистательного расцвета такой большой художник, как Вы»…

Её творчество вышло далеко за пределы её родных гор. Её произведения изданы и за рубежом, их читали и на японском, английском, болгарском и на многих других языках. В её творчестве слились воедино национальное и общечеловеческое, лич-

ное и общественное. С ее именем связано становление многих жанров карачаевской литературы: лирической прозы, лирики, стихотворения в прозе, сонета, эссе, этюда, психологического рассказа.

Работая над этой книгой, мы давали себе отчет в том, что показать все грани творчества Халимат Байрамуковой в рамках одного тома, задача неосуществимая. Вместе с тем попытались составить книгу из тех произведений, которые уже при жизни автора стали классикой карачаевской литературы. Книгу открывает раздел поэзии, которую мы назвали строчкой из ее стихотворения «Не шла по жизни стороной...»

Второй раздел составляют рассказы, написанные в разные годы. В них автор рассказывает о женских судьбах, о формировании женских характеров в новых социальных условиях.

Повесть «Вечные всадники», которая вышла на русском языке в переводе самого автора еще в 1984 году, повествует о жизни карачаевского аула в предвоенные годы и первые годы войны. Она составляет третий раздел книги.

Роман «Четырнадцать лет», над которым Халимат Башчиевна работала много лет, волнующий рассказ о годах насильственного переселения. Этот роман – о духовной стойкости народа. Потому читается от начала до конца с неослабевающим интересом.

И, слава Богу, что мы сегодня имеем возможность вместе посидеть у литературного очага Халимат Байрамуковой, его тепло будет согревать не одно поколение любителей художественного слова.

И если песня новая родится, -
Пусть водопадом падает со скал.
Чтоб каждый мог
Пред ней остановиться,
Считая, что впервые повстречал.

Эти строки были для неё девизом и в творчестве, и в жизни.

Халимат Байрамукова прожила долгую и счастливую жизнь. «Как счастливую?» - могут сказать те, кто знает её биографию. Может кощунственно сказать так о женщине, которая стала вдовой в двадцать лет и познала все лишения, в том числе лишения Родины – изгнание.

И все же – счастливую. Она была поэтом. Она не переставала писать стихи даже в годы депортации и первая книга на карачаевском языке, увидевшая свет после 1943 года в изгнании «Знамя жизни» вышла при её активном участии 1956 году во Фрунзе (ныне г.Бишкек), а составителем следующего коллективного сборника ссыльных поэтов «Чистые сердца» (Фрунзе,1957) была непосредственно Халимат Башчиевна. Для неё литературное творчество было связью со временем, с жизнью своего народа.

Фатима Байрамукова,
писатель
2008 г.



Поэзия

СУДЬБА ПОЭТА

Судьба поэта – вся в его стихах:
Рассеяна, рассыпана, как просо,
Ну, а с моей судьбой – не так-то просто,
С моей судьбою – просто все не так.
Не теплым просом, а холодным градом,
Не подождав, когда о ней спою,
Не на тетрадь просыпалось, не рядом,
А прямиком – на голову мою.
Уста замкнула, руки мне связала,
Не в песне, а в молчанье воплотясь,
Чтобы ни слова муза не сказала,
Чтоб запропала муза, не родясь.
Жизнь! Пой – теперь!
Теперь, когда уносит
Твою грозу, когда слова тихи...
Но сильная гроза стихов не просит,
А стихшая – не просится в стихи.

ГОРЫ

Горы! Что вы сделали со мною?
Чем заворожили? Властным зовом
К подвигам горячим и суровым
Или мудрой снежной сединой?

Ваша твердость мне передается,
Я держусь на ваших скользких тропах:
Чем пытливей вглядываюсь в пропасть –
Тем ровней, спокойней сердце бьется.

И, встречая блеск вершин бесстрастных,
В самом риске чую твердь опоры...
Горы любят сильных и бесстрашных.
Горы любят тех, кто любит горы.

ЧИТАТЕЛЬ МОЙ

Читатель мой, ты – мой давнишний друг.
Прими, как друг, строку из этих рук.
Я подарю тебе немало песен,
но об одном прошу тебя: будь честен!

И если твое сердце не задето
биеньем сердца твоего поэта,
не укоряй себя, что судишь строго:
порви стихи! Туда им и дорога.

Но если крепким воздухом лесов
повеет вдруг от этих тихих слов
и зашумит прозрачная река,
что прибежала с гор, издалека;

И если белизною вспыхнет гордой
Эльбрус двуглавый над тропою горной,
и если ветром синих гор дыша,
моложе станет и мудрей душа, –

тогда, мой друг, читай мои стихи.
Тогда они, наверно, неплохи...

ЧТОБ КАЖДЫЙ МОГ...

И если песня новая родится, –
Пускай родится чистым ручейком,
Чтоб каждый мог
Склониться и напиться,
Считая, что издревле с ней знаком.
И если песня новая родится, –
Пусть водопадом падает со скал,
Чтоб каждый мог пред ней остановиться,
Считая, что впервые повстречал.

О СЧАСТЬЕ

Всю жизнь я в дороге. Всю жизнь я в пути.
Как свойственно людям, я счастья хочу.
Мне близко случалось к нему подойти:
Казалось, настигну вот-вот – и схвачу!

А счастье, казалось мне, только и ждет,
Готовое стать не мечтой, а судьбой.
Но... малость побудет со мной – и уйдет.
И снова зовет за собой.

А если б навек оно стало моим –
Как платье, как шляпа, как столик ночной,
И я бы сидела, довольная им,
Оно бы сидело – довольное мной.

Нет, счастья не вижу я в счастье таком,
Я это сумела однажды понять.
Так пусть убегает и машет платком –
Всю жизнь я согласна его догонять!

РОДИНА

Ты любишь степи, вольный их простор
И трель кузнечиков в вечерний час,
А я люблю громады снежных гор,
Хребтами к небу вскинутый Кавказ.
И кто же нас сумеет обвинить,
Что мы с тобой не про одно поем, –
Степной простор и гребней снежных нить
Не это ли мы Родиной зовем?

РОДНОЙ ЯЗЫК

Язык мой древний и певучий,
С тобой в крови я родилась.
Томи, терзай меня и мучай –
Во всем твою приемлю власть!
Пусть для кого-то ты не самый
Известный на материке,
Но маму назвала я мамой
На этом милом языке.
И потому-то столь тревожно
Душе, когда земляк иной
Тебя коверкает безбожно,
Как будто вовсе не родной.
И нет конца моей тревоге,
И этот груз не сбросить с плеч –
Я думаю: какой, в итоге,
Дойдет к потомкам наша речь?
Неужто впрямь – сухой и скудной,
Общипанной, полуживой?
И я хожу с той мыслью трудной
И повторяю не впервой:
Перед лицом иных столетий,
Детей и внуков дорогих
Мы за судьбу твою в ответе,
И я – не менее других.
Чтоб и сильным, и крылатым
В селе и в доме городском
Ты жил и цвел в соседстве с братом –
С могучим русским языком!

* * *

Что со мной?! Я снова жду ответа
На вопросы. Вновь тревогу бью…
То ли многого я жду от века,
То ли мало веку отдаю?

* * *

Родные хребты Карачая
Меня в колыбели качали.
Здесь детство мое подрастало
И здесь оно юностью стало.
Народ мой,
Ты дал своей птице
Могучие крылья орлицы.
О край мой любимый,
Чудесный,
Ты дал мне и голос,
И песни,
Ты дал все, что я
Попросила –
Горячее сердце и силу.
И тем,
Что гостей привечаю,
Обязана я Карачаю.
И даже в далекой дороге
Со мною надежный и строгий,
Мой маленький, мудрый народ,
Тобой мое сердце живет.
Ты трижды любимый,
Втройне,
Великий
В Великой стране.

* * *

Начинается Родина с точки отсчета,
начинается с разных местечек и вех.
А потом – это общие вехи и взлеты,
и становится Родиной общей для всех.

Тебя нет чище ничего, Земля,
просеяна ты бережно руками.
Тебя нет горше ничего, Земля,
истоптана ты грязными ногами.

СЕРДЦЕ

Никогда у сердца не пытала:
Слушай, сердце, может, ты устало?
Никогда не спрашивала я,
Не болишь ли, сердце, жизнь моя?

Мало, сердце, я тебя балую,
Все гоню вперед напропалую,
Как наездник быстрого коня...
Ты не видишь ласки от меня.

Знаю, знаю! Да, я виновата.
Признаюсь тебе, я грубовата,
Я горянка. А в горах живет
Слишком строгий, сдержанный народ.

Но джигит, что вдаль по горным тропам
Гонит лошадь бешеным галопом,–
Во сто крат нежнее и добрей
В обращении с лошадью своей.
То по шее он ее погладит,
То подпруги бережно расслабит,
То пастись отпустит на лужку,
Да и сам заснет на бережку...
Я же –
Дни и ночи,
Дни и ночи,
Что есть силы,
Что есть только мочи
Все гоню,
Гоню тебя,
Гоню,
Ни житья, ни сена не даю.
Впрочем, сердце, мы с тобою слиты.
Впрочем, сердце, мы с тобою квиты,
Я тебя гоню,
А ты – меня, –
Всадник превращается в коня.
А теперь – скорей, мой друг суровый!
Впереди барьер маячит новый,

Ну же! Мчись, беги, скачи, лети!
Горы дела ждут меня в пути.
Ты же, сердце, ничего не делай,
Только знай: гори надеждой смелой,
Трепещи, стучи, своди с ума,
Остальное – сделаю сама.

ВСЕ ВЗЫВАЕТ К ЛЮДЯМ...

В мире все взывает к людям:
– Жить!–
Даже камень слезы выжимает,
Умирать он тоже не желает, –
В мире все взывает к людям:
– Жить! –
И поют свои напевы птицы,
И цветы стремятся распуститься, –
В мире все взывает к людям:
– Жить! –
Им земля опорой служит вечной,
Воздух их поит струею вешней, –
В мире все взывает к людям:
– Жить! –
Чистым быть над ними небосводу,
Рекам приносить свою им воду, –
В мире все взывает к людям:
– Жить!.. –
Жить в труде,
Надежде,
Жить в борьбе,
Если не подумал ты об этом,
Человек,
Подумай о себе ты:
В мире ведь взывает все
К тебе!

В ХУРЗУКЕ ВСЕ БЫЛО ПО-ИНОМУ

В Хурзуке все было по-иному,
может быть – и лето, и зима.
В Хурзуке все меня любили,
всех и я любила там сама.
Люди улыбались там друг другу,
и добро входило в каждый дом,
мое там детство проскакало
на волшебной палочке верхом.
Если отелится там корова
и приносит телочку в приплод,
появленью будущей коровы
весь в ауле будет рад народ.
Заливается в руках горянки
и несет в родной аул гармонь
аромат цветов с лугов альпийских,
не гармонь – а пляшущий огонь!
Здесь не позволялось торопиться,
всем «день добрый!» надо пожелать,
лучше и зубов совсем лишиться,
чем соседу «Здравствуй!» не сказать.
Стариков там весь аул лелеет,
по труду там ценят молодых,
любят там особенно детишек,
рано на коня сажают их.
А когда сосед зайдет к соседу,
просто так, поговорить с ним рад,
дом не дом,
где гостя не накормят, –
каждый угостит,
кто чем богат.
Незнакомых не было в ауле,
всем от прадедов известен ты,
и собаки только по привычке
лают по дворам до хрипоты.
Знают люди здесь давно друг друга,
и коров, и кур – со всех сторон.
Чей сынок схватил недавно двойку
и, конечно, кто в кого влюблен.
И рычит там где-то экскаватор,

и возводят где-то новый дом,
а короче, мой Хурзук коммуной
в коммунизм прямым идет путем.
Весь Хурзук – одна ладонь как будто,
у ладони пальцы на виду,
для друзей она всегда раскрыта,
а кулак сулит врагу беду.
Я, наверно, стала знаменитой,
не по мне уже теперь Хурзук.
То в Москве живу я,
то в Париже,
то в Софии, то в ином краю.
Раньше я в Хурзуке всех любила,
а теперь не всех уже люблю.
Там сосед, в заботах о соседе,
был ему, что правая рука.
Что теперь я знаю о соседе?
Что он? От него я далека.
Я не та, хурзукская, – другая.
Там желали каждому добра,
я ж добра желаю только добрым,
а недобрым – подобреть пора.
В Хурзуке все было по-иному,
все другое – лето и зима,
в Хурзуке все меня любили,
и я всех любила там сама.

МЕНЯ НИЧТО НЕ СТОРОНИЛОСЬ

Меня ничто не сторонилось –
не шла по жизни стороной...
Свидетельницей мне –
не милость,
и потому висок седой.
И потому – все по-иному...
Я в двадцать пять была вдовой,
и в двадцать пять тоска по дому
все заслонила предо мной.

МОЙ ДОМ

Дверь моя всегда для всех открыта,
Не держу замков,
Поверьте, я.
Стол и стул,
Над головою крыша –
Вот и вся премудрость бытия.
Дом широк –
Тесниться не придется,
Хлебом-солью вас не обойду,
И вино,
Коль надобно, найдется,
И очаг,
Коль надо, разведу.
Заверните,
Если вы устали,
И покой найдете у меня.
Я вопросов задавать не стану,
Горские обычаи храня.
Вас я накормлю
И доброй ночи
Пожелаю,
Чтобы видеть вам
Сны такие,
Чтоб потом воочию
Сильным быть
Назло любым врагам.
Если вы зашли,
Чтоб поделиться
Всей судьбой нелегкою своей,
Можете спокойно положиться:
Пополам поделимся мы ею.
Если вы ошиблись в жизни, тоже
Заходите,
Я не утаю
Опыта житейского.
Быть может,
Службу он сослужит вам свою.
Если обвинили вас напрасно,
Если вам и чести не снискать,

Постучите мне,
И в путь обратный
Я пущусь,
Чтоб правду отыскать.
Если дорогого человека
Будете срамить вы без стыда,
Уходите прочь,
Теперь навеки,
Дверь для вас закрыта навсегда.
Уходите,
Кто предал надежду,
На плохое сетуя житье:
Тот, кто жизнь в руках своих не держит,
Требует побольше от нее.
Дом таков –
Таким он вечно будет:
Рядом здесь живут Любовь и Труд.
Вас люблю я,
Заходите,
Люди,
Но сердца здесь ваши
Пусть не лгут.

МОЯ ДВЕРЬ

Без стука заходите в эту дверь.
По горскому обычаю, не надо
в нее стучать. Всегда я гостю рада.
Кто был чужим, стал близким мне теперь.

Я не спрошу вас, радость иль беду
Вы принесли мне – все ко мне приходит.
Кому нужна, тот дверь мою находит,
кто нужен мне, того уже не жду.

НЕСТИ Я БУДУ СВЕТ ЖИВОЙ...

Звезда погаснет в вышине,
А свет ее идет столетья.
И суждено, возможно, мне –
Преодолеть забвенье смерти.

Тогда я буду луч живой
Нести грядущим поколеньям,
Я стану деревцем, травой
И ветра легким дуновеньем.

Я музыкою зазвучу,
Торжественной, высокой нотой,
Весенней птахой прилечу.
Мечтой крылатой и заботой.

Потомки дерзкие пройдут
То, что сама я не успела,
Те песни до конца споют,
Которые я не допела.

Немало изначальных строк,
Незавершенных дел осталось.
Всему свой час. Всему свой срок.
А я за многое хваталась.

И, одержимости полна,
Я торопила дни и годы.
...Как жаль, что жизнь всего одна
Дана, чтобы служить народу...

* * *

Не прошу в отчаянье: «Постой,
время!» – хоть уходит жизнь моя.
Знаю, тот, кто следует за мной,
будет совершеннее, чем я.

САДАМИ ВЕРНУ

Что ни утро –
То новые чувства родятся во мне.
Что ни вечер –
То новые мысли роятся во мне.
Или время спешит,
Увлекая меня за собой?
Или я тороплюсь,
Увлекая его за собой?
Теплый ливень надежд
Обливает меня с высоты.
Как под ливнем грибы, шевелясь,
Вырастают мечты.
Но какими словами,
Каким говорить языком,
Если шагом язык мой,
А сердце-то,
Сердце – бегом?
Одолжи мне, земля,
Все слова
Всех народов твоих;
Я цветами,
Плодами,
Садами верну тебе их.

* * *

«Ты будешь жить и после смерти», –
шутя, твердили мне о том,
совсем не зная, что пишу я
полуспеша, полубегом.

Но я могу в одном уверить:
среди написанных мной слов,
хоть разгляди под микроскопом,
нет никаких полутонов.

ВЕСНА

Люблю весну –
За то, что удлиняет
Мой день.
И укорачивает ночь.
За то, что никого не отдаляет,
А каждого притягивает вновь.
За то, что ни на миг не забывает
Ни одного создания на земле,
За то, что веткой щеку задевает
И соловьем вибрирует во мгле...
За сумерки,
За ночь,
За что придется...
За желтый камень в капельках дождя,
За первый зной...
За все, что остается,
За все, что остается – уходя...

МОЙ ЖРЕБИЙ

Не плачу, что ветер в горах отшумел,
Дорога во мгле потонула,
Что молодость я запахнула в шинель
И плотно шинель застегнула.
Что радость, надежду и ласковый взгляд
Забыв не для славы – для чести,
Пошла, презирая старинный адат,
На битву с мужчинами вместе.
Что милых, родных потеряла в бою,
Что рано прокрались сединки –
Такие студеные! – в косу мою,
Как в речке осенние льдинки.
Изныла душа по родимым горам,
Сгорела в любви молчаливой...
Но я никогда никому не отдам
Мой жребий печальный, счастливый.

ПЕСНЯ

...А ветер – зол, а вечер – нелюдим,
А сына нет, и сердце бьет тревогу.
Что он? Где он?
Не конь ли пал под ним?
Не ветер ли запутал им дорогу?
Но конь под ним – сам ветер из ветров.
А кто верхом? Орел наиорлейший!
От вихря бурки вихорь злейший
Под бурку спрятаться готов.
Сердце, не волнуйся!
Сердце, не стучи!
Ничего не страшно
Всаднику в ночи.
Едет он на ощупь,
Скачет напрямик.
Стелется и вьется
По ветру башлык.
Сердце, не волнуйся!
Сердце, не стучи!
Горному безлюдью
Горца поручи!

СПРОСИТЕ, ЧТО ЦЕНЮ Я

Спросите, что в судьбе своей ценю я,
отвечу – дружбу верную, она,
когда беда придвинется вплотную,
меня спасает, верностью сильна.

Спросите, что в друзьях своих ценю я,
отвечу – бескорыстие, когда
они, как дар, любовь мою большую
несут по жизни долгие года.

А если кто-то дарит лесть натужно,
такому я презрением плачу –
такого мне и недруга не нужно,
и друга я такого не хочу.

НЕПИСАННЫЙ ЗАКОН

Неписанный закон живет в народе:
о том, что покидающий ночлег,
жар своего костра не зарывает,
чтоб мог другой согреться человек.
Пускай идущий за тобою следом
огонь раздует, наберется сил –
ведь может статься – спички отсырели
иль зажигалку второпях забыл.
От дедов нам обычай тот остался,
он до сих пор живет в горах моих,
таков из поколенья в поколенье
мой Карачай в заботе о других.
Я знаю, что в горах, в дороге трудной,
всегда найдет огонь душа моя.
Как обо мне заботятся другие,
вот так же о других забочусь я.
Ты, вслед за мной идущий, будь спокоен:
там на пути тебя огонь мой ждет,
коль изнутри тебя не заморозил
грехов перед людьми тяжелый лед.
И если ты бежишь от правосудья,
дом по твоей вине живет скорбя,
пускай тогда огонь развеет вьюга,
чтоб искры не осталось для тебя!
И если ты, боясь разоблаченья
в лжи, в клевете, уходишь от суда,
пусть все огни, что светят на дороге,
где б ты ни шел, погаснут навсегда!
А ты, кто, одолев пургу и бурю,
в горах впервые пролагаешь путь,
и свой огонь сумел разжечь под ветром,
чтоб и другой мог спутник отдохнуть,
за то, что ты подумал в лютый холод
о всех, кто вслед пойдет твоим путем,
пусть искра, что оставлена тобою,
вернется и к тебе большим теплом.
Ведь если ты заботишься о людях,
чтоб было и другим тепло дано,
ты так о Человечестве подумал, –
ведь из людей слагается оно.

ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ ПОЗНАЕМ

Костер трещит, и пламя вьется,
и омуль жарится в костре.
Назару хорошо поется
вблизи Байкала, на заре!

Он то зальется, то бормочет
почти невнятно в тишине,
глаза прикрыл – как видно,
хочет он с песней быть наедине!

А песне, ей другое надо:
свободной реченькой бежать,
и всем сердцам дарить отраду,
и сразу всем принадлежать.

В ней – и раздумчивость, и смелость,
и высь небес, и ширь полей.
О чьей любви бы в ней ни пелось –
ты знаешь: это о твоей.

Привольно в мире и просторно,
любовь колдует и царит,
и ей все возрасты покорны –
так Пушкин мудрый говорит.

А вот, исполнена отваги,
на фоне облаков и скал
возникла песня о бродяге,
который плыл через Байкал.

И мы бродяги, видно, тоже:
в житейском странствии своем
страну, которой нет дороже,
открытым сердцем познаем!

* * *

Всю жизнь пишу о сердце. День за днем.
В дороге. У домашнего огня.
О сердце человечьем. Лишь о нем.
Единственная тема у меня.

И мне вовек ее не исчерпать –
Ведь в сердце столько тайн заключено!
Оно не знает, что такое спать.
Оно в беде и радости – одно.

Людское сердце – вот моя звезда!
Ему я удивляюсь вновь и вновь:
как могут уживаться иногда
в нем лед и пламень, холод и любовь?

Разгадку мне хотелось бы найти:
там, где взошли колосья доброты,
как может вдруг и зависть прорасти,
и злобы ядовитые цветы?

Бывает сердце с детский кулачок,
бывает – с целый мир величиной,
но как же этот мир вместиться смог
все в той же клетке маленькой грудной?

Понять бы мне однажды до конца:
за что способно сердце отвечать,
и почему порой молчат сердца,
когда они не вправе промолчать?

ТЕБЕРДА

Твои красоты в сердце унесу я
И напишу о чем-нибудь другом.
Не лучше ли, чем славословить всуе,
Порой молчать о самом дорогом?!

ЗДЕСЬ, У ПОДНОЖЬЯ, ЗАМЕРЛА…

Сюда меня приводит совесть,
И молча, я иду за ней.
...Сосна высокая стояла,
У ног ее бурлил ручей.
И птицы, к гнездам прилетая,
Своих кормили малышей.
Но вдруг поднялся ад кромешный.
Затмилось солнце. Гром и мгла.
И я, обняв сосну, в испуге
Здесь, у подножья, замерла.
Гроза прошла.
Себе не веря,
Я поднялась, еще бледна...
Мне предназначенный осколок
Приняв, пылала вся сосна.

ОТВЕТИТЬ НЕ МОГУ

За что люблю народ свой древний?
Какой ответ мне отыскать?
За что мы любим дождь, деревья,
и воздух, и Отчизну-мать?

За что люблю язык свой горский?
Ответить я бы не смогла.
Но ведь на нем, легко и просто,
я маму мамой назвала.

И землю я люблю родную.
За что – не знаю. Но за пядь
земли – и жизнь, что так люблю я,
смогу, коль выпадет, отдать.

Народ, любовь к тебе большую
измерю мерою какой?!
Она в груди моей бушует,
и навсегда она со мной.

* * *

Вот говорят, что я живу не так,
как мне велят и званье, и лета:
не в меру быстр мой деловитый шаг,
одежда не по-модному проста.

Не так живу я, говорят кругом,
солидности своей не сознаю:
В молочной по утрам за молоком
сама – о, ужас! – в очередь встаю.

В иных домах умеют люди скрыть
любую ссору, чуть ли не скандал,
а мне лишь стоит сына пожурить –
об этом завтра рядит весь квартал.

Порой соседка явится в мой дом –
не для беседы женской по душам,
но глянуть, как живу я, - и о том
рассказывать подругам здесь и там:

не жирен, дескать, у меня обед
и мебель неказистая весьма,
что до ковров, так их и вовсе нет,
одна простая горская кошма.

Что ж, может, я и впрямь, мои друзья,
не так живу! Ведь впрямь же – что ни год,
себе все больше доставляю я
различных непредвиденных хлопот.

По вдохновенью ссорюсь и мирюсь,
знакомства там, где надо, не ищу,
где надо быть серьезной – рассмеюсь,
где надо засмеяться – загрущу.

И потому солидной не слыву
и в мудрецы, конечно, не гожусь:
чем дальше, тем «неправильней» живу,
и многим странной, кажется, кажусь...

ТИШИНА

Тишина... Я знаю: тишина
светлая и черная бывает.
И врачует сердце нам она,
и гнетет. И даже убивает.

Как она прекрасна, тишина,
в добрый час весеннего рассвета
или – в час ночной, когда страна
спит, людской заботою согрета.

Помню, мы услышали: война!
и стояли, молча брови хмуря,
и на миг такая тишина
воцарилась – будто перед бурей.

И надолго слово «тишина» –
даже слово! – многие забыли:
вся земля была сотрясена,
и пожары черный дым клубили.

Я, как в море, в памяти тону.
Гул разрывов... Черные воронки...
Черную, глухую тишину
в дом вносили только «похоронки».

Ты и к нам явилась, тишина,
в домик, где лежала, умирая,
наша мать, болезнью сражена
вдалеке от скал родного края...

Мы забыть о прошлом не должны!
На земле прекрасной и просторной
мы – на страже доброй тишины,
против тишины глухой и черной!..

У ЭЛЬБРУСА

Не передашь –
Кругом такое чудо!
Я – слух и зренье,
Снег и синева.
Я только чувство.
Остальное чуждо.
И не мое перо,
И не мои слова.

НЕКРАСИВЫХ ЖЕНЩИН НЕ БЫВАЕТ
(Песня)

«Некрасивых женщин не бывает!» –
Заявляю скептикам иным.
В женщине мужчина открывает
То, что незаметно остальным.
Время обороты набирает,
Как мотор на взлетной полосе...
Некрасивых женщин не бывает,
Жаль, бывают счастливы не все.
В переливах радуг и росинок
На земле, под небом голубым
Не бывает женщин некрасивых
Среди тех, кто любит и любим.
Годы, вы над женщиной не властны –
И, конечно, это не секрет.
Для детей все матери прекрасны,
Значит, некрасивых женщин нет!
Пусть дожди звенят на тротуарах,
Пусть снежинки кружатся, дразня, –
Знаю: не бывает женщин старых,
Если есть их юности друзья.
Женщина и в горе забывает
Подвести любви своей черту...
Некрасивых женщин не бывает.
Только нужно видеть красоту!

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Неделя как неделя – семь календарных дней,
Минувших не короче, грядущих не длинней.
Но чувство, почему же все чаще у меня,
Что вроде не хватает еще восьмого дня?

Как звать его, ты спросишь?
Как хочешь, так зови:
День Счастья и Надежды, день Дружбы и Любви!
Пусть будет безымянный. И попросту – восьмой.
Пусть именем зовется твоим, любимый мой!

Мне с будничностью будней ужиться нелегко,
Мне нужен пятый угол и птичье молоко,
И, видно, потому же среди других забот
Восьмого дня в неделе мне так недостает!

Все кажется: однажды настал бы день такой –
И многое додумать успел бы род людской,
Все то, в чем разобраться в любой обычный день
Мешают нам усталость, инерция и лень.

Все кажется: однажды настал бы день такой –
И многих поддержал бы он ласковой рукой,
И тех, кто нынче в горе, сумел бы ободрить,
И тех, кто нынче в ссоре, сумел бы помирить.

И пусть бы он – согласна! – в сиянье золотом,
Вначале необычный, обычным стал потом,
Чтобы дивились люди, с рассветом сон гоня:
«Как жить могли доныне мы без такого дня?»

ЖДУ НОВЫХ ДНЕЙ

Доверчиво, тревожно – вновь и вновь –
Жду новых дней, еще покрытых тайной,
Как осень – зиму, девушка – любовь,
Как горец – гостя ждет с дороги дальней.

МНЕ ГОВОРЯТ

Мне говорят: «Ты слишком веришь всем».
«Довольно ошибаться», – говорят.
И я учусь. При встрече с тем и с тем
прилежно устремляю взгляд на взгляд.

Прочесть пытаюсь в тайной глубине:
какой ты есть, обманешь или нет?
И вдруг противно делается мне,
и делается, тошен белый свет.

Я жить хочу, искать, любить, терять
И верить в жизнь, в тебя, моя звезда!
Я научилась лишь не доверять
не ошибающимся никогда.

МАМИНЫ РУКИ

...Бывает, устану порой от забот –
Далекое детство на память приходит,
И мамины руки я вспомню...
И вот
Мне в душу врываются вихри мелодий...
…Случается, сердце тревожно болит,
Сулит непогоду. В ночи мне не спится...
И вспомнится мне знаменитый джигит,
Добывший перо от летящей орлицы.
…Бывает, душа,
Словно полночь, мрачна,
В пространство уставлюсь сухими глазами.
...Но книгу любви не за тем ли прочла,
Прочитанным чтоб поделиться с друзьями!
Я к людям иду, глуховато бурлит
Лесной родничок, убегающий к рекам, –
Наш горский обычай нам строго велит:
Ему – не иссякнуть, мне – быть человеком.

ЛЮБВИ НЕ ХВАТАЕТ...

За годом стремительно год пролетает,
И, как ты взахлеб на земле ни живи,
Заметишь однажды: любви не хватает
На все, что на свете достойно любви.

Знать, сердце не зря отработало годы,
Оно утомилось – и как же тут быть:
Ведь самое время людей и природу
По-новому – пристальней, крепче – любить!

О, как безоглядной я все же бывала
В ту пору, когда я была молодой:
От щедрого сердца любовь раздавала –
Подругам, цветам и травинке любой.

А ныне, прислушавшись к мудрым советам,
Стараюсь быть бережной, тратить умно,
Но даже при этом, ах, даже при этом
Любви не хватает, увы, все равно.

Мне столько ее раздарить еще надо
И нашим горам, и родным небесам,
И радуге, вставшей в пыли водопада,
И нежно-зеленым хурзукским лесам.

Но самый заветный и трепетный самый,
Ни с кем и ни с чем не делимый запас –
Тебе, мой народ, небольшой, но упрямый,
Великой судьбе сопричастный сейчас.

Цветы разлюблю и к стихам охладею
(С трудом, но представить такое могу!)
И только тебя разлюбить не сумею,
К тебе не остыну, тебе не солгу!

Я МОЛЧА ЖИЗНЬ ОТДАМ

Думаешь, с криком «Ура!»
Любят и верят сильнее?
Я не кричу «Ура!» –
Я молча любить умею.
Молча,
Наверняка,
Вечно и неизменно.
Шум исчезает, как пена,
Но остается река
Там,
Где любовь глубока.
Не верю я
Крикунам,
В крике пружинящим шею.
Я молча жизнь отдам,
Я молча любить умею.

«БОЛЕРО» РАВЕЛЯ

Земфире

Что делаешь ты, музыка, со мной!
Откуда у тебя такая сила?
Ты мне даешь, как чистый луч дневной,
Все, что просила. Больше, чем просила!

И верится: печаль сама уйдет,
Таившаяся в доме до рассвета,
И радость в дом заявится вот-вот,
В дороге задержавшаяся где-то.

И я совсем другая становлюсь –
а может, просто юность возвращаю?
Сама себе взволнованно дивлюсь,
сама себя казню, сама прощаю.

Надежда, и мечта, и торжество,
И звуки упоительные эти…
И хочется заплакать оттого,
Что так прекрасно жить на белом свете.

И ТЯНЕТ, И МАНИТ...

Во мне городского
(Того, кабинетного) мало;
Мне вешние пашни
Домов стоэтажных милей;
Как жадно теперь
Я бы шуму лесному внимала!
В руке бы сжимала
Застенчивый стебель полей...
И, ноги босые в росе леденящей купая,
Простуды не зная,
От зноя не пряча лица,
По горным потокам,
По выступам камня ступая,
Все горы обшарить хотела бы я,
До конца.
Во мне городского
(Бумажного, книжного) мало;
Мне более сладок тенями
Завешанный сад...
Крестьянка во мне
Не заснула,
А чуть задремала,
И вот – пробудилась,
И тянет, и манит назад...

Я В ЖИЗНИ ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ

Когда б всерьез
друзья меня спросили
– Что думаешь о жизни ты, поэт? –
Ответила б в традиционном стиле:
– Заря светла, как солнца яркий свет!
…Пускай слезами полила я Землю –
Мне самую родную из планет,
В цветах, в слезах и в радуге приемля,
Я в жизни жизнь люблю – вот мой ответ.

СТРАХ

Был госпиталь открыт,
Но не был заселен.
Я, помнится, с трудом
С собою совладала:
Из пекла, из войны
Мы ждали эшелон,
Я раненых еще
Ни разу не видала.
Но странный между тем
Испытывала страх,
И боль моя с тех пор
Во мне не утихала...
Мужчины наших гор...
Но стонут ли в горах?
Я стонущих мужчин
Ни разу не слыхала.
О жизни говорить,
Не зная ей цены,
Едва в нее вступив,
На первом перевале...
Увидеть наяву
Увечия войны...
А сердце так частит,
Что выдержит едва ли.
Я трусом не была,
А просто новичком,
Когда-то вожаком
Считалась в нашей школе...
Теперь я – медсестра,
Но снова вожаком
Товарищи меня
Избрали в комсомоле.
Пред раною чужой
Свой страх преодолеть.
Ступая по пустым
Пока еще палатам,
Себе же приказать,
Себе же повелеть
И это превозмочь,
Коль стала я солдатом...

СИЛЬНЕЕ СТАНОВЛЮСЬ

Я Жизни каждую ступень
Привыкла с боя брать,
А Жизнь, мне спину показав,
Бежит – и не догнать.
Я рою русло для нее,
Чтоб шла ко мне она,
Не дам другим я делать то,
Что я сама должна.
Я Жизни говорю с утра:
– Посмотрим, кто сильней! –
А победив, все больше я
Привязываюсь к ней.
Нет, не нужна дешевка мне,
Услуг я сторонюсь.
В борении с Жизнью я сама
Сильнее становлюсь.

* * *

В гремящую, спешащую эпоху
так хочется предаться тишине,
отринуть суету и суматоху,
с самой собой побыть наедине.

Понять, зачем я в спешке постоянной
бегу, минутой каждой дорожу!
Ведь все равно устану и отстану,
мгновений дорогих не удержу...

Но в тишине тоска собачья гложет,
уже душе покой невыносим,
и эхо века тишину тревожит,
и сердце бьется лишь в созвучии с ним.

Пусть время – конь горячий, беспокойный,
мне суждено скакать на нем верхом.
Друг друга мы, наверное, достойны,
так пусть меня прокатит с ветерком!

ВРЕМЯ

Диктует время мне свои законы,
но я ему позиций не отдам:
то подгоняю до седьмого пота,
а то гонюсь за ним я по пятам.

Мы с ним давно в единоборстве вечном.
Присяду я, - и вот ушло оно:
я остаюсь, обкраденная в чем-то,
а время торжествует надо мной.

Но вот за полы я его хватаю,
чтоб шло оно в заботах и трудах.
И, от себя его не отпуская,
сама над ним я властвую тогда.

Когда я влюблена, когда счастливо
дышу с тобой дыханием одним,
тогда бессильно предо мною время,
тогда сама я властвую над ним.

И если в жизни место не чужое
я занимаю, сила в том моя,
тогда мне время полностью подвластно,
над ним победу торжествую я.

Но если от болезни иль от скорби
согнулась я, и трудно мне одной,
то, значит, я устала откровенно, –
и время торжествует надо мной.

Но, коли цели в жизни я достигла,
наперекор злопамятной судьбе,
то, значит, я себя переборола, –
и время победила я в борьбе.

В тот миг, когда я привечаю друга,
когда гоню я клевету и зло,
я времени дорогу расчищаю, –
пусть будет на пути его светло!

Когда ж порой я к жизни безразлична,
живу, ничто не принимая в счет,
то время понапрасну упускаю,
оно сквозь пальцы, как песок, течет.

Но вот когда беру его за горло,
когда ему я объявляю бой,
покорно время мне сдается в руки, –
оно не властно над самим собой.

РАЗЛУКА

Сын мой, душа моя, свет моей жизни!
Мы расставались. Я прятала взгляд.
Сердце, казалось, осколками брызнет,
грудь разорвет, как бризантный снаряд.

Руку подать – я бы грянулась оземь,
встретить твой взгляд – мне уже не уйти.
Мы расставались. Страданья и слезы,
скрыв от тебя, унесла я в груди.

Я, как беглянка, помчалась к вокзалу.
Поезд... Толпа... «Поскорей бы звонок».
Сердце разлуку тебе подсказало –
ты, словно ветер, примчался, сынок.

И, сквозь толпу пробиваясь упрямо,
ты торопился, глазами ища...
Словно во сне, я услышала: «Мама!»
Словно в бреду, прошептала: «Прощай!»

Тронулся поезд. Колеса по стыкам
бились, как пульс мой, натужно звеня.
«Мама!» – казалось, весь мир этим криком
рухнул всей тяжестью вдруг на меня!..

ИНОМУ КРИТИКУ

На пьедестал меня не возводи,
простые стулья больше мне по нраву,
хвалебных слов грохочущую лаву
обрушивать пока что погоди.
Ведь твой собрат – он свел меня на нет.
Он утверждал – мои творенья слабы.
Кому из вас поверить я могла бы?
Себе одной я верю много лет!
Мне кое-что самой дано узреть,
и на себя давно я положилась,
и если так судьба сложилась,
то не от вас зависеть ей и впредь.
Трудом своим единственным горю,
пусть критик мой меня не вспоминает,
что надо знать, строка моя узнает,
я с нею, как с любимым, говорю.
На вашей высоте не удержусь
и не исчезну, как бы вы хотели...
У очага, где люди души грели,
и я огнем на лицах отражусь...

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ш. А. Урусовой

Мы выросли совсем не на готовом,
мы знаем силу ветра и огня,
ровесники романтики суровой,
ровесники задымленного дня.

И руки наши огрубели малость,
и кожа с них слезала много раз,
а вот сердца... В сердцах мечта осталась.
Ее и нам, и внукам про запас.

Пусть не сполна дослушали когда-то
мы соловья за рощей расписной,
мечта не старилась и стала вдруг крылатой,
шагнув земной и звездной целиной.

ЧТО ЗНАЧУ Я?..

Что значу я для человечества?
Порой
я в море капелькой
кажусь себе самой.
Людей так много!
Их не перечесть!
Но одинаковые люди
разве есть?
Я – человек,
а человек неповторим.
Я с человечеством
иду путем одним.
А если так,
То много значу я!
Я – не бездумная
стихийная вода.
Предназначенье есть у каждого,
о нем
нельзя не помнить нам,
покуда мы живем.
Что значу я для человечества?
Оно
не знает, чем живу
и что мне суждено
свершить на свете.
Что в горах своих родных
печалюсь, думаю
о всех делах земных.
Я – человечества частица,
и оно
оберегать меня,
мои мечты должно.
А коль оно не дорожит
любым из нас,
то потеряет и себя...
Висит сейчас
над миром меч,
он вознесен
руками тех, кто

безрассудством поражен.
Ты, человечество,
принять готово бой,
все дети лучшие
твои сейчас с тобой!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Новый, юный день вот-вот родится!
Перед ним я голову склоню:
Если в небо мирный дым струится –
Благодарна я такому дню!

Если веет в мире добрый ветер,
Если и джигиту, и коню
Путь неблизкий радостен и светел, –
Благодарна я такому дню.

Если песня спелась у поэта,
Если колос крепнет на корню
И больному легче стало где-то, –
Благодарна я такому дню.

Если у молодки чернобровой
Сын родился, радуя родню,
Первенец глазастый и здоровый, –
Благодарна я такому дню.

Если добрый гость придет к порогу
И присядет к моему огню, –
Пусть проходит время понемногу.
Благодарна я такому дню.

Мирно мой аул стихает к ночи...
Жизнь за быстротечность не виню:
Пусть ее остаток стал короче, –
Благодарна я такому дню!

НЕ ОТРЕКАЮСЬ

Не отрекаюсь,
не отрекаюсь:
шла я по свету, порой спотыкаясь,
слишком поспешно о многом судила,
тропку теряла и вновь находила,
жизни была постоянно причастна –
и потому не бывала несчастна!

Не отрекаюсь,
не отрекаюсь:
в споры поныне легко вовлекаюсь,
видно, в характере что-то такое,
с чем никогда не бывает покоя,
видно, родители не доглядели –
бес поселился во мне с колыбели!

Не отрекаюсь,
не отрекаюсь:
быстро поссорюсь – да поздно раскаюсь!
Вот и выходит: воюя, воюя,
недругов часто себе создаю я.
Но без характера – кто я и что я!
не человек, только место пустое.

Не отрекаюсь,
не отрекаюсь:
часто без компаса в море пускаюсь!
Только за все ведь сама отвечаю,
что заработала – то получаю.
Жизнь вразумляет, стыдит, поучает –
все-таки, значит,
меня замечает!

* * *

Я похвалы не раздаю легко.
Сама хвалебных не люблю речей.
Ценю я дружбу слишком высоко,
чтоб через лесть приобретать друзей.

ОЖИДАНИЕ

Жизнь – это ожидание.
Однажды
Проснешься утром –
И чего-то ждешь.

Но день прошел.
Нет!
Не был он хорош,
Не утолил привычной,
Вечной жажды.

А ты опять,
Опять чего-то ждешь.
Но вот дождался:
Все твои надежды
И все мечты твои
сбылись.

И что ж!
Ты снова ждешь...
Опять чего-то ждешь...
Вернутся беды,
Виданные прежде,
Заглянут в очи,
Спросят: «Узнаешь?!
Дождался!
Съел? Не оценил удачи!
Чего ты ждешь?!
Пора бы жить иначе!..»

...А ты опять,
Опять чего-то ждешь.

* * *

Размеренной жизни, как смерти, боюсь.
...Встаю по будильнику. Завтрак готов.
На службу являюсь и в кресло сажусь...
Дрожа за опрятность пиджачных бортов,

держу авторучку почти на весу.
Вот – мне бумажонку на подпись несут,
а вот я сама бумажонку несу
на подпись,
(бумажный почувствовав зуд).

Вот кто-то без страха, что я накричу,
приходит ко мне, как приходят к врачу,
а я ему в нос – расписание дня.
Затем на собранье сижу и молчу –
«Не выступлю! Дудки! А то и меня...»

Однако закончен рабочий мой день.
Вот так и живи, никого не задень,
но знай, что важнейшее дело из дел,
чтоб только никто и тебя не задел.

Вернулась домой.
Значит, на бок пора.
Уткнулась в подушку – и так до утра,
и снова будильник разбудит меня –
и так до конца, до последнего дня.

...Нет, нет! Не нужны мне
ни сон, ни покой!
Мне страшно
рассчитанной жизни такой!
Нет! Я не сижу,
не лежу, не молчу!
Движенья! Движенья!
Движенья хочу!

Задену кого-то,
заденут меня, –
и так – до конца,
до последнего дня.

НЕСТАРЕЮЩАЯ ЖЕНЩИНА

Не любопытствуй праздно, чтоб узнать
Безмерными усильями какими
Она сумела миг меж молодыми
И зрелыми годами задержать.
Не виден этот миг, неуловим,
Но встретила его и обуздала.
Иль силою неженской обладала!
Но ты склонись пред мужеством таким,
Не надо выяснять ее года,
Пока она красивой остается,
А как ей это чудо удается,
Она тебе не скажет никогда.

УВЕЗИ ТЫ МЕНЯ ПРИ ЛУНЕ
(Песня)

Мой джигит, ты меня не обманешь,
Я прошу: не клянись мне в любви.
Если любишь, то клясться не станешь,
Так зачем же мне клятвы твои!

Прискачи по гористым дорогам
Сквозь туман, сквозь дождей кутерьму,
Загляни мне в глаза ненароком –
И тогда все без слов я пойму.

Ну, а если ты скажешь мне слово
В час, когда будешь рядом со мной,
То не смей повторять его снова никому...
Разве мне лишь одной.

Мой любимый, мой сильный, мой смелый,
Увези ты меня при луне
Под лохматою буркою белой,
На отчаянном белом коне!

АВГУСТ

Год рожденья отпрысков своих
ножом на камне горцы отмечали.
Не то, чтоб вкусам горца отвечали
ножи и камни: попросту других
календарей они тогда не знали.
Мой год рожденья, месяц, день и час
на посохе мой батюшка отметил.
Но то ли посох выбил зимний ветер
из рук его, под вечер, как-то раз,
то ли остался посох на утесах,
забытый там? Одно лишь ясно:
посох служил когда-то метрикой моей.
(Не оттого ль я – пастырь-пилигрим?!)
Но так как мы не дух, не привидение, –
заполнить паспорт надобно и нам.
Год годом. Так.
Но месяц для рожденья
себе не каждый может выбрать сам!
А я могу!
Когда же мне родиться?
А апреле?
Нет.
В июне?
Не годится!
В горах осталась «метрика» моя.
Сама должна свой месяц выбрать я.
В июле?
Нет!
Не в марте ли?
О нет!
Не в августе ль явиться мне на свет?
И выбрала я август.
Когда другие месяцы не хуже.
Так чист январь.
Так нежен теплый май!..
Как хочешь, так меня и понимай.
Но выбрала я август.
И не странно,
коль в августе взаправду родилась:

что поздно в декабре, а в марте – рано,
то в августе обычно в самый раз!
А я мечтаю быть таким поэтом,
каков он – месяц:
воплощенным летом,
хрустальной чашей меда и огня.
Арбой плодов,
раскрытой книгой дня...
Как хорошо не ежиться под ветром,
не опасаться за свои ростки,
быть радостным,
цветным,
горячим,
щедрым,
не знающим сомненья и тоски.

* * *

Пчела лежала на полу
с раздавленным крылом.
Сломил чуть видную пчелу
чуть слышный перелом.

Кому нужна была пчела,
больная, вся в пыли,
без задней лапки, без крыла?
И мимо люди шли.

И только Вы нагнулись к ней
и подняли. И в миг –
так нежно, как нельзя нежней, –
перенесли в цветник.

И посадили на цветок,
среди живых листов...
И лишь цветок расслышать мог
ее пчелиный вздох.

И лишь цветок увидеть мог –
впервые и всерьез –
счастливый узенький поток
ее пчелиных слез.

* * *

Не зову, не молю, не горю, не тону:
я осталась жива.
Я спокойна вполне.
Опечалю тебя: я жива потому,
что и тени твоей не осталось во мне.

От кинжала останется след острия,
от дождя или града – роса на стерне,
а тебя – будто не было: ты отсиял,
даже тени своей не оставил на мне.

Посуди! Разве стоило так уходить?!
Уходя – надо скорби кругом расплодить,
надо сердце, по крайности, чье-то разбить...
Но и тени твоей не осталось во мне.

* * *

Мой день встает,
молоденький и смелый,
лукаво подмигнув,
в окно он щурит глаз:
вставай, мол, друг,
берись скорей за дело,
посмотрим кто кого
на этот раз из нас.
И я встаю, делю его на части,
расписан до минуты он одной.
Но лишь возьмусь – и вижу в одночасье:
трещат все планы,
вскормленные мной.
Я что-то успеваю, но он тает, –
все впереди, ан нет в помине дня!..
Для времени меня всегда хватает,
его же не хватает для меня!

* * *

Одна ли я, в кругу ль друзей, подруг,
на улице и дома, днем и ночью, –
меня ведет какой-то добрый дух,
я это знаю, вижу я воочию.

Дух времени ведет нас, осеняя.
Он крылья дал мне. Любит он меня.

* * *

Прошел и этот день.
И эти сутки.
Я в них была, но я жила не в них.
Мне этот день не отдал ни минутки,
А сам унес десятки дней моих.

Десятки дней моих навстречу плыли,
В окно стучали.
Ждали. Звали. Жгли.
За доброе – добром воздать сулили
И не сулили, – если не могли.

День...
Только день!
Но он один заставил
Меня расстаться с целой цепью дней.
Он разметал их по ветру,
Как стаю
Седых ворон.
Как стаю голубей.

И даже взгляда
Вслед не кинул ей.
Дни – голуби! – Они умчатся, канут.
Но если их
Возьмут мои друзья, –
Все эти дни моими станут
И косвенно продлится жизнь моя.

О СЛАБОСТИ

– Самой себя сильнее в жизни будь! –
Говаривал мой дед. – Не позабудь,
что жизнь во всем всегда сильнее нас –
И деда я запомнила наказ.

Могу сейчас я смело утверждать:
люблю в бою открытом побеждать!
Но иногда, о том не умолчу,
я женщиною слабой быть хочу.

И нежности, что мужеству сродни,
отдаться, в том себя не обвинив.
И как бы жизнь ни поднимала плеть,
ей слабости такой не одолеть!

ВЕСНА

С нагих вершин, в ущелья гор спускаясь,
бушуют воды, сбросив зимний гнет.
Бегут вперед, друг друга обгоняя,
весенних дней, приветствуя приход.

Из-под земли стыдливо зеленея,
прохожих взоры травка веселит,
день ото дня все больше молодея,
к себе она коров и коз манит.

Резвятся птиц кочующие стаи,
лесные чащи пеньем пробудив.
И девушки, с любовью им внимая,
поют среди колхозных тучных нив.

Стройны собой, - как птицы, утром ранним
они поют о радости труда,
в них кровь бурлит, игривее Кубани,
и звездами глаза горят всегда.

* * *

Жизнь – это ожиданье.
Однажды проснешься утром –
и чего-то ждешь. Но день прошел.
Нет! Не был он хорош,
не утолил привычной вечной жажды.
А ты опять, опять чего-то ждешь.

Но вот дождался:
все твои надежды
и все мечты твои сбылись.
И что ж! Ты снова ждешь...
Опять чего-то ждешь...

Вернутся беды, виданные прежде,
заглянут в очи, спросят: «Узнаешь?
Дождался? Съел? Не оценил удачи!
Чего ты ждешь?! Пора бы жить иначе!..»
...А ты опять, опять чего-то ждешь.

* * *

Нередко горец нежным быть скупится.
Не может он свое «Люблю!» сказать.
Но как он любит, как к тебе стремится,
Его глаза красноречиво говорят.

Заглянешь в них –
и в миг оторопеешь:
Ягненка кротость приютилась в них.
Реку Кубань увидеть в них сумеешь.
Ликующий цветочный майский вихрь.

И строгое величие Эльбруса
Увидишь в них,
от счастья ахнув вдруг.
Как сдержанный, застенчивый, безусый
Тебе любовь протягивает вдруг.

1963

РАСПЛЕСКАЛСЯ ЧАЙ

Расплескался чай в купе вагона
Кой-кого успел облить, обжечь.
Расплескалась жизнь моя с разгона –
Невозможно было уберечь.
Но когда бы снова чашей полной
Стала жизнь, я так сказала б ей:
Расплещись!
До капли.
Но запомни:
Никого не обожги!
Не смей!

СЫНИШКЕ СНИТСЯ

Сынишке снится, что дорогой длинной
Ведет корабль он звездный, голубой.
Он днем лепил его из пластилина
И собирался маму взять с собой.

Сынишка спит. Он стал во сне румяный.
Улыбка на губах дрожит едва.
Из-под ресниц – как будто чистый, ранний
Рассвет в горах – струится синева.

Сынишка спит. Я к сну его ревную.
К его постели тихо подхожу.
Смотрю, смотрю на эту жизнь родную,
Не прикоснусь, боюсь, что разбужу.

Сынишка спит. А я уснуть не в силах.
Приходят мысли и лишают сил,
А вдруг война? И я смотрю на сына.
Пожар, и кровь, и пепел... О, мой сын!

Но спит мой сын. Корабль из пластилина
Возле кроватки на столе стоит.
И тот, другой, – над сном счастливым сына,
Над миром, возвещая мир, – летит.

ЭЛЬДАРУ

Тебя покуда нет еще, мой внук,
Но верю я, как верят все живые:
Настанет день, когда с отцовских рук
На этот мир посмотришь ты впервые.

Клянусь тебе, достанет в нем тепла,
внимания, заботы и ухода!
Я даже имя, видишь, припасла
тебе, джигит и продолжатель рода.

Мы – два звена в одной большой судьбе,
ты – продолженье, я – твое начало.
Я так хочу понравиться тебе,
как никому из тех, кого встречала.

А ты-то мне понравишься, дружок!
Ведь ты – моя надежда, а надежде
пристало быть прекрасной, видит Бог,
как старики говаривали прежде.

Ты превзойдешь меня, отца и мать,
и вместе мы тобой гордиться будем –
ведь если живших прежде повторять,
зачем тогда на свет родиться людям?

Но не взыщи: у бабушки твоей
нет в сундуках ни серебра, ни злата.
Так повелось, что с юношеских дней
любовью к жизни – вот чем я богата.

А дни бегут, стареют старики,
и подрастают маленькие дети.
Мой внук, законам жизни вопреки,
неужто разминемся мы на свете?

Не устаю и не устану ждать,
лишь за одним сегодня остановка:
я бабушкой могла б отменной стать,
но я пока что даже не свекровка!

В ОБЩЕЖИТИИ ЛИТИНСТИТУТА

Я болела ни долго, ни мало, –
на неделю с простудой слегла,
и друзей, о которых не знала,
неожиданно вдруг обрела.

По паркету на цыпочках ходит
общежитинский наш коридор,
и машинки трескучие, вроде,
перестали вести разговор.

Вот пришла молчаливая Мира,
оправляет постель мою.
Вот – Новелла с гитарой, как с лирой:
– Хочешь, песню тебе спою?!

Чай оранжевый, чай пахучий
Катиба наливает: – Пей! –
Вот стипендию завтра получим –
накуплю я тебе сластей!

А Галина взялась кухарить,
кашеварить, меня кормить.
Монта Хрома пришла со стихами, –
Без стихов не умею жить!

И уже не лежится в постели.
...Так в заботливой тишине
общежитье всего за неделю
навсегда полюбилось мне.

* * *

Он вверх, других расталкивая, рвется,
локтями все ступени им взяты –
не головой:
решил – коль доведется
упасть, то лучше падать с высоты!

* * *

Я тебя одного в тот буран отпустила.
Спохватилась: «Зачем я сказала – «иди!»
И сейчас же от страха себя защитила:
«Пусть идет. Пусть идет! Все еще
впереди!»

Впереди неизбежные будут бураны.
Значит, смолоду надо себя закалять,
Чтоб все бури тебя не смогли бы свалить,
Чтоб пришел ты в ликующий мир
осиянный!

1959

* * *

Не зовите женщину бабой,
не считайте женщину слабой,
беззащитной, хрупкой, слезливой,
не равняйте с плакучей ивой!

В час войны, в час беды – не мы ли
у станков мужей заменили?!
Кто, скажите, не бабы, что ли! –
По-мужски шли за плугом в поле?!

А ведь, скажем, не без причины
всем известно: крепкий мужчина,
что испытан боем и пашней, слаб
в работе женской, домашней!

Да и надо еще измерить: кто
сильнее умеет верить, кто
выносливее в страданье,
терпеливее – в ожиданье!

И добавлю еще особо:
много надо мужества, чтобы
все ж порой оставаться бабой,
все ж порой показаться слабой...

В ЦИРКЕ

Плясал красиво, без запинки,
конь – дрессированный солист,
и в такт мелодии лезгинки
ритмично, сухо щелкал хлыст.

Встав на дыбы, танцор то вправо,
то влево голову бросал,
изящно, грозно, величаво
над первым рядом нависал.

Звучала музыка игриво,
удил позвякивала сталь,
густая, глянцевая грива
моталась, черная, как шаль.

Конь танцевал, высокий, гладкий,
кругом шептались: - Красота!»
А он лишь изредка, украдкой
косился в сторону хлыста.

Удачный номер! Вдохновенно
гремит и рукоплещет зал,
а конь стремглав бежал с арены –
и даже сахара не взял.

Он в стойле, вздрагивая, замер,
потом затих, прикрыл глаза –
и поплыла перед глазами
небес далеких бирюза.

...Опять он волен, горд и пылок,
Отважен, строен, мускулист.
Нет, нет, не он среди опилок
сейчас отплясывал под хлыст!..

ХЛЕБ

Хлеб каждодневный на моем столе.
Его я преломляю, но сначала
благодарю того, кто на земле
взрастил его. Так мама приучала.

«Молись земле, что к людям так щедра,
дождю и солнцу, вставшему над нами,
они – начала света и добра!» –
И я молилась вслед усталой маме.

Молилась я, не заучив молитв,
простыми, земными словами,
не так, как догма древняя велит,
а по земному – вслед усталой маме.

Но все равно, случалось, не всегда
моя молитва делу помогала:
была в жилище скудная еда,
и главное – что хлеба очень мало.

В чем дело тут – с отчетливостью всей
еще не понимал мой детский разум,
и я была в обиде на людей,
на дождь и солнце в небе над Кавказом.

Еще мне вспоминается война:
свинцовый дождь, обрушившая с неба,
пришла в наш край, жестокая, она,
детей и стариков лишая хлеба.

А если все же хлеб у нас бывал
и средь стола, как солнце, становился, –
желаннейший – он в горле застревал,
сладчайший – горьким сразу становился.

Мы знали: много месяцев подряд,
вздымая к небу гордые руины,
далекий голодает Ленинград,
горят хлеба на нивах Украины.

И хлебороб идет с винтовкой в бой
по выжженной, истерзанной планете,
а там, в тылу, впрягаются гурьбой
в плуги на пашнях женщины и дети.

Военный хлеб – с мякиной, с лебедой!
Для всех времен, поэт, о нем поведай:
он был не только, в сущности, едой,
он был мечтой, надеждой и Победой.

Сегодня вдоволь хлеба на земле,
я всех гостей им щедро наделяю
и прочный мир на всей родной земле
по-матерински вслух благословляю.

Когда ж пишу... Но что тут говорить:
рабочий стол – не скатерть-самобранка,
взрастить свой хлеб и людям подарить
мечтаю я, как истая крестьянка!

* * *

Минуты уходят, уходят,
слагаясь незримо в года:
года отмечаются нами,
минуты – почти никогда.

Минуты, куда вы спешите!
Минуты печально глядят:
минуты мечтали остаться,
от нас уходить не хотят.

Но снова уходит минута,
и вывод отсюда простой:
минута мечтала остаться,
Но ей не сказали: «Постой!»

МОЯ БРОНЯ

Недруги не раз оболгали меня,
но есть у меня потайная броня:
опять за людские пороки скорбя,
я тем лишь спасаюсь, что верю в себя.

МОИ ПОРТРЕТЫ

Не перо волшебное поэта,
не художник в блеске мастерства –
день за днем творит мои портреты
вокруг меня досужая молва.

То в одной, а то в другой подсветке
а сама себя не узнаю:
дальние знакомцы и соседки
вкривь и вкось толкуют жизнь мою.

Все, что знают, предают огласке,
да притом, довольные собой,
там, глядишь, добавят черной краски,
а тут – ничуть не легче – голубой.

Движимы не злобой, не корыстью,
а скорей от скуки – без конца,
мнится, впрямь широкой, жирной кистью
моего касаются лица.

То я получаюсь идеально
(ну, во всяком случае – почти),
то я – и ничтожна, и скандальна
так, что людям страшно подойти.

Там я – человек простой, душевный,
а в работе – чуть ли не титан,
тут я для домашних – ежедневный
мелочный и мстительный тиран.

Там, глядишь, я – мать, каких немного:
двум орлам путевку в жизнь дала!
Тут, глядишь, меня же судят строго –
двух сынов из дома прогнала!

То певцом любимым наших горцев
назовет меня все тот же суд,
то к шеренге бойких стихотворцев,
пишущих «для денег», отнесут.

Странны мне, признаться, те заботы!..
В ясном и прозрачном свете дня
пусть без черноты и позолоты
видят современники меня!

Что я о себе сегодня знаю?
Что меня волнует и влечет?
Я – обыкновенная земная
женщина. Не ангел и не черт.

Часто не по-женски грубовата,
иногда – наивна, как дитя,
я тружусь с восхода до заката
и стихом «болею» не шутя.

И чужую муку принимаю
часто ближе к сердцу, чем свою,
а свою – как рану, зажимаю,
как могу, скрываю и таю.

* * *

Мы счастье ценим,
Счастье потеряв.
Мы догоняем счастье на распутье.
Берем за лацкан.
Тащим за рукав,
Но в сердце горечь,
а в руках – лоскутья.

1962

О, ЖАЛКАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ МОЯ...

Сестры моей последнее дыханье.
Сестра моя, опомнись!
Это я!
Усталый взгляд и пульса затихание...
О, немощь! О, беспомощность моя!
Я за руку беру ее. Напрасно.
А полдень полон блеска и огня!
Я за руку держу ее. Но ясно,
Что смерть ее уводит от меня.
Дышать ей нечем.
Зря взвивает ветер
У занавесок белые края,
Зря снегом веет с гор –
Дышать ей нечем.
О, жалкая беспомощность моя!

* * *

Горянку стройную поэт сравнил с сосной.
Горянка-мать – орлицы величавей,
А девочка пленит своей весной.
По склонам гор, срывая сочный щавель.

Мальчишка скачет, словно козелок,
Лишь ручейки сверкают из-под пяток...
...А там – джигит бросается в поток.
И конь горяч, и миг победы сладок.

Твои дела тебя с орлом роднят,
Джигит, джигит, красавец черноусый,
Два мудрых старца за тобой следят –
Седой Эльбрус и лучший друг Эльбруса
Твой древний дед...

Я, не смыкая глаз,
Ищу сравненья людям, птицам, маю
Тебе ж, поэт, сравненья нет у нас
И с чем сравнить тебя – сама не знаю...

ЛУНА

Я проснулась.
Луна разбудила меня,
Молча, став перед самым окном.
«Что так поздно приходишь ко мне, луна?
Почему не приходишь днем?»
Отвечает луна:
«Я пришла бы и днем,
Только днем не бывает меня.
Отвори!
Я спустилась к тебе за огнем.
Нынче холодно.
Дай мне огня.
Едут гости в мой дом, –
А какой это дом?
О, представь мой очаг без огня, –
И у солнца, с которым встречаешься
Днем,
Теплый луч попроси для меня».

* * *

Лишь семь часов сегодня скрасят тьму:
короток нынче день, подобен мигу.
Что я могла, я отдала ему, –
но как же это мало миру!

* * *

Быть может, век мой и не так уж краток.
Быть может, он как раз настолько
длинен,
Чтоб весточки мне от тебя дождаться!
Быть может, век мой – в самом деле –
краток.
Настолько, чтобы писем не дождаться
И чтобы понял ты, как был повинен!

1962

СИНЯКИ

По давним дорогам хожу я,
подъемы и спуски познав,
по спутникам верным тоскуя,
всего на веку повидав.

Все было на этих дорогах,
и все мне встречалось в пути...
Была я и доброй, и строгой,
и видела цель впереди.

И я уставала нередко –
кому же дороги легки!
И ноги все были в отметках –
тут ссадины, там синяки...

Чем больше их было, тем вдаль я
упорнее шла и быстрей.
Меня синяки подгоняли,
и я становилась смелей.

Я к давним дорогам вернулась –
И нынче хочу посмотреть,
что правильно, в чем обманулась,
что помнить и ныне, и впредь...

И те же они, и не те же,
покрыты асфальтом теперь,
на них спотыкаются реже...
Захлопнулась в прошлое дверь.

Смотрю на себя – я другая,
солидно и чинно иду.
Дорогу мне все уступают
и я у людей на виду.

А может быть, оберегают
меня, чтят стихи и года!..
Но если есть слава такая,
не надо мне славы тогда.

Со мной все почтительны.
Больше
нет рытвин, по старым местам.
я чинно иду, и все горше
тоскую по тем синякам...

СНЕЖНОЕ УТРО

Морозец колется да щиплется.
Румянит щеки, греет кровь,
Холодный иней с веток сыплется
И с ветром улетает вновь.

И там, где блещет гололедица,
Снежком укрыта кое-как,
И стар и мал – любой – проедется,
Как на невидимых коньках!
Скольжу...
И мысль моя старается
Опять на чем-то настоять...
Цветами иней притворяется,
Но сам-то иней – настоящ!
Однако в час, приятный демонам,
Когда уж очень не везло,
Мне даже лед казался сделанным,
Ненастоящим, как стекло.
Но, просветленно и мечтательно
Вступая в снежные сады,
Я забываю окончательно
Про синтетические льды.
И верю сердцем переполненным,
Скользя по истинному льду:
Ни на поддельном,
Ни на подлинном –
Ни на каком не упаду!

А Я БЫВАЮ ОСЕНЬЮ ТАКАЯ...

Осенняя настала тишина,
сама Кубань – стремительный леток –
все лето говорлива и шумна,
сегодня перешла на шепоток.

Все – шепотом: и птицы, и листва,
на тротуар летящая с дерев.
Неразличимы тихие слова
чуть слышен тихий, ласковый напев.

И вся земля притихшая моя
и голубое небо – в тишине
беседуют, как старые друзья,
оставшись, наконец, наедине.

А золото рассыпано вокруг –
роскошество, сводящее с ума!
В такие дни волшебные, мой друг,
иною становлюсь и я сама.

Той самой ранней осени под стать,
брожу, открыта сердцем и светла,
и хочется скорее все раздать,
что за весну и лето напасла...

СОСНА

Сосна простерла руки в небо
и молит небо о дожде,
и шепчет: «Гибну я нелепо,
и гибнут птенчики в гнезде...
Спаси нас, влага дождевая,
уважь, вода, мои века...»

Ее макушку задевая,
проплыли мимо облака.

ГОРСКИЙ ТОСТ

Тост за тостом – пиршество идет.
Тост на тост, как на кирпич – кирпич.
Поглядишь – и небоскреб встает,
и уже, где выход, не постичь.

МОРОЗ

Он подкрался незаметно,
поклонился, встретив нас.
и напомнил:
– Было лето,
а теперь ушло в запас.
Засмеялся озорник
и нырнул за воротник.
Мы вошли в дома скорей,
он остался у дверей.
А назавтра поглядели –
двор узнали еле-еле.
Стало вдруг бело повсюду.
Даль бела и садик бел.
То мороз, боясь простуды,
шубу беличью надел.

* * *

Пусть на заре
за мною смерть придет
(ведь, говорят,
и смерть бывает мудрой!):
Хочу в горах
увидеть синий лед
и акварелью писаное утро.
Последний миг!
Он все в себя вберет...
Пусть на заре
за мною смерть придет.

1965

* * *

Черновики
Черновиков не довожу до черного
Мараньем преднамеренным,
Не ставлю, на них крестов кокетливых,
Ученому
Я их для изученья не оставлю.

Пускай потомки скажут:
«Не работала».
Пускай изучат более глубоко
Того, кто кляксу вскармливал заботливо,
Хранил помарку, как зеницу ока.

Черновики мои,
Черновики мои,
Не строки тут зачеркнуты, а сроки,
И стопы тут стопы,
А шаги мои,
Страницы – не страницы, а дороги, –
Исхоженные,
Сплошь изборожденные –
Не перьями, а сердце острой болью…

Какие же – ответь! – пойдут ученые
По бороздам, прорезанным тобою?!
По этим спутанным,
Грозой пронизанным,
Нехоженым,
Неведомым,
незримым, –
по вновь зачеркнутым
путям,
годам,
неделям,
веснам,
зимам...

* * *

Всегда я в пути
И совсем не боюсь
Ни дорожных тревог,
Ни бессонницы.
Я утром
На жесткой постели проснусь,
И снова
Мой поезд тронется.
Всегда я в пути
И совсем не боюсь.
Того, что в дороге достанется...
Просто не очень я тороплюсь
К самой последней станции.

1963

СВОЯ ПЕСНЯ

«На чьей телеге едешь – того и песню пой».
Телеги я не вижу – воспользуюсь арбой.
Поет возница песню –
и я себе пою.
Свою поет он песню, а я – свою.
Возможно, что за это за камнем, бережком
Меня возница ссадит –
и я пойду пешком...
Ну что ж! Пойду пешком,
Арба – порожняком...
Свою – возница – песню,
А я себе – свою.

* * *

– Какие высокие горы! –
Проезжий турист произнес,
Не глянув на горца,
Который
Все горы душой перерос.

* * *

Я вижу: ты теряешься со мной –
в глазах вопрос, но твой язык немеет.
И дни, и ночи мыслью я с тобой,
открыться же никто из нас не смеет...

Нас ждут с тобой счастливые года,
не вижу разницы, кто первый скажет:
– Да!

* * *

Когда б любовь имела облик зримый,
весь мир бы лег у ног любви моей,
весь мир бы мог назвать ее любимой,
но ты один остался б дорог ей.

* * *

Чем к тебе другие холоднее,
Тем сильней люблю.
А чем сильней
Я люблю тебя,
Тем холоднее
Ты к любви моей.

1961

* * *

Детишки под окном...
Арсена вспоминаю
В Черкесске, во дворе
И он с детьми, я знаю.
Но мальчики уходят по домам –
Торопятся мальчишки к матерям.
А мой Арсен задумался, стоит
И обо мне ни с кем не говорит…

1963

МОЯ ТРЕВОГА

Смотрю на мир,
как никогда, с тревогой,
подо мной качает шар земной.
Но я держусь, и прежнею дорогой
шагаю я, хоть бездна подо мной.

Который год штормит!
Свирепый ветер
бросает судно вбок, назад, вперед.
Качает нас. И берег не заметен.
И пароход вот-вот ко дну пойдет.

Нам смерть грозит!
А я все жду чего-то
и верю, что грядущему дано,
в конце концов, свести с бедою счеты.

Быть может, сбросит идолов оно?
Когда прощались все с «вождем народов»,
я плакала, как все, а мой народ
был втоптан в прах безумным сумасбродом,
чтоб превратился он в покорный скот.

Теперь на жизнь смотрю я очень строго,
хотя вокруг хаос и суетня.
Готова я уже поверить в Бога,
да только Бог поверит ли в меня?

Вот потому смотрю на мир с тревогой,
и все сильней качает шар земной.
Но я держусь, и прежнею дорогой
шагаю я, и верю - Бог со мной.

* * *

Да. Ошибалась я.
Но от ошибок кто пострадал?
Сама лишь я в ушибах..

В КИСЛОВОДСКЕ

Весенний день и легок и прозрачен.
Блистает солнце праздничной красой.
Земля цветет, она в наряде брачном,
окроплена медвяною росой.

Иду, кружу по длинному маршруту.
Зигзаги, спуски, поворот крутой.
Сосновый лес. Березовое чудо.
Почти непроходимый травостой.

Ну, просто рядом поддаюсь искусу:
всего каких-то несколько часов!..
В папахе белой голова Эльбруса
над буркою мохнатою лесов.

Вот-вот дойду!
Вот-вот коснусь руками,
и ледниковой водою напьюсь,
и молча постою под облаками,
и облегчу забот житейских груз...

Взбираюсь выше,
там, где нет опоры,
пойму лишь после, на исходе дня,
что чем к ним ближе,
тем все дальше горы,
что горы отступают от меня.

Зачем же сердце бьется учащенно,
заслышав тот же отдаленный зов,
к манящей высоте неупрощенной
оно стремиться продолжает вновь.

Не чту я сызмальства довольных и покорных.
Мечта моя высокая, свети!
Иду к тебе, иду вперед упорно,
и нет привалов на моем пути!..

ДУМЫ В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА

В окружении мраморных фигур
чувствую себя весьма неловко:
у богини - мраморный прищур,
в нем сквозит, мне чудится, издевка:

«Ишь ведь, взобралась на постамент,
разницу меж нами забывая!
Знать, вообразила на момент,
что бессмертна. А сама – живая!»

Что же я ответить ей смогу!
Поправляю кофточку смущенно.
В этом белом мраморном кругу
я и впрямь, как белая ворона.

Будут ли фанфары и венки?
Я про это думаю не очень.
Я – чернорабочий от строки.
Нравится мне быть чернорабочим.

* * *

Мой карандаш... Простой, обыкновенный,
ты честный труженик, ты создавал слова.
Себя растрачивая в каждом слове.
Ты создавал стихи, послушный мне,
и превратился в маленький обрубок,
но собственного слова не сказал. Жаль...

* * *

Куда бы ни ушла я, –
В равнину,
В море, в город,
Всегда за мной – я знаю
Идут родные горы.

1962

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Земля людей устала от людей,
все хуже мы друг друга понимаем:
под нашими ногами что ни день
она кричит – а мы ей не внимаем.

С нее все новых требуя даров,
по целине дороги пролегая,
рвем вкривь и вкось ее живой покров,
и вот она лежит уже – нагая.

Что говорить: мы беспощадны к ней!
Не потому ль, свои обиды множа,
для нас она с годами все тесней,
ни дать, ни взять – шагреневая кожа.

А мы, самодовольства не тая,
забыв былую трепетность и робость,
уже немало всякого зверья
и разогнали, и столкнули в пропасть.

Порой в стихах тоскуем и скорбим
о временах, что мы застать успели,
когда под небом лунно-голубым
нам соловьи непуганые пели.

А вне стихов – не помним той тоски,
и без оглядки у родной природы
отхватываем новые куски
под жилмассивы наши и заводы.

Меня, друзья, не упрекайте вы:
я – за прогресс! Но с болью вижу снова:
от побеленной известью травы
отводит взор в смятении корова...

* * *

Я – чья-то возможность в любви объясниться,
я – мост меж двумя берегами сердец.
Я, может, не созданной книги страница.
Я чье-то начало и чей-то конец.

Я – чье-то паренье и чье-то паденье,
и чей-то костер и в костре головня.
Я – мира огромного отраженье,
а мир, не гордясь, отражает меня.

Ровесница всем я от году и до ста.
От первого крика до смертной доски.
Пью жизнь. Никогда не напиться мне вдосталь.
А дни коротки, коротки, как глотки.

Вот я молодая, а буду седая,
и менее зоркими станут зрачки.
Но людям ровесницей буду всегда я
от первого крика до смертной доски.

ЗАВТРА

В урочный миг, не раньше и не позже,
встает рассвет. Я верю, верь и ты:
за сутки хоть на волосок, а все же
прибавилось на свете доброты.
Какой туман бы ни клубился где-то,
какие бы ни веяли ветра,
я верю, что на свете завтра больше света
и больше мира в мире, чем вчера!

* * *

Давно подмечено
талантливыми метко,
что бездарь в подлости
талантлива нередко.

МАТЬ И СЫН

– Козленок мой, – ему сказала мать.
– Нет, не козленок! – ей малыш ответил.
– Ягненок мой, – ему сказала мать.
– Нет, не ягненок, – ей малыш ответил.
– Теленок мой, – ему сказала мать.
– Нет, не теленок! – ей малыш ответил.
– Ты мой жеребеночек, – вымолвила мать.
– Нет, не жеребенок! – ей малыш ответил.
– Да кто же ты, в конце концов, такой! –
Воскликнула рассерженная мама.
И, крепко стукнув по столу рукой,
– Осленок я! – ответил он упрямо.

СЫНУ ЭДИКУ

Пятнадцать раз – день твоего рожденья.
Но если в сотый встречу я его –
о, все равно! Он будет, без сомненья,
как первый день рожденья твоего.

И если этот день однажды с болью
ты встретишь без меня среди друзей,
знай, я с тобой,
я, как всегда, с тобою –
и слез невидимых не лей.

* * *

Нет, никогда не уходят годы в Лету,
в темные воды. Время –
Сегодня – мне овладеть им,
Завтра – моим же детям.

Нет, никогда не уходят годы,
переселяются годы...
Время проспав, не успев овладеть им,
ты не ревнуй его к детям.

ИНДИРЕ ГАНДИ

Как выбирают имя для ребенка?
Заботятся о том, чтобы оно
звучало ясно, радостно и звонко
и было смысла доброго полно.

Под небесами, с детства дорогими,
в моей высокогорной стороне
все чаще я встречаю Ваше имя,
и это по душе, признаться, мне.

И усомниться можно тут едва ли:
наследница достойного отца,
на расстоянии Вы завоевали
суровых горных жителей сердца.

Не женский груз Вы подняли на плечи
перед лицом событий мировых,
в наш судорожный век противоречий
и противостояний роковых.

Вы следуете доброму примеру:
в стране древнейшей, вечно молодой
заветы Ганди и заветы Неру
Вам служат путеводною звездой.

Мы крепко Ваше имя полюбили,
мечтая, чтобы дочери у нас
и женственны, и мужественны были,
на Вас похожи в самый трудный час.

Улыбку Вашу знают люди мира,
ей отвечают радостно вдвойне,
все ваши тезки, юные Индиры
в моей высокогорной стороне!

ХОРОШИЙ ОСЕТИН

Я дорогам своим благодарна
и друзьям благодарна своим...
Мне подарен бокал лучезарный
осетином хорошим одним.

Снова в доме моем, как бывало,
засидятся друзья допоздна,
из любимого мною бокала
отопью молодого вина.

Есть для тоста прямая причина,
и меня согревает она,
и бокал за того осетина
я, не пьющая, выпью до дна.

* * *

Всю жизнь веду я бой незримый
сама с собой, к себе строга:
во мне судья и подсудимый –
два человека, два врага.

Один, ссылаясь на законы,
взыскает ясности в речах.
Другому ясность незнакома –
одно смятение в очах.

Они во мне сосуществуют,
как тьма и свет, как «да» и «нет»,
и мучатся, и торжествуют
среди потерь, среди побед.

Вот так живет в единстве с болью
мой дух, работой одержим.
Я недовольна так собою,
как недовольны мы чужим.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Всегда ты мне точкой опоры служила.
Здесь я свою жизнь проверяю по дням.
Здесь в жилы вливается звонкая сила,
на гребни годов, поднимая меня.

По площади Красной иду не впервые.
Здесь я для себя самый строгий судья.
Сюда ежедневно приходит Россия,
чтоб силы могучей набраться, как я.

ОСЕНЬ

Какое нынче утро за окном!
В безмолвном восхищении стою.
Опалены божественным огнем,
крутясь, ложатся листья на скамью.

Весь двор тихонько выстлали они.
Лежит ковер, шуршащий и цветной.
Мне хочется сказать земле: «Усни –
и снова бодрой пробудись весной!»

* * *

Уходят дни в далекие края –
Откуда нет возврата и мгновенью,
Но, неподвластна времени веленью,
она с народом, молодость моя.

С его бессмертьем, с молодостью вместе
она идет, задорна и юна.
Уходят дни... Но не смолкает в песнях
мажорная и звонкая струна!

УТРО
(венок сонетов)

Открой глаза, мой друг, скорей проснись.
Рассвет пришел к нам с песней соловьиной.
Хоть торопился он окрасить высь,
Клинок зари задел сперва долину,
Держа в ладонях синих жаркий шар,
Простор кармином озарил вершины.
На плечи гор накинут тонкий шарф.
Туман умыл гранитные морщины.
Пусть вновь и вновь приходит к нам рассвет.
Тысячелетия от первого рожденья
Горит, ликуя, вечно юный свет,
Дающий радость, уносящий тени.

Что он принес, не спрашивай меня.
Рассвет – награда. Он – начало дня.

* 1 *

Открой глаза, мой друг, скорей проснись.
Упали росы на листву и травы.
Сверкающей слезою пролились
На грудь земную с розы величавой.
Ручья журчание, густой пчелиный звон.
Все слаженней, все громче птичьи хоры.
Плечами раздвигая горизонт,
Заслушались мелодиями горы.
Мой друг, сейчас уйдет рассвет.
Гляди! Ему в дороге не страшны препоны,
Прохладный сумрак ночи впереди
Сорвет он, как джигит с коня попону.

Шутя, играя солнечной лавиной,
Рассвет пришел к нам с песней соловьиной.

* 2 *

Рассвет пришел к нам с песней соловьиной.
Вставай, мой друг, приветствуй этот миг.
И облако, и шепот тополиный,
И весь возникший сразу ясный мир.
А если жаждой утренней влекомый,
Ты припадешь губами к роднику,
Оценишь тот налиток незнакомый,
Какого ты не купишь на веку.
Рассвет спешит. Желанен он повсюду.
Привет от нас он передаст другим.
Пока живу, его встречать я буду
И не устану петь заздравный гимн.

Рассвет в ущелье радугой повис,
Хоть торопился он окрасить высь.

* 3 *

Хоть торопился он окрасить высь.
В низины отдал первую улыбку.
Лучи, сверкая, в косы заплелись
И озарили стан горянки гибкий.
Затрепетали ветры вдалеке.
Потом застыли, словно оробели,
И к материнской бережной руке
Ребенок потянулся с колыбели.
Зарделась, как невеста, алыча,
В соцветье каждом – нежность и доверье.
Навстречу солнцу в этот тихий час
Распахивает горец шире двери.

Из края в край идя дорогой длинной,
Клинок зари задел сперва долину.

* 4 *

Клинок зари задел сперва долину,
И все живое щедростью поя,
Из фарфоровой чаши исполина
Малиновая брызнула струя.
Чабан с отарой медленно и важно
Прошествовал к реке на водопой.
- Орира-рира! – Воздух свежий, влажный
Звенит его напевом над тропой.
Чабан доволен: все ягнята споро,
Копытцами о камни топоча,
Кудрявым облаком летят по косогору,
- Орира-рира! – Можно ли молчать!

И вторит небо эхом не спеша,
Держа в ладонях синих жаркий шар.

* 5 *

Держа в ладонях синих жаркий шар.
Все выше, выше небо пламенеет.
Поет чабан, поет моя душа.
И голос все свободнее, сильнее,
Долина стала от овец бела.
Я попрошу прощенья у эстетов,
Что я отару, не смутясь, вплела
В венок своих лирических сонетов.
Мой край таков. А я люблю мой край,
И запах шерсти, и айран пахучий,
Ты снова, сердце, властно повторяй:
– Орира-рира! – Нету песни лучше.

Пока мы путь с отарою вершили,
Простор кармином озарил вершины.

* 6 *

Простор кармином озарил вершины.
В песчаной россыпи блестящие глаза.
Пусть не алмаз, а чудо совершили
Цвета зари и светлая роса.
Приник родник к скале зеленогорбой.
Негромкий выстрел чашу пересек.
И вслед за ним, отчаянно и гордо,
Ища защиты, выскочил зверек.
Зайчишку серого из-под куста спугнули –
И в это время встретятся враги.
Я не охотник, дичь не караулю.
Боишься! Что ж, и от меня беги.

Здесь далеко услышишь каждый шаг,
На плечи гор накинут тонкий шарф.

* 7 *

На плечи гор накинут тонкий шарф.
Стал очень бледным месяца осколок.
Протягивают сосны, чуть дыша,
Охапки растопыренных иголок.
Они не колются, они еще мягки.
Деревья словно понимают дружбу.
Коснется ветка лапою щеки –
И отводить ее совсем не нужно.
Захочешь, горы отомкну ключом.
Тот ключ простой – он добротой зовется.
Утес поддержит нас своим плечом,
И камень шаткий в пропасть не сорвется.

Пойдем, пойдем туда, где вдоль лощины
Туман умыл гранитные морщины.

* 8 *

Туман умыл гранитные морщины.
Твои глаза единственны, нежны,
Как хорошо, что взрослому мужчине
Порой ребячьи радости нужны.
Бежим с тобой, как будто юность где-то
Нас поджидает снова, верный друг,
Одной любовью и одним рассветом
Освещено пожатье наших рук.
Нас приглашает яркое светило
К той высоте, где лишь орлу кружить.
Почудилось – сынов не мы растили,
И все сначала нужно пережить.

Я лишь прошу у всех грядущих лет:
Пусть вновь и вновь приходит к нам рассвет!

* 9 *

Пусть вновь и вновь приходит к нам рассвет!
Ведь и любовь не переносит мрака –
Цветка чувствительнее нет, –
Он осыпается быстрее мака.
Я говорю известное давно
И не прошу поэтому ответа.
Но человеку многое дано:
Растить цветы и охранять от ветра.
Черты зари несказанно чисты.
Но и у полудня есть свои приметы.
Там зорче даль, ответственней мечты.
Мой друг, не будем забывать об этом.

Присущи людям к верности стремленья
Тысячелетия от первого рожденья.

* 10 *

Тысячелетия от первого рожденья
Горит Венера, ранняя звезда.
Она знакома многим поколеньям,
Но только наше долетит туда.
И солнца луч, стократно отраженный
На матовых экранах корабля,
Подарит утро матерям и женам,
Планете милой с именем Земля.
Нет, он и нас в постели не застанет,
Костер вселенский, радостный восход.
Ушедший день годов не наверстает.
Скорей, мой друг! Вперед, вперед!

О, мне не нужен верности обет –
Горит, ликуя, вечно юный свет.

* 11 *

Горит, ликуя, вечно юный свет –
Светильник истины, источник мира.
Его тепло вплетает мой сонет.
О нем поет восторженная лира.
Но знала я не только красоту.
Потрясена была душа громами,
Когда погиб несущий правоту,
Казненный утром Хулиан Гримау.
Та капля крови до сих пор свежа.
Мои артерии клокочут гневом.
Я не боюсь ни пули, ни ножа,
Но, чтобы жить, мы рождены под небом.

Верни покой, утешь мое смятенье,
Дающий радость, уносящий тени!

* 12 *

Дающий радость, уносящий тени,
Пришел рассвет. Пробуждена строка,
Открыта даль для дум и вдохновений,
Тяжелые умчались облака.
Припомнился мне дедовский обычай,
Что если горец не встречал восход,
Его минуют взгляд и смех девичий.
Тот юноша подруги не найдет.
Наедине со мной порыв и разум.
И на скале раскрывшийся бутон.
Он дик и смел, он тоже сын Кавказа!
А увядание потом, потом...

Цветок любви доверчиво храня,
Что он принес, не спрашивай меня!

* 13 *

Что он принес, не спрашивай меня!
Я благодарна акварельным краскам.
Что каждый раз, волнуя и маня,
Рисуют нестареющую сказку.
Дупло на дереве, звериный след.
Резвящуюся шумно птичью стаю.
О, сколько здесь встречается примет,
Которые, как книгу, я читаю.
А на краю спадающей тропы,
Пока окрашенной местами ало,
Трудяга-солнце желтые снопы
Рекой неугомонною связало.

Каким ни стал бы цвет его огня,
Рассвет – награда. Он – начало дня.

* 14 *

Рассвет – награда. Он – начало дня.
Пою хвалу земле преображенной.
Скачу в седле, и грива у коня
Сверкает рядом факелом зажженным.
От сердца к сердцу предстоит мне путь.
Я не ищу ни почестей, ни славы.
Стучит в висках, сжимает ветром грудь,
Но повернуть я не имею права.
– Орира-рира! – Это голос гор.
В нем столько щедрости торжественной и мудрой!
Спешу к тебе, лечу во весь опор,
Чтоб встретить день и распроститься с утром.

Дороги наши на заре сошлись.
Открой глаза, мой друг, скорей проснись!



МОЙ АУЛ
(Венок сонетов)

Классический сонет – чеканный слог.
Высокопарность древнюю нарушив,
введу в сонет людей, дела их, души,
аул вплету в лирический венок.
Пусть время свадеб льется шумным звоном,
пускай в стихах звучит полей страда,
ржут кони, улыбается ребенок,
идут машины, мчатся поезда.
Не растопить бы лед суровых строк.
Но нежностью и мужеством влекома,
я здесь своя, я здесь повсюду дома,
пойду на жатву, поспешу на ток.

Венок сплетен. Но можно ль не мечтать?
Другой задумала венок начать.

* 1 *

Классический сонет – чеканный слог.
Я чту законы сладкострунной лиры,
но встрепенулся алычи листок,
хор петухов вестит побудку миру.
Торжественное шествие коров,
дыхание коричневого стада,
росой зари умытый лес и кров,
а мне других картин вовек не надо.
Полотна счастья, радости, покоя
написаны талантливой рукой.
Одет парчою праздничный восток,
И я стою, учусь смотреть и слушать.

Возьми, сонет, здесь чистый свой исток,
высокопарность древнюю нарушив.

* 2 *

Высокопарность древнюю нарушив,
ни у кого прощенья не прошу.
Палит гроза из дальнобойных пушек,
к пастушьему бегу я шалашу.
Ищу укрытья от холодных струй
у пахнущих смолою колких веток.
Во мне пастух признал свою сестру.
Я не прошу прощенья у эстетов.
Гроза грозит, но в шалаше тепло.
А мне привычна ливней перебранка.
Да, много лет в разлуке протекло,
но в сердце я по-прежнему крестьянка.

Пока мне солнце мой платок просушит,
введу в сонет людей, дела их, души.

* 3 *

Введу в сонет людей, дела их, души –
и старика, и стройного юнца,
невесту под фатой из белых кружев,
загадочность девичьего лица.
Будь счастлива, горянка, с добрым мужем!
Стихи писали до меня, давно.
Но все равно сонет аулу нужен,
сонет на свадьбе нужен, как вино.
Эльбрус вознесся головой седой
к заоблачным высотам недоступным.
Он напоит меня живой водой.
Кипит волна почти у самых ног,

И там, где реки мчатся по уступам,
аул вплету в лирический венок.

* 4 *

Аул вплету в лирический венок.
Обильны всходы, налились колосья.
Как слезы счастья, утренние росы,
и день ко дню в одной цепи звено.
Все громче, громче перекличка птичья.
В зените солнца медный диск возник,
к цветам альпийским подбежал родник.
В цветах нектар – пчелиная добыча.
С тяжелыми янтарными плодами
деревья наклоняются к земле.
Прохожий, гостем будь. Отведай с нами
плоды, как звезды, что горят во мгле.

И если ты пришел сюда влюбленным,
пусть время свадеб льется шумным звоном!

* 5 *

Пусть время свадеб льется шумным звоном!
Луга и горы поднесут дары.
Дожди прошли, и в запахе озона
кислинка барбарисовой коры,
скворцы снуют по разношерстным спинам –
на пастьбу отправляются стада.
Мальчишка – к речке,
за плечами спиннинг.
Форель заждалась! Это не беда!..
Портфель тяжелый взяв с собой под мышку,
идет за стадом молодой пастух.
Заочник он, весь год штурмует книжки,
читает их и про себя и вслух.

В вечернем небе зажжена звезда.
Пускай в стихах звучит полей страда.

* 6 *

Пускай в стихах звучит полей страда.
Ленивый лай собак в моем ауле,
охотника в седле возьму сюда.
Вогнал он в тура на охоте пулю.
А вот еще парнишка на коне
за «Волгою» промчался, соревнуясь.
И мне легко, и чуть завидно мне:
о, если б снова можно было в юность!
У старика глаза вослед сверкнули лукавинкою:
– Хорошо в ауле!..
– Но, дедушка, я здесь жила с пеленок!
...Я девочка. Бегу цветов нарвать,

И мне навстречу, как тогда, опять
ржут кони, улыбается ребенок.

* 7 *

Ржут кони, улыбается ребенок.
Шум трактора за зубчатой горою.
Огонь зари так акварельно тонок!
В нем тень и свет увлечены игрою.
Не хмурят тучи над ущельем брови.
Кубань несется с облаками вровень
и вторит неумолчным дерзким гулом
могучей песне моего аула.
А экскаваторщик, орел веселый,
ковшом черпает землю котлована,
и скоро в классах музыкальной школы
взовьются звуки форте и пиано.

И, приближая этот час, сюда
идут машины, мчатся поезда.

* 8 *

Идут машины, мчатся поезда.
Я нахожу тропинку без труда.
Окроплены леса и луг росою.
Как это здорово – пройтись босою!
Стоп! Я чей-то грузный слышу шаг.
Я прислонилась к теплому стволу
и вижу: косолапый, не спеша,
к малиннику подходит, как к столу.
Притихший лес! Тенистый добрый лес
протягивает лапы молчаливо,
он светится, он радуется весь,
что видит вновь меня такой счастливой.

Когда б любовь была на краткий срок,
не растопить бы лед суровых строк.

* 9 *

Не растопить бы лед суровых строк,
но лес глядит суровыми глазами.
И мой в лесу заложен был росток.
Я умывалась горькими слезами.
Я так надолго расставалась с ним!
И оттого он помрачнел и сник,
что я к нему вернуться не смогла.
Позастывала на сосне смола.
О, сколько их, таких суровых лет,
судьба пооставляла нам навечно.
Но сразу был родник души согрет,
как только сбросила мешок заплечный.

Пришла сюда не просто в край знакомый,
но нежностью и мужеством влекома.

* 10 *

Но нежностью и мужеством влекома,
зашла в тот дом, где теплится очаг.
И слезы высыхали на очах.
Истосковалось сердце по такому.
Приземистый аульский старожил,
к моей ладони потянулся ослик.
В горах и он немало послужил,
весна ль цвела или желтела осень.
Мальчишкам спину подставлял не раз –
пусть учатся отважные джигиты
пока на нем, на маленьком, сейчас.
Для них дороги дальние открыты.

Я чувствовать могу ли по-иному!
Я здесь своя. Я здесь повсюду дома.

* 11 *

Я здесь своя. Я здесь повсюду дома.
Бегу к реке по берегу крутому.
Утесы розовеют в вышине,
гармоника окликнет в тишине...
Накинув переливчатый платок,
горянка выплывает в танце плавном.
За нею следом горец рослый, славный,
стремительный и гордый, как поток.
Аул вечерний и аул полдневный,
он на груди земли своей родной,
цветок, благоухающий под небом.

Люблю тебя, альпийский мой цветок!
Пойду на жатву, поспешу на ток.

* 12 *

Пойду на жатву, поспешу на ток.
Нет, я в прикрасах вовсе не знаток,
зато прекрасное отлично вижу.
Прекрасное нам от рожденья ближе.
Уйду с рассветом из дому тайком,
послушаю, о чем толкуют птицы.
Я жажду утоляю молоком,
оно прохладней, чем вода криницы.
Легенды древние живут средь круч,
и я могу им заново дивиться,
и заполнять легендами страницы,
где вечное перо заменит луч.

Мне семь цветов у радуги бы взять.
Венок сплетен. Но можно ль не мечтать?

* 13 *

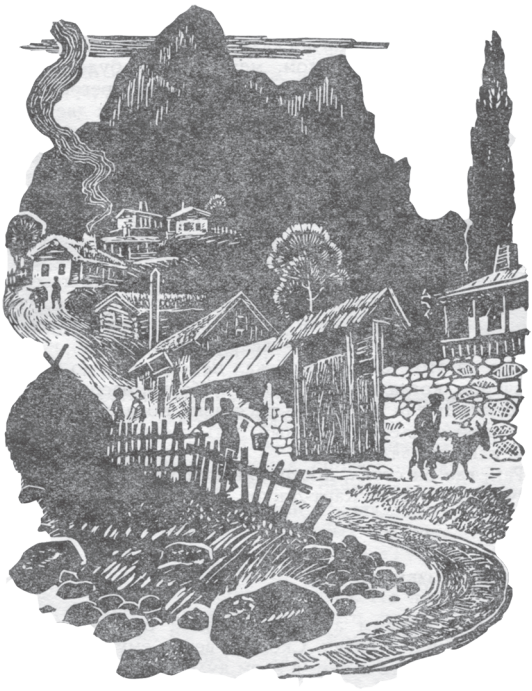
Венок сплетен. Но можно ль не мечтать?
Аул, как мир – сердца раскрыты настежь.
Аул учил дерзать и побеждать,
идти вперед. Одолевать ненастье.
В какой бы ни была я стороне,
пусть много я дорог исколесила,
аул зовет. Аул живет во мне!
Лишь в нем стихи мои черпают силы.
И если бы меня о том спросили,
отвечу, что живу его душой.
Аул, аул! Да это же Россия!
А вся Россия – мой аул большой.

Мне песни вечно петь, мне не молчать –
другой задумала венок начать!

* 14 *

Другой задумала венок начать.
В него войдут мои слова простые,
мой просветленный горный Карачай!
И если бы эстеты не простили,
я вновь бы написала. Все равно!
Прислушиваясь к дружеским советам.
Судьбою мне творить предрешено.
Перо мое избрало строй сонета.
Дела земные. Звездные дела!
Дни осени листаю торопливо.
Но осень так же, как весна, светла.
Счастливый путь, аул мой. Пусть счастливый!

Пусть выполняет свой гражданский долг
классический сонет – чеканный слог.



ИЗ «ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕТРАДИ»

I. ПАРИЖ

Строк о нем написано немало
за его многовековый путь.
Ехала к нему – и понимала:
вряд ли я добавлю что-нибудь!

Но его увидев спозаранок
за моим гостиничным окном,
первая, должно быть, из горянок,
не смогла я не писать о нем.

Вот стоит он, крепко в землю вросший,
весь одетый в камень и асфальт –
родина отчаянных Гаврошей
и неотразимых Эсмеральд.

Я давным-давно по книгам знала
вас, его поэты и борцы,
короли его и кардиналы,
жители ночлежек и дельцы.

Жизни хирургические срезы
Помню – у Бальзака и Золя...
С добрым утром, город «Марсельезы»,
славная, священная земля!

Нет, не чужд мне шум твоих бульваров –
Я стою, не сдерживая слез,
у Стены бессмертных коммунаров,
улочкой шагаю – Мари Роз.

Рада, что «отметилась», коснулась,
что со мной, как друг, ты говоришь,
что проснулось многое, всплеснулось
в этот день в душе моей, Париж!

II. НА КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ

Здесь город мертвых. Мавзолеи
то величавы, то просты.
Роняет осень на аллеи,
как слезы, тихие листы.

Здесь память славных, знаменитых
хранит французская земля.
Читаю надписи на плитах:
Виктор Гюго, Бальзак, Золя, Морис Торез...

И в прошлом веке,
и рядом с нами, в наши дни
об Истине, о Человеке
радели доблестно они!

Их Франция не позабыла
и все земные племена:
оружие различным было,
но цель конечная – одна.

И место это вечно свято
в сердцах и в памяти людской,
как Неизвестного солдата
могила, чтимая Москвой,

Как та, в Святых Горах, гробница
и как тбилисский Пантеон,
куда с любовью поклониться
идет народ со всех сторон.

И розы красные пылают,
и факелами – тополя,
и кажется, что замедляет
свое вращение земля...

Летит листва. Молчат могилы.
Но если прикоснешься к ним,
они тебе прибавят силы,
помогут мертвые – живым!

III. ДЖОКОНДА

К Джоконде в Лувре долго пробиваюсь:
здесь толпы многолюдны и густы.
Пробилась, наконец, и забываюсь.
Я в этот миг – во власти красоты.

Так вот она, колдунья, чаровница!..
Учти притом, читатель дорогой:
не так-то просто женщине склониться
пред обаяньем женщины другой!

Красивых в мире много я встречаю,
да и сама, простите, не урод.
Но как порой, с обидой замечаю,
загадочности нам недостает!

Той самой тайны, трепетной, зовущей
и недоступной луврским знатокам,
которую да Винчи всемогущий
оставил на разгадку всем векам!

Растим детей. Храним очаг семейный.
И все ж, природе женской вопреки,
Уж слишком мы подчас прямолинейны,
уж слишком деловиты по-мужски!

...Она глядит из рамы в этом зале,
открытая для многих тысяч глаз.
Но если б мы загадку разгадали,
Джоконда потускнела бы для нас!

ИЗ «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ТЕТРАДИ»

I. АЗЕРБАЙДЖАН

Азизе Джафарзаде

Пришла я с гор, где гордо заслоняет
почти полнеба Эльбрус-великан,
и повеленье горцев исполняю –
я кланяюсь тебе, Азербайджан.

Не гостьей я пришла сюда сегодня,
и для меня очаг твой – не чужой.
Высоко факел дружбы нашей поднят, –
навеки породнились мы душой.

Нас дружба эта нежно согревает
и окрыляет верностью своей,
как тот огонь, что в недрах добывают
твои сыны для Родины моей.

Понятен горцам Низами певучий,
как звон ручья, как вешний цвет земли.
Нас долголетью учит Ширали,
Самед Вургун любви большой нас учит,

Любви к великой Родине Советов,
неистощимой, словно океан.
Мы гордо повторяем за Самедом:
«Азербайджан наш, Азербайджан!..»

Твои сыны, как в отчий дом, к нам едут.
Но чаще через голубой экран
рассказывают о твоих победах,
Азербайджан наш, Азербайджан!

Сегодня горцы, кто на свиданье идя,
кто – за стадом по крутым горам,
поют, чуть хуже Бейбутова Рашида,
«Аршин-мал-алан, аршин-мал-алан!..»

Твоя земля священной вечно будет,
она красива и юна, как сад.
Азербайджан, твоим спасибо людям –
ты их трудом и знатен и богат.

Запомним мы и этот день прекрасный,
и свет зари над крышами Сальян,
все потому, что ныне дружбы праздник,
что ты нас любишь всех, Азербайджан.
Цвети, родной, ликуй и братьев радуй.
Ты нежен с другом, с недругами рьян.
Тебя таким всегда любить мы рады,
Азербайджан наш, Азербайджан!

II. ШЕМАХА

Шемаха, твое имя, как песенный стих,
не сдержать мне восторженных ахов,
но не перед дворцом ширваншахов твоих,
хоть прекрасен дворец ширваншахов.
Праздник дружбы позвал нас.
Глаза горячи.
Здесь чужая душа – не потемки.
Нас встречали твои виноделы, ткачи,
а не шахи, не шахов потомки.

Каждый дом зазывал нас к себе как друзей,
были веселы, праздничны лица.
Нам охотно показывал город-музей
твой солидный начальник милиции.
И скажу по секрету я, правду любя,
хоть, наверно, секрета не выдам:
твой начальник милиции любит тебя
и хорошим является гидом.
И еще что приятно запомнилось нам,
никогда не забуду момента:
сам великий Сабир тоже рад был гостям
и приветствовал нас с постамента.
Шемаха, свое сердце раскрыла мне ты,
каждый взгляд твой: и теплый, и нежный,
подарила как символ твоей чистоты
шемахинский платок белоснежный.
Слышу тосты сродни чистой горной реке,
вижу добрые, нежные лица.
В шемахинском дворце,
в шемахинском платке
я сижу шемахинской царицей...

ИЗ «БОЛГАРСКОЙ ТЕТРАДИ»

I. РЕКА МАРИЦА

Золотист поздний вечер и тих,
и Марица струится пред нами...
Реки часто зовут именами
дорогих и любимых своих.

Что ей возраст? Она молода
и покоя не знает навеки.
Как счастливые женщины, реки,
не стареют они никогда.

И спокойно, и гордо она
неподвижность небес отражает:
реки чем-то похожи бывают
на людские свои имена.

И каштан, и платан, и орех -
поздним золотом все золотится,
и она серебрится, Марица,
чтоб не быть ей похожей на всех.

Желтых листьев от ветра взяла
и живою водой окропила,
и увядшие их воскресила
и течением вдаль унесла.

То спасает от жажды поля,
то плодами сады украшает.
Та земля, где она протекает,
дорогая ей, видно, земля.

Оттого-то на этой земле
виноград небывалый родится,
и вино золотое «Марица» –
на радушном болгарском столе.

Эти волны от вольной семьи
дорогим серебром отливают.
Удивительно, реки бывают
на народы похожи свои.

II. ДОЛИНА РОЗ

Долина, цветущая в мае,
над розами розовый дым...
Должно быть, мечтая о рае,
его представляли таким.

Одни доживут до заката,
другие раскрылись едва.
От тонкого их аромата
хмелеет моя голова.

И я перед ними склонилась,
и всем, что вблизи, вдалеке,
в отдельности я поклонилась
и каждой рабочей руке,

И все еще слышу поныне,
мне годы забыть не дают
то нежное пенье в долине,
как будто бы розы поют.

Но что меня мучает снова,
что снова привиделось мне!
Здесь – розы, а где-то – люди без крова...
Здесь – розы, а где-то – села в огне...

А розы так благоухают,
что кажется, будто поют.
...Если цветов не сажают,
их, значит, сажать не дают.

Да будут цветы нам защитой,
в прозрачной росе, не в золе...
Цветами, не пеплом покрытой,
как было б спокойно земле!

В ХУРЗУКЕ

I. УТРО

Я окунулась в первозданность,
Гляжу с волнением вокруг.
Теперь уж долго не расстанусь
с тобой, аул мой, мой Хурзук!

Еще молчишь ты, сном объятый,
лишь где-то слышен стук подков,
и, кажется, на наш двадцатый
глядят все шесть твоих веков.

Над нами небо в бледных звездах,
кругом – владенья тишины,
и сосны пьют прозрачный воздух,
свои досматривая сны.

Еще покуда блеклы краски,
дорожная не вьется пыль,
и в высоте витают сказки,
дивясь на сбывшуюся быль.

И вместе с ними свежим взглядом
гляжу сейчас и я сама
на улицу, где сакли рядом
и современные дома.

Но вот и солнце показалось,
усмешки доброй не тая.
Еще недавно мне казалось:
лишь мы не спим – Кубань и я.

Теперь – пора! Сады встряхнулись,
как от хороших новостей,
и к небу ветки потянулись,
как руки маленьких детей.

И тают росные алмазы,
и распрямляется трава,
и мой аул в горах Кавказа
уже приветствует Москва!

II. ЭЛЕГИЯ

Не зря влечет к себе нас край немой:
о юности в нем все напоминает,
о нашей, не о чьей-нибудь иной!
И все же нас в лицо она не знает,

Как будто мы – два разных существа,
и общего уже меж нами нету.
Она осталась тут – и тем права,
а я всю жизнь кружусь по белу свету.

Но не она ли встала у плетня?
Быть может, в этот раз признает все же?
Но нет: молчит. Нет: смотрит сквозь меня.
И от обиды – холодок по коже.

И с места вдруг бросается в рывке,
Окликнув столь же юную подругу,
и без оглядки мчится босиком
по горному, по солнечному лугу.

Опять остановилась вдалеке,
язык, смеясь, кому-то показала:
неужто мне? И вновь с цветком в руке,
веселая, куда-то побежала.

И мне с приездом каждым все трудней
(о, знаю я, что все это значит!)
поспеть за ней и уследить за ней.
Она все дальше от меня маячит.
И знать ей, беззаботной, не дано,
что сердце на двоих у нас – одно.

III. БАБУШКА МЕСИТ ТЕСТО

Бабушка месит тесто в тегене,
платком прикрыла голову и рот.
Бабушка тесто месит в тишине:
так повелось, так повелел народ.

Она сейчас не видит никого:
ни дочерей своих, ни сыновей.
Она сейчас не вспомнит ничего
из жизни честно прожитой своей.

Окликнешь – не откликнется она,
сама с другими не заговорит.
Склоняется, в свой труд погружена,
и лишь молитву тихую творит.

«Мир солнцу, – шепчут губы, – и земле,
мир тем, кто вечно трудится на ней,
кому за хлеб насущный на столе
мы благодарны до скончания дней!»

Бабушка тесто месит в тишине,
не замечая никого вокруг.
А тесто все плотнее в тегене,
и все теплей от этих добрых рук.

Упрям, упруг его крутой замес,
пришла пора знакомиться с огнем.
И хлеб родится – чудо из чудес,
вся жизнь от века держится на нем.

IV. ГАРМОНИСТКА ЧУКУЯТ

Издревле скромность люди ценят
в ауле, близком к облакам,
и лишь в одном порой изменит
она суровым землякам.

Она окажется забытой,
как только вдруг заговорят
о гармонистке знаменитой,
о нашей славной Чукуят.

И как же впрямь не похвалиться?
Завиден праздник у того,
кто гармонистку-мастерицу
зазвал в семью на торжество.

Молодожены вспоминают
недавний свадебный обряд –
и все их гордость понимают:
«У нас играла Чукуят!»

И старики в беседе чинной
улыбки гордой не таят:
«А ведь у нас на свадьбе сына
играла наша Чукуят!»

Есть гармонистки и другие:
у той – краса, у той – наряд,
у третьей – серьги дорогие,
но божий дар у Чукуят!

И я внимала этим звукам,
бывало, час и два подряд,
смогу рассказывать и внукам,
что я слыхала Чукуят.

Аул мой! Сколько нарождалось
талантов здесь за сотни лет –
и сколько славы не дождалось,
явись не вовремя на свет!

А мне, живущему поэту,
каких желать себе наград?
Пусть просто скажут: «Песню эту
сложила наша Халимат!»

МОЯ СТРАНА

Был год, тот страшный год,
и вся земля в огне.
Дороги горя и забот –
дороги на войне.

Вся изрешечена в боях
и вся обожжена,
скорбела ты о сыновьях,
моя страна.

О, сколько их, детей твоих,
осталось в злой степи!
Сухарь, давая на двоих,
велела: «Потерпи».

Сказала мне: «Иди туда,
где боль и смерть!
Иди, как солнце и вода,
Не дай им умереть».

И я шагнула в этот год
со всеми наравне.
Стонал войны водоворот,
и трудно было мне.

Потом взяла моих родных
и молодость война.
Ты стала рядом, вместо них,
моя страна.

* * *

Война всю жизнь мою перевернула,
и горести меня не победят.
Я новых сыновей взрастила,
хоть и боюсь рождения ребят.

ДО СИХ ПОР

Помню: госпиталь.
Тени на белой стене.
Рядом – раненый стонет в бреду.
Жизнь и смерть –
вся ответственность нынче на мне,
Я дежурю.
С поста не уйду.
И пускай за годами проходят года –
с той поры
до последнего дня
я дежурство несу.
И никто, никогда
не отпустит,
не сменит меня.

ЗЕМЛЕ ДОСТАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Земле, когда была война,
четыре года круто было:
в нее стреляли, а она
нас укрывала и кормила.
Земле досталось больше всех.
Ей, разрывавшейся на части,
был счастьем каждый наш успех,
несчастьем – каждое несчастье.
Вставала, шла на смертный бой
и отдавала для пехоты,
буквально жертвуя собой,
господствующие высоты.
– Земля, откуда на войне
брала ты силы!
– Дали силы
сыны, лежащие во мне.
Во мне солдатские могилы.
Не красным солнцем по весне, –
их кровью кровь моя согрета.
Я каждым злаком, что на мне,
им ставлю памятник за это.

ДЕВУШКИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Девушки, девушки – белые бантики,
души, открытые ветру романтики.
Не уступали мальчишкам ни в чем, –
горы – скажи им – поддержат плечом!

Жадно глядели в небесные омуты,
звезды срывали с ветвями черемухи...
Девушки, девушки! Я и сейчас
вас узнаю по сиянию глаз!

Как сохранили вы это сияние
после суровых годов испытания!
Что берегло вас от смертной тоски,
когда уходили на фронт пареньки!

Может быть, девушки, вас берегли
танцы, прически да сны о любви?

Что до причесок – по локонам девичьим
рано, ах, рано прошла седина!
Что же до снов – даже спрашивать не о чем:
были бы сны – только не было сна.

Щеки опали. Заброшены бантики, –
кончились синие грезы романтики:
вместе с парнями девчата надели
шапки-ушанки, ремни да шинели.

Те же, кто дома остались, запрятали
слезы. Надев одежонку с заплатами.
Но оставались и эти, и те
в разных краях – на одной высоте.

ЗАЛИХАТ

(вступление к поэме)

Твой светлый образ – как живой,
я им дышу,
и кровью сердца своего
его пишу.
Я знаю, он стихи мои
переживет –
его в душе своей хранит
весь мой народ.
Ты славным подвигом своим
в века вошла,
и в каждом сердце земляка
приют нашла.

Народ мой свято чтит того,
кто в трудный день
детей и старцев уберег,
помог в беде.

Печально голову склонив,
у ног твоих
я, как букет живых цветов,
кладу свой стих.

И если тысячи других
его затмят,
друзьям-товарищам своим
он будет рад.

Земля их щедро напоит –
пускай цветут,
чтоб знали люди, как тебя
все горцы чтут.

Я верю: песни и цветы
здесь не умрут.
Награды большей не хочу
за весь мой труд.

У сердца пылкого в груди,
в родном краю
носила много долгих дней
я песнь свою.

Я просыпалась по ночам –
звал образ твой.
всегда и всюду ты, мой друг,
была со мной.

Не раз бралась я за перо
в ночной тиши,
и сердце говорило мне:
«Пиши, пиши!»

Мы обе в солнечных горах
с тобой росли
и счастье светлое свое
здесь обрели.

И кто же лучше знал, чем я,
твои мечты,
к чему всем существом своим
стремилась ты!

Так рассудив, решила я,
что песнь нужна,
что о судьбе твоей большой
петь я должна!..

ОДЕРЖИМОСТЬ

Я жизнью одержима –
ее весной и летом,
и осенью, дарящей
нам золото плодов,
зимой, когда под снегом,
под мягким зимним светом
земля вкушает отдых
от всех своих трудов.

Я солнцем одержима,
которое над нами
горит, не зазнаваясь,
что так вознесено,
и нам в сердца вливает
живительное пламя,
и в пашне пробуждает
набухшее зерно.

Я одержима утром,
пленительным и ранним,
когда Москва нас будит,
как мать своих детей,
и вечером, который
отдам воспоминаньям
о пройденных изгибах
моих земных путей.

Я верой одержима
в людей, в их добрый гений,
и если даже недруг
мне рану нанесет, –
мне в душу не заронит
он гибельных сомнений,
не сбросит в грязь неверья
с моих святых высот.

Не потому ль в годину,
когда враги напали,
когда земля оглохла

от грома канонад,
мы тепленьких местечек
себе не покупали –
и я, тогда девчонка,
пришла в военкомат...

* * *

Подобно ветке раненой березы,
в годину горя плакать я могла,
но всю войну – проглатывала слезы,
а в День Победы – волю им дала.
Но, увидав, как мать-Отчизна плачет –
оплакивает павших сыновей,
сказала я себе: «Не надо, значит,
и ныне плакать. Полно! Будь сильней».
Когда же я заплачу! Не тогда ли,
когда ресницы высохнут у всех?
И на земле, где многие страдали,
совсем окрепнут музыка и смех!

* * *

Бураны тебя заметали зимой,
весна пригревала приветно.
Травинки на крыше твоей земляной
качались от горного ветра.
Ах, где ты, мой старый отеческий дом?!
Издревле знакомый с бедою –
ты крепко держался, отеческий дом,
покуда мы были с тобою.
Недуг стариковский тебя не точил,
очаг твой – седой и священный –
спокойно дымился. И вдруг разлучил
нас вихрь морозный, военный.
Я долго скиталась в далеком краю,
и прежней вернулась тропою, –
и вот – над мощами твоими стою...
Я плача стою над тобою.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Горсть земли
в большой патронной гильзе
на моем столе.
Подарок! Сувенир!
Горсточка земли –
щепотка грозной жизни.
Горсточка,
вмещающая мир.

Горсточка земли!
Она так много знает!
С нами – и она была в плену...
Горсточка земли
бездонно много значит:
выдержала все-таки войну...

Прошлое не сон:
мешает разувериться
горсточка земли
да воинская скорбь...
(Лучше бы ей по ветру развеяться,
чем попасть под виселичный столб!)

Падая на гроб, страдала беспредельно,
скатываясь, пряталась в окоп...
(Лучше бы вовек
не знать ей майской зелени,
чем попасть под вражеский сапог!)

...Плоская равнина
с дымкой да стадами,
на ноги вскочив,
как воин, ты дралась!
Сколько же мы за тебя страдали,
столько же страдала ты за нас.

Горсточка земли внутри патронной гильзы...
Волком выл металл,
на брюхе влекся дым...
Ты была жива дыханьем нашей жизни:
наш конец – он был бы и твоим.

Чертит на столе
кресты, пожары, взрывы...
Гильза – летописца карандаш...
Были мы, земля,
твоим дыханьем живы:
твой конец – уж точно был бы наш.

...Горсточка земли внутри патронной гильзы,
все, что помнишь, – вновь перескажи!
Помнишь, как враги
почти зубами грызли
твердые столицы рубежи!

Нет увядших трав
и лепестков опавших
в поле, где герои полегли,
расскажи о павших,
без вести пропавших, –
маленькая горсточка земли!
Именно за то, что бились не напрасно,
травы осенили славный прах.
(Разве человеку может быть неясно
то, что ясно даже сердцу трав.)

...Помнишь ли, как прост,
суров и неузорен
был мороз?
И как закат погас?
Расскажи, земля, о муках Зои,
о последних Зоиных шагах!

Помнишь, как вязали
руки за спиною?
Гнали босиком...
Но, тайный истопник,

не спала земля
под зимней пеленою,
из-под снега
грела ей ступни...

Видела земля и Зоин час последний,
голос был упрям,
и речь была тверда...
Дрогнула земля – старинный исповедник –
«Мама!» – ей послышалось тогда.

Горсточка земли
внутри патронной гильзы:
памятная медь в песчинках да в пыли...
Горькая щепотка вечной жизни –
горсточка петрищевской земли!

* * *

В тот страшный день
обоим нам не было и сорока.
В тот страшный день
обоим нам беда не была близка.

У нас обоих в тот страшный день
победа звучала в душе.
Тот страшный день на вчерашний день
для нас походил уже.

Мы знали, что будет выигран бой,
а солнце – взойдет опять.
О! Многое мы знали с тобой,
могли бы и меньше знать.

Но мы не знали, что назовут
еще до Победы той
тебя – Убитым, меня – Вдовой,
а сына – Сиротой.

БЕДОЙ ЧУЖОЙ ПРИШЛА КО МНЕ ВОЙНА

Война все мой дом навещает,
уж, видно, мне так суждено.
Забвенья она не прощает,
как будто возможно оно!

То днем не дает мне покоя,
то снова настигнет во сне...
Но вот не своею бедою –
чужою явилась ко мне:

приснился мне дом опустелый
в далеком ауле моем,
тяжелый замок заржавелый
навеки защелкнут на нем.

Скрипит он могильно и жутко...
трех братьев война забрала,
а мать, что лишилась рассудка,
детей пережить не смогла...

Все в мире оплачено кровью,
и ноша у всех нелегка...
Скорблю, но на памяти вдовьей
никак не навесить замка...

КОГДА СЛОВА СТАНОВЯТСЯ БЕССИЛЬНЫ!

И снова я плакала горько во сне,
пока я от слез не проснулась…
Я плакала так же в родной стороне,
когда к пепелищу вернулась…

И в праздник Победы, оставшись жива,
я плакала вместе с друзьями…
Когда становились, бессильны слова,
душа говорила слезами…

В БОЛЬНИЦЕ

Сестра надо мною склонилась,
и в гулкой, как сон, тишине
недавняя боль позабылась и
госпиталь вспомнился мне.

Когда я не собственной боли
боялась средь ночи и дня, –
но люди усилием воли
скрывали ее от меня.

Я тоже сестре улыбнулась,
припомнив друзей боевых.
Я мужеству с ними училась,
училась на мужестве их.

* * *

Его хлестнуло по глазам –
огню войны легко обидеть.
– Он будет жить, –
нам врач сказал, –
Он будет жить
и ничего не видеть.
Какие были у него глаза,
сказать нельзя.
Одна лишь мать об этом знала.
И нам казалось,
жжет глаза
свет стосвечового накала.
И чтобы он ушел из тьмы
и видел все,
что видеть хочет,
свои глаза той страшной ночью
отдать готовы были мы.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Восстановили постепенно
поля, заводы, отчий дом...
Период тот послевоенный
восстановительным зовем.
Все нужно было быстро, срочно –
железо, хлеб, электросвет...
И реставрировали точно
картины довоенных лет.
Но мир успел забыть веселье
и как смеется детвора,
забыл про свадьбы, новоселья.
Восстановить бы их пора.
А то четыре года кряду
не смех, а плач со всех сторон,
почти забыли про обряды,
пожалуй, кроме похорон.
Солдатки, что мужей теряли,
седыми становясь в те дни,
так и не стали матерями,
а стали вдовами они.
Земля вздыхала поминутно,
ждала весенних новостей:
ей одиноко, неуютно
жить без колосьев и детей.
Дожди ее беду рассудят,
с лица земли, смывая кровь,
и снова восстановят люди,
как мир,
и ниву и любовь.
Ей всю себя скорей отдать бы.
И вот пошли дары земли,
когда с весельем буйным свадьбы
и свадьбы тихие пошли.
Так выходили замуж вдовы
за сверстников своих мужей.
Жизнь восстанавливалась снова,
светилась в окнах этажей.
Любовь на длительные годы
и на века вернулась вновь.
Тогда не знали про разводы,
в те годы знали про любовь.

ВРЕМЯ ДЛЯ МЕНЯ РАЗДЕЛЕНО НАДВОЕ

(Памяти Х.А. Токова)

Замечаем внезапно,
как время бежит,
обратившись в минуты,
часы и года... –
Для меня мое время,
увы, состоит
из понятья «ТЕПЕРЬ»
и понятья «ТОГДА».

Нету меры такой,
чтоб измерить беду.
Не вернуть мне того,
что уже за чертой.
А черта пролегла
в сорок первом году,
не оставив живым
и надежды пустой.
До того ты опорою
был для меня,
а теперь я припомнить
тебя не смогу...
И печально мой дом
среди белого дня
собирает гостей
к своему очагу.

Мне исправить теперь
ничего не дано.
Так бывало когда-то,
в ином далеке:
мать ткала для детишек
на зиму сукно,
и непрочные нити
рвались в челноке.

Молодые, мы сына
успели обнять,

нашим первенцем
счастливы были, любя.
А теперь я живу,
одинокая мать,
с взрослым сыном твоим,
не узнавшим тебя.

Мы в ту пору еще
не изведали ран,
нынче – горе мое
неотлучно со мной.
Этот тяжкий удел
мне пожизненно дан,
и не внукам своим –
мне ты снишься одной.

На две части неравных
поделен мой путь,
но война от меня
не ушла никуда.
Нету средства такого,
чтоб снова вернуть

то, что было ТОГДА,
то, что было ТОГДА.



ИЗ «ВОЛГОГРАДСКОЙ ТЕТРАДИ»

I. ОСКОЛОК

Горсть земли с осколком ржавым
мне друзья вручили тут,
на кургане величавом,
что Мамаевым зовут.

Память, память, я не знаю,
славить мне тебя иль клясть,
но твоя, пока жива я,
надо мной всесильна власть.

Вот и ныне: улыбаясь,
мирным городом иду –
и как будто оступаюсь
в ту войну и в ту беду,

В грозный год, зимой буранной –
позабыть мы не вольны –
этот город страшной раной
был на теле у страны.

Сталинградские солдаты,
чьи-то братья и мужья,
это вас в тылу когда-то
перевязывала я.

Для девчонки-санитарки
сотни дней слились в одно.
Помню вас, мои товарки,
как все близко, как давно!

Как, бывало, день был долог,
как рвались на фронт мы, в бой!..
Наш ли, вражий ли осколок,
что я сделаю с тобой?

Чью броню ты здесь таранил?
Чьей бедой, чьим горем был!
Может, НАШЕГО ты ранил,
Может, НАШЕГО убил!

Сколько их лежит в могилах,
жизнь, как песню, пронеся!
Я тебя хранить не в силах,
но и выбросить – нельзя.
Я захлестнута нежданной
обжигающей волной...
Маленький осколок рваный,
Что ты делаешь со мной!

II. ПОЭТУ ДАУТУ БАЙКУЛОВУ

Не все умершие – мертвы.
Героев помнят поименно.
Сегодня встретились мне Вы
в тиши священной Пантеона.

Душе знакомое давно,
возникло имя перед нами,
в числе других нанесено
на символическое знамя.

О нет, недаром столько лет
хранила в памяти я свято,
как Вы, известный наш поэт,
меня приветили когда-то!

Застенчива и молода
горянка, дочь родного края,
как растерялась я тогда,
свой путь по жизни выбирая!

Какая лучше колея?
И та заманчива, и эта.
Зовут слова... Но стану ль я
достойна звания поэта?

И Вы поверили в меня
всей добротой большой и строгой,
С того-то памятного дня
иду я избранной дорогой.

И я поверить Вас прошу:
в моей судьбе, в моей работе,
в том, как живу, в том, как пишу, –
и Вы, наставник мой, живете.

А волны музыки плывут,
все глубже сердце облучая...
Я здесь Вам кланяюсь, Даут,
певец родного Карачая!

III. ВОЛГОГРАДСКИЙ ТОПОЛЬ

С каждым годом меньше ветеранов.
Все уходят – каждый в свой черед.
Старый тополь волгоградский – в ранах,
в шрамах весь – их всех переживет.

Он – свидетель битвы Сталинградской,
Принимал огонь он на себя.
Все сто двадцать дней под шквалом адским
он стоял. Вокруг огнем слепя,

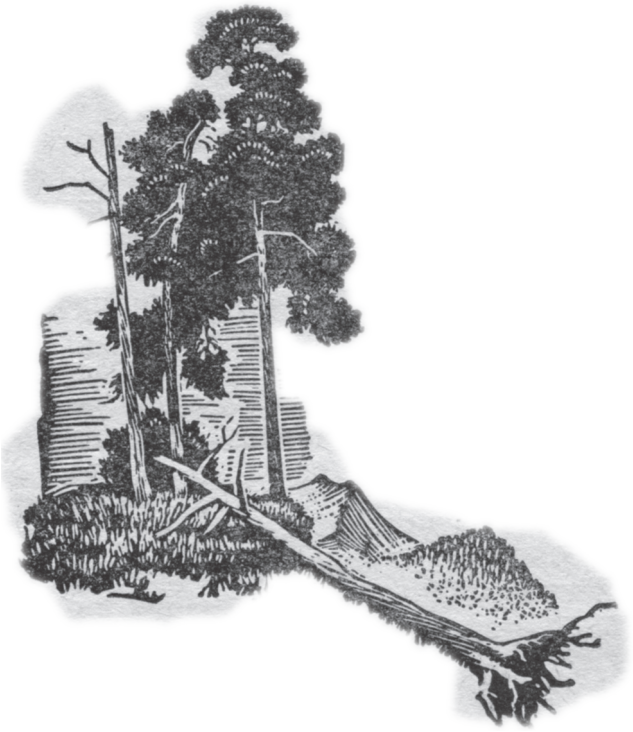
грохотали взрывы и снаряды
разрывались, мир повергнув в ад.
Стройный тополь не просил пощады,
словно стойкость взял он у солдат.

Все сто двадцать дней он, как и люди,
не сдавался, им он был под стать.
В ранах весь, он знал, что с ними будет
дорогую землю защищать.

На себя удары принимал он.
И немало пуль в стволе живом.
Для бойцов укрытием верным стал он
и не падал ниц перед врагом.

Стойкий тополь доказал, что могут
и деревья землю защищать.
Приходил он людям на подмогу,
и сумел средь шквалов устоять.

А сегодня он шумит листвою
и покой погибших здесь хранит.
И зовут Аллеею Героев
ту аллею, где он все стоит.



ЖЕНСКИЕ ПЕСНИ

...Нет. Женские песни ты мне позволь
слагать по-женски:
пускай без конца,
как женщина дом обживает свой,
уютом они обживают сердца.

Пускай по-женски звучат слова
и женских будут полны идей,
пускай, как женщина, будет нова
моя поэзия каждый день.

Пускай, как женщина, песня моя
прекрасна будет. И, может быть,
как женщина, жертвуя и любя,
она заставит себя любить.

Пускай, как мать, отдавая дань
по-женски мужественной судьбе,
одной рукой отсылает вдаль,
другой – притягивает к себе.

* * *

Так хочу я писать,
Как никто не писал до меня.
Так хочу я писать,
Чтобы строка и горела, и жгла –
Не болтать языком.
А кричать языком огня,
Я хочу, грея доброе,
Злое сжигая до тла.
Так хочу я любить,
Как никто не любил до меня.
Так хочу я любить,
Чтоб сердец не коснулась беда.
Чтоб разлуки со мной не единого дня
Ты не смог бы снести никогда.

* * *

Чтоб раз отрезать, говорят,
отмерить надобно семь раз.
Я знаю – верно говорят,
но отрубать привыкла враз.

ПОМОГИ МНЕ, МАМА

То ли устала я, то ли в дороге отстала,
невыносимо порою – и тяжесть в душе.
Но, про усталость не знавшая, ты, как бывало,
мама, помочь никогда мне не сможешь уже.

Что-то из сердца крадет ожиданье надежды,
как холодок, остужающий исподволь кровь.
Ты, мне слова говорившая теплые прежде,
мама, уже никогда не промолвишь их вновь.

Есть в моей жизни такие мгновенья, когда я
словно в каком-то кольце нескончаемых бед.
Мама, слова, что нужнее всего, сострадая,
ты лишь найти мне могла. Но теперь тебя нет.

Бед сиротою и я испытала немало.
Только печаль мне подругою стала в судьбе.
Мама, приди мне на помощь, приди, как бывало,
я, как и прежде, с надеждой взываю к тебе.

* * *

Думаешь, я ослепла, любя,
и от ослепшей прячешься!
Я и слепая вижу тебя, –
зрячесть моя – в незрячести.
Сила твоя – не в силе твоей,
силой со мной не сладишь ты,
сила твоя – не в силе твоей,
сила твоя – в моей слабости.

МОЙ НОВЫЙ ДЕНЬ

Родился день.
Я обживаюсь в нем.
Я так его ждала,
часы гоня!
И вот мы вместе трудимся.
И... ждем уже другого,
завтрашнего дня!
Да, сознаю,
что станет впереди
короче
остающийся мой век –
и все же тороплю я:
приходи,
мой новый день,
как новый человек!
Рассветным
добрым солнцем озарен,
под власть свою
приемля все вокруг,
как незнакомец,
в дверь стучится он,
а уходя –
прощается, как друг.
Всегда как друг.
И никогда – как враг,
каким бы горьким
ни был наш итог.
- Прости, - вздохнет он,-
если что не так!..
А новый день
ступил уж на порог.
Я пристально
в глаза его смотрю:
с минувшим днем
в нем явственно родство,

но должен быть он лучше,
говорю, чем все,
что приходили до него.
Пусть на планете мир он
укрепит,
пусть правду в мире
сделает сильней!
Зачем иначе
шар земной скрипит,
крутясь упрямо
на оси своей?!

* * *

Какой сегодня день?
Такой сегодня день,
что снова я с тобой!
Мое ли это дело -
какой сегодня день!
Такой сегодня день,
что нет ему, как вечности,
предела.
Какой сегодня день?
Захочешь – так среда,
Попросишь – так четверг,
прикажешь – воскресенье...
Какой сегодня день?
Такой, как никогда,
какой бы ни был –
сердцу нет спасенья.
Какой сегодня день!
Вот именно! Весной,
Зимой ли он настал!
В июне иль в апреле!
Какой сегодня день?
Я думаю, восьмой,
не существующий на свете
день недели.

* * *

Одна ли я, в кругу ль друзей, подруг,
на улице и дома, днем и ночью, –
меня ведет какой-то добрый дух,
я это знаю, вижу я воочию.

Дух времени ведет нас, осеняя.
Он крылья дал мне. Любит он меня.

* * *

Я полагала, что любовь мудрей,
и уж не так горазда на оплошности,
не так быстра на промахи, ведь ей
сто тысяч лет! Очнуться – все
возможности.

Ей дали бездну времени на то,
чтоб каплю поумнеть,
так нет же! Дудочки!
С начала сотворения никто
не видывал такой набитой дурочки!

* * *

«Любовь ушла», – глаза твои сказали,
так не смотри же больше на меня.
Вот эти руки солнце осязали –
им холодно у мертвого огня!

* * *

Смогу ли я без ветерка с Эльбруса?
Скажи.
Не наклонившись над ручьем, напьюсь ли я?
Скажи.
А как не пить мне воздух наш, как воду?
Скажи.
Смогу ль все это не поведать людям?
Скажи.

* * *

У красивых украв красоту,
я тебе красоту подарила,
У мечтателей выкрав мечту,
и мечту я тебе подарила.

У влюбленных украла любовь,
и любовь за тобой закрепила
(Ах, зачем я украла любовь?!
У самой предостаточно было!)

Я и верность украла, и страсть,
и чужого страданья безмерность...
(Только можно ли верность украсть?
Стянешь верность – получишь неверность!)

С оговорками в черновиках,
как создатель, творивший из праха,
как раба сотворивший Аллах,
(или раб, сотворивший Аллаха),
из обносков чужого старья
я тебя создавала сама же,
и с поличным не поймана я:
где же ты,
дорогая покража!

* * *

Раньше не могли наговориться, –
Говорили ночи напролет!
И легко слова умели литься,
дождиком на травушку... Но вот –
вместо теплых благостных дождинок,
вместо миллиона нежных слов –
около десятка колких льдинок,
выгнанных другими из домов,
только и осталось... Я не знаю,
кто из нас квартиру остудил,
Мерзлые слова. Душа немая.
И осмыслить – не хватает сил.

ВСЕМ ЗАНОВО ЛЮБУЮСЬ...

Всем заново любуюсь:
этим днем
с его погодой, никуда не годной,
и деревом,
растущим под окном
моей палаты,
скучной и холодной.

Мир открываю снова я вокруг, –
он и такой, и не такой, как прежде, –
как будто виноватый старый друг
явился в новой
праздничной одежде.

Он говорит:
- А ну, вставай, держись!
не так я плох,
как ты в сердцах решила!
Не любишь ты
цепляния за жизнь,
но вот мое плечо –
в нем стать и сила!..

Я возвратилась
из небытия!
И жизнь, как поезд,
мчавшаяся мимо,
на миг притормозила:
видно, я
пока что ей
еще необходима...

* * *

Уходишь ты, но я не верю. Нет,
разве это мы с тобой! Меня
одиночеству доверив,
уйти не можешь, милый мой.

* * *

Впереди идущего порой
оглядят в очки со всех сторон.
Сквозь цветные стекла – он цветной.
Уже как будто он не он.

О БОЛИ

Согнуться бы мне,
надломиться бы мне
под бременем бед и невзгод,
но все я держусь,
как солдат на войне,
шагаю вперед и вперед.

Глаза не потухли,
не горбится стан,
как будто еще молода,
и легкость – походке,
и шутка – устам,
как в молодости,
не чужда.

О нет,
не из тех я, кто личную боль
лелеет и нежит в себе.
Не знаться б,
незваная гостья, с тобой,
Ты – лишняя
в женской судьбе!

Показывать людям тебя
не хочу,
не всхлипну,
свой жребий кляня...
Но если
о боли Земли промолчу, –
друзья,
прокляните меня!

* * *

Боль с безбольем.
Пустота во мне.
Чем заполнить!
Ты один – лекарство.
Боль с безбольем.
Это ты во мне.
Друг мой,
Враг мой, –
Ледяное царство.

* * *

Картошку разрезаю на кружки,
а лук в руках рассыпался на кольца,
а в мыслях – нерожденные стихи,
похожие на шепот богомольца.

Как женщина, я покидаю дом:
как мало в кухне солнца для поэта!
Гремит прибой о белый волнолом,
где простыни в саду летят по ветру.

Душа коснулась молодых орбит,
Эльбрус мой для меня сверкает...
А в это время... молоко бежит
и лук неумолимо подгорает.

* * *

Мы сетуем нередко на мужчин:
то в них не так, и это не про нас.
Но именно на них не без причин
мы опираемся в трудный час.

* * *

Солдат вернулся из армии домой.
Шумит, ликует дом.
Он сдал экзамен там на мужчину.
Гадаю –
сдаст ли экзамен за столом!

* * *

«Пишу я сердцем, сердце ноет,
- твердят - оно обнажено...»
Но сердце сердцу рознь, порою
пусть лучше прячется оно.

* * *

Когда устану от работы и заботы,
припомню руки матери своей –
и руки сами тянутся к работе,
и на душе становится теплей.

Когда же цели я достичь не в силах,
джигита вспоминаю я порой,
который вырвал на Эльбрусе синем
из пролетевшего орла перо.

А если вдруг я зачерствею малость,
придут друзья – и сердцем отойду.
А если скажут, я недоброй стала,
то, значит, я обычаев не чту.

***

Люблю я дни с весеннею грозою,
когда сверкает молния, будя
от спячки землю, полную покоя,
и брызжут капли первые дождя.

* * *

Избороздив весь шар земной,
богата стала я в пути.
Друзья мои – клад дивный мой,
в дороге их смогла найти.

И ДЕНЬГИ МНЕ НУЖНЫ, КОНЕЧНО...

И деньги мне нужны, конечно –
им бытовать еще года.
Но если их копить, не тратить,
зачем они нужны тогда!

Мне и друзья нужны, конечно,
они опора мне в пути,
но если верность их не вечна,
до цели с ними не дойти.

И дети мне нужны, конечно,
в них – продолженье дней моих,
но коль земля от них заплачет,
зачем иметь детей таких!

Мне и любовь нужна, конечно,
ее умею я ценить.
Но если не испепеляет
она, зачем тогда любить!

И похвалы нужны мне тоже,
они способны окрылять,
но лучше умный пусть ругает,
чем глупый станет восхвалять.

И долго жить хочу, конечно, –
век не короткий нужен всем.
Но если стану жить впустую,
то долго жить тогда зачем!

* * *

«Люблю народ мой», –
открывалась книга моих стихов
такой строкою скромной.
Но мой редактор молвил:
«Зачеркни-ка!
должна любить весь мир,
весь мир огромный».
Чья правда?
Он – любовью благородной
весь мир объял.
А свой народ – ни капли.
А я влюбилась в маленький народ мой
и через это – в целый мир.
Не так ли?

ВСЮ ЖИЗНЬ Я ЧТО-ТО РАЗДАЮ...

Всю жизнь я что-то раздаю –
смех, уважение, улыбки...
Случается, что раздаю
Гнев, ненависть –
не за ошибки,
а за пороки...

Но во мне
так много нежности, веселья,
что равнодушью никогда
не замести их злой метелью.
Да здравствует бездонность чувств,
богатство дней моих! Прекрасно,
что много добрых есть людей,
что не грущу я понапрасну,
что время, душу раздаю,
любовь,
при этом не скудея,
что равнодушья не дарю
другим –
его я не имею.

* * *

Редактор статью возвращает опять.
- Талант, говорите? Не знаю...
...Нас дома не очень спешат признавать,
Покамест Москва не признает.

* * *

По-прежнему живу неэкономно,
не плачу над секундой: погоди!
Все кажется: по-прежнему огромна
та жизнь, что ожидает впереди.

И, словно ускользающего клада,
не жаль мне улетающего дня:
я в нем жила, чего ж еще мне надо,
поклон ему, спасибо – от меня!

Спасибо, что, поблажки не давая,
он потрудился заодно со мной!..
А уж сама, на цыпочки вставая,
гляжу, гляжу в свой день очередной.

Мне угадать не терпится: какой он,
мой самый долгожданный из гостей?
задумчив ли, серьезен и спокоен,
отмечен ли кипением страстей?

Разматывая нить житейской пряжи,
забочусь я и думаю о нем.
Он дорог мне пребудет, если даже
окажется моим последним днем!

* * *

Вот тебя превзошел ученик.
Отчего ж головой ты поник?
Прогони свою грусть без следа.
Для чего же учитель тогда?!

* * *

Тот день мной вычеркнут из дней идущих.
Из жизни выбит он, как на войне.
Его ни в прошлых днях,
ни в днях грядущих
не оказалось по моей вине.

Мне предназначенный,
готов за жизнь был драться,
готов был сеять, и пахать и жать.
Так он старался, чтобы удержаться!
Да я-то не старалась удержать.

Что день один?..
Не конь он и не грузчик!
Подумаешь, потеря близнеца,
когда толпе других, за мной идущих,
не видится ни краю, ни конца!

Пусть для меня взошел:
«Бери! Я – сила!
Пожалуйста! Пришел я в нужный час!»
А я его и в дом не пригласила.
И тут же за порогом он погас...

Лишь позже поняла:
встал он в рабочей блузе
у подворотни совести моей,
чтоб с чистой совестью да с добрым грузом
жить вечно среди тружеников дней.

Он мной убит...
И я признаюсь честно,
коли другим в ряду не уцелеть,
их будет жаль, а впрочем, неизвестно,
кого из нас мне надо пожалеть.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Последняя любовь,
не уходи!
Не покидай,
последняя отрада!
Терзай и мучай,
раны береди,
но будь со мной.
Не уходи.
Не надо.

Обиды на меня не затаи
за то, что не всегда
тебя ценила.
Я искуплю
все промахи свои.
Не уходи!
Все без тебя немило.

Последняя в моей
земной судьбе,
всех прежних ты
нежнее и нужнее!
Протягиваю руки вслед тебе:
не уходи;
не то – закоченею...

* * *

Сыны мои,
Я жду вас каждый час.
Вы далеко,
У вас своя забота,
А я все жду
И сетую на вас...
Вы улыбаетесь
Мне только с фото.

* * *

Я так собою недовольна!
Ах, до чего же я не та!
Как мул упряма, но безвольна.
Сложна, как ребус, но – проста!
И полюблю - не очаруюсь.
И разлюблю - не отвернусь.
Сама с собой часами спорю:
«А вот уйду!» – «А вот вернусь!»
Все сомневаюсь, беспокоюсь...
И лишь в одном сомнений нет:
Садясь на жизни скорый поезд,
я заплатила за билет.

МОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество разным бывает:
то спасает меня тишиной,
то в нем юность моя оживает,
те, кого уже нету со мной.

И глаза мои зоркие видят,
если даже сижу без огня,
всех врагов, что меня ненавидят,
всех друзей, что простили меня.

Все изгибы дороги далекой,
той, что выпало мне исшагать.
Верно, надо побыть одинокой,
чтобы к людям вернуться опять...

* * *

О, день сегодняшний весь мой, совсем!
Но, как понять? - его хватило всем.

* * *

Возврата в чей-то дом беды и тьмы,
и суховея для полей и сада,
а для скота – бескормленной зимы, –
такого возвращения не надо!
Возврата же ушедшей доброты
из сердца – я б хотела всей душою.
И чтоб в дом родной, как путник, ты вошла
этою вьюжною порою.

* * *

Люблю! Пусть не я придумала.
Пусть повторяю только.
Ветром ли осень дунула,
снег ли несется колкий.
Люблю! – и опять повторяю,
к рощам тяну ладони,
к закатам, что догорают,
к поезду, что на перроне.

Горжусь ее щедрой зрелостью,
и каждым побегом зеленым.
Я не охвачена ревностью.
Я радуюсь всем влюбленным.

В праздничном платье ли Родина,
или в спецовке буден,
люблю все, что с ней пройдено!
Люблю все, что завтра будет!

МОЙ АВГУСТ

А были метрики – каменья,
пером у горцев был кинжал...
Отец мои года рожденья
ножом на палке нарезал.

Но он давно сошел в могилу,
а палку потеряла мать.
Тогда день августа решила
я днем рождения назвать.
Зачем – не знаю я – был нужен
мне август много лет назад!..
Другие месяцы не хуже,
и каждый чем-нибудь богат.

Ну что ж, пусть август, я и рада:
в нем – солнца ярь и шум полей,
в нем – ожидание награды
за труд горячий на земле.

О, быть бы мне, как август, щедрой,
неутомимою в делах,
чтобы строка на крыльях ветра
и свет, и радость всем несла!

* * *

Лейся, песня, лейся!
Все во мне поет.
Лейся, плачь и смейся!
Все во мне поет.

Всю планету мне бы
Музыкой обнять,
А из песен небо
новое создать!

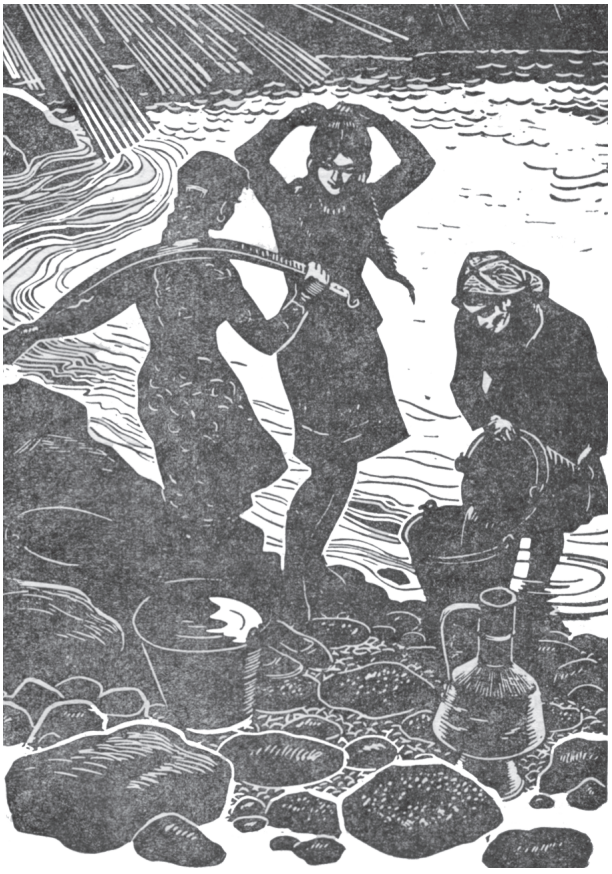
Ох, как много песен!
Я схожу с ума!

Может, я из песен
состою сама?

Лейся, песня, лейся!
Дома не сиди!
Вокруг земли обвейся,
в каждый дом войди.

ВЗОЙТИ ЕДИНЫМ ДНЕМ

Хотела бы я стать
Одним-единым днем.
(И солнце бы взошло,
И землю осветило.)
Одним коротким днем.
Одним недолгим днем,
Но так, чтобы на всю
Подлунную хватило.
Одним коротким днем.
Одним недолгим днем.
Но чтобы крылась в нем –
Коротком и недолгом –
Толпа грядущих дней,
Живых его огнем,
Бригада, где никто
Не смеет быть недобрым.
Взойти единым днем,
Уйти единым днем.
Уйти, рассыпаться
На огненные брызги,
Чтоб мир забыл меня...
Но отраженной в нем
Я продолжалась бы,
Как солнце в лунном диске.



Рассказы

Перевод автора с карачаево-балкарского языка

АЙРАН

Вот уже полгода, как я в Москве. Мне здесь нравятся и театры, и дома, и улицы. Здесь есть все, что захочешь, кроме айрана – такого, как делают у нас, у подножия Эльбруса, ну хотя бы в моем родном Хурзуке. Может, он потому хорош, что самый чудодейственный молочный грибок, говорят, есть у нас, в Карачае. Об этом я и сама в книгах читала.

Говорят, что мы, карачаевцы, красивый народ. А это, говорят, от ежедневного питья айрана. Карачаевцы – долголетний народ. И это – от айрана.

И вот здесь я, нет-нет, да и скучаю по айрану. На бесконечные вопросы родителей в письмах, чего бы мне хотелось получить из дому, я возьми да и напиши: айрана. И что же? Сегодня приезжаю после лекций в общежитие, а вахтер дает мне бидон и конверт, и на конверте моя фамилия. Но, может, это и не от родителей? Вскрываю конверт, там фотокарточка незнакомого парня, а на обороте размашистым почерком написано: «Вы не думайте, девушка, что я в вас влюблен и потому тащил этот бидон айрана с Кавказа в столицу. Как бы не так! Фото же оставляю, чтобы вы кое о чем вспомнили, раз так любите айран... Чтобы любить, надо знать предмет своей любви...»

Странно. Кто же это? Что за слова? Я, что ли, не знаю предмета своей любви? Постой, о каком же предмете он? Ну да... Об айране, конечно. Как будто я не знаю. И еще что-то я знаю... Ох, как еще знаю! Но что пользы от того, что знаю я, только я, одна сторона то есть... Разве я могу сетовать на это – я ведь некрасивая. Двадцать лет живу на свете, а никто не назвал меня красивой. Все говорят: «Софият – тихая, хорошая девушка». И все. Неужели люди не знают, что это очень приятно, когда тебя называют красивой. Ну, хоть один раз при ребятах назвали бы красивой. А они все

«тихая» да «тихая». Видать, айран не помог. Может, я его мало пила? Я сто раз смотрела на себя в зеркало. И в самом деле, меня не за что назвать красивой: длинной и толстой косы до пят, как у наших горянок, у меня нет – торчат два кошачьих хвостика, лицо конопатенькое, лоб в два пальца высотой. Нос, правда, правильный вроде. Но с тех пор, как увидела кинокартину «Девчата», я точно знаю, какая я. Там есть девушка, не та, которая в конце концов выходит замуж за артиста Рыбникова, а другая, которую во время танцев в клубе никто не приглашал. А потом они вдвоем с будущей женой Рыбникова идут танцевать. Может, эту девушку никто из зрителей и не заметил, она ведь в фильме не говорит ни одного слова, а я заметила сразу и запомнила, потому что мы с ней похожи, только я чернявая, как все кавказцы, а она русая.

Я забрала бидон с айраном и пошла наверх. Иду, иду, иду. Вот наша комната – девяносто вторая. Девочки дома.

Я вхожу и тихо говорю: «Айран». И ставлю на стол. Сажусь, даже не раздеваясь.

Девчата бросились к бидону – я часто рассказывала им об айране. Киваю на бидон: пейте, мол, сколько хотите. Они наливают в стаканы себе и мне. Обе разом подносят стаканы к губам, но замечают, что я не двигаюсь, и спрашивают:

– Что с тобой, Софият? – Катя обнимает меня одной рукой за шею.

– Что случилось, Софа? – спрашивает Бибигуль, пристально глядя в мои глаза.

Я снимаю синие с белыми цветами варежки, вытаскиваю из кармана фотографию незнакомого парня и бросаю на стол рядом с бидоном. Девушки разом протягивают к ней руки. Бибигуль читает вслух надпись и бросает карточку на стол. Девочки издали смотрят на того, кто за тысячи верст привез нам айран. А он, кажется, смотрит на меня, смотрит серьезно, даже чуть сердито. Ну да, на меня можно смотреть только серьезно, а не так, как на красивую, – любуясь. Ох, до чего плохо знать, что ты некрасивая... Катя возмущается:

– С первых дней своего существования фотографии дарятся с нежной надписью. А тут какой-то грубиян. «Не думайте, девушка, что я в вас влюблен». Кто в твоей любви нуждается? Скажи, пожалуйста! Да у Софият будет парень получше тебя!

Встаю и снимаю пальто. Девушки гадают: кто этот парень, куда исчез, почему адреса не оставил. От себя ли, от моих ли родителей привез айран? Ах, айран! О нем чуть не забыли.

А он уже вылезает из бидона, тесно ему там – пенится, шипит. А какой запах исходит от него! Я сразу вспомнила наши горы, Бийчесын – это пастбища наши, альпийские, знаменитые.

– Девушки, давайте пить айран, а то он скоро весь выскочит из бидона,– говорю я и беру свой стакан. Пью, а айран что-то шепчет мне, влезает в нос, щекочет, дразнит. И освежает как-то особенно. Наверно, рассказывает, как там у нас, в Карачае. Кто этот айран сделал. Как делал. Нелегко, я знаю. Слушаю. Пью и слушаю. А перед глазами в стакане пузырьки, как птичьи глазки, то раскрываются, то закрываются. Может быть, это птицы гор шлют мне и моим подругам привет. Пью. Губы не хочется отрывать. Подруги тоже пьют. Катя и Бибигуль хотят еще налить, но я останавливаю их:

– Подождите, девочки. В бидоне не больше трех литров. Литр, наверно, мы уже выпили...

– И что с того? Что ты хочешь сказать, Софият? Неужели бережешь для этого вот грубияна?

– Нет,– отвечаю,– если б я знала, где он, я бы отдала ему обратно. Я хочу, чтобы пили все в нашем общежитии, ну на сколько хватит...

– Не понимаем, что ты задумала, Софият,– говорят девочки.

– Что тут не понять? От айрана люди долго живут, и пусть его капля прибавит нашим студентам хоть по капле жизни. Ну, пусть лишний день поживет человек.

– Ой, какая ты у нас добрая... и красивая,– добавляет Катя. Она-то знает, что мне этого, последнего, слова не хватает. Но это приятно, когда скажут ребята при ребятах. А свои что, девчата! Они меня и так любят.

Я заглядываю в бидон. Айран, как воздушный. Рвется и рвется вверх на свободу. Вот если бы сесть где-нибудь на углу людной московской улицы и каждому поднести хотя бы кофейную чашечку айрана – нате, пейте, пожалуйста, живите долго, дольше, чем положено. А некоторые, наверно, вздумали бы предложить деньги. Чудаки! Они не знают, что карачаевцы любому человеку, попросившему пить, выносят добрую чашку айрана. А айран-то нелегко делается...

Мы втроем разносим по комнатам айран, у нас маленькие кофейные чашечки. Все пьют с удовольствием. Благодарят.

– Живите долго, – говорю я. – В нашем крае живут дольше всех, это от айрана. Недаром его дают пить у нас на курорте Теберда.

Мы возвращаемся к себе. Катя говорит:

– Пусть айран подождет до завтра.

– Конечно, – соглашается Бибигуль. – Но давайте чуточку выпьем еще.

Чуточку так чуточку. Мы делим один стакан на троих. Айран такой приятный, усиливает аппетит. Вот это уже плохо. Для нас, например. И так аппетит, слава Богу.

Каждая из нас теперь берется за свое дело: мне надо зубрить французский. У нас, в технологическом, тоже надо знать иностранный... Я уже нема-

ло слов знаю. Бибигуль гладит наши платья для театра. Катя расстелила на столе чертежи, приколола кнопками. Чертит. А тот, который привез айран, на столе. Постой, что это написано на нем, прямо на левой стороне груди? Узнаю Катин почерк: «Грубиян. Ни одна девушка за тебя не пойдет!»

Молодец Катя. Правильно. Так ему и надо... Деликатес – деликатно. Десамбр – декабрь. Белль – красивая... Подумаешь, я не знаю предмета своей любви! Что я, в айран только влюблена, что ли? Пусть даже так. Если в айран, уж я-то знаю его... этот предмет своей любви. Чтобы сделать айран, надо молоко. Ну, а как молоко добывается, уж это мы знаем... извините, пожалуйста. Ма шер – моя милая. Камарад – товарищ. Консерватуар – консерватория. Я-то знаю – хотя бы взять ту ночь, на далеком Бийчесыне, ту дождливую ночь... Ма шер. Мои ами. Бон-жур... Ой, сделай радио погромче, Бибигуль! Слышишь, поет Робертино Лоретти...

Уже вечер. В окно видны разноцветные огни Москвы. До чего это прекрасно! Смотришь и не налюбуешься ими. Но это не то слово «не налюбуешься» – гордишься этими огнями! Они рождают мысли, какие-то «возвышенные», как их называют. Подвиг хочется совершить.

Мон ами, ма шер, белль... А айран и этот грубиян не выходят из головы. Я помню айран после той дождливой ночи. Я тогда впервые оказалась на Бийчесыне. Я чуть с ума не сошла, увидев такую красоту. После окончания десятилетки я поехала туда. Коров доить как следует не умела, дома-то доила, конечно, свою корову, а ферма – это не то, что дома. Там много коров. У меня, кажется, было шестнадцать. Тогда у нас там никакой «елочки» не было, все руками. Три мои коровы – Алакез, Сарыкулак, Кекбаш – были с характером, меня не хотели признавать. Долго со мной враждовали. Мне было очень обидно, что я их люблю, а они меня не любят… А потом они так привыкли ко мне, что за тридевять земель узнавали и бежали, чтобы я их ласкала. Однажды наш зоотехник сказал, что животные сразу чувствуют неподдельную любовь к ним. А почему-то сам зоотехник не почувствовал к себе неподдельной любви... Об этом я сказала и корреспонденту газеты, который приезжал меня фотографировать. «Чем вы объясняете ваши успехи в надое молока?» – спросил он. Я сказала, что к животным надо относиться, как к людям, и все...

Ой, Аллах, уже семь часов, а мне надо выучить сто слов... Ле камарад, мон ами...

– Этого парня надо найти, пригласить вот сюда, на наш совет, и спросить: гражданин, что вы хотели сказать этими словами? Будьте любезны, объясните нам!– сказала вдруг Катя, теперь уже отрываясь от Хемингуэя.

– Правильно, мы должны друг за друга горой стоять,– прибавила Бибигуль.

А я-то хотела забыть об этом. Незнакомец, что с него возьмешь. Исчез и исчез. Ну, а девочки мои – умницы. Ох, как я вас люблю, если б вы знали!

Ну, конечно, вы знаете. Я не понимаю, почему он думает, что я не знаю предмета своей любви. Ну, пусть, по его мнению, этим предметом будет айран. Мне на всю жизнь запомнилась та дождливая ночь, а ведь были еще хлеще и дни, и ночи. А в ту ночь, что и говорить, мне было страшно, ой, как страшно. День до обеда выдался солнечный, с ветерком.

Наш пастух в тот день уехал в село, чтобы отправить свои документы в сельхозинститут, а за него остался пасти хромой и тугоухий старик сторож. Коров он пригнал на вечернюю дойку, но среди них моей Алакез не оказалось. Я забеспокоилась, быстро подоила коров и девчатам сказала, что посмотрю: наверно, где-то тут пасется эта обжора Алакез. А старик что, ему неудобно, конечно, но куда он побежит? Я пошла одна, чуть ли не бегом. Уже смеркаться стало. Кричу: «Алаке-е-ез!» Тишина. Не откликается моя Алакез. Иду и чуть не плачу, жалко корову, сильно жалко, вдруг волки... Кричу, бегу, уже не думаю о том, что далеко ухожу от фермы. И вдруг на мой отчаянный зов что-то промычало. Ох, это она! Я из тысячи коров различу ее голос. Бегу. Вижу, что-то белеет у холма. Опять зову. Опять мычание. Я туда, а она отделилась от какого-то предмета и шагнула ко мне, потом назад, как бы зовя меня за собой. Вижу, на траве – теленок. Боже мой, что же это?! Ведь мы-то считали, что Алакез еще не скоро отелится. Такие ошибки нередко бывают, в этом и наш зоотехник виноват, да и я тоже. Что же делать? Ну, вставай, лодырь, говорю, надо домой. А теленок в самом-то деле такой лодырь, что вставать совсем не думает. Алакез между нами мечется: ей жалко меня, жалко и свое дитя.

...Когда я взяла теленка на руки, вдруг увидела, что за нами кто-то крадется. Алакез тоже сразу почувствовала опасность. Я уронила теленка от страха. Хорошо, что трава мягкая. Голос у меня совсем пропал, но я подхватила теленка и пошла вперед. Алакез отстала от нас, слышу хрип. Борются корова с волком. Вскоре Алакез догоняет нас, потом отстает, потом еще догоняет, еще отстает, а я про себя: «Не давай нас, милая Алакез, на растерзание». Я не чувствую своих рук, они как деревянные, и силы откуда-то берутся, и я иду, иду, а мне кажется, что бегу. Вдруг теленок жалобно замычал – это, наверное, я впилась ногтями в его тельце. В это время опять Алакез догнала нас, а волк не отстает, слышу, как сквозь сон, его хрип. Вдруг я увидела: почти рядом со мной светятся два огонька. И страшный скрип зубов. «Еще один!» – промелькнуло в голове. Не помня себя, крикнула изо всей силы. Алакез опять схватилась с волком. В это время слышу: кричат, зовут меня. Идут люди с факелами. Окружили нас, а я стою, не могу опустить на землю теленка или передать кому-то. С трудом оторвали от меня теленка. Алакез, измученная, подошла к нам. На ее рогах клочья волчьей шерсти, на ноге – большая рана: схватили-таки, проклятые!..

Теперь тот теленок превратился в красавицу телку...

Вот как айран добывается. А этот, что айран привез, может, и понятия не имеет об этом. В ту ночь, конечно, поздно заквасили молоко, и к утру, он еще не был готов. А утром мимо нашей фермы шли какие-то люди, наверное, геологи, и попросили пить. Я вынесла им айран. Один из ребят сказал: «Стыдно, девушка, айран не умеете делать!» Это вместо «спасибо»!

– Аллах мой! Так ведь это ж тот парень!– вспомнила я и сказала об этом вслух, и девчата удивленно уставились на меня.

– Узнала я его, вот этого грубияна! Айраном его поила. Он и тогда нагрубил мне...

Вдруг кто-то постучал в дверь. Мы все трое ответили разом: «Войдите».

Айран в бидоне на столе шипел и поднимался.

– Здравствуйте, девушки. Меня зовут Айтек. Я студент из горного. Это я привез вам айран от родителей Софият.

Я незаметно хотела убрать фото со стола, чтобы он не заметил надписи, но Катя ущипнула меня за руку, и я положила фото на прежнее место.

– Садитесь, милости просим,– сквозь зубы процедила Бибигуль и придвинула стул к столу.

Мы с девочками переглянулись и были уже готовы взорваться, но обратили внимание на глаза Айтека. Да, на них нельзя не обратить внимания. Это не глаза, а два солнца. Мне потом девочки говорили, что в глазах Айтека, обращенных только ко мне, они прочитали: «Софият, красавица моя! Я давно знаю тебя и люблю. Я не умею говорить нежностей. Напускаю на себя грубость. Пойми, моя красавица...»

И я тоже стала сама не своя. Глянула украдкой в зеркало, что на стене висело, смотрю и глазам своим не верю. Неужели это я, Софият, такая красивая? Щеки горят, глаза сверкают, как сережки в ушах Бибигуль, и зубы ровные и белые. Разве они всегда у меня были такие?

НАША БАБУШКА

– Пробуй, дитя мое, пробуй. Вы, городские, привыкли к тонким блюдам, и наше кушанье, может быть, не по вашим желудкам. Дети? Да они, сынок, целый день едят, зубки не перестают работать. Это они пришли на тебя глазеть, хотят с родственником своим познакомиться, а кушать-то кушали. Вон там столик у них, видишь, даже не тронули еду. Дай Аллах тебе долгой жизни, вот с этими черномазыми у меня уже до сорока внуков. Эта? Эта курносая – самая младшая. Никак не хочет со мной расставаться, вот сядет на колени ко мне и сидит. Дай в лобик поцелую тебя, сердечко мое.

Пробуй, сынок, пробуй. Разве так кушают, как ты? Слава Аллаху, есть что кушать. Кушай, пожалуйста, колбасу-то я сама делала. Вкусно? То-то оно, я и сама знаю, что вкусно. Выпей и чарочку, что там, подумаешь, с наперсток. Ну что ты, Хасан, постеснялся бы гостя... стара я уже... пить-то. Не старая? О-о, пусть вперед тебя помрет твоя бабушка, доченька. Никак не хочет, чтобы я старая была. Нет седых волос? Ну что ж, доченька моя, и без седых волос можно быть старой. Вот так всегда, и не дадут договорить мысли, как будто схватывают их и прячут где-то. Что я хотела сказать-то... Да, да, вот вспомнила. Когда отец моих детей был еще жив, царствие ему небесное, он иногда потчевал меня чарочкой-то, а с прошлого года, с тех пор, как он умер, я и не пробовала, сынок, разве только когда вот такой желанный человек придет в дом, как ты... Горянки в этом деле очень сдержанны, сынок, ты же знаешь. Я-то? Хасан, я не посмотрю, что ты у меня человек семейный, и дам тебе кочергой. Вот у меня семья какая, сынок, слышал, как он подтрунивает над мамой-то? Да ведь это я сама их так приучила, что их винить! Я подруга для дочерей и невесток своих и друг для сыновей и зятьев, а ты сам знаешь, что у горцев это не принято.

А я, сынок, очень люблю веселье, очень люблю, когда семья с тобой делится и ты с ней, а не то, что каждый себе особливо мыслит и живет. Люблю, когда в доме смех не из-за угла зубы скалит, а когда сидит на почетном месте, на подушке, как вот ты сейчас. Слово к слову, как говорится. Знаешь, сынок, вот мне читают книги, я слушаю радио, и мне очень не нравится, когда о горянке пишут, как о неживом человеке. Можно подумать, что она какая-то ледяная сосулька, что смех никогда не показывает ее зубы наружу, а она-то на самом деле и веселиться умеет, и держать себя умеет. А если смех не раскрывает ее белоснежные зубы, то в этом вина мужчины... Кушай, сынок, кушай. Это я сама тебе приготовила – у меня так и заведено: когда ко мне приезжает очень желанный гость, то я сама готовлю пищу. И выпей еще чарочку, ничего, ведь она с наперсток. Да, не дури ты, Хасан, куда мне пить. Раньше? Раньше я была молода. А сейчас вот, слава Аллаху, седьмой десяток, а я, сынок, такой молодой себя чувствую, что скажи мне кто-нибудь: переверни, мол, вон тот седоглавый Эльбрус, я, кажется, перевернула бы. Не смейся, не смейся ты, насмешник.

Да, да, сынок, ты прав, жизнь делает человека и старым и молодым. Да, правильно, и от семьи многое зависит. Вот они-то, вот эти насмешники, и держат меня молодой. Вставай, доченька, вставай, ногу уже пересидела из-за тебя. Иди, играй. Две? Вот видите, вот эта моя черномазенькая каждый день считает мои морщинки на лице. Не беспокойся, дочка, еще будут. Ну, хорошо, что только две. Пойди, поиграй. Разве кто скажет, что у меня фартук коричневый? Без конца приходят и садятся ко мне, и все хотят залезть с ногами. Знаешь, сынок, я сама бы не смогла без них ни одного дня. Я на них-то покрикиваю для виду, так просто. Ладно, потом переменю, дочка, не надо.

Пойди, доченька, принеси дрова, в коридоре они. Это дочь старшего моего, не говорила тебе, сынок? Она в Москве на большого доктора учится, приехала отдыхать, мать и отец ее в городе живут, а она, как только из Москвы, сразу ко мне. На чем же я остановилась? Моим рассказам конца-краю не бывает – где с конца, где с середины, лоскутами как-то у меня всегда получается. Раз ты сегодня будешь говорить со всем аулом, не опоздай, сынок, иди, а вечером придешь. Спасибо, сынок, что ты приехал с такой хорошей вестью для аульчан.

А ты откуда прибежал! Не надо, око мое, не трогай рукава, что в них нашел? Не надо застегивать манжеты, родной мой. Он не может переносить, если у меня рукава закатаны, он знает, что я буду что-то делать, а он, видите ли, не хочет. Как это можно сидеть, заложив руки за пазуху?! Око мое, кончик моей души, пусть твоя бабушка покинет свет вперед тебя, иди играть, на вот это, положи в ротик, соси. А-а, пришла ты, келин* , на

* Келин - сноха

обед пришла? Садись, душа моя, вот с ними пообедай. Как с твоим планом, душа моя? Вот хорошо, так и надо работать. Четыре тысячи литров обещала келин надоить.

Ну что ты, Хасан, хватит с меня. Чего же еще хочешь, чтоб я рассказала? Ты оставь это, иди, выспись, раз на ночь пойдешь работать. В Турции-то?

Да, Турция, Турция... Боюсь даже во сне видеть... Ведь тогда нам говорили, что в Турции бедняк становится миллионером, люди имеют большую свободу... Такая молва тогда ходила в Карачае. Какие-то люди бродили из дома в дом и поднимали нас с насиженных мест, а оказалось... Да что... Уж я-то знаю, чем это кончилось... Врагу своему не желаю того видеть, что нам пришлось видеть и в дороге, и там... По три-четыре месяца ожидали пароходов у берега. Люди мерли, как мухи, от голода и жары. А когда сели на пароход, то с того момента нас записали в турки, кто не хотел стать турком, выбрасывали в море. Море, море... О, как я боюсь его с тех пор, ведь моя мама... Моя мама съедена акулами... Да, да, она, дорогой, умерла, на пароходе, мы скрывали это от турков, везущих нас, но акулы все время преследовали пароход, их становилось все больше и больше. Турки стали догадываться и стали обыскивать, нашли закрытый тряпьем тело моей мамы и... и отдали... Бросили ее акулам... Тогда акулы отстали от нас... Прости меня за слезы, сынок...

Уже несколько месяцев мы влачили жизнь на земле турков, назывались турками. Ребят наших сразу взяли в армию, перерядили в шаровары, в которых горцы никогда не ходили, а мы все стали дешевыми рабочими для разных пашей. Мой брат там, в их армии, погиб, бедняга...

Но однажды я не выдержала. Сама не знаю, как очутилась в доме соседа-турка. Это был противный слюнявый молла, как сейчас помню. И, знаешь, сынок, пошла без паранджи. Да, как только мы приехали, нас, женщин, заставили носить паранджу. Наши мужчины протестовали, говорили, что у нас сроду никто не носил паранджу, но турки и слышать не хотели. А у них-то все женщины ходили под паранджой. Девушка-турчанка наденет шелковые шаровары, на лицо – паранджу, сядет на ишака – и помчалась, а у нас ведь не только девушка, но и мужчина не ездит на ишаке. Так вот я пошла к соседу-турку, и отсюда начались наши беды и счастье. Да-да, счастье.

Келин, душа моя, возьми с собой обед и для старшей келин, туда, на поле, а вечером, после работы, позвоните сыну: пусть приезжает в свой выходной день за мной, да не забудьте сказать ему, пусть приезжает на ЗИМе, на других машинах не хочу, так и передайте. Знает он сам? Я

знаю, что знает сам, но напомните, ничего. Меня все тащат к себе гостить, а я-то привыкла у себя тут. Ну вот, и пошла и пошла я учить этого турка, советовать: почему фасад вашего дома повернут туда, а не сюда (а они-то на юг делают), и почему вы носите красные шаровары, надо носить шаровары темные. Курай не кладите близко к очагу, а то может случиться пожар... Я сидела спиной к стене, на которой висела шкура козла, на ней обычно молился молла Аллаху. Как это она отцепилась от гвоздя и упала прямо на меня? А я возьми да скажи: «Проклятье, зачем ты на меня падаешь? Падай на тех, кто падает на тебя». Сказав так, я вдруг заметила, как молла сполз с деревянной кровати, на которой сидел, и с палкой кинулся в мою сторону. Тут я поняла, что делаю что-то не то, и стремглав выбежала из его дома. Вслед мне посыпались слова наполовину турецкие, наполовину карачаевские: «Бесстыдница, карачайка, осмелилась прийти без паранджи ко мне, поучать мужчину», – а дальше уж и не знаю. Жена его тоже что-то кричала, не то мне, не то уговаривала мужа успокоиться. Дочка, нарежь еще мяса и жарь. Я прибежала к себе, а отец моих детей вышел искать меня, теперь только заметил, что я выскользнула. Он был шутник. «Кого-то уже наставила на истинный путь, кого-то уже поучила, мать, а я-то хотел, чтобы ты нам самим что-нибудь присоветовала...»

– Отец, отец,– сказала я, – если до сегодняшнего дня я принимала участие в домашних советах, то теперь, если хочешь, распоряжайся сам всем.

Сказав так, я села прямо на землю – не могла стоять на ногах, так дрожала вся.

Примчался молла. Как только не обзывал и меня, и отца моих детей, что он меня не держит в вожжах. Он сказал, что меня будут судить по Корану за то, что я открыла мужчине лицо, за то, что я старалась наставлять его, мужчину. Мы-то знали, что таких женщин сажают на ишака и водят по всему селению напоказ, и каждый вправе плюнуть ей в лицо и бросить камни. И до этого случая мы, несколько семейств, замышляли побег, ну а теперь обязательно надо было бежать. И вот пять семейств в ту же ночь бежали, не захватив никаких вещей. К счастью, тогда у нас один только был ребенок, старший сын, на руках.

И вы не спрашивайте, и я не хочу вспоминать, как мы через два месяца добрались до родных гор, по дороге просили милостыню...

Наконец мы в старой своей заброшенной сакле. Какое это счастье, о-о, какое это счастье – вдруг очутиться в своем доме, в родном доме! Отец моих детей был шутником, бедняга. Когда мы перешли порог избы, он сказал: «Вот теперь-то твой совет молле повернулся в нашу пользу».

А землицу-то нашу, оказывается, уже прибрали к рукам баи. Оказывается, они поэтому и уговаривали нас покинуть родные горы... О, сколько мы пережили из-за этой землицы своей…

Моим рассказам, сынок, конца-краю нет, надоела небось тебе. Нет? Знаю, знаю, старухе снисхождение делаешь, ну что же, пусть, пусть. А вот моя семья привыкла меня слушать или это делает для того, чтобы я не скучала, что ли, не знаю. Этот вот, что с тобой сидит да посмеивается надо мной, это самый младший в семье. И сыновья и дочери мои – веселый народ, снохи тоже такие.

Веди, Хасан, гостя в сад, покажи ему наш сад, воздух такой чистый, хочется не дышать им, а пить его ковшами. Вообще-то, когда пройдешь через ужасы в жизни, тогда лучше умеешь ценить хорошее. Идите, а то надоела я вам.

Что ты, сынок, я ведь не умею рассказывать: с конца, середины, так себе. А что о Ростове рассказать? Ты не копайся в моей памяти, Хасан, иди, поспи, ведь тебе ночью работать надо. Ростов? Ростов много оставил в моей памяти. Доченька, достань-ка в правом углу в сундуке фотографию. Да, завернута в плюш. Дай-ка мне ее. Вот, посмотри, сынок, это хозяйка Ленина – Надежда Константиновна Крупская, а вот рядом с ней... да, правильно узнал, сынок, это я. Вот это Клара Цеткин, рядом с ней наша Конфет, а это Мария – сестра Ленина, это Саша. Что ты, сынок, какая я красавица?! Ну да это верно, симпатичною меня всегда называли. Да нет, разве я сохранилась, что ты, сынок, прости тебя Аллах, а впрочем, вам видней, я ведь теперь в зеркало редко смотрюсь. Что? Те же брови дугой? Как фотографировались? Тех дней я никогда не забуду, они меня сделали другим человеком...

...Вернувшись из Турции, мы тяжело жили. Соседи, родственники старались нам помочь, поставить нас на ноги, но как? Ни клочка земли, ни скота – ничего, а семья все растет. Отец моих детей нанялся в батраки, но что он там зарабатывал – пять лет пас отары бая и днем и ночью, а получил только одну корову... Ох, как нам было тяжело.

...А потом пришла в горы наша власть, отец моих детей сразу стал помогать этой власти – он был проводником в горах для буденовских ребят – проводником, значит, Советской власти. Получил землю, стали жить по-человечески, хоть нехватки были, ясное дело. Когда дом строишь, то в другом надо сдерживать себя. А потом, вот до прошлого года, до смерти, он получал пенсию за то, что раньше работал на лесопильном заводе. Дети выросли, ну, жить стали, как надо. Он радовался, бедняга, этой жизни. Ох, это был доброй души человек. Как он хорошо относился к женщине! Никак не мог простить себе, что когда-то украл меня. Да, сынок, украл. Друзья его подбили. Я шла за водой.

Вдруг настигли меня какие-то всадники, закрыли мне рот, бросили в седло и умчали. Когда отъехали далеко от аула, открыли мне лицо и первым увидела я будущего отца моих будущих детей. Он скакал рядом со всадником, на седле которого я была. Я обрадовалась и со слезами сказала ему: «Меня куда-то везут, ты, пожалуйста, спаси». Он, бедняга, отвернулся и не мог ничего ответить. Я-то не знала, что меня везут для него. Потом он признался, что в тот момент, если б мог, провалился бы сквозь землю.

Однажды он пришел поздно вечером. Помню, я подметала полы. Он говорит: «Сейчас я, мать, порадую тебя: в Совете я записал тебя в делегатки. Теперь ты должна учить женщин жить, учить строить нашу власть». «Аллах мой, я же сама ничего не знаю, чему я могу учить?!» – сказала я, верите, ни жива, ни мертва.

Утром мы собрались с ним в Совет. Я не знала, что такое Совет, шла впервые. Была зима. Я надела самую хорошую свою шубу из мерлушек, повязалась темным бахромчатым платком, обулась в сафьяновые чувяки, и вот мы с ним отправились...

Убери-ка, дочка, со стола. Ягненочек мой, уснул на руках. Возьмика, Хасан, осторожно, положи на диван. Пусть спит. Включай-ка радио, уже должны говорить известия. Мой-то рассказ? Ты прости меня, сынок, но я не могу радио не слушать, потом расскажу. Новости я жду каждый день с нетерпением. Вот эти ребята, что на землю со стороны посмотрели, космонавты, о-о, это смелые ребята. Спасибо их матерям. Я этих ребят люблю так же, как вот своих. Как хочется их видеть не только на карточках, а посидеть бы, зарезать барана для них и гладить их по голове. А что? Я верю, если б я написала, что я, старая горянка, хочу видеть их у себя в доме, я верю, они бы приехали, только не хочу я у них отнимать время, у них работы много. Постой, кто говорит? Ой, слышите, старый Джансох собрал бригаду из стариков и пошел косить сено колхозу. Он такой всегда, я знаю. Работу любит, ведь на крутых местах машиной косить нельзя, а чтобы сено не пропало, он и организовал, молодец. Мы с ним на одних свадьбах танцевали. Свадьбы? Да кто ж не любит свадьбы? Я ведь к тому же гармонистской была. Сейчас? Сейчас тоже понемногу играю, но уже не то. Бывало, когда на свадьбах выходил парень, который мне не особенно нравился, то я для таких не мелодию играла, а просто водила по басам и все. Что только не выделывала...

Так вот, стала я называться делегаткой в Хурзуке. А с женщинами я находила всегда общий язык, они меня слушались. Приходилось ругаться с некоторыми мужьями, кто не разрешал жене ходить на собрания, всякое бывало. Мы работали, не жалея себя, и я думала, что

немало сделали. Вот в те годы нас и пригласили к себе в гости хозяйка Ленина и друзья ее. Это было в Кисловодске. Они нас учили многому, рассказывали, как мы должны работать. Так тихо, так душевно говорила хозяйка Ленина, о-о, как мы их полюбили! В те дни мы еще раз заново родились на свет.

В Ростове-то? В Ростове был большой съезд всего Северного Кавказа. Никогда не забуду. Шли мы по большому мосту через реку Дон. Зима была. Шли на экскурсию, с музыкой, с танцами. А как же, сынок! Выступала, говорила, с трибуны говорила. Когда я выступала, всегда чувствовала на себе взгляд нашего Умара, знаешь, конечно, Алиева Умара, который фотографировался с Лениным, с Кировым, с Орджоникидзе. Рядом с ним в президиуме сидел Ислам Карачайлы, то есть в газетах он так писался, а фамилия его Хубиев, он был моим толмачом, мои слова, что я там говорила, он переводил людям. Я чувствовала, как они вроде говорили мне: «Мадалес, мадалес, Хауа, правильно говоришь, так, так»... Ох, какие это были люди... Что говорила им? То, что мне сердце подсказывало: «Дорогой товарищла, джолдашла,– сказала я,– по-русски я не знаю,– сказала я,– но на каком бы языке я ни говорила, вы должны меня понять,– сказала я,– потому что у нас говорят: от сердца к сердцу есть дорога…

«Если я неумело выступила, дети мои, вы все равно поняли меня»,– сказала я. Так стали хлопать мне, аж, наверно, и в моем Хурзуке было слышно. А потом я уже отошла от трибуны, но вернулась и с комом слез в горле добавила: «Товарищла, надо знать цену всему, дорожить умейте всем, что мы получили, то есть свободой дорожить умейте. Что бы было со мной, если б я так и осталась в Турции?!»

Я заплакала перед залом, но это уже были другие слезы.

ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ

Всегда оно занимало почетное место в большом кованом сундуке. Иногда поднимали тяжелую крышку и извлекали его из недр сундучных: ветхое, пахнувшее древностью, пережившее не одно поколение, принесшее людям немало печали и мало радости.

Какую бы горечь и досаду ни причиняло оно людским сердцам, однако продолжало существовать, упорно цепляясь за жизнь, имея своих защитников и покровителей...

Новая хозяйка черного платья, Фатима, еще и не подозревавшая, что является обладательницей такого необычного наряда, сидела за столом и, высунув кончик языка, старательно вырисовывала кистью заголовки в стенной газете. В эту минуту в комнату вошла ее мать, пожилая, смуглая, с бороздками морщинок на высоком лбу.

– Поди сюда, доченька! – сказала она.– Посмотри на свое добро. Ты еще не видела его. А пора – тебе уже тринадцать лет.

– Сейчас, мамочка! Одна буквочка осталась.

Через минуту Фатима, встав из-за стола, подбежала к матери, сидевшей в другой комнате у раскрытого сундука и не спеша перекладывавшей легкую одежду и куски тканей.

– Вот это,– сказала мать, самодовольно улыбаясь,– для твоего свекра, а это – для свекрови!

В руках она держала отрезы темного шевиота. Фатима вздрогнула: неужели ее готовят к замужеству? Глаза ее, круглые, черные, выразили смятение и растерянность, нежная кожа на лбу образовала складки. Несмело, чтобы не обидеть мать, Фатима произнесла:

– Мамочка, я об этом пока не думаю. Мне надо окончить школу, затем работать, затем еще учиться и потом уже... А сейчас я не думаю...

– Глупая! Ты не думаешь, так я за тебя думаю! – строго сказала мать, негодующе посмотрев на дочь.

Фатима насупилась, но вскоре лицо ее заулыбалось. Она решила не огорчать мать и разговаривать о своем будущем весело и беззаботно.

– Вот, мама, ты говоришь, что эти подарки свекру и свекрови собрала. А если жених мой будет круглой сиротой, как Пеньков наш, воспитанник детского дома?

– Глупая! Будут ли родители у твоего нареченного или нет, все равно готовить подарки надо!

Мать продолжала доставать одну за другой вещи: платки, платья, куски различных тканей и объясняла, где и при каких обстоятельствах она их приобрела.

Фатима смотрела на мать, слушала ее, хвалила расцветку какого-нибудь отреза, но в душе ей было жаль матери, ее нелегких трудов и забот. «Учителя верно говорят,– думала она,– и в наши дни еще немало предрассудков, тяжелых, унизительных. Вот она, мама, держится за старину...»

Очередь дошла до бархатного платья. Оно было на особом счету. Мать бережно извлекла его из правого угла сундука, тщательно укрытое в расшитое полотенце. Развернула перед собой, чтобы показать дочери его вишневый бархат, затейливые, лунообразные узоры, вышивку золотом, тонкую отделку.

Запах тления ударил в нос Фатиме. Прикрыв руками лицо, она, не сдержавшись, сказала с пренебрежением:

– Сейчас так никто не одевается!

– Еще раз глупая! Тебе никто не дает его сейчас. Придет время, ты сама о нем вспомнишь. Ведь это платье имеет свою историю...

– Историю? – спросила Фатима.

– Да, вот слушай, – сказала мать, бережно укладывая платье обратно в сундук.

...После свадьбы прошло два месяца. Невеста Салимат, хотя и жила в одном доме с родителями своего мужа Хасана, но ни разу их не видела и готовилась торжественно, как того требовал обычай, навестить их. С самого утра у дома толпилась молодежь. Танец следовал за танцем. Гармонистка, словно испытывая мастерство танцоров, играла неистово и самые быстрые мелодии. На плоских крышах саклей стояли молодые замужние женщины и не без зависти смотрели на пляшущих. Каждая из них охотно вошла бы в круг, но по законам не смела этого сделать. Здесь же, на крышах, носились, играя в прятки, голопузые мальчишки. Они перебегали от одной дымовой трубы к другой, порою наталкивались на женщин, за что получали от них увесистые шлепки.

Внизу на подушках гордо возвышались старики. Дальше на деревянных диванах и низеньких стульчиках сидели пожилые, с важными лицами мужчины. Незаметно для других они посматривали на девиц и парней: каждый выискивал невестку для сына или жениха для дочери.

Перед обеденной молитвой прошел слух:

– Сейчас будут раздавать берне родственникам Хасана!

Перестала играть гармошка, прекратились танцы. Все повернулись в сторону невестиной комнаты. Внимание к ней было так велико, что, ворвись сюда враги с обнаженными саблями, никто не заметил бы их появления.

И вот широко распахнулись двери, и оттуда показалась вереница нарядных женщин. Глаза наблюдавших загорелись: замыкавшие шествие – это были родственники Салимат – несли большие мягкие узлы.

Стоял теплый день. Берне решили раздавать во дворе, и гости сели на заранее приготовленные ковры и войлок в середине круга. Взгляды их выражали не только любопытство, но и беспокойство: а как еще примут берне родственники Хасана?

Вскоре из других дверей вышли надменные и важные родичи мужа. Можно было подумать – все, что происходит здесь, их совершенно не касается. Однако это было далеко не так. Зоркий глаз мог заметить, что таилось за внешним безразличием и напыщенностью: лица их были суровы, губы платно сжаты. Собравшиеся знали: попробуй не угоди этим каменным статуям, и они вдруг оживут, поднимутся и не пощадят никого.

Родичи жениха, как и невесты, сели на положенные места. У тех и других на душе неспокойно: как все обойдется?

А она одна сидела в комнате и терзалась в сомнениях. Люди словно забыли о ней, никто не приходил, хотя виновницей торжества все-таки была она. Тревожное чувство овладело ею. Как встретят ее подарки? Неужели будут недовольны? Бедная мама, она обделила своих малышей ради нее, старшей дочери. И все для того, чтобы избежать позора, чтобы утолить ненасытную жажду родичей жениха.

От этих мыслей ей становилось страшно. Страшно перед матерью, перед своими маленькими братьями и сестрами. Им она не хочет причинять новых страданий. А может быть, все обойдется хорошо? Может, подарками ее останутся все довольны? О, всемогущий Аллах, видишь ли ты печаль мою?

Дрожь охватывала ее, перед глазами все кружилось. А во дворе, шумном, залитом ярким солнечным светом, уже развязывали узлы. Родичи Хасана по-прежнему, казалось, были равнодушны ко всему, делая вид, что и без подарков они высоко ценят красавицу Салимат.

Все подались вперед, а сидевшие на крыше так подступили к краю, что рисковали упасть вниз. Вдруг до слуха Салимат донесся звонкий, внушительный голос раздатчицы Келимат:

– Простыню, бешмет, белье, шаровары, мыло, кисет, резинку для шаровар, – отцу Хасана!

– Он давно умер, – еле слышно произнесла Салимат и пододвинулась ближе к окну, чтобы, не выдавая себя, видеть самой все происходящее во дворе. Келимат, гибкая, стройная, вся в тонких шелках, высоко поднимала над головой каждую вещь. Другая женщина, крепкая, с проворными руками, помогала ей. Окружившие то одобрительно кивали головой, то хмурились, показывая этим, что шаровары оказались не совсем широкими и кисет расшит недостаточно яркими нитками.

– Женский бешмет, отрез на платье, рубашка, галоши, большой кашемировый платок, нитки, иголки – матери Хасана!

Подарки затем шли брату Хасана, его дяде, тете, двоюродным братьям, сестрам. Список был длинен. Люди от напряжения устали, и особенно те, кто не имел удобного места.

Но вот очередь дошла до Зубайды, юной, очаровательной, но очень капризной девушки. Люди забыли о своей усталости, о ногах и руках отекших, о боли в пояснице. Затаив дыхание, они ждали: отдаст ли невеста сестре Хасана свое самое дорогое платье. А ну, что будет? Скорей бы! Но почему раздатчица так медлит?

– Золотой нагрудник, золотой пояс, белый шелковый платок...– громко оповещала Келимат.

– Почему же нет самого главного? – шептали одни женщины и, многозначительно переглядываясь, добавляли:– Смотрите, Зубайда и ее мать лопнут от досады!

– Ну и пусть лопаются, не жаль! – с сердцем отвечали другие.

– Нет, их очень жаль! – возражали третьи, качая головой.

– ...платок, туфли, платья: белое шелковое, зеленое кашемировое, маркизетовое – Зубайде...– звонкий, далеко слышный голос раздатчицы неожиданно осекся, захлебнулся.

Дорогого бархатного платья в перечне не оказалось. Мать и сестра Хасана побледнели, тонкими дрожащими пальцами прикрыли лица, пряча их от людского взора. Затем решительно встали и направились в свои комнаты. Это был знак протеста.

Поднялся галдеж. С крыш жадно потянулись буковые и ореховые палки к носу раздатчицы. Та второпях подвязывала к концам какие-нибудь безделицы, выхваченные из кучи вещей, и палки, словно живые, удовлетворившись наградой, быстро исчезали.

Никто из родичей Хасана, сгорая от стыда, не прикоснулся к своим подаркам. Их бережно подобрала с ковра невысокая, с медным отливом лица женщина и понесла в дом Хасана.

Там шла война. Зубайда навзрыд ревела, стуча каблучками о земляной пол. Остальные шумели, спорили, стараясь перекричать друг друга.

– Какими глазами она посмотрит на нас, оставив себе самое лучшее платье! – восклицала двоюродная тетя.

– Это не сноха, а бесстыдница! Пошлите к нему и скажите: если он будет жить с нею – он не наш! Он не сын матери, не брат мне! Мы его не будем признавать! – говорила сквозь слезы золовка.

– Да-а, это так! Справедливо говорит Зубайда!– раздавались со всех сторон голоса.

Нарочно говорили громко, чтобы слышала Салимат, сидевшая в соседней комнате. И она, конечно, слышала. Мало сказать – слышала. Ей казалось, что сердце ее вырывают из груди и острыми клинками пронзают насквозь. Каждый крик, каждый стук за стеной наводил на нее ужас. Вот они, злобные, негодующие, ворвутся к ней, и она не в силах будет их остановить, уговорить, образумить, она упадет к их ногам, бессильная, слабая, жалкая. Чего они хотят от нее? Ее платье? Да, это единственное, лучшее, что смогли дать ей родители, вложив в него столько труда и пота, готовя его почти со дня ее рождения! Много лет собирали и копили они эти тряпки и лишь затем, чтобы сегодня их раздать и нажить врагов.

С болью во взоре взглянула Салимат на свое платье из вишневого бархата, изящно облегавшее ее стройную фигуру, строго ниспадавшее к ногам, таившее в себе столько тепла и любви. Нет, теперь оно было другим: холодным, страшным, черным. От него леденели руки, плечи, шумело в голове. Ах, как бы хотела она бросить его к их ногам и сказать: «Нате, возьмите, только дайте мне спокойно жить, не разлучайте меня с мужем!..»

И вдруг она стала расстегивать пуговицы манжеток, сняла серебряный пояс, высвободила руку из рукава и... замерла в нерешительности.

– О, Аллах, что же это такое? – в испуге прошептала она.– Ведь у меня больше ничего не осталось, я все отдала им. Мне не во что одеться!..

Полураздетая, она опустилась на стул. Черная коса ее упала на грудь, глаза устремились в одну точку. Словно из тумана всплывала вся ее короткая жизнь. И в ней было так мало радостей, светлых дней. Вот идет она с подружкой по воду, садятся на зеленом бережке, любуются могучей рекой, голубым небом. Поверяют друг дружке свои маленькие тайны. Счастливые минуты! Но их было мало. А вот платье... С каким трудом и упорством готовила его мать! Целых три года она делала бурки, затем сбывала их и на вырученные деньги наконец купила у армянина-купца отрез бархата. Затем понадобились золотая тесьма, шелковые нитки и многое другое. На их приобретение ушло пять лет. Потом шитье у лучшей портнихи. К этому времени Салимат уже не была хрупкой девочкой. На ее гибкий стан, черную косу, хорошее личико с завистью смотрели теперь все подружки. Когда же платье было готово и она его надела, Салимат была счастлива, как ни одна девушка в ауле! Но сразу пришло и разочарование. Платье на нее только померили, нашли, что сидит оно очень хорошо, и тут же сняли. Она облачится в него лишь в день свадьбы.

Сколько раз потом она подходила к сундуку, мечтая надеть новое платье. Как хотелось в нем потанцевать, пройтись с подружками! Но Аллах сакласын*, ей никто не мог разрешить этого. Вишневое платье лежало в сундуке, сундук был на замке, а ключ от него у матери.

Как манило оно к себе девушку! Убирая в комнате, Салимат каждый раз невольно останавливалась возле сундука. Закрыв глаза, она представляла себя в этом платье, а рядом с ней – далекий и еще неизвестный друг, умный, хороший. Она отходила от сундука, нежно гладя его тяжелую крышку...

В соседней комнате с новой силой поднялся шум и рассеял воспоминания. «Что еще там?» – подумала Салимат и тут же отчетливо услышала:

– Сегодня чтобы не было ее в нашем доме!

– Ты мне сын, но будь и братом своей сестры! Твоя жена опозорила ее. Ее позор – твой позор! Сестру не найти, а жену всегда найдешь. К тому же наш калым превосходит ее подарки. Иди, объяснись с ней! Выбери потом удобное время и отправь домой. Она тебе больше не нужна!

Гулом одобрения встретила комната эти слова. Хасан, повинуясь, послушно удалился. Через наружные двери он бесшумно вошел к жене. Застал ее полураздетой на стуле. Салимат вмиг вскочила и преданными, искавшими сочувствия глазами посмотрела на него. Увидев лицо его черствым, готовым безропотно выполнить приказания соседней комнаты, она потеряла сознание и, как подрубленная чинара, упала к ногам мужа.

Очнулась на кровати. Первое, что увидела, были крупные капли слез на щеках сидевшего рядом мужа. Заметив, что она пришла в себя, Хасан вытер лицо и стал нежно гладить ее черные волосы. Внезапно он отдернул руку, как от огня, – вспомнил о своем долге. Он обязан слушаться родичей, подавить в себе любовь, иначе всю жизнь его будут проклинать.

Стараясь не видеть лица жены, он встал и, потупя взор, сухо, не своим голосом произнес:

– Я мужчина и должен поступить по-мужски. Ты не отдала моей сестре платье, значит, не уважаешь ее. Теперь весь аул знает об этом. Тебя отвезут к твоим родителям.

И торопливо вышел, не оглянувшись.

Салимат не вскрикнула, не поднялась с постели. Руки и ноги не повиновались ей. Ее последняя надежда – Хасан – рухнула. А платье? Почему не отдали его золовке? Почему никто не сказал ей, как поступить? Что можно из вещей оставить у себя и что нужно отдать родичам? Как трудно во всем этом разобраться. Почему шептали, что мать Хасана послала ее матери вместо полной кастрюли масла лишь половину? Не это ли явилось дурным предзнаменованием? Хасан, мой Хасан! Ты ни в чем не помог мне! Ты отдаешь меня позору!..

---

* Аллах сакласын - Боже упаси!

А на другой день бурные воды Кубани выбросили на берег труп женщины. В нем распознали шестнадцатилетнюю Салимат. Ее дорогое платье из вишневого бархата было найдено в той же комнате, где она сидела накануне. Оно сразу перешло в сундук к Зубайде. Через несколько лет у нее насильно отняли платье ее золовке. У золовки той родилась дочь, которая потом стала бабушкой Фатимы. И та, умирая, завещала его своей внучке.

Рассказав эту историю, мать смахнула слезу и вышла. Дочь направилась к своему столу и снова принялась за оформление стенной газеты. Однако карандаши и кисти, словно сговорившись, не рисовали, а мазали, делали не то, что нужно было. Перед глазами, как живая, встала Салимат, стройная, красивая, со строгими чертами лица. Вот стоит она у берега, трепещущая, жалкая. Еще секунда – и она бросается в водоворот.

– Ужасно! – произносит вслух Фатима.

Она набрасывает на плечи платок и выбегает во двор. Она идет к Кубани. Здесь хорошо, легко дышится. Осени и в помине нет, хотя стоит сентябрь. В мыслях снова встает Салимат. Несчастная! И не только она. А золовка, доведшая до гибели Салимат, разве испытала счастье? А золовка Зубайды? А бабушка Фатимы? Почему ни одна из них не оказалась счастливой? Во всем виновато платье. Оно принесло столько горя, а теперь спокойно лежит в их сундуке. Его хранят и оберегают, его даже готовят ей в приданое! Нет уж, этого не будет. Ей оно не нужно, и она знает, как с ним поступить.

От берега Фатима почти бежит домой. Лицо ее взволнованно, но мать сидит у окна, перебирает шерсть и ничего не замечает.

...А на другой день чуть свет Фатима поднимается первой в доме. Она разжигает печь, тихо подходит к сундуку, осторожно поднимает тяжелую крышку и, достав бархатное вишневое платье – оно теперь для нее черное и зловещее, – несет его к печке и бросает в огонь.

Языки пламени словно ждали этого момента. Они на лету подхватывают ветхую ткань и жадно, кусок за куском, проглатывают ее всю дочиста.

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

– Вы спрашиваете, почему я вздрогнула, когда мой сын вошел в комнату? А я, право, и не заметила этого... Может, и вздрогнула,– рассеянно сказала женщина и продолжала вышивать какие-то диковинные цветы.

Я сидела на непривычно низком стуле и незаметно, но внимательно разглядывала женщину. Симпатичное, с красивыми чертами лицо вызывало расположение. В свои пятьдесят, если не больше, лет она сохранила и свежесть лица, и грациозность движений. В комнате было чисто и уютно. Чувствовалось, что ее хозяйка – умная и трудолюбивая женщина. И все же на лице ее лежала неизгладимая печать какого-то большого горя. Кто знает, что было на ее веку и что таится в глубине души человека?!

Приехав сюда в командировку, я попросилась к этой женщине на ночлег. Она радушно приняла меня, угостила сытным обедом и, снова прибрав в комнате, села за вышивку. Я осталась за столом и от нечего делать перелистывала старые учебники. Потом стала разглядывать фотографии на стене. С нескольких карточек на меня весело смотрели красивый и стройный мужчина с энергичными чертами лица, моя хозяйка с необыкновенно живым блеском глаз, юноша лет семнадцати и девочка лет двенадцати-тринадцати.

Женщина, ее звали Сурат, сидела неподалеку от стола, неразговорчивая, углубленная в свои думы. Было уже довольно поздно, идти никуда не хотелось и волей-неволей приходилось терпеть неловкое молчание.

А между тем меня разбирало любопытство. Не верилось, что хозяйка всегда так молчалива. Нет! Было совершенно ясно, что ее тревожат какие-то печальные воспоминания. И мне очень захотелось узнать их. В эти минуты я ненавидела себя за такую несносную женскую слабость. «Какое ты имеешь право,– упрекала я себя,– лезть в чужую душу и выведывать чу-

жие мысли?! Ты хочешь утешить человека своим сочувствием? А кому оно нужно? Копаться в чужой душе, чтобы тайны ее стали достоянием других? Неблаговидное занятие!»

Так размышляла я. И не знаю, что вопреки всякой логике заставило меня, в конце концов, сказать, по меньшей мере, неделикатно:

– Расскажите о себе!

Хозяйка внимательно и задумчиво посмотрела на меня. В это время в комнату вошел сын, мальчик лет двенадцати-тринадцати. Заметно обрадованная его приходом, Сурат встала ему навстречу и мягко сказала:

– Сынок, садись покушать. Ведь ты и не обедал, как следует. Я приготовила твой любимый хычын.

– Мама, я сыт по горло. А тебе все кажется, что я мало ем. Видишь, какой я большой!

Он подошел к матери и остановился рядом с нею.

– Вот, мы почти одинаковые ростом,– засмеялся он и убежал в свою комнату.

Хозяйка постелила постели. Затем сама прилегла на кровать, что стояла рядом с моей, и спросила:

– Вы... не очень хотите спать?

– Я совсем не хочу спать!– ответила я.

– Легче на душе, когда поделишься с кем-нибудь... Даже с тем, кто почти незнаком...

Я почувствовала, что женщине очень хотелось излить свою душу, и приготовилась слушать.

– В первые дни войны,– начала Сурат,– мой муж ушел на фронт, а через месяц вслед за ним ушел наш единственный сын. Я осталась с десятилетней дочерью. Моя дочь, Суратхан, росла красавицей. В школе ее очень любили, она была отличницей, верной подругой. А придя, домой, всегда говорила мне: «Мамочка, ты отдохни, а я за тебя все-все сделаю!» И, правда, делала все – такая чистоплотная, трудолюбивая. К тому же она была настолько ласковой и нежной, что я часто думала: «Дай Аллах, чтобы у всех росли такие дочери!»

Когда муж уезжал на фронт, он сказал сыну и дочери: «Берегите мать!» А когда уезжал сын, он то же наказал сестренке.

Бедняжка, как она старалась облегчить мои заботы! Бывало, увидит меня задумчивой и скажет: «Мамочка, сыграй что-нибудь на гармонике!» – Я ведь не последней в ауле гармонистской была.

Я начинала играть что-либо грустное, потом веселое, и горе мое на какое-то время рассеивалось.

Как велика бывала наша с дочкой радость, когда мы получали письма с фронта! И муж, и сын писали, что побьют фашистов и возвратятся домой

с победой. Мы сияли от счастливых надежд, получая такие письма. Мы твердо верили, что наши родные придут живыми и невредимыми. Нам очень надо было верить в это!

А потом пришли те черные дни, когда немецкие самолеты стали бросать бомбы и на наш аул. Почти каждый день кто-нибудь из аульчан хоронил своего близкого. Все мы от великого горя еле держались на ногах.

Но самое страшное для меня случилось летом тысяча девятьсот сорок второго года. Доченька моя радостно бежала с почты, прижимая два письма и газету, где в списке награжденных советских воинов был назван и мой сын.

Но девочка не успела добежать до дома – ее остановила немецкая бомба...

Сурат не могла говорить. Слезы душили ее. Наконец она пересилила себя и продолжала:

– Не чувствуя ног, с остановившимся сердцем кинулась я к тому месту, где только что видела свою дочь. А там люди уже окружили плотной стеной мою девочку. Она еще дышала. Когда я окликнула ее, она попыталась поднять тяжелые веки и чуть заметно пошевелила губами. Но уже в следующую минуту они посинели, а глаза так и не открылись, застыли навеки... Газета и письмо остались крепко зажатыми в руках дочери...

А я, я боялась одного – что ее отберут у меня и унесут на кладбище. Как не допустить этого? Только эта мысль сверлила мой похолодевший мозг и мое залитое кровью сердце...

Пришел в дом один почтенный старик, аксакал. Я помню, как люди посторонились, уступая ему место. Он долго говорил, но о чем, я не понимала. А старик, оказывается, готовил меня к новым тяжким испытаниям. И наконец достал из кармана два письма, тихо промолвил:

– Твой муж и твой сын, Сурат-джаным, погибли. Мы нашли эти письма в руках твоей дочери и решили: раз уж пришло одно горе, то лучше сразу узнать обо всем. Беда в эти дни никого не обходит стороной. Утешься и крепись, дорогая!

Наверное, все в ауле думали, что я сойду с ума. Но разве можно сойти с ума, когда в голове его не осталось, когда там одно сплошное, неизмеримое горе? Одного мне хотелось в те минуты – лежать без движения и чтобы от меня не забирали дочь...

А муж? А сын?

Нет, не может быть, чтобы они не вернулись! Те письма, очевидно, пришли по ошибке. Они живы, мои любящие и любимые, суровые и нежные...

Потом вообще никаких мыслей не осталось в голове. Только помню, как во сне: меня заставили, именно заставили, поцеловать дочку, попрощаться с ней. А больше ничего не помню...

Взволнованная воспоминаниями, Сурат еще немного помолчала, затем опять продолжала печальный рассказ:

– Долго пролежала я в постели, совсем не вставала. Все это время соседи не отходили от меня. И так-таки выходили. Когда я уже была способна передвигаться без посторонней помощи по комнате, первое, что пришло мне в голову,– отправиться на кладбище, посмотреть могилу, взглянуть еще разочек на дочь. Я стала упорно учиться ходить, чтобы поскорее осуществить свой замысел.

И такой день настал. У меня было какое-то торжественное настроение, словно я шла не на могилу, а на праздник.

Ранним утром я вышла из дому. Шла все быстрее, взволнованная и радостная. Да-да, радостная! «Увижу доченьку, поговорим с ней об отце и о брате, наплачемся, и нам будет легче переносить наше горе...»

Почти без чувств упала я на родную могилу. Незаметно для себя стала разгребать на ней землю. Но в это самое время кто-то окликнул меня. Мне показалось, что это был голос дочери. «Милая, бесценная моя,– говорю ей вслух,– потерпи еще немножко, и я пробьюсь к тебе! Ведь ты, наверное, тоже очень соскучилась обо мне, раз уже нетерпеливо окликаешь меня».

Меня опять зовут. Но я не оглядываюсь и с лихорадочной поспешностью продолжаю свою работу. Вдруг чьи-то сильные руки схватили меня за плечи и оттащили в сторону. Не помня себя, я вцепилась в эти руки зубами и до крови искусала их. Но противник мой был сильнее. Он оторвал меня от земли и вынес за кладбищенскую ограду. Мужчина, который унес меня с кладбища, очень бережно, держа под руку, привел меня в мой дом. Но какой это теперь был дом! Что проку от дома, в котором нет ни хозяина, ни детей.

Мужчина, его звали Бекир, шел мимо кладбища и заметил, что я копошусь возле могилы. И он спас меня от помешательства. Но к чему? Лучше жить без ума, чем с безысходным горем!

Сурат вновь замолкла и, немного спустя, словно продолжая свои невеселые мысли вслух, тяжело вздохнула: – Ох, стоит ли рассказывать обо всем, что я пережила в то время! А тут еще гитлеровцы захватили наши горы. Днем и ночью проливались слезы в каждой семье, в каждом доме. У людей и без меня хватало своего горя.

Постепенно ко мне вернулось нормальное состояние. Соседи старались не оставлять меня в одиночестве. Спасибо им за все! Даже стирали мне, готовили. Да и я стала наведываться к ним. С людьми всегда лучше. А на могилу к дочери меня одну не отпускали, кто-нибудь непременно шел рядом.

Я стала реже ходить к дочери. И знаете, почему? Мне думалось: вот хожу только к дочери, а у мужа и сына не была ни разу. Ох, если бы знать, где их могилы! Ведь, наверное, обижаются, родные мои, что забыла их, не навещала... И я теперь замыкалась в комнате и вслух разговаривала с фотографиями...

Немцы свирепствовали в ауле. Что делалось на божьем свете, мы не знали. Из каждой семьи кто-нибудь да сражался с врагом на фронте. И каждый, кто оставался в ауле, переживал за участь близких ему людей.

С детства я была воспитана очень суеверной. И потому, наверное, смелостью никогда не отличалась.

Когда муж и сын ушли на фронт, я почти все ночи проводила в молитвах – все просила, чтобы мои дорогие вернулись живыми, здоровыми и, главное, с победой. Дочка, бывало, проснется от моего шепота и скажет: «Мамочка, да они все равно не услышат, лучше ложись и спи!» И, правда, молитвы мои не помогли... К чему это я рассказала о молитвах – уже и забыла. Да к тому, что очень была несмелая. И все же, когда я проходила по улицам аула и видела фашистов, думалось: может, вот эти убили самых дорогих мне людей. И тогда мною овладевало желание вцепиться им в горло и душить, пока не задохнутся!

Однажды я вышла из дому и направилась далеко за аул в урочище Уллу-Агач, чтобы как-то рассеяться, уйти хоть на короткое время от своего горя. И уже намеревалась вернуться домой, как споткнулась обо что-то и упала. Оказывается, моя нога зацепилась за красный, спрятанный в густой траве телефонный провод. Я слышала, что по нему отдают кровавые приказы. Быстро оглядевшись по сторонам, я перебила камнем шнур и стала наматывать его на обе руки. Долго так шла, все наматывая, наматывая. Трава была густая, высокая, вокруг – ни души.

Когда клубок стал слишком большим и тяжелым, я еще раз перебила провод, а весь клубок столкнула в бегущую рядом Кубань. Потом свернула на тропинку и, переполненная чувством гордости, пошла счастливая. Именно счастливая. После ужасных переживаний впервые сердце мое наполнилось радостью учиненного возмездия, пусть маленького, но все-таки возмездия!

Входя в аул, я чувствовала себя смелой. Излови меня тут же фашисты – не испугалась бы!

Благополучно добралась домой. Утром рассказала соседкам – трудно таить даже маленькую радость. Они изумились, потом обрадовались. И доверительно заявили о своей готовности пойти в другой раз вместе со мною. Но сделать это нам не довелось – вскоре пришли долгожданные советские войска, и фашисты поспешно бежали.

Жила я в то время как отшельница. Размышляла так: хватит ходить по соседям, наводить на них тоску своим горем, ждать теплого слова сочувствия. Лучше одной сидеть дома. И сидела. Пряла шерсть, смотрела за коровой. Потом пристрастилась к рукоделию. Хотелось брать в руки соседских детишек, нянчить их. Но меня остановило поверье: детей надо держать подальше от неудачников и несчастных. Всей душой я тянулась к детям, но

всегда вовремя сдерживала себя и делала вид, будто не замечаю их. Взять младенца на воспитание? Но кто мне его даст?

О том, что ребенка можно было взять из детского дома, я узнала только недавно. А в то время я, сорокалетняя женщина, безумно хотела иметь малютку...

Бекир, который в памятный день оторвал убитую горем мать от могилы дочери, все время заботился обо мне: часто заходил, чтобы спросить о здоровье, иногда колол дрова, давал корове корм. Бекир и сам был вдовцом тогда и жил у своей единственной уже замужней дочери.

Как-то Бекир сказал мне: «Сурат, вдвоем нам будет легче». Ни слова не ответив, я ушла в комнату, а он постоял еще немного и пошел со двора. Наверное, терзался тем, что причинил мне боль... А я... Да что я! Я плакала всю ночь. Как мне выходить замуж? Кого я со своим горем могу осчастливить? Нет! Человек, пожелавший связать свою судьбу с моей, не будет счастлив.

Бывали дни и минуты, когда я совсем уже решалась покончить с собой, броситься в Кубань. Но до развязки дело так и не доходило. Так и мыкалась со своим горем одна-одинешенька. Люди жалели меня, а мне от этого и вовсе становилось не по себе. Некоторые даже уговаривали перейти жить в их семьи. Но как могла я согласиться с тем, чтобы быть кому-то в тягость! Тем более что у меня свой дом, свое хозяйство. Бросить все это – значит ничего не оставить от памяти дорогих мне людей.

Кое-кто осторожно советовал мне выйти замуж. Но разве они знали, что у меня на душе? Мои родные, все трое, всегда стояли перед моими глазами, как живые. И никого я не могла поставить рядом с ними, тем более вместо них. Однажды мне сказали, что Бекир тяжело болен и лежит в больнице. Понятно, я просто обязана была навестить его. И я пошла в больницу. Он очень обрадовался и даже съел то, что я ему принесла, чтобы доставить мне удовольствие.

Месяц с лишним пролежал он в больнице, и почти каждый день я ходила к нему. А потом он выписался и, как бывало, вновь стал заходить в мой дом помогать по хозяйству. Я была с ним сдержаннее, чем прежде, а зачастую и просто грубой. В конце концов, я просто запретила ему заходить ко мне...

Знаете, я часто думаю о том, как все-таки силен человек! Почему я не умерла тогда, когда на мою голову обрушилось тяжкое горе? Но разве только на мою голову? Когда я повнимательнее огляделась вокруг, то увидела, что война разрушила не только мою семью. Я слабая женщина. И все же выстояла, выжила!..

Сурат опять замолчала. Мне показалось, что ее одолевает сон, и я старалась ничем не нарушить запоздалый покой этой женщины.

– Вы еще не спите?– спросила меня Сурат и, услышав мой голос, вновь повела свой рассказ:

– В свой срок у моей соседки родилась девочка. Я сшила и вышила распашонку, купила малюсенькие чулочки. Подарила соседке и то, и другое. При этом мне очень захотелось подержать малютку на руках, но я не решалась обратиться с такой просьбой. Пришла к себе домой и разревелась. Потом уже узнала, что так ни разу и не надели на девочку подаренные мною распашонку и чулочки.

Нет, так жить было невозможно! За что же Аллах карает меня так жестоко?

...Я стала женой Бекира.

Люди радовались, глядя на нас. Желали нам счастливой жизни. Потом родился вот этот мой сынок, большая радость моя. Я назвала его именем погибшего сына: Мурат. Бекир очень любит сына.

Вот видите, пережив столько горя, я вновь обрела счастье. Но временами гляжу на сына и мне кажется, что он уже совсем взрослый – такой, как тот, первый Мурат. Тогда я думаю: а вдруг снова грянет война и он так же, как первый, погибнет... В такие минуты при виде сына я вздрагиваю – вот мой ответ на ваш вопрос: «Почему ты вздрогнула, когда вошел твой сын?»

Нет, не дай Аллах, чтобы была война! Не дай Аллах...

Одолев темную ночь, все решительнее и быстрее вторгался рассвет в горы. Заглянул он, свежий и ясный, и в наше окно.

Вот так и ты, дорогая Сурат, думала я, вышла победительницей из труднейшего поединка со своей судьбой. Смотри: вокруг становится все светлей и светлей.

ГЫРДЖЫН

Горцы говорят, что девушке неприлично говорить о гырджыне. Ну как не говорить, если надо говорить?!

Вот и сегодня передо мною тот гырджын – бледный, тонкий, разрезанный на три кусочка. Поодаль от него я – девочка семи лет. Кроме глаз, кажется, на лице ничего нет, глаз, не мигая смотрящих на этот гырджын. Такой взгляд мог бы притянуть, поднять с места не только этот тоненький, как папиросная бумага, гырджын, а сдвинуть горы, сдвинуть Эльбрус...

Да, это было так. Тогда я представляла себе земной шар как огромную бочку без крышки, и я в нем, а вместо крышки – такая же огромная сковородка с гырджыном. Я могла бы достать его рукой, но рука не поднималась. Я могла бы поднять руку, но нельзя было этого делать...

...Мои соседи по купе устраиваются обедать. Приглашают и меня, но я не могу – недавнее прошлое хочет остаться со мной наедине, тянет меня за руку, выводит из купе. И я иду, послушная, немного уставшая.

...Ну что ж, мое прошлое, садись на стульчик, а я постою у окна. Мы тут никому не помешаем. Давай, чего ты хочешь от меня?! А вообще-то, скажи, пожалуйста, зачем нам вспоминать прошлое, вон видишь, как прекрасно за окном? Остаются, нет, не остаются, а бегут с нами золотые поля пшеницы, скачут тонкостанные березки... Да, «моя тонкостанная березка»... Сколько раз я слышала о себе эти слова...

А вон далеко-далеко огромные терриконы. Только я не пойму, нельзя ли как-то по-другому, а то через несколько лет они займут уйму пространства на земле. Вот еще – поля, поля. Как бы быстро ни шел экспресс, он их никак не обгонит.

Скоро на полях загудят комбайны, посыплется золото – хлеб. По-моему, напрасно сравнивают хлеб с золотом. Если уж обязательно надо сравнить,

то не с золотом. Вообще ни с чем. Если что есть на свете несравнимое, то это только хлеб.

Ну что ж, тебе уже надоело сидеть на стульчике, жизнь моя? Я вижу. Да, ты никогда не сидишь. Я это знаю. Если села сейчас, то только для того, чтобы снова взять меня с собой...

До сих пор перед моими глазами – огромные глаза, такие огромные, что они заполнили собой все ущелье, которое берет начало прямо с Эльбруса. Кроме них кругом ничего – ни лесов, ни гор, ни шумно спешащей Кубани, ни неба. Я видела только их, два глаза, два немигающих глаза, глядящих на меня... Мы с подругой шли из стана бригады в аул домой. Солнце еще не садилось. Шли мы по лесной тропинке. Впереди я, молчаливая, хмурая.

Тропинка бежала передо мной, как бы вприпрыжку, то пряталась, как озорная девчонка, то выныривала между кустарниками. Стоило мне нагнать ее, как снова она оказывалась впереди, бегом спускалась через лесной бугорок вниз, и пока я нагоняла ее, она успевала выкупаться в речке, переходила на другую сторону, лукаво глядя на меня, ждала там. Меня? Нет, и подругу, но я в те дни не замечала ни ее, ни кого другого.

Тропинка даже как-то развеселила меня, озорница. Мне казалось, что она безмолвно приказывала: иди только сюда, никуда больше, и для этого нарочно бежала так, что вне ее негде ступить – она шла по-над крутым берегом Кубани, а с другой стороны свисали серые скалы. Она бежала весело и смело, не боясь и как бы уверяя меня, что обязательно приведет на большую, настоящую дорогу...

И... привела.

С одного своего конца – меня.

С другого – Его. И... столкнув нас, сама же перестала бежать, прислушиваясь, желая узнать, чем это кончится.

Я заметила, как оттуда, куда бежала тропинка, шел Он. Появившись из-за кустов, что росли у тропинки. Он как будто отпрянул назад, приостановился, или так сделала я сама, не помню. Помню одно, что первое мое чувство было свернуть в сторону и дать Ему пройти, но это было на мгновение – нельзя сворачивать, если тебе надо идти вперед. И я шла, а отрезок тропинки казался очень длинным, или это я сама шла так медленно. Одним словом, вечность...

Шел Он. Передо мной. Прямо.

Шла я. Перед Ним. Прямо.

Тропинка теперь вроде злорадствовала: вот, мол, попробуйте, теперь никуда не сможете свернуть, ведь моя ширина только для двух ступней.

Только для двух ступней...

Он сделал шаг.

Я сделала шаг.

Он смотрел только на меня.

Я смотрела только на Него.

Шаг. Еще шаг.

Все. Дальше некуда. Ни Ему, Ни мне.

Стал Он. Стала я.

Между нами кусочек тропинки, глядящей на нас снизу вверх, выжидающий, нетерпеливый. За мною – моя подруга. За Ним – кусок большой дороги...

Я видела только глаза. Огромные, немигающие. Они взяли себе всю синеву неба и здешнего воздуха, всю стужу Эльбруса и были настолько ясны, что, казалось, я в них, как в зеркале, видела себя. В них – мои глаза. Может быть, и они закрыли ему весь мир. Вот они, мои глаза, похожие цветом на спелый орех, что растет здесь рядом. Я вижу, или мне кажется, свои глаза – злые, но и готовые выпустить море слез. Нет, этому не быть. Он этого не дождется. А что же тогда?! Нет, так долго не вытерпишь. Глаза в глаза. Сердце занималось своими делами, мысли кружились, как снежинки в пургу, а вот рука, моя правая рука, быстро поднялась сама собой и изо всей силы ударила Его по щеке.

Теперь идти было легко, ноги пошли сами. Одна из них наступила на Его ногу, и я пошла, не сворачивая никуда, вперед. Я успела заметить, как поднялась Его рука и тут же опустилась бессильно.

Мне было все равно. Подруга что-то говорила сзади, не то возмущалась, не то одобряла, не знаю. Я только заметила, что тропинка опять пошла, побежала, прыгая, кружась, озорничая.

Я ни о чем не думала, глаз этих немигающих уже не было передо мной, единственное, что я чувствовала, так это как горела ладонь правой руки, будто укололась она о щетину Его бороды...

Мы с тропинкой поднялись на бугорок, спустились и слились с широкой дорогой, у обочины которой стоит наш дом....

...Ну что ж, или ты бьешь кого-то, или тебя бьет кто-то. А ведь и не обязательно бить... Но если бить, то, конечно, лучше по лицу, но не по сердцу...

Что ж, пора идти в купе. А там все обедают. Два моих спутника, весело разговаривая о чем-то, держат в руках по доброму куску курятины. Столик ломится от всякой всячины. Посредине – большой каравай румяного русского хлеба – гырджына.

Меня уговорили сесть. Кто-то из ребят уступил мне место у окошка. Не хотелось, чтобы мрачное настроение передавалось попутчикам. Стараясь быть веселой, я начала нехотя есть. Бабушка, четвертая наша попутчица, притянула к себе каравай и принялась резать, а он пышный, мягкий.

И опять перед глазами предстал тот, давнишний гырджын, которого мне так хотелось, но все-таки рука моя не дотронулась до него. Между мной и тем гырджыном тогда были больная мама, сестренка, что моложе

меня, и бабушка. Это был последний гырджын, больше в доме не осталось ни грамма муки – никакой. Шла война. И вот последний гырджын. Я, семилетняя девочка, должна была испечь его и разделить между тремя умирающими и в то же время найти в себе силы, чтобы самой не съесть ни кусочка. Не знаю, как у меня хватило на это мужества…

Хорошо мечтается в поезде, но и спится хорошо – качает, как в колыбели, убаюкивает. Но вот опять эта рука, моя правая рука. Мешает. Не дает спать. Сколько времени прошло с тех пор, а все-таки не могу привыкнуть к своей руке, как будто она мне чужая.

...Да, в тот вечер я пришла домой. Мама видела мое состояние. Она не меньше меня переживала и старалась утешить меня.

Мама пекла пироги: у соседа Сослана родилась дочь, она понесет пироги к ним, ведь самый дорогой подарок, вернее, не подарок, а символ благих желаний – это гырджын, гырджын любого вида, любой формы, из любой муки.

Наверно, у Сослана будут игры. Ну, конечно, будут. Раньше их устраивали, говорят, только при рождении сына, а теперь при рождении первого ребенка.

Игры... Игры... Мне ли их забыть...

В кухне я молча налила себе чашечку свежих сливок, отломила кусок румяного гырджына и пошла в другую комнату. Вдруг я заметила, что гырджын держу той самой рукой, которой... Быстро взяла в левую гырджын и попеременно, то откусывая его, то отхлебывая сливки, поела одной только левой рукой, стоя у окна и глядя куда-то невидящими глазами.

Да, я ничего не видела. Не видела, как мои подруги Даута и Сеир шли с работы; не видела, как огромное красное солнце перекатилось за горизонт, оставляя за собой чудные краски, предвещавшие ясный завтрашний день.

Можно было видеть предвечернюю жизнь большого горного аула, если б я могла видеть...

Да, я смотрела, но не видела, все думала. Не о том, что ударила человека, мужчину, об этом я не думала или не хотела думать. Так о чем же? О своей чести? Нет, и об этом уже не думала. Так о чем же? Наверно, обо всем. И как же не думать, если твоя жизнь не получилась...

В ту ночь я не спала. Пришедшие с работы брат и сестра вглядывались в мое лицо, чтобы убедиться, сплю я или нет, но так и не поняли. В последнее время в нашем доме не было весело – все тяжело переживали случившееся со мной, хотя старались не подавать вида.

...Как только я разделась и легла, меня, как молнией, поразило, что рука моя (опять эта рука) оказалась под одеялом, то есть со мной. Я выдернула и положила ее сверх одеяла, чтобы она не коснулась моего тела. Почему я ее так боюсь?! Боюсь?! А может, брезгую? Ведь я в своей жизни не ударила даже собаку. Ну, а мужчины, говорят, попадаются такие. Эти мужчины, что по сути дела слабее женщины, наверно, не презирают своей руки, которой наносят боль другому...

Всю ночь мой сон прогулял где-то, забыл меня, но зато моя память вызывала забытое, вернее, оно приходило само.

...Вот так же, как у Сослана, несколько лет тому назад у наших соседей родился первый ребенок. Весь аул радовался этому. К ним все шли, шли. Несли в корзинах, несли в сетках, несли в белоснежных полотенцах гырджыны, испеченные в печках, в духовках, жаренные в масле, с разными рисунками. Аппетитные, румяные. Приносили и говорили:

– Пусть у малыша будет столько счастья, сколько крупинок муки в этом гырджыне.

– Пусть у него будет столько друзей, сколько крупинок в этом гырджыне.

– Пусть дом его никогда не будет без гырджына.

– Пусть ваш малыш будет таким же нужным людям, как гырджын.

– Пусть...

С гырджыном вместе несли и детские вещички.

Через неделю после этого устроили традиционные игры в честь рождения первенца. Во дворе поставили высокий, с двухэтажный дом, столб, а на самой его верхушке привязали гырджын, завернутый в расшитое полотенце. Рядом с ним – красивую горскую рубашку; в шелковом расшитом кисете – разные принадлежности туалета; и, наконец, белоснежный капроновый шарф для девушки.

К верхушке столба прикрепили ремень из сырой воловьей кожи, специально для этого взятый из колхозного склада. Перед этим несколько дней этот ремень лежал в ведре с маслом, чтобы масло впиталось как следует. Кто-нибудь из парней должен подняться по ремню и достать гырджын. Знатоки говорят, что это очень трудно, но трудность манит молодежь.

Большой двор был битком набит участниками и болельщиками. Ждут старики, опираясь на посохи; ждут старушки, прищурив добрые глаза; ждут дети, громко выражая свои чувства; ждут девушки – ведь кто-то из победителей-парней сегодня безмолвно, но при всех откроет свою любовь...

Я тоже была на этих торжествах. У меня, как у всех тамошних девушек, были свои надежды и сомнения...

Началось. Первым подошел к столбу Исмаил, шофер колхоза. Гармонистка Айшат подыгрывала ему специальную мелодию.

Он не спеша снял свою белую горскую шляпу, ее принял стоящий рядом парень. Неторопливо сел на стул и снял черные туфли, носки, белую рубашку и, не плюнув на ладони, взялся за ремень.

Ни одно его движение не ускользнуло от зрителей. Все ждали. Наблюдали поединок Исмаила с ремнем. Не поддавался Исмаил, не поддавался ремень. Скользили ноги, скользили руки. На лице, на плечах Исмаила выступил пот, но дальше трех-четырех метров он не мог подняться и, вы-

бившись из сил, со смущенной улыбкой пошел умыться. Гармонистка же играла ему оскорбительно вяло и насмешливо.

Но уже раздевался другой, Аслан, механизатор. Гармошка переменила мелодию. Аслан стал подниматься. Он наматывал ремень на голые ноги, но ремень скользил, он наматывал его на руки – то же самое. Аслан снова и снова с яростью поднимался, снова падал – после Исмаила ремень опять намазали маслом. И все же Аслан превзошел первого. Это придало ему ловкости, силы. Гармошка играла все быстрей, все веселей. Вот Аслан достал верхушку. Вот его рука снимает полотенце с гырджыном. Снял. Он счастлив. Спускается. Уже на земле. Гармонь радуется, торжествует. Все хлопают в ладоши. Аслан же положил гырджын в полотенце на стул, а сам, провожаемый одобрительными возгласами, пошел умываться.

Вернулся чистым и одетым. Обеими руками торжественно поднял гырджын, поискал глазами самую старую женщину, слегка поклонился и передал ей. Аслан женат, он должен был взять только гырджын.

Он стал перед ней и сказал:

– Ты мать аула. Ты больше, чем кто-либо, знаешь цену гырджыну. Делай с ним, что хочешь.

Старушка, я помню, как-то сразу помолодевшая, дрожащими руками взяла гырджын, раскрыла его, держа на полотенце. Я помню его, гырджын – большой, круглый, пышный, румяный, он как бы тоже радовался общей радостью и будто розовел. Но что же это? Рядом с ним тот давнишний гырджын, бледный оттого, что не дали ему печься, тонкий оттого, что не было муки. Вот он, как привидение, как само несчастье, ходившее в те годы. Почему я не могу забыть его даже в дни таких торжеств?!

Тот бледный гырджын скрылся от моих глаз тогда, когда я услышала мягкий приятный голос старой женщины. Она говорила:

– Ребенок рождается – приветствуем мы гырджыном; женится юноша – тоже; девушка выходит замуж – опять приветствуем ее родителей гырджыном, умирает человек – соболезновать идем с гырджыном. Вот уже полсотни лет, как горец вдоволь ест гырджын. У него есть все, но гырджын не сравним ни с чем. В нем счастье, в нем труд человечества, в нем дружба, потому что его создают дружные руки. Отведайте, дети мои, по кусочку гырджына, по кусочку нового счастья.

Помню, ей помогли разрезать гырджын на равные доли, каждый подходил к ней, торжественно брал кусочек и ел. Ел и как будто чувствовал себя счастливым.

...Ахмат тоже ел, не отрывая от меня глаз, но значения этого взгляда я не понимала в ту минуту.

Я съела свой кусочек и… стала в самом деле счастливой.

Снова начались игры. Заиграла гармошка. Теперь уже у столба стоял другой парень, Ахмат. Долго он бился с ремнем и достиг своей цели — снял развевающийся на ветерке белоснежный шарф.

Нетерпению публики не было предела: кому, которой из девушек Ахмат подарит шарф?

И он подарил... мне. Все смотрели на нас, потом захлопали в ладоши, весело заиграла гармонь. Я смутилась, покраснела – шутка ли, при всех открыл свою любовь ко мне, а в это время кто-то накинул шарф на мою голову. Я чувствовала, как мои пышные волосы поднимали его вверх, как бы не желая принять, а сердце стучало от радости, от всеобщего внимания. Мне ведь еще предстояло танцевать с ним. Гармонистка подобрала самую быструю мелодию. Мы с Ахматом вышли, люди расступились, все хлопали в ладоши, а мы так увлеченно танцевали, что кроме нас самих в мире не стало никого. Были – он для меня, я для него, а оба – для вдохновенного танца.

Да, с нами еще была гармонь, которая подбадривала нас, заставляла делать до того не существовавшие па. Концы моего шарфа не успевали повторять за мной движения, они касались его лица, когда мы становились ближе друг к другу. Только они были между нами, эти легкие крылья. Дотронувшись до его лица, они возвращались ко мне, как бы передавая его тепло или улыбку, и поэтому, а может быть и без этого, я чувствовала, что улыбка счастливая не сходила с моих губ. Еще бы! Такой парень, статный, красивый... Его глаза сияли – значит, от сияния моей души! Его губы улыбались – значит, от счастья, что я с ним.

Мои туфли на шпильках несли меня, как волшебные, несли к нему, только к нему. Черные пышные волосы мои держали шарф, не давая ему ускользнуть. А не сгорит ли шарф от разгоряченных щек моих, не улетим ли мы с Ахматом на крыльях моего шарфа-счастья?

Мы уже переходили границу времени, положенного на этот танец-исламей, но так мы протанцевали бы до утра. Как во сне я слышала за нами летящие слова:

– Вот это пара так пара!

– Они друг для друга.

– Ахмат знает, кого выбирать...

Я замечала, что ему, как и мне, были приятны эти слова. Его голубые глаза от них сияли еще больше, его красивая фигура летела в танце, как по воздуху.

Так перед всем аулом открыл он мне свою любовь.

А я? До того дня я знала его, своего одноклассника. В школе друзья называли меня писательницей – это потому, что я кое-что пробовала писать. Мне это не нравилось. Если чего не заслуживаешь, а тебя называют так, всегда обидно. Однажды он чуть не отколотил одного из наших учеников за то, что тот меня назвал писательницей.

Мы окончили среднюю школу. Я стала работать в полеводческом звене колхоза. Ахмат работал помощником бригадира полеводов и заочно поступил в институт, а затем уехал в город и работал там.

...Никак не спится. Все в купе спят. Мне никак не спится. За окном пляшут огни, образуя чудные земные звезды. Эти звезды мчатся всю дорогу со мною – звездная дорога...

...Ахмат писал мне, признавался в искренней любви, мечтал о свадьбе... Разве я не хотела этого?! День и ночь я думала о нашей будущей жизни. Я любила его, верила ему. И уже весь аул ждал нашей свадьбы. Все говорили только об этом. И родители наши не возражали.

...Уборка в колхозе кончилась, и началась подготовка к традиционным празднествам, которые проводит колхоз ежегодно. Это праздник Долголетия. А к нему добавляются и другие, к этим «другим» относимся и мы с Ахматом.

Весь аул на ногах. Так у нас говорят, потому что в самом деле на ногах все: все готовятся к этим долгожданным праздникам. Никто никого не обязывает, а все готовятся, или даже состязаются, чей гырджын будет самым лучшим, самым красивым и вкусным, и позор той хозяйке, гырджын которой останется без внимания.

В нашем доме особенно было много забот. Мои подруги, соседи, родственники готовили меня, невесту. Тут и шитье, и кройка, тут и стряпня, тут и примерка – аж голова кругом ходила от всяких забот, но они, заботы, тут же забывались, стоило только мне перенестись мыслями к моему Ахмату... Еще бы, все наши девочки были по уши влюблены в него, а он все-таки выбрал из всех меня! Сколько времени он в городе, а меня не забывал. Мать его живет недалеко от нас и тоже любит меня как дочь. Он присылает ей деньги, не забывает! Что касается нашей свадьбы, то наши с Ахматом мнения разошлись. Я хочу, обязательно хочу, чтобы наша свадьба состоялась в день праздника Долголетия, а он не хотел, но чтоб не огорчить меня, вынужден был согласиться.

Завтра наша свадьба! Сегодня он должен приехать. Мне готовят традиционное бархатное платье малинового цвета с золотыми вышивками, к нему золотой нагрудник, золотой тонкий поясок, на ноги — красивые туфли цвета золота, а на голову... ну на голову я выбрала сама — тот белоснежный тонкий шарф, когда-то при народе подаренный мне моим Ахматом! Вот и вся невеста!

Наступило утро – воскресенье. День торжеств. Солнце встало раньше всех, чтоб сказать людям: «Я тоже с вами!» И они вместе с солнцем потянулись на празднично украшенную колхозную площадь.

Ахмата еще нет.

Все ждут начала торжеств: старики, дети, молодежь, женщины, мужчины. Больные, здоровые. Ликует колхозный аул. Невесты и женихи прибудут позднее.

Но у всех женихи здесь, в ауле, а Ахмата... нет.

Из нашего дома вынесли корзины всяких яств, да еще из огромной туши барана чего только не приготовили! Мои друзья – девчата, ребята, – я чувствую, всеми мыслями уже там, на площади, но не могут же они без меня уйти! За нами должна приехать колхозная легковая, но она прибудет тогда, когда приедет Ахмат.

А его все нет...

Взгляд мой остановился на стенных часах – механический котик-баловник моргает мне то одним, то другим зеленым глазом так, будто он знает что-то такое, чего я не знаю. Моргай, моргай, если так будешь моргать всю жизнь, то доморгаешься до чего-нибудь. И маятник, тоже мне! То сюда, то туда...

– Машина, машина! – крикнули мои друзья, и все прильнули к окну. Из машины вышел наш комсорг и направился к дому – значит Ахмат уже здесь, он должен подъехать к площади вместе с женихами.

Друзья мои засуетились, и почему-то все принялись опрыскивать меня духами «Русская мозаика», «Москва» и французскими, а что все это дало в общей сложности, я не знаю.

Когда мы приехали на площадь, столы были накрыты – огромнейшая буква «П» во всю длину площади. В центре этой буквы я заметила сидящих стариков – четырех мужчин, основных виновников торжества.

Четыре старика – четыре Эльбруса. Им всем вместе четыреста тридцать семь лет! Это их праздник! Это праздник, зовущий всех к Долголетию, обещающий всем Долголетие! Рядом со стариками девять старых женщин, а им вместе восемьсот пятьдесят два года! Да, карачаевцы славятся долголетием, красотой и грациозностью.

Нас, невест и женихов, посадили по левую сторону от стариков, а по правую сторону – те пары, которым сегодня колхоз справляет золотые и серебряные свадьбы. Бог мой! Ахмат! Он чем-то взволнован, наверно, тем, что вчера не смог приехать или вот этим необыкновенным для нас днем...

Началось. Началось после того, как взвился красный флаг.

Все сидят, ни один не остался без места.

Оркестр ждет. Люди ждут. Время ждет. Вино ждет. Сердца не ждут. Мчатся друг к другу. Глаза не ждут – ласкают друг друга.

Началось. Из-за стола поднялся председатель колхоза.

– Товарищи, друзья, большие и маленькие – все! Поздравляю вас с ударным окончанием уборки. Славно поработали, до краев наполнили свои закрома, а теперь по заслугам и отмечаем наш праздник. Вот они, главные виновники нашего праздника, – он показал на стариков. – Это всеми нами уважаемые люди. Мы им выделили пенсии, у них есть прекрасные сыновья, дочери, внуки, правнуки, которые дорожат ими, но сами наши старики не хотят сидеть дома. Вот пчеловод Джансох, вот работница

детплощадки столетняя Бабуш. А вот звеньевой косарей стосемилетний Солман. Они говорят, что залог долголетия – ежедневный труд. Им не верить нельзя. Как же не верить людям, за спиной которых прожитый век? Я предлагаю поднять бокалы за наших уважаемых аксакалов, за тех, кто сегодня справляет свою золотую и серебряную свадьбу, и за тех, кто только вступает в брачный союз. А что касается остальных, то я желаю всем и серебряных и золотых свадеб и своего праздника Долголетия.

Старикам налили бузу. Все почтительно ждали, пока старики выпьют, а после них выпили сами.

Оркестр заиграл туш и сразу же переключился на всеми любимую песню об Эльбрусе. Стук вилок, ножей, чашек, стаканов. Рукопожатия, улыбки, бесконечные поздравления друг друга! Как хорошо, ну просто очень хорошо!

Но вот поднялся один из стариков, борода белая-белая, аккуратная. Он бодрым голосом произносит речь. Не речь, а просто говорит по-семейному:

– Дети мои, мы тронуты вашим вниманием. Горцы всегда уважают старших; это уважение вы сделали обычаем, спасибо вам, дети мои. Хорошие обычаи у нас сохранились, а остальные переменились. Взять свадьбы. Свадьбы когда-то не так проходили у нас – невеста где-то пряталась, жених тоже, а теперь они перед всем колхозом; спасибо вам всем, родные, за все, а мы, старики, пока не думаем умирать, еще хотим помочь вам в работе. Жить хочется при такой жизни. Хоть нам и лет много… Заиграли туш. Там, где сидели молодые, выстрелили пробки шампанского в воздух.

Я только сейчас заметила, как на столе стройными шеренгами красуются гырджыны – пышные, румяные, узорные! Но что за наваждение! Снова перед моими глазами тот, прежний гырджын, бледный оттого, что не дали печься, тонкий оттого, что больше не было ни грамма муки. Вот он, среди всей этой обильной еды и даже в торжественный мой день не желает исчезнуть с моих глаз. Я еле сдержалась, чтобы не зарыдать, ведь этот гырджын еще раз пришел напомнить мне о самых несчастных днях, пришел в счастливый день. Тот гырджын все бледнеет, бледнеет, хотя бледней, чем он был, наверно, никак не сможет стать, и наконец куда-то спрятался, но я знаю, что он меня никогда не оставит...

А тут другие гырджыны. Прямо выставка! Каждая хозяйка, наверно, ревниво следит со своего места за вниманием людей к ее гырджыну. Возле Ахмата красуется гырджын, как башенка. И как только умудряются такое придумывать?! Каких там нет цветов! На них узоров! Он, конечно, хочет преподнести его мне, ведь так решили старшие: каждый жених преподносит своей невесте тот гырджын, который красивее, пышнее всех, чтоб и его будущая жена была такой же умелой хозяйкой, чтоб в их доме было столько счастья, сколько крупинок муки в этом гырджыне.

Наши глаза с Ахматом убегают друг к другу – мои к нему, а его ко мне, но еще каким-то взглядом я вижу происходящее вокруг: тосты чередуются

без конца, старики и золотосвадебники оживленно ведут разговор. А как они подтянуты, эти старики! На них черкески стального цвета, черные мерлушковые шапки, черные газыри, серебряные пояса, воротники бешметов крепко обхватывают их шеи, и от этого они кажутся много моложе своих лет.

Начались танцы. Танцы открыли юбиляры. Сначала вышли три пары: столетний старик и старуха, пара золотосвадебников и из нас одна пара. Вокруг образовался огромный круг хлопающих им в такт музыки. Фотографы не успевали заряжать свои аппараты.

Пары, протанцевав неполный танец, сели на свои места, но поскольку они уже открыли танцы, то желающие кружились.

Приятный бас председателя остановил музыку и попросил внимания. Оказывается, речь идет о подарках. Список был длинный и подарки чудесные, но занятая своими мыслями, я только запомнила, что нам с Ахматом колхоз дарит телевизор, а одному старику – коня, так как он еще и прекрасный наездник.

Я вся была в ожидании – вот-вот Ахмат преподнесет мне облюбованный им гырджын. Как же я буду принимать его, как держать, куда смотреть? Бог мой, вот моей соседке жених уже передает, уже! А как она берет, куда смотрит, улыбается или опускает глаза – я ничего не вижу, я дрожу, я радуюсь, я боюсь, я стесняюсь...

Вот наконец поднимается он, Ахмат, бледный (тоже волнуется – промелькнуло у меня в голове), вот уже руки его коснулись гырджына, Бог мой, неужели руки его дрожат, вот он неуклюже поднимает его, поднимает, как огромную тяжесть, никак не может осилить, мне хочется ему помочь, но нельзя, не полагается. Бедный, как ему трудно, весь колхоз сейчас смотрит на нас, кто-то берет меня за руку, ведь я тоже поднимаюсь, и этот «кто-то», может, думает, что я упаду от волнения. Вот спасибо! Этот «кто-то», кажется, женщина, она втиснулась между мной и другой невестой, стала рядом. Ахмат, ни на кого не глядя, уже поднял гырджын на уровень еще не откупоренной бутылки, ну а теперь он взглянул на меня и, страшно побледнев, уронил гырджын на бутылку шампанского. Гырджын разломился на две части, и какой-то голос печально произнес:

– Да, разломанный гырджын не слепишь вновь... А женщина, что держала меня за руку, никому не знакомая женщина, сказала, глядя в глаза Ахмату:

– Что ж, надеюсь, ты больше не будешь поднимать гырджын. Давно ли состоялась наша с тобой свадьба, и не ты ли клялся, что ненавидишь ту женщину, на которой был женат до меня?! И что любишь только меня. Я довольна, что успела вовремя предотвратить новую беду.

И ушла она, гордая, освобожденная от чего-то тяжелого.

И я ушла. Убежала опозоренная, обманутая. А потом – встреча на тропинке...



Вечные всадники

Повесть

Перевод автора с карачаево-балкарского языка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Равнодушные ослики стояли ровным рядом на старте. Их печальные морды почти касались неровной стартовой линии, прочерченной по пыльной земле у околицы аула Аламат. На осликах восседали босые ребята с разгоряченными и серьезными лицами, нетерпеливо ожидая сигнала к началу скачек. Всадники не сводили глаз с Шайтана* , который держал в поднятой руке красную косынку матери, вынесенную из дома тайком.

Ватага маленьких болельщиков перестала шуметь. Затаив дыхание, зрители ждали начала соревнований.

И вот алый стартовый «флаг» прорезал воздух. Все семь джигитов дробно ударили пятками босых ног по тугим бокам животных. Шестеро осликов неохотно переступили линию и уже трусили к финишу, но седьмой, серенький, не сделал ни шагу. Наездник, чуть не плача от досады, вовсю колотил пятками, не жалея не только ослика бока, но и свои ноги.

Ослик вдруг навострил уши, пошевелил ими. Всадник обрадовался, но ослик оторвал от земли почему-то не передние ноги, а задние. Взбрыкнул, поддал крупом и свалил через свою голову всадника на землю. Ослик невозмутимо стоял, склонив голову к черте старта, а всадник сидел в пыли; на его лице появились бороздки не то от слез, не то от пота. Подняться и наказать Серого? Или же лечь лицом к земле и дать волю горю? Ведь сколько дней он готовился к этим состязаниям, даже во сне видел свою победу...

*Шайтан - черт

Пряча слезы, чтобы не уронить свою мужскую честь, Солтан медленно встал, отряхнулся. Серый презрительно покосился на Солтана, побрел туда, где зеленела майская трава, и начал лениво щипать ее.

До Солтана донеслись радостные крики наездников, домчавшихся до финиша. Там кого-то качали. Кажется, Хасана. Значит, его Орел пришел первым. Солтан, с упреком глянув на своего Богатыря – так он раньше любил называть Серого, – побежал к финишу. Там Шайтан уже выстроил ватагу. Солтана он тоже поставил в ряд.

Хасан поднялся на пьедестал – на старый прогнивший пень. Одна нога победителя тут же провалилась, и на нее напала муравьиная армия. Хасан чуть не вскричал, но вспомнил, что герой не должен обращать внимания на муравьев.

Рядом с Хасаном стоял его Орел, понурив голову и чуть не упираясь беленьким носом в пыль. Вид рысака никак не соответствовал гордому положению его хозяина.

Под аплодисменты всадников и болельщиков Шайтан вручил победителю приз: раскрашенный альчик* , впадина которого была залита свинцом. Красивая, увесистая бита для игры в альчики.

Орла тоже наградили. Для этого заранее были заготовлены молодые еловые ветки. Ослик с удовольствием начал жевать их, проливая зеленую слюну на белые губы.

Когда кончилась церемония, ватага направилась в аул. Впереди шел победитель. Он вел Орла, на шею которого была накинута веревка из конского волоса. Все были оживлены. Даже те, которые дошли до финиша последними. И лишь хозяин Богатыря был печален. Он не знал, куда девать свои глаза от стыда. Он брел позади всех, и его, кажется, перестали замечать. Да и кто захочет смотреть на хвастуна, который перед стартом объявил, что обскачет всех! Завтра в школе все будут знать о его позоре. Упавший с осла, разве усидит на коне? Разве это мужчина? Испокон веков повелось в Карачае, что такой позор не забывается. Так и начнут говорить о нем, Солтане: «Знаешь, это тот, который упал с осла!» Настанет время жениться, скажут: «Нет, мы не можем выдать замуж свою дочь за того, кто упал с осла». А потом, если у него все же будут дети, скажут: «Знаешь, это сын того, который упал когда-то с осла». А самое главное, скажут сейчас об отце Солтана: «Это отец того, который упал с осла...»

Так думал Солтан, потихоньку отстав от ребят и дойдя до конюшни конезавода, где уже много лет работает его отец. Войти он не посмел. Отец спросит: «Что с тобой?» А как ответить ему?

Он побрел домой, и вдруг такая обида вспыхнула в нем на отца... Сколько рысаков у них на заводе! Отец – коневод. И ни разу не сажал его, Сол-

* Альчик - игральная кость

тана, на приличного коня, ни разу не сказал: «Ну, сынок, скачи как ветер!» А Солтан сумел бы, ведь он уже не маленький, ему девять лет! Правда, иногда отец сажает сына на старую кобылу, слепую на один глаз. Но на ней и сидеть-то стыдно. Она свободно ходит везде по заводу, ее не списывают. А задается как! Смотрит на Солтана так, будто хочет сказать: «Ты, щепка, держаться-то не сможешь на мне. А знаешь, какие мужчины меня седлали! Знаешь ли ты, что однажды на мне катался сам Семен Буденный, когда приезжал на открытие завода его имени! А знаешь, что мои сыны – призеры?»

Когда Солтана сажают на нее, она не двигается с места. Ну, от силы пройдет от родника к корыту с солью, и то не ради Солтана, а чтобы провести языком по облизанной, полированной глыбе соли.

В ауле нет мальчишки его возраста, который бы не скакал на коне вперегонки с ветром, иначе позор не только им, но и всей их родне. Солтан тоже может, он научился тайком от родителей. Сначала, конечно, на ишаке, а потом на соседских лошадях. Почему тайком? Родители не разрешают! После того как старший брат Солтана упал с коня и разбился, мать не может смотреть на лошадей без содрогания. Отец даже продал своего коня, который славился в округе. Правда, переменить свою профессию коневодa он все же не смог. Разве пересилишь себя, свою любовь к лошадям?

Долго стоял Солтан у изгороди и тайком наблюдал, как из денников выводили писаных красавцев. О, как они гарцевали! Будто любовались собой. Отец не раз говорил, что кони любят при людях красоваться.

Вон и отец вывел под уздцы гарцующего коня. Солтану показалось, что этот рысак сделан из снега или ваты. Или же из белых-белых облаков, плывущих вон там, над седловиной горного хребта. Ни одной тёмной крапинки не было на нём, ни одной пылинки! Красавец! Солтан смотрел на него, затаив дыхание, не моргая. Жаль, если отец быстро уведет его назад.

Конь, словно зная, что им любуются, вовсю задавался. Отец еле сдерживал его. Белый конь и отец в белой развевающейся рубашке. Ой, как красиво! А кто тот счастливец, который хоть раз садился на этого красавца? Как кто? Отец, конечно. И не только один разочек садился, а, наверное, тысячу раз! В минуту, когда захочет…

Отец хотел было увести коня назад, но Солтан истошно закричал:

– Не надо!

Отец удивленно обернулся. И направился – о, вместе с конём! – к сыну.

Солтан застыл, обхватив столб невысокого забора. Но когда тонкое, сухощавое лицо отца наклонилось над ним, он умоляюще посмотрел снизу на него чернущими и большими, как у девочки, глазами. Затем мгновенно перелетел через забор, обнял морду коня и припал к ней губами.

Абдул, так звали коневода, заметил, что у сына брызнули слёзы. Испугался, но не выдал своего смятения. Скрывая отцовскую любовь, сухо спросил:

– Тебя кто-то обидел? Почему ты здесь?

Солтан все крепче сжимал морду коня, слёзы катились у него по щекам, но на лице было блаженство.

Отец растерялся. Он давно знал, что мальчик только и грезит конями. «Но разве поймет моя жена? – подумал Абдул – она все время твердит, что посади я Солтана на настоящего коня, с ним случится то же самое, что со старшим сыном…»

Мальчик целовал и целовал морду коня, который вдруг стал таким смирным, что не перечил ласкам, опустил красивую голову и замер, чуть прикрыв влажные озорные глаза. Абдул молча наблюдал. Он понял, что на свете нет силы, которая могла бы оторвать сердце его мальчика от этого коня. Подумав, сказал сыну:

– Ну-ка, прыгай на спину коня!

Солтан взлетел на забор и мигом оказался на коне. Он схватил уздечку, но отец сказал:

– Нет, держись за гриву, а повод пусть будет у меня. И он повел коня под уздцы. Солтану, конечно, хотелось бы поскакать самому, но счастье и просто так проехать верхом. Отец вел коня вдоль длинной изгороди, вел медленно и был молчалив. Солтан видел его белую войлочную шляпу, края которой то опускались, то поднимались от лёгкого ветерка.

Сделав несколько кругов, отец остановился, велел Солтану спешиться. Тот нехотя подчинился, спрыгнул на мягкую навозную землю и стоял, не отрывая глаз от нетерпеливо перебиравшего ногами коня.

Отец сказал:

– Иди домой, делай уроки. Если мать еще не вернулась с базара, накорми кур, посмотри теленка: не оторвался ли от привязи. А вечером... Ну, об этом потом!

– Что вечером, отец?

– Потом скажу, иди, – сказал отец и повел коня в денник. Солтан побежал домой. «Вечером, вечером, – повторял он про себя. – Вечером, наверное, отец будет доделывать вместе со мной ту миску из дубового нароста. А может быть, скажет, чтобы я готовился с ним на утреннюю охоту в Бермамыт? Или будет рассказывать мою любимую сказку о нартском* кузнеце»

Солтан гадал, гадал, но так и не решил, что же будет вечером. Посмотрел на небо, солнце было еще высоко. Жалко! Значит, до вечера далеко...

Вдруг ему пришло в голову: а может, отец узнал о его сегодняшнем позоре и вечером будет наказывать? За девять лет жизни Солтана отец побил

*Нарты – богатыри, герои карачаево-балкарских эпических сказаний

его всего один раз – хлестнул несколько раз плеткой по щиколоткам. Это случилось тогда, когда Солтана победил в борьбе ровесник на уличных состязаниях мальчишек.

За борьбой наблюдала вся улица: деды, отцы, матери, сестры, братья. Даже устанавливали призы разные для победителей. Когда противник Солтана положил его на лопатки, Абдул потемнел, нахмурился. Его-то самого никто в ауле никогда не побеждал в борьбе. Сыну он сказал всего одно слово: «Домой!» Шел Абдул за мальчиком молчаливый, ударяя временами об землю своей плеткой. Дома Абдул так же молча отхлестал Солтана по ногам, которые не удержали его во время состязаний. Вот и все.

Матери еще не было дома. Во дворе под сосновым бревном Солтан нашел ключ. Поел хлеба со свежими сливками и сел за арифметику, которая ему так трудно давалась. Просто она его не любила. А сегодня вообще ничего с ней не получалось, голова была занята не ею, а тем, что же будет вечером.

Потом он накормил кур кукурузой, собаке переменил воду в чашке; посмотрел теленка, который спал на траве, уткнувшись черным носиком в пах.

День никак не кончался, хотя тень от Солтана уже падала косо.

Солтан вышел за ворота и стал смотреть в сторону конезавода: не идет ли отец? Но отца все не было.

По каменистой улице приближался, лениво Орел и тот, кого и видеть противно – Богатырь. Сердце заколотилось у Солтана от гнева. Он закрыл глаза, чтоб не видеть ишака, и скрылся во дворе. Сел верхом на кожаное отцовское седло, которое лежало под навесом, взял хворостину и стегал, стегал седло, а заодно и ноги свои, считая, что скачет верхом. Он был так увлечен, что не слышал, как открылась калитка и мать пропустила вперед себя Богатыря. Мать окликнула сына и начала журить его:

– Несчастный ослик стоит и ждет у калитки, пока ему откроют. А ты и не видишь...

Солтан подбежал к матери, взял у нее свертки с покупками, корзину, стараясь не смотреть в сторону этого противного ишака, которого и жалеть-то не стоило.

Мать вытащила из кармана длинную конфету в красной бахромчатой обертке и дала сыну. Солтан аккуратно развернул один конец обертки и начал сосать конфету, поднимаясь в дом по каменным ступенькам.

Мать разложила покупки и взялась готовить ужин. Запылали смолистые дрова в очаге летней комнаты во дворе. Казан с водой покачивался на очажной цепи. Дрова затрещали, длинное пламя поднялось по цепи (Солтану показалось, что оно взбирается по кружочкам черной цепи, как по ступенькам), и вскоре крышка казана стала подскакивать шумно, весело.

Мать насыпала в деревянное корыто кукурузную муку, обдала ее кипятком, замесила тесто, обеими руками долго мяла его, потом выложила на сковородку, нарезала треугольниками. Затем накрыла сверху другой сковородкой и зарыла в жар. А еще она сделала лепешку и зарыла ее рядом со сковородкой прямо в угли, потому что отец любит, когда хлеб немножко в золе. За всем этим наблюдали Солтан и огромный черный кот, тоже усевшийся у очага. Солтан сосал конфету, а кот не был ничем занят и наблюдал за приготовлением ужина злыми глазами.

Налив в корыто воды и выскоблив его, мать все это вылила в ведро и сказала:

– Добавь сюда еще муки, отнеси ослику, пусть поест.

«Ослик он и есть, а никакой не Богатырь, – подумал Солтан.– Не буду я его поить и кормить!»

– Ты не слышал, что я сказала?

– Слышал.

– Ну так отнеси. Он ведь, наверное, ждет, глаз не отрывает от дверей.

– Пусть себе ждет.

– Это как же так? — посмотрела мать на сына, перестав перебирать рис.

– Так...

– Что значит «так»?

– Так – это так.

– Что, он тебя обидел?

– Чтоб он меня обидел?! – вскочил Солтан. – Чтоб ишак меня обидел?

У него чуть не брызнули слезы из глаз и голос задрожал.

Мать поняла, что с ним что-то неладное. Её черные глаза, не мигая, смотрели из-под длинных ресниц на сына. А тот, чтобы скрыть слезы, пулей вылетел из комнаты, скатился со ступенек и наткнулся на Богатыря, который и в самом-то деле стоял у крыльца в ожидании кормежки. Пожалуй, Богатырь-то и спас Солтана: не стой он там, мальчик, споткнувшийся на самой нижней ступеньке, расквасил бы свой горбатый нос, которым гордился. Отец всегда говорил Солтану, что нос его точь-в-точь дедушкин, а как же не гордиться таким носом, если дедушка – это был дедушка: говорят, кидал на состязаниях камень дальше всех, скакал верхом лучше всех!

Солтан отпихнул ослика, который удержал его от падения. Рукавом белой рубашки вытер слезы. И сел рядом с рыжим, лохматым, большеголовым волкодавом. Пес лежал, свернувшись, и безразлично поглядывал на своего взволнованного друга.

Мать выглянула, но не стала задавать вопросы сыну, видя, что он старается по-мужски скрыть свое состояние. Она сама покормила ослика.

Солтан вышел за калитку и там забыл и про ослика, и про свои слезы, потому что был занят ожиданием: когда же, наконец, наступит вечер? Как

назло, вечер не наступал. Вечер – это когда впереди аульного стада появляется в конце улицы красная безрогая корова, а за ней идут все коровы аула, поднимая пыль, мыча разноголосо, громко окликая своих телят. Но красной коровы нет и нет.

С той горы, что напротив аула, пока еще не спускается длиннобородый козел – вожак отары. Значит, еще не вечер. Из клуба не доносятся ни песни, ни звуки гармони, значит, еще не вечер. Старик Даулет, который всю свою жизнь считает коричневые четки, но никак не сосчитает, не направляется с большой суковатой палкой в мечеть – значит, еще не вечер.

Солтан вернулся во двор. Тучный красно-белый петух вовсю дрался с молодым петухом, который без страха лез и лез в бой со старым силачом. Куры спокойно клевали кукурузный початок, валявшийся на земле, и не собирались пока на насест. Значит, еще не вечер...

Медный Казан (так мать прозвала рыжего волкодава Самыра за то, что он и вправду похож на огромный бабушкин Медный Казан), ишак и черный круторогий баран лежали теперь рядом, но не думали спать. Баран задумчиво жевал жвачку, а Медный Казан, положив лохматую голову на спину ослика, не мигая, глядел на Солтана, как будто видел его в первый раз. А разве не он, Солтан, когда-то спас его, еще слепого тогда щенка, от смерти, когда сосед хотел утопить новорожденных щенят?

Солтан не знал, куда себя девать, слонялся по двору. Потом зашел в дом. Мать уже вытащила хлеб и сидела, сбивала масло в подвешенном к потолку красном бурдюке* .

Солтан высыпал из коробки все свои раскрашенные альчики, стал играть сам с собой. Но игра не клеилась. Мать поглядывала искоса на сына, видела, что ему чего-то не хватает, но ничего не спрашивала: ждала, что будет дальше.

Солтан убрал альчики, достал альбом и принялся за свое любимое занятие – рисование. Мать видела, что он рисует и зачеркивает, рисует и зачеркивает. Но вот сын бросил свое занятие, поднялся, подошел вплотную к маме и спросил:

– Мам, почему сегодня вечер не приходит?

– Как не приходит? Вон уже ущелье потемнело, солнце сидит на верхушках гор. И коровы мычат...

Солтан стремглав выбежал за калитку и далеко в конце улицы увидел красную корову, во всю глотку, извещавшую аул о том, что они, кормилицы, идут. Пусть выходят их встречать! И женщины выходили, ожидали у ворот.

Теперь Солтан с нетерпением смотрел в сторону конезавода, откуда каждый вечер приходил отец с красивой плеткой в руке, приходил пеш-

*Бурдюк – мешок из кожи

ком, несмотря на то, что он, конечно, мог бы сесть на любого коня и приехать на нем. А вместо этого топает ногами.

Сегодня он и вовсе не показывается.

Солтан сел на бревно у ворот и, не моргая, смотрел в сторону конезавода. Оттуда люди шли то поодиночке, то группами, а отца все не было.

Терпение Солтана висело на ниточке. Эта ниточка оборвалась. Он вскочил с бревна и помчался в сторону завода: вечер-то наступил, значит, надо напомнить об этом отцу. На территории завода отца нигде не было. Мальчик влез на изгородь и сел на неё верхом, болтая ногами. Идущий мимо мужчина (Солтан узнал его сразу: это был сам директор военного конезавода Зулкарнай Юсуфович), остановился и спросил Солтана:

– Куда же ты мчишься верхом? Не в Большой ли Карачай на скачки? Или едешь и никак не доедешь к отцу?

Солтан спрыгнул на землю и как бы по-военному отрапортовал:

– Нет, товарищ директор!

А сам подумал: «Зачем же я обманул? Я ведь и вправду так хочу скорее увидеть отца».

– Отцу твоему сейчас некогда, – сказал директор и пошел, но затем обернулся и добавил: – А впрочем, пойдем.

Солтан колебался: вдруг отцу не понравится его приход? Но директор ждал, и Солтан молча последовал за ним.

Когда они вместе пришли в конюшню, отец и главный зоотехник завода о чем-то разговаривали, а в том помещении, где кобыла Гасана всегда находилась одна, Солтан вдруг увидел рядом с ней белоснежного жеребенка, неумело сосавшего молоко матери. Гасана родила жеребенка!

Солтан, не помня себя от радости, моментально оказался рядом с жеребенком и, обхватив руками голову новорожденного, приложил щеку к его щеке.

Абдул заметил сына, подошел и осторожно, как-то даже нежно, вывел его оттуда, сказал:

– Стой здесь и можешь смотреть сколько хочешь.

Сам он снова отошел к директору и зоотехнику. Солтан в эти минуты забыл обо всем на свете и во все глаза смотрел на жеребенка и его мать. Через миг Солтан оказался верхом на изгороди станка, отсюда еще лучше было видно жеребенка. Да и вообще Солтан нигде иначе и не сидел: дома на стул всегда садился верхом, во дворе – на бревнышке. Даже в школе умудрялся он сесть верхом на сиденье парты. Сколько раз попадало ему за это.

«Гасана очень любит своего сына», – подумал Солтан, потому что кобыла все время обнюхивала, глаз не спускала с жеребенка. А чудо-малыш похаживает возле матери, прядает ушами; его длинные несуразные ножки

хорошо держат на себе тонкое тело. А какие глаза! Сам он белый-белый, будто облитый молоком, а глаза черные-пречерные, только они и выделяются на этой белизне. Кончик хвоста у него, правда, почему-то черненький. Нет, Солтан дальше не мог наблюдать издали. Прыг! И он оказался снова рядом с жеребенком.

Солтан знает здесь каждого коня, всех жеребят, но такого он еще не видывал. Он, млея, целовал глаза и губы жеребенка, вырывавшегося из его объятий, но вот сильная рука отца на этот раз сердито упала на плечо:

– Пошли!

Солтан будто и не слышал его приказа, потому что вообще не думал сегодня возвращаться домой. Но отец подтолкнул сына вперед. Солтан молча повиновался и пошел к выходу, отец за ним. Впереди шли директор и зоотехник. За порогом конюшни отец поравнялся с сыном и сказал:

– Я-то думал сам тебя порадовать вечером, показать новорожденного, а он взял да родился чуть-чуть раньше.

– Так ты об этом думал, когда говорил о вечере? – живо спросил Солтан, глядя на загорелое лицо отца.

– Да, об этом, но ты сам явился. Видишь, какой тулпар* появился на свет? Такого я за всю свою работу здесь не знал: как только родился – сразу поднялся на ноги! И как молоком облитый, нигде никакой крапинки! – говорил отец, сам, загораясь, и, наверное, забыв о присутствии сына.

– А как его назовут, отец?

– Судя по его родословной, он будет называться Туганом, главный зоотехник уже заполнил на него свидетельство...

– И его будут клеймить? – спросил Солтан, который не раз видел с жалостью, как раскаленным железным клеймом ставят коням тавро – метку.

– Обязательно, – ответил отец спокойно.

Они незаметно дошли до дома. Отец, умывшись, переоделся в темно-синий короткий бешмет, застегнулся на все пуговицы, зачесал свои черные пышные волосы назад и сел за треножный столик ужинать. Солтан тоже сел, но отдельно – сыну с отцом вместе не подобает сидеть за трапезой. Кушая бышлак биширген** с кукурузным хлебом, Солтан поглядывал на отца: он всегда во всем любит подражать ему. От треугольного гырджына отец отламывал аккуратный кусочек, обмакивал его в бышлак биширген и ел степенно. Его небольшие усы нисколько не пачкались во время еды. Солтан тоже старался есть медленно, аккуратно.

Вот отец доел свой гырджын, Солтан тоже успел и ждал дальнейших движений отца. Взяв обеими руками небольшой гоббан*** со свежим ай-

* Тулпар – богатырский крылатый конь в карачаевских народных сказках

** Бышлак биширген – карачаевское национальное блюдо; готовится из свежего домашнего сыра и кукурузной муки со сливочным маслом; едят его с хлебом

*** Гоббан — деревянная чаша

раном , отец медленно поднес его ко рту. То же самое проделал Солтан со своим гоббаном.

Отец взял специально поданное ему льняное полотенце и медленно обтер усы и губы. У Солтана почему-то не было такого полотенца, но он не растерялся, вытащил из черных штанов полу своей рубашки, хотел было вытереть губы ею. Но отец, еле скрывая улыбку, остановил его и сказал:

– Мать забыла, кажется, подать тебе полотенце? Пойди, возьми вон там и вытрись.

Солтан так и сделал. Отец подождал, пока сын вытрется, затем поднялся и еще туже затянул свой серебряный пояс. У отца узкая талия, совсем незаметен живот.

Солтан хотел было сделать то же самое, но у него никакого пояса не было, штаны держались на крепкой тесьме, вытканной матерью из черных ниток. Поэтому Солтан просто подтянул живот, чтобы быть стройным, как отец.

Мать послала Солтана в курятник за яйцами, чтобы сварить их мужу, потому что он сегодня будет ночевать возле Гасаны и ее жеребенка.

– С возрастом я становлюсь другим, слышишь, дочь Урусовых?* – сказал Абдул жене, когда сын вышел.

– Думаешь, не вижу? С тех пор как мальчик стал тебе подражать, ты стал, как пропессор, важный, сын Лепшоковых! Если я даже заболею, все равно не сходишь по воду, постыдишься. Не сготовишь еды, тоже стыдно: а вдруг увидит кто? Не приласкаешь ни сына, ни меня – скажешь, мужчина не должен выказывать чувства. Вот какой ты есть пропессор, сын Лепшоковых! Бедный наш старший мальчик так и умер, не услышав от тебя ласкового слова. Ты только лошадям и говоришь их...

– Зато и бедный наш мальчик знал, и ты с Солтаном хорошо знаете, что я вас люблю, что в душе я говорю самые нежные слова всем вам! – ласково сказал Абдул, приподняв голову жены, нагнувшейся над кадкой, где уже шипела хмельная боза.

С длинными ресницами карие глаза Марзий улыбнулись Абдулу, и она снова опустила взгляд к кадке с бурлящей, бушующей бозой. Марзий достала деревянным черпаком напиток и подала мужу, говоря:

– Помнишь, я тебе говорила: как родится жеребенок, отметим это событие моей бозой? Вот и отмечай.

Абдул выпил до дна, с удовольствием почмокал.

– Она уже хмельная, тейри** . Вот уже голова пошла плясать, но надо, чтобы еще сильней! И тогда польются все нежности, какие я говорю мысленно...– сказал, улыбаясь, Абдул и сам снова зачерпнул черпаком бозу.

---

* Иногда между супругами у карачаевцев, особенно в сельских местностях, существует такое обращение: хотя жена и носит фамилию мужа, он к ней обращается по ее девичьей фамилии

** Тейри – клянусь

Вошел Солтан с полной шляпой яиц. Видя, что отец допивает бозу, он стал у двери. Тот удивительно нежно, с еле заметной улыбкой глянул на сына, протянул ему черпак:

– Пей, тут немножко осталось. Но знай, что джигит никогда не должен пьянеть. Будь мужчиной.

Слова «будь мужчиной» отец повторял часто и всегда к месту.

Солтан выпил важно и всем своим обликом дал понять, что он не опьянел и никогда в жизни не опьянеет. Ему очень хочется стать настоящим мужчиной! А это значит: ничего не бояться, уважать старших, женщин, не обижать детей, не распускать нюни. Да мало ли еще чего! О, быть мужчиной не только по рождению не так-то просто! Но Солтан станет им. Он так решил.

– Мы выпили, чтобы Туган вырос самым сильным и быстрым конем, правда, отец? – спросил Солтан, страстно желая, чтобы отец ответил «да».

– Он и будет таким, сынок, ты же видел, какие у него уши, ноги. Не может быть плохим жеребенок, у которого такие родители: отец – чистой арабской породы, мать – карачаевской. Ты не заметил, я покажу тебе это, у Тугана за ухом особая примета, мой отец называл ее «хырза». Знак доброй породы! За лопаткой у Тугана, возле четвертого ребра, что-то в виде маленьких крылышек. А «галифе» на внутренней стороне ног! А расстояние между путой и копытами! Э-э, что ни говори, а родился чудо-жеребенок! А головка! Даже сейчас видать – она, как у птицы. Правду говорят наши старики о голове отличного коня: «голова змеиная», но мне больше по душе сравнение с птицей.

...Весенний вечер окутал всю долину, окружённую пышными лесами. Аул засыпал. Все громче слышен был шум взбунтовавшейся небольшой речки, да изредка лаяли собаки. В некоторых домах слабо светили висячие керосиновые лампы, так как еще не везде успели провести в этом ауле свет.

Солтан лег и быстро уснул, а отец, ожидавший этого, вскоре ушел на завод, чтобы дежурить у Гасаны и ее сына Тугана.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утро. Кучерявая голова Солтана показалась из-под красного сатинового одеяла. «Сейчас начнет рассказывать», – подумала Марзий, готовя сыну завтрак.

Дело в том, что каждое утро, просыпаясь, Солтан рассказывает матери (отца утром он никогда не видит) самые невероятные сны, а она так и не знает до сих пор, он в самом деле видит их или же выдумывает.

Солтан спрыгнул с высокой деревянной кровати, сделанной еще дедом, натянул повыше белые кальсоны и зашагал босиком по земляному полу к матери.

– Наверно, ты очень интересный сон увидел, раз подходишь к матери в таком виде, а? – упрекнула она.

– Честное пионерское, я не видел сна!

– Не может быть! – удивилась мать.

– Я ничуточки не спал, поэтому сон ко мне совсем не приходил сегодня.

– Что же ты делал, если не спал?

– Я думал о Тугане, – сказал мальчик почему-то грустно, но тут же добавил горячо: – Мам, ты никогда такого жеребенка не видела!

– И живу же.

– Да ты только и видишь нашего ишака! – огорчился он и стал умываться.

– Это с каких же пор он для тебя стал ишаком, а не осликом, а?

– Какой там ослик... Ишак! – с презрением повторил он и затянул, как отец, ремень на темной рубашке с накладными карманами на груди.

Мать улыбнулась и подумала про себя: «Наверное, ослик укусил его, он умеет это делать, или же скинул с себя, он это тоже может, когда ему надоедают».

Воспоминание об ишаке испортило Солтану настроение, и ел он молча. Но стоило вспомнить о Тугане, как Солтан повеселел. Не доев толком завтрак, он схватил желтый дерматиновый портфель и побежал в школу.

Как назло, первый урок был арифметика. Солтан хорошо читает и пишет, а вот в арифметике не силён. Недаром же его друг Шайтан говорит, что арифметика боится Солтана и не идет к нему.

Учительница задала письменную работу. Солтан аккуратно, со всем старанием переписал условие задачи с доски, шумно макая перо в прозрачную стеклянную чернильницу с фиолетовыми чернилами. Все углубились в решение задачи: одни, кусая кончик деревянной ручки, уставились в свои тетради, другие косо заглядывали в тетради соседей, третьи что-то быстро писали на розовых промокашках.

Солтан не заглядывал в тетрадь сидящего рядом Шайтана, как это делал обычно, а, не смыкая глаз, смотрел на доску, на белые строки. Долго смотрел на них, благо никто и ничто не мешало этому – учительница вначале сидела у стола, затем стала ходить между рядами парт. Солтан видел не белые строки задания, а заполнившего собой всю доску Тугана. Вот он, красивый и статный Туган, пришел сюда, к Солтану, и черными-пречерными глазами смотрит куда-то в окно. Вдруг на его гибкую спину аккуратно упало белое седло с золотой отделкой, на голову надели такую же белую уздечку с золотыми украшениями. Солтан любовался поджарыми ногами коня. Заметив взгляд мальчика, Туган горделиво поднял левую переднюю ногу, чтобы показать золотую подкову.

С седла свисала плетка с рукоятью из чистого золота, но она Солтану ни к чему: ведь он никогда не ударит Тугана. Туган словно понял это и посмотрел на Солтана ласково, даже улыбнулся, обнажив сахарно-белые зубы, моргнул глазом: мол, я готов. Тотчас у Тугана выросли крылья, тоже белые, и он легко оторвался от земли, поплыл от классной доски к окну, сказав:

«Ты не думай, что я конь Бурак, на котором пророк Магомет взлетел к Аллаху. Я – настоящий земной конь Туган и буду ждать тебя на зеленой лужайке у родника. Приходи туда после уроков, я, кроме тебя, никому не дамся».

И конь выплыл в окно, исчез.

Это был один из обычных снов Солтана... Огорченный тем, что конь исчез, Солтан проснулся и стал быстро моргать глазами. Что такое? Он находится на уроке? И притом на уроке арифметики! Задача у него не решена... Солтан хотел взяться за решение, но вдруг вспомнил, что он до сих пор не составил племенное свидетельство на Тугана. На заводе, конечно, это сделали сразу, как родился жеребенок. А Солтан хочет проделать это для себя. Ведь с тех пор, как он научился читать и писать, он ведет свою «летопись», заполняет свидетельства на новорожденных жеребят, хотя друг Солтана, Шайтан, не раз уже браковал эти свидетельства за неточность: Шайтан-то все знает!

Солтан твердо вывел на середине страницы в тетради по арифметике, где было записано условие задачи: «Туган». Потом разгладил лист и стал записывать все о Тугане: «Номер тавра (это придется проставить завтра); пол – жеребец; порода – арабо-карачаевская; поколение – третье; масть – сивая; приметы другие – нет; родился 20 мая 1937 г. на военконзаводе им. Буденного».

Дальше он перечислил: «Мать – Гасана, отец – Тагор, бабка – Арена, дед – Дрозд, мать бабушки – Гетра, а ее мать – Дебютка, отец Дебютки – Детектор, его дед – Дарто, его мать – Терновая, а ее отец – Дипломат, а...» Список оказался длинным. Покусывая ручку, Солтан вспоминал клички предков Тугана и спешил записать их, бормотал при этом: «А отец Дарто – Даусуз, мать – Даута, отец Лагуны – Локсен-Карак, мать — «Ах, какая». Да, да, была и такая кличка: «Ах, какая», – улыбнулся Солтан.

Он бы продолжал свой список, да зазвенел звонок.

– Сдавайте тетради мне! – спешил вдоль рядов дежурный. – Солтан, ты чего задумался? Сдавай тетрадь, я тебя ждать не собираюсь.

Солтан отдал тетрадь, думая, верно ли он записал клички?

Забежав домой, он быстро перекусил и помчался на завод. Отец и один из зоотехников стояли возле Гасаны и восторженно смотрели на Тугана. А тот вовсю бегал вокруг своей матери, которая не успевала поворачивать голову за ним.

– Э-э, это будет конь! – сказал зоотехник и чмокнул языком. – Ты отличный знаток коней, Абдул. Смотри, какие лопатки у Тугана! А уши! А

ноги, это ведь такие ноги... Они словно крылья будут! Уже сейчас, видишь, как ему хочется скакать! Ни секунды не может стоять на месте!

Полюбоваться новорожденным подходили и другие коневоды, пришла даже секретарша директора завода. Солтан знает здесь всех. Люди подолгу стояли и уходили, а Солтан все сидел и сидел на самом удобном месте – верхом на ограде яслей, откуда так хорошо наблюдать за Туганом.

Отец сказал зоотехнику:

– Алан* , прикажи, чтобы люди тут не толпились: боюсь, сглазят и мать, и сына. Помню, однажды мою корову...

– Нашу корову укусила змея! – крикнул с высоты Солтан.

– Ну-ка слезь и иди домой! – крикнул на него отец, недовольный тем, что ему помешали припугнуть молодого зоотехника.

Солтан быстро слез, но уходить ему никак не хотелось, и он подластился к отцу:

– Ну хоть один раз можно мне погладить жеребенка, пап, а? Ну один раз!

– Уж ладно, один раз, так один раз, а потом – марш домой! – проворчал отец.

Солтан одним прыжком оказался возле Тугана, гладил и гладил вырывавшегося из его объятий жеребенка, целовал его мягкую, пушистую морду.

— Эй, джаш!** Хватит, иди домой, – приказал отец, видно решивший вовсю оберегать жеребенка.

Солтан знает, как отец любит коней: когда он продал своего коня, то целую неделю ни с кем не разговаривал, все вздыхал и охал, сердился на всех и за все.

Солтан нехотя вышел из конюшни. Ослушаться нельзя. Отец любит, чтобы его приказы выполнялись точно, тогда он очень хороший; но если Солтан ослушается, тогда отец крут и наказывает его: или после школы никуда не пускает, или заставляет рубить дрова на зиму, пусть даже это будет лето.

Брел он домой медленно, все время оглядываясь назад.

Дома его ждала неприятность: мать разговаривала с молодой учительницей по арифметике, в руках учительницы Солтан увидел свою тетрадь. Мать, изменившаяся в лице, как-то странно спросила Солтана:

– Сынок, скажи, ты меня узнаёшь?

Солтан не знал, что и ответить. Ему показалось, что у матери лицо неузнаваемо от огорчения.

– Нет, мама, я тебя что-то не могу сегодня узнать! – ответил он честно.

– О, я несчастная, он помешался, мой единственный сын...– всплеснула руками мать.

---

* Алан — обращение друг к другу

** Джаш — парень

Учительница успокаивала ее:

– Марзий, да вы не убивайтесь! Может быть, он сам сейчас все объяснит нам... Мне все-таки кажется, что он в своем уме...

– Как же он в таком случае мог писать эту чепуху? – схватила мать тетрадку.– Ведь ему в день нынешней уразы исполнится ровно девять лет; у него не вчера ведь прорезались зубы, он же знает, что Даусуз – это название аула и что там живет его родная бабушка, моя родная мать! А он пишет, как ты говоришь, что Даусуз – это чей-то отец? А чья-то мать называется «Ах, какая»? Аллах мой, я и то знаю, что обозначает в русском языке «Ах, какая». Сын мой, что же с тобой стряслось? Здоров ли ты?

Мать приложила руку ко лбу сына, но он вырвался и с горячностью выкрикнул:

– Да как вы не понимаете, что я написал клички! Это же предки Тугана!

– Какого Тугана? Аллах мой, кто этот Туган? – удивилась мать.

– Ну, Туган, жеребенок, за которым отец ухаживает...

– Вот как! – нахмурилась учительница.

– Пойдемте, я вам покажу его! – кинулся было к дверям Солтан, но учительница остановила его и сердито сказала:

– Я тебе, Лепшоков, поставлю «неуд» в тетради. Благодари за это своего Тугана. А твоей головой пусть занимаются твои родители.

Она ушла, так и не зная, здорова ли голова её ученика.

Мать, ни слова не говоря Солтану и, бросив всю свою домашнюю работу, вышла за ворота, во все глаза смотрела в сторону завода, ожидая мужа.

Солтан вышел из дому, долго стоял посреди двора, что-то обдумывая. Потом подошел к матери, тронул ее за плечо и сказал:

– Мама, если ты об этом «неуде» не скажешь папе, я завтра же исправлю отметку. А если скажешь, я буду нарочно получать все время «неуды»!

– Ты что это говоришь, собачий сын, пугаешь маму? Ой, горе мое, так и есть, голова у мальчика не в порядке, – совсем расстроилась мать.

...Вечером Солтан лег, но заснуть не мог. На то были причины: Шайтан просил, чтобы Солтан показал ему жеребенка, а теперь, когда учительница нажаловалась, разве подойдешь к отцу с просьбой? А как хотелось показать Тугана другу! Уж эта злополучная арифметика, с которой обязательно что-нибудь случается, когда Солтан имеет с ней дело!

Отец пришел, неторопливо, как всегда, умылся, сел за тепси* . Мать, подав ему ужин, присела на низкой табуреточке и начала разговор. Солтан лежал, укрывшись с головой, но левое ухо торчало из-под одеяла.

– Отец, – спросила мать, – что такое «Ах, какая»?

---

* Тепси — трехногий обеденный столик

– Ты что, рехнулась, что ли? – удивился отец, держа возле рта хлеб и внимательно глядя на жену.

«Началось...» – подумал Солтан с тоской и осторожно выглянул из-под одеяла.

Отец положил хлеб на тепси и сказал:

– Так ты спрашиваешь, что такое «Ах, какая», дочь Урусовых?

– Да, – ответила она, не отводя печального взгляда от горящих в очаге поленьев.

-Ты же сама ездишь в Кисловодск, разговариваешь там с русскими, окончила четыре класса, неужели же не знаешь, что это за слово? – спросил Абдул, которому не понравился странный взгляд жены.

– Меня могут назвать именем «Ах, какая»? – спросила мать.

– Черт знает что! – вскочил Абдул с места. – Как могут тебя называть «Ах, какая», если тебя зовут Марзий? Что это с тобой? Нету такого имени у людей – «Ах, какая». Нет и быть не может!

– А тебя Даусузом могут назвать? – спросила мать, все так же не поднимая глаз.

Это совсем ошеломило мужа. Он забеспокоился всерьез:

– Марзий, опомнись, дорогая... Что ты мелешь? Ну-ка посмотри на меня. Дай-ка потрогать голову. У тебя жара нет?

– Погоди, скажи мне еще одно: сына нашего могут назвать Детектором?

Тут Солтан не вытерпел, пришел отцу на помощь. Он вскочил с постели и, подтягивая кальсоны, выпалил:

– Отец, это она о лошадях! Это я виноват, я в тетради по арифметике перечислял клички лошадей, а учительница пришла к нам жаловаться и... сказала, что поставит мне «неуд». Вот теперь мама и говорит об этом...

Марзий встревожено прервала сына:

– Ты же сам просил не говорить о «неуде»!

– Ну и что ж, я завтра же исправлю отметку, отец, честное пионерское! А родословную я правильно перечисляю, отец, вот слушай, – и начал быстро перечислять предков Тугана, но все перепутал, так же, как и в тетради.

– Вот оно что! – произнес отец, скрывая улыбку.

Отец слушал сына и думал: «А мальчик будет настоящим коневодом, даже зоотехником по коневодству, хотя сейчас безбожно перепутал родословную Тугана». Он спросил жену:

– Неужели ты никогда не слышала о кличках лошадей?

– Зачем они мне? – сердито сказала мать, придя в себя. – Я думала о другом: в своем ли уме наш мальчик?

– Тебе быть женой не конюха, а тракториста: стыдно, до сих пор не знаешь, какие клички бывают у коней, – сказал отец в сердцах и стал раз-

деваться, а через минуту добавил: – Помню, у нас на заводе была одна кобыла по кличке «Ах, какая». Однажды в грозу... Ах, какая же была замечательная кобыла!

И он рассказал длинную историю, очень интересную для Солтана, а мать в это время дремала у очага.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чуть ли не с трехлетнего возраста началась любовь Солтана к лошадям, а в пять лет отец впервые посадил его на своего коня и пустил вскачь в числе соревнующихся сверстников. Каждый год в ауле устраиваются конные состязания на первенство улиц или кварталов, а то и всего аула.

Тогда Солтан пришел пятым. Отец не особенно переживал за это, знал – подрастет мальчик и возьмет свое. Это было на первомайских состязаниях. А на октябрьских, в честь другого праздника, он посадил на коня другого сына, который был на один год старше Солтана. Первенец упал с лошади, ударился головой об камень и...

С тех пор Абдул не пускал оставшегося единственного сына на соревнования. Он только разрешал Солтану проехаться на старой ленивой кобыле, зная, что она быстро не побежит.

Абдул видел, что сын влюблен в лошадей, только и грезит о них. Разве не об этом говорит и последний случай с родословной Тугана?

Абдул лежал и, глядя на кусочек ночного неба через широкую дымовую трубу избы, думал о сыне. Что ж, пусть Солтан станет зоотехником по коням! Но какой же из него зоотехник, если он и в свои девять лет не посажен на настоящего коня, не имеет свободного допуска к денникам? Надо хотя бы в выходные дни брать его на целый день с собой на завод, надо сажать на коня и пусть себе катается внутри у огромной изгороди. Если и упадет, то не страшно, там мягко...

Абдул не знал, что его сын и сам уже решил кататься не только на старой ленивой кобыле, но и седлать настоящего коня! Тайком от отца...

Уговорил же Солтана на это его закадычный друг Шайтан.

Это был беспокойный мальчишка. С тех пор, как с уст его матери слетело слово «шайтан», обращенное к сыну, стало забываться настоящее имя мальчика – Мурат, а прозвище Шайтан так и прилипло к нему.

Шайтан быстр, находчив, неуловим и бесстрашен. Когда он нужен дома, его найти невозможно, зато везде, где не нужен, он тут как тут.

Однажды, во время перемены в школе, Шайтан отвел Солтана в сторону:

– Тебе, говоришь, не разрешают кататься верхом?

– Ага...

– Какой же ты после этого мужчина!

– Не знаю.

– А я знаю. Вот ты какой мужчина, посмотри. – И Шайтан показал на девчонку, стоящую неподалеку, обхватив новый телеграфный столб.

Солтан обиделся и хотел уйти, но Шайтан властно опустил свою ладонь на плечо друга. Солтан заметил, как свисает разорванный рукав синей сатиновой рубашки Шайтана. У него, у этого Шайтана, добрые глаза. И огненно-рыжие волосы, что так редко встречается у карачаевцев.

– Ты слушай меня! – сказал Шайтан. – Хватит нам кататься на ишаках. Я придумал. Отец поручает мне пасти нашего коня. Вот я решил... Понял? Мы будем пасти с тобой и птицей летать на коне!

Тут прозвенел звонок, и они поспешили в класс.

– Опять от мамки попадет, – вздохнул Шайтан, закатывая разорванный рукав.

Откуда знать Абдулу об этом ребячьем замысле?

Он лежит и думает, что Марзий ни за что не захочет видеть своего сына наездником.

Мать Солтана возненавидела лошадей с того горестного дня, как разбился, упав с коня, старший сын. Была бы на то ее воля, она даже переехала бы с семьей в свой аул Даусуз, где нет никаких конезаводов. И почему это надо ездить верхом? Нынче уже вон какие сверкающие велосипеды появились в ауле, и не обязательно мотаться верхом на коне. Она знала хорошо, что мужа никогда не сможет оторвать от лошадей, от завода. Он с юношеских лет работает на нем и на всю жизнь влюблен в лошадей. Разве не он первым садится на необъезженных жеребцов и, гарцуя, едет на усмиренном коне из конца в конец длинной аульной улицы? Им любуются в такие дни люди, стоя у своих ворот.

Нет, Марзий знает, что никуда отсюда им не уехать. Да и могилка ее мальчика здесь... Солтана же Марзий хочет видеть только доктором! Вот тогда он вылечил бы и ее мозоль на правой ноге, из-за которой она покупает обувь тридцать восьмого размера. Сколько раз Абдул уговаривал ее пойти к фельдшеру! Но как она пойдет и покажет голую ногу мужчине? Срам! А был бы ее сын доктором, вылечил бы.

«Никто не поверит, что тебе всего тридцать пять лет, – уже ругал ее муж. – Ты как древняя старушка, стыдишься всего, как будто фельшару нужна твоя нога!» А сам Абдул? Не едет показывать свою печень женщине-терапевту. «Как я могу раскрыть свой живот чужой женщине?» – говорит он, а на печень продолжает жаловаться.

«Не нужен нам еще один наездник в доме, а свой врач пригодится», – думает Марзий, лежа валетом со своим Солтаном и кладя его теплые ножки к себе на грудь.

* * *

В роду Шайтана мужчины всегда занимались плотницким делом. Прадед строил говорят, дома; дед мастерил любую мебель. А отец Шайтана, Мазан, делает только стулья. Иногда можно услышать, что весь аул сидит на стульях Мазана.

Стулья разные. Постарается Мазан – инкрустированные, а поленится – еле выструганные, еле склеенные; порой такой причудливой формы, что заказчик никак не может сообразить, как же надо сесть, чтобы не перевернуться.

Мазана за глаза зовут почему-то «Казан», хотя он ничуть не похож на круглый приземистый котел, а, наоборот, высокий кряжистый мужчина. Может быть, потому так зовут, что он не рыжий, как его сын Шайтан, а очень смуглый и у него иссиня-черные волосы. Нос у него настолько тонкий и не подходящий к лицу, что острословы окрестили его «Приклеенный нос». Никак не могут в Аламате без прозвищ!

У Казана есть конь, есть ишак, корова, куры. И, конечно, собака, которая всего только один раз говорит «гав», когда во двор заходит чужой, а потом или ласково виляет хвостом, увиваясь возле пришедшего, или же лежа наблюдает за ним, сонно склонив голову на лапы.

Конь и ишак – на попечении Шайтана, а корова, куры и собака – забота матери. Сам Казан только стругает и пилит, сколачивает свои стулья. Как уже говорилось, если он в хорошем настроении, то заказчику повезло – стулья будут и гладкими, и с изображением на них каких-то доисторических животных, а если Казан встал не с той ноги, то заказчик должен будет сам решать, как садиться на стул.

Иногда слишком придирчивый заказчик пробует спорить с Казаном, но он мрачно отвечает:

«Я сумел сделать стул, а ты не умеешь даже сесть?»

Мать подоила корову и занялась завтраком, а Шайтан сел на коня, вывел со двора корову и ишака. Корову «сдал» в аульное стадо, а ишака погнал за околицу, а потом еще дальше, за холмы. Там Шайтан стреножил рыжего, как и сам, коня, пустил его пастись. Вернулся домой и отправился в школу.

Он думал о Солтане. «Вечный всадник»! Это прозвище своему другу Шайтан дал потому, что Солтан вечно «скакал» на коне, на чем бы он ни сидел. Уж кто-кто, а Шайтан знал хорошо, как другу хочется лететь птицей на настоящем коне.

– И ты будешь сегодня летать птицей! – объявил в тот же день после уроков Шайтан «Вечному всаднику».

Они прямо из школы побежали на пастбище. Распутав отцовского коня, Шайтан передал повод другу.

«Вечный всадник» взлетел на голую спину коня и заработал пятками. Конь навострил уши, сделал злые глаза и не двинулся с места.

– Это он злится за то, что мы не дали ему попастись. Но ничего, он меня послушается, – успокоил Шайтан друга и прикрикнул на коня.

Тот вдруг сорвался с места и понесся по лугу. Шайтан ахнул и только успел заметить, как Солтан схватился за гриву коня, не выпуская из рук уздечку.

Вдруг конь круто повернул и взял направление к дому. Недолго думая, Шайтан вскочил на ишака и помчался вслед.

Ишаку не поспеть за конем. Когда Шайтан доплелся до дома, он увидел, как его отец отчитывает Солтана:

– Ты, сукин сын, другого коня не нашел, чтобы устраивать скачки? Зачем ты его сюда привел задолго до вечера? Или ты думаешь, что у меня во дворе зеленый луг, чтобы конь мог пастись у крыльца? Ведь это животное – без языка, оно не может тебе объяснить, что ему тоже жратва нужна. Ишь, взял да и прискакал, как на собственном! Не надо было прода...

Дядя Мазан хотел было сказать: «Не надо было твоему отцу продавать своего коня, да еще такого отличного», но вовремя сдержал язык, чтобы не наносить боль мальчику – ведь отец Солтана продал своего коня только потому, что этот конь погубил ему старшего сына.

– Я хотел сказать, не надо было садиться на неоседланного коня, а то ты мог бы разбить себе одно место, – мягко сказал Казан. – А моего Шайтана ты не видел? Он должен был пасти и коня, и ишака, но его шайтанские дела разве дадут ему быть спокойным на то время, пока высохнет упавшая на землю капля дождя?

Шайтан подбежал к отцу и начал врать:

– Отец, на выгоне бегает чья-то бешеная собака. Пришлось спасаться. Я посадил «Вечн...» ну, Солтана на коня, хорошо, что он подвернулся. Сам вскочил на ишака. И мы спаслись.

Мазан лукаво посмотрел на мальчишек и скомандовал:

– Ну-ка, садитесь оба на своих скакунов и марш назад, на луг! Я думаю, что эта бешеная собака испугалась больше, чем вы, и уже убежала с луга. И смотрите мне, чтобы ваши скакуны вдоволь наелись травы. Ну, марш, джигиты!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В доме Лепшоковых творилось что-то неладное с сахаром: купит Марзий кило, принесет в цветастой сумочке, высыплет кусочки в ящик своего простого, уже потерявшего цвет буфета, а к вечеру, глядишь, половины сахара уже нет. А ведь чай еще не пили; сладкой халвы не готовили; воров

таких в ауле не водится, чтобы лазить по буфетным ящикам. Да и вообще воров тут нет. Был один, он «специализировался» по козам, козоводству. Но однажды чей-то козел так поддал ему рогами по мягкому месту, что вор стукнулся лбом об землю, да так стукнулся, что мозги, наверное, перевернулись в ту сторону, в которую когда-нибудь должны были перевернуться, и с тех пор этот человек перестал воровать и начал работать, как все нормальные люди.

Вот и не знает Марзий, что же случается с сахаром в её собственном доме. Может, мыши? Но никто ей никогда не говорил, что они любят сахар. Да и как они утащат куски сахара из ящика? Им так высоко не добраться.

Но однажды Марзий наконец увидела вора! Им оказался ее собственный сын... Да, именно он. Вот ведь какой сладкоежка! Нельзя ему столько сахара есть...

Тогда Марзий стала прятать сахар в самые неожиданные места. А потом придумала еще одну хитрость: если раньше покупала песок или рафинад, то теперь стала приносить из магазина сахарные головки, широкие у основания и узенькие к вершине.

Конечно, Солтану легче было таскать кусковой сахар, чтобы угощать маленького Тугана. А что сделаешь вон с той головкой сахара, совсем еще не начатой, вот что плохо! Да и стоит она на самой верхней полке буфета. Мама думает, что он не достанет, но разве трудно принести лестницу? Лишь бы мама отлучилась из дому, например, за водой на Кубань. Надо ждать, а ждать Солтану некогда, да и терпение откуда возьмешь, если жеребенок, наверное, уже поглядывает, не идет ли Солтан с вкусными белыми кусочками.

...Утром, как всегда, мать проводила своих и осталась дома, а когда Солтан вернулся из школы, она шила на машинке отцу голубую рубашку. Рядом россыпью лежали сделанные мамой нитяные горские пуговицы для этой обновы.

Мать дала сыну поесть и снова села за шитье. Солтан никак не мог придумать причину, чтобы отослать маму куда-нибудь и добраться до сахара. И вдруг придумал! Помог спящий у очага кот. Солтан вспомнил, что мать жалуется папе чуть ли не каждый день: «Ума не приложу, что делать с мышами! Даже деревянный ларь с кукурузой продырявили, проклятые. А кошка наша хотя и хорошая, но мышей перестала ловить! Видно, ей сметана больше по душе, недаром ее черная лапа так хорошо научилась открывать крышку деревянной кадки». К этому она обычно добавляла: «Что от кошки сметану, что от твоего сына сахар, я уже не знаю, куда прятать и как уберечь».

– Мама, чуть не забыл, – сказал Солтан, вставая из-за тепси, – я видел, в магазине продаются мышеловки. Все нарасхват берут!

– Что же до сих пор молчал? – Мать подошла к кованому сундуку, вытащила расшитый белым бисером матерчатый кошелек. – На, сбегай быстро и купи.

Солтан сник и не знал, что ответить.

– Стреножили тебя, что ли? – сказала мать. – Ну, беги в магазин.

– А почему ты, мама, сама не идешь? Я не знаю, как покупают мышеловку. Вдруг принесу негодную!

– Сам ты у мамы негодный мальчик! Видишь ведь, что я занята. Капканов негодных государство продавать не будет. Иди, купи, я сильно хочу отомстить мышам, до того они мне надоели. – И снова стала крутить машинку, но оторвалась на минуту от работы и добавила: – Скажешь продавщице Зулихат, чтобы получше выбрала. Беги, беги, сынок, а то разберут, и наши мыши будут смеяться над нами.

Солтану ничего не оставалось делать, как идти. Нехотя вышел он из дому и направился к центру аула, где была его школа, а недалеко от нее – большое деревянное здание с красной железной крышей. Это кооперативный магазин. Над его дверями висел плакат со словами «В единении – сила» и рисунком, изображающим рукопожатие, – только две дружеских руки, а сами люди почему-то не нарисованы.

Солтан топтался возле магазина. Никаких капканов он там и видеть не видел, а все придумал. Да разве это у него сейчас в голове? Где достать сахар – вот что главное.

Ему не терпелось пойти к Тугану. Малыш рос прямо на глазах. Обычно, увидев Солтана, он подпрыгивал, разглядывал его, а потом откидывал задние ножки, мчался стремглав к мальчику и тыкался мягкой мордочкой в ладонь: нет ли там белого кусочка? Сегодня не будет, Туган!

В магазине женщины брали цветастый ситец, соль, сахар, спички.

– Тетя Зулихат, капканы у вас есть? – спросил Солтан.

– О каком капкане говоришь-то?

– Ну, капкан для мышей.

– Ах, мышеловка? Нету, детка, нету.

Зато сахару как много здесь! Вон целый мешок! И головки сахарные стоят в синих обертках. Вдруг Солтан смело сказал:

– Дайте мне полкило сахару!

Ему отвесили, он заплатил и вышел.

Идти на конезавод надо мимо собственного дома. А вдруг мать увидит? Солтан переложил сахар из кулька в карманы своих широких черных брюк. Все поместилось, но до чего же оттопырены и мотаются при ходьбе карманы...

Ему встретилась девочка «А», так прозвали одноклассницу Мариам. «Сейчас что-нибудь найдет спросить», – подумал Солтан и насторожился. Так и случилось. Прищурив маленький носик и пронырливые глаза, при-

крытые длинными черными ресницами, «А» оглядела Солтана с ног до головы, опустила на землю братика и спросила:

– А почему ты так ходишь?

– Как?

– А вот так, – сказала она, изобразив подолом платья, как мотаются его карманы.

– Это я передразниваю тебя, – ответил Солтан.

– А зачем злишься?

– Тебе-то что!

– А ничего. Я иду к бабушке, а дедушка привез ей с гор олененка. А его мать разорвали волки. А одного волка дедушка убил за это. А олененка кормят через соску. А он теперь ходит с коровой.

Эти бесконечные «А», наверное, так и лились бы из уст Мариам, которую в школе недаром прозвали «А». Солтан махнул рукой и поспешил на завод.

Карманы болтались в самом деле так, что идти мимо дома было опасно.

Поэтому он спустился по переулку вниз, к речке, а потом по заросшему косогору вышел на красивую зеленую территорию конезавода и бегом помчался к конюшне.

Увидев мальчика, Гасана перестала есть, подошла, протянула свою красивую голову, ждала, что ее угостят сладким.

Солтан положил ей в рот один кусочек сахару, а Туган в это время бегал на своих длинных ногах вокруг матери, словно надеясь, что она отдаст этот сладкий кусочек ему.

– Ух, какой же ты красавец! – воскликнул Солтан.

Он хотел поймать за шею Тугана, долго ловил, и наконец ему это удалось. Он обхватил шею друга, расцеловал его в глаза, губы, прижимал головку Тугана к груди и попробовал положить ему в рот сахар. Но тот не хотел брать, Гасана же так и тянулась губами к руке Солтана. Он не отказывал ей: ведь у него на этот раз целых полкило сахару! Он старался скормить сладость Тугану, но тот упорно хотел выпросить у матери. Наконец Туган понял, чего от него хотят, взял губами сахар. Понравилось! На зубах жеребенка захрустел сахар. Солтан дал еще. Гасана тоже получила свою долю.

В это время отец, вошедший в конюшню, незаметно наблюдал за сыном.

Туган тыкался мордочкой в карманы Солтана, требуя новых и новых порций. Мать успевала получать в два раза больше.

У Солтана уже кончился сахар, но Гасана не хотела смириться с этим и водила головой за руками Солтана. А Туган, который не мог долго увле-

каться чем-нибудь одним, вдруг оставил Солтана в покое и высвободился из объятий, помчался, полетел, как пушинка, по огромной конюшне в самый конец. Наверное, заметил там что-то интересное.

Солтан вывороти оба кармана, как бы оправдываясь перед Гасаной, вышел из конюшни и с видом выполненной приятной обязанности пошел к дому, насвистывая шуточную песенку «Голлу».

Чем ближе подходил он к дому, тем хуже становилось настроение: что теперь ответить матери? Надо хорошенько подумать...

Он вспомнил: у соседей, которые живут через пять домов, есть большой деревянный капкан. Когда дед Даулет мастерил этот капкан, Солтан все время сидел рядом и даже помогал деду: то держал дощечку при распиловке, то подавал молоток.

Он зашел к соседям и сказал:

– Мама просит ненадолго ваш капкан, потому что наша кошка хотя и хорошая, но больше не хочет ловить мышей.

И Солтан потащил большой неуклюжий канкан домой. По дороге его снова стали одолевать мучительные мысли. Что же он скажет, когда надо будет вернуть капкан? «Ну, до этого еще много времени, – успокоил он себя. – Что-нибудь опять придумаю...»

– Вот, – сказал он, опустив капкан у порога и пристально глядя на мать.

Та оставила свою работу и широко раскрытыми глазами долго смотрела на сына. Еле смогла вымолвить:

– Что же это ты принес?

– Капкан! – ответил Солтан гордо.

– Чей?

– Как чей, из магазина...

– Ты кого хочешь обмануть? – всплеснула мать руками. – Разве государство такие капканы выпускает? Разве я не видывала их – маленьких, железных? А этот смастерил старый Даулет! Вот эту проволочку он брал, помню, у нас. Капкан этот я уже приносила и ставила, но через сутки отнесла назад, потому что даже самая глупая мышь не захотела лезть в такой капкан. Ты что, уже учишься обманывать? У нас, у Урусовых, в роду не было таких! Я выбью из тебя эти повадки!

Спохватившись, она мысленно упрекнула себя: «Ах, чтоб я сгинула, зачем я так сказала? Ведь он у меня один, если ему не расти, то кто же у меня будет расти?»

Солтан стоял, опустив голову. Матери вдруг до боли стало жаль его. Она заметила, что штаны сына – там, где карманы, – выпачканы чем-то белым. «Какая я глупая! – подумала она. – Все его вранье на виду: он купил вместо капкана сахар, скормил коням!»

– Говори правду, сладкоежка! – усмехнулась она.

– Я Тугана угостил! – быстро и горячо сказал Солтан, не отводя взгляда от матери.

– Ну вот что, сын сына Лепшоковых! У меня уже нет ни денег, ни терпения, чтобы покупать сахар для конезавода. Иди и скажи директору, пусть он сам покупает сахар для своих коней, а ты уж, так и быть, поможешь его скармливать. Для нашей семьи полкилограмма сахара хватило бы не на один день! Уже и продавщица как-то сказала мне, что можно подумать, будто наша семья кормится только сахаром. Я думала, ты сам поймешь, да нет же – все хуже и хуже. У тебя на уме только кони, а я-то мечтаю, что ты станешь дохтуром, потом даже пропессором. Кони!.. И что ты нашел в твоем возрасте хорошего возиться с ними?

Видя, что он готов расплакаться от огорчения, она сменила тон:

– Сынок, уж так и быть, если ты будешь хорошо учиться, особенно по арипметике, я тебе буду давать каждый день по три куска сахару. А без этого тебе не видать сладкого! Я теперь уже умею прятать! Денег тем более ни копейки не получишь. Ну, скажи, сынок, согласен?

Солтан сдался. Как-никак три куска лучше, чем ничего.

– Вот и договорились. Садись, сынок, делай уроки на завтра, – сказала мать, очень довольная соглашением.

...Абдул еще не дошел до своего плетня, как услышал не то плач, не то ругань, доносящиеся из его двора. «Опять, наверное, баран!» – подумал он, убыстряя шаги.

Он вбежал во двор. Женщина, пришедшая к ним в гости с дальнего конца аула, подбирала свои глубокие резиновые галоши, выговаривая «этому дому» за то, что здесь держат такого сумасшедшего барана. Марзий стояла молча, схватив за рога огромного черного барана, вырывавшегося, чтобы опять кинуться на чужого человека. А пес по кличке Медный Казан лежал в сторонке, делая вид, что все это его не касается и что он здесь ни при чем.

Женщина, чертыхаясь, ушла, даже не сказав, зачем приходила. Конечно, стыдно, что гостью обидели, но и сама она виновата: весь аул Аламат знает о нраве этого барана, а эта женщина разве не знала? Безо всякого зашла во двор... А баран, завидев постороннего человека, встал, отступил, чтобы разогнаться, затем взял старт и пошел на женщину, опрокинул ее, да так, что у нее слетели с ног галоши.

Как только ушла женщина, Марзий отпустила «проклятого» барана (весь Аламат прозвал его так), пнула его ногой. И дала клятву мужу, что по ее воле этому «проклятому» барану остается жить до пятницы. Но пусть ее покарает Аллах, если она дотронется до мяса барана, который оскверняет себя тем, что питается вместе с собакой и ишаком. А что касается вон

того петуха, который считает себя лучшим другом «проклятого» барана, то его мясо она отдаст глупому Медному Казану. А то он вечно делит свою трапезу и с бараном, и с петухом, и даже с ишаком – с блюдолизом, потому что тот ленится щипать траву.

– Конечно, Медный Казан будет рад, если ты скормишь ему такого жирного петуха, дочь Урусовых! – сказал Абдул, улыбаясь, и покачал коновязь у навеса: не подгнил ли столбик?

Марзий, наверно, этого и ждала...

– Это только в твоем дворе могут есть из собачьей миски баран, ишак и петух, сын Лепшоковых. Надо бы к ним добавить еще и вон того ленивого кота-бездельника. Это только у тебя могут водиться бараны, заменяющие собак! Из-за твоего «проклятого» барана перестали ходить в мой дом соседи! Ты из одного упрямства держишь этого барана!

Абдул терпеливо слушал, а потом поспешил уйти со двора, зная, чем кончаются такие разговоры жены. Лучше отсидеться у соседа, потолковать с ним о том, о сем.

– Это все из-за того, что в нашем дворе нет хозяина, он отдал свою жизнь лошадям! – неслось ему вдогонку.

А на самом-то деле Марзий души не чаяла в «проклятом» баране. Из трех крохотных близнецов-ягнят она в свое время отобрала самого маленького, чтобы матери-овце легче было с двумя другими, и выкормила малыша из бутылки. Выкормила, вырастила, и он так привык к Марзий, что только ее и признавал.

Кричала же Марзий на барана-драчуна просто так, для вида. А еще и для того, чтобы найти повод напасть на мужа из-за его безудержной любви к лошадям: ведь эта любовь стала причиной гибели старшего сына.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Солтан перешел в третий класс. На родительском собрании его даже немножко похвалили. Абдул в душе был рад за сына, но старался не показать свои чувства.

На собрании много говорили о том, как организовать летний отдых детей. В конце концов все, начиная с учительницы, пришли к тому, что дети летом должны помогать родителям по дому. Конечно, надо им и загорать на солнце, и купаться в речке. Но хорошо, если они будут полоть картофель, ухаживать за скотом, помогать заготавливать на зиму дрова, да мало ли какие дела найдутся для школьников и дома, и на конезаводе.

Родители вышли из школы с табелями своих детей – кто гордясь, а кто стесняясь за их отметки.

Мазан с кузнецом Идрисом вышли вместе, горячо обсуждая своих сыновей, хваля или ругая их и советуясь, чем бы занять их летом.

Абдул твердо решил, что сына он возьмет с собой в горы на летние луга, где каждый год пасутся кони завода. Там Солтан отдохнет и научится вдали от матери ездить верхом по-настоящему. Ведь сам Абдул уже в свои пять лет умел взнуздать коня. А чем хуже его сын? С такими мыслями он пошел домой, решив пока помалкивать, ничего не говорить ни жене, ни сыну.

...Май был в разгаре. Горы вокруг конезавода зелены, на их склонах пасутся коровы аульчан, отары овец и коз, а ближе к аулу — стаи гусей и индюков. По обочинам дороги всюду привязаны телята. Тут же играла, кувыркалась детвора, присматривающая за стадами животных и птицей.

Солтан вывел своих индюков с досадой в душе. Он не хотел, чтобы видели его в роли птичьего пастуха; но как же не увидят, если все аульские ребята здесь? Подумать только: Солтан – настоящий конник, а тут нате – индюкопас! Разве для этого они с Шайтаном учились мчаться через любые преграды на Мазановом коне?

Он сидел верхом на длинном камне у родника и оттуда время от времени поглядывал на свою индюшачью стаю и на мальчишек. Одни из них шумно играли в догонялки и другие игры, а те, что постарше, стреляли из самодельных луков.

Солтан «скакал»: постукивал пятками, как шпорами, по камню, на котором сидел, а руками как будто держался за луку седла. Наблюдая за ребятами, он жалел, что не прихватил из дому свой лук. Ребята прилепили на валун бумагу с нарисованным на ней кружком и с расстояния в сорок шагов стреляли в эту мишень. Стреляли, стреляли, да все мимо. Солтан не вытерпел, вскочил, взял у одного из мальчишек лук и, недолго целившись, пустил стрелу. Но она тоже прошла мимо. Мальчишки посмеялись над Солтаном, но он взял другой лук и стрелял, пока не попал в самый центр мишени. Все ахнули, а Солтан, как будто это его не касалось, повернулся, молча отошел и снова сел на свой камень верхом.

В это время на дороге показались две легковые машины «эмки», они мчались в сторону конезавода. Такие машины здесь редко увидишь. У директора есть быстрая машина «газик», есть на конезаводе грузовики. А тут вдруг эти юркие, блестевшие на солнце машины. Вот здорово! Кто же это едет?

Солтан вспомнил, как отец говорил о том, что ждут на заводе самого Буденного! Маршала! Не маршал ли едет? Солтан тут же забыл все на свете, помчался на завод и через мгновение оказался верхом на изгороди. За ним, как птицы, примчались все ребята и тоже устроились на изгороди. «Если это приехал Буденный, то он сразу придет сюда, к конюшне», – думал Солтан и решил терпеливо ждать. А ребята следовали его примеру.

В это время из конюшни вышел и приблизился к изгороди какой-то сердитый конник. Он начал сгонять хлыстом ребят, рассевшихся на жердях изгороди, словно воробьи. Соскочил на землю и Солтан, но он не отошел далеко от забора, а спросил:

– Дядя, правда, что сам Буденный приехал?

– Ишь ты какой любопытный! Так я и скажу тебе, сопляку: приехал маршал и просит тебя, товарищ кучерявый, не изволите ли повидаться? А ну, чтоб я никого из вас тут не видел!

Солтану стало обидно, он ничего не ответил хмурому коннику и пошел на луг к своим индюкам. А через некоторое время погнал стадо домой, в холодок навеса. Солтану уже пора обедать.

Отец дома. Он заканчивал есть. Солтан боялся спросить у него про Буденного и, пообедав, достал книжку, сел в тени под навесом.

Отец вышел во двор, чтобы идти на работу, остановился перед сыном и, лукаво подморгнув, показал на свой карман. Солтан сразу понял и быстро поднялся, пощупал отцовский карман.

– Пошли, – коротко сказал отец.

Солтан хотел переложить сахар в свой карман, поглядывая назад: не видит ли мать. Но отец шепнул:

– Подожди. Выйдем за ворота, возьмешь. А то можем попасться. И вот еще что: приехал на завод маршал Буденный! Может быть, нам с тобой удастся увидеть его.

Солтан от радости подскочил и на ходу обхватил шею отца так, что чуть не задушил. Отец сердито оттолкнул сына:

– Что ты делаешь, глупец? Люди смотрят! Ты что, не знаешь обычая гор, опозорить меня хочешь? Скажут: смотрите, пожалуйста, сын с отцом разводят нежности при людях!

Солтан устыжено пробормотал:

– Я больше никогда не буду обнимать и целовать тебя, прости.

– Дурачок, значит, никогда не будешь? – шепнул отец и рассмеялся.

– Никогда! – ответил сын.

– Ну и правильно. Мы с тобой мужчины и должны уметь сдерживать свои чувства. А всякие нежности – для женщин. Они это любят.

Так, разговаривая, дошли до завода.

– Ты иди к своему Тугану, – сказал отец, показывая на Гасану и жеребенка, – а я пойду узнаю о маршале. Постой! Сахар-то забыл взять?

Стоило только Гасане увидеть Солтана, как она степенным шагом направилась ему навстречу, а Тугану было пока что не до сахара – он обрадовался, что выпустили погулять, и ошалело метался по загону. Вообще он не мог долго стоять, разве только тогда, когда прильнет к соскам матери или выпрашивает у Солтана сахар. Бедная Гасана еле успевала поворачивать за жеребенком свою красивую голову.

Солтан чувствовал, что жеребенок небезразличен к нему: бегает-бегает, а потом с загоревшимися глазами, раздувая ноздри, весь воздушно-легкий и счастливый, бочком подступается к Солтану, будто хочет сказать: «Давай поиграем с тобой, Солтан?»

Вот и сейчас Туган подбежал, а Солтан и Гасана только этого и ждали. Солтан гладил и гладил красивую голову малыша, затем скормил свой сахар по очереди Гасане и Тугану. Потом вытащил из кармана гребень и начал расчесывать и без того холеную, расчесанную гриву Гасаны. Ей всегда очень нравится это. Хотел Солтан провести гребнем и по гриве Тугана, но тот вырвался и одновременно оторвал от земли все четыре ножки и помчался. Попробуй поймай ветра в поле! Сделав круг, озорник примчался назад и ткнулся маленькой головкой в вымя матери, играя хвостом. Когда, насытившись, жеребенок оторвался от матери, Солтан схватил его за шею, начал вытирать ему полой рубашки мокрые губы, приговаривая:

– Ты мой маленький, но самый сильный и быстрый на свете! Мы с тобой поскачем к Эльбрусу! Я всегда буду тебе носить сахар. Буду зарабатывать в колхозе деньги и покупать тебе сахар – белый, как ты. Ты станешь как конь самого маршала, ты будешь понимать мои слова, ну и еще слова моего друга Шайтана. Помнишь, он приходил к тебе? Нам с тобой сам маршал шашку подарит!

Как ни странно, Туган стоял смирно, будто все понимал, слушал с удовольствием рассказ о своем будущем.

Гасана думала о своем – она толкала Солтана мордой, требуя сахар.

Ни Солтан, ни Гасана, ни Туган не заметили: внутрь изгороди вошла большая группа людей. Они стояли поодаль, слушали разговор Солтана с Туганом и улыбались. Долго длился рассказ Солтана и, наверное, продолжался бы, если бы Гасана не схватила губами вывернутый наружу карман Солтана, выпачканный сахаром. Она начала с удовольствием жевать карман. Солтан обернулся, чтобы поругать Гасану, и вдруг увидел людей, среди них и своего отца. От группы отделился коренастый человек с длинными черными усами и с орденами на рубашке защитного цвета, подошел к Солтану и сказал:

– Здравствуй, джигит! Давай знакомиться: меня зовут дядя Семен, а тебя?

«Дядя Семен...» – обомлел Солтан. А Буденного зовут Семен Михайлович! И усы... От радости Солтан замер и, подавая дрожащую руку, прошептал:

– Нас зовут Солтан...

– Вас? Да вас же тут трое, джигит! Значит, тебя зовут Солтан. А вот этих твоих друзей? – И маршал показал на коней.

– Его зовут Гасана, его – Туган, – сказал Солтан, путая роды русского языка.

– Слушал я, как ты с Туганом говорил. Мне ваш директор завода переводил твои слова, Солтан, – улыбнулся маршал, вспомнив свою юность, свою влюбленность с детских лет в коней. Погладив курчавую голову Солтана, маршал спросил у директора: – Он у вас давно шефствует над лошадьми?

– Да вот его отец, товарищ маршал! Он у нас работает коневодом со дня основания завода вашего имени, а его сынишка всегда бывает здесь. И в выходные дни, и после уроков. Особенно с тех пор, как родился Туган. Мальчишка, видно, влюблен в коней, но пока ему запрещают ездить на них. Маршал повернулся к Солтану.

– Ты, кажется, рассказывал своему другу, вон тому озорнику, – и Буденный показал на Тугана, увивающегося возле матери, – что Буденный подарит вам саблю?

– Это я просто так... – смутился Солтан.

– Так вот, друг Солтан, саблю ты получишь, я пришлю тебе её. А что касается Тугана, то это будет отличный конь. Его надо беречь, ухаживать за ним, обучать. Трудное это дело! Но я думаю, что лучше тебя никто это не сделает.

Он подал руку изумленному Солтану и, о чем-то разговаривая с окружающими, пошел к денникам.

Солтан остался стоять как вкопанный. Он раскрыл свою ладонь и недоверчиво разглядывал её, будто все еще чувствуя маршальское рукопожатие...

Весть о случившемся молниеносно облетела весь Аламат. Ликованию мальчишек не было конца. Первым из них примчался к Солтану Шайтан, который был рад за друга. А тот сидел верхом на высоких воротах своего дома, снова и снова отвечая на вопросы. Спрашивали наперебой:

– Так-таки пожал тебе руку, как взрослому джигиту? И саблю пообещал? Ты своими ушами слышал это?

Спрыгнув на землю, Солтан раскрыл ладонь правой руки и стал горячо клясться, что Буденный в самом деле здоровался с ним, пожал вот эту руку. И они напрасно сомневаются в этом. А когда Солтан подробно рассказал, что маршал пришлет ему саблю, то вырвавшееся общее «О-о!», наверное, докатилось до самых склонов ущелья. И снова полились вопросы.

– Ты не сказал дяде Буденному, что все мальчишки Аламата хотят стать такими, как он? – спросил Шайтан.

Солтан заколебался: сказать «да» – это неправда, сказать «нет» – стыдно перед другом. И он ответил:

– Ты думаешь, я не хотел этого сказать? Но попробуй разговаривать, когда перед тобой маршал!

– А Шайтан бы разговаривал! А он бы сказал, что и девчонки хотят стать маршалами. А я бы сообразила, что...

– Хватит тебе, «А»! – прикрикнул на нее Шайтан, обидевшись за своего друга.

«А» сморщила носик, похлопала длинными ресницами и отошла с подружками в сторонку, чтобы о чем-то пошептаться.

Когда, уже затемно, все разошлись, Солтан и Шайтан долго еще сидели у ворот, возбужденные великим событием дня. Им казалось, что их затаенная мечта, стать маршалами Советского Союза, начинает сбываться. Все пока сходится, идет как по писаному. Во-первых, их завод носит имя Буденного; сюда приехал сам маршал; и наконец он обещал прислать саблю. И еще: оба друга хранят вырезки из газет с фотографиями маршалов.

Вот этими мыслями и мечтами полны и заняты две головы: одна – иссиня-черная, кучерявая, другая – огненно-рыжая, ершистая.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Однажды в середине июня Абдул сказал своей жене:

– Завтра табуны перекочевывают на альпийские пастбища. Я еду с Солтаном. Собери нас в дорогу.

– С Солтаном? – нахмурилась Марзий.

Видя, что она хочет возражать, Абдул напустил на себя строгости и поскорей вышел во двор, а когда жена пошла за ним, он ушел и со двора.

Поднимаясь с табуном в горы, Абдул, уже в который раз, вспоминал ту бурю, которую они с сыном выдержали: Марзий и слышать не хотела, что мальчик уедет. «Ничего, когда сын осенью вернется повзрослевшим, загорелым, она простит все», – размышлял Абдул и с удовольствием смотрел, как Солтан крепко и гордо держится в седле, по-хозяйски заезжая то с одной, то с другой стороны поднимающегося в гору табуна.

Солтан не отрывал глаз от малыша Тугана, который за короткое время налился, стал до того стройным, что невозможно было глаз оторвать. Он так и выделялся в табуне белым мечущимся пятном.

Шли через Долину нарзанов на знаменитые альпийские пастбища Бийчесын, которые чуть ли не у плеча Эльбруса. Дорога с каждым шагом поднимала людей и коней все выше и выше, прямо к небу, где сидит Аллах, знающий все и всех,— так считает, перебирая свои коричневые четки, старый Даулет.

Пока шли Долиной нарзанов, было легко. Кони пощипывали траву на обочинах дороги, пили в ручьях не только обычную воду, но и нарзан. А теперь на узкой горной тропе табуну не разгуляться, негде пить воду и щипать траву – слева отвесные скалы, справа пропасть. Табунщикам было очень трудно: ведь лошади могли чего-нибудь испугаться и оступиться в пропасть. Поэтому надо, чтобы они шли как можно медленней, по одной. Табунщикам, а с ними и Солтану приходилось ехать с правой стороны, оберегая табун от пропасти.

Солтан удивлялся тому, как умело жеребцы ведут свои косяки. Гасана вела себя непослушно, все время жалась к обрыву, словно старалась защитить Тугана от опасности. Но у Солтана душа была из-за этого не на месте. Он боялся за Гасану и Тугана. Ведь в горы он едет больше всего ради них. Он ни на шаг не отъезжал от Гасаны и Тугана, готов был даже удержать руками, если Туган с матерью вдруг начнут падать в пропасть, хотя сам не мог смотреть в ту сторону – кружилась голова и в глазах становилось темно: ведь он никогда не видывал такой крутой дороги и такой бездонной пропасти.

Все время слышалось тихое, ласковое «но, но!». Это так успокаивали табунщики коней, давая им понять, что опасности нет и можно шагать неторопливо.

Солтан чувствовал сильную усталость, но это, скорее, оттого, что он боялся за своих подопечных. Думать о привале, конечно, не приходится: ведь надо пройти не меньше пяти тысяч метров по такой дороге, а каждый метр приходится брать с риском.

Небо стало серо-черным, и, пока они успели пройти еще метров пятьсот, начался дождь. Отец подъехал к Солтану и сказал:

– Держись левой стороны, к скалам, а я прижму Тугана с матерью туда же! – И он осторожно оттеснил их к горе.

Солтан понял, почему так поступил отец: под проливным дождем глина на краю обрыва размокла, плохо держалась под ногами, и опасность для коней становилась все больше.

В следующую минуту отец подъехал к сыну, отвязал притороченную к его седлу бурку и накинул на него. Сам он уже был в бурке. Войлочные шляпы и голенища-бурошники из домашнего сукна, кожаные чабуры пока что не пропускали воду.

Солтан теперь ехал под скалами, хотя здесь тоже были свои опасности – мог случиться обвал или камнепад, вызванный дождем.

Табунщики то заезжали над самой пропастью вперед, то возвращались назад, направляя ход табуна. Лошади двигались, понурив головы. Слышно было равномерное, монотонное чмоканье слякоти под конскими ногами. Нервы табунщиков были натянуты, как тетива Солтанова лука, который он не забыл взять с собой.

Туган, всегда такой резвый и веселый, шел, тоже понурив голову. Его длинные мохнатые ножки были вымазаны глиной, со спины стекала струями дождевая вода. «Наверное, ему тоже холодно», – думал Солтан, у которого от стужи зуб на зуб не попадал. Поневоле он вспомнил аул, где сейчас такая мягкая, теплая весна. А здесь, в каких-нибудь пятидесяти километрах от дома, такая холодина. Нет, он больше не может видеть, как дрожит Туган, а он был уверен, что дрожит. Пользуясь тем, что отец поехал к голове табуна, Солтан быстро снял с себя бурку и набросил ее на жеребенка.

Туган от неожиданности шарахнулся в сторону, вспугнул идущих рядом лошадей; они чуть не ринулись от страха к пропасти. Двое табунщиков в один голос крикнули в тревоге:

– Что случилось? – и тут же бросились удерживать коней. А в это время Туган старался скинуть с себя бурку, тем более что она налезла ему на голову. Лошади, не узнавая под буркой жеребенка, испуганно поглядывали на него и спешили отойти, чтобы быть подальше от этого черного чудовища, в которое вдруг превратился белый жеребенок. Случился переполох, и быть бы беде, если бы жеребцы не утихомирили свои косяки.

Солтан испугался не меньше, чем Туган, и хотел стащить с него бурку, но жеребенок не давался, не находил себе места. Хорошо, что подъехал Абдул. Он ловко сдернул бурку с жеребенка, приласкал и его и сына, спокойно приговаривая:

– Но, мальчики, но! – И лишь после этого сказал строго сыну: – Не смей больше самовольничать! Ты чуть не погубил коней...

Дорога не кончалась, дождь не переставал. Солтану казалось, что он поднимается все ближе и ближе к низко нависшему темному небу, хоть возьмись за него рукой. Воздух же становился совсем другим, таким, как будто здесь разбили уйму флаконов с духами.

К вечеру, наконец, они ступили на пастбище. Пропасть оставалась позади.

Измученные табунщики спешились, а кони, сгрудившись, безропотно стояли под проливным дождем, не обращая внимания на сочную и густую альпийскую траву.

Табунщики вытащили из переметных сум еду. Но холодная, затвердевшая пища не шла в горло. Неприятно было держать ее замерзшими пальцами. Солтан попробовал было съесть хлеб и мясо, чтоб согреться; он начал ходить взад-вперед, и каждый его шаг сопровождался хлюпаньем воды в раскисших чабурах.

Гасана и Туган стояли понурые. Малыш приложил голову к боку матери, дремал под шумный звон проливного дождя.

Все же для людей и коней это была маленькая передышка после тяжелого подъема. А теперь снова в путь, но уже опасности полететь в пропасть нет: шли по разноцветному ковру, от которого даже в дождь шел такой ароматный запах. Солтану казалось, что он пьет этот воздух ковшами.

Солтан видел, как легко ступают маленькие копытца Тугана по траве. Это был первый дождь в жизни Тугана, первый холод, первые неприятности. И он, наверное, пока не знал, как себя вести в таких случаях.

Кони шли тихо. Табунщики промокли, плотные бурки уже не держали влагу, чабуры были полны воды.

Отец часто подъезжал к сыну и спрашивал:

– Не замерз?

– Н-н-н-нет, – отвечал Солтан; у него посинели губы и стучали зубы от холода.

Абдул отъезжал, довольный тем, что сын не жалуется и не хнычет.

Когда старый табунщик сказал, что к утру может пойти снег, что в каком-то году здесь даже в июле выпадал снег метровой толщины, у Солтана совсем испортилось настроение. Не из-за себя он расстроился, сам-то он скоро будет в помещении, а за Тугана: под открытым небом останется на ночь и пропадет. Вдруг его осенила мысль: он возьмет жеребенка к себе в дом и привяжет его к нарам.

Незадолго до темноты прибыли наконец на конеферму завода. Навстречу выбежали огромные лохматые кавказские овчарки. Вслед вышли рабочие завода, которые приехали сюда заранее, чтобы поставить домик. Табунщиков они сразу завели в новый сруб, где уже полыхало пламя в печке, а на ней, громко стуча крышками, дышали жаром большие жестяные чайники.

Абдул снял все мокрое сначала с сына. Увидев, что даже белье у него мокрое, он достал запасное из сум и хотел сказать сыну, чтобы он переоделся вон за той развешенной для просушки буркой, как заметил, что и все запасное промокло. Тогда он подтолкнул сына к печке, вокруг которой уже сидели табунщики, а сам незаметно начал сушить над плитой белье Солтана, хотя и стыдился открытой заботы о сыне.

Каждому дали по деревянной кружке чая с молоком, а вскоре Солтан мог уже и переодеться. Он лег на высокие деревянные нары, пахнущие смолой. На них была расстелена поверх сухой травы разноцветная кошма, а укрыться можно темно-синим сатиновым одеялом. Не успела голова Солтана прикоснуться к подушке, как он захрапел. И спал, не просыпаясь, до тех пор, пока яркие утренние лучи солнца, пробившиеся сквозь единственное окошко домика, не упали на его лицо и не разбудили.

Он быстро соскочил с нар. Каково было его удивление, когда он увидел, что в комнате никого нет! Глянул в окно: там величаво белеют – рукой подать! – две головы Эльбруса, как будто их срезали и поставили на один из зеленых ковров Бийчесына. А вокруг самого домика одни круглые и покатые вершины невысоких гор, покрытых разноцветной травой. Мирно пасутся овцы, небо ярко-синее. Глаз радуется тут всему!

Старый Даулет, наверное, просит у Аллаха как раз такой рай. «Но зачем столько лет просить, если можно приехать сюда и любоваться вдоволь?» – подумал Солтан. Подумать только, Солтан чуть не на одном уровне и рядом с самим Эльбрусом, выше нет никого и ничего, кроме Эльбруса. Чем не рай?

Солтан пожалел, что нет здесь Шайтана: дядя Мазан оставил сына при себе, чтобы он мастерил с ним стулья. Как будто аламатцам уже не на чем сидеть. Хотя, может быть, так оно и есть: ведь в каждом доме по семь-восемь детей. Только вот почему-то Солтан один-единственный в семье.

...Увидав Солтана, собаки подошли к крыльцу, не то для знакомства, не то чтобы просить еды. А есть ли она в доме, еда? Ого, печь еще теплится, в огромном казане что-то есть, а на столе лежит хлеб и стоит большая кружка молока. Значит, это повар – шапа – оставил ему, Солтана, а сам пошел за водой или за дровами.

Одеваясь, Солтан думал о Тугане и его матери: где они и что с ними? Немедленно решил разыскать табун. Ему было стыдно, что все ушли, а его, как маленького, оставили спать и досматривать сны. И отец тоже хорош – оставил. А сам любит ведь говорить: «Будь мужчиной!» Разве не должен был он разбудить Солтана и взять с собой! «Разве я спать приехал сюда? – огорчался Солтан. – Подумаешь, вчера уснул раньше всех, но это в первый и последний раз. Ничего, теперь он поведет себя по-другому. Пусть все знают, что дядя Семен подал руку настоящему мужчине!»

Он не стал даже есть, он спешил найти табун.

Бросился к дверям, крепко затягивая ремень на штанах. Но на крыльце он вдруг оробел: кольцом лежали, обратив взоры на дверь, страшные овчарки. Десять овчарок! Солтан отпрянул и даже хотел было захлопнуть дверь, но спохватился и стал ругать себя за трусость. Он мужественно выдержал умные, а кое у кого из псов и злые выжидающие собачьи взгляды. Как быть? Солтан взял в комнате хлеб со стола и начал, отщипывая, кидать кусочки овчаркам. Некоторые из овчарок лениво поднимались и нехотя подбирали хлеб. А были тут и такие, что глазом не повели: лежат и продолжают пристально смотреть на незнакомца.

Солтан терзался: если шапа придет и увидит его в плену, потом не оберешься позора. А может случиться так, что шапа вдруг сострит, поиздевается. Ведь вчера он уже насмехался над Солтаном, сказав: «Что, братец, скис? Извини, что я горшочка для тебя не припас».

«Нет, – подумал Солтан, – я прорву это вражеское окружение». Вон огромный серый пес в самом центре разлегся. Надо будет оттолкнуть его одной ногой, а того, что рядом с ним и который смотрит на меня так злобно, – другой ногой, и... А что, если другие на меня кинутся? Нет, вон тот на меня смотрит добрыми глазами. А что, если снова лечь на нары и прикинуться спящим? Тогда шапа и поиздеваться не сможет».

Но Солтану стало стыдно из-за того, что он трусит. Он спрыгнул с высокого порога, бросился вперед, зажмурив глаза. Послышалось дружное рычанье, собачья свора зашевелилась. Плохо бы все это кончилось, если бы не показался шапа, восседающий на конной бочке с водой, и не оклик-

нул собак. «Вот хорошо, – подумал Солтан, бледный от страха. – Шапа увидел, что я не трус!»

Собаки сразу отступились от Солтана и, виляя хвостами, окружили водовозку своего кормильца.

Солтан стоял поодаль и смотрел, а коленки у него все еще ходили ходуном от только что пережитого страха. Шапа спрыгнул на мокрую траву, не выпуская вожжи из рук, и крикнул Солтану:

– Эй, джигит, как тебя зовут? Вчера-то я не спрашивал, зная, что ты не сможешь вспомнить свое имя.

Солтан побагровел от обиды, а тот продолжал:

– А ты храбрый! Эти собаки могли тебя на клочки разорвать. И если ты сейчас сдвинешься с места, они это сделают с удовольствием, а потому...

– А потому я, Солтан, должен стоять, как вон та каменная баба? – спросил Солтан дрожащим от гнева голосом.

– Разве я сказал так? Не злись, а послушай. Я сейчас подойду к тебе, мы с тобой рядышком пойдем к кошу*, за нами побегут собачки, а там ты их накормишь из своих рук. Вот потом и посмотрим на их поведение!

– Нет, я хочу идти к табуну,— сказал Солтан твердо.

– К табуну не идти, а ехать надо. Да и куда же ты пойдешь-поедешь, не зная дороги? Еще заблудишься.

– А зачем меня утром не разбудил отец?

– Ну, дружок, хватит меня допрашивать. Пошли. – Солтан повиновался. Они вместе с собаками подошли к домику.

Шапа дал Солтану приготовленное еще с вечера варево для собак. Надо вылить его из деревянного ведра в корыто.

Собаки выстроились в ряд и заискивающе смотрели в глаза Солтану. Он деревянным черпаком переливал варево в корыто, а «волки», как он окрестил этих страшных псов, громко чавкая, начали дружно есть. Солтан сидел рядом верхом на бревне и любовался этими могучими зверями, один из которых, вон тот, с рыжей шерстью, особенно понравился ему.

Вылакав все, собаки окружили Солтана. Кто стоял, кто сидел на задних ногах, но все они рассматривали Солтана, а рыжий даже лизнул руку. Так и хотелось обнять эту мощную мохнатую голову, но Солтан не осмелился. Он выскреб из ведра все, что там оставалось, и дал рыжему добавку.

Вот так и состоялось знакомство с собачьей командой, которая несла службу по охране коней и овец не хуже, чем люди. Псы уже обнюхали Солтана, взгляды их стали дружелюбными, доверчивыми.

Шапа готовил обед. Когда Солтан вошел в кош, в казане уже варилось, испуская пар, мясо, а шапа месил кукурузное тесто, от которого также шел пар.

---

* Кош — стоянка пастухов и табунщиков на пастбище

В большущей деревянной чаре было вчерашнее молоко. Шапа велел Солтану снимать ложкой сливки, чтобы вечером табунщики могли есть с ними мамалыгу. Солтан, присев на корточки, начал собирать сливки в маленькое деревянное ведерко и спросил у шапы:

– Как ты думаешь, мне доверят табун?

– Таким сопливым, как ты, там делать нечего. Солтан подскочил от злости:

– Ты разве намного старше меня? Если бы ты годился в табунщики, то не сидел бы здесь в кашеварах!

Шапа тоже обиделся:

– Да ты знаешь, с кем говоришь? Я второй год шапой! К тому же я и табунщик. А шапа – это самый чистоплотный, все умеющий, быстрый, сильный человек! Ты об этом знаешь или нет? Меня сам директор завода хвалил!

– А меня – Будённый! – вылетело у Солтана. – Он мне саблю пришлет!

– И-и-и, вон куда дошло твое бахвальство! Это ты во сне видел?

– Нет, пока ты где-то гырджыны месил, Буденный приезжал в Аламат!

– Я теперь знаю, что ты врун. Не буду дальше слушать твои сказки. Иди принеси дров и подложи в огонь. Я – не ты, мне надо людей накормить, настоящих мужчин!

– Подумаешь, занятие! – сказал Солтан, слизав сливки с деревянной ложки, и пошел за дровами.

Шапа, который все хвастает, что ему уже шестнадцать лет, не понравился Солтану. Ни разу больше он с ним один на один на кошу не останется. Не для того он приехал сюда, чтобы торчать с шапой возле казана.

Солнце грело ласково, небо было ясное. Все вершины и лощины обнажили под яркими лучами свою красоту, а от тепла испарялась с травы вчерашняя дождевая влага.

Собаки лениво слонялись возле коша или дремали. Они понимали, что их черед для работы не настал. Солтан уже не боялся их, а рыжеголового даже погладил по мохнатой голове, чтобы проверить, зарычит на него или нет. Тот и не зарычал, но и не подал вида, что это ему понравилось.

Конь-водовоз пасся неподалеку, и Солтан подумал: «А что, если сесть на него и разыскать табун?» Нет, нельзя. Не хотелось признаться себе, но он побоялся шапы, покосился в сторону домика. Солтан глядел во все стороны, чтобы увидеть табун. Нет, не видно.

Небо сидело на двух вершинах Эльбруса – сахарных головках, как их назвал Солтан. Обе головы Эльбруса так и казались, как и утром, отрезанными от туловища самой горы и посаженными на зеленую поляну. Посмотришь с горки вниз – там стелются в лощине облака.

Солтан взял охапку дров, отнес в кош, но оставаться с шапой он не хотел. Вышел опять из дому и смело подошел к рыжеголовому.

Только к обеду подъехал отец вместе с напарником, оставив табун пастись недалеко от коша.

Солтан тут же кинулся к табуну: ему ужасно хотелось посмотреть на своего Тугана, который щипал траву рядом с матерью. Белоснежная шерсть жеребенка отливала на солнце золотом.

Услышав зов Солтана, Гасана, дожевывая траву, заторопилась к нему, а за ней – Туган. Но захваченный Солтаном еще из дому сахар вчера намок и растаял, не удастся угостить своих друзей. Солтану стало стыдно, он побежал назад в кош, где все уже уселись за тепси. Была готова и миска для Солтана.

Он начал есть, а кусочки хлеба, тайком от отца и шапы, опускал в широкий рукав своего темного бешмета, туго перетянутого ремнем. Пока отец, самый старший из всех, не сказал, вытерев губы и усы, «алхамдулиллах»*, Солтан сидел как на иголках. А после «алхамдулиллах» у него было право оставить тепси, и он пулей выкатился из коша.

Он бежал к табуну, а за ним, то ли озоруя, то ли учуяв хлеб, бежали все овчарки.

Гасана с сыном лежали на траве. Увидев Солтана, Гасана быстро поднялась, за ней вскочил Туган. Солтан совал им хлеб. Гасана взяла его нехотя, а Туган даже и не думал лакомиться, отвернулся. Солтан снова совал ему хлеб, раскрыв его стиснутые зубы, но тот упорно выталкивал. Солтан рассердился, но все же гладил головку Тугана, целовал его черные глаза.

Табун отдыхал у прозрачного вкусного родника. Лошади подходили сюда и медленно цедили студеную воду сквозь окрашенные сочной зеленой травой губы, как бы боясь простудить свои зубы. Затем, лениво пощипав траву, ложились отдыхать. Каждый косяк отдыхал отдельно. Жеребец, отец Тугана, как и всегда, охранял свой косяк не ложась, оглядывая всех и как бы проверяя: не грозит ли откуда-нибудь опасность?

Солтан лежал неподалеку от косяка, и грезилось ему, как Туган станет большим конем, а Солтан объездит его и полетит ветром по длинной улице аула...

Вдруг он пронзительно свистнул два раза, вспомнив Шайтана: таким двукратным свистом они вызывают друг друга из дома. Почему-то Гасана поднялась на свист, повернула голову к Солтану и стала в нерешительности: подойти или нет? Туган тоже поднялся. Солтан свистнул еще два раза. Жеребенок насторожился, а Гасана опять сделала несколько шагов в сторону Солтана. Туган – за ней. Еще свист – и Гасана снова шагнула к другу. Последовал ее примеру и Туган. Этот случай надоумил Солтана: двукратный свист надо сделать сигналом, чтобы подзывать к себе Гасану и Тугана.

---

* Это слово (арабское) произносится в завершение застолья старшим из сидящих

Неслышно подошел отец, оседланная лошадь которого паслась тут же. Подошел и сел рядом с сыном, свертывая махорочную сигарету.

– Ну как, джаш, нравится тебе здесь? – спросил он и откинул со лба сына белую войлочную шляпу.

– Очень, – ответил Солтан живо, – только я на кошу сидеть не хочу.

– Я и не собираюсь держать тебя на кошу, хочу взять с собой, а мой напарник пусть себе отдыхает. Видишь рябую лошадь? Пойди, принеси седло, оседлай ее. И поедешь со мной.

Пулей полетел Солтан, а отец смотрел вслед улыбающимися глазами.

– Будет конник! Будет, – сказал он вслух.

Лошадям было полное раздолье, гуляй налево и направо. Бийчесынские пастбища огромны, беспредельны, хотя у каждого хозяйства здесь свои участки.

Дав отдых коням, и теперь, подняв их, отец с сыном не стали пока садиться верхом. Солтан направлял косяк, куда велел отец – вперед. Сейчас вон на ту цветущую, озаренную солнцем сторону холма. Направлять надо незаметно, чтобы лошади думали: никто над ними не командует, они сами выбирают себе место для пастьбы.

То ли кони во время полдневного отдыха проголодались, то ли здесь трава слаще, но накинулись они на нее с жадностью. Жеребятам было очень привольно: они подбегут к матерям, пососут для вида, а потом как поскачут – и поминай, как звали. Вот и Туган оторвался от матери и помчался. Солтан даже ахнул: до чего красив белый Туган на этом разноцветном ковре! Жеребенок, наверное, опьянел от всего этого: от чистого воздуха, от источающей аромат травы.

Отец тоже любовался, он наблюдал то за сыном, то за жеребенком. Гасана сначала ждала, что Туган вот-вот опять подбежит к ней, но, не дождавшись, перестала щипать траву. То ли с тревогой, то ли с радостью – не поймешь – она наблюдала за сыном. «Ты же устал, шалун!» – говорили ее глаза.

А Туган и не думал об усталости. Он врывался в косяк белой стрелой, нарушая покой и наслаждаясь своей резвостью, а потом выбегал оттуда и начинал давать круги, ничуть не заботясь о том, чтобы остановиться и успокоить мать. Отец Тугана, на котором лежала вся забота о косяке, был недоволен тем, что малыш мешает всем. Он попробовал раза два догнать Тугана и строго куснуть его. Но не тут-то было – разве птицу догонишь!

Табун двигался вперед медленно, «попасом». Солтан с отцом то садились на траву, то поднимались и шли за косяком. Отец то и дело срывал травинки, показывая сыну и объясняя, от какой болезни какая трава и цветок лечит.

– Вот это – подорожник. Помнишь, он растет и у нас в ауле. Его прикладывают к свежей ране, и она быстро затягивается. А вот и одуванчик. Он

в ауле тоже растет, но тут красивей. А это медовый цветок. На-ка, сорви и пососи. Вкусно?

В самом деле, это был удивительно сладкий и душистый цветок.

– А вот таких красивых больше нигде не увидишь, кроме как здесь, – сказал отец, сорвав нежный цветок, переливающийся красками.

У Солтана снова, как вчера, когда поднялись из долины на эти горные луга, возникло ощущение, будто здесь разлили огромный флакон духов и их запах не уходит и никогда не уйдет. Он вспомнил случай, когда отец с матерью собрались пойти на ыстым – на праздник в честь рождения ребенка, – наряжались и хотели надушиться из большого флакона, на котором было написано «Тройной одеколон». Но вдруг отец выронил его, и флакон, упав на щипцы, разбился. После этого в доме целую неделю стоял запах одеколона. А здесь, наверное, всегда стоит такой запах, хотя никто ничего и не разбивал.

Отец показал ему еще траву – тихтен.

– На-ка, ешь ее, – сказал он, – это дикий чеснок – черемша, но уже не молодая. Лучше всего она самой ранней весной. Целебная!

И Солтан с удовольствием поел черемшу, хотя она была уже жестковатая.

Туган прилег. Устал бедняга. Голова торчит над цветами, а спина белеет сквозь траву.

– Туган отдыхает. Набегался! – сказал Солтан и побежал к нему, лег рядом и обнял его за шею.

Но жеребенок не собирался прохлаждаться, он быстро вскочил на ноги и полетел по лугу, снова нарушив покой матери.

Солнце, чистый воздух, отличная трава, незамутненный ручей – что еще нужно, чтобы спокойно пастись лошадям? Спокойно было на душе у табунщиков.

– Если бы всегда так, то пасти коней и не трудно, – вздохнул отец, лежа на боку и покусывая травинку. Его карие глаза смотрели куда-то далеко.– Но бывают и очень тяжелые минуты в нашей работе, сынок. Посмотри туда, в лощину, видишь лес? Там таятся волки и ждут удобного момента, чтобы напасть на лошадей, на овец, на коров. Тут волки особенно хищные и ловкие, так что приходится смотреть в оба.

– А волк разве сильней лошади? – спросил Солтан.

– Как тебе сказать... Лошадь сильнее, но она – мирное животное. А волк – хищник, он научился разбойничать... Впрочем, ты – табунщик, значит, сам насмотришься всего.

Солтану захотелось показать отцу, как он умеет обучать лошадей. Раздался двукратный пронзительный свист, да такой, что отец закрыл уши руками и удивленно посмотрел на сына, еще не успевшего убрать пальцы изо рта. Солтан выжидающе смотрел на косяк. Отец ждал, что же означает этот свист. Он смотрел по направлению взгляда сына и заметил, как Гасана

подняла голову от травы, поглядела в сторону Солтана и направилась к нему. Туган круто остановился на бегу и тоже пошел к Солтану. Жеребец, вожак косяка, встрепенулся и беспокойно оглядывался по сторонам.

– Здорово ты их приучил слушаться! – похвалил отец, когда Гасана и Туган подошли к Солтану. – На-ка, дай им хоть по полконфетки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шли дни, все было спокойно. Случая проявить геройство Солтану пока не представлялось.

Отец или его напарник всегда брали Солтана с собой. Он уже знал самые «травные» места, умел пасти лошадей.

Однажды, к его радости, мать прислала ему вместе с учебниками сумочку с сахаром. Расходовал он его бережно: расколол кусочки и баловал своих любимцев только тогда, когда они послушно выполняли его команду.

Табунщики Солтана хвалили, потому что он понимал характеры лошадей и пас их старательно. Но ему хотелось сделать что-нибудь необычное. Он в своем воображении сражался то с волком, то с барсом, напавшим на Тугана, или же боролся, чтобы спасти Гасану и Тугана во время страшных стихийных бедствий. Ведь он мужчина, он ничего не должен бояться. В день отъезда из дому сюда он не дал маме поцеловать и обнять себя, чтобы не уронить свое мужское достоинство. Мать этого никогда не поймет, она думает, что в горах его стережет беда. Отец – другое дело, он все понимает, потому что сам ничего не боится.

Оба табунщика, Абдул и его напарник, пасли коней по очереди, а подпасок у них – Солтан. Каждое утро табун выгоняли на новый участок пастбища, чтобы на тех загонах, где кони уже попаслись, трава могла подрасти.

Косяк – это лошадиное семейство. Во главе каждого из четырех семейств – жеребец. Он и есть самый лучший табунщик: все время находится настороже – то выходит вперед, то рысит назад, подгоняя кобылиц и журя их за что-то. И все время глаз коневодов должен быть неусыпным.

Солтан загорел, возмужал. Он временами стыдил себя за то, что стал собирать цветы. «Веду себя, как девчонка, – корил он себя, – хотя пасу табун на самом Бийчесыне!» А через минуту снова склонялся к разноцветью луга, потому что невозможно было устоять. Вот бы увидела этот луг «А»! Она так любит цветы!

Сегодня за табуном ходит отец. Высокий, кряжистый и загорелый, он чувствует себя здесь полным хозяином. Голова отца в белой войлочной

шляпе издали тоже кажется Солтану цветком. Солтан будто только теперь, в горах, впервые увидел отца, любуется всем его мужественным обликом.

– Папа, а когда мужчина становится мужчиной? – спросил Солтан, прервав мысли отца.

Отец приостановился, глаза его стали теплеть, улыбаться. Он ответил:

– Думаю, тогда, когда совершит подвиг. Но совершит не ради пустого бахвальства, а во имя других людей. Вот как, сынок.

Солтан задумался, хотя и не очень хорошо понял ответ отца. «Что значит – во имя других людей?» – размышлял он. Значит, для мамы, папы, Шайтана, деда Даулета, ну пусть и для «А»? А что Солтан может сделать для них? Конечно, ничего, они все сильнее его, кроме «А». Значит, ему, Солтану, никогда не стать мужчиной? Его мысли перебил отец:

– Будет дождь, раз надвинулись тучи и голова Эльбруса закрыта.

Солтан, как и отец, расторочил свою бурку. И вовремя: с неба уже начали падать крупные капли. Дождь в горах собирается очень быстро и всегда льет, как из ведра.

Куда и делось солнце, которое только что озаряло альпийские луга!

Жеребцы забеспокоились, навострили уши. Каждый из них старался согнать косяк в кучу, а забота табунщиков – сгрудить все косяки, причем жеребят – в самую середину.

Дождь ливневый, шерсть лошадей сразу намокла, с нее текли струи.

Доставалось и Солтану: с краев шляпы Солтана натекло за ворот, тело стало мокрым.

Погромыхивала гроза. Стало темно, будто это и не день. Отец и Солтан верхами кружили вокруг табуна – очень осторожно, чтобы не вспугнуть коней, а то они ринутся к скрытой в тумане горе, к ее скалистым и опасным уступам. Кобылицы пока еще не метались, опекали жеребят, но видно было, что им тревожно. Они боялись жеребцов и не делали лишнего шага в сторону.

Солтан в предчувствии какой-то беды не спускал глаз с Тугана, который таился в кругу белой точкой, прижавшись к материнскому боку.

Вдруг грянула гроза такой невиданной силы, что даже Абдул невольно втянул голову в плечи – Солтан это заметил и испугался еще больше. Небо будто раскололось, ослепительно сверкнула молния, на миг высветив табун.

И тут все полтораста лошадей сорвались с места единой массой, шарахнулись в одну сторону, как по команде. Никакая сила не в состоянии была их задержать, остановить. Они чуть не затоптали Абдула с сыном.

Табун летел как раз к горе, инстинктивно стараясь найти укрытие и не понимая, что там опаснее, чем на просторе луга.

Кони летели, как на крыльях, распластав гривы и хвосты. Жеребцы забегали вперед, кусали кобылиц, старались остановить их, но тщетно.

Абдул с Солтаном неслись за ними вскачь, стараясь опередить табун, но ничего не получалось.

Краем глаза Солтан заметил, что со стороны коша мчались на конях к ним на помощь второй табунщик и шапа, а за ними все овчарки, которым дело находилось обычно только ночью.

В это время Абдул сумел обогнать табун, крикнув сыну, чтобы тот не следовал за ним.

И в этот миг табун смял, отшвырнул лошадь Абдула. Солтан увидел, как мелькнула в траве белая войлочная шляпа отца, огрел плетью своего коня, чтобы успеть на помощь отцу. Он думал, что его уже затоптали кони. Но тот уже поднялся и пытался схватить уздечку своей вскочившей с земли лошади.

Однако конь табунщика тоже поддался панике, помчался галопом. Седло висело у него под брюхом.

Увидев Солтана, отец ухватился за луку его седла и на ходу взлетел на коня, уселся впереди сына.

Они поскакали так, что у Солтана дух захватило. Уже поравнялись с ними второй табунщик и шапа, веером рассыпались по лугу собаки, огибая табун. Еще миг, и удалось бы окружить табун. Но из тумана уже выплыла, словно только что из земли поднялась, гора.

Кони взлетели на ее скалистый склон, грохоча копытами и сбивая подковы. Было круто, табун поневоле замедлил бег и начал сдвигаться к краю откоса, а там, в тумане – смертельный обрыв...

Жеребцы кусали кобылиц, они упорно двигались к кромке обрыва, увлекая за собой жеребят. Малейшее резкое движение коневодов – и весь табун рухнет в пропасть. Поэтому верховые словно подкрадывались, отрезая коням путь к краю обрыва, сами подвергаясь опасности быть сметенными с утеса волной лошадей. Бесшумно действовали, почти перестали лаять и рычать собаки, они только щерили злобно зубы, отгоняя коней от опасного места. Впрочем, ни лая собак, ни терпеливого «но, но», которое вырывалось у табунщиков по привычке, все равно не было слышно: гроза гремит немолчно, дождь льет вовсю, а здесь, в скалах, звон его струй кажется грохотом.

С замиранием сердца Солтан увидел, что Туган с матерью оказались на самом краю обрыва. Он тотчас ворвался в табун на коне, ловко заарканил Тугана и потащил его назад, а мать потянулась за ними. Их примеру последовали еще несколько лошадей.

Туган, взбешенный сначала грозой, а теперь и арканом, стащил Солтана с седла и пытался вырываться. Мальчик, чувствуя, что у него содрана арканом кожа рук, ногами упирался в мокрую, скользкую траву и не отпускал жеребенка. И откуда нашлись у Солтана силы!..

Гроза и дождь прекратились так же быстро, как и начались. Табун стоял, сгрудившись, кони тяжело водили боками и прядали ушами, все еще не опомнившись от пережитого страха.

Когда Абдул подошел к сыну, тот все еще крепко держал аркан, не отрывая взгляда от притихшего Тугана. Отец посмотрел на кровоточащие руки сына, разжал их и произнес:

– Ну, опомнись, герой... – Помолчав, он обнял мальчика за плечи и добавил: – Вот так и становятся мужчинами, мальчик!

Теперь Солтан понял, что к чему. Табун нужен людям. Он, Солтан, проявил сегодня мужество, не струсил. Значит, он послужил людям. Стал мужчиной!

* * *

Уходило лето. Уже пора было собирать Солтана в школу, и отец отвез его в аул. Перед тем как уехать, Солтан попрощался со своим Туганом. Угостить его не мог, не было ничего сладкого, но Туган к нему так привык, что, казалось, ему не столько нужен был теперь сахар, сколько то, чтобы Солтан приласкал его. Никого из табунщиков жеребенок к себе не подпускал, а к Солтану бежал, завидя еще издали или услышав его призывный свист.

За эти месяцы на Бийчесыне лошади налились, шерсть у них блестела, любо было смотреть. Туган потерял детскую угловатость, стал еще резвее и быстрее в беге. У этого белоснежного жеребенка черными были только глаза, удивительно умные, озорные, смелые и, как казалось временами Солтану, насмешливые. Длинные крепкие ножки легко держали его поджарое тело. Когда он скакал, головка его, как у птицы, устремлялась к полету.

Солтан готов был бы даже оставить школу, лишь бы быть всегда с Туганом, но разве отец разрешит? Он всегда с огорчением говорит о том, что сам остался малограмотным. Но сыну-то он даст большое образование, это непременно!

Когда Солтан прощался с жеребенком, мальчику показалось, что и в черных глазах Тугана стоят слёзы. «Как тяжело, оказывается, разлучаться настоящим друзьям!» – понял Солтан на альпийских пастбищах и эту истину.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ноябрь в этом году был в долине холодным. Горы за конезаводом все чаще покрываются туманом, а речка у въезда на завод как-то притихла, а ведь все лето она была говорлива, болтала кому-то о чем-то, как первая аульская сплетница.

За околицей, где всегда много ребят, сегодня пусто. Там, на пожухлой траве, паслись без особой охоты ослы, телята, индюки да гуси. Ребята же облюбовали себе место не здесь, а на заборе заводского конюшенного двора, где они расселись, как птицы на жердочке, благо сегодня выходной и в школу не идти.

Идет отъем жеребят от матерей, малышам уже по семь месяцев. Как они будут жить без матерей?

Солтан с Шайтаном устроились рядышком. Каждый год в такой день они всегда «болеют» за жеребят, забыв свои игры и заботы... «Жалко, когда разлучают малышей с матерями, жалко, что приходится так жестоко поступать», – думает каждый из мальчиков.

– А что, если Тугана угнать и спрятать, а потом пригнать его к Гасане? – говорит Солтан, нарушив молчание.

– Как бы не так! Все равно разыщут. Да и ничего с твоим Туганом не случится без матери, – смеется Шайтан.

– Сам знаю, но жалко. Это с твоими стульями без тебя ничего не случится, тебе все равно, что кони, что стулья... – ответил Солтан.

– Это мне все равно? – обиделся Шайтан, спрыгнул с забора и принял грозный вид. – Разве не я научил тебя ездить на коне? А то бы ты до сих пор скакал на стуле! Разве не я два раза украл у своей мамы сахар для твоего Тугана?

Это была правда, и потому Солтан промолчал. А Шайтан обдал его презрительным взглядом и отошел к другим ребятам.

В это время Солтан заметил, что сам его отец, а не кто-нибудь другой, заарканил Тугана, и жеребенку тотчас выжгли клеймо. Солтан даже зажмурил глаза, чтобы не видеть мучений Тугана, затем соскочил с забора, обежал тренерскую конюшню, куда загоняли «культурную группу» жеребят – самых породистых – после выжигания тавра. Пролез сквозь решетку невысокого окошка и оказался в конюшне. Там, среди таврёных жеребят, стоял понурившийся, грустный Туган. Он даже не повел глазом на Солтана, вид у него был обиженный. Ему жгло рану, ему было больно. За что с ним так поступили, ведь он не сделал людям зла! К Солтану он потому и безразличен, что тот не защитил его. Не отвечает на ласку, даже не принял сахара, отвернулся...

Солтан заплакал, вытер мокрое лицо о шею жеребенка и сдержал себя, потому что Туган, имея такую рану, не плакал и держался мужественно.

На левом бедре жеребенка чернеет «КЗ» – конезавод, а ниже порядковый номер: 80. Ох, как на всю жизнь Солтан возненавидел эту цифру! Где бы ни приходилось ему потом писать её или произносить, он каждый раз вспоминал тот день, когда тавро причинило такую боль его Тугану.

Жеребят прибавлялось, обиженных и печальных малышей впускали сюда и сразу закрывали за ними дверь.

Солтан притаился на краю высоких, добротных деревянных яслей, в которых поблескивали полированные языками коней куски соли-лизунца. Пора, кажется, уходить, всех жеребят уже отняли. От ржания матерей-кобылиц сотрясался воздух – это был плач по отнятым детям; дети же пока не умели возмущаться, а молча покорялись своей судьбе.

Солтан спрыгнул с яслей, чтобы уйти тем же путем, каким пробрался сюда. Он уже направился к окну, но оглянулся на прощанье и увидел, что Туган потянулся за ним, как бы спрашивая: «Почему же ты в такую минуту оставляешь меня, когда я так одинок?»

Солтан кинулся назад, обнял друга. Потом опять сел на край яслей верхом, чувствуя рядом теплое, еле заметное дыхание жеребенка. И незаметно уснул, свалился, сонный, в ясли...

Он едва почувствовал, как чьи-то сильные руки вытащили его оттуда. То были отцовские руки. Отец хотел поставить мальчика на ноги, но ноги не слушались Солтана. И тогда Абдул взвалил мальчика на плечо и вынес из конюшни. Солтан потом вспоминал, что отец, не произнося ни единого слова, шел, тяжело дыша, и лишь невдалеке от дома Солтан проснулся, сполз с отцовского плеча.

Была темная ночь. Солтан стоял молча. Отец тоже, но потом коротко скомандовал:

– Иди!

Сын понял, что отец очень зол на него, наказания не миновать. Он оцепенел от этого чувства и не мог двинуться с места, но повторное «Иди!» заставило его сделать шаг вперед и покорно зашагать впереди отца.

Мать не спала и, увидев сына живым, здоровым, обрадовалась, хотя тут же начала было его ругать.

– Куда же ты, негодник, исчез, мы с ног сбились, искали тебя...

Но, заметив какой-то знак мужа, она сдержалась, молча помогла сыну раздеться и лечь в постель.

Солтан тотчас уснул, а мать заплакала от огорчения, что пришлось так понервничать за сына. Отец и вправду искал его по всему аулу, но никому ничего не говорил, а то слух облетел бы аул быстро и говорили бы: «Вы знаете, что у Абдула сын исчез? Не иначе, как медведь утащил его в берлогу», – сказали бы одни, а другие ответили бы: «Нет. Мать воды, наверное, забрала его к себе в пучину», и так далее. Не дай Аллах стать

предметом разговора для Аламата! Потом и сам никак не поймешь, как у тебя случилась беда на самом деле. Абдул сам, без людей, сообразил, хоть далеко и не сразу, где надо искать сына: не в медвежьей берлоге, не в пучине, а возле Тугана.

Он пошел на конюшню, мальчика не было и там! Это уже не на шутку напугало отца. Он подошел к Тугану, жеребенок отпрянул. «Я не меньше твоего друга люблю тебя, дурачок!» – проворчал Абдул и уже собрался было уходить, как догадался заглянуть в ясли...

Он рассказал обо всем этом жене и добавил:

– С твоим сыном я поговорю завтра на языке ремня!

– Отец Солтана, прошу тебя, не надо мальчика бить! Ведь ты его никогда не бьешь. И на этот раз поговори с ним по-хорошему, он все поймет... Ох, не доведет его до добра эта любовь к коням!

– То требуешь наказать мальчика, то берешься защищать его! – усмехнулся Абдул.

Интересные отношения были у родителей Солтана. Они жили дружно, а временами у них бывали словесные перепалки, просто так, для виду. Поводом чаще всего служил «проклятый» баран. Солтан думал, что мать затевает перепалки только от скуки. Ведь она всегда занята одними и теми же делами.

Правда, у матери в этих заботах были свои торжественные минуты. Каждый день. Всегда, сколько помнит Солтан.

Вот она, не торопясь, снимала свой темный кашемировый платок, затем накрепко прилаживала его на голову так, чтобы из-под него не выглядывал ни один волосок.

Покончив с этим, наливала из бабушкиного Медного Казана воду в чугунный кумган, ставила его на жаркий огонь сосновых дров и затем торжественно снимала со стены до блеска полированное деревянное корыто. Доставала деревянный совок, похожий на тонкий, кремового цвета, фарфор. Наверно, это хлебное корыто и совок служили не одному поколению семейства. Мать отправлялась с совком в кладовую за мукой. Эта кладовая, дверь которой выходила сюда же, в летнюю комнату, была для Солтана заветным местом. Чего там только нет: кадки с домашним сыром, бараний сбой в сыворотке, кадки с тузлуком – соленым кислым молоком – для зимы, с потолка свисали сушеное мясо и домашняя колбаса, а в деревянных закромах хранилась пшеничная и кукурузная мука.

Мать набирала полный совок кукурузной муки и торжественно выходила из кладовой, идя так осторожно, чтобы ни одна крупинка не упала на пол. Высыпала муку в корыто, совок аккуратно вешала на место, затем закатывала рукава до локтей и, поливая из высокого медного кумгана, тщательно мыла руки с мылом, лишь после этого дотрагивалась рукою до

муки: сверху делала ямочку, наливала туда уже успевшую закипеть воду. Ее небольшие руки долго и ловко мяли горячее тесто, потому что, как она говорила, от этого зависит вкус испеченного гырджына.

В это время она ни с кем не разговаривала. Даже если бы случился пожар, она не крикнула бы «Караул!». Какая-то одухотворенная, она священнодействовала.

Заранее смазанная жиром сковородка тем временем калилась над огнем. Мать клала в нее тесто, ровняла его, а затем остроносым, работы кузнеца Идриса, ножом разрезала тесто на равные треугольники, чтобы была хорошая выпечка. Сковороду закрывала сверху другой и зарывала в сосновый жар.

Пока пекся хлеб, она успевала до блеска вычистить хлебное корыто, высушить и повесить его, а если в это время Солтан оказывался рядом, она велела ему накормить собаку, барана, ишака и петуха.

«Накорми этих», – кратко говорила она. Поскольку они всегда питались вместе, то Марзий их называла общим именем «эти».

Однажды Марзий с Солтаном, вернувшись домой из гостей, у себя во дворе увидели такую картину: Медный Казан лежал, положив огненно-рыжую мохнатую голову на протянутые передние лапы, глядя почему-то злыми глазами; неподалеку дремал ишак, а между ними разлегся баран, поджав под себя все четыре ноги. Увидев хозяйку, баран вскочил и очертя голову помчался к ней, требуя гостинцев. Марзий хотела было достать из кармана что-то, но вовремя опомнилась и отняла другую руку от горбатой иссиня-черной головы барана. Дело в том, что Абдул был дома, а свою нежность к барану Марзий своему мужу не любит показывать.

– Опоганил мне руку, «проклятый»! – сказала она нарочно громко. – Ест с собачьего тепси, нос тычет в её шерсть, водится с ишаком и после этого хочет еще, чтобы его угощали! Я тебя угощу, погоди! В пятницу, через два дня, твоя упрямая голова отделится, наконец, от твоего жирного тела...

– Клянусь хлебом-солью, баран, эта злая женщина выдумывает! Пока к тебе смерть сама не придет, ты вот так же будешь дружить и с Медным Казаном, и с ишаком. И получать гостинцы от Марзий! Тебе обещаю это я – сын Лепшоковых! – Говоря так и улыбаясь, Абдул спускался с каменных ступенек крыльца.

– Назло сыну Лепшоковых ты, баран, умрешь не в пятницу, а сегодня, – пригрозила Марзий и, стройная, красивая, с гордой осанкой, но готовая прыснуть, прошла в дом мимо мужа.

Когда же Марзий оставалась одна и была уверена, что её никто не видит и не слышит, она вовсю жалела барана. Несмотря на то, что он был огромный, с теленка ростом, и жирный такой, что на его спине Солтан мог бы улечься, она разговаривала с «проклятым», как с ребенком: «Бед-

ненький мой подкидыш! Умный мой, красивый мой малыш! Да никто и не виноват, что ты якшаешься с Медным Казаном, одна я виновата: не хотела с тобой расставаться и потому не отпускала тебя в отару. Так что же тебе, несмышленышу, оставалось делать, как не взять себе в друзья «этих»?

При этом она гладила упрямую голову барана, а тот замирал, блаженно прикрыв веки, под ее теплыми руками. «Горе тому, – приговаривала она, – мой маленький, у кого единственный ребенок в доме да муж, только и думающий о лошадях...»

Если в такую минуту вдруг стукала калитка, она быстро снимала руки со лба барана, громко, сердито говорила: «Юс* , юс, чтоб тебя...» – и отходила от него, а тот нерешительно шел за ней, не понимая, за что ни с того ни с сего рассердилась хозяйка.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Хорошо играть на морозе! Овчинные варежки Солтана торчат из-за пазухи, цветом лица он сейчас похож на румяный кукурузный хлеб, только что снятый со сковородки.

Ребята вдруг оставили игру, увидев, как по главной улице аула скачет верховой, вовсю пришпоривая коня и не переставая кричать:

– Солтану от Буденного! Солтану от Буденного!

То был Шайтан. Он подъехал, запыхавшись, и осадил коня. С трудом произнося слова, он сказал Солтану, которого уже окружили все ребята:

– Буденный прислал тебе шашку. Прислал директору, но это для тебя. Взбирайся ко мне, скорей, ну!

Солтан остолбенел. Это сон? Но Шайтан здесь, его лошадь тоже здесь, значит, не сон. И все же Солтан тихо подошел, тронул пальцем лошадь, уверяясь будто, что это действительно лошадь. Затем взобрался на круп её и помчался с Шайтаном к заводу. Все мальчики бежали за ними, побросав свои сани и альчики, и, обгоняя друг друга, чтобы поскорее оказаться у дверей заводской конторы.

Солтан пулей влетел в огромный кабинет директора, где уже сидело много людей. Круто остановился. Его разгоряченное, раскрасневшееся лицо пылало, глаза блуждали. Снег на его черных лохматых бурошниках подтаивал, и у ног образовалась лужа. Солтан дышал часто, еле переводя дыхание.

Он теперь заметил на столе у директора что-то блестящее. Сабля! Чуть не бросился к столу, но вспомнил отцовские слова: «Не проявляй шумно свои чувства». Он с мольбой во взоре посмотрел на усатого, как Буденный, директора и только тут заметил отца, стоявшего возле директора.

---

* Юс – междометие, употребляемое для отгона овец

Директор поднялся, торжественно взял обеими руками саблю и сказал:

– Смотрите, дорогие мои! Вот эту саблю Семен Михайлович Буденный прислал в подарок нашему джигиту Солтану.

На ней выгравированы слова: «Солтану Абдуловичу Лепшокову от маршала Буденного. Зря не вынимай, а вынешь – не промахнись». Других слов я добавить не могу, Солтан – джигит! Но все же скажу, что все мы желаем тебе прежде всего хорошо учиться. Ну, а что касается того, что ты влюблен в коней, это очень хорошо. Конь – верный друг человека, мы растим скакунов для Красной Армии, а ей нужны отличные кони, вот и помогай нам воспитывать их, помогай со своими друзьями, это будет очень хорошо. У нас ведь три тысячи лошадей, и каждая из них требует отличного ухода. Мы говорим спасибо всем ребятам, которые помогают нам, вот и тебе спасибо скажем.

С этими словами директор вышел на середину и торжественно вручил саблю Солтану. Тот взял её дрожащими руками и, не моргая, смотрел на нее. Все молча наблюдали за ним, а Абдул уже начал было тревожиться: «Неужели вот так истуканом будет стоять и ни слова не вымолвит?» Но сын пришел в себя и горячо сказал:

– Честное пионерское, я все сделаю так, как написал маршал! Вот Шайтан будет свидетель!

И он показал на стоящего рядом друга, не меньше взволнованного событием.

Оба они выбежали из кабинета.

Когда Солтан вышел с саблей на крыльцо, двор конторы был полон ребят. Чтобы все видели подарок, Солтан высоко поднял саблю над головой и услышал общее восхищенное: «О-о-о-ох!»

Так, с высоко поднятой обеими руками саблей, спустился Солтан со ступенек крыльца и в окружении ребят пошел по Главной улице. Заметив ватагу возбужденных мальчишек, взрослые выходили из дворов, спрашивали, подходили, рассматривали буденовскую саблю и по-разному выражали свой восторг. А затем, когда ватага продолжала свой путь, взрослые собирались в кучки и обсуждали удивительное событие.

Когда ребята дошли до дома Шайтана, он забежал и позвал из плотницкой своего отца.

– Э-э-э! – протянул Мазан, держа обеими руками саблю, вынимая ее из ножен и снова вкладывая на место.

Ребята понимали, что означает это «э-э-э!». Когда Мазан, бывало, видел не им изготовленный, но красивый стул, он одобрительно говорил: «Э-э-э!» Больше всего на свете Мазан любил красивых женщин, и, когда встречалась где-нибудь такая, он останавливался, глядел вслед и тоже произносил: «Э-э-э!» А по поводу него самого никто, наверное, не говорил так.

Диву даются в ауле: как красавица Лейла, его жена, могла полюбить этого «Полтора Мазана», как его иногда называют за его несуразный рост. Волосы Мазана закрывают ему лоб, брови закрывают глаза, усы – обе губы, а слегка седая борода закрывает шею. Пусть, зато в этом человеке живет такая любовь к красоте, что, когда он видит красивое, он немеет и может произнести только «э-э-э!».

Вот и сейчас он не мог оторвать глаз от сабли, а ребята – от него. В это время с противоположной стороны улицы вышел кузнец Идрис-фунтонос. Это было его прозвище за огромный гиреобразный нос, который выделялся на сухощавом лице. Лицо как лицо, с правильными чертами, а нос достался Идрису непомерный, весом в фунт.

Карачаевцы вообще горазды давать прозвища, а в Аламате особенно. Одни здесь знают свои прозвища и не обижаются, другие готовы броситься с кулаками, третьи точно не знают, но догадываются. В общем-то, из-за клички пока никто в Карачае ни в какие века не дрался. Фунтонос тем более, потому что, как он считает, у него самая тонкая в Аламате жаждущая музыки душа, и поэтому кузнец держится выше всех насмешек.

Кузнец берет саблю, рассматривает её и, наверное, думает о том, как воспроизвести такое событие в музыке: подарок самого маршала...

Так каждый встречный восхищался саблей по-своему, а весь аул воспринял новость с большой гордостью. К вечеру уже не было в Аламате ни одного человека, который не знал бы о новости и не пересказывал бы ее с добавлениями.

А пока Солтан очень спешил с подарком к матери, хотел порадовать ее, но никак не мог дойти – его останавливали, расспрашивали, рассматривали саблю.

Во время одной из таких остановок сквозь говор толпы он услышал тоненький голосок:

– А как ты ее будешь носить?

Не получив на это ответа (ведь Солтан еще и сам не знал, как будет носить), голосок снова пропищал:

– А коня-то у тебя нету! А шашку носят, когда садятся на коня! А ты...

– Туган – мой конь, я его пас на Бийчесыне! – с обидой ответил Солтан, грозно посмотрев на «А». Если б это был мальчишка, он бы, конечно, надавал тумаков, а с девчонкой станешь ли связываться?

Наконец он добрался домой. Мать в это время чем-то угощала своего «маленького», «своего подкидыша», но как только стукнула старая некрашеная калитка, она отогнала «проклятого» и пошла навстречу сыну, не отрывая удивленного взгляда от сабли, которую Солтан подносил матери, держа обеими руками.

Мать медленно взяла саблю в посеребренных ножнах, посмотрела вопросительно на сына.

Солтан объявил:

– Это маршал Буденный мне в подарок прислал. Помнишь, он обещал?

– Такого не бывает, чтобы самый большой командир прислал подарок сопляку.

– Мать! Хоть ты мне и мама, но знай – я не сопляк, я мужчина. И если ты еще раз обзовешь меня так, я уйду из дома и буду жить один! – гордо сказал Солтан.

– Ишь какой джигит... – растерялась мать. – Да я же от радости, дурачок. Я вижу, что ты стал настоящим мужчиной. А там, кто его знает, может быть, и сам великим человеком станешь!

Вечером получилось семейное торжество, пришла вся родня. Отец сказал:

– Ты, джигит, пойми одно: такие подарки и от таких великих людей выпадают не каждому. Сумей ответить на эту честь!

– Что надо делать, папа?

– А наш директор уже сказал: надо помогать нам, табунщикам, растить добрых коней. Разве мало дел для вас, ребят, найдется на заводе?

– Я все буду делать: и учиться хорошо, и маме помогать, и лошадей растить, а особенно – ухаживать за Туганом. Ведь у него теперь ни отца, ни матери. Он один, ему трудно.

Сидящие одобрительно переглянулись, а Марзий сказала на радостях, что сын такой рассудительный:

– Я уже про себя решила: пусть мальчик наш завтра после уроков приведет своих друзей, я сделаю хычыны* . А наш отец, я знаю, зарежет для такого случая барана...

– Какого? – почти одновременно спросили удивленные отец и сын, подумав о «проклятом» баране.

– Того, который, как ему и положено, ходит в отаре. А вы небось подумали, об «этом», который вылизывает собачью миску? Нет, я пока не выжила из ума, чтобы такого глупого, нестоящего барана зарезать в честь подарка большого командира.

Марзий принялась планировать, как устроить торжество:

– Купим конфет, пряников и отпразднуем. Ну, уж так и быть, куплю также кило сахару для этого самого Тугана, раз он остался без родителей.

Солтан подпрыгнул от радости, а когда лег, никак не мог уснуть, все время гладил руками лежащую рядом саблю.

* Хычын — национальное блюдо

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Буденовский подарок будто переродил Солтана. Все, что он теперь ни делал – колол ли дрова, водил ли корову и овец на водопой, учился ли, помогал конюхам, – все он делал с увлечением.

Но, надо сказать, и дрался он теперь с особым азартом. Как-то так получалось, что для драки всегда находился повод. Сегодня, например, он подрался с одним мальчишкой из-за того, что тот, может быть и нечаянно, наступил ему на ногу, палец сильно разболелся. А вчера Солтан пришел домой из школы без единой пуговицы на шубе: тоже дрался, потому что задира Хасанов, одноклассник, сказал ему:

– У Лепшоковых, говорят, никогда не было в роду знатных людей.

– Как не было? – вспылил Солтан. – А разве вы, Хасановы, имели в роду такого борца, как мой дядя Унух, которого во всем ауле никто пока не положил на лопатки? Разве у вас был такой кузнец, каким считают дядю Идриса? Разве не мой отец берет призы на конных соревнованиях?

– Подумаешь! Не отец твой берет, а кони. И тут началась потасовка.

Так почти каждый день. Но ни разу Солтан не жалуется дома, молча переносит упреки мамы за свою пострадавшую в драках одежду. Наверно, маршал Буденный не дрался, когда был таким, как Солтан, но что делать, если не получается.

Как бы там ни было, но если не считать этих стычек, Солтан переменился в лучшую сторону. А все из-за сабли. Над кроватью Солтана висит портрет маршала Буденного, а пониже – его же фотография среди работников завода. Над изголовьем Солтана отец сделал сосновую полку, и на ней красуется драгоценная сабля. Несколько раз в день Солтан осторожно и торжественно берет ее оттуда и, налюбовавшись вдоволь, кладет обратно.

Школьные товарищи Солтана то и дело приходят посмотреть на подарок маршала.

– Если позволишь подержать шашку, я дам тебе насовсем свои сани, подбитые железом, – скажет кто-то.

– А я дам все свои альчики! – предлагает другой.

– А я – самую большую юлу, – готов третий.

– А я принесу сахару для твоего Тугана, – сулит еще мальчишка.

– Ничего я брать не буду, – сердится Солтан. Одним он разрешает совсем «бесплатно» потрогать саблю, а другим – с условием: если они будут за него дежурить в классе и если девочек не будут трогать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Жеребята тяжело переживали разлуку с матерями, хотя первое время кобылицы находились совсем рядом, за загородкой из жердей. Сначала малыши сбавили в весе, перестали резвиться. Но постепенно они стали приходить в себя, начали есть: видно, раны уже болели меньше.

Туган, казалось, уже забыл своих родителей. На жеребят он не обращал внимания. Ему стал нужен только Солтан. Жеребенок запомнил, что Солтан всегда идет сюда по одной и той же улице: Абдул не раз замечал, как Туган, прервав кормежку, устремлял взор именно туда и гадал: Солтан ли показался вдали или кто другой? Солтан спешил угостить его сахаром, но Тугану дороже сахара была ласка: он тыкался в ладонь мальчика головой, желая, чтобы Солтан погладил его. И сразу веселел, преображался. Стоило в это время подойти кому-нибудь другому, как жеребенок настораживал уши и копытца его задних ног готовы были нанести пришельцу ощутимый удар.

Солтану не надоедало играть с ним. Особенно нравились обоим догонялки: Солтан начинал убегать, а жеребенок мчался за ним, легко обгонял и становился поперек дороги Солтана. Нравились им и прятки: Солтан прятался и двукратно свистел, а Туган должен был безошибочно определить, где искать друга. Он становился там и ждал, недоуменно поводя глазами и навострив уши. Солтан моментально выходил из укрытия и кидался на шею Тугану.

Солтан в свободное от школы время кормил косячок жеребят, гонял их на водопой. А главное, он следил, чтобы Туган был всегда ухожен: чистил его шерсть мягкой скребницей, вытирал белоснежное тело влажной тряпкой, гриву расчесывал материнским гребешком. Все это нравилось Тугану.

Для жеребят культурной группы, да и для других, началась новая жизнь. Разработан для них специальный рацион кормления. Ведь еще когда они были под матерями, осенью, а трава начала подсыхать и молоко кобылиц – уменьшаться, жеребят понемногу подкармливали, приучая их к «взрослой» еде.

Постепенно начались и оповаживание, обтяжка – обучение жеребят.

С разрешения отца, который уже работал тренером, Солтан начал заниматься обучением Тугана. По сравнению с другими жеребятами Туган был немного «грамотным» – он знал призывную команду своего друга. А прочих жеребят надо было приучать даже и к этому, к тому, чтобы они знали своего хозяина. Были также бестолковые малыши, которые вообще пугались любого человека, дичились всех.

Учение началось. Солтан положил в рот Тугану кусок сахара и приготовил недоуздок. Пока жеребенок расправлялся с гостинцем, Солтан тихо,

мягко надел – впервые! – на его голову недоуздок. Жеребенок, казалось, не заметил этого. Но когда Солтан, потянув ремень, хотел повести Тугана за собой, такое началось! Солтан думал, что у него отнимется рука: Туган кидался во все стороны, во что бы то ни стало хотел высвободить голову из недоуздка. Глаза его, такие красивые, черные глаза, были страшны и налились кровью. Любой ценой он хотел остаться свободным! Солтан растянулся на земле, не в силах удержать повод. А Туган, вырвавшись на свободу, помчался в дальний угол конюшни и стоял там, приняв злой, дикий вид.

Солтан поднялся без обиды на Тугана, но с обидой на себя. «Я на целых восемь лет старше него, а дал малышу победить себя!» – думал он с досадой и оглянулся по сторонам, боясь, нет ли свидетелей его позора. Как хорошо, что все заняты своими жеребятами! Отец Солтана быстро отвел взгляд и сделал вид, что ничего не заметил.

Солтан подошел к нему. Тот крепко держал за недоуздок карего жеребенка. Железная рука у отца! Жеребенок будто знал, что ему не вырваться, и поэтому сразу смирился, дрожал всем телом.

– Ты чего хотел? Как там твой Туган? – равнодушно спросил отец, не глядя на сына.

– Он вырвался... – признался Солтан.

– Поймай, – просто ответил отец.

Солтан чуть не спросил: как? Хорошо, что это слово не слетело с губ. И так понятно: как можешь, лови. И Солтан вернулся к Тугану, белеющему в дальнем углу среди жеребят.

Туган уже набрался жизненного опыта и недоумевал: почему люди стали обижать его? Разлучили с матерью... Сделали больно, прикоснувшись к его телу чем-то жгучим... На голову, на его ни в чем не повинную голову надели что-то неприятное... И это сделал сейчас человек, которого он любил больше всех людей и коней на свете, который был его единственным другом!

Туган с недоверием, даже с ненавистью смотрел из своего угла на приближающегося к нему мальчика.

Солтан шел медленно, с безразличным видом. Но Туган понял, что он подкрадывался, и это особенно не понравилось малышу, потому что Солтан обычно к нему так не подходил, а всегда мчался радостно, бегом.

Солтан стал неподалеку от Тугана. Тот смотрел на него косо, недоверчиво, не сделал ни шагу навстречу, уши навострил и ждал, готовясь к борьбе. Солтан шагнул к другу, но жеребенок отпрянул и умчался в другой конец конюшни.

Солтан решил дать время жеребенку, чтобы он мог забыться, а сам стал присматриваться к другим табунщикам. Ну что ж, у них тоже не сразу получается, вон один тоже упал и выпустил жеребенка... У отца-то не вы-

рвется! Он уже вдел в недоуздок чембур* и привязал его конец за кольцо привязи. И жеребенок не протестует, стоит смирно.

Солтан снова пошел к Тугану, протягивая ему сахар, но Туган только покосился на лакомство, а подойти и не подумал. Тогда Солтан молнией метнулся к жеребенку и успел схватить недоуздок.

Оба закрутились вихрем, но теперь никакая сила не смогла бы оторвать Солтана, схватившего недоуздок двумя руками, от Тугана. Жеребенок подпрыгнул, на миг оторвал от земли Солтана, мотая головой во все стороны. Но отделаться от укротителя он уже не мог.

Абдул издали одобрительно наблюдал эту картину – пусть учится, думал он о сыне, хотя был готов прийти на выручку, если понадобится.

Борьба Солтана и жеребенка длилась довольно долго. Первым устал Туган. А может быть, он просто решил уступить.

Когда, заметив, что борьба кончилась, Абдул подошел к ним, сын все еще держал судорожно обеими руками недоуздок и посмотрел на отца невидящими глазами; пот омывал лицо мальчика, черкеска его была на спине мокрая.

– Молодец, – коротко сказал отец, перехватил недоуздок и повел дрожащего Тугана к привязи. – Главное ты уже сделал, а привязать Тугана надо вот так, смотри.

Отец показал, как это делают, привязал жеребенка у пристенной кормушки, где уже был корм.

Время шло к обеду. Отец и сын направились домой совершенно усталые. Солтану было приятно, что он все-таки сумел укротить Тугана, но, с другой стороны, он боялся, что их дружбе теперь придет конец.

Его размышления прервал отец:

– Чем породистей лошадь, тем тоньше и сложнее у нее характер, а значит, и работать с ней трудней, надо искать к ней особый подход. Вот вы с Туганом были друзьями... Я говорю «были», потому что он сейчас видит в тебе врага; ты посягнул на его волю. И тебе надо будет снова завоевать его доверие, но уж если завоюешь, то это навеки! Он навсегда станет твоим верным другом...

– А как это сделать?

– Я думаю, ты уже это умеешь: лаской, заботой, вниманием. На все это нужно, правда, время. Я боюсь, как бы у тебя в школе дела не пошли худо, – высказал Абдул свои опасения.

– Отец, за мои уроки не бойся. Я буду успевать. Надо же для маршала готовить настоящего скакуна, правда?

«Вот как! Он решил Тугана готовить для маршала...» – подумал Абдул.

...Туган не дотрагивался до корма. Хотелось вырваться на волю, он несколько раз попробовал сделать это, но не тут-то было – чембур крепок,

* Чембур — длинный ремень

как стальная цепь. И жеребенок затосковал. К концу дня он стоял уже почти без движения, понурив голову. Из глаз его медленно стекали слезы.

Вот в таком состоянии и нашел его вернувшийся с обеда Солтан.

Увидев Солтана, Туган отпрянул назад, насколько позволял чембур. Когда Солтан попробовал погладить его, жеребенок затрясся и стал метаться, но все же мальчик не переставал гладить своего любимца и приговаривать:

– Я не хотел тебя обидеть, мой славный Туган... Ты же пока маленький и не знаешь того, что на тебе будет со временем ездить сам маршал, и я должен тебя к этому готовить. Вот и слушайся... Я же люблю тебя, дурачок!

Солтан почувствовал, что жеребенок сдается: Туган слегка повернул в его сторону голову и повел ухом, как бы стараясь понять слова.

Это уже было началом примирения.

Так в течение десяти дней жеребята проходили обучение: привыкали к недоуздку, были на привязи, за исключением тех минут, когда Солтан и другие ребята, которые взяли шефство над жеребятами, водили своих питомцев на прогулку.

Теперь Туган соглашался, хоть и настороженно, признавать Солтана, держал голову спокойно, когда мальчику приходилось снимать и надевать недоуздок.

Наконец жеребят вывели обучать аллюру.

Это был морозный день, снег блестел на солнце так, что глазам было больно. Вывели всех жеребят. Возглавлял шествие верхом на своем коне Абдул. Солтан и его школьные друзья, несущие шефство над жеребятами, тоже верхами, держались по сторонам табунка.

Абдул ехал к водопою шагом, за ним двигались неторопливо и жеребята. После водопоя им дали некоторое время побродить, чтобы они надышались свежим воздухом.

– Ну, а теперь начнем приучать их к аллюрам, пусть укрепляют мускулатуру! – сказал однажды Абдул ребятам.

На этот раз он двинулся к водопою легкой рысью. Резво бежали за его конем жеребята.

Настал день, когда жеребят стали обучать галопу. Они были очень рады тренировкам, удивительно смышлено ухватывали повадки и темп бега коня, на котором скакал впереди Абдул.

...Туган быстро рос, повеселел, мускулы переливались под его тугой кожей. Он уже умел давать ножку, чтобы Солтан мог в один и тот же день каждого месяца делать «раскрючовку» – расчищать ему копыта. Такая процедура жеребенку нравилась.

Шерсть его блестела, как атлас, грива становилась все шелковистее. Очень заботливо холил Солтан своего питомца.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

До недавнего времени Абдул обычно сам ухаживал за домашним скотом: вставал чуть свет, ложился поздно, но зато каждый во дворе получал свое вовремя. Только кур Абдул никогда не кормил, считая это недостойным для мужчин занятием.

Теперь вся эта работа перешла к Солтану.

Вот и сегодня он встал рано, причем проснулся сам. Сначала вывел корову из сарая и привязал ее, чтобы мать могла подоить. Задал ей зеленое душистое сено. С отцом накосили!

Овцам дал корм в яслях под навесом, куда «проклятый» баран и не думает подойти, а ждет, пока Солтан вынесет Медному Казану варево и выльет его в деревянное корыто. Они будут завтракать вдвоем, но охотно примут в свою компанию Серого и петуха.

Марзий вынесла кукурузу и высыпала курам. Кинулись к ней также баран и ишак, чтобы слегка закусить перед завтраком. Впрочем, Серому Солтан вынес еще и разрезанную на мелкие куски тыкву. Ишак ее любит, а Медный Казан поглядывал с презрением: как можно есть такую гадость? «Можно!» – считает петух. Он поклевал желтое мясо тыквы, баран тоже с аппетитом попробовал ее.

Убирая в хлеву, Солтан услышал знакомую музыку кузнеца Идриса, звонкий стук молота по наковальне. Одновременно донесся с минарета мечети призыв муэдзина к утренней молитве. «Значит, уже семь часов», – понял Солтан.

Руки кузнеца Идриса, вооруженные молотком, способны творить во время тяжелого труда настоящую музыку. Что ни удар по наковальне – новый звук, так и нарастает мелодия. В Аламате говорили, что самые искусные певицы аула слагают свои лучшие ийнары* не иначе, как по мелодиям кузнеца.

Без этих мелодий не могли обойтись не только девушки, но и старая Даум. Как только утром рано кузнец начинал свою работу, из расположенной напротив сакли выходила Даум, поднималась на крышу, устраивалась у глиняной дымовой трубы, вытаскивала прялку-вертушку и начинала прясть свою пряжу. Она уверяла всех, что под «музыку» кузнеца ей работается легко, а главное – больше пряжи получается за день…

С чувством гордости за выполненную по хозяйству мужскую работу Солтан отправляется в школу. Она находится в центре аула, на Главной улице, двор её огорожен нарядным штакетником и обсажен высоченными пирамидальными тополями.

Главная улица недаром называется Главной, ее протяженность – пять километров. На одном конце раскинулся конезавод имени Буденного, а

* Ийнар – лирическая песня

другим концом улица упирается в невысокую гору, покрытую хвойным лесом. Улиц и переулков в Аламате много, но Солтану кажется, что вся жизнь аула течет по Главной. Если девушке справили новый наряд, то она обязательно выйдет в нем на Главную улицу, глядя по сторонам: заметили ли люди, особенно парни, как красив наряд? И девушки пусть заметят, умрут от зависти.

Из переулка сюда, на Главную, выскакивает всадник на лихом коне, гарцует вовсю, хочет, чтобы любовались им, хотя и боится, как бы кто не сглазил ему коня.

Солтан идет быстро, идет в школу по Главной. Матерчатая сумка с тетрадями и учебниками висит на боку. Снег хрустит под чарыками из крашенной в черный цвет воловьей кожи, их шил отец. Белая овчинная шуба перетянута поясом с серебряной насечкой. Кучерявые волосы выбиваются из-под мерлушковой шапки, лицо разгорячено, потому что шагает Солтан военным шагом, размеренно размахивая руками.

– Здорово, хлопец, – шамкает дед Даулет, возвращающийся на своем осле из леса с дровами.

– Здравствуй, дедушка! А кузнец уже простучал свою песню! – говорит Солтан, давая понять, что дед опоздал на молитву.

Дойдя до дома Шайтана, Солтан пронзительно свистнул, друг выскочил со двора, и они побежали к школе вдвоем.

Вон идут по Главной три женщины, нарядно одетые, с полными плетеными корзинами.

– Моя мама тоже собирается на свадьбу, уже хычыны испекла, – говорит Шайтан и объясняет другу: – Где-то рядом с домом Кривой Талии сегодня свадьба, надо же поздравить молодых со счастьем!

Бывают дни, когда в таких же корзинах женщины несут «горькую еду» – это они идут в дом, где кто-то скончался. Все новости – и радостные и печальные – можно узнать, если пройти по Главной...

Мальчишки, которым надо идти в школу только во вторую смену, пока свободны и вовсю катаются с горки, оглашая аул шумом, кувыркаясь в снегу вместе с санями.

Крыши всех домов в ауле Аламат сейчас белы от снега и одинаково нарядны и те, что крыты красной черепицей, и те, что небогато крыты дранкой, как дома Солтана и Шайтана. Есть в ауле и сакли под земляными плоскими крышами, как у бабушки Даум.

До самого разгара весны снег здесь, в Аламате, будет лежать, как и лежит, потому воздух в предгорье всегда разреженный, стойко морозный. Полезен этот воздух для людей. Лица у них такие свежие, здорового цвета.

По пути в школу и из школы непременно увидишь на Главной хоть какое-нибудь событие, а то и сам поучаствуешь в нем.

Конечно, не назовешь событием, что на крыше дома Кривой Талии сидит черная ворона. Но вот когда ребята поравнялись с домом, из переулка вышла женщина, и в это время ворона каркнула три раза.

– Чтоб это был твой последний крик, проклятая тварь! – растерянно остановилась женщина. – Чтоб ты до вечера не дожила, чтоб потомство твое исчезло с лица земли!

Выругав ворону, женщина повернула обратно, потому что теперь все равно пути нет, не сбудется то, ради чего она шла: накаркала неудачу, а то и беду ворона. А та сидела себе на высоте и наблюдала со злорадством.

Шайтан тотчас вытащил из сумки рогатку, выстрелил. Метко! Птица скатилась во двор... «Не жалко, если она предвещает людям горе»,— подумал Солтан.

А вон тихопомешанная Джулдуз выбежала из одного двора и юркнула во двор к «А».

– Как ты думаешь, Джулдуз успеет за день позамыкать двери всех домов на Главной улице? – поинтересовался Солтан у друга.

– Как бы не так! Даже десять Джулдуз и то не успеют за день! Наша Главная улица, э-э-э... Да таких длинных улиц нигде нет, кроме Москвы! Домов на ней не счесть...

Никто не мог отучить Джулдуз от её странной привычки: она вставала чуть свет и, как бы боясь не успеть, закрывала снаружи засовы на чужих дверях. Бывало, семья еще спит, а когда просыпается, дверь открыть не могут. Сколько разных историй случалось из-за этого: дед Даулет не мог пойти в мечеть на утренний намаз; девушки и парни, договорившись о свидании, не могли вовремя явиться на условленное место; ученик опаздывал в школу. Сидят люди взаперти и ждут, пока кто-нибудь из соседей не догадается выручить.

Джулдуз ни с кем не разговаривала, хотя могла говорить. Она всегда ходила озабоченная: где еще остались незапертые двери? Увидев, что Джулдуз торопливо вышла со двора «А» и юркнула в другой, Шайтан сказал с завистью:

– Вот счастливая эта «А», ей сегодня не попасть из-за Джулдуз в школу!

Он не успел сделать домашние уроки, потому что выполнял с отцом срочный заказ на стулья. И теперь шел, переживал, что ему достанется от учительницы.

Чего только не насмотришься, пока идешь по Главной улице Аламата!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Настала весна 1938 года. Казалось, она еле пробивает себе дорогу, никак не вырвется из когтей все еще жгучего холода.

А весны ждал весь аул: сено для скота на исходе, заготовленные в кадках сыр, тузлук, сбой тоже на исходе, хотя сушеным мясом все еще могли угостить тебя в каждом доме.

По Главной улице, на обочинах которой снег вытоптан прохожими, хмуро бродили выпущенные со дворов ослы, стараясь добыть копытами корешки прошлогодней травы.

Из переулков то там, то здесь выходили на Главную девушки с пустыми ведрами на коромыслах, окликали друг друга и веселой стайкой направлялись к роднику, перебирая сплетни аула. За ними спешили джигиты, ведя своих коней на водопой. Поить коней еще рано, но разве можно упускать возможность свидания с девушкой, которое обычно происходит у родника, если не считать вечеринок и свадеб!

Тишину улицы нарушал только хохот девушек, цокот копыт и лай кавказских овчарок. Если нет поблизости чужих людей, то овчарки готовы от скуки лаять на кур в собственных дворах.

Быстро теплело. Снег на крышах домов, на солнечной стороне, уже растаял. Горы за аулом тоже стали пестрыми – снег местами лежал, а местами уже обнажились, темнели голые плосковатые верхушки холмов. То там, то тут у берега речушки женщины полоскали белье, временами грея покрасневшие от холода руки, засовывая их по очереди за пазуху.

Завод привольно раскинулся на северной окраине аула. Его служебные здания, большей частью двухэтажные, выделялись тем, что все они были построены из жженого красного кирпича. Огромные длинные конюшни, левады, разные подсобные строения, здания ветеринарно-зоотехнической службы – все это занимало большую площадь, а вокруг были свободные земли, куда выгоняли коней, выводили жеребят на пейс.

Завод имел свой клуб, куда молодежь ходила вечерами смотреть то кино, то самодеятельные постановки. Ходили, как правило, только юноши, а девушкам родители разрешали бывать в клубе редко, да и то большой группой подружек или в сопровождении родственников.

Солтан и Шайтан вечером тоже пошли в кино. Этот фильм они смотрят вот уже третий раз. Картина называется «Красные дьяволята». И каждый вечер, вернувшись домой, Солтан рассказывает и рассказывает матери об этом фильме.

А начнет засыпать в своей постели, ему все грезится, что один из «красных дьяволят» – это он сам, Солтан Абдулович, который может ездить на коне лучше даже, чем «красные дьяволята». К тому же у Солтана есть Туган и есть сабля, подаренная самим Буденным!

Как ему не терпится, чтобы скорее началась, наконец, седловка Тугана. Но надо ждать до осени! Долгие месяцы надо ждать... Летом Туган опять уйдет в горы на пастбище, на этот раз в Кяфар-Огур, это Солтан знает. Но возьмет ли отец с собой и его, Солтана? Отец как-то обмолвился в разговоре с матерью, что мальчик подрос, пора ему взять летние хозяйские заботы на себя. А это значит работать на сенокосе, ухаживать за огородом, возить на ослике дрова из леса для зимы. Да мало ли по дому работы для мужчины!

Одна есть надежда – вдруг Тугана оставят на лето дома, на заводе. «Вот бы я ухаживал за ним», – мечтает Солтан.

* * *

Не сбылись надежды... Солтан остался дома, а Тугана увели в горы!

Осиротевший Солтан вынужден на ишаке Богатыре ездить каждый день в лес и привозить по полной тележке сухих сучьев. Это – пока начнется сенокос. Всеми своими мечтами и мыслями Солтан с Туганом, а на самом деле каждый день с упрямым, медлительным ишаком!

Тугану же в это время море было по колено: прекрасные пастбища Кяфара словно опьянили жеребят, они безудержно резвились, росли не по дням, а по часам, набирали вес, мужали.

Абдул внимательно наблюдал за Туганом. Еще по пути на пастбище жеребенок недоверчиво приглядывался к табунщику: иногда отставал, поджидал Абдула и, убедившись, что это чужой, а не его друг Солтан, отрывался от земли всеми четырьмя ногами одновременно и летел прочь, к голове табуна. На Кяфаре жеребенок тоже не раз поднимал голову от душистой травы и глядел, глядел на табунщика грустными глазами, смутно чувствуя в нем черты своего маленького друга.

Однажды Абдул попробовал подозвать его, по примеру Солтана, двукратным свистом. Жеребенок радостно встрепенулся, кинулся было к табунщику, но, сделав несколько прыжков, разочарованно замер и стоял как вкопанный: он чутьем понял, что свистнул чужой.

В другой раз Абдул попробовал приманить его сахаром, но Туган окинул табунщика презрительным, как показалось Абдулу, взглядом и отошел. Абдулу даже стало обидно.

За все лето Туган так никого и не признал. Среди сверстников-жеребят он тоже не завел друзей, а просто со всеми был в хороших отношениях. В его сердце жила преданность одному другу – Солтану. Его белоснежное тело потемнело от пыли, на кончике хвоста и в гриве Абдул иногда замечал зацепившийся репейник и жухлые травинки. Замарашкой стал Туган! Абдул мог бы, конечно, заарканить и вычистить жеребенка, но не хотел этого: пусть гордое сердце Тугана не знает печали, а аркан непременно его обидит.

Обо всем этом, отвечая на письма сына, Абдул писал ему, писал о его новых повадках, о том, что жеребенок помнит Солтана, никого другого не признает, писал, что Солтан удивится, как повзрослел и набрался резвости, сил его питомец.

Мальчик с нетерпением ждал возвращения табуна, считал недели и дни. И все же он прозевал приезд отца – спал крепким сном, когда Абдул ночью приехал домой, разместив табун, пригнанный с гор.

Проснувшись утром, Солтан увидел, как отец и мать возятся у огромной деревянной чары, в которой лежало грудой свежее мясо. Он одним прыжком оказался рядом с отцом и чуть было не кинулся к нему на шею, но вовремя опомнился и солидно сказал:

– С приездом, папа.

– Спасибо, спасибо, дорогой, – ответил отец, засияв, и крепко сжал загорелой рукой плечо сына.

Солтан только теперь заметил большую турью голову, лежавшую рядом с чарой.

– Папа! — вскрикнул он, и в этом крике были и негодование в адрес охотника, и жалость к гордому туру, боль за него.

Отец медленно поднял голову от чары с мясом, отбросил окровавленный финский нож и, отирая руки, утешающе посмотрел на сына.

– Твой отец, сынок, никогда не убивал даже птицы. Убивать вольных и ни в чем не повинных животных – это не мужество, а бессердечие. Чтобы сохранить жизнь таким, как этот тур, я преследовал хищников.

– А эта турья голова? – хмуро прошептал Солтан.

– Он погиб сам, сынок. Это был вожак стада, которое паслось на высокой скале, когда подкралась волчья стая. Вожак бесстрашно пошел один на волков, чтобы дать уйти стаду, а потом бросился со скалы и погиб. Когда я подоспел, тур был уже при последнем дыхании, оставалось прирезать его...

– Теперь не вернете ему жизнь, – вмешалась мать. – Сынок, одевайся и разнеси мясо соседям, пусть каждый отведает то, что есть у нас. Отец Солтана, отложи, пожалуйста, для деда Даулета самый почетный кусок – ведь дед самый старейший!

И Солтан начал разносить хоншулук* .

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На конезаводе началась самая интересная, самая трудная для Солтана и для Тугана пора – седловка. Жеребятам культурной группы было уже по

* Хоншулук – дословно: соседник. У карачаевцев есть обычай: если в доме появляется что-то из еды такое, чего нет в это время у соседей, то каждого угощают

полтора года, и надо было приучать их к седлу, но не сразу. Своему подшефному Солтан теперь надел не только недоуздок, но уздечку с удилами. Ох, как это не понравилось Тугану! Еще бы, кому охота, чтобы во рту был противный постоянный вкус железа! Туган зло грыз удила, мотал головой, глаза его становились недоверчивыми, никакие ласки Солтана не успокаивали его.

Но уступать Солтан не имел права. Хочешь – не хочешь, надо навязать жеребенку свою волю. Туган смирился, он не артачился, когда в один из дней Солтан пристегнул к уздечке поводья и вывел Тугана в леваду. Это тоже было непривычно для Тугана, но он покорно следовал за своим вожаком, с любопытством переживая новые ощущения.

В леваду вывели сразу шесть-семь таких же жеребят, отпустили их и начали гонять по кругу.

Абдул стоял посредине загона – левады. Он сильно хлестнул по воздуху бичом, раздался резкий щелкающий звук. Жеребята, задрожав от испуга, разбежались, прижались к изгороди. Абдул защелкал кнутом по земле – жеребята сгрудились, потом снова разбрелись. Постепенно привыкая к ненавистному свисту и щелканью бича, они снова сошлись в табун и пошли по кругу: сначала шагом, затем рысью, а под конец помчались галопом. Туган, развеселившись, летел по леваде, будто и не касаясь ногами земли.

Жеребят Абдул гонял, не давая им передышки. Солтан неотрывно следил за Туганом и вспоминал рассказ отца о том, что карачаевцы в старину обычно не держали пестрых или светлых, как Туган, коней, потому что в набег за табунами чужих племен (а такие набеги тогда считались признаком храбрости и мужества) на белом коне не пойдешь: он слишком заметен при ночных вылазках.

Жеребят загнали до седьмого пота и только потом завели в конюшню.

Отец дал Солтану чистый соломенный жгут, чтобы обтереть Тугана, и сказал:

– А потом хорошенько массируй его, разомни ему мышцы. Это помогает правильному кровообращению, улучшает аппетит.

Туган с удовольствием подставлял Солтану бока. Ему пришелся по душе массаж. Потом он охотно отозвался на команду «Ногу!», потому что в копыта набрались опилки и солома, которыми была устлана левада.

Гонка по леваде шла несколько дней, но жеребят ожидало и новое испытание: сама седловка. Вот уж этого Туган не хотел терпеть! Почувствовав на спине какой-то груз – впервые в жизни! – Туган ошалело взбрыкнул, попробовал куснуть луку, чуть не свернув себе при этом шею. Но седло лежало на спине как влитое, подпруги подтянуты. Седло было без стремян, чтобы жеребенок не испугался.

Пришлось Тугану терпеть и это. Солтан вывел оседланного Тугана из конюшни и начал гонять его по манежу на корде. Придет время, будет в этом седле и седок!

Все эти тренировки проводились неторопливо, с учетом характера каждого жеребенка. Солтан хорошо знал характер своего ученика и брал Тугана лаской. Грубый окрик, малейшее лишнее движение плетки в воздухе выводили Тугана из себя.

К декабрю Туган уже свыкся с седлом и даже, кажется, не заметил, что на седло водрузили небольшой мешок, заполненный опилками. Через несколько дней положили мешок потяжелее этого, а скоро и такой, который был близок к весу Солтана.

Наконец настал долгожданный день. Это было в конце января 1939 года.

Солтан на всю жизнь запомнил этот день, потому что впервые сел на Тугана. Хотя Солтан был уже неплохим наездником, благодаря Шайтану и коню его отца, он сел на Тугана с трепетом и волнением, будто впервые в жизни едет верхом. Такого счастья он в жизни еще не испытывал: сегодня он сел на самого красивого, высокопородного, любимого всем заводом юного жеребца!

Он сел в седло. Два конюха стали по сторонам Тугана и повели его на растяжках. Такая тренировка длилась не один день; потом уже можно было обходиться без растяжек – Тугана повели не два конюха, а один.

И наконец настал день, когда Солтан управился с конем сам! Один! Несколько других мальчиков тоже ехали самостоятельно. Шли молодые кони за старой лошадью-поводырем, на которой сидел Абдул.

Жеребята, как и в первый день езды с седоками, недоумевали: их все еще смущали ноги седоков, ведь они привыкли к «седокам» без ног – мешкам. Но жеребята быстро свыкались с наездниками.

Наездникам тоже было с чем свыкаться. Солтан только теперь начал постигать всю сложность искусства коневода. Оседлать коня – полдела. Приходилось делать многое для отработки дыхания Тугана, разработки его связочного аппарата, развития мускулатуры.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Май 1940 года. Каникулы в школе. Солтан собрался ехать с Туганом на Пятигорский ипподром, чтобы подготовиться к рядовым скачкам. Все готово к этой поездке, но отец и сын вдруг вспомнили о матери: ведь она ни за что не отпустит сына от себя на несколько месяцев, хотя Пятигорск совсем рядом.

– Что же придумать? – спросил Абдул скорее себя, чем сына, сидящего на скамейке в манеже.

– Что придумать? – переспросил Солтан и неуверенно сказал: – Я уже давно придумал...

– Ну-ка...

– Скажем ей, что меня посылают учиться на фельдшера! Мама же мечтала об этом!

– Придумал! – огорчился отец. – Кто же едет учиться в мае, да еще с незаконченным семилетним образованием?

– Откуда маме все это знать? Она поверит...

– Но ведь все всплывет потом!

– Конечно! – беззаботно ответил сын. – Но ты постепенно подготовишь к этому мать!

– Ох, не переношу я неправду... Вы с матерью меня с ума сводите – она чрезмерной любовью к тебе, ты чрезмерной любовью к Тугану! А я между вами. Уж скорее бы ты стал мужчиной! Я имею в виду – взрослым стал...

Дома Солтан убедился, как трудно отцу начать разговор с матерью: он тянул, выходил во двор, возвращался, молчал, вздыхал. Мать заметила что-то неладное и спросила напрямик:

– Отец мальчика, у тебя какие-то неприятности? Что же ты помалкиваешь? Говори!

Солтан с нетерпением ждал, что ответит отец, но тот почему-то схватился за топор и напильник, яростно начал заниматься делом и, не поднимая глаз от работы, процедил:

– Слушай, дочь Урусовых, нашему Солтану выпало счастье: его посылают учиться на доктора. – Отшвырнув топор и напильник, он громко, как глухому, повторил: – Понимаешь, на доктора!

– Отец мальчика, ты разве не рад этому? Почему так странно говоришь со мной?

– «Странно, странно»! При чем тут «странно»? Так говорю потому, что тебя боюсь, дочь Урусовых, тебя! Скажешь вдруг, что не хочешь отпускать мальчика от себя! – перешел в наступление отец.

– Что ты! – удивилась мать. – Как можно не отпускать, если наш сын едет, чтобы стать ученым? И не просто отпускать надо, а нужно готовить той – праздник, угощение! – Пригорюнившись, она тихо спросила: – А когда уезжает наш мальчик? Ведь надо ему и новую черкеску сшить, и шапку заказать из серого каракуля, и сапоги скрипучие заказать. А рубашку белую с черными нитяными пуговицами я ему уже сшила, но не давала пока надевать.

– Это все можно и потом,— поспешно сказал Абдул жене, – я потом ему отвезу сам. Ждать он не может, ехать ему через неделю. Да, кстати... Надо ли той устраивать? Лучше уж после окончания учебы, когда он станет доктором...

– Я никогда не думала, что глава нашего дома такой скупой! Разве после окончания учебы мы не сможем еще один той устроить? Не-ет, надо сейчас же начать готовиться, оповестить родню, друзей, соседей. Если ты для единственного сына жалеешь барашка, то я не пожалею и бычка!

Она встала, вытащила из кованого сундука серую каракулевую шкурку, помчалась к скорняжному мастеру. Отец и сын молча переглянулись, затем отец сказал:

– Воллагий, да биллагий, да таллахий, мать права: хотя она и не знает правды, но ты ведь отправляешься, чтобы стать настоящим мужчиной, ты будешь состязаться в мужестве, так разве это не следует отметить и тоем с бочонком бозы, и новой одеждой? Правда, бычка трогать незачем, обойдемся барашком. Но той сделаем, хлопец!..

Ровно через неделю после этого разговора двор заполнили родня, друзья, соседи. Они расселись за столами, установленными под огромной белоснежной яблоней во дворе. На столах красовалась посуда со всевозможной едой, рядом стояла бочка, полная свежей, бурлящей бозой. Молодой человек разливал ее деревянным черпаком в кружки и деревянные миски. Для тех же, кто любил кое-что покрепче, на столах стояли бутылки из магазина.

Тамада, крепкий белобородый старик, встал с места, обеими руками поднял традиционный деревянный гоббан – чашу, наполненную бозой. В знак уважения к нему встали все остальные.

– Джанымла, кёзюмле!* — начал он. – Хорошо, когда люди собираются по такому счастливому случаю. Дай Аллах, чтобы наши аульчане собирались только по таким случаям. Теперь в ауле одним дохтуром станет больше!

– А за что же он будет тогда казенные деньги получать? – засмеялся кто-то.

– А за то, что будет оберегать нас от болезней, – нашелся старик. – Это называется про-фи-лак-тика!

Старик приложился к гоббану, и, пока он не поставил на место осушенную чашу, никто не пил и не садился.

Абдул чувствовал себя, как на иголках. Тем, кого приглашал сам, он говорил правду, что провожает сына на ипподром, и просил помалкивать об этом. Но кое-кому приглашение на той передавала жена, и уж она-то, конечно, похвасталась, что сын едет на учебу. «И зачем я взялся в мои-то годы лукавить? – сокрушался Абдул. – Ведь у неправды короткие ножки!»

И в самом деле, недалеко ушла неправда, быстро открылась... Солтан тоже предчувствовал это. Одетый во все новое – в белую с черными нитяными пуговицами рубашку с высоким воротником, перетянутую поясом с позолоченными бляхами, в черных блестящих скрипучих сапогах, в серой каракулевой шапке с белым суконным верхом, – сидел Солтан рядом с Шайтаном, страшно переживая: не проговорится ли кто-нибудь? Шайтан, конечно, знал всю правду. Его так и подмывало объявить её всем. И совсем не потому, что он хотел подвести Солтана. Нет, для друзей он всегда

* Джанымла, кёзюмле — души мои, глаза мои

был железной стеной! Ему просто хотелось бы посмотреть, какой переполох поднимется за столом! Шайтана ведь всегда искушает бес... Но желание желанием, а дружба дружбой, и потому Шайтан помалкивал.

Может быть, все прошло бы гладко, потому что гости увлеклись едой, напитками и разговорами о всяких сельских новостях, если бы не Мазан. Он знал правду, его приглашал сам Абдул. И он обещал помалкивать, но от выпитой бозы и нахлынувших чувств забыл об уговоре.

– Люди, – поднялся он, – горец без коня – это не горец, горы без коня – тоже не горы. Они созданы друг для друга, горец должен отлично знать коня, потому что конь воспитывает характер мужчины, конь...

– Чего это он все о конях говорит? – спросила Марзий у сидящего рядом юноши.

– А как же не говорить о коне в такой день, тетя Марзий? Я бы даже самого Тугана посадил сегодня за этот стол. Да, да! Прикажи ему Солтан, он бы сел, – отшутился тот, чтобы не проговориться.

– Так вот, дорогие люди, – продолжал Мазан, – в такой важный для Солтана день, конечно, надо говорить именно о коне, а не о какой-то там профилактике, о которой что-то непонятное говорил нам здесь тамада. Я думаю, что конь для Солтана – это...

Кто-то смущенно рассмеялся. Абдул закашлял. Солтан залился краской и с тревогой смотрел на мать. А Мазан совсем разошелся:

– Выезд наших ребят на ипподром надо всегда отмечать вот так, как сегодня: ведь это большой день в жизни человека – он едет за славой. Но завоеванная им слава будет принадлежать не только ему, а нам всем, всему аулу. Люди будут говорить: «Вы знаете, что знаменитый наездник Солтан Абдулович Лепшоков – выходец из аула Аламат? А его знаменитый конь Туган родом с конезавода имени Буденного, и сам Буденный подарил этому парню саблю!» Я бы зарезал не барашка, а быка для такого тоя!

– О чем это он говорит, люди? – воскликнула Марзий и начала искать глазами пригнувшегося мужа.

– И правда, – подхватил кузнец Идрис, – чего ты завел здесь о конях, если парень едет на учебу? Если не умеешь ничего говорить к месту, то рассказал бы лучше о стульях, на которых нельзя сидеть!

Солтану стало вдруг нестерпимо стыдно перед матерью и жалко отца. Он вскочил с места и звонко сказал:

– Дядя Мазан прав, дядя Идрис! Я еду не на учебу, а на ипподром вместе с Туганом, чтобы стать наездником, участвовать в состязаниях. Разве учиться на жокея хуже, чем на доктора? Мать не захочет мешать мне!

– Правильно, хлопец, правильно! – раздались дружные голоса, и остановившееся было пиршество снова пошло весело, дружно.

Марзий встала из-за стола и юркнула в дом, чтобы наплакаться вдоволь. Сконфуженный Абдул стал незаметно пробираться за ней, чтобы покаяться и утешить ее.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О коне Тугане и о наезднике Солтане к осени 1940 года заговорила вся округа. Можно было услышать даже такое: «Этот наездник на таком коне может перепрыгнуть через Эльбрус. Пока аул Аламат ляжет спать вечером и проснется утром, конь Туган и наездник Солтан успеют объехать шар земной!»

Кто-то пытался доказать, что у Тугана есть крылья, потому-то он быстр, как птица. Другие уверяли, что слышали своими ушами, как Солтан разговаривал с Туганом на каком-то лошадином языке, и что поэтому Туган так хорошо понимает своего наездника, хотя Солтан своему другу говорил одну-единственную фразу: «Будь мужчиной, мальчик!» Солтану при этом казалось, что будто Туган отвечал ему: «Ты тоже будь мужчиной, мальчик!»

Ни один из них двоих нигде не робел и ничего не боялся. По малейшему движению, по каждому взгляду они понимали теперь друг друга.

После обучения с мая по сентябрь Солтан и Туган должны были участвовать в рядовых соревнованиях. На ипподром приехал в этот памятный день чуть не весь Аламат: шутка ли, такое событие! Приехали и старики, и молодые, приехали бывалые работники завода во главе с директором. Конечно, приехал Абдул, но мать Солтана осталась дома в слезах, а на приглашение мужа ответила с горечью и упреком:

– Не могу же я смотреть, как под копытами коней будет погибать мой второй сын!

Расстроенный Абдул сердито плюнул в сторону и быстро выбежал из дома, чтобы догнать отъезжающих. Марзий выскочила вслед и смотрела на пылившую дорогу.

Ей виделось, как со стороны Пятигорска везут по этой дороге окровавленное тело ее единственного сына – ведь и с первым было так. И ведут в поводу белого Тугана, который лишился своего наездника....

Но на дороге показалась лишь громко мычавшая красная корова, бредущая впереди стада. Долго стояла Марзий у ворот, глядя вдаль...

А в это время на трибунах ипподрома яблоку негде было упасть от наплыва людей. У каждого терпение на пределе: «Какой конь возьмет? Скорей бы начинали!»

В программе скачек были указаны имена десяти лошадей-двухлеток, их номера.

Вот кони торжественно выходят на дорожку, идут по ней шагом, а назад, к линии старта, возвращаются легким разминочным галопом-кентром. Стали на старте, выровнялись голова к голове. Жокеи ждут звонка.

Туган выделяется среди своих собратьев и мастью и статью. Он чувствует торжественность момента. Ноздри раздуты, уши торчком, глаза горят нетерпением. Солтану кажется, что мышцы коня натянуты как струны; он похлопывает Тугана по шее; успокаивает, а сердце у самого колотится так громко, что слышит, наверное, весь ипподром.

На мгновение Солтан вспомнил тот давний старт у околицы Аламата, когда он делал свой «заезд» на Сером, на ишаке, и опозорился. Сегодня он не опозорится. Взять себя в руки!

– Будь мужчиной, Туган! – шепнул он и погладил коня. Звонок! Приготовиться!

Стартер взмахнул флагом.

Кони, как пушинки, полетели вперед, чтобы взять дистанцию в тысячу двести метров.

Трибуны загудели, зашевелились. Аламатцы, как и другие зрители, повыскакивали с мест, устремив взгляд на дорожку ипподрома.

Абдул, бледный и беспокойный, то вскакивал, то садился и прикрывал на миг лицо руками, то опять вскакивал, готовый побежать вслед за сыном, но успокаивал себя и зачем-то еще больше затягивал свой и без того затянутый серебряный пояс.

– Ничего, Абдул, немного терпения, – взволнованно сказал директор завода, положив руку на его плечо, а сам не находил себе места.

От его завода в сегодняшних пробных соревнованиях участвует только Туган – значит, ему и доверена честь завода. Коню доверена. И Солтану! Неужели подведут?

Вдруг трибуны ахнули. Кони шли вровень, Туган если и выделялся, то белизной, шел он вроде бы неторопливо.

Но в какой-то миг он легко, словно играючи, вырвался вперед, опередил всех на целый корпус. Казалось, он плывет над дорожкой.

– Вот это конь! – закричал кто-то на трибуне.

Без видимых усилий Туган увеличил разрыв, словно расстелившись над землей.

Финиш!

Публика разом поднялась на ноги, аплодировала, слышались крики: «Ура, Туган!», «Ура, Аламат!»

Сидеть остался один Абдул, затем опомнился, вскочил на ноги и увидел, как сын ведет Тугана вдоль трибун, люди забрасывают их цветами, счастливых, возбужденных...

А Марзий вдруг увидела в конце улицы то, чего страшилась увидеть: вереницу подвод с людьми, множество всадников, а впереди – белоснежная точка. Марзий покачнулась, еле удержалась на ногах и опустилась на скамейку у ворот. Схватилась за сердце, долго не могла смотреть в ту сторону. А когда посмотрела и пригляделась, то ясно различила, что Тугана не ведут по-траурному под уздцы – на нем кто-то сидит. Да, верхом ехал её сын Солтан, а все остальные на почтительном расстоянии от победителя!

Марзий, теперь от счастья, не могла подняться на ноги даже тогда, когда белый конь и всадник в белой рубашке и серой каракулевой шапке стали перед ней.

* * *

Осень 1940 года для Солтана и Тугана была самой щедрой на победы и славу: они участвовали в нескольких состязаниях и каждый раз приходили к финишу первыми. О них пошла громкая молва. Даже с дальних краев приезжали конники, чтобы посмотреть на эту «крылатую» лошадь и попытаться приобрести ее.

Газеты печатали фотографии Солтана с Туганом.

Завод, конечно, не думал продавать Тугана – такой производитель нужен был ему самому. Но при виде каждого приезжего Солтан настораживался. Он бы не вынес разлуки с другом.

Солтан вытянулся, возмужал. А Туган... Пришла его зрелость! К маю 1941 года у него уже был свой косяк, начались его новые заботы: он отвечал теперь за кобылиц, был всегда начеку, белоснежным метеором носился вокруг своего косяка, кого-то наказывал за неповиновение, настораживался при виде любой опасности. Хозяин!

Как всегда, к лету табуны откочевали на альпийские пастбища. На Бийчесын Солтан поехал с отцом, но уже в роли заправского табунщика, а не подпаска.

В один из дней Солтан пас табун сам, отец же остался на кошу, готовил обед. С утра был дождь, но потом взошло солнце, и умытые травы, как бы повеселев, заулыбались синему небу.

Солтан во все горло пел свою любимую песню «С неба полуденного» и расхаживал рядом с табуном в своих кирзовых сапогах, к которым прилипли мокрые травинки. Табун из четырех косяков пасся спокойно под охраной своих жеребцов.

Вдруг лошади шарахнулись в сторону. Солтан еще не понял, в чем дело, а разъяренный Туган уже отгонял огромного волка, бесстрашно оттесняя его от косяков. Волк, видимо очень голодный, вел себя нагло, норовил ворваться в середину табуна, чтобы вцепиться в горло какой-нибудь за-

мешкавшейся лошади. Туган все время следовал за ним и наконец настиг, опрокинул его. Вскочив, тот трусливо помчался с вершины вниз, чтобы укрыться в скалах. Он не ждал, что его будут преследовать.

Но Туган яростно преследовал хищника и перед самыми скалами, не дав ему увернуться, затоптал его насмерть.

Солтан бежал за Туганом, не зная, чем сумеет помочь, и собственными глазами наблюдал его схватку с волком.

Немного постояв над поверженным хищником и убедившись, что тот больше не поднимется, Туган победно заржал, зарысил к табуну, даже не остановившись около Солтана. Солтан заметил большую рану на его задней левой ноге.

Туган, убедившись, что его косяк цел, понемногу стал успокаиваться, но дышал еще тяжело, грозно раздувал ноздри. Он так и не дотронулся больше до травы, без конца оглядывался по сторонам, то и дело обходил свой косяк. Рану на его ноге Солтан перевязал своей нижней рубашкой, предварительно приложив листья подорожника...

Лето на Бийчесыне было в разгаре: дикие пчелы собирали мед; довольные своей жизнью, птицы пели до изнеможения; у прозрачных родников лежали, дожевывая жвачку, овцы; бродили по густой траве сытые коровы, а доярки в белых халатах гремели ведрами, готовя их к полуденной дойке.

Кругом блаженство и покой. А небо, любуясь, смотрело на эту красоту с вышины своими ясными голубыми глазами.

Солтан никогда бы не уезжал отсюда. Но ведь школа... Придет август, и его отправят домой!

Однажды он приехал с луга на кош пообедать, оставив табун у воды. У коша он увидел оседланную лошадь, привязанную за толстую сучковатую коновязь. Да это ведь конь деда Даулета! Но что деду здесь понадобилось, в такой дали от аула?

Солтан торопливо вошел в кош, поздоровался. Гость ответил тихо и грустно. У отца тоже было печальное лицо. У Солтана екнуло сердце: может, что-то случилось с матерью?

Отец глухим голосом сказал:

– Война...

– Это как? – растерянно улыбаясь, спросил Солтан.

– Война, сынок... – повторил отец громко и с болью в голосе. – Аксакал Даулет привез эту грозную весть. Германия напала на нас! Фашисты!

Смешанное чувство охватило Солтана. Войну он видел в кино, и ему очень нравилось смотреть, как дерутся наши, как лихо они бьют белых. Сам он хотел бы воевать, бить врагов! И вот появилась такая возможность... Но сердце охватил ужас, потому что на лицах отца и деда было написано: случилось страшное.

Вдруг на нарах он увидел бумажку, таких бумажек здесь не было, здесь есть только книги и тетради Солтана. Он взял ее и прочел. То была повестка отцу в военкомат. Опять мелькнула мысль о том, что будет интересно: папа будет в такой же красивой форме, в какой ходят в Кисловодске и в Пятигорске военные. Вот бы и ему, Солтану! Но и эту мысль сразу заслонил страх перед предстоящим. Война!

Отец поднялся и строгим голосом сказал сыну:

– Ну, парень, сейчас уеду, мне послезавтра в военкомат, а там и на фронт. А ты... До школы будешь работать здесь с аксакалом, а там – учеба. Весь наш дом и забота о матери на тебе.

Отец вышел. Старик сказал Солтану:

– Вот так, брат... Печальные бумаги я привез твоему отцу и другим джигитам. И надо же было мне дожить до этого! Был бы я помоложе, помчался бы на битву. Ох, и жестокая будет эта война... Вас больше всего жалко – не поживших...

Ночью Солтан не спал. Он слышал, что отец тоже не спит.

Когда забрезжил рассвет, отец поднялся, умылся, оделся и оседлал своего коня. Солтан тоже поднялся, на душе было тяжело, жизнь сразу приняла какой-то тусклый цвет, но Солтан старался держаться. Сейчас он боялся больше всего одного – смотреть в лицо отцу, чтобы не разрыдаться. Как тяжко видеть великую грусть на красивом лице отца!

Если при черной вести Солтан вспомнил кино, представил себе героические схватки, как в фильмах, представил самого маршала Буденного с саблей в руке и на белом коне, то теперь перед глазами стояло иное: отец на смертном рубеже войны и плачущая мать.

Отец слегка перекусил, подтянул ремень, сказал «до свидания» лежавшему на нарах Даулету, взял бурку, башлык и выбежал из коша, Солтан – за ним.

Перед тем, как сесть на лошадь, отец посмотрел на дверь, быстро прижал к себе сына, так прижал, что рукоять кинжала, висящего на поясе у отца, сделала больно руке Солтана. Прижав голову сына к груди, отец резко оттолкнул его от себя и быстро вскочил на коня.

– Будь мужчиной, сынок! – Это были последние слова отца, поскакавшего в аул, не оглядываясь.

Долго стоял Солтан на одном месте, слезы наворачивались на глаза, но он не плакал, сдержал себя. Затем воздух огласил сильный двукратный свист. Солтан звал Тугана, охранявшего в это время косяк неподалеку от водопоя. Тот примчался, стал перед другом, как бы понимая его горе. Солтан прижался к голове Тугана, медленно гладил его.

Вечером он привел табун с луга, сел к очагу. Но разговаривать ни с кем не мог: слова комом застряли в горле, а слезы так и душили. Но

Солтан молчал, стиснув зубы, и говорил себе, что плакать нет причины, ведь отец обязательно вернется, победив врага, вернется скоро, он сильный!

Когда кончили молча ужинать, накормили собак, пригасили жестяную керосиновую лампу и собрались ложиться, Солтан спросил:

– Дядя Даулет, а вы были на войне?

Тот не сразу ответил. Сначала расстегнул все пуговицы бешмета из домотканой шерсти, затем протянул хромую ногу, снял с нее ноговицу и лишь после этого ответил:

– Я гонялся за бандой в двадцатом году, сынок. Бандиты шли против нашей Советской власти, а могли мы им уступить? Против всех врагов устояла наша власть. Иначе и ты был бы сейчас чьим-то батраком, не умел бы даже расписываться, и отец твой тоже был бы батраком. Меня настигла бандитская пуля, раздробила колено. И видишь, старый Даулет теперь не может воевать с Гитлером. Но ничего, есть джигиты на нашей земле! Не переживай, твой отец силен, в нем кровь кипит, беды с ним не случится. Ложись да спи подольше. А утром с табуном пойду я.

...С того дня, как уехал отец, Солтан не имел никакой вести из аула, о войне тоже на Бийчесыне не знали, как и где она сейчас идет: газеты доставлялись сюда только раз в неделю, а радио не было. Солтану не терпелось ехать домой. Казалось, попади Солтан в аул, – и снова будет над головой безоблачное небо, а слух о войне развеется, как кошмарный сон.

Старый Даулет ходил хмурый. Его сына взяли на фронт в первый же день мобилизации. Да и не только о сыне печалился старик, он печалился обо всем Аламате, обо всей стране, на которую свалилась беда.

Однажды Солтан спросил его:

– Дядя Даулет, а таких, как я, могут пустить на фронт?

– Не-ет,– ответил он тихо.– Таким, как ты, теперь здесь надо работать, как следует. Мы коней отменных должны поставлять нашей армии.

– А маршал Буденный уже, наверное, на фронте?

– А как же! Полководец.

– Каких же коней завод отправит на фронт?

– Самых первоклассных. Думаю, уже отбирают.

– Из наших косяков тоже возьмут? И Тугана? – спросил Солтан, только сейчас поняв, что это должно случиться, и добавил решительно: – Если возьмут Тугана, на нем на фронт поеду я!

Это было сказано так твердо, что дед пристально посмотрел на мальчика и не решился ничего сказать в ответ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда Солтан вернулся с пастбища в Аламат, ему показалось, что здесь разучились улыбаться, что собаки перестали лаять, а петухи никогда не умели петь. Прежний веселый шум мальчишек не слышен.

Население Аламата теперь состоит, похоже, только из женщин, детей и стариков. Редко где увидишь мужчину. Тех джигитов, которые так холили коней, гарцевали на них, красовались у родника, ухаживая за девушками, уже не было.

Мать ходила грустная. За два месяца от отца была только одна треуголка, написанная чьей-то рукой, но подписанная каракулями отца. В письме не был указан адрес, отец обещал: «Ждите, напишу».

Вся их жизнь в Аламате теперь – ожидание. И днем и ночью ждут. Глаза целый день устремлены на ворота, на улицу – не идет ли почтальон? Он сейчас в ауле самый долгожданный человек... Пока он еще никому не приносил ужасную весть. Но это продолжалось недолго. Весть такая пришла: одноглазый почтальон, сам не зная того, вручил семье «А» – девочки Мариам – черную весть. И не успел он выйти с их двора, как услышал за собой горестные причитания, плач. Почтальон застыл у ворот, не в состоянии сделать шага ни назад, ни вперед. А соседи уже бежали к этому двору, вбегали в ворота, обходя почтальона, как чумного. Он стоял обгорелым столбом, готовым рухнуть; лицо у Одноглазого потемнело, тело сникло.

С того дня почтальон сделался сам не свой. Вручая письма, он уже знал по конверту, похоронка в нем или послание аламатца. Еще живого... Он, почтальон, стал для Аламата и желанным, и страшным человеком.

Услышав о гибели отца Мариам, Марзий помчалась соболезновать, Солтан – за ней вслед. Большой двор был полон стариков и женщин. Шайтан, растерянный и печальный, тоже оказался там. Они с Солтаном молча сели на сосновое бревно. Женщины навзрыд плакали в доме, старики сидели во дворе, опустив седые головы.

– Что сейчас с нашими отцами...– тихо сказал Шайтан. Солтан не ответил, а вспомнил тот последний день на Бийчесыне, когда с ним прощался бледный, озабоченный отец.

В это время женщины вывели за руки во двор Мариам. Солтан и Шайтан подскочили к бледной, почти потерявшей сознание девочке, кто-то обливал ее лицо водой.

Через некоторое время она открыла глаза, провела рукой по мокрому лицу и увидела своих школьных товарищей, заплакала, причитая:

– А что же станет со мной, а как я буду жить без отца? А где мы найдем его могилу? А отомстили ли за моего отца?

Солтан и Шайтан, переполненные чувством жалости, не могли найти слов, чтобы утешить Мариам.

Уходя со двора, Солтан только и нашелся сказать ей, впервые называя «А» по имени:

– Будь мужчиной, Мариам!

Так первая трагическая весть с фронта потрясла весь аул. Но хорошие вести тоже шли. Такая весть в сентябре прилетела и в дом Солтана! Отец писал, что служит под началом генерала Доватора в кавалерийской части, был легко ранен, но снова в строю. Писал, что с ним ничего не случится, напоминал Солтану, что надо хорошо учиться, работать, помогать матери во всем. Он давал советы, что именно надо сделать по дому к зиме. Это письмо окрылило! Солтан и мать ожили, работа по дому пошла веселее.

Серый служил Солтану отличную службу. Каждый день Солтан ездил на нем в лес за хворостом, за ними всегда гордо шагал «проклятый» баран, еле дыша от жира и своим устрашающим видом пугая встречных, хотя все знали, что вне дома он никого не трогает.

Пока Солтан собирал хворост, баран и Серый дружно паслись на полянке. Солтан приторачивал к ишаку – по бокам – две вязанки хвороста, туго затягивал ремни. Ишак стоял хмуро, не возражая, а у его носа скучал баран, спокойно жуя жвачку и как бы утешая друга. Затем отправлялись домой.

Так Солтан заготовил немало топлива на зиму. Привезет две вязанки дров и бежит к Тугану. А вечером – домашние уроки.

Утром все сначала: чуть свет надо убирать в хлеву, выгонять скот за околицу...

В голове еще одна забота: не покидало беспокойство за сено. Он умеет косить, но когда этим заниматься? Бросать учебу никак нельзя, об этом матери и не заикнешься.

Спасибо, помог семьям фронтовиков завод: с помощью старших школьников завод заготовил понемножку сена и для этих семей.

Без Серого и без «проклятого» барана Солтану было бы скучно заготавливать хворост в лесу. А с ними не соскучишься! Однажды, когда Солтан уже набрал хворосту и собрался погрузить его, он увидел, что Серый и баран спят голова к голове мертвецким сном. Солтан всячески тормошил их, пинал, но они еле раскрывали глаза и снова засыпали. Ну и чудеса! Вдруг Солтан заметил, что от той мяты, которая росла рядом на полянке, не осталось ни кустика. И он понял причину беспробудного сна двух обжор: они объелись мяты! А все потому, что лопают подряд все, что подвернется, не раздумывая: то, что ест один, ест и другой. Пришлось дать выспаться, но и домой они брели сонные, шатаясь на ходу, как пьяницы, и удивляя прохожих.

...Наступили осенние холода. Люди перешли из летних комнат, от веселых, но ненадежных в стужу очагов, в зимние, с печным отоплением. У Лепшоковых во дворе было под навесом достаточно топлива на зиму, по-

тому что и Марзий постаралась: запасла кизяк, сложила его рядом с дровами. Сена, наверное, при бережливом расходе хватит для коровы с теленком, перепадет кое-что и для единственного теперь барана и для ишака.

Марзий и Солтан сделали так, как советовал в письмах отец: зарезали всех семерых овец, чтобы не тратить на них сено, сдобрили мясо чесночно-соляным раствором, высушили его на солнце и ветре, затем Марзий сложила все это вяленое мясо в просторный деревянный закром и сказала:

– Этого нам хватит до возвращения отца, а там он снова заведет овец.

В большой кадке – запасенный еще с лета тузлук, масла Марзий запасла целый бурдюк.

Лишь после всего этого и полегчало у Марзий на душе. Теперь ее мальчик не будет голодать. Конечно, выручили и родители Марзий: дали про запас кукурузы и пшеницы. Ведь на рынке не купить, там сразу подорожало все.

Марзий упорно занималась хозяйством, обрабатывала вечерами овечью шерсть и ждала, ждала мужа. Она никогда не выключала круглый репродуктор, боясь пропустить что-либо о войне. Оттуда, из черной чаши репродуктора, шли тяжелые вести, они никого не радовали.

Аламат как будто оделся в траур. Сама природа надела его на аул: вот уже проходит зима, а с неба еще не упала ни одна снежинка, над голым темноватым аулом мечутся сильные ветры, их вой раздирает душу, наводит тоску.

В первую осень войны свадеб в Аламате не было. Вечно болтливая гармонь умолкла словно навсегда. Разве можно играть даже ради собственного успокоения, если у соседей горе? Обычай предков – не играть на гармони, когда у соседа беда, – соблюдался строго.

Солтан и Шайтан однажды шли по пустой Главной улице. У аулсовета сидели на завалинке несколько стариков, а перед ними стоял новый председатель, когда-то потерявший руку при падении с лошади. До ухода старого председателя в армию он, Хаджи-Сеит, работал секретарем Совета и своей левой рукой научился писать так ловко, что удивлял всех. Сейчас он обратился к старикам:

– Джамагат* ,– наступает зима, нашим доблестным бойцам нужны теплые вещи: шубы, варежки, носки, шарфы...

– Что же, государство само разве не может одеть своих солдат? – сказал Кривая Талия со злой усмешкой.

Старики посмотрели на него с недоумением, никто ему не ответил, а председатель продолжал:

– Так вот, дорогие мои, надо ли нам по этому поводу устраивать собрания, писать протоколы? Давайте обходить каждый дом. Объясним людям, и каждый будет рад помочь.– Повернувшись к Кривой Талии,

* Джамагат — собрание, мир, сходка

председатель презрительно сказал: – А без тебя как-нибудь обойдемся. И мы, и государство!

– Можно, мы тоже пойдем по домам? – спросил Солтан у председателя, показав на друга.

– А как же! – одобрил председатель. – Дети фронтовиков...

Солтан и Шайтан взяли на себя Главную улицу, обещав привлечь для обхода весь свой класс и даже ребят постарше.

Значит, теперь у него, Солтана, еще одна забота. Да, какая! Ради фронта! Уход за Туганом – это тоже для фронта. О том, чтобы готовиться к весенним конным состязаниям, на заводе уже не было речи, но весной Солтан непременно пойдет с табуном на горные выпасы – табунщиков не хватает.

Марзий замечала, что сын стал совсем взрослым: санки, альчики – все это забыто, он все время в заботах. У нее сжималось сердце, что детство у сына отнято, но она говорила себе: «Как же иначе, если каждый день, идя в школу и обратно, мальчик то и дело слышит плач и рыдания то в одном, то в другом дворе?» Похоронки не обходили Аламат стороной...

Но и жизнь брала свое: в Аламате произошла свадьба! Вернулся с фронта безрукий Батал, его любимая девушка ждала его, не отказалась от инвалида. И состоялась свадьба, но свадьба горькая – без гармони, без танцев, потому что кругом черный траур...

* * *

В одно из воскресений холодного декабря группа школьников во главе с Солтаном и Шайтаном приступила к сбору теплых вещей для воинов Красной Армии. Для этого Шайтан и один из школьников привели своих ишаков. Солтанова Богатыря решили не трогать, потому что за ним увязался бы и «проклятый» баран.

Начали обход Главной улицы со стороны горы. Вот дом номер один, хотя на нем никакого номера и не было. Шайтан крикнул, напустив на себя солидности:

– Эй, кто дома? – и постучал палочкой в калитку. Собака громко залаяла, заметалась по двору и стала царапаться в ворота.

– Хватит тебе, уходи, – сказал за воротами старческий голос, и калитка открылась.

Перед ребятами предстала пожилая, но стройная женщина со строгим морщинистым лицом и ясными глазами.

– Салам алейкум, тетя Хабий, – сказали ей хором ребята. И когда она, приняв их «салам», пригласила во двор, Солтан начал:

– Тетя Хабий, сейчас зима...

– Вижу, сынок, что зима!

– Сейчас зима... на фронте нашим бойцам очень холодно, им трудно держать в руках оружие...

– А оно железное, – вставил Шайтан.

– Да, железное, – оттолкнул Солтан мешавшего друга. – Там все время идут снега и держатся морозы, а конникам Буденного и всем-всем бойцам обязательно надо каждый день идти в атаку. При любых морозах!

– Эх, сынок... Разве я не думаю об этом ночами и днями? Когда греюсь у печи, я думаю о своих сыновьях, о том, что им там холодно. Их у меня там трое. И хоть бы один был женат и оставил мне внуков! В этом году старший должен был жениться. И невесту присмотрели ему... Ох, заговорилась я, ребятки! А как же вы все это отправите?

– Кого? – не сразу понял Солтан.

– Теплые вещи!

– Председатель Хаджи-Сеит все знает, он отправит.

– Заходите в дом, дети мои, – сказала Хабий и, приподняв полы длинной мерлушковой шубы, пошла к крыльцу.

В доме она стала вытаскивать из большого сундука вещи.

– Я пересыпала их табаком, вы небось еще не нюхали его, расчихаетесь. Вот три крашеных полушубка моих мальчиков; они все были у меня как близнецы, рост в рост. Вот это их кожаные варежки, а это их сапоги со скрипом. Бывало, выйдут все нарядно одетые, богатыри! Глядишь им вслед – любуется душа. А сапоги у всех троих скрип... скрип... До сих пор так и стоит это у меня в ушах. А это их каракулевые шапки. Видите какие? Их сшил лучший мастер...

Женщина продолжала вытаскивать и зимнюю и летнюю одежду, неумолчно говорила о прошлом, потому что она сейчас вся была там, в довоенном времени.

Шайтан перебил ее:

– Тетя Хабий, нам нужны только теплые вещи!

– Ну конечно! Как же это я... Заговорилась совсем... Она аккуратно сложила вещи, связала их, а когда ребята дошли с тюком до порога, она чуть ли не закричала вслед:

– Стойте! Прочитайте-ка мне вот это письмо от моего младшего. От старших давно ничего нет, написали они мне только по одному письму. А может быть, Одноглазый затерял письма от них, вы не знаете? Говорите, если знаете!

Но что могли ответить ребята? Они знали только, что об Одноглазом ходят слухи, будто почтальон до поры до времени прячет похоронки, не каждому решается вручать их...

Хабий развернула письмо-треугольник от младшего сына, и Шайтан начал читать:

— «Пишет это твой сын Хасан, дорогая мама, который находится от тебя далеко. От братьев я все время получаю письма, они живы и невредимы, сам я тоже. Только один раз я был ранен, но это пустяки. Помнишь, в детстве я упал с чинары и не плакал, но тогда было даже больнее, чем сейчас, так что у меня все нормально. Я получил посылку от женщины из Сибири, а в ней были носки теплые, перчатки и все другое. Знай, дорогая наша мама, мы вернемся живыми и здоровыми, победив фашистов, только ты береги себя!»

– Вот я стараюсь беречь себя, детки мои, чтобы вы возвратились не в пустой дом, не к холодному очагу, – сказала женщина, провожая ребят до ворот.

Погрузив вещи на ишака, ребята двинулись к следующему двору. Их встретила женщина средних лет, за которой выбежала целая орава детворы: мал мала меньше. Двое малышей держались за подол материнского платья и робко поглядывали на пришедших. От мороза их ручки сразу стали красными.

– У меня их пятеро, – сказала женщина. – Я с ними одна, но, слава Аллаху, их отец все время нам пишет, значит, и горя у нас нет! Не умрем с голоду, хотя сразу все подорожало. Готовых носков и варежек у меня нет, но я свяжу ночами, сама же и принесу к Хаджи-Сеиту. Так ему и передайте!

Когда ребята дошли до дома Мазана, оба ишака уже были нагружены. Шайтан и Солтан вошли во двор, оставив остальных за воротами. Сначала Шайтан повел друга в плотницкую. Его лицо стало сразу грустным.

– Вот, смотри, эти стулья остались недоделанными. Не успел отец... Заказчики молчат, но я хочу сам доделать стулья. Видишь – стамеска? Она лежит на том же месте, куда ее положил отец. Я ее трогать не буду, стану работать другой. А эта пусть так и лежит до возвращения отца. И почему от него ничего нет?

Солтан только сейчас заметил, как повзрослел его друг. Потом они вошли в комнату.

– Мать, что у тебя есть из теплых вещей? Выкладывай, – по-хозяйски сказал Шайтан, глава семьи.

– Почему не с нашего дома начали? Я же тебе говорила, Шайтан ты этакий! – рассердилась Лейла, сняла с гвоздя висевшую наготове шубу, порылась и достала пару варежек…

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Весной 1942 года, как всегда, коней готовили на Бийчесын. Отгон должен был состояться в июне. Но фронт все приближался к Кавказу, шли упорные бои за горный край. В Аламате поговаривали: завод подлежит эвакуации.

Эти слухи, как и сводки Совинформбюро, тревожили аламатцев. Никто не мог спокойно спать.

– Куда же мы теперь денемся? – плача, говорила Марзий Солтану.

Если бы он знал, что ответить!

Откочевка табунов в горы не состоялась. Этим уже было сказано все... Аламатцы готовились уйти от врага: кто к родне в соседние аулы, будто там можно скрыться от немцев, кто в леса...

Председатель Хаджи-Сеит созвал сход и сказал:

– Люди добрые, не надо бросаться в панику, все надо делать разумно. А что касается коней, то куда бы мы их ни отправили, они рано или поздно вернутся к нам. Врагу же мы ничего не должны оставить!

– Нас, что ли, вместо коней оставляешь врагу? – крикнул из толпы Кривая Талия.

– Важно не где оставаться, а кем: советскими людьми! – ответил председатель.

– Значит, пусть Гитлер топчет нас, значит, Гитлера пропускают сюда? – зарыдала женщина.

– Гитлер никогда не будет хозяином здесь! – ответил чей-то старческий голос. – Придет, мы ему покажем!

– Нет, уж если ты такой джигит, то не допускай фашистов сюда, прегради им путь!

– Да замолчите вы! Какой из этого старика джигит? – вмешался кто-то в спор. – Деникинцам он, а не ты преграждал путь в свое время.

– Хватит, товарищи, надо все обсудить по-деловому, – утихомиривал председатель. – Хлеб надо успеть убрать с полей, а зерно спрятать. Завод будет эвакуироваться в Закавказье. Дирекция отберет вместе с нами опытных людей, чтобы перегнать табуны через хребет. А наш Аламат жил и будет жить, если мы и при враге сохраним свое советское достоинство, свою честь, жизнь своих детей! Думайте над этим, люди... Над тем, чтобы мешать врагу всеми силами, какие у нас есть!

Солтан слушал затаив дыхание. Со схода домой он не шел, а бежал. Мимолетно заметил, как дошкольники-малыши шумно играли в альчики, и удивился: давно ли он сам был таким беззаботным?

Он заскочил в комнату, где на полке лежала в красном бархатном чехле сабля. Вытащил ее из чехла, затем из ножен, погладил ладонью, снова вложил в ножны и спрятал в чехол. Долго стоял посреди комнаты с саблей в руках, глядя в окно отсутствующим взглядом.

В газетах он видел фотографии немецких солдат, снявшихся возле виселиц, на которых казнили советских людей, или возле руин сожженных домов. Лица у фашистов были жестокими, звериными.

Он на минуту представил себе, как вот такой фашист входит к ним в дом, хватает саблю, к которой прикасались руки великого полководца, на

глазах у Солтана убивает его мать, тут же фотографируется, а потом ловит Тугана, гарцует на нем по Главной улице Аламата с этой саблей на боку...

– Нет! – крикнул Солтан и выбежал в огород, чтобы поискать самое укромное место и зарыть там саблю.

...В конце июля, в одну из ночей, заводские табуны скрытно и неожиданно подняли и направили по дороге к Закавказью. Когда Солтан утром побежал на завод, там ни Тугана, ни других коней не оказалось. Непривычно пусто было в денниках, манежах, на территории. Впервые за свою жизнь Солтан заплакал навзрыд, безутешно. Припав к столбу в деннике Тугана, он рыдал и от горя, и от обиды: почему дирекция не отправила в путь и его, разлучила с Туганом? Откуда ему было знать, что дирекция завода пощадила мальчика, не решилась пускать его в далекий, трудный путь. Но если бы даже он знал об этом, разве ему стало бы легче на душе?

Солтан вернулся домой только к вечеру. Когда мать увидела его, заплаканного, печального, то подумала, что он получил страшную весть об отце, а чтобы не сказать об этом матери, где-то сам проплакал весь день.

Узнав истинную причину сыновнего горя, мать вздохнула облегченно, хотя знала, что разлука с Туганом для ее сына – большое горе.

– Не печалься, сынок! Встретишься ты еще со своим любимцем, – убеждала она его.

– Угнали, но я все равно его найду!

– Нет, сыночек, давай я поеду в Даусуз, скажу своему отцу, и он найдет тебе Тугана, вернет коня! – пообещала мать, сама не веря, что из этого что-нибудь получится, лишь бы удержать сына от безрассудного шага. – Ты ведь дорог не знаешь, где будешь искать тропу в это самое Закавказье, если оно, говорят, за семью горами...

Солтан не слушал материнских слов, а думал только об одном: как и где искать Тугана? А искать он будет. И найдет! Наутро он пошел к деду Даулету и сказал:

– Из Даусуза пришла весть – заболел мой дедушка.

Я матери пока не хочу говорить, а то она станет переживать за своего отца. Хочу съездить сам и узнать, как там дела. Вот я и пришел за твоим конем...

– Что-то, вижу я, не очень складно ты рассказываешь, парень...

Старый Даулет помолчал, поглядывая то на юношу, то на жаркое июльское солнце. Он, видно, догадался о замысле Солтана. Но разве он сам поступил бы не так же? Вздохнув, дед сказал:

– Вот седло. А мой старый конь пасется где-то около завода. И без Тугана – слышишь? – не возвращайся в Аламат!

Дед подмигнул, а ошеломленный его догадливостью Солтан схватил уздечку и помчался за конем.

На жнивье ранних полей за конезаводом он увидел... Тугана! Солтан протер глаза и подумал со страхом, что начинает сходить с ума: ему мерещится то, чего нет. И будут теперь в Аламате двое сумасшедших – он и Джулдуз.

Все как наяву: Туган похаживает по жнивью, по-хозяйски сторожит свой косяк, изредка наклоняя голову и выискивая случайный колосок.

Солтан вложил пальцы в рот и два раза свистнул, чтобы разогнать это наваждение, этот сон. Туган вскинул голову, ринулся вскачь к другу, позабыв о косяке, и стал застенчиво тыкаться головой в его грудь. Солтан ощупывал коня, целовал его, говорил ему ласковые слова. Слезы радости омыли лицо Солтана. Он побежал к косяку. У кобылиц, как и у Тугана, был измученный, усталый вид. Значит, они всю ночь, а может, и больше шли назад, к Аламату, убежав от эвакуирующихся табунов. Не захотел Туган покинуть родные места и его, Солтана!

Солтан погнал косяк к водопою. Там он искупал Тугана, вычистил ему копыта. Выбрав лучший луг, он до вечера пас там косяк.

...Дней через десять вернулись табунщики, которые отгоняли табуны в Закавказье. Они и рассказали о Тугане. Рассказали, что когда они остановились на ночной привал, то еще с вечера заметили, как Туган беспокойно метался по табуну, кусая за .ноги лошадей своего косяка. А утром табунщики недосчитались целого косяка! Туган увел его в обратный путь. Сначала подумали было на конокрадов. Но искать косяк в округе или гнаться за ним назад табунщики не могли: это были старики, да и тех не хватало. Где-то в районе Северной Осетии они заявили милиции о пропаже лошадей и продолжили свой путь. Судьба Тугана их волновала особенно: ведь он находился на особом учете и был известен коневодам всего Северного Кавказа.

Солтан взял на себя полную опеку над беглым косяком. Переживаний у него не убавилось, потому что вот-вот должен был вернуться из командировки директор завода. Что он скажет? Не велит ли отправить Тугана с его косяком в эвакуацию?

А тревога в Аламате росла. Бои шли уже близко. В первых числах августа над аулом пролетели немецкие самолеты, но они пока не бомбили.

– Воздушная разведка, – объяснил дед Даулет женщинам и детям.

Аламат казался потревоженным пчелиным роем. Одни поспешно собирались в путь к родне, в самые глухие аулы. Некоторые старики, провожая молодых домочадцев, говорили, что сами они не покинут могилы своих предков, останутся тут умирать. А были такие, которые считали, что немец никого не тронет, поэтому не надо двигаться с места и разорять свои хозяйства.

Все, кто мог хоть как-то держать в руках оружие, ушли в районный партизанский отряд вместе с председателем аул-совета Хаджи-Сеитом. Теперь в ауле стало полное безвластие. На дверях заводской конторы повис замок. Директор сюда так и не вернулся.

Марзий ничего не могла решить, она боялась за сына: уж такой, как он, ни с какими немцами не уживется...

– Отправляйся к нашим в Даусуз и будешь жить там, пока окаянных не выгонят, – приказала было она сыну.

– Не поеду!

– Из-за этого проклятого коня? Так бери и его с собой, а кобылиц раздай людям. А то все равно их разберет немец.

– Нет, мама, я тебя не брошу и коней не раздам, – ответил сын твердо, и мать поняла, что ничто не заставит сына поступить иначе.

Как многие в ауле, Марзий и Солтан стали закапывать в потаенных местах все самое ценное из вещей и утвари, из продуктов. Спрятали и награды отца за годы работы на заводе.

Дом стал пустым, без уюта, без тепла, хотя августовское солнце палило вовсю.

Солтан ушел куда-то, и когда Марзий вышла во двор, в тени жалобно жались «эти». Нет, не Медный Казан, а Самыр. Не «проклятый» баран, а ее Малыш. Не ишак, а любимый ослик. Марзий хотелось называть их теперь не «эти» и не шутливо-ругательными кличками. Ей было их жалко. Они во все глаза смотрели на хозяйку, как будто вопрошая: что за переполох в доме, почему стало так невесело во дворе? Мы хоть и бессловесные глупые существа, но чувствуем приближение беды и нам тревожно – словно говорили вопрошающие глаза «этих»...

Марзий, растроганная, кинулась с лаской сначала к Малышу, потом к его друзьям, обнимала их, её слезы капали на шерсть животных.

Дедушка Даулет, Солтан и Шайтан тем временем держали совет: как быть с косяком? Ведь уже ясно, что немец будет здесь вот-вот. И решили: завтра чуть свет надо гнать косяк в Закавказье. Иного выхода нет.

Марзий не протестовала против такого решения. Во-первых, мальчик погонит табун не один, а с дедом, с ним он не пропадет. И потом, хорошо, что Солтан будет подальше от глаз проклятых, которые вот-вот нагрянут. Он сможет где-нибудь переждать, пока немцев прогонят из Аламата.

Она собирала сына в путь всю ночь: набила ковровые переметные сумы чем смогла, положила запас одежды.

На рассвете, провожая сына, она вышла с ним за ворота. В бледной мгле они узнали торопливо приближающуюся согбенную фигуру человека: дед Даулет! Но почему он притащился сюда, если его дом ближе к заводу, а Солтан обещал за ним зайти?

Дед не промолвил ни слова, вошел в калитку их двора, зовя обоих жестом за собой, и сказал:

– Никуда мы не едем, мой мальчик! Опоздали! Слышишь, тыр-тыры тарахтят? Звери ненавистные уже здесь! По всему Аламату расставлены караулы...

– Что же делать с лошадьми, дедушка? Что теперь будет? – спросил Солтан взволнованно.

– Что будет? – произнес дед Даулет, входя в дом, где еле горела керосиновая лампа. – Видишь сам, мой мальчик, что будет. Из-за фашистов вернулись мы к нищим дедовским временам. Мы привыкли, что электрическая лампочка освещала наши дома, как солнце, а теперь и лампа еле тлеет, а совсем не станет керосина, засветим лучину, если только будем живы. Вот так и вся наша жизнь при них будет еле теплиться...

– Электростанцию-то наши разрушили, а зачем? – спросила мать.

– А затем, чтобы врагам не досталась. Затем, чтобы они во тьме сидели, затем, чтобы они ни один станок не могли завести в заводских мастерских и на фермах! Ну, а что касается коней, Солтан, то я придумал... Только не спеши!

Старик не сказал, что он придумал, но Солтан немного успокоился: значит, дедушка выручит, он все может.

Дед Даулет сидел у них долго, давал разные житейские советы на все случаи и пошел домой, когда первые лучи солнца озарили верхушки гор.

Старик шел по аулу, словно по чужим местам. Такое же, как вчера, удивительно чистое небо, золотое солнце, знакомые пышные сады, знакомые дома. Ничего не изменилось! А родного Аламата не узнать... Главная улица была, против обыкновения, совершенно пуста. Коров в этот день никто не выводил со двора, хозяевами на улице были разъезжающие на грохочущих мотоциклах «зеленые люди», как их сразу же про себя окрестил дед. Да, да, зеленые, как змеи, люди. И он вспомнил появляющийся каждую весну у Змеиной горы огромный клубок змей. На том месте, где они клубятся, не увидишь ни единой травинки, там земля мертва от яда.

Лай встревоженных собак не умолкал, споря с шумом мотоциклов; слышались отрывистые, лающие звуки чужой речи.

Солтан выскочил со двора и пошел, таясь, за дедом. Старик шел медленно, слегка хромая и опираясь на полированную, с рисунками, палку. Он расстегнул ворот старенького темно-синего кашемирового бешмета, из нагрудного маленького карманчика вытащил серебряные часы, посмотрел на них. Темной летней войлочной шляпой отер лицо и шею. «Волнуется так, что даже вспотел,— подумал Солтан.— Куда он держит путь и что надумал предпринять с косяком?»

Дед не завернул в свой двор, а продолжал идти по направлению к заводу, где заперты в денниках кони. Солтан в душе ругал Тугана за то, что тот привел свой косяк прямо в руки врагу. Ругал и тут же оправдывал его: мог ли Туган не вернуться в Аламат, если он не хочет жить без своего завода, без своего Солтана?

Когда дед пришел на завод, у загона стояло человек десять фашистов с разинутыми ртами: они любовались Туганом, выпущенным из конюшни. Некоторые из них рассматривали его даже в бинокль. Они не заметили, как сюда подошел дед, а вслед за ним и Солтан.

Дед Даулет, заметив мальчика, нахмурил белые лохматые брови и шепотом приказал ему, чтобы он убирался домой.

Солтан не подчинился. Он хотел сам понять, что говорят немцы о Тугане и что собираются с ним делать.

Один из немцев, длинноносый, словно горец, и конопатый, обернулся к старику и на ломаном русском языке сказал:

– Конь отшень карош, конь есть кукла!

– Ми пастух, дай, ми пасем конь, – сказал Даулет, показывая на себя и Солтана.

Фашисты загалдели по-своему. В это время к ним подбежали двое аламатцев и заискивающе стали заглядывать им в глаза. Один – Солтан сразу узнал его – это Дугу, о котором говорили, что он дезертировал с фронта, а второй – Салимгерий, по прозвищу Сушеный Бараний Бок. Этот, конечно, рад немцам, как и Дугу. Он когда-то, как помнят старики, владел несколькими домами в Кисловодске. Наживался, сдавая их внаем. Их у него отобрали.

Сушеный Бок старался что-то объяснить немцам, потом забежал за угол конторы и выволок оттуда за руку молодую учительницу, подтолкнул ее к немцам. Та, бледная от гнева и страха, стала перед пришельцами и большими детскими глазами смотрела на них, не мигая. Это был единственный человек в ауле, кто говорил на немецком языке. Сама она была родом из древнего аула Хурзук, а вуз кончала в Москве, вспомнил Солтан то, что знал по рассказам старшеклассников.

– Сучья дочь, переведи нашим благодетелям все, что я скажу! – суетливо приказал ей Сушеный Бараний Бок, ребра которого, казалось, можно было пересчитать через его желтоватый бешмет, который висел на нем, как на пугале; аламатские острословы говорили, что бока ему высушила его собственная желчь. – Переведи, что весь наш аул ждал их с нетерпением. Еще переведи, что весь наш аул готов угодить им, что и стар и млад рады служить этим дорогим гостям. Запоминай, сучья дочь, и скажи им: если они, наши хозяева, доверят мне быть старшиной, то я поставлю перед ними на колени весь Аламат! Запомнила? Переводи!

Солтан с учащенным сердцебиением слушал все это и ждал, что же скажет молоденькая учительница. Она оглядела всех поочередно, ее черные глаза испуганно скользнули по немцам, и взгляд остановился на Солтане.

Сушеный Бок зло подтолкнул девушку:

– Что, язык отнялся? Когда ты морочила головы детям, вбивая им советскую политику, то была говорливая! Да я повешу тебя собственными руками... Не молчи!

– Хорошо, я скажу! – произнесла девушка. – Эта козлиная борода, – она показала на Салимгерия, – решил поставить пред вами на колени аул Аламат, чтобы самому остаться на ногах. Он говорит, что аул вас ждал с нетерпением...

– А фрау тоже считает, что аул ждал нас с нетерпением? – спросил старший по чину фриц, перебив девушку.

Девушка ответила:

– Да, я знаю, что аул ждал вас. Война! Но ждал аул вас без радости. Разве вы не видите сами? А эти не в счет,– показала на двоих предателей.– Молчит аул. И говорить с вами не захочет.

Немцы загалдели. Сушеный Бок забеспокоился, заметив перемену выражений лиц своих хозяев... Он поднял костлявую руку на девушку. Она отпрянула.

Солтан, сам не свой от гнева, подскочил и схватил руку Сушеного Бока. Дед Даулет не успел остановить юношу, который, стиснув руку предателя, говорил:

– Бросаться на женщину? Где ты это видел, если называешься горцем?

– Он уже не называется им, сынок, отстань от него! – приказал дед Даулет и оттянул Солтана в сторону.

Фашисты, посмеиваясь, ждали, чем же кончится такой неравный поединок. А когда он закончился, старший из них велел красному, как перец, Сушеному Боку привести к вечеру в порядок директорский дом для комендатуры, отобрать у населения кур и индюков на обед фрицам.

Все это он заставил учительницу перевести и сказал ей:

– С сегодняшнего дня ты будешь переводчицей. Только не вздумай врать...

Сушеному Боку не понравилось, что она сразу заняла такой пост, но ничего не поделаешь: без переводчика он и сам не сможет обойтись. Надо хитростью и лаской привлечь эту девку на свою сторону. Без нее он не сможет объяснить фрицам, что мечтает вернуть себе свои дома в городе!

На иссушенном лице предателя появилась заискивающая улыбка; он лебезил и перед фрицами, и перед переводчицей, обнажив единственный пожелтевший зуб.

А сейчас Сушеному Боку приказано было взнуздать Тугана. Предатель оробел.

– Я сумею! – выскочил было вперед Дугу. Он тоже мечтал о должности старшины и спешил выслужиться.

– Не мешай! – оттолкнул его Сушеный Бок и покосился на Солтана: – Ты тоже не суйся. Я сам!

Он кинулся с уздечкой через изгородь. Кони шарахнулись от него, как от волка.

– Неужели он взнуздает Тугана? – шепотом произнес Даулет.

Солтан даже засмеялся от такой нелепой мысли.

Туган насторожился, стал впереди забившегося в угол косяка. Глаза его горели, ноздри раздулись, он прядал ушами. «Нет, Тугана предатель никогда не поймает», – думал уверенно Солтан. Но его грызла тревога: что ждет коня впереди, как с ним намерены поступить фрицы?

Туган будто бы подпускал предателя к себе, но в последний миг легко отлетал прочь. Сушеный Бок задыхался, был мокр от пота.

Скоро все это стало надоедать коню. Солтан видел, что Туган уже начал злиться; он был теперь, наверное, точно таким, когда на Бийчесыне затоптал волка.

Немцы сперва потешались над попытками Сушеного Бока, улюлюкали. Но потом начали сердито покрикивать.

Боясь рассердить хозяев, Сушеный Бок в отчаянии ринулся неосторожно к коню.

Туган ударил его грудью. Сухое тело предателя шмякнулось на землю, а Туган моментально перелетел чайкой через высокую изгородь. Немцы ахнули, один из них выхватил пистолет, чтобы выстрелить в мчавшегося прочь коня, но старший дернул его за руку и хмуро сказал:

– Спрячь, все равно конь будет наш, куда он денется? И разве можно стрелять по такому коню? Это сказка, а не конь! Он достоин стать подарком для самого фюрера!

Солтан кинулся было за Туганом, но Даулет удержал его, шепча:

– Стой, не спеши... Он живым не дастся в чужие руки, а к тебе все равно сам придет.

Показывая немцам на мечущихся в загоне кобылиц, не смеющих одолеть изгородь, дед Даулет сказал по-русски, забыв о переводчице:

– Конь кушай надо! Я даем, хорошо?

– Гут, гут, – одобрил старший.

Даулет открыл ворота, выпустил лошадей. На окровавленного, прислонившегося к изгороди предателя дед даже не посмотрел.

– Если потеряете хоть одну лошадь, то потеряете сразу обе свои головы, – предупредил немец через переводчицу уходящих за косяком Даулета и Солтана.

Лошади были обеспокоены отсутствием своего вожака, но они были голодны и охотно стали пастись. Старик велел Солтану сесть рядом с ним на луг и выложил свой план:

– Будем пасти с тобой вот так еще два-три денька, а потом я уведу косяк в Закавказье!

– Но ведь всюду немцы...

– В горах я знаю такие тропы, которых ни один немец и даже ни один предатель не знает! Уж что-что, а наши перевалы мне знакомы вот так,— показал он пять пальцев своей жилистой руки.

– Я все думаю о Тугане. Где его искать?

– Посмотришь, он сегодня же вернется. Разве ты его не знаешь? Он никогда не оставит свой косяк, – успокоил Солтана старик и стал планировать свой поход через горы. – Перегнать коней нетрудно. А потом... буду жить за перевалом у друзей-абхазцев. Моя старуха переберется к семье сына. Что касается тебя, ты должен быть дома с матерью. А Тугана я уведу, в моих руках он не пропадет...

«Туган, конечно, будет в верных руках, – думал Солтан, – но как же старика отпускать одного?» Нет, он, Солтан, пойдет с ним за перевал! Мать поймет, что так надо. Сам старик не справится в пути с Туганом.

– Сынок, ночью тебе надо будет караулить Тугана, чтобы он не попал к проклятым в руки, – посоветовал старик.

– Я уже думал об этом, дедушка, – ответил Солтан с готовностью.

– Он придет, я полагаю, с той стороны, – произнес Даулет, протягивая руку с четками на север. Потом посмотрел на четки так, как будто видел их впервые, и сказал дрогнувшим голосом: – Сорок лет я читаю молитвы, прося Аллаха, чтобы он берег нашу землю, каждого честного человека, чтобы был людям мир. Но что же это, сынок? Мои четки за сорок лет я перебрал пальцами миллионы раз. Так почему Аллах не услышал мои молитвы?

Добрые растерянные глаза старика смотрели вопросительно на Солтана, но тот вместо ответа пожал плечами.

Солтан всю ночь караулил в кустарниках за околицей аула, но Тугана так и не дождался. Шатаясь от бессонницы, он отправился на завод.

Он явился туда в час, когда обычно выгоняют пасти табуны. Тут же подъехал на своем стареньком коне и Даулет. Но что это? Туган стоял на привязи у длинного толстого бревна. Мало того, что привязан он железной цепью – железные путы бренчали на его ногах.

У Солтана потемнело в глазах. Он хотел кинуться к коню, но старик Даулет схватил его за рукав и шепнул:

– Сейчас мы ничего не сумеем сделать... Имей терпение!

Солтан повиновался. Он не мог смотреть в сторону Тугана – было стыдно перед ним, что он здесь, рядом, а помочь ему не может.

Туган и плененный держался гордо, с прежним огоньком в глазах. Он не покорился, озирался по сторонам. Увидев Солтана, он встрепенулся, радостно заржал. Но подойти к нему нельзя: он привязан прямо под окном коменданта.

Как могли его заарканить? С какой стороны аула он появился ночью? Ни Даулет, ни Солтан не могли ничего понять.

Старик с разрешения немецкого солдата открыл ворота и выпустил тугановский косяк. Туган высоко поднял голову, зазвенел цепями, призывно заржал. Кобылицы окружили своего вожака, но Даулет быстро отогнал их, повел на луг, а Солтану приказал остаться здесь, чтобы понаблюдать, как поступят с Туганом.

Не удержавшись, Солтан приблизился к коню. Но из дому вышел здоровенный солдат, рявкнул на Солтана, отпихнул его в сторону, а потом вынес седло и начал было седлать Тугана. Тот упорно не давался, попытался куснуть солдата, пятился, насколько это ему позволяла цепь. И все же фашист оседлал Тугана. Еще бы, закованного в цепи!

«Но пусть теперь этот фриц попробует снять с шеи Тугана цепь и надеть ему уздечку», – утешил себя Солтан. Так и есть, не получается у фрица!

Вышли комендант и другие немцы, они окружили коня, любуясь им. Откуда ни возьмись, появился и забинтованный Сушеный Бок.

Каждый из подвыпивших немцев старался взнуздать коня, но ни один не мог надеть на него уздечку.

– Это не конь, а шайтан, его убить мало! – крикнул хрипло Сушеный Бок и схватился за рукоять кинжала.

Комендант заметил это и произнес сердито:

– Переведите этому дураку: я убью собственноручно того, кто убьет коня. – Обходя коня кругом и цокая языком, комендант приказал: – Бейте коня до изнеможения, чтобы он покорился!

Детина, который седлал Тугана, вооружился плеткой, поплевав на ладонь. Солтан крикнул не своим голосом:

– Дядя немец, я надену уздечку, только не бейте его!

– Такой... мальчик? – удивленно сказал комендант, подбирая слова.– Карашо, отшен карашо!

Сушеный Бок подобострастно подхватил:

– Он сможет! Конь понимает этого босяка! Комендант подтолкнул Солтана. Мысль Солтана работала лихорадочно. Вот настал момент, когда можно увести Тугана! Ну, смелее!

Он надел уздечку на коня, отшвырнув цепь. Снял путы. И сказал:

– Под таким седлом Туган будет скакать неохотно. А его седло у нас дома. Объясните же дяде коменданту! Я сейчас, очень, очень скоро буду здесь...

Он вскочил на коня. Комендант приказал ему вернуться побыстрее и хлестнул плетью коня, а заодно и ногу Солтана. Туган метнулся прочь молнией: он в первый раз в своей жизни получил такой удар плетью.

Вмиг промчавшись по Главной улице Аламата, конь сам круто остановился у дома своего друга. Солтан быстро соскочил, ввел коня во двор и спешился, чтобы успеть сказать матери, куда он сейчас хочет податься, и попрощаться с ней. Но мать еще не спустилась с крыльца, как во двор вле-

тел верхом новоиспеченный староста Сушеный Бок. Помахивая плетью и трусливо озираясь по сторонам, он прикрикнул:

– Скорей переседлывай, паршивец! Ждут.

Увидев под навесом седло, к которому направился Солтан, он насторожился:

– Сукин сын, это разве седло Тугана? Я всегда видел его на коне твоего отца.

– Я лучше знаю! – ответил Солтан и понес седло к коню.

– Брось! Это седло твоего красного отца! – соскочил Сушеный Бок с коня.

– Объяснил бы тебе кое-что мой отец, но его нет: он бьет твоих фашистов!

– Змееныш, да я вздерну тебя на виселице вместе с твоим другом Шайтаном! Зачем обманываешь благородных людей?

Марзий сошла с крыльца и кинулась к предателю:

– Это ты обманываешь благородных людей всего аула, лебезишь перед зелеными змеями! Ты! Зачем ты напал на мальчика, как будто он тебе ровня? Я сумею защитить своего единственного сына, тебя не побоюсь!

– Ты бы лучше помалкивала... – трусливо отступил Сушеный Бок. – Забываешь, что твой муж воюет против фюрера!

– Чтоб этого фюрера-мюрера с тобой вместе я видела в саванах! Сказала я тебе: отстань от мальчика...

А мальчик тем временем уже переседлал коня и сидел верхом.

– Прочь с дороги! – крикнул он, наезжая на предателя. – Мама, за меня не беспокойся!

Конь выскочил за ворота, и, пока староста взбирался, охая, на свою лошадь, Солтана след простыл. Да и какой конь мог бы догнать Тугана!

Марзий до вечера не особенно волновалась за сына. Она наглухо заперла ворота, чтобы эти «проклятые фюреры» не ворвались во двор. Они уже один раз наведывались, отбирая в домах яйца, кур, гусей, индюков.

С наступлением темноты тревога в душе Марзий усилилась. Куда же ускакал сын? Как он оказался с Туганом? Марзий до боли в ушах с крыльца прислушивалась, не раздастся ли цокот копыт.

Скачет чей-то конь... Нет, это не Туган. Это примчался Сушеный Бок. Его глазки поблескивали в темноте, когда он, склонясь с седла, спросил через забор:

– Где твой сын?

– Как где? Не ты ли сам за ним приезжал и говорил: «Ждут»?

– Где твой сын, проклятая женщина? – опять спросил Сушеный Бок, хлестнув плетью по забору.

– Эх, ну и мужчина! Уже и обычаи наши забыл? Кто из горцев разговаривает с женщиной вот так? Да что с тебя взять... Когда человек продается, то продается, видно, со всеми потрохами. А ходил ведь раньше тихонький,

с улыбочкой, кланялся каждому, чуть ли не ломая свой Сушеный Бок. Теперь же вот каким стал! Если тебя «фюреры» сделали тамадой, не думай, что Аламат примет это!

– Тебя не спросили!

– Сгинь с моих глаз! Я открою против тебя женскую войну, проклятый! Это ты виноват, что моего мальчика до сих пор нет дома! Куда он делся? Что ты с ним сделал? – вскричала разъяренная Марзий и подняла над головой пузатый глиняный жбан, готовясь запустить им в старосту.

– Опомнись, змея! – пришпорил коня и отскочил от забора Сушеный Бок.

Он получил дерзкий отпор при исполнении своих служебных обязанностей. Пришлось отступить перед этой ведьмой, готовой поднять «женскую войну», которая позорна для такого паршивого горца, как Сушеный Бок.

Марзий не радовалась своей победе. Она опустилась на ступеньку крыльца и заплакала. Куда девался сын? Несдобровать ему теперь. Натворит он беды...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Шайтан проснулся, вышел во двор и огляделся. Мать доила корову; не выпущенные куры беспокойно выглядывали из-за решетчатой дверцы, ишак дремал стоя, собака лениво зевала, потягивалась.

Солнца еще не было даже на верхушках гор. «И, наверное, не будет», – огорчился Шайтан. В воздухе висела какая-то серая хмарь.

Нигде ни звука, как будто в Аламате нет ни одной живой души.

«Надо, чтобы сестренка и братец сходили на кукурузное поле, – решил Шайтан, теперь самый ответственный за семью. – Если не разгонят, как вчера, то они принесут хоть полмешка початков. Полицай Дугу вчера разогнал всех, сам хочет поживиться, а заодно и выслужиться перед фрицами...»

Лейла встала с подойником из-под коровы, а теленок тут же уткнулся в вымя матери, весело играя черным кончиком хвоста.

Выгонять коров на луг боялись, да и пастух боялся водить аульное стадо. Лейла бросила перед коровой собранную с огорода траву и запечалилась:

– Аллах, зачем допускаешь такую несправедливость? Кругом благодать, щедрое августовское лето, трава на выпасах по пояс, а бедные животные голодают! Урожай, выхоженный нашими руками, теперь собирают для себя несколько продавшихся подонков... Зачем ты это допускаешь, боже?

Шайтан спустился в просторный подвал – плотницкую. Он все никак не удосуживался доделать стулья, которые начал мастерить отец. Не то что не удосуживался, а не умел, хотя и не признавался себе в этом. Только те-

перь он понял, каким все же мастером был отец. Жаль, что Шайтан плохо учился у него ремеслу. Ничего, при желании можно освоить все. Вернется отец – порадуется за сына.

Так думал Шайтан, работая то стамеской, то рубанком, то пуская в ход кисть, макнув ее в жестянку со столярным клеем.

Надо было покрасить уже готовый стул. Шайтан начал шарить в поисках краски. Он заглядывал в жестяные банки, в которых остались только следы засохшей краски, искал и в деревянных ведерках. В одном из них он нашел завернутую в тряпку подкову, долго смотрел на нее. Отец нашел ее где-то на дороге, а такая находка – добрая примета. Шайтан бережно завернул подкову и положил ее на место.

Наконец он нашел на дне старого ведра какую-то не то бордовую, не то красную краску. Начал красить, но как он ни старался дотянуть, краски не хватило, часть стула осталась белой. «Ничего, можно сидеть и на неокрашенном», – решил он, хотел вынести стул во двор, чтобы на солнце высохла краска. Но в эту минуту в подвал поспешно спустилась озабоченная мать.

– Сынок, соседка сказала, что полицаи собирают кур для зеленых и что...

– Кто ей сказал, мама?

– Ей сказала ее соседка, а той соседке – ее соседка, а этой – та, к которой полицаи уже ворвались во двор и начали ловить кур!

– Что же делать, мама? – спросил Шайтан, вытирая краску с рук шерстяной тряпкой.

– Все спешат резать своих кур, сынок!

– Объедимся, мать!

– Пусть лучше фрицы и полицаи объедаются? Конечно, не успеем мы насушить курятины, зато куры не достанутся змеям зеленым!

– А кто же будет резать кур, мама?

– Как кто, сынок? Это мужское занятие. Надо, сынок, надо. Ах, семнадцать моих курочек... Как они хорошо неслись! Разорение всем и всему принесли зеленые!

И в других дворах, где успевали, резали кур-кормилиц. Полицаи, чертыхаясь, шарили по курятникам и уходили ни с чем. Они растерянно докладывали разгневанным фрицам: «В Аламате вдруг на кур напала страшная эпидемия».

Это была «женская война» Аламата против ненавистных пришельцев, но она их только озлобила еще больше.

...Шайтан взял подсохший стул и отправился с ним к заказчику. Хороший стул! Ничего, что краски не хватило, люди поймут, что сейчас не до красоты. Главное то, что он, Шайтан, не оставляет на полпути отцовскую работу.

По Главной улице промчался в сторону школы фашист на мотоцикле.

– У-у, зеленый... Как гадюка! – прошептал Шайтан и, глядя фашисту вслед, подумал, что Туган запросто мог бы обогнать этого паршивого мотоциклиста.

Шайтан вошел во двор заказчика. Там на завалинке сидел старик с внучкой и уже в который раз заставлял ее перечитывать письмо своего сына. Та, второклассница, уже давно наизусть знавшая содержание отцовского письма, выпалила скороговоркой, не глядя на бумагу:

– «Дорогой отец, дорогая мать, жена моя и доченька! Я жив и здоров. Мы временно оставляем город, но отберем его назад обязательно. Писать некогда, спешу. Передайте привет...» – и девочка протараторила длинный список родичей.

Старик заметил Шайтана только после того, как аккуратно сложил письмо в треугольник и спрятал его в карман бешмета.

– Вот, сынок, последнее письмо от сына, – сказал он печально. – Может, он написал нам и еще, но почты нет, радио нет, газет нет... Живем как в мешке. «Новый порядок» называется... – Увидев стул, он усмехнулся: – Отцовскую школу не забываешь, сынок? В жизни надо уметь делать любую работу, тогда тебя полюбит жизнь. Ну, а краска – это ничего. Докрасим после войны! Сейчас я думаю только о том, чем бы я, старый, мог здесь помочь нашей победе на фронте? Эх, старость, старость...

Попрощавшись с дедом, Шайтан вышел со двора. Слова старика «чем бы я мог помочь победе?» обожгли ему сердце. Старику мешает старость, это понятно. Но разве такие, как он, Шайтан, или его друг Солтан так уж бессильны? Надо что-то делать. Надо договориться с Солтаном, что делать. Но где он? Марзий считает, что он поскакал в Даусуз к ее родителям.

Во дворе Лепшоковых Шайтан увидел ишака, «проклятого» барана и Медного Казана, уныло глядящих в открытую дверь летней комнаты. «Есть хотят, ждут», – понял Шайтан и не осмелился подойти поближе, потому что голодный баран может оказаться особенно драчливым. Шайтан, как всегда, свистнул два раза, вызывая Солтана. Но вместо него вышла неузнаваемая сегодня Марзий: глаза ее распухли от слез, лицо было бледно, она выглядела постаревшей лет на десять. Марзий медленно спустилась по ступенькам. Шайтан растерялся и молчал, переминаясь на месте. Марзий зарыдала навзрыд, обхватила рыжую голову мальчика и запричитала:

– Шайтан, Шайтан, мой дорогой, Солтана все еще нет! Вот уже неделя, как его нет! В Даусузе он тоже, оказывается, не появлялся. Смерть к моим детям, вижу, приходит всегда через коней...

– Да что вы, тетя Марзий! – ужаснулся Шайтан. – Что вы спешите хоронить моего друга? Туган его на себе из любой беды вынесет!

Опустившись на седло Богатыря, Марзий вытерла фартуком покрасневшие глаза и сказала:

– А несчастный дед Даулет, разве его не жаль? Исчез на второй день после моего мальчика, да еще, говорят, с косяком! Каково ему, старому, в опасной дороге!

– Весь аул радуется, что он сумел увести коней! – сказал Шайтан. – Говорят, здорово ищут его зеленые. Привезли откуда-то ищейку, пустили её по следу, а она уперлась в Кубань и заскулила. Ушел дед! Уж на горных-то тропах его никому не найти.

– А с моего дома полицаи глаз не спускают, – пожаловалась Марзий. – Сушеный Бок и этот второй пройдоха, Дугу, для которого в Аламате даже и прозвища пожалели, то и дело вертятся возле ворот и угрожают мне, как будто я прячу бедного мальчика, раз они его ищут, а? – уставилась она на Шайтана с надеждой.

– Гоните их «женской войной»!

– Нет, я радуюсь, что они приходят!

– Как так?

– Раз ищут – значит, мой мальчик жив! Ведь так?

– А ведь правда! Конечно, жив! – обрадовался Шайтан. – Он таится где-то с Туганом, а Тугана и пуля не нагонит!

Шайтан думал о друге с завистью. Как только в ауле появились фашисты, мать Шайтана Лейла всеми заклинаниями старалась удержать сына при себе, во дворе, чтобы он не натворил чего-нибудь и не попался в лапы полицаям или фрицам. Он очень жалел мать, делал все, чтобы ее не огорчать. Но Шайтан есть Шайтан, его терпению тоже должен настать конец...

Он строил, слушая Марзий, планы поиска друга. Марзий перебила его мысли:

– Приходил и Кривая Талия, разными хитростями пытался выведать у меня, где сабля маршала. Так и сказала бы я ему! Если, говорит, зарыли её, она заржавеет, и подарок большого человека потеряет свою цену... Я ответила ему: с каких пор ты надумал заботиться о вещах в моем доме? С тех пор, как нанялся в полицаи к зеленым? Вон, говорю, из моего двора, и подозвала было Малыша, чтобы тот поддал ему рогами в мягкое место, но испугалась за Малыша: ведь у Кривого пистолет. Удержала барана за рога. Кривой убрался, но сказал, что я еще вспомню свои слова. Ой, Шайтан, Шайтан, что-то страшное надвигается на мой дом...

«Только ли на ваш дом, тетя Марзий!» – хотел крикнуть Шайтан, но промолчал.

Во дворе немецкой комендатуры необычайно много народу: старики, инвалиды, женщины, дети. Еще издали Шайтан услышал шум, голоса возмущения и плач женщин.

Он проскользнул сквозь толпу. Труп! Он лежал на голой земле. Труп несчастной полоумной Джулдуз, которая всю свою жизнь занималась замыканием чужих дверей. Не раз бывало, что она замыкала и директора завода вот в этом же доме. Но никто в Аламате, в том числе и директор, не мог всерьез сердиться на бедняжку.

По старой своей привычке она и сегодня чуть свет пришла сюда и кинулась к дверям, к дверям коменданта. Не успел караульный и спохватиться, как она ловко вдела в отверстия пробоя какую-то железку и кинулась прочь. Но её настигла фашистская пуля...

Так несчастная Джулдуз стала первой жертвой оккупантов в ауле.

В Аламате любили незлобивую Джулдуз, заботились о ней, кормили.

Толпа бурлила. Говорили по-разному, но все сводилось к одному: фашисты – зверье.

– Как можно стрелять в беззащитную? Только бешеный сделает это!

– За что убили ее? Ведь и у нее душа была...

– Эх, будь сегодня здесь наши джигиты, они показали бы этим выродкам...

– Джамагат, давайте подадим жалобу на коменданта! Неужели на шакала не найдется управа!

Последние слова, сказанные кем-то, Сушеный Бок и Кривой встретили хохотом, который означал: нашли, дураки, на кого искать управу!

Комендант потребовал перевода. Заплаканная учительница немецкого языка, у которой фашисты взяли расписку, что она не уйдет из аула, перевела. Тот побагровел от злости, вытащил пистолет, выстрелил в воздух и закричал:

– Прочь с глаз, советская сволочь! Перестреляю всех!

Эти слова не требовали перевода. Но люди не разбежались, как цыплята, а стали расходиться медленно, с достоинством. В их глазах можно было прочитать презрение и к фашистам, и к смерти, которой их старались напугать.

Впереди толпы везли на повозке тело Джулдуз, чтобы пристойно предать его земле.

Шайтан видел, какие суровые у всех лица. Он шел и думал, что полицаи и даже сам комендант держались сегодня не очень уверенно. Неужели они боятся Аламата, имея столько оружия? Значит, есть и у Аламата какая-то сила... Но в чем она? Как ее пустить в ход?

Смерть девушки всколыхнула аул. Если были такие, которые до сих пор считали фашистов за людей, то теперь и они примкнули к возмущенной толпе, шли вместе со всеми на похороны. У дома и в доме Джулдуз стоял великий плач.

– Был бы наш здесь, он бы отомстил за тебя! – выкрикул кто-то, и Шайтан узнал голос жены кузнеца Идриса.

– Когда несчастная приходила к нам, наш всегда мне говорил, чтобы я давала ей самый лучший кусок! – Это говорила Лейла, мать Шайтана, и он вспомнил: да, так всегда и бывало.

– Горе, горе всему аулу! В каждом доме горе! Люди добрые, скажите, что же мне делать, где мой единственный мальчик? – рыдала Марзий. – Может, и он где-нибудь лежит, сраженный такой же пулей?

Шайтан не вынес этих слов о своем друге и хотел убежать, но один из стариков остановил его:

– Сынок, собери своих друзей, найдите лопаты и идите копать могилу. Я пошлю с вами кого-нибудь из взрослых, он покажет, как это делается.

У Шайтана сжалось сердце. Копать могилу... Никогда не приходилось ему делать такое. Но он не показал виду и пошел выполнять поручение. Он – мужчина, он должен пройти и через это.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Исчезновение красавца коня, которого какой-то «мальчик» увел прямо из-под носа, не забылось фашистами. Комендант, вспоминая о Тугане, рвал и метал. Он, Фриц Клаус, а не кто-нибудь другой послал бы коня в подарок самому Гитлеру. Фюрер был бы доволен таким подарком с Кавказа!

Клаус ходил по кабинету большими шагами, заложив руки за спину. На его бледном лице играли желваки. Его взгляд остановился на небольшом портрете Гитлера, он висел над столом, покрытым зеленой суконной скатертью. Коменданту показалось на миг, что глаза фюрера выкатываются от бешенства из орбит. Хоть просто и померещилось это, но мясистые ладони Клауса вспотели от страха. Он приказал вызвать переводчицу и этого глупого старосту, который только и знает, что хлопочет о каких-то своих городских домах, как будто коменданту больше нечем заниматься.

Комендант окинул взглядом переводчицу, подумал о ней, что у нее глаза как у затравленного волчонка, брезгливо покосился на старосту.

– Переведи ему, – приказал он девушке, ткнув пальцем в сторону старосты, – если он, наконец, не разыщет мне коня Тугана с его всадником – неделя сроку! – я буду знать, как с ним поступить... Сколько дней прошло, а этот мерзавец не выполнил моего приказания!

Переводчица начала говорить, и заискивающая улыбочка, стала сползать с лица Сушеного Бока.

«Чем бы задобрить коменданта, утихомирить сейчас его гнев?» – лихорадочно думал староста. И придумал:

– Герр комендант получит Тугана, а в придачу – саблю, буденовскую саблю!

Имя Буденного насторожило коменданта, но он не понял, о чём идет речь, посмотрел вопросительно на переводчицу.

– Переведи ему, – заторопился Сушеный Бок, – что маршал Буденный бывал здесь, а однажды он прислал саблю этому самому паршивцу Солтану за то, что тот выращивает такого коня!

– Вот как! – повеселел комендант.

Воображение его разыгралось: он отправит фюреру Тугана, а также саблю советского маршала, имя которого известно фюреру! Такого умного подарка фюрер наверняка ни от кого с Кавказа не получал. Уж тогда-то о Фрице Клаусе будут знать в ставке Гитлера!

– Гут, гут! – ласково похлопал Клаус старосту по плечу и велел сказать ему, что он, староста, может переложить на своих помощников все дела: составление списка семей служащих в Красной Армии, сбор скота для нужд армии фюрера и прочее. Сам же он пусть занимается поиском коня и сабли.

Комендант махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Переводчица вышла сразу, а Сушеный Бок задержался и дал понять коменданту, коверкая русские слова, что переводчица может выболтать все их планы, помешать делу.

– Герр комендант, – лепетал он, – ее домой не найда... Пусть задержайт...

«Какие уж там у тебя, безмозглого, планы...» – с презрением подумал Клаус и жестом велел старосте убираться. Переводчица предупреждена, что в случае разглашения любого разговора коменданта она будет расстреляна. Но кто их поймет, этих советских людей, фанатиков? Надо будет приказать, чтобы следили за девкой построже.

В коридоре комендатуры староста натолкнулся на Шайтана и обрадовался этому: на ловца и зверь бежит, ведь это друг Солтана.

– А-а, Шайтан! Ты ко мне или к начальнику нашему? – спросил староста, изображая на лице подобие улыбки.

Впервые за свою жизнь Шайтан обиделся за то, что его назвали Шайтаном. В устах Сушеного Бока это звучало как оскорбление.

– Я вам не Шайтан, а Мурат Данашев!

– О-о, знаменитый Мурат Данашев! Честь имею кланяться, – сказал староста насмешливо. – Ну, пойдем в мой кабинет.

Они зашли в маленькую обшарпанную комнатку. Сушеный Бок важно воссел за дряхленький столик и начал с умным видом перебирать бумаги. Шайтан разглядел, что одет он теперь в добротный кашемировый бешмет, перетянутый наборным поясом. Усики подбриты и стали узенькими. Когда он говорит, они шевелятся на губе, как два дождевых червя. А борода у старосты все такая же козлиная. От тяжести висевшего на поясе пистолета чуть не переламывается талия старосты. Костистые бока сплющены. Верно прозвали его в Аламате: Сушеный Бараний Бок.

– Ты что, пришел стоять столбом, чтобы на тебя фонарь повесили? – ухмыльнулся Сушеный Бок, довольный своим остроумием.

Шайтан мог бы сострить в ответ получше, но он сдержал себя, чтобы не испортить задуманный план.

– Я пришел просить работу, – покорно сказал он. – Корову у нас ведь отняли...

– Не отняли! Это вы оказали помощь великой армии фюрера! Ясно?

– Дома есть нечего. Хочу зарабатывать на хлеб.

– А ты не забыл, что ты – сын красного солдата? Может, сделать тебя за это комендантом? Или старостой?

– Нет, старостой только ты один во всем Аламате сможешь быть, – не удержался Шайтан сказать дерзкую двусмысленность.

– Что-то ты много болтаешь, парень. И все же я тебя выручу. Запомни: выручу. Дам хорошую должность — будешь чистить конюшню комендантского коня. Старый негодяй Даулет надеялся, что я не найду доброго коня для нашего благодетеля, угнал косяк. Нашел я коня для коменданта. И Даулета найдем! И людей найду для работы с немцами! Вот ты же пришел! Сам пришел!

– А Тугана найдете? – осторожно спросил Шайтан.

– И этого трижды проклятого Тугана найду! – вскочил Сушеный Бок.

– Сколько же я буду получать за работу в конюшне?

– Сколько дам, столько и будешь. Но знаешь что, мальчик? Есть возможность заработать мно-о-го марок, – наклонился Сушеный Бок к Шайтану. – И Солтан мог бы зарабатывать, если бы не удрал с конем.

– А может быть, он уже сидит, арестованный немцами?

– Э-э, голова у тебя варит плохо! Если бы Солтана поймали, конь был бы уже у нас. Разве не понятно? Так-так... Значит, ты о Солтане ничего не знаешь?

– Как же мне заработать много марок? – напомнил Шайтан.

Староста задумался. Глаза его хитро сощурились, он приосанился, выпятил тощую грудь и спросил:

– Кто я?

– Ты – Суше... староста!

– Глава целого аула! Хозяин! Так? Значит, и вид я должен иметь. Если бы у меня вот здесь, на моем боку, висела красивая сабля...

«Вот оно что! – догадался Шайтан. – Ему зачем-то понадобилась сабля Солтана!»

– Но я-то что могу сделать? – прикинулся непонимающим Шайтан.

– Ты? Ты мог бы достать мне самую красивую саблю и получить за это много денег, а?

– Самая красивая сабля у Солтана.

– Молодец! Соображаешь!

– Но кто знает, где она?

– Как где? Не иначе, как закопана в их собственном огороде.

– А может, и нет?

– В собственном, в собственном! Никто в чужом огороде не закапывал свое добро. Весь Аламат хоронит добро на огородах. Разве Марзий умнее других? Мы можем перерыть весь ее огород, но с этим и за неделю не упра-

вишься. А ты присмотрись, а ночью тихо-тихо выкопай ее и принеси нам. Разнюхай у Марзий, где она что прячет, полазь по огороду. Ты ведь у них свой человек!

– Да мне ведь и в конюшне работать тогда некогда будет... И зачем работать, если столько денег за саблю получу!

– Ладно, ладно, в конюшне поработает и Дугу, а ты только добудь мне саблю! А проболтаешься – шею сверну, последнее у вас в доме отберу. Иди!

Сушеный Бок был доволен беседой, хотя и не очень верил Шайтану. Кривую Талию он послал по аулам района, чтобы выведать что-нибудь о Тугане и его всаднике. Ведь не мог же конь провалиться сквозь землю? Кто поможет отыскать коня, тому велено обещать кучу денег...

Шайтан шел по Главной улице из комендатуры и отплевывался. Задуманное он, правда, осуществил: узнал, что Солтан не пойман, узнал, что затевает Сушеный Бок. Еще он понял, что саблю надо перепрятать, если она закопана в огороде. Но где же «Вечный всадник», где Солтан? Если он и в самом деле «Вечный всадник», как прозвал его сам Шайтан, то Солтан и сейчас непременно на коне!

Когда Марзий узнала от Шайтана, чего хотят зеленые, она всплеснула руками, растерялась.

– Тетя Марзий, – успокоил ее Шайтан, – я так перепрячу саблю, что никто не найдет. – Надо выкопать ее, Сушеный Бок знает, что она спрятана на огороде.

– Откуда? Солтан только со мной поделился секретом!

– Староста просто догадывается. Он даже может приказать полицаям перекопать весь огород!

– Чтоб его самого закопали в эту землю! Но ведь его труп земля не примет!

Она мучительно долго думала, а потом решилась:

– Сделаем, как ты задумал, Шайтан! Солтана нет и нет, а кто же еще спасет подарок маршала, если не ты – друг моего сына! – Она сказала, как надо действовать: – За моим домом следят. Даже, может быть, сейчас чьи-то волчьи глаза подглядывают сюда. Поэтому я выйду в огород с корзиной одна, буду собирать там корешки кукурузных стеблей, теперь и их приходится беречь для топки. У тайника я остановлюсь и начну поправлять на голове платок. Следи! И запомни хорошенько это место, слышишь? Ночью я бы и сама его не нашла, а тебе придется искать ночью. Я оброню на этом месте три корешка, чтобы ты ночью мог нащупать.

– А ночью разве не следят за вашим двором?

– И такое может быть, сынок. Я-то ночью запираюсь наглухо и сижу, плачу в постели, никогда не выглядываю за дверь.

– Я проползу по огороду на животе!

– Я бы не смогла, да и струсила бы выйти ночью на огород. Но на то ты и Шайтан! Ну, беги домой. Будь осторожен! Постой-ка. Вот возьми эти косточки, покорми Казана, поговори с ним, чтобы он ночью вернее узнал твой голос.

Когда Шайтан шел к себе домой, солнце уже было высоко. День отличный, солнце улыбалось так щедро, что Шайтану стало даже обидно: тут на земле так тревожно, у людей на сердце мрак, а солнце гуляет себе по небу и сияет радостно.

– Где же ты целый день пропадаешь? – накинулась на сына мать. – Схватят тебя фрицы да отправят в Германию! Я никуда тебя больше не выпущу.

Она была чем-то сильно взволнована, и по одежде видно, что она только что пришла откуда-то.

– А сама ты где была? – спросил сын.

– Эфенди* собрал в мечеть аульчан. Одни женщины да старики... Зачем? А вот зачем. При мечети со следующей пятницы откроют мусульманскую школу – мектёб. Эфенди будет обучать вас, детей, Корану. Годовая плата за каждого ученика – теленок! Корову отобрали фрицы, а если отдать этому жадюге эфенди и теленка, то как жить? Годами учили вас в советской школе уму-разуму и ни копейки не брали за это! Как жить, сынок, скажи? – посмотрела она на сына полными слез глазами.

– Верить, мама! Верить, что все это ненадолго!

– Сил уже нет ждать... А плохое наваливается одно за другим!

– Что-то еще ты таишь? Говори.

– Стыдно с тобой и говорить об этом, но ты у меня старший, с кем же иначе, как не с тобой, советоваться? Понимаешь, я обязана... вступить в брак!

– Что-о-о? – подскочил Шайтан. – Изменить моему отцу, который сейчас бьется на фронте за тебя, за твоих детей? Да я... да я сейчас...

– Дурачок! – расхохоталась мать. – В краску меня вогнал... С твоим отцом я должна вступить в брак, понял?

– Но ты ведь... уже женатая!

– Эфенди объявил, что браки, заключенные при Советской власти, не годятся, Аллах их не принимает. Дети от этих браков считаются незаконнорожденными. А потому, сказал он, все женщины должны по-мусульмански заключить некях. Неважно, говорит, что мужей здесь нет, можно сделать некях заочно. Но каждая женщина должна за это принести стоимость одного золотого рубля.

– А что это такое – золотой рубль?

– Я и сама не знаю, мальчик мой.

– Ты больше не пойдешь в мечеть! – заявил Шайтан тоном, не допускающим возражений. – Один раз ты с моим отцом женилась – и хватит вам, мама!

---

* Эфенди – духовный учитель у мусульман

Он сам струхнул перед матерью из-за своего приказного тона, но она почему-то снова расхохоталась и согласилась:

– Ладно, если встретится эфенди, я так ему и скажу: «Сын запретил!»

До вечера Шайтан, нервничая, слонялся по двору, его огненно-рыжая голова была занята мыслью о предстоящем ночном деле. Чтобы отвлечься, он взял топор и начал рубить дрова, вдыхая их привычный смолистый запах.

Наконец наступила ночь. Аул погрузился во тьму. Конечно, мало кто спал в домах, одолеваемый горькими думами. Но света почти нигде в окошках не было: видно, одни экономили керосин, другие не имели его совсем.

Шайтан летом всегда спал на веранде, а с приходом зеленых мать запретила ему это, водворила его постель в дом, но сегодня он упрямо остался спать на старом месте, сославшись на духоту в доме.

Он поднялся в полночь, тихо выскользнул со двора и пошел по задворкам ко двору Лепшоковых. Прижимаясь к плетням, он дошел до Солтанова огорода и прополз через лаз ограды, который заметил еще днем.

До боли царапая себе живот о кукурузные бодылья, он ужом пополз по огороду к заветному месту.

Вот и три кукурузных корешка, которые «обронила» Марзий.

А лопата? «Вот какой я олух!» – выругал себя Шайтан. Надо же было сначала подползти к яблоне, под которой Марзий оставила старую лопату без черенка.

Шайтан, обдирая себе живот, пополз к яблоне.

Где-то залаяли собаки. Взметнулся во дворе, гавкнул разок и Казан. Шайтан поспешил вынуть из кармана хлеб на случай, если Казан выскочит на огород.

Где-то застрекотал мотоцикл. Вскоре замолк. «Остановился у комендатуры», – решил Шайтан.

Снова начал он осторожно пробираться к тайнику, упираясь в кочки острыми носками чарыков и подталкивая тело вперед.

Вдруг ему показалось, что от плетня на него двинулось какое-то коротконогое чудовище. Он чуть не вскрикнул, волосы у него стали дыбом. Он стиснул в руке штык лопаты, и холод железа отрезвил его. Это же просто зашевелился у плетня пышный куст крапивы оттого, что подул ветерок! Шайтан вспомнил отцовскую сказку о богатыре-нарте Сосруко, который никого и ничего не боялся.

Копал Шайтан лежа, стараясь, чтобы лопата не звякнула о камешек. Земля была мягкая, подавалась легко. Но Шайтан был весь мокрый из-за того, что волновался: а вдруг Марзий перепутала, неправильно указала место тайника?

Лопата вдруг во что-то уперлась. Шайтан сунул голову в ямку, начал разгребать землю руками. Он ощутил пальцами кожу. Кожаный мешок! А в нем что-то длинное, твердое!

Он вытащил упакованную саблю из ямы, крепко прижал ее к груди... Он не чувствовал того, что руки судорожно сжаты.

Заровнять яму было минутным делом. Утром Марзий притопчет, замаскирует это место. А сейчас бежать! Быстрее проползти к лазу и незаметно добраться домой... Там приготовлен такой тайник, что саблю маршала все фрицы и полицаи, хозяйничающие в Аламате, не найдут!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Куда же исчез Солтан после того, как вырвался из лап Сушеного Бока? Он пустил Тугана по Главной улице во всю мочь, вылетел за аул и помчался по Гумскому ущелью, выбирая самые глухие тропинки. Ему показалось сквозь грохот копыт Тугана, что позади хлестнула очередь немецкого автомата. Но в таком ущелье только коню и дорога, мотоциклы тут не пройдут. А есть ли в Аламате да и во всей округе конь, который мог бы догнать Тугана?

Сначала путь лежал по голым склонам, но скоро начнется лес. Туган словно чувствовал, что впереди – спасение, и летел, не замечая крутизны тропинки. Он понимал, что друг вызволил его из беды, радовался, что Солтан высвободил его от ненавистной цепи и железных пут, и с радостью мчал друга на своей спине.

Солтан похлопал коня по шее, чтобы тот умерил бег. Вот и лес.

Остановились. Солтан соскочил на землю и ввел коня в глубь леса. Конь был голоден, но не наклонил головы к траве, словно понимая, что опасность еще не миновала.

Солтан прислушался. Нигде ни звука, кроме щебета птиц и ровного гудения лесных пчел.

Солтан сел у молодой сосны, но тут же по его телу поползли муравьи. Вскочил, стал отряхиваться.

Туган стоял, тоже прислушиваясь. Его трепещущие ноздри принюхивались к новому месту, он в лесу был впервые. Несмотря на такой бешеный галоп, Туган даже не вспотел, дыхание его было ровным – сказалась давняя и долгая тренировка.

– Что же будем теперь делать, Туган? – растерянно спросил Солтан.

Туган повел ушами, посмотрел в глаза другу и провел губами по его щеке, будто хотел утешить: «Что-нибудь придумаем, не унывай! Ведь нас двое!»

– Наверно, надо нам податься к дедушке в Даусуз, он скажет, что нам делать, – размышлял Солтан вслух. – Но сначала тебе надо хоть немного подкрепиться, здесь отличная трава. Пасись! А я себе поищу каких-нибудь ягод.

Солтан отпустил Тугана, а сам набрал в рот ягод барбариса, но тут же выплюнул – они были кислы до невозможности. «Почему же мамин барбарисовый компот всегда был таким вкусным?» — вспомнил он, как будто с мамой расстался не сегодня, а в незапамятные времена.

Долго оставаться в незнакомом лесу нельзя.

– Поехали, – сказал Солтан коню и похлопал его по крупу, подтянул подпругу, взлетел в седло.

Солтан направил коня по лесу, стараясь держаться подальше от тропинок. На августовском чистом небе уже зажглись первые звезды, когда показались тусклые огоньки аула Даусуз. Солтан услышал непрерывный шум мотоциклов и автомашин, направлявшихся мимо аула в сторону большого ущелья Архыз. Немцы, не иначе! Солтан спешился, оставил Тугана за холмом, подполз поближе к дороге и услышал немецкую речь. Фашистские части все шли и шли, и казалось, не будет конца этому потоку машин. Пересечь дорогу, да еще на таком заметном белом коне, не удастся. А вдруг машины будут идти до рассвета? Пока что у Солтана есть хоть один союзник – ночь...

Солтан отполз назад, поднялся и ужаснулся тому, как его белоснежный Туган отчетливо выделяется в темноте! Да на таком коне и ночь не союзник... «Зря я удалился от Аламата, – пожалел Солтан.– Ведь можно было скрыться и там, в окрестностях нашего аула, где столько глухих пещер и нехоженых троп. Но откуда было знать, что в Даусузе зеленые кишмя кишат?»

Единственный выход – прорваться через дорогу! Солтан сел на коня и стал выжидать, когда появится просвет между идущими частями. Вот проехали мотоциклисты, а очередная колонна машин еще только съезжает с холма. Можно успеть проскочить в аул! Солтан пустил Тугана во всю мочь, и конь перелетел дорогу одним прыжком, потом с лёта перемахнул через чей-то высокий плетень. Так, беря барьер за барьером, изгородь за изгородью, помчался Солтан через сады и очутился на огороде деда.

Спешившись, он завел коня через заднюю калитку во двор. Выбежавший на отчаянный лай собак дед онемел от удивления.

– Дедушка, спрячь Тугана поскорее в сарай! – сказал Солтан, быстро ведя коня на поводу.

Привязав Тугана в сарае, повесили замок. Прежде чем ввести взволнованного внука в дом, дедушка коротко приказал:

– Рассказывай, пока бабка не слышит!

Солтан рассказал обо всем, что случилось, и добавил дрожащим от обиды голосом о том, что его больше всего во всей этой истории огорчило:

– Если бы ты видел, дедушка, как комендант хлестнул Тугана плетью! Ведь Тугана никто не бил, а они... Никогда этого им не прощу!

– Волки они, волки! Вот уже два дня, как днем и ночью ползут на перевал. Где могут – на машинах, где не могут – на ишаках везут грузы. Всех ишаков отобрали, окаянные, а лошадей давно начали отбирать. – Дедушка предупредил Солтана: – Бабка твоя не должна знать, что ты беглец. Зачем расстраивать её? Я только недавно проводил отсюда мальчишку из вашего аула. Его присылала сюда твоя мама, чтобы узнать о тебе. А я и сам не знал, где ты! Я уже решил было пуститься на поиски... Ладно, мы с тобой что-нибудь придумаем!

Наутро по Даусузу поползла весть: в ауле появился белый крылатый джин, а это хорошее предзнаменование – значит, фашистам скоро будет конец! Джин предвещает их гибель!

Кое-кто не верил. Но были люди, которые сами, собственными глазами видели, как белый крылатый джин летел ночью над садами и домами Даусуза!

Старик Маммет так и не смыкал в эту ночь глаз. Как-то надо дать знать дочери, что Солтан жив, здоров. Но как? Сегодня с утра поговаривают, что немцы усилили караулы в Даусузе и вокруг. Озверели, проклятые! Еще бы, вон сегодня трупы фашистские везли с перевала. Дают там наши немцам!

Еще дума, потревожнее первой: как прятать Тугана? Косить каждый день траву для него? Полицаи пронюхают – догадаются. Ведь они знают, что у Маммета ни коня, ни ишака уже нет.

Солтан еще спал. Старик позаботился, чтобы конь не заржал: поставил перед ним ведро воды, насыпал в кормушку немного овса, оставшегося от своего коня.

Дед Маммет, сызмальства влюбленный в коней и понимающий в них толк, не в состоянии был оторвать взгляд от Тугана. Писаный красавец этот конь! Богатырь! Понятно, почему Солтан так к нему привязан.

В сарай зашел Солтан и объявил дедушке то, что уже хорошо обдумал:

– Настанет ночь – и я уеду. У нас в Аламате и то фашистов меньше, чем у вас.

Дед насупил лохматые седые брови:

– Не своевольничай. Не пущу!

– Я уже не ребенок, дедушка. Я уже ездил табунщиком на пастбища, я завоевывал призы на ипподроме!

«И в самом деле», – подумал Маммет. Его внук уже мужчина. Разве не в его возрасте он сам пас байский табун?

– Не в Аламат же тебе возвращаться, сынок! Там тебя ищут.

– Сюда тоже приедут из Аламата искать меня! Где же и искать, как не у моего дедушки?

– Да, здесь тоже Тугана оставлять нельзя, ты прав. Рискнем! Я тебя отправлю ночью в путь. Есть у меня друг Атлы, в его ауле должно быть меньше фашистов. Вижу, ты уже мужчина, а если под мужчиной такой верный и быстрый конь, то быть удаче.

С наступлением ночи дед вывел Солтана через огород и, беспрерывно шепча молитвы, показал путь через глухой овраг, тянувшийся по аулу. Рассказал, как потом ехать лесом, предупредил, чтоб никоим образом не переезжал Кубань по мосту, а только вброд неподалеку от станицы. Маммет знал, что вода сейчас в Кубани не малая, но Туган легко одолеет реку. А за ней, когда Солтан перевалит гору, дорога снова поведет по лесистому ущелью.

– Страшись самой дороги, держись все время в стороне от нее, – шепотом напутствовал Маммет внука.

Пустить во всю силу Тугана Солтан не смог, потому что коню приходилось идти по бездорожью, ощупью. Лишь далеко за полночь Солтан добрался до Кубани. Туган, пофыркав у реки, смело ступил в воду и легко вынес седока на тот берег. Луна почти полностью была закрыта тучами. Солтан, освоившись в темноте, ехал по безлесному склону горы, а затем въехал в ущелье и направил коня не по дороге, а через лесную чащу.

Ехать было трудно. Временами Туган еле протискивался между густыми деревьями. Далеко внизу то и дело мчались с натужным ревом, светя фарами, немецкие машины.

Рассвет застал двух друзей в лесу. Дальше не поедешь. Лес-то, наверное, кончается, аул недалеко. Значит, надо переждать день здесь.

В лесу было сыро, Солтан продрог. Туган не хотел пастись. Из переметных сум Солтан достал хлеб и сыр, поделился с конем. Оба невесело поели.

Длинный августовский день никак не кончался. Правда, днем в лесу стало тепло. Понемножку продвигаясь вперед, «паслись» оба: Туган щипал траву, Солтан обирал кусты крыжовника и брусники.

Они уже вышли к окраине леса, откуда хорошо был виден аул, но продолжали таиться за мощными стволами сосен. Солтан сел верхом на пень, как в седло, и, глядя на аул, прикидывал: как, с какой стороны туда можно пробраться?

Наступил долгожданный вечер. Луна осветила все золотистым светом. Туган стоял рядом, обдавая Солтана горячим дыханием. От него шел свежий травяной запах, он тыкался мордой в плечо друга. Солтан обнял его голову.

Вдруг что-то зашуршало в траве. Туган тревожно отскочил. Солтан с ужасом увидел в лунном свете змею, направляющуюся к его ногам. Он вскочил на пень, разглядел оттуда в траве суковатую ветку. Спрыгнув, он вооружился ею. Змея подняла голову, зашипела и не тронулась с места.

Солтан метко ударил ее палкой по голове и потом добил. Но из сердца не исчезал страх: значит, змея может подобраться к спящим коню и Солтану и укусить? Нет, страшно оставаться в лесу!

Голоса... Доносятся издалека, но говор явно немецкий. Слышно, как под ногами людей трещали сухие ветки. Что надо фрицам в лесу, кого они ищут? Солтан обхватил ладонями морду коня, чтобы он не заржал. Но вот голоса стали слышны все меньше и меньше. Значит, фрицы прошли стороной. Да, в этом лесу нельзя больше оставаться. И ночи ждать нечего, надо идти в аул.

Дождавшись, когда луна спряталась за тучи, Солтан взял за повод коня и подошел к аулу. На околице мертво. Вдалеке, в глубине аула, высится большое четырехугольное здание. Школа, видно сразу, значит, там немецкая комендатура. Оттуда вдруг донесся звук мотора. Не сюда ли двинется машина? Раздумывать некогда: Солтан ворвался с конем в первый попавшийся двор.

Хорошо, что там собаки не оказалось. Солтан быстро огляделся и завел коня под навес.

Из дома вышла молодая женщина, долго всматривалась, кто там под навесом. И, увидев незнакомого парнишку, спросила:

– Гостю всегда рады, но ты не заблудился ли, парень?

– Кажется, так, – подхватил Солтан и вышел из-под навеса, оставив там коня.

– Ну, привяжи коня и входи в дом! Будешь гостем.

В доме его ждали на тепси хлеб – о, целых два ломтика! – и деревянная миска с айраном.

Солтан набросился на еду, стесняясь, что так жадно ест. Женщина делала вид, что не замечает этого, возилась с посудой.

Как подобает, он после угощения должен был рассказать о себе. Но что и как он может рассказать? Да и кто такая эта женщина, что за дом? Он поблагодарил за еду и сидел, томясь своим молчанием.

В это время вошел старик, стройный, кряжистый, с небольшой белой бородой, и еще с порога сказал:

– Коня, что стоит у нас под навесом, я хорошо знаю, но не знаю, кто на нем приехал. Сам ли его хозяин, или... – Он из-под ладони посмотрел в глубь комнаты, увидел Солтана. Подошел, поздоровался за руку и промолвил: – Джигит, я и тебя знаю! Ни одного выступления Тугана на ипподроме я не пропускал. Я и сам не раз выступал в молодости на скачках. И теперь у меня был неплохой конь, да отобрали фашисты. – Он сел, посадил рядом Солтана и обратился к снохе:

– Дай нам поесть.

– Я уже ел, спасибо, – привстал Солтан.

– Ел? – пытливо посмотрел старик. – Не будет лишним, если и со мной поешь.

Пока сноха собирала на тепси, старик сказал Солтану:

– Я вижу, ты смелый парень – разъезжаешь на таком коне да еще в такие дни. Отберут же коня! И не для того, чтобы переправлять груз на перевал, а возьмет себе какой-нибудь фашистский «обер».

– Пока же нас не тронули...

– Тебя с конем уже ищут, сынок. Розыск дали.

Язык у Солтана отнялся, он не знал, что говорить. Хорошо, что старик говорил, не задавая вопросов.

– В Аламате, наверное, тоже бесчинствуют немцы? – спросил он наконец, отломив кусочек хлеба и макая его в бышлак биширген.

– Да, – ответил Солтан и чуть не рассказал всю свою историю, но сдержался: кто знает, что за человек этот старик?

– А у нас расстреляли секретаря колхозной комсомольской организации. Он тяжело болел и не смог бежать. Весь аул теперь взбудоражен... Со вчерашнего дня держат в сарае взаперти семерых жен и матерей командиров Красной Армии. Что с ними будет – никто не знает... Семьи партизан взяли на учет. Говорят, немцы погонят их впереди себя, когда отправятся с собаками на поиски партизан. Вся наша жизнь перевернулась вверх дном! Э-э, брат, худо дело...

Когда поели, старик спросил:

– Куда же путь держишь, джигит?

– В Большой Карачай, к родственникам...– ответил Солтан, не желая пока называть имя дедушкиного друга Атлы.

– Поймают тебя! Да еще скажут, что ты партизан и едешь к партизанам. Видишь ли... Аллах меня проверить хочет, послав тебя ко мне: как, мол, ты, старик, с неповинным юнцом да с этим райским животным поступишь? Ну, а я хочу, чтобы Аллах мне сказал: «Правильно поступил, раб мой!» Но как поступить? Вот этого я и не знаю... В Большой Карачай ты, конечно, не поедешь. Это ты выдумал! Домой к себе тоже не вернешься! И у меня тебе оставаться нельзя: коня не спрячешь в сундук! Но не спасти тебя грех. Я помогу, даже рискуя жизнью. Только дай обдумать все.

Солтан теперь поверил старику. Ему было стыдно таиться перед ним. И Солтан решился, спросил:

– Дедушка, вы не знаете такого – Атлы?

– Как не знать! Урусов Атлы. Такое имя ему дали при рождении, желая, чтобы у него был собственный конь: ведь «атлы» означает «имеющий коня». При Советской власти он не одного коня заимел, а целые табуны: стал главным коневодом в колхозе! Знаю я его, как же не знать своего односельчанина?

– Мой дедушка – его друг!

– Я и твоего деда знаю хорошо, лицом ты весь в него пошел. А о твоем коне и о твоей славе весь Карачай знает! О твоей буденновской сабле тоже. Вот потому тебя и ищут вовсю.

– Я спрячусь у Атлы!

– Никак нельзя, у него главный фашист на постое! Дом у Атлы отличный, понравился поганым. Мы с тобой должны придумать что-то другое! Ложись спать. Придумаем! Утро вечера мудренее.

Спать Солтан лег рядом с Туганом в сарае. Но он ни капельки не спал. Он размышлял, как поступить. «Спасу тебя, даже рискуя жизнью», – сказал старик. Нет, такой ценой Солтан спасать ни себя, ни Тугана не желает. Своего дедушку он пожалел, ушел из Даусуза. А этого славного старика подвести? Нет.

Под небом родного Карачая он, Солтан, не находит себе места, мечется, как волк. Не себя он бережет, а Тугана. И сбережет!

...Когда старик чуть свет вошел в сарай, ни парня, ни Тугана там не оказалось.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Комендант Клаус среди множества своих забот вспомнил о Тугане и буденовской сабле! Неужели этот бездельник староста до сих пор не сумел выполнить приказания? Пристрелить негодяя легко, но кого поумнее найдешь среди тех, кто согласился служить рейху?

Старосту будто кипятком обдало, когда ему сказали, что зовет Клаус. Ноги ослабли от страха, он зашел в кабинет коменданта сам не свой.

– Переведи герру коменданту, – пробормотал он учительнице, – что я ночи не сплю, ищу. Человек, которому я поручил обшарить огород Лепшоковых, ничего там не нашел.

– Сам ищи, переверни огород вверх дном! – крикнул комендант. – А вообще, я вижу, пора тебя уже... – И комендант показал на шею.

Помертвевший от страха Сушеный Бок нашел спасение только в одном:

– Зато мы на след Тугана напали! Коня видели в ауле Мара. На нем кто-то выехал в полночь со двора Маммета, старика. Это дед Солтана, он уже сидит в тамошней комендатуре. Мой человек сейчас там, снимает допрос.

– Даю тебе сроку еще три дня. И запомни: конь должен быть доставлен не в ту комендатуру, а в эту. Понял? В эту, ко мне.

Сушеный Бок вышел, пылая злобой против Шайтана: «Этот змееныш уверяет, что обшарил потихоньку весь огород Лепшоковых. Неужели врет? Неужели этот голодранец не хочет заработать денег?»

Староста позвал Кривого и приказал ему идти к Лепшоковым, перерыть весь огород.

– Что я, трактор? – окрысился Кривой. – Там неделю рыть надо! Иди сам!

– Я вижу, тебя уже пора... – взвизгнул Сушеный Бок и, подражая коменданту, показал на шею. – Этой сумасшедшей Марзий боишься? Ну, так возьми с собой пистолет. И не церемонься.

Кривая Талия рысью помчался к дому Лепшоковых.

– Что, опять явился? – грозно спросила его Марзий.

– А ты чего, женщина, сидишь взаперти, прячешь щенка своего? – сказал Кривой, входя в ворота и озираясь кругом.

Собака рвалась с цепи, яростно лаяла. Барана не было, он с ишаком пасся за аулом.

Кривой вытащил пистолет и подступился к Марзий:

– Ты, проклятая баба, скажешь наконец, где твой сын и где эта самая сабля?

Марзий взорвалась, страх как рукой сняло:

– Чтоб твою талию еще раз переломали твои тюремные дружки, с которыми ты сидел за воровство! Ничего, скоро ты будешь сидеть и за предательство своего народа! Придет твой час!

На шум выскочили соседки и смотрели сюда через плетни.

– Отойди! – приказал хозяйке Кривой. – Начинаю обыск. Он начал шарить по всем закоулкам двора. Вошел в сарай, полазил и в курятнике, под навесом, шевелил бревна. Перевернул Кривой все вверх дном. Собака ни на минуту не переставала лаять на него. Он снова вытащил наган:

– Ну, баба, становись, я тебя сейчас прикончу. И богу не успеешь помолиться!

Соседки за плетнями истошно завопили.

– Убирайтесь оттуда! – крикнул на них Кривой, растерянно пряча пистолет, и попытался поговорить с Марзий по-хорошему: – Пойми, гадюка, сына твоего мы не тронем! Нам нужен не он, а конь. Ты умная женщина, но разве захочет умный человек беды сыну из-за казенного коня? Казенного!

Марзий смотрела широко раскрытыми глазами на щетинистое лицо Кривого и клялась:

– Аллах свидетель, что я сама ничего не знаю о сыне и о его коне. Но Аллах свидетель и тому, что, если бы даже знала, тебе бы не сказала. Какая мать выдаст родного сына?

– Гадюка! – снова обозвал ее Кривой и пошел осматривать огород.

Марзий побрела за ним, с тревогой припоминая, хорошо ли она замаскировала бывший тайник.

Кривой, вытянув нос, как собака-ищейка, осматривал чуть ли не каждый вершок земли. «С той ночи хоть бы один раз дождь пошел!» – сокрушалась Марзий, следуя за «Кривым».

Вдруг полицай остановился. Приник к земле. «Аллах мой, разнюхал!» – обомлела Марзий.

Кривой бережно поднял комочек рыхлой земли. Потом разбросал ногой кукурузные корешки. «Нашел!» – говорил его торжествующий вид.

Он приказал принести лопату и начал лихорадочно копать землю. Вспотел. Расстегнул ворот черного бешмета, сбросил серую войлочную шляпу.

Дойдя наконец лопатой до твердой почвы, Кривой понял, что обманулся. Опоздал! Сабля исчезла! Кто мог отсюда взять? Или Марзий, или... этот змееныш Шайтан! Не иначе.

Отшвырнув лопату, Кривой оделся и большими шагами пошел к воротам, чтобы поспешить к Сушеному за советом. Собака, опять увидев во дворе чужого, залаяла с новой силой.

Кривой, не останавливаясь, вытащил наган и пустил пулю прямо в пасть собаке...

Марзий с воплем кинулась к собаке, но умные глаза Самыра уже заволокло. Пес страдальческим взглядом в последний раз посмотрел на Марзий и испустил дух.

Марзий стала на корточки. Сама не зная зачем, она снимала цепь с шеи Самыра. Не заметила, как плачущие соседки вошли во двор и окружили ее.

Сушеный, выслушав Кривого, понял, что исчезновение сабли – дело рук Шайтана. Мальчишка провел его. Каков щенок! Не пройдет ему это даром...

И Шайтан предстал перед старостой.

– Люди видели, как ты выкопал саблю. Где она? – в упор спросил Сушеный.

«Кто же меня выследил?» – опешил Шайтан, поверив старосте.

– Я ничего не знаю, – ответил Шайтан, глядя исподлобья на грозно стоявшего в дверях Кривого.

– Нет, ты вспомни, – вкрадчиво увещевал староста, – и получишь много, очень много денег, я ведь обещал.

– Никаких денег мне не надо!

Сушеный для острастки вытащил пистолет и повертел его в руках.

«Пугает... А Павка Корчагин не испугался бы!» – пришло в голову Шайтану. Он выпрямился на стуле, гордо расправил плечи. Он успел заметить, как забарабанили в окно капли дождя, и больше ничего не увидел, потому что Сушеный нанес ему удар в лицо. Шайтан не упал со стула, но в глазах у него померкло, брызнула из носа кровь, заливая серую бязевую рубашку мальчика.

– Ты у меня все скажешь, сукин сын! Отведи его и запри! – приказал Сушеный Кривому.

Сразу после этого два фашиста и Кривой примчались на мотоцикле к дому Шайтана и переворошили там все вверх дном.

– Огород! – лениво ткнул пальцем в сторону огорода один из немцев.

– Нет, там он не мог спрятать. Потащить саблю с одного огорода на другой? Не такой он дурачок, этот Шайтан, – сказал Кривой и злобно добавил сам для себя: – Сам скажет, змееныш! Сам!

Мать Шайтана, Лейла, была ни жива, ни мертва – она ничего не ведала ни о сыне, ни о сабле. Поняла только, что попал все-таки ее Шайтан в беду!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Куда бы ни занесла человека судьба, а рано или поздно он начинает жаться к дому, даже если там плохо и подстерегает опасность. Так и Солтан. Вот уже неделя, как он с Туганом живет в лесу вблизи родного Аламата, кочуя с места на место. Для Тугана корму пока достаточно, но зато Солтан жив одними полузасохшими ягодами и дикими фруктами.

У него нет еды, нет теплой одежды, а ведь по ночам уже холодно.

Кочевать с места на место уже нет сил, одолевают голод и слабость. Наконец он решился обосноваться в одной из самых больших потайных пещер, на которую он когда-то набрел со школьными товарищами. Вход в нее скрыт кустарниками, на ночь Тугана можно заводить в пещеру. Кто из полицаев и фашистов догадается искать беглецов у себя под боком?

Солтан натаскал в пещеру сухой травы, сделал себе постель потолще, чтобы было теплее. Целыми днями он рвал траву и сушил ее для Тугана, наивно думая, что сумеет запасти так на всю зиму. Но ему трудно было думать вообще: мысли от голода путались. Временами Солтан бросал свою работу и сидел в задумчивости, грызя осточертевшие сушеные грушидички. Он мысленно видел мать, знал, как ей тяжело, не раз бывало, что он вскакивал с места и хотел мчаться в аул. Но это был повзрослевший Солтан, он умел сдерживать себя: «Не надо лезть в капкан! Абрек Науруз тоже умел ловко избегать погони, потому он так мстил и мстил баям за издевательства над беднотой. И я научусь мстить!»

Он не знал, как будет мстить, и клял себя за то, что бездельничает. На самом же деле время после бегства из аула было потеряно не зря: он научился уходить от врагов, освоился в лесу, научился не бояться темноты, превозмогать голод.

Вечером Солтан сидел в пещере без огня и без лучины, размышляя над тем, как теперь научиться бить фашистов. Туган лежал недалеко от него. Вдруг Солтану показалось, что по пещере прошел страшный гул. Казалось, из тьмы вот-вот вынырнут страшные семиголовые эмегены и напа-

дут на него. Казалось, что стены пещеры качаются и вот-вот ударятся одна о другую. Солтан подполз к Тугану, упал телом на его шею. Удивительно, конь лежал спокойно, его тепло согревало грудь Солтана. И это привело Солтана в себя.

Он понял, что никакого грохота не было, никаких эмегенов тоже не было. Стучало в голове от голода, от стужи, до чертиков в глазах довела удручающая тьма. Испугался храбрый мужчина из Аламата, Солтан Абдулович Лепшоков! Присыженный этим, Солтан подошел к выходу, встал на колени, посмотрел на ночное небо, которое было в сплошных черных тучах, повернулся в сторону родного Аламата и произнес клятву:

– Клянусь не бояться никакой темноты, не знать страха ни перед кем и ни перед чем!

На душе Солтана стало хорошо и спокойно. Он ощупью нашел свою постель, положил под голову седло и уснул, окутанный тьмой, греясь о круп Тугана.

Проснулся он чуть свет продрогшим. Выпустил Тугана.

«Вечный всадник», – вспомнил он свое прозвище, данное Шайтаном.– Вот теперь-то я в самом деле вечный всадник, неразлучный с конем, – подумал он, – но в сказании о вечном всаднике говорится, что он является связным поколения с поколением, людей с людьми, народов с народами, стран со странами. А я, какой же я связной, если сам не могу связаться даже со своим другом Шайтаном? Объединить всех юных мстителей Аламата – вот что я мог бы сделать!»

С нетерпением ждал он следующей ночи. Ждать было особенно тягостно потому, что день выдался нудный, холодный, пришлось сидеть в пещере. Зато ночь наступила лучше некуда. Ни звезд, ни луны!

Солтан завел Тугана в пещеру и не привязал его. Но оседлал, потому что когда Туган под седлом, он знает, что им предстоит отправиться в дорогу, и ждет друга на месте, никуда не уйдет. Кроме того, если здесь без Солтана появятся чужие, непривязанный конь сможет убежать, никому не дастся.

Поцеловав Тугана и поговорив с ним, как всегда, Солтан отправился в путь. Идти по лесу можно было быстро, потому что отсыревшие ветви деревьев не трещали, если Солтан задевал их головой или плечом.

Через рубашку впились в тело сосновые иголки, кожа горела, а сквозь разорванные чарыки кололи ступни ног щепки и сучья. Но Солтан научился терпеть. Научился он и видеть в темноте, как кошка: шел уверенно, одной рукой откидывая ветки, другой – опираясь на толстую дубовую палку.

Тишина была жуткая, к ней Солтан никак не мог привыкнуть, хотя и не боялся ее.

К полуночи он вышел из леса и спустился в овраг, который тянулся до окраины Аламата. А там по огородам легко добраться до дома Шайтана! Конечно, не до своего дома, за которым наверняка следят.

Его шатало от усталости: шутка ли, от пещеры до аула больше двенадцати километров. Но надо было спешить, чтобы успеть обратно к пещере до рассвета.

Вот и родной аул. Он словно год не был здесь!

Лениво гавкнула сквозь сон чья-то собака. Солтан затаился, присел. Потом бесшумно перелез через плетень какого-то огорода, одолел еще один огород, еще один... Без Тугана в поводу он мог бы разгуливать незамеченным и перед самой комендатурой!

Следующий рывок – и будет огород Шайтана!

Собака узнала Солтана, завиляла хвостом. Солтан, оглядевшись, легко стукнул пальцем в окошко. Никто не отозвался. Постучался еще. Прислушался.

Кто-то подошел к дверям и замер. Солтан прошептал:

– Это я, Солтан. Открой, Шайтан! Скорей... Громыхнула щеколда. Солтан заскочил в приоткрывшуюся дверь и попал в объятия Шайтана.

Лейла плотно завесила окно, зажгла керосиновую лампу с разбитым стеклом и вдруг отшатнулась от Солтана, прошептав:

– Кто ты?

– Это же Солтан! Не видишь, мама?

– Вижу, но не узнаю. О, Аллах, что с тобой стало!

– Шайтана тоже не узнать! – сказал Солтан.

Нос у того был распухший, на лице кровоподтеки, а глаза горят незнакомым Солтану огнем.

– Хороши оба! – промолвила Лейла, вытирая глаза, и пошла собирать на стол.

– Я спешу, – сказал Солтан другу. – Передай маме, что я жив, здоров. Мне нужна моя сабля, она зарыта в нашем огороде. Нужна еда, одежда. И спички, непременно спички! И топор.

Он объяснил Шайтану, где его пещера.

– В пещеру я приду, – ответил друг, – но все, что ты просишь, можешь получить сейчас.

Он вышел и через несколько минут вернулся с саблей в руках, изумив этим Солтана.

Лейла, что-то греющая в печи на неостывших углях, заметила саблю и ахнула:

– Откуда она взялась? Из-за нее держали Шайтана под замком, чуть не забили его там насмерть... Ах, мальчики, мальчики, и чем у вас все это кончится?

– Мать, он спешит! – оборвал ее Шайтан по-взрослому. – Пожалуйста, приготовь ему в дорогу еды, а одежду он возьмет мою.

– Нет, сначала пусть поест, он же ополовинился от голода! Солтан с жадностью набросился на хлеб и молоко, забыв все на свете. Тем временем мать с сыном укладывали ему в сумку все, что могли.

Потом Шайтан сел напротив друга и рассказал ему, что делается в ауле.

– А саблю, – добавил он, – я, можно сказать, и не прятал. Она висела себе у самого входа в наш двор, на столбе ворот!

– Что ты плетешь? – удивилась мать. – Висела на виду у полицаев?

– Не на виду, а под дощатой обшивкой столба, – объяснил Шайтан. – Я приподнял этот четырехугольный колпак и повесил саблю на гвоздик столба. Так она и висела, встречая и провожая полицаев, которые приходили к нам с обыском...

– Значит, и к вам мне нельзя было являться? Следят, как и за нашим домом?

– За моим уже перестали, – сказал Шайтан. – Поняли, что ничего здесь не добьются...

– Спасибо тебе! – произнес Солтан растроганно. – Ты бесстрашный друг.

Он начал одеваться. Лейла дала ему теплое белье, толстую черную черкеску, шубенку, шапку и почти целые чарыки сына.

– Голова у меня все еще сильно болит после комендатуры, кружится, – пожаловался Шайтан. – Я ждал, пока мне станет лучше, чтобы начать разыскивать тебя.

– Готовь самых наших верных ребят, Шайтан! Будем мстить гадам фрицам. Встречаться нам лучше не у пещеры, а у Белой скалы. Первая встреча через два дня, в субботу. Условный знак: свистнешь три раза. Мне пора, беспокоюсь за Тугана!

...Марзий впустила Шайтана в калитку без всякой надежды на добрую весть.

– Как твоя голова, сынок? – скорбно спросила она.

– Голова ничего, тетя Марзий, я о Солтане...

– Никаких новостей, мальчик! И не произноси ты его имя при мне! Мне же переворачивает душу каждый раз!

– Произнесу, тетя Марзий! Я с ним ночью сидел, как вот с вами!

В это время сильно постучали в ворота.

– Говори же! – кинулась Марзий к Шайтану.

– Стучат, тетя Марзий!

– Какое мне дело до всех? Говори!

– Вдруг это полицаи? Выйдите. Я вам все-все потом расскажу.

– Хорошо! Спрячься... Смотри не убегай! – Это недобрые люди стучатся, – сказала Марзий, вставая. – Бедный Самыр (теперь после гибели она не называет его Медным Казаном), вот сейчас он залаял бы вовсю, на недобрых он не жалел голоса. А ты сиди, не высовывайся, – сказала она Шайтану и пошла.

Во двор ворвались Кривой и два фашистских солдата. Увидев Марзий, Кривой трусливо погрозил ей пальцем:

– Опять поднимешь вой на весь аул и начнешь говорить грязные слова? Не вздумай!

– Зачем мне выть? Это тебе надо выть, Кривой. Это у тебя все время неспокойно на душе...

– А ты-то чему улыбаешься? - удивился Кривой, не веря своим глазам.

– Не только горе есть на свете, Кривой! Да, есть и радость. Жив ее сынок...

Кривой оттолкнул женщину в сторону и направился к ишаку. Баран недовольно поднял голову от еды, глаза его налились кровью, и он пошел на Кривого. Тот хотел увернуться и оказался спиной к барану, которому только того и требовалось. Баран поддал рогами, Кривой брякнулся на живот. С него слетела шапка.

Марзий неожиданно расхохоталась. Соседки, заглядывавшие через плетень, изумленно переглянулись и начали шептать молитвы. Давно они не слышали смеха Марзий. Рехнулась? Столько на нее навалилось!

Двое зеленых уже уводили упиравшегося осла, накинув на его спину седло.

Баран, забыв, что хотел поддать Кривому еще разок, кинулся выручать друга. Кривой вытащил в ярости наган, хотел пристрелить рогатого дьявола, но один из солдат сердито отнял у него оружие и велел вести барана живым.

Марзий стояла недвижно, смотрела с каменным лицом вслед своим питомцам.

Есть на свете горе...

Но есть на свете и счастье: ее сын жив.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В последние дни через Аламат шли и шли фашистские части. Они шли к перевалам, а оттуда повозки возвращались груженные трупами фрицев... Видно, ожесточенные были там бои. Фашисты возили на перевал оружие и продовольствие на лошадях и ишаках, дорог для машин через это ущелье не было. Вот и оставили аул без тружеников-ишаков, без которых ни один двор не обходился. Забирали фашисты подчистую и скот.

Так Главная улица превратилась в улицу слез, причитаний и проклятий. Солдаты по приказу коменданта шныряли по аулу с оружием, загоняя взбудораженных людей во дворы.

Шайтан, завидев патруль, нырнул во двор своей одноклассницы «А». Ее дедушка и мать стояли среди двора и растерянно оглядывались кругом.

– Вот, сынок, двор уже совсем пуст, – развел руками старик, обращаясь к Шайтану. – Ни кур, ни скота, ни ишака. Будто ничего и не было, будто и не жили!

– Я бы это горе и горем не считала... – заплакала его сноха.

– Дочь у нее захворала. Моя внучка! – опустил старик печальные глаза и оперся обеими руками на свою гладкую, с железным наконечником палку.— Шайтан, сынок мой, зайди в дом, проведай нашу сиротку Мариам. Вот уже третий день она вся горит огнем. А где найдешь доктора? Наш Аскер где-то лечит раненых. Он бы рукой снял хворь с девочки!

– Я уже все травы перепробовала: и поила девочку снадобьями, примочки ей на спину клала, – говорила мать, идя в дом впереди Шайтана.

Шайтан стал у кровати. Слабый луч полуденного солнца еле осветил лицо Мариам, и Шайтан увидел, что ее лицо пылает, дыхание тяжелое. Мариам открыла глаза и еле слышным голосом спросила:

– А почему у тебя лицо пухлое, Шайтан?

– Зеленые его били, доченька. Зеленые! – ответила мать за Шайтана.

– А за что? – жалобно спросила «А». Шайтан рассказал.

– А мы, девочки, хотели создать свой отряд, чтобы отомстить фашистам за все... – прошептала «А».

Шайтан в другое время высмеял бы девчоночью затею, а сейчас он с жалостью посмотрел исподлобья на худые руки «А», на ее горящее лицо и сказал:

– Вот ты встанешь, наберешься сил – и создадите свой отряд из девчонок!

– А я видела, как фашисты рубили наши парты... – печально произнесла «А». – А в кабинете директора живет фашист. А тополя в школьном дворе вырублены...

Мариам заплакала. Крупные капли слез катились из ее глаз и тут же высыхали на горячих щеках.

Шайтану сдавило горло. Он перескочил через стульчик, на котором лежал маленький пестренький котенок, и выбежал из дома.

Он крался по родному аулу, словно вор. Одна мысль обгоняла другую. В условленное время надо явиться к Солтану; для «А» разыскать лекарство; надо вызволить знаменитого барана – он, этот «проклятый», вдруг оказался для всех дорогим и необходимым. И надо, надо собрать отряд юных мстителей! Это главное. Об этом и надо думать с Солтаном.

Голова продолжала болеть. Но это пройдет. Противнее всего, что у него такой распухший нос и синяки: на лице твоем написано, что тебя избили! Какой мужчина может простить этот позор?!

Недалеко от его дома ему наперерез выскочили из кустов несколько одноклассников.

– Мы ждем тебя! – сказал Хасан.

– Давайте спрячемся, – направился к кустам Шайтан. – Патруль ходит.

– Помнишь, ты сам напоминал нам о «красных дьяволятах». Они могли бороться против Махно, а мы против зеленых – нет? – раздумчиво сказал степенный Хасан, словно обвиняя в чем-то Шайтана.

– Значит, они были храбрее нас. Только и всего! – не сразу ответил Шайтан.

– Нет, и мы не трусы! – горячо возразил худой, длинный Сулейман.– Но нужен командир. Ты и будешь им!

– Из Солтана получился бы настоящий командир!.. – осторожно сказал Шайтан.

– Нет нашего Солтана... – хмуро произнес Хасан. – Наверное, погиб он. Не захотел терпеть фрицев, как терпим мы...

Шайтана обожгло радостью. Но он сдержал ее и деловито спросил:

– У кого из вас есть дома лекарства?

– «Лекарства»! – передразнил возмущенно Сулейман. – Мы ему о чем, а он только о том и думает, как свой нос вылечить.

Шайтан дружески положил ему руку на плечо и объяснил:

– Наша смешная «А» тяжело больна, у неё жар. Ищите лекарства! Дружба, верная дружба – вот что прежде всего нужно мстителям.

– О лекарствах мы мигом разузнаем по домам, – заверил степенно Хасан. – А на главное ты все же не ответил…

– Сулейман прав, ребята: о своем носе думаю! – улыбнулся Шайтан. – С таким носом какой же из меня командир!

Сулейман хотел опять рассердиться, но Хасан обратился к ребятам:

– Давайте не горячиться! Шайтан что-то знает. Придет час – скажет. Мы ему верим. А сейчас пошли по одному. Будем спасать нашу «А»!

Через свой пустынный двор Шайтан вошел в дом. Сестренка, затопив печь, варила в одном чугунке картошку, а в другом – сушеное мясо. Она пытливо посмотрела в лицо брата, желая догадаться, какую новость он теперь принес. Ее не выпускали из дома, и она только по лицам матери и брата узнавала о горестях аула.

Другая сестренка, семилетняя, которая в этом году могла бы уже пойти в школу, вертелась возле Шайтана, задавая бесконечные вопросы, на которые он отвечал односложно «да» и «нет».

Шайтан думал о «проклятом» баране. В Аламате пропал почти весь скот, но «проклятый» баран – особый. Он принадлежал Солтану, его увел Кривой, а с этим полицаем у Шайтана свои счеты: первым его ударил в комендатуре Сушеный, но по-настоящему избил Кривой, заперев в чулан. Хотя бы назло Кривому надо спасти барана. Ведь так здорово поддал баран Кривому рогами!

Не дожидаясь картошки, Шайтан нахлобучил шапку и выбежал из дома, направился в сторону завода. Солтан сумел увести из комендатуры коня. А у Шайтана не хватит ума вызволить барана?

Он услышал легкий свист. Коренастый Хасан, неторопливо переваливаясь, догнал Шайтана и вытащил из кармана какие-то тюбики.

– Вот. Для Мариам... От моего брата остались. У него тоже был жар, но он поправился и ушел на фронт. Перед тем как сюда пришли зеленые, мы от него получили письмо. Он лежал в госпитале... без ноги.

Они вдвоем поспешили к дому Мариам и застали там Сулеймана, пришедшего тоже с лекарством.

– А теперь идемте выручать барана! – объявил Шайтан своим друзьям.

– Баран? Какой еще баран? – завопил Сулейман, изобразив своей тощей длинной фигурой вопросительный знак.— Подумать только: чем мы ни занимаемся! Хороши мстители!

Через огороды Шайтан привел ребят к конезаводу. Еще издали они услышали истошное блеянье барана. Притаившись за изгородью, ребята стали наблюдать за тем, как фашисты с помощью полицаев лихорадочно грузили на ишаков и лошадей оружие и продукты. Со стороны Кисловодска то и дело подъезжали машины с военными грузами для доставки их вьюками на перевал.

Снова услышав блеянье барана, Шайтан понял, где заточили отару: в той конюшне, где раньше отнимали жеребят от кобылиц.

– Идемте туда! – приказал Шайтан. – Никто не заметит, фрицам не до нас. Видно, плохи у них дела на перевале. Видите, как суетятся?

Каково было удивление Шайтана, когда он увидел тетю Марзий, сидевшую на корточках у запертых дверей конюшни и проливающую слезы...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Солтан как мог утеплил свою пещеру, защитил ее от ветра: вход заложил камнями, оставив место только для того, чтобы прошла лошадь. Заготовил дров, сколько смог насобирал и насушил сена для Тугана. Была у него теперь зимняя одежда, был картофель, немного муки. Много чего приволок ему Шайтан к Белой скале, даже тыкву умудрился притащить. Все это Солтан перевез на коне в пещеру.

У Белой скалы у него состоялся совет с Шайтаном.

– Ты сделал многое, – говорил Шайтан. – Спас знаменитого Тугана, которого хотели, оказывается, подарить Гитлеру. Буденовская сабля – у тебя. Это все здорово! Но наши ребята рвутся к делу. Что им сказать?

– Я долго думал, Шайтан! У меня было много времени для этого. Что сможем сделать мы, школьники, без оружия, без помощи взрослых? Фрицы сразу переловят нас, как куропаток. Надо искать партизан!

– И Хасан считает так... А другие горячатся.

– Кто-то в Аламате наверняка знает, где партизаны...

– Нам разве скажут? Не верят мальчишкам...

– Узнавай! Выведывай! Я тоже езжу на Тугане все дальше в глубь леса, чтобы напасть на след партизан. Где-то ведь орудуют наши люди во главе с председателем Хаджи-Сеитом?

Этот разговор с Шайтаном Солтан вспоминал, сидя в глубине пещеры на своей толстой постели из сухой травы. На горячих угольях грелся котелок с похлебкой. Кутаясь в шубу, Солтан смотрел на красные уголья. Рядом лежала его сабля. Слышалось мерное дыхание дремавшего Тугана. Скоро начнутся снега, и Солтан окажется в пещере словно замурованный: не выйдешь и не выедешь отсюда, не сможет приходить к Белой скале Шайтан – обнаружат следы. Рано или поздно фрицы доберутся и сюда.

Голова не вмещала всех забот. Казалось, каменные стены давят на нее. Камень угнетал. Но он и спасал. Он дал кров беглецам…

Камень имеет сердце и память, знает и помнит многое. Спрашивай – расскажет.

Искры гневно метал и стонал камень, когда по нему двигалось нашествие Чингисхана, скакали орды хромого Тимура, волоклись кончики жестоких сабель деникинцев, топал кованый сапог фашиста-душегуба.

Солтан верил, что прозвенит еще камень радостно под траками советских танков, высекутся победные искры под копытами краснозвездных конников, иначе не стоило бы и жить.

И словно раздвинулись от этой мысли каменные стены пещеры-спасительницы.

...Утро. Солтан осторожно выглянул, осмотрелся. Зловещая тишина. Молчат птицы. Холоднее, чем вчера. Моросит дождь.

Солтан вывел Тугана, пустил пастись на скудной, увядшей траве. Набрал в котелок воды, раздул угли, покрытые пеплом золы, развел маленький огонь, чтобы согреться кипятком.

Прицепил саблю. Кроме нее и финки у него нет никакого оружия, а если бы даже были пистолет или винтовка, он не умеет стрелять.

Солтан оседлал Тугана и отправился в разведку.

Вернулся он ни с чем уже затемно. Дав немного отдохнуть коню, он поспешил к Белой скале, где опять должна быть встреча с Шайтаном.

На подходе к Белой скале Солтан придержал коня, прислушался. Донесся трехкратный свист. Туган насторожился.

Солтан ответил таким же трехкратным свистом и повел коня под уздцы к Белой скале.

– Поешь лепешек, – вытащил Шайтан из-за пазухи сверток. – Еще не успели остыть.

Солтан поделился с Туганом, откусил лепешку и спросил первым долгом:

– Видел мою мать? В прошлый раз ты мне что-то почти ничего и не говорил о ней.

Шайтан молчал.

– Что с ней? – кинулся к нему Солтан. – Не скрывай!

– Ее посадили, – выдавил Шайтан из себя. – Я хотел вообще молчать об этом...

Солтан в отчаянии опустился на землю. Шайтан рассказал:

– Я тебе уже говорил, что увели вашего барана и ишака. Я хотел спасти «проклятого», но тетя Марзий пришла к конюшне раньше меня. Откуда ни возьмись, подскочил Кривой, выругался матом, засмеялся и сказал тете Марзий: «Хорошо, что пришла! У тебя на глазах я и покончу с твоим проклятым бараном. Пора же его когда-то съесть?» Он открыл конюшню, мать кинулась к нему, начала умолять. Он взялся ее отталкивать, а баран выскочил, ударил Кривого рогами в спину и побежал к тете Марзий. Тут Кривой и прикончил его из пистолета.

– Мать где?

– Тетю Марзий Кривой сразу повел в комендатуру. Сидит она там! Утром ходили туда наши аксакалы, спрашивали, как смеете держать женщину за решеткой ни за что. Им ответили: «Она заложница. Явится ее сын с конем – отпустим!»

Солтан вскочил. В бешенстве он был готов мчаться в аул, ворваться с саблей в комендатуру, освободить мать. Он в своей жизни еще не резал даже курицу, но теперь был готов на все.

– Сядь, Солтан, – обхватил его за плечи Шайтан. – Мы пока бессильны. Есть важная новость: по дороге к перевалу партизаны, говорят, отбили караван с фашистским оружием. Фрицы ищут в Аламате тех, кто связан с партизанами, одним из которых почему-то называют в ауле и тебя.

– Если бы я был им! – вскричал Солтан. – Как мне вызволить мать?

– Понимаешь, Сушеный Бок уже пустил в ход списки семей командиров Красной Армии: жен командиров, говорят, посадят и отправят в городскую тюрьму, у нас же своей нет. С ними отправят и тетю Марзий! Моя мама носила еду тете Марзий, а поговорить с ней не смогла даже через окошко – отогнали. Но маме послышалось, что тетя Марзий как будто говорит о чем-то с учительницей. Помнишь? Переводчица.

– Эта предательница?! Я поеду в Аламат, Шайтан!

– Не спеши. Старики считают, что тетю Марзий могут не отправить в город, а даже выпустить, чтобы наконец приманить тебя к дому. Подождем!

– Нет, Шайтан! Так мы всю войну прождем. Раз партизаны пришли и к нашим ущельям, начали действовать здесь, пора и нам! Слушай мой план. Кривой обидел тебя, обидел мою мать. Простить ему? Мать лучше погибнет в тюрьме, чем простит мне это... Вот мой план!

Две буйных головы – одна иссиня-черная и другая огненно-рыжая – склонились друг к другу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

...Кривой пришел к себе домой поздно ночью и торжествующе бросил на стол узел, который зазвенел. Жена алчно бросилась к узлу, но тот грубо оттолкнул ее и начал вытаскивать из мешковины горсть за горстью золотые вещи: коронки, браслеты, серьги, медальончики, кольца. У жены разгорелись глаза, она щупала, пробовала на зуб каждую вещь, бормотала в восхищении:

– Откуда нам привалило такое счастье? Где добыл?

– «Откуда, откуда»! Оттуда! Комендант нас на подмогу нашим посылал в Пятигорск. Там пришлось немножко прижать этих грязных евреев... Хозяйка вот этого браслета умоляла меня, чтобы я ее не прикончил... А церемониться-то некогда! Война!

Кривой хвастливо рассказал, как ловко он эти драгоценности прятал от паршивых фрицев: то в сапоге, то в газырнике, то за щеками.

– Не думай, что добро это я тебе отдам! – закончил он и начал жадно сгребать золото почему-то в карманы. – Добьем Советскую власть, и я на это золото построю в городе мануфактурную фабрику, поставлю дом не хуже дворца. Вот тогда и заживем, баба! А пока... Если пикнешь, проболтаешься кому – читай молитву! Стяни-ка мне второй сапог. Поживее, дура! Чего ты там к окну прилипла?

– Горим! Наши скирды на огороде запылали! – вскрикнула жена и от страха осела на пол.

Кривой, поспешно натягивая сапог, зарычал:

– Это соседи! Позавидовали, сволочи, что у меня пять коров и сотня овец... Куда я сунул пистолет?

Кривой ринулся на огород, освещаемый огнем скирды, как заревом. Ослепленный пламенем, Кривой с пистолетом обежал огонь и метнулся к еще целой скирде, крича наугад:

– Стой! Иначе пуля вдого...

Он не успел договорить слово «вдогонку», захлебнулся в крике: чьи-то цепкие руки вцепились сзади в горло, впихнули в рот тряпку, накинули на голову мешок.

Кривого повалили, связали ему ноги и, подтащив к плетню, перекинули через него. Там его, как хурджун* , подняли и положили поперек седла. Все делалось беззвучно и быстро.

Кто-то вскочил на круп лошади, и Кривой почувствовал, как конь помчался галопом. «Туган!» – похолодел Кривой от ужаса. Во всем Аламате только у Тугана мог быть такой бешеный аллюр.

Топот копыт приглушился. Кривой понял, что они скачут теперь по лесу.

---

* Хурджун — переметная сума

Конь остановился. Кривого лихорадило.

Ни голоса, ни звука... Неужели ушли? Сквозь мешок ничего не видно. Он начал кататься по земле и охнул от боли: впились в тело золотые вещи, рассованные по карманам.

«Золото! Со мной! – обожгла его надежда. – О, Аллах, ты спас меня. Откуплюсь!»

Его куда-то поволокли, как мешок с початками. Подняли, прижали спиной к дереву, привязали к нему сначала за Кривую Талию, потом за плечи и щиколотки.

Сняли мешок с головы. Вынули изо рта кляп.

Солтан зажег спичку, чтобы предатель мог видеть лица тех, кто свершит сейчас правосудие.

– Щенки... – прошипел Кривой. – Что это за шутки? А ну, развяжите!

– Тихо... – сказал Солтан. – Мы тебя судим, полицая!

– Кто это – вы? – удивился Кривой, глядя на ребят.

– Отряд мстителей. Отряд «Вечный всадник»! Мы тебя судим за то, что ты предал Родину и пошел прислуживать к фашистам! За то, что ты надругался над своими земляками! Говори свое последнее слово, если тебе есть что сказать...

– Голодранцы! Босяки! – зарычал Кривой. – Если с моей головы хоть один волос... Да я вас...

– Мы думали, что ты раскаешься хоть перед смертью... – произнес Хасан жестко.

– Приговор привести в исполнение! – суровым, размеренным голосом приказал Солтан.

– Стойте! Стойте! – трясущимися губами сказал Кривой. – У меня в карманах... Все отдаю вам! Развяжите... Я сам! Я сам достану сколько надо...

Шайтан подскочил, вывернул ему карманы. В траву, позвякивая, посыпалось что-то не видное в темноте.

– Какие-то железки, – объяснил Шайтан друзьям.

– Дурак! – гневно закричал Кривой. – Это не железки, а золото. Чистое золото. Все – вам... Разбогатеете! А мне – жизнь. Только жизнь...

– «Золото»... Это и есть твое последнее слово, «Кривой?» – с презрением сказал Солтан и распорядился: – Готовьте его.

Ему снова заткнули рот, отвязали от дерева. И подвели к самому краю Белой скалы.

Дна пропасти с его кинжалообразными камнями не было во тьме видно...

...В эту же ночь в Аламате произошло происшествие, к которому юные мстители не имели отношения. Арестованных жен офицеров Красной Армии, а с ними и Марзий, освободили партизаны, перебив охрану. Всех этих женщин, которых ждала мрачная судьба, партизаны увели с собой.

Что случилось, то случилось. К добру! В Аламате ломали голову над другим: как стало известно партизанам столь быстро, что фашисты арестовали женщин? И еще: после налета кто-то из полицаев проболтался родственникам, что женщин собирались отправлять в городскую тюрьму тайком, среди ночи, в три часа утра.

Но за час до этого и нагрянули партизаны! Значит, есть у них свой человек даже в самой комендатуре...

* * *

После «партизанской ночи» в Аламате количество фашистских солдат при комендатуре увеличилось. Комендант и Сушеный Бок, еле уцелевшие в ту ночь да еще встревоженные таинственным исчезновением Кривой Талии и непонятным пожаром в его дворе, озверели вконец. Беспрестанно шли в дворах повальные обыски. Запрещалось выходить со двора после шести часов вечера. Отлучаться из аула даже на похороны можно было лишь по разрешению. Комендатуру оцепили колючей проволокой и расставили там пулеметы.

Говорили, что карательные отряды из города будут прочесывать все леса в округе в поисках партизан, причем с собаками-ищейками.

...Шайтан уже встал, когда мать вошла с охапкой дров.

– Зима нагрянула, сынок! Каково же там, на войне, нашим?

Шайтан оделся, наскоро поел и выскочил из дому. Снег шел мягкий, большими хлопьями. Весь Аламат был одет в белое.

На улице ни души, ни звука. «Как оживал Аламат при первом снеге! – вспомнил он. – Катались на санях, играли в снежки, даже взрослые не удерживались!»

Во дворе делать ему нечего, никакой живности нет. Он брел по улице, засовывая озябшие руки в рукава шубы. Свои ботинки он отнес Солтану и сейчас шагал в неуклюжих отцовских сапогах сорок третьего размера. Повязал голову серым отцовским башлыком, из-под которого выглядывала черная шерсть шапки, а из-под нее – собственные рыжие волосы.

Шайтан почувствовал, что за ним кто-то неотступно идет, хотя шагов на мягком снегу и не слышно. А вдруг узнали, кто казнил Кривого, и сейчас сцапают? Его пробрал холодный пот, но он не оглянулся.

– Здравствуй, Шайтан! – раздался сзади негромкий голос. Это была учительница, которая сидит в комендатуре с немцами и болтает на их языке.

Не ответив, он хотел свернуть в узкий переулок.

– Стой! – попросила она. – Впрочем, давай свернем вместе, а то здесь ветрено. С каких это пор ученик перестал отвечать на приветствие учителя?

– Гутен морген! – насмешливой презрительно произнес он. – Что это ты так гордо держишься, словно... защитник Отечества!

– Не защитник. Но ведь и не предатель, верно? – ответил он и удивился: чего это она так просияла, если ей намекнули, кто она такая?

– Я слышала, твоей однокласснице Мариам опять плохо. Пойдем со мной, я достану лекарства, а ты отнесешь.

– Сами достанем! К немецкому лекарству не каждый в Аламате привык.

Она хотела сказать еще что-то, но Шайтан круто повернулся и пошел назад, со жгучей ненавистью думая о предательнице.

...В полдень Шайтан, Хасан и Сулейман тайком сошлись в пустом хлеву, теперь таких в Аламате много.

А в следующую ночь в Аламате вспыхнуло сразу два пожара: загорелся дом Сушеного Бока и заполыхал школьный сарай, где хранились боеприпасы и продукты фашистов.

Среди тех, кого согнали тушить пожар во дворе старосты, были и рыжий Шайтан, и Хасан, и Сулейман, и другие ребята из отряда «Вечный всадник». Они шумели и делали вид, что стараются вовсю. Пробегая мимо них в свете пламени, Сушеный Бок крикнул им плачущим голосом:

– Старайтесь, джигиты, не дайте пропасть добру. Всех угощу!

На следующий день вожаки отряда «Вечный всадник», очень довольные вчерашними пожарами, собрались опять на свое тайное совещание.

– Надо на некоторое время притихнуть, – высказался Хасан. – Теперь фрицы будут следить за каждым шагом, перевернут весь Аламат.

– У меня в голове одна забота: как там Солтан? – промолвил Шайтан.

Шайтану есть теперь чем порадовать друга: в ауле были партизаны, они освободили женщин, освободили мать Солтана, произошло два пожара. На один раз таких новостей немало. Но как добраться до Белой скалы? Лежит снег, будут следы. А ведь у Солтана еда должна быть на исходе... И Туган живет впроголодь, он бы обрадовался даже горсти овса.

– Я рискну пойти к Белой скале! – горячо вызвался Сулейман.

– Ты-то рискнешь, но кем? Только собой? Нет, и Солтаном, и конем, и саблей! – рассудил Хасан и обратился к Шайтану: – Решай, командир.

Нет, нельзя идти к Солтану. Пусть он и Туган поголодают. Не умрут. А наведем на их след – верная гибель! Конечно, Солтан обидится, что не пришли. Он ведь не знает, что здесь произошло и происходит. Но он поймет, что в Аламате что-то случилось.

...В условленное время Солтан с Туганом были близ Белой скалы. Почему нет Шайтана? И что там с матерью: увезли ее в тюрьму или передумали? Удалось ли Шайтану и другим ребятам узнать что-нибудь о партизанах?

Скорее всего, никто не явился на связь потому, что фрицы нашли труп Кривого. Отряду пришлось притаиться. А тут еще этот снег. Птичка про-

бежит – и то следы остаются. Нет, нельзя сюда больше ходить из Аламата. И Солтану тут больше нельзя оставаться. Зимний лес выживал двух беглецов...

Он вздрогнул от треска сучьев. Конь тревожно всхрапнул и раздул ноздри, принюхиваясь. Солтан закинул уздечку на шею Тугана, чтобы взлететь в седло.

Опять треск. Солтан вскочил в седло. Он и Туган замерли. Снег и губит, и спасает: белый конь, белая шуба и белый башлык – не так заметно на снегу!

Снова треск. Солтан отчетливо увидел всадника, наблюдающего за ним из-за огромной сосны. Рядом еще один.

Солтан развернул Тугана, чтобы поскакать за Белую скалу, а там – в глубь леса.

Погоня! Туган понял опасность и летел через камни, поваленные деревья. «Впереди широкий и глубокий овраг, – вспомнил Солтан. – Как быть?»

Он на миг оглянулся. Впереди скачет, кажется, Алия, бывший конюх завода, прозванный Обрубком. Остановиться? Но другой всадник не в горской одежде, а в немецкой форме. Значит, Обрубок служит у фрицев...

– Быстрей, Туган! – шепнул Солтан коню.

Раздался выстрел. Другой. Это только прибавило Тугану рыси. «Стреляют мимо! – догадался Солтан. – Им нужен живой конь!»

Быстро темнело. Погоня не отставала. Снова выстрел, на этот раз прицельный. Туган на миг споткнулся, но увидел перед собой овраг, собрал все силы и прыгнул, перелетел на самый край по другую сторону. Преследователи круто вздыбили коней перед оврагом – такие препятствия не для них!

Солтан ушел от погони далеко и спешился в темном лесу. Он поспешно осмотрел коня: задняя левая нога ранена! В нее попала пуля, предназначенная не коню, а наезднику.

Конь дрожал от усталости, страха и боли. Солтан разделся, разорвал нижнюю рубашку и перевязал ногу коня. Отдохнув, тронулись дальше. Солтан вел Тугана под уздцы. Пробивались медленно. Не видать ни зги. Лес такой густой, что и неба не видать. Ноги проваливаются в глубокий мягкий снег. Сил у обоих нет, но надо идти вперед и вперед, подальше от своей пещеры. Может быть, удастся выйти к своим, на перевал?

Шаг... Еще шаг... Садиться на раненого коня Солтан не желает.

Шаг... Еще шаг... Солтан считает до десяти и останавливается на отдых. Еще раз до десяти. Отдыхать лучше, если прислониться к дереву.

Ноги не удержали, Солтан сполз вдоль дерева, присел на снег и повалился на бок, судорожно сжимая в руке повод коня. Он не чувствовал, как Туган вцепился зубами в рукав шубы, словно требуя: «Вставай, собери силы, будь мужчиной!»

Но Солтан был без сознания. Дни и недели недоедания, усталость, пережитый сегодня страх и тревога за раненого коня, потеря последнего, пещерного крова – все сошлось враз и повалило его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Обрубок и фашист вернулись из лесу злые и обессиленные. Обрубок был назначен в полицаи вместо «геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей» Кривого.

Сушеный Бок в душе считал Алия никудышным человеком. Обрубком его прозвали метко: на совсем коротеньких ножках, а тело грузное, лицо – цвета сырого мяса.

До войны он чистил конюшню на заводе всегда с таким видом, будто его только что смертельно обидели. Он из-за зависти ко всем окружающим жить не мог, любую работу делал как унизительную для себя.

«Этот любого загрызет, только ткни пальцем», – подумал Сушеный Бок и взял его в полицаи, понимая, что и его самого Обрубок при случае не пожалеет. Но кого еще возьмешь?

Вернувшись из погони, Обрубок поспешил к Сушеному и заявил:

– Я напал на след Солтана и коня. Доложи коменданту, что это я напал!

– Не поймал же.

– Зато стрелял. Теперь далеко не уйдут. Доложи! Фриц, который со мной был, все равно доложит!

Наутро староста доложил:

– Герр комендант, Туган и тот звереныш обнаружены. Я напал на их след. Нужны люди, чтобы прочесать лес. Мальчишка ранен, далеко не уйдет.

Учительница перевела.

Комендант хмыкнул и начал нервно ходить по комнате. Стужа пронизывала его тело, хотя в печке трещали сосновые поленья. Керосиновая лампа с тусклым зеленым абажуром качалась над столом, как покойник на виселице. «Не так все просто и радужно для нас, победителей, в этих проклятых горах, – думал Клаус.– Земля горит под ногами. Никакой нет поддержки и благодарности от населения. С перевала идут плохие вести, да и вообще на всем фронте творится что-то непонятное...»

В дверь нахально протиснулся Обрубок с лицом обиженным из-за того, что его сюда не позвали.

– Это моя пуля ранила коня...– начал он. И торжествующе посмотрел на старосту. – Я бы давно нашел беглецов, если бы...

– Где ты стрелял в беглецов? В каком месте леса? – вдруг спросила переводчица.– Говори точно.

– За Белой скалой, перед оврагом. Да что я, вру? Солдат подтвердит.

Комендант, выслушав перевод, вдруг взбеленился и накинулся на старосту:

– Ты же говорил, что ранили мальчишку! А оказывается, коня? Идиоты! Кто вам позволил стрелять в коня! Мне нужен конь, а не конина!

Сушеный Бок со злорадством глянул на Обрубка, но вздрогнул от окрика:

– Вон, болваны! Я вызову из города карательный отряд для прочески леса. Если не выведете отряд на след, вас обоих вздернут на один сук в том же лесу!

А Шайтан тем временем ломал голову над загадками. Первую он разгадал легко. Кто-то таинственно помог спасти «А» от болезни. Выручило лекарство, которое ее дедушка обнаружил в пакетике на столбике своей собственной калитки!

– Заграничное лекарство! – сказал дед Шайтану при встрече. – Аллах нам его послал, сынок, сам Аллах... Девочка ожила, жар проходит...

«Аллах послал...» Шайтан вдруг вспомнил, как учительница предлагала лекарство для «А». Неужели это она подбросила пакетик? Шайтану на миг стало стыдно, что он плохо о ней думает. Нет, предательница есть предательница, даже если она ненадолго расчувствовалась из жалости к «А».

Вторую загадку Шайтан так и не разгадал. Один из членов отряда сообщил ему, что на столбе возле школы видели листовку. Всего четыре слова: «Фашисты окружены под Сталинградом!»

– Сам видел?

– Сестра. Листовку сразу сорвал солдат.

– От руки написана?

– Печатная! Наверное, из Пятигорска. В нашем переулке только о ней и разговору. Люди говорят: «Эх, своими бы глазами такие слова увидеть! Верные они или неверные, а как бальзамом по сердцу было бы!»

Шайтан задумался. Кто мог приклеить листовку? Откуда ее достали?

Он так ни до чего и не додумался, но к вечеру его вдруг осенило: разве нельзя размножить листовку? От руки! И разбросать потихоньку по всем улицам, по дворам... Каждый член отряда шутя заготовит штук по десять. Больше не удастся, потому что писать придется левой рукой, печатными буквами. А подпись – «Штаб отряда «Вечный всадник». Это чтобы люди верили.

На второй день к вечеру в Аламате начался переполох. Солдаты и полицаи метались по улицам и дворам, собирая или отбирая листовки. Многих водили на допрос в комендатуру, но ничего толком добиться от них не могли.

– Вижу, валяется листок, – рассказал там один старик.– Поскорее схватил, а то не из чего самокрутку сделать. Верните, пожалуйста!

– А мы из них голубей хотели мастерить! – объясняли ребятишки.

Шайтан ходил по улице, прислушиваясь. Ему встретилась учительница, остановила его и тихо спросила:

– Ты о листовках слышал?

– Нет, – сказал он, стараясь не отводить глаз от ее пристального взгляда.

Она поглядела зачем-то на его руки и встревожено приказала:

– Марш домой! И немедленно вымой руки.

– Что вы ко мне все время пристаете? – обозлился Шайтан.

– Хоть ты и не учишься, но не можешь быть неряхой. Иди и немедленно отмой руки. Своим друзьям прикажи то же самое...

«Эта предательница, эта чистоплюйка, кроме всего, и ненормальная! – решил Шайтан. – До чистых ли рук при такой жизни? Люди забыли, как мыло выглядит!»

Учительница и не думала отставать от него.

Ты не левша? – спросила она шепотом.– Нет? Отмой руки известкой или золой. Беги! Ну!

Завидев вдали людей, она оставила Шайтана в покое и заторопилась к заводу.

«Сама ты левша...» – с обидой прошептал Шайтан и глянул на свою левую руку. Вся в чернилах... Он обомлел от пришедшей в голову мысли: по руке могут узнать, кто писал листовки! Поняли, что писались они левой рукой. Это нетрудно увидеть.

Спеша успеть до комендантского часа, Шайтан передал отряду по цепочке: всем начисто отмыть тайком чернила с рук, потом выпачкать их обычной грязью, а заодно уничтожить бумагу и все следы работы.

Вечер прошел в тревоге. Но никто с проверкой не появился. Шайтан не знал, что ее отложили на утро, потому что вечером мало что обнаружишь: в домах темно, многие сидят при лучинах.

Утром по домам пошли солдаты и полицаи. Везде они коротко приказывали:

– Руки и тетрадки на стол!

...«Кто же она на самом деле такая, эта учительница? – задумался Шайтан. – Ведь она вольно или невольно уберегла отряд от верного провала и жестокой кары... Кто она?»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Сквозь тяжелые веки Солтан почувствовал яркий свет. Но не он привел его в себя, а Туган. Конь тревожно ржал, тянул повод, судорожно зажатый в оцепеневшей руке Солтана, воинственно озирался на кого-то.

Уже светает! Все тело Солтана сковано морозом. Он весь превратился в волю, заставил себя потихоньку подняться. Он не смог бы это сделать, если бы не цеплялся одной рукой за шершавую кору дерева, а другой – за повод коня.

Еле встав, он попробовал размяться и охнул. Казалось, все его тело – это не мышцы, не кожа, не кровь, а лед, настоящий лед.

Туган тревожно ткнулся ему мордой в лицо, пахнул теплом. И Солтан понял, что все ночные часы его грело дыхание Тугана. Иначе бы несдобровать!

«Но почему конь так взбудоражен? подумал Солтан, приходя в себя. – Он чувствует опасность».

Солтан бросил кругом затуманенный взор и вдруг отчетливо увидел меж деревьев зловещий зрачок винтовочного дула.

Он судорожно рванул было из ножен саблю, одновременно занося ногу в стремя.

– Стой! Не двигаться... – раздался из-за деревьев негромкий уверенный голос.

Человек шел к нему медленным шагом. Он был в белом полушубке, валенках и в ушанке. Подошел и приказал:

– Следуй вперед!

Русская речь обрадовала Солтана, но разве не могут оказаться среди русских такие же предатели, как Сушеный Бок или Кривой?

Пришли к какой-то деревянной избушке. Вокруг нее сновали вооруженные люди. Сюда доносилась артиллерийская канонада, над головой пролетали «мессершмитты».

Часовой у избушки дал понять: можно входить. Человек, взявший Солтана в плен, потянул из рук Солтана повод, но Солтан вцепился ему зубами в руку и старался выхватить саблю: с конем он не расстанется ни за что.

– Вот звереныш! – крикнул кто-то. – Ну, пусть привяжет коня сам.

– Без коня никуда не пойду! – ответил разъяренный Солтан, еще крепче сжав повод.

– С конем в избу зайдешь?

– Ни с конем, ни без коня! Кто вы такие?

– Люди, дуралей! Входи, а коня подержим, не съедим, – сказал один из вооруженных, любуясь Туганом, да и все остальные разглядывали коня, цокая языками от восхищения.

– Убейте на месте, а повод никому не уступлю!

На шум вышел человек командирской осанки, с чисто выбритым лицом. Он сразу узнал и парня и коня, но не подал виду, распорядился:

– Немедленно обработайте коня, видите – рана! И накормите обоих, они умирают от голода. И еще: вызвать ко мне Зубра.

– Есть, товарищ командир!

При слове «товарищ» у Солтана расцвело в сердце. Неужели свои? На военных не похожи, но вооружены. И порядки военные.

Его с конем повели к еле заметной под снегом землянке. По дороге он заметил, что здесь таких землянок много, а в глубине леса стояли у коновязи лошади.

«Не партизанский ли это отряд?» – гадал Солтан. Но ему видеть партизан никогда не приходилось, он не знал, как они должны выглядеть. Бывает ли у них своя особая форма?

Солтану вынесли из землянки миску горячего супа и полбуханки хлеба, а перед Туганом положили огромную охапку сена. Оба кинулись с жадностью есть.

Вдруг Солтан заметил идущего к нему издали человека, тоже в полушубке, с длинной бородой. Левый пустой рукав его полушубка был заткнут за широкий ремень. Что-то знакомое в лице этого человека... Солтан даже перестал есть.

– Туган? Солтан? – радостно вскричал человек.

Солтан кинулся к нему. Это же свой! Аламатский! Председатель сельсовета дядя Хаджи-Сеит! Из-за бороды его и не узнать!

– Товарищ Зубр! Вас к командиру, – козырнул Хаджи-Сеиту боец.

– Иду, иду. Дайте только полюбоваться на двух своих знаменитых земляков!

– Стойте, дядя Хаджи-Сеит! – взмолился Солтан. – Вы никого из Аламата не видели?

– Да я и сам там был, сынок. Кто же, думаешь, освобождал твою мать и других женщин?

– Где мама?

– Э-э, да ты отстал от жизни, одичал в лесу. Марзий мы отправили из своего лагеря в Даусуз, к твоему дедушке. Он ее надежно спрятал у родичей. Ну, ешь, ешь. Потом поговорим!

* * *

Большой партизанский лагерь пришел в движение. Бойцы седлали коней. Командиры давали последние распоряжения. Женщины варили обед и разносили по землянкам большие миски, которые источали в морозном воздухе пар.

Отряд готовился к большому делу.

Командир отряда Сергей Петрович Быстров, собрав ближайших помощников, объявил:

– Выступаем через час. Итак, товарищи, Северный Кавказ вот-вот будет освобожден от фашистской нечисти. Сталинградская битва оказала на это свое решающее влияние. Прошу всех поближе. Вот где нам наступать. Части Советской Армии пройдут вот тут, наша же задача – двинуться по Гумскому ущелью, выйти к этому аулу, а дальше – к Кисловодску...

Он склонился над картой, водя по ней тонким указательным пальцем.

В мирное время он работал пианистом в Кисловодске. Во время оккупации его жену и сына фашисты казнили в душегубке.

В это время у входа в домик послышался шум. В дверь заглянула голова в лохматой шапке, и хозяин шапки сказал взволнованным юношеским голосом, с акцентом:

– Товарищ командир, я поймал шпионку!

Это докладывал Солтан. Он втолкнул в комнату девушку в белом пуховом платке и в пальто с серым каракулевым воротником, а сам стал на страже в дверях. Выглядел он заправским воином: полушубок перепоясан широким солдатским ремнем, к которому прицеплена серебряная сабля, в руках – винтовка.

– Докладывайте,— коротко сказал ему Быстров.

– Она предательница, переводчик! Сейчас пробиралась к нам, чтобы шпионить. Я стоял в карауле на дальнем посту и увидел, как она крадется по лесу!

Командир спросил девушку:

– Кто вы и зачем сюда шли?

– Я — «Бриллиант», товарищ командир!

– Твой товарищ немецкий комендант Фриц Клаус, а не наш командир! – возмутился Солтан, боясь, что ей поверят.

В это время вошел Хаджи-Сеит и обрадовано протянул руки к девушке:

– Как вам удалось добраться, Сейир Отаровна? Услышав это имя, Быстров встал и протянул руку учительнице:

– Здравствуйте, «Бриллиант»! Так вот вы какая? Молодчина вы! Настоящий бриллиант, без кавычек: хорошо поработали на партизан, ваши сведения делали свое дело на перевале.

Солтан растерянно провел рукой по лицу, словно прогоняя сон. Все расхохотались.

– Она ведь спасла тебе жизнь, – сказал Хаджи-Сеит Солтану. – Она выпытала у Обрубка в присутствии самого коменданта, где этот полицай ранил твоего коня. Дала нам знать. И мы взялись прочесывать лес. А то бы так там и замерз!

– Ну, здравствуй, «Вечный всадник»! – подошла Сейир Отаровна к Солтану с улыбкой.

– Простите меня... Я ведь впервые в партизанах! – покраснел он.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Фашисты удирали из Аламата. Удирали так скоропалительно, что никто в ауле не успел ничего понять.

Увидели только, что фрицы стали поспешно нагружать машины. Распоряжался сам комендант.

Сушеный Бок всполошено вертелся около него и что-то ему горячо доказывал, брызгая слюной. В это время подъехала бричка, доверху нагруженная вещами, на них восседала заплаканная жена Сушеного, закутанная в большой серый пуховый платок.

Сушеный показывал коменданту то на свою бричку, то на грузовик, а комендант отрицательно качал головой.

Вовсю трудился Обрубок со своими дружками, бегая взад-вперед на коротких ногах и помогая солдатам грузить машины своих хозяев.

Машины готовы. Но солдаты, вместо того чтобы сесть в них или на мотоциклы, начали выносить солому и обкладывать ею здание школы, поливать стены бензином из канистр. Полыхнуло пламя. В это же время показался черный дым над зданиями конезавода.

Сушеный Бок и его жена стали лихорадочно кидать свои вещи с брички в кузов грузовика. Комендант, собиравшийся уже сесть в свою машину, вдруг обернулся, вытащил пистолет и выстрелил в Сушеного. Тот упал, раскинув руки и окрасив своей кровью снег. Жена с воплем кинулась к нему.

Взвыли моторы, застрекотали мотоциклы. Фашисты покинули Аламат. Как только утих шум машин и мотоциклов, аламатцы, будто договорившись, бросились со всех улиц и переулков к школе и конезаводу тушить пожар.

...К вечеру в аул вошла рота советских бойцов. Аламатцы высыпали на Главную улицу, обнимали, целовали бойцов, выносили еду, перевязывали раненых солдат. Это была рота, дошедшая сюда с боями против отступающих к перевалу частей гитлеровской армии. После короткого привала в ауле рота двинулась дальше.

А утром из Гумского ущелья прибыл в Аламат партизанский отряд Быстрова. Не все смогли узнать в бородатом человеке своего Хаджи-Сеита, но уж Тугана, белоснежного и гордого красавца, разглядели сразу, а на нем – «Вечного всадника» Солтана. Правая его рука на перевязи. Все семеро членов отряда «Вечный всадник» во главе с Шайтаном прежде всего кинулись к Солтану.

Партизанам тоже надо спешить через аул, у них своя задача. Но разве отпустят аламатцы так скоро?

Вдруг Шайтан изменился в лице, пробился сквозь толпу партизан и аульчан: он увидел учительницу.

– Почему же вы не уехали со своими немцами? – хмуро спросил он.

Аламатцы расступились, бросая враждебные взгляды на учительницу.

Быстров заметил это и поднял руку:

– Эта девушка – наш и ваш верный друг. Когда ее назначили переводчицей комендатуры, она через несколько дней решила сбежать, но мы по-

дослали к ней своего человека, и она осталась, передавала нам сведения о прохождении фашистских войск, о положении в ауле. Если бы мы в каждом населенном пункте не имели вот таких людей, как Сейир Отаровна, нам было бы намного труднее!

– Разрешите, товарищ командир, – обратился Сслтан к Сергею Петровичу, приложив руку к черной лохматой шапке. – Разрешите доложить, что здесь действовал наш отряд мстителей под названием «Вечный всадник». Вот это его командир Шай... нет, Мурат Данашев!

И он вывел Шайтана за руку вперед. Тот тащил за собой своих друзей, смущенный, в огромных отцовских сапогах и мешковатом ватнике.

– Я догадывалась, что Шайтан командует юными мстителями, но выдавать себя боялась, – шепнула Сеир Отаровна Хаджи-Сеиту.

Сергей Петрович поздоровался с членами отряда за руку, поблагодарил их за службу Родине.

– А ваш друг Солтан, «Вечный всадник», – сказал он, – сохранил знаменитого скакуна и саблю, принадлежавшую самому Семену Михайловичу Буденному! Спасибо вам, ребята!..

Партизаны вскочили на коней, расцеловались с Хаджи-Сеитом.

Весь аул провожал партизан. Отряд юных мстителей долго еще стоял за околицей, не спуская завистливых глаз с уходящей колонны. За спиной Солтана, положив прекрасную голову на плечо друга, замер Туган.

Пришли они к заброшенному, заколоченному дому Солтана все вместе. Солтан сказал:

– К приезду матери я должен разжечь очаг. А сейчас давайте поклянемся, ребята, в нашей вечной дружбе!

– Клянемся! – ответил отряд хором.

И все скрепили клятву прикосновением губ к маршальской сабле, которую Солтан держал обеими руками...



Четырнадцать лет

Роман

Авторизованный перевод
с карачаево-балкарского языка
Михаила Крапивина

* 1 *

Старый Маджай сидит на низеньком стульчике у порога своего дома. Вдыхает сладко-дурманный аромат свежескошенного сена – невысокий стожок сложили возле хлева жена его Хабибат с дочерью Кемисхан. Но травяной дух не радует Маджая, горек он для него: ведь им пришлось серпами валить траву на отведенной их семье колхозом делянке, а когда сено подвялилось, таскать его в подворье вязанками на себе. А он не в силах хоть чем-то помочь им, сокрушается Маджай, – вот полгода уже, как жалуется на больные ноги: по двору еле ходит, устает быстро, а иной раз совсем не может с постели подняться или самостоятельно из дому выйти, как сейчас... Сейчас он сидит, привалившись спиной к нагретой предвечерним солнцем стене, смотрит по сторонам и неторопливо вспоминает... Взять это сено... Когда пришло время косить луга в альпийских предгорьях, оказалось, косить-то и некому – в ауле одни старики, женщины да ребятишки. Мало кому из стариков удержать в руках косу. А женщины-горянки никогда косьбой не занимались. Им нынче, видит Аллах, и так досталась нелегкая работенка: с весны луга поливать – какой уж там еще покос! Вот и махали косами подростки-мальчишки – неумело, до кровяных мозолей, до белых мух в разъедаемых потом глазах. Благо, чей-нибудь дед, не совсем еще одряхлелый старик, доковыляв, поддерживаемый всей ватагой, до луга садился на ближнем к загонке окрайке и терпеливо, со всей строгостью, не делая никому поблажек, наставлял молодых косарей... Ну, благодарение Аллаху, неплохой стожок получился, только, глотает горький комок Маджай, кого кормить этим сеном? С болью глядит на хлев, из которого не доносится ни единого звука... Опустошили подворье немцы – пять месяцев хозяйничали они в ауле! – увели со двора корову и кур прихватить не забыли. А чтобы до барашков не добрались, Маджай их порезал и мясо спрятал... Так что теперь сено, вроде, и ни к чему, разве что для порядка, который должен быть во всем – Маджай сам приучил себя к нему и от домашних всегда требовал... Ладно, сено... А вот картошки – копать ее тоже обязанность женщин – в эту осень собрали мало, три мешка всего. Жалко, отменная уродилась – белая, крахмалистая. Если б как в прежние годы, когда по десять и больше мешков выходило! Что поделаешь, нынче семян не хватило засадить огород полностью – всю зиму питались одной картошкой! Ну да, слава Аллаху, с картошкой и сеном управились, теперь жена с дочерью принялись белить дом – приближался праздник, двадцать шестая годовщина Октября. Испокон веков, по горскому обычаю, аул прихорашивался к праздникам. К этому празднику готовились по-особому, словно заново родились жители Чаула после немецкой оккупации, с жадностью брались, казалось бы, за самые обыденные вещи... Обычно аульчане обнов-

ляли свои жилища белой глиной. За ней приходилось ездить за семь верст, к соседям. Глину возили на ослах. Транспорт надежный и для здешних дорог самый подходящий! Потому-то немцы, как только вступили сюда, в Чаул, в августе прошлого – сорок второго – года, первым делом реквизировали у «местного населения» длинноухих помощников, «мобилизовав» на подвозку боеприпасов к перевалу – машины не могли проехать по горным тропам. Там и остались они, безответные подневольники, брошенные на съедение волкам и шакалам. И теперь во всем Чауле, на две тысячи домов, ни одного ослика... Едва поднималось из-за гор солнце, женщины и подростки отправлялись за глиной, вытягивались по дороге цепочкой, с мешками, с корзинами, с ведрами – сколько принести по силам! Хабибат с дочерью принесли два ведра... Если бы лошадь была в колхозе, смотрит с грустью Маджай в ту сторону, откуда столько лет приходил по вечерам с работы. И лошадей забрали немцы... А бывало, на двухколесных арбах свозили аульчане с лугов сено, овощи с полей, да и глину доставляли – не обрывать же такой тяжестью руки!..

Жена и дочь белят дом внутри, без передышки трудятся, чтобы закончить к вечеру. Много у них работы: в доме кладовая и три комнаты – летняя, с очагом и широкой дымоходной трубой, и две зимние, одна для гостей, другая – спальня, с печками, сложенными из кирпича. Вон сколько вещей, качает головой Маджай, вынесли сушиться, прежде чем взялись за побелку, сколько всего перестирали, развесили на веревках – чего доброго запутаешься в них!.. Ни на минуту не приостанавливаются Хабибат с Кемисхан. А Маджай сидит долгие часы напролет и, прислушиваясь к тому, что делается в доме, обиду великую держит на свои ноги. Как же!.. Шестьдесят шесть лет носили его на себе чин по чину, а тут, когда он так нужен семье, когда колхоз поднимать надо, взяли вдруг и отказались ходить! Делай теперь что хочешь! И вправду, столько дел у него, что соберись помереть – минутки не нашлось бы!.. Помогая себе палкой, с трудом поднялся Маджай, сделал шаг-другой к хлеву, дверь надо бы поправить, но куда там... Сил едва хватило добраться до своего низенького стульчика. Разгоняя конфуз, подумал, мол, успеется с хлевом, придет, все равно пустует... А там, глядишь, Харун с фронта придет, вот и займется... Пишет, что жив, здоров, сражается не хуже других.

Радуется Маджай всякий раз, когда получает от сына солдатский треугольничек. С января – как только изгнала Красная Армия немцев с Северного Кавказа – почта снова стала носить письма. Они, видимо, копились где-то всю оккупацию, письмоносица привезла их из райцентра на подводе, в нескольких мешках. Но вместе с долгожданными фронтовыми весточками – почти две тысячи мужчин проводил Чаул на фронт в самом начале войны – пришло в аул и горе: во многие, очень многие дома посту-

чались серые листки с черной каймой, «похоронки». Дом старого Маджая эти незваные гостьи обходят пока стороной. Пока… Станешь тут суеверным, ведь от Гокка, старшей дочери, нет ни строчки... Ждет Маджай, надеется родительское сердце...

Пока надеется, живет человек, а для Маджая жизнь – в повседневных трудах и заботах. Другого на своем веку не знал он. Десяти ему еще не было, когда оказался в батраках, почти четыре десятка лет гнул спину на хозяев. В двадцатом, когда в Чаул пришла советская власть, безоглядно примкнул к сторонникам новой жизни. Защищал ее с винтовкой в руках в гражданскую... И в колхоз одним из первых вступил. На радостях без сожалений распрощался с «проклятым бременем частной собственности». Даже не задумался Маджай тогда, почему не иначе, как в тягость, должны быть ему его кормилицы и помощницы – корова и лошадь. Свел их со двора, в «общий котел», и двухколесную арбу, что осталась от отца еще, сдал в «коммунию». Хабибат плакала, заклинала мужа здоровьем детей, призывала в мольбах Аллаха образумить его горячую голову – отмахнулся Маджай от слез и увещеваний: женщина, что она понимает?! Трудился в колхозе, не жалея сил, а получать за работу было нечего... В батраках, думал не раз, и то сытнее жилось: кормил его, работника, хозяин бесплатно, а в конце года рассчитывался пудом кукурузы да пятью баранами... Терпел Маджай, стиснув зубы, перетирал нужду в мозолистых ладонях. Через год-другой нарезали колхозникам землю, отвели делянки на лугу. Обзавелся Маджай телочкой, барашками, курами – поднял хозяйство на ноги. А там и дети подросли. Гокка уехала учиться на медика, Харун пошел на животноводческий комплекс, Кемисхан – в полевую бригаду. Харуна, как ударника, даже в Москву посылали, на съезд колхозников, Ленина в мавзолее видел. Летом ушел служить в Красную Армию – какие торжественные проводы колхоз устроил! В армии настоящим джигитом показал себя Харун – сержантом вернулся, со значком «Ворошиловский стрелок» на груди... Только советская власть, уверен Маджай, могла дать так много простым людям...

Подошла Кемисхан, прервались раздумья Маджая.

– Давай, отец, укрою тебя, прохладно стало, а ты в одной черкеске... – набросила на плечи ему шубу, ноги укутала серым байковым одеялом. – Скоро уже закончим...

Мысленно соглашается Маджай, да, холодная нынче осень... Надо успеть взять второй укос с альпийских лугов. Обычно сразу же после того, как летняя трава скошена и подсохшее сено свезено в стога, луга поливают и в первые дни ноября уже выкашивают новую траву, нежную и сочную – настоящее лакомство для животных. Луга то там, то здесь еще отливают изумрудом. Чернеют, отдыхая, картофельные прямоугольники. Любит

Маджай эту пору года, когда земля щедро вознаграждает человека за труд на ней... Дров на зиму не сумел заготовить, вдруг вспоминает Маджай, видя, как по мосту через притихшую Кубань на чьих-то закорках движется вязанка хвороста. Был бы Харун дома, жил бы Маджай, не тужил ни о чем... Проклятый Гитлер, сколько горя причинил людям...

– Внутри закончили, – наклонилась Хабибат к Маджаю и заглянул ему в лицо, усталая, но довольная: – Завтра примемся белить снаружи, хорошо сегодня поработали с Кемисхан. .

– Успеется... Совсем загоняла нашу дочь, – буркнул Маджай. И задумался, поглаживая крепко прихваченную сединой бороду: «Ворчу на жену, будто не мои руки истосковались по работе...»

Хабибат сняла коричневый фартук, весь в белесых нашлепках уже успевшей присохнуть глины, устроилась на корточках возле ведра с водой, долго мыла в нем выпачканные по локоть руки. Вдруг ни с того ни с сего сказала:

– А ну, как Харун или Гокка приедут на побывку... Может ведь так случиться... И для нас у Аллаха найдется немножечко счастья...

– Некогда им сейчас... Воевать надо! – в руках у Маджая защелкали янтарные четки. – Говорю ведь тебе...

«Расстроила я его, раз уж четки вынул да присловье свое вспомнил, – подосадовала на себя Хабибат. – Или сердится...» Она молча встала, вытерла руки, заправила выбившиеся из-под серого суконного платка седые пряди и перевела разговор на другое.

– Как же мы будем теперь жить, отец, без коровы, без барашков? Что есть будем? Картошки до весны не хватит... Мясо на исходе... Кукурузы, лепешек испечь, тоже не всегда достанешь... Колхоз поможет ли? Ведь разорил его проклятый немец!

Маджай не отвечал, неторопливо перебирая четки. «И этого не надо было говорить, – огорчилась Хабибат. – Да уж сказала, чего теперь...»

Маджай печально смотрел на жену – щек впали, морщинки новые появились, а все эти кошмарные пять месяцев оккупации! Как она, бедняжка, плакала в тот день, когда Зомма улу Сохта, старшина аула, пришел к ним с двумя «зелеными» (так прозвали аульчане фашистов). Первым делом «зеленые» вывели из хлева их кормилицу – Пеструшку. Они подталкивали ее – иди, иди со двора! – прихлопывая по бокам ладонями-лопатами, и выкрикивали какую-то – одну и ту же фразу, после которой оба пьяно захлебывались хохотом. А в это врем Зомма улу Сохта, в распахнутом, разлетающемся бешмете, с непокрытой головой, вспотевший и задышливый, забыв о своем старшинском звании, носился по двору в клубах пыли, пиная попадавшуюся то и дело под ноги свою самую дорогую, самую красивую в ауле каракулевую папаху, – собственноручно ловил кур, беспрестанно

отбиваясь от огненно-зло налетавшего на него красного петуха. Победно восклицая после каждой «боевой удачи», Зомма перехватывал пойманную птицу за лапы и нес добычу, широко размахивая трепещущим облаком желтых перьев. «Зеленый» – то один, то другой, – выдергивал курицу из руки старшины, шмякал о голенище сапога и в один миг приторачивал распластавшую перья жертву к ремню с тусклой пряжкой. Но с задиристым красным петухом пришлось старшине побороться не на шутку: по всему двору погонял петух ловца, вывалял в пыли с ног до головы, а когда тот все-таки настиг его, искровенил ему все руки и лицо, бешмет изодрал, превратив в грязную тряпку... Но как ни храбрился красный драчун, ни шпоры, ни изогнутый крепкий клюв не помогли бедняге... Когда все было кончено с ним, «зеленые», увешанные тушками, подошли к Маджаю и с нескольких шагов стали целиться в него из карабинов. Они долго всматривались в прицелы, жмурились. И вдруг шумно выдохнули: «Пф-фу-уй-й!» – и заржали, глумливо, дико, тыча жирными, короткими пальцами то в старика, то в тушки под черным глянцем ремней. У Маджая не было сил пошевелиться. Не было сил окоротить обидчиков хотя бы спокойным горским словом. И жену не было сил успокоить. А бедняжка Хабибат так горько плакала! Откуда-то из красно-желтого вихря оседавших на землю перьев и пыли к ней шагнул потный и усталый Зомма улу Сохта. «Что сырость разводишь, неразумная ты женщина? Арестую тебя, если выть не перестанешь! Пожалела, смотрите вы на нее, куриного мяса для солдат фюрера и рейха?

А ведь ты должна благодарить их за новый порядок! Не «советы» же тебе, не дай Аллах, благодарить... Все, что они смогли для тебя сделать – послали детей твоих на смерть! Напрасную, скажу тебе, смерть? Гитлер победит, запомни...»

Запомнили Маджай и Хабибат. Особенно этот новый порядок. Казалось тогда – будто вымер аул. Ни разговоров, ни смеха на улицах, ни переливов гармоник – как бывало, когда то в одном конце аула, то в другом звенели кобузы, – ни голосов домашней живности по дворам – сноровисто вычистили их шнырявшие голодными шакалами «зеленые». А еще – новые власти «упразднили» все три школы в ауле. Откуда-то привезли затурканного какого-то муллу, по-карачаевски он говорил странно, будто спотыкался о камни на дороге, не очень-то, правду сказать, был и похож на карачаевца – мутноватые, воровато бегающие заплывшие глазки, а лицо нахально-сытое, одутловатое. В отнятом у старой учительницы доме открыли медресе, обязав «местное население» отдавать в него своих детей – изучать Коран – и... платить за обучение! Охотников нашлось не так уж и много, немного и силой затащить сумели. Медресе открыли, а замок с двери амбулатории снять даже не удосужились. Навесила его молоденькая их фельдшерица –

говорили в ауле, на фронт она подалась, неизвестно только, прорвалась ли, ведь в то время фашисты оказались уже на подступах к Ворошиловску («Это который Ставрополь?» - спрашивал всякий раз Маджай, когда слышал это название.) Вот как навесила фельдшерица этот самый замок, так и висел он все пять с лишним месяцев, бессловесно и ржаво поглядывал на тех, кто приходил к неприветливому, глухому порогу. В июле сорок второго начали беспокоить Маджая ноги. Вот если бы вовремя ухватить недуг, не сделался бы он беспомощным калекой... Сейчас, правда, новая хозяйка амбулатории – дай ей Аллах здоровья! – хорошо помогает: регулярно приходит к нему, какие-то припарки делает, ноги ему растирает... Только жалуется сестричка, лекарств у нее нет, какие нужны Маджаю...

Все вещи вымыли. И посуду перечистили! – подскочила к отцу Кемисхан. – До блеска! Занесем в дом, и на сегодня закончили.

Солнце клонилось к закату. Из ущелья, заполнявшегося густой свинцовой темью, наплывал в аул вечер.

Как же, бывало, вспомнилось Маджаю, радовали его эти предвечерние хлопоты!.. Каким бы усталым ни возвращался он из колхоза, руки сами принимались за дела на родимом подворье – сколько их всегда ждало Маджая? Хабибат доила корову, напевая ей ласковую песенку, и тугие струи молока, звонко и весело ударявшие в подойник, отсвечивали розовым в закатных лучах. Из тракторной бригады прибегала Кемисхан, – ушедших на фронт мужчин заменили за рычагами девушки, – наскоро пересказывая новости, выбиралась из когда-то синего, а теперь замасленного комбинезона, шумно плескалась, отмывая от солярки лицо и руки, и принималась готовить ужин. Петух гортанным клекотом созывал кур на насест. Из глубины дома доносился щебет Кемисхан; «Идите, мои дорогие! Ужин готов!» И вскоре, в свете семилинейной лампы, они уже сидели втроем за большим, чуть ли не в полкомнаты, столом, за которым в хорошие годы усаживалось три поколения Боташевых. Над аулом разливалась тишина. Маджай спокойно засыпал – никогда не знавшая ни поводка, ни цепи огромная кавказская овчарка, Самыр, пока не встанет хозяин, будет грозным и чутким стражем его ночного покоя...

Маджай силится отогнать воспоминания, но отвязаться от них ему еще труднее, чем выйти без чьей-нибудь помощи на улицу, чем хоть что-то делать, только бы не сидеть сложа руки... Горько хмыкает Маджай: его руки и вправду тяжело и бессильно сложены на коленях...

«Спасибо тебе, Хабибат, моя милая, ты, как всегда вовремя, подошла ко мне...»

– Давай, отец наших детей, пойдем в дом, ты, наверно, продрог, – наклонилась она к нему и, поддерживая сзади, помогла подняться. Взяла под локоть.

Почувствовав руку жены, Маджай приосанился. Заглянул в глаза Хабибат: «Я у тебя еще джигит?» «Джигит», – слегка кивнула она в ответ.

Они шли медленно – Маджай, опираясь на ее руку и помогая себе палкой, еле волочил ноги, а Хабибат, боясь, как бы не причинить ему хоть малейшую неловкость, осторожно ступала по следам. «Аллах мой, – сокрушалось ее смятенное сердце, – что сделали недуги с моим Маджаем? А какой огонь был...» Часто вспоминает Хабибат, в последнее время особенно, тот день, когда Маджай – высокий, стройный, в красиво облегавшей фигуру белой черкеске с черными газырями, в окружении своих верных друзей, – на взмыленном, всхрапывающем коне влетел во двор ее отца, завидев Хабибат, вздыбил перед ней скакуна; обняв за талию, словно пушинку поднял с земли... Хабибат и не противилась. Прильнула к груди юноши. Почувствовала: жарко горит сердце джигита! И затихла, перебирая пальчиками газыри... «Вот видишь, – говорил его любящий взгляд, – я и умыкнул тебя...» А что ему оставалось делать? Ведь отец назначил за нее такой калым, какой не собрать было Маджаю и за всю жизнь... «Вот видишь, – пело счастьем ее сердце, – я вышла во двор, хотя отец не велел мне переступать порог, и теперь я всегда буду любить тебя...»

Хабибат усадила мужа на диван, подставила под ноги – пусть отдохнут! – удобную низенькую скамеечку. «Сорок лет уж скоро, как живем в любви и согласии, – думала со светлой печалью, собирая ужин. – Дети выросли. А будто и сейчас несет нас с тобой тот скакун...»

Маджай оглядывает комнату, будто не узнавая ее. Почему-то раньше не замечал он этих пышных узоров, которыми расцвел ковер на стене... А вот посуда на полках – глазам даже больно, так сверкает она. На кованом сундуке возвышается ворох только что снятого с веревок белья – чистая свежесть, напитанная ароматом трав, щекочет ноздри Неутомимая стрекотунья – ножная швейная машинка «Зингер» – отдыхает под тюлевой накидкой... Тепло, покойно: жаром прошлогоднего кизяка исходит печка, на столе тихо и ровно горит семилинейная лампа – электростанция пока не восстановлена, пришлось достать ее, чудом уцелевшую, из чулана. Маджай напрягает слух: что такое, опять замолчала черная тарелка радио – и так при «зеленых» все пять месяцев немо висела на стене, – но уже через минуту-другую комнату наполнил знакомый густой, рокочущий, словно рвущийся к кавказским вершинам голос диктора из Москвы: «Передаем сводку «Совинформбюро»...» Ни единого слова не пропускает Маджай. «Слава Аллаху, наши гонят фашистов, дал Сталинград им жару...»

В комнату неслышно вошла Кемисхан, переставила ближе к отцу лампу. Отблеск пламени упал на портрет в ореховой рамке – на самом почетном месте прикрепил его Маджай. С портрета улыбнулся ему, нет, не показалось, он уверен в этом! – товарищ Сталин, в белом кителе вышедший в

рассветный час встретить утро Родины. «Хорошее будет утро...» – улыбнулся и старый горец.

– Ужинай, отец, – пододвинула Кемисхан к дивану тепси.

Когда-то, очень давно, смастерил его, поставив на три ножки простой деревянный кругляш, дед Маджая. Но не было для Маджая в доме более дорогой вещи. И не было ничего дороже заботы дочери и доброй его Хабибат. Она присела рядом, принялась снимать кожуру со сваренных картофелин. Маджай взял кусочек сушеной баранины.

Барашков пришлось порезать, чтобы и их не забрали «зеленые».

Сушиться мясо повесили на чердаке – подальше от завистливых глаз «новых хозяев»… «Хабибат говорит, кончается запас» – хмурится Маджай и тихо ворчит – некрепкие зубы с трудом справляются с мясом:

– Недоварили...

«В самом деле рановато сняли с плиты чугунок, – повинилась в душе Хабибат, – спешим, спешим все, столько еще надо успеть,» – и добавила вслух: - Завтра побелим дом снаружи. Очень холодная осень. Я и не припомню такой... Надо закончить...

И снова подумала о своем сокровенном: «Вот ты говоришь, война, воевать надо, а как ждет материнское сердце... Нет, чувствую, кто-нибудь обязательно приедет...» Она всегда ждала Гокка и Харуна, беспрестанно думала о них, просила Аллаха в иступленных молитвах защитить ее детей... А об Аслане, зяте, думала почему-то меньше, хоть и любит его как сына... «Как же это я... – укорила себя. – Надо будет завтра сходить к его матери, проведать Кеминат».

Маджай вытер полотенцем руки. Откинулся на спинку дивана. Снова обступили воспоминания. «С шутками да прибаутками вся семья за большим столом собиралась. Да и по аулу идешь, бывало, радостные у всех лица, – любит наш народ жизнь! А сейчас... – горькими становятся раздумья Маджая, – откуда сейчас взяться улыбкам на лицах? Сколько похоронок принесла война в горские семьи, редкий дом, где не увидишь женщин в трауре. И «зеленые» похозяйничали – животину, хлеб, все подчистую вымели... Десятый месяц, как немца выгнали, а прийти в себя никак не можем, окаменели в горе люди, вот и мы... поужинали, будто поминки справили...»

– Мама, завтра тебе придется белить одной, – поднялась Кемисхан, чтобы убрать со стола.

– Застыла земля. Что делать на тракторе в поле? – удивилась Хабибат.

– Трактора мы поставили на зиму, – пояснила дочь, – будем картошку на семена отбирать... Говорят, – оживилась она вдруг, – откуда-то из Закавказья гонят в наш край молодняк. Будут раздавать по колхозам. На развод. У нас уже и ферму ремонтируют!

Всякий раз, когда Кемисхан убирала со стола, Маджай любовался дочерью, особенно ее толстыми каштановыми косами, слегка покачивавшимися в такт красивым, плавным движениям, которым испокон веков учат девочек в каждом горском доме. Кемисхан вытерла тепси, поставила его на место и села рядом с отцом на диван. «Вот и выдалась минутка поговорить с дочкой», – обрадовался Маджай.

– А как же иначе, – медленно проговорил он. – Люди всегда приходят на выручку друг другу... Помню, в начале тридцатых Краснодарский край подарил Карачаю оборудование для лесопильного завода. И мы поставили завод в Худесском ущелье. Леса там богатые.

– Знаешь, отец, а мы...

«А если, не дай Аллах, опять придут «зеленые»? – зашлось страхом изболевшее сердце Хабибат. – Проклятые... Сколько людей погубили они в ауле за пять месяцев – у того сын командир в Красной Армии, у того в партизанах воюет... А нас с Маджаем разве мало таскали за то, что Гокка и Харун на фронте? Если бы не узорчатая кошма, которая приглянулась женушке Зомма улу Сохта, не знаю, чем бы закончились для нас вызовы в комендатуру... Знала, к кому идти за «подарком» – ведь принести шерсть и не подумала бы! К ней, к Хабибат, самой искусной мастерице в ауле! Как забегали у нее глазки от радости, когда развернули кошму! Ковер, да и только! И размер «подходящий» – три на пять. Хочешь – на пол стели, хочешь – на стену вешай... Интересно, увезли ее с собой, когда с «зелеными» удирали?» Не на шутку разозлилась Хабибат – даже пнула кулаком подушки, которые взбивала на постели мужа. Грузно опустилась на них. Всплеснула руками.

– Не могу, отец наших детей, все лезут в голову эти проклятые «зеленые». Столько горя оставили после себя. Вовек не забудешь.

– Как забыть такое... – опустил голову Маджай. – Все помнится: и допросы в комендатуре – почему послали детей воевать против Гитлера? Кто носит партизанам продукты? – и как искали Кемисхан, чтобы угнать на работу в Германию... Хорошо, к нашей тетушке в Учкулан мы ее отправили... Теперь успокойся, – сказал он твердо. – Теперь надо о жизни думать. О том, как на ноги встать. Думаю, сестра моя нам поможет. Даст теленочка... Ложись спать, дочка, тебе вставать чуть свет...

– Ложись, ложись, – легонько подтолкнула ее Хабибат к двери в гостевую комнату. – Да и керосин тратится...

Обычно Хабибат вставала раньше всех в доме, доила корову, выводила во двор и провожала до центральной улицы аула, по которой проходило стадо, привычными фразами перебрасывалась с пастухом, всякий раз наказывая ему получше заботиться о ее Пеструшке, и с легким сердцем возвращалась домой – готовить завтрак Маджаю и Кемисхан; тропилась Хабибат, нельзя им опаздывать на работу. Она и сегодня поднялась споза-

ранок, хотя можно было бы и не спешить. Натянула стеганку, повязала на голову суконный с белой каймой платок, вышла открыть ставни и... ноги у нее будто вросли в землю: куда бы ни посмотрела Хабибат – на улице перед их домом и перед домами соседей, в переулках, на лугу – везде стояли, по двое, по трое, группками, военные в черных шинелях.

Хабибат испугалась. Но тут же подумала: «Зачем погонять лошадь, которая спускается с кручи? Спрошу Маджая, если он не спит». Еще раз огляделась вокруг. (Словно утренний холодок под рукава стеганки, к сердцу стала прокрадываться тревога.) Тихо вошла в спальню, но Маджай повернулся, лишь Хабибат прикрыла дверь, вопросительно взглянул на переполошенную жену: в лице – ни кровинки, в глазах – обеспокоенность.

– Отец наших детей! – Хабибат тронула мужа за плечо. – На улице военные в черных шинелях. Много. Перед каждым домом. Какая армия пожаловала к нам, не знаешь?

Маджай сел на кровати,

– В черных шинелях, говоришь? Нет, не знаю. В гражданскую серые у нас были шинели. Мне бы выйти... посмотреть...

– Схожу к Абидат, может, она что-нибудь знает. А ты посиди пока. Вернусь – мы с тобой выйдем. – Хабибат наскоро подоткнула мужу под спину подушки и выбежала из комнаты.

Абидат, соседка, жила напротив – только перейти улицу. А там столько военных, и Хабибат не осмелилась. Повернула к огородам: ладно, пойдет к Кеминат, да и навестить ее давно надо бы. Но сделала всего пару шагов, как ее окликнули:

– Бабушка!

Хабибат обернулась на голос и остолбенела: к ней через двор шел военный в черной шинели. Шел неторопливо, чуть подавшись всем телом вперед, точно взбирался по откосу или преодолевал порывы ветра, както странно, по-петушиному, переставляя ноги и отбрасывая коленями на стороны будто под налипшей грязью отяжелевшие полы. Шел, сдержанно улыбаясь из-под широкого козырька, над которым красным пятнышком посверкивала звездочка. Шел, неотрывно глядя перед собой, но в то же время, показалось Хабибат, успевая подметить все вокруг, Хабибат явственно видела звездочку, но все равно почему-то задрожали ноги.

– Здравствуйте, – отрывисто козырнул военный, продолжая улыбаться.

Хабибат с трудом выдавила в ответ обычные в таком случае слова.

– У вас не будет на продажу теплых носков? – спросил незнакомец чуть глуховатым голосом. – Чындайля?

Она утвердительно кивнула – вечерами они с Кемисхан вязали носки для бойцов – и пошла в дом. Военный направился за ней. Войдя без приглашения, стал бесцеремонно разглядывать жилище горцев, не обращая

внимания на Хабибат и поначалу даже не заметив лежавшего высоко на подушках старика. И лишь когда Маджай приподнялся, постанывая, и сел на постели, военный повернулся к нему, едва коснувшись козырька:

– Здравствуйте...

Маджай машинально поднял руку к виску – пальцы уткнулись в теплую ночную шапочку. Поправил ее, кашлянул, настороженно посмотрел на вошедшую жену, потом на раннего гостя.

– Здравствуйте и вы...

Хабибат подала военному носки – стального цвета, плотной вязки, какие как раз и нужны командиру (она решила, сама не понимая почему, что их неожиданный гость обязательно должен быть командиром, раз уж у него на плечах погоны). Военный засунул носки в карман шинели, незаметно извлек откуда-то из-за пазухи черной кожи бумажник, достал из него деньги – красные, желтые, зеленые, – зачем-то пересчитал их, вытащил трешницу и протянул Хабибат. Она не взяла, помотала головой и приложила к губам ладонь: не гоже с военного брать деньги, ему и так нелегко, хоть и три рубля – по нынешнему времени какие это деньги! – а все пригодятся...

– Спасибо, – военный спрятал бумажник, но уходить не собирался. Подошел к старику, тяжело взглянул на него.

– Вы... кто же... будете? – Маджай трудно подбирал слова, будто непосильная тяжесть этого черного взгляда вдавливала его в подушки.

– Мы? – военный резко отвернулся от Маджая и, не глядя на Хабибат, петушиным своим шажком пошел к двери, глухо бросил себе под ноги: – Войска «энкавэдэ». – На пороге полуобернулся, вымучил на лице улыбку. – Немного отдохнем тут у вас. Воздух здесь хороший, горы красивые... Счастливо оставаться?

Маджай и Хабибат, не в силах пошевелиться, долго всматривались в хлопнувшую за черным гостем дверь, будто не верилось им, что он ушел. Давно ли зловещее это слово – «энкавэдэ» – заставляло трепетать не только души горцев, а, казалось, и сами горы.

Из оцепенения вывел Хабибат спокойный голос мужа:

– Что тут особенного. Такая судьба у военных. Бросает то туда, то сюда. Отдохнут немного, двинутся дальше.

– Отец наших детей? – зачастила Хабибат. – Никак я не пойму. Выходит, приехали они ночью? На огромных грузовиках? Вон там, на лугу; они стоят. А как в аул поднялись, и не слыхать было... А сколько солдат-то! Как воронья? Все черно на улице?

– Ну что ты сама как ворона раскаркалась? – рассердился Маджай – Говорю ведь тебе...

Из гостевой комнаты вышла заспанная Кемисхан, в пестром халатике с красными пуговицами.

– Чего расшумелись, милые вы мои?

– Выйди... увидишь... – буркнула Хабибат и принялась, с ожесточением стуча совком, выгребать в ведро из печи золу.

Так, в халатике, и вышла Кемисхан во двор. Но не сделав и трех шагов, остановилась. Невообразимым муравейником сновали по улице, перетекали в переулки, сбивались на лугу в живые комья черные фигурки. Муравейник дышал сизыми табачными дымками, взрывами озорных хохотков, тяжелым гулом возбужденных молодых голосов. Кемисхан поежилась – столько военных у них в ауле еще не было, даже тогда, когда хозяйничали «зеленые». «А эти черные... – почему-то подумалось Кемисхан и она снова поежилась. – В жизни не видала таких...» Она почувствовала, что продрогла на утреннем холоде, и поспешила в дом. «Девятнадцать тебе всего, еще всякого насмотришься...» – услышала внутри себя голос, но не поняла, кто произнес эти слова, и отмахнулась от них, как от наваждения. Подошла к матери и хотела уж было спросить, что происходит в ауле, как дверь с треском распахнулась и в комнату; надсадно дыша, бледная, влетела соседка Абидат. Забыв поздороваться, она потащила Хабибат к окну, стала стучать указательным пальцем правой руки по стеклу, левую ладонь прижимая к груди и закатывая глаза, будто призывала самого Аллаха в свидетели, пыталась что-то сказать, но только жадно глотала воздух, как выброшенная из сети на берег рыбина.

Маджай вяло махнул рукой, безуспешно силясь высвободить ноги из-под голубого атласного одеяла, чтобы сесть на кровати, также вяло проговорил:

– Уймитесь, женщины... Говорю ведь вам, не из-за чего изводиться... Наши они, советские, хоть и «энкавэдэшники».

Абидат покачала головой:

– Не знаю, не знаю. Что-то неспокойно у меня на душе. То «зеленые», теперь вот эти... непонятные... Боюсь я их...

– Чего бояться? Зря, соседка, горишь так! – Маджай наконец-то сел на постели, спустил ноги, стал искать глазами палку. – Они же свои... Они же знают, что мы пережили... – Попытался подняться, чтобы выйти посмотреть что да как, но палка оказалась, увы, плохой помощницей, и Маджай в раздражении отшвырнул ее. – Да что они с нами сделают? За что?! – Старик обвел женщин вспыхнувшим взором. – Мы что, вместе с «зелеными» добро колхозное проели?!

– Как те, – подала голос Хабибат, – кто при них сырами в масле катались да с ними и удрали...

Она все-таки раздула угли, которые с вечера упрятывала в золу, чтобы сохранить огонь, поднесла к ним сосновую щепку с густыми потеками

смолы. Щепка сначала задымила, источая смоляной дух, потом вперемешку с завитками вязкого дыма в разные стороны посыпались оранжево-красные искры, и, наконец, из-под сизовато-белых волн вырвался упругий язычок пламени. Горящую щепку Хабибат бросила в печку, куда Кемисхан уже набросала кизяка.

– От самого, – всхлипнула Абидат, – уже четвертый месяц писем нет, – она краешком платка смахнула слезы. – А у меня семеро на руках. Один другого меньше. Руки уже не выдерживают.

Хабибат промолчала – какими словами рассказать о том, что каждую ночь сжимает сердце и перехватывает дыхание... Страх за Харуна: ведь ее мальчик храбро сражается с «зелеными»... Страх за Гокка, и доченька ее на фронте... Подложила еще щепок, кизяк занимался медленно – Хабибат всякий раз с немалыми трудами растапливала печь. Поставила на плиту чугунок с водой, бросила в него несколько листочков рододендрона и соли с кончика ложки – такой «чай» заваривать научила горцев нужда.

– Пойду, – Абидат поднялась с низенького стульчика, – мои, наверно, уже встали. – Она затянула платок на голове и выглянула в окно. – Живем напротив, а через улицу идти боязно...

– А я пойду на работу, как хожу всегда – по улице! – с вызовом воскликнула Кемисхан, но почему-то задержала взгляд на отце, словно ждала, что он похвалит или хотя бы ободрит ее, пробурчав обычное свое: «Говорю ведь вам...» А Маджай молчал. И тут кто-то внутри нее прошептал скороговоркой: «Как хорошо, что человек не знает заранее, что сулит ему судьба...» Кемисхан зябко вздрогнула: «Октябрь только начинается, а как уже холодно...»

На улице Кемисхан уже ничем не отличалась – ватная телогрейка, шерстяной платок на голове, на ногах черные ботинки – от остальных аульчанок, как и она спешивших на колхозную работу: перебирать заложенную на зиму картошку. До сарая, приспособленного под картофелехранилище, надо было идти через весь аул, и везде на пути встречались девушке военные в черных шинелях. Военные шутили с ней, заговаривали, пытались познакомиться. Кемисхан только улыбалась им. Но чем ближе подходила к сараю, тем тревожнее становилось на душе: «Нас во всем ауле меньше, чем этих военных. А машин-то у них сколько...»

Собравшаяся у сарая «картофельная бригада», и не думая приступать к работе, обсуждала случившееся.

– Ночью проснулась, такой гул стоит, думала, небо на землю обрушилось.

– А я в окно смотрю: из долины цепочка огоньков движется.

– Говорят, они прибыли сюда на отдых.

– Какой отдых, скажите на милость? В такое время! Ягод уже нет. Да и грибы давно отошли.

– Где же они отдыхать будут? Санаториев тут не построили, а в домах пусто после «зеленых».

– На каком это фронте они устали, такие джигиты?..

Женщины увлеклись и не заметили, как у сарая появился председатель колхоза. В поношенной шинели, в фуражке со сломанным козырьком, он стал протискиваться в самую гущу бригадников, разгребая себе дорогу левой рукой – правая, простреленная на фронте, была безжизненно опущена в карман. Пробившись в середину, зашелся мелким сиплым кашлем – в той атаке вторая, оказавшаяся роковой, пуля пробила ему легкое. Прокашлявшись и отдышавшись, выговорю притихшей бригаде:

– Кончайте разговоры, женщины. Пока будем разглагольствовать, примерзнет картошка, есть будет нечего. Сегодня надо перебрать ее и ссыпать в погреб. А военные... Мало ли какое у них предписание. Я сам человек военный, знаю, что такое приказ в военное время... А сейчас именно такое время. И наша обязанность – помочь им чем можем.

И, расстегнув шинель, председатель направился к картофельному бурту, что белел в проеме ворот. Сел на корточки, подобрал полы шинели, сдвинул на затылок фуражку и стал одноруко, но ловко манипулировать белыми картофелинами. Женщины потянулись к бурту.

Совсем уже немного до Октябрьского праздника. На фасаде аулсовета большой портрет вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина. Привез его председатель Совета инвалид-фронтовик Хасан. Ломали головы аульчане, где достал Хасан портрет, а председатель помалкивал, важно попыхивая папироской. Принарядился аул. Почти у всех дома подновлены свежей побелкой, подворья прибраны и вычищены. Выше достатка и роскоши чтят испокон веков карачаевцы чистоту и порядок. Глядя на двор, говорят в народе, без труда узнаешь, что за хозяева живут здесь. И еще говорят о чистом дворе: хоть пей из него, как из чашки... У кого – чудом каким-то! – уцелела корова, телочка или другая какая живность, подправляли сараи, хлевушки, спешили запасти на зиму сена. А чье пустовало подворье, ездили в станицу Баталпашинскую, как все еще по старой памяти, называли теперешний Черкесск, – думали обменять домотканое сукно или что-нибудь из одежды на барашка, козу или мешок кукурузы уж на худой конец. Напрасно проездили, ничем не удалось разжиться у соседей – в Черкесске тоже хоть шаром покати, все подобрали «зеленые». Теперь единственная надежда на обещанную помощь из Закавказья.

Как ни заполнялись дни аульчан всегдашними, повторяющимися в жизненном круговороте заботами, не могли они отодвинуть, даже на самый краткий миг потеснить тревог за близких, за всех аульчан, кто на фронте закрывает собою страну, Чаул, родимый очаг; не могли, хоть немного, приглушить поселившееся в домах горцев горе – стучались и стучались в них похоронки; не могли пусть не

отогнать – пригасить воспоминания о черной ночи оккупации – женщин, даже вековых стариков, у кого в семьях кто-то воевал на фронте, то и дело таскали на допросы в комендатуру, а тех, чьи сыновья или внуки были командирами в Красной Армии, по доносу Зомма улу Сохта заключали под арест и держали неделями в разграбленном колхозном картофелехранилище; а уж как поглумились он и его хозяева над учительницей: хотели разыграть комедию «официальной передачи власти», а когда она отказалась сдать свой значок депутата Верховного Совета РСФСР, на грязной арбе отвезли ее в районную тюрьму; помнится, будто вчера только было, согнали жителей Чаула на обрывистый берег Кубани и у всех на глазах расстреляли их земляка партизана Ханафия, ну и, конечно же, долго еще будут стоять у аульчан в ушах пьяные бесстыдные «песнопения» старосты, выкрики его прислужников и «зеленых», сытый, с икотой, хохот – конца не было радости, когда колхозное добро потекло к ним в закрома, в сараи, в казаны, на вертела, когда у аульчан даже картошка почти вся вышла...

А теперь – «черношинельники». Слоняются по аулу, словно от нечего делать, часами просиживают в домах, расспрашивают или говорят все больше так, ни о чем. Толпятся у своих походных кухонь, шутят, смеются, курят. Как поставили в первый день палатки, так в них и живут, хотя уже холода завернули. Не только у них столько «черношинельников», стало известно в Чауле, – по всему району, по всей области. Все это аульчане хоть как-то объясняли, а вот чего уж никак не могли взять в толк, что настораживало и тревожило, так это приказ командира части, по которому выходило, что никто не имеет права без разрешения выезжать за пределы района. Но свыклись и с этим – война как-никак...

В этот день Хабибат не ждала писем. Почему-то вздрогнула, когда Кемисхан, выглянув в окно, выбежала во двор и звонко закричала оттуда:

– Мама? Мама? Нам почта?

Ноги сделались ватными, плохо слушались, Хабибат проковыляла до порога и остановилась перевести дух. Вышла. Прислонилась к стене.

Низко наклонившись над своей пухлой брезентовой сумкой, письмоносица долго рылась в ней, перебирала треугольнички и конверты, перечитывала адреса. Кемисхан, вытягивая шею и приподнимаясь на цыпочки, заглядывала в сумку, пританцовывала от нетерпения. Наконец письмоносица нашла, что искала, но вытаскивать не спешила, мялась чего-то... Кемисхан теребила пальчиками край сумки.

– Давайте, давайте скорее...

Письмоносица отдала ей конверт. Не солдатский треугольничек, а какой-то серый, с незнакомым размашистым почерком конверт. И, не попрощавшись даже, побежала со двора.

Кемисхан осторожно по краю надорвала конверт и вынула сложенный пополам серый с черной каймой листок. Развернула. Пробежала скоренько... Плечики ее затряслись, голова упала, серый листок задрожал у нее в руках.

«Не минула беда и нашего дома», – поняла Хабибат. Медленно, будто стопудовая тяжесть была в ногах, подошла к дочери. Та судорожно обняла мать, уткнулась мокрым лицом ей в грудь.

– Кто?.. Скажи, доченька...

– Харун... смертью храбрых...

Обнявшись, мать и дочь опустились на землю, дали волю рыданиям... «Что же скажу я отцу наших детей? – испугалась Хабибат за мужа. – Ведь это известие добьет его...»

До поздней ночи, и назавтра, и на следующий день, и на следующий, по вековому горскому обычаю, приходили чаульчане в дом Маджая соболезновали Боташевым. Мужчины сидели молча, положив на колени ладони. Женщины плакали, не сдерживая слез. Но сидели недолго – надо было зайти и в другие дома, в стольких по всему аулу стоял безутешный плач.

Маджай совсем теперь не вставал, а Хабибат бесцельно слонялась по дому, не расставаясь с фотографией Харуна – любительским снимком, который он прислал, когда еще служил действительную. То прятала в пазухе, прижимая обеими руками к сердцу, то носила на вытянутых руках, в сложенных гнездышком ладонях... «Нет... нет... пробиралась в душу надежда, – это ошибка... На войне так бывает, могли ведь и напутать... Такого не может быть, чтобы ее сын был убит... Не может...» Ведь она так ждала его, так готовилась встретить... «А дом-то не добелили... Завтра надо закончить...»

* * *

Кемисхан уезжает... В областной центр. На три-четыре дня всего-то. А у матери, чувствует она, разрывается сердце. Крепится, не подает вида, даже сказала: «Ничего, доченька, я управлюсь тут как-нибудь...»

Конечно же, и мечтать не могла Кемисхан, что поедет в Микоян-Шахар на совещание передовиков. Какой она передовик? Работает как все... Но почему-то председатель колхоза остановил свой выбор именно на ней...

Женщины приводили в порядок – сказать проще, отскребали от грязи, ведь «зеленые» устроили здесь конюшню! – контору колхозного правления. Кемисхан оттирала конторский пол, когда ее окликнул председатель. С тряпкой в руке и стояла перед ним, ожидая, что он скажет. А он смотрел на ведро, на тряпку, на озябшие красные руки девушки... Даже в этом своем замурзанном комбинезоне – красавица! Точеная фигурка, белоснежное, с тонким румянцем, лицо, черные, дугой, брови, а под ними – светлой голубизны глаза... И такие красные руки...

– Сестренка, ехать надо двадцать седьмого... Из района пойдет подвода...

Они зашли к командиру «черношинельников» за разрешением. Тот молча подписал бумагу, не поднимая глаз, отдал ее председателю.

– Под вашу ответственность... Председатель кивнул.

...И вот Кемисхан уехала. Всего на несколько дней. А Хабибат не находила себе места от горя. Вышла, хоть чем-то заняться, с метелкой подмести – чистый и без того! – двор, махнула пару раз и отшвырнула метлу: «Что же я делаю? Ведь это плохая примета – выметаешь следы уехавшего из дому человека...» Подняла метлу, поставила в угол под навесом. «Всегда так, недаром говорят в народе, радость и горе ходят по земле парой...» – подумала с грустью. Прошла в дом, посмотреть Маджая.

Услышала вдруг: возле дома взревел и, чихнув, замолк мотор – наверное, большая машина подъехала. Вышла во двор. И вправду, на улице остановился огромный грузовик. Кто-то незнакомый, в фуражке и серой шинели с погонами, сверкнувшими золотым блеском, осторожно выбрался из кабины на подножку и, помедлив, спрыгнул неловко, будто подвернул ногу. Помахал шоферу и, прихрамывая, направился к ним в подворье. «Кто бы это мог быть?» – прищурившись, стала вглядываться в приближающуюся фигуру Хабибат.

– Гокка! Доченька моя! – узнала наконец. Но не поверила глазам. Нет, глаза не ошиблись... Грузно осела на землю. Зарыдала.

Припадая на ногу, Гокка подбежала к матери. Наклонившись, обняла ее.

– Ты встречаешь меня слезами... Не надо, мама... Не надо...

– Харун... твой брат... – Хабибат вынула из-за пазухи фотографию.

Гокка все поняла. Встала. Поправила на плече вещмешок. Сняла фуражку. Молча смотрела на улыбающегося Харуна. Пока слезы не подернули мутной рябоватой пеленой его улыбку.

Их окружили прибежавшие на плач Хабибат соседки. Увидев Гокка, запричитали, выплакивая и свое горе.

Сквозь плач и вопросы наперебой: «Нашего ты не встречала случайно?» – «А моего сына Умара?» – «А моего...» – Гокка расслышала голос отца из глубины дома:

– Жена! Что там за шум? Что стряслось?

– Нет, никого из ваших я не встречала, – тихо сказала Гокка и пошла в дом к отцу.

Женщины, подхватив Хабибат под руки, направились следом. Когда они вошли, Гокка сидела у постели отца. Они молча смотрели друг на друга. Женщины посидели, сколько требовало приличие, и разошлись, вздыхая и вытирая слезы.

Из своего запаса, который хранила на случай, если Аллах пошлет в дом гостя, – все самое лакомое в каждом карачаевском доме приберегается для гостей, – Хабибат сняла с чердака сушеную баранью ляжку, достала из кладовой мешочек с пшеном, отсыпала в кружку. Стала хлопотать у плиты – поставила вариться кашу, разогрела сковороду – баранину пожарит ломтиками.

– Сейчас я посмотрю тебя, отец, – немного пришла в себя Гокка. – Только шинель сниму, надо умыться с дороги.

– Ноги совсем отказали... – пожаловался Маджай. – С постели подняться сил не стало...

Послышался плеск воды. В комнату вбежала Хабибат, схватила мужа за руку и, горячо дыша в самое ухо, зачастила:

– Отец наших детей! Ты видел? Видел? Какой у нее орден? Большой! Красивый! На кителе...

Дрожащей слабой рукой Маджай погладил голову Хабибат.

– Наша дочь, говорю ведь тебе... Ну, иди... Мясо у тебя подгорит...

С раскрасневшимся сияющим лицом поспешила Хабибат к плите, а Маджай светло и грустно подумал: «Одними уголками глаз улыбнулась... Бедняжка моя...»

Подошла Гокка, отвернула одеяло, стала смотреть ногу.

– Тут беспокоит? А тут?..

Маджай постанывал, а то и вскрикивал, приподнимаясь на локтях. Пытался объяснить, как болит.

«Судя по всему, очень запущенный полиартрит со множеством осложнений... Диагноз неутешительный. – Гокка нервно мерила шагами комнату, в задумчивости поглядывая на отца. – Спокойно, доктор... – Одернула себя, как обычно делала перед очень сложной операцией, хотя несложных на фронте, пожалуй, не было. – Требуется основательное лечение. Хорошо бы курортное... – Остановилась у окна. Свинцово-серый день дотлевал за окном. – Что же делать?.. Что можно сделать?.. Отпуск, вместе с дорогой, десять дней всего...»

Голос отца вывел ее из раздумий.

– Я вижу, дочь моя, ты хромаешь... Тебя ранило?

– Зацепило немного. Ничего опасного. Уже заживает. Ты не волнуйся, отец.

Хабибат внесла угощение – к сладковатому аромату жареного мяса примешивался дразнящий дух каши, томящейся под крышкой кастрюли. Стала накрывать тепси. Украдкой залюбовалась своей старшенькой, тихо говорившей с Маджаем. Осторожно вклинилась в их разговор.

– Почему так долго ты не писала нам, доченька?

– На войне, мама, бывает, передохнуть некогда. А тут самой пришлось полежать в госпитале...

Хабибат вскрикнула.

– Не волнуйся, мама, – обняла ее Гокка. – Шальной осколок. Сапог разорвал, ногу немного задел... Все обошлось...

В тот день уже четырнадцатый час, наверное, не снимала Гокка залитый кровью халат и фартук, когда в операционную вбежал санитар и, вращая выпученными глазами, заблажил: «Воздух! Воздух! Не-е-мец!» Тяжело

ухнуло. Еще раз. Еще, еще... Задрожали стены и пол. Посыпались стекла. Погас свет. «Движок!» – крикнула Гокка и, передав оперируемого фельдшеру и сестре, выбежала на улицу. На бреющем полете вторым кругом на полевой госпиталь заходил немецкий стервятник... Перед госпиталем, на дымящейся от воронок поляне – разметанные в щепы подводы, перевернутая искореженная полуторка, повсюду недвижные кроваво-грязные бугорки растерзанных, изувеченных тел. Уцелевшие ползут к стене госпиталя, забираются в воронки, под остов машины. Снуют санитары с носилками, задирая головы на завывание моторов и все ниже и ниже пригибаясь к земле. От леска, к краю которого жмется госпиталь, наносит гарью... Придавливая брюхом воздух, «фоккер» пошел на снижение, выбрасывая перед собой трепещущие красные язычки, – над головой Гокка посыпалась известка, брызнуло выкрошенное дерево. Самолет завалился на правое крыло, отвернул от леса на разворот...» Для них даже флаг Красного Креста огневая мишень! Сволочи!» – стиснув зубы, прохрипел оказавшийся рядом с Гокка фельдшер. «Пойдемте работать...» – устало проговорила она. Открыла дверь операционной и... Взрывной волной ее отбросило к стене. Привалило обломками рухнувшей перегородки... Стало темно и тихо... Когда пришла в себя, почувствовала: трудно дышать от гари и дыма. Попыталась выбраться – не дала пронизавшая, показалось, насквозь боль в ноге, перед глазами поплыло красное липкое марево... Очнулась на второй полке плацкарта санитарного эшелона, прорывающегося под бомбежками в тыл...

– Ты побледнела, доченька! Что с тобой?! – всполошилась Хабибат.

– Кольнуло ногу... – Гокка перевела дух. – Отпустило...

Хабибат придвинула к Маджаю и дочери тепси.

– Жареное мясо и пшенная каша. Покушайте, мои дорогие. А я схожу пока к Зайнеб. У нее осталась корова. Попрошу миску айрана. Тебе сейчас, доченька, хорошо попить кислого молочка.

– Не ходи, не надо, мама, – попыталась удержать ее Гокка. – Посиди с нами.

Но Хабибат сноровисто повязала платок и выбежала из комнаты. Гокка усадила отца, положила на тарелку ломтик мяса и немного каши, поставила перед ним на одеяло.

Твоя свекруха, Кеминат, натерпелась от «зеленых», – проговорил Маджай, отодвинув пустую тарелку. – Зомма улу Сохта постарался. Два раза в тюрьму бросали. Не поленились в район возить, там, видишь, тюрьма понадежней. В подсобке райбольницы, больше не нашли где, устроили ее! И охрану приставили! В ней, значит, и держали Кеминат. За то, конечно, что ее сын, а наш зять, Аслан, командир в Красной Армии. – Маджай кашлянул, добавил грустно: – Давно мы от него не получали весточку.

– Я тоже... – тихо сказала Гокка. Убрала тепси. И снова подсела к отцу. – Мне надо сходить в медсанчасть. Может, каких-нибудь лекарств для тебя раздобуду. Чтобы спать тебе. А потом проведаю мать вашего зятя.

Встала, надела шинель, туго перехватила ремнем. Маджай кашлянул.

– Я вот смотрю, погоны опять, звездочки... Как в старой армии… Не пойму, в каком чине ты, доченька?

– Капитан. Медицинской службы.

– Как ты у меня быстро выросла. Доктор. И офицер. Орден у тебя. Такая мне радость... – Старик вдруг задумался, в глазах показались слезы. – Наш Харун... тоже герой... старший сержант...

– Скоро вернусь... – Гокка обняла отца и, едва сдерживая себя, чтобы не расплакаться, порывисто подбежала к двери.

На пороге столкнулась с матерью. Она несла в деревянной миске айран.

– Ты куда? На, попей... – Хабибат заметила, что дочь прячет от нее влажные глаза, и мягко предложила: – Хочешь, вместе сходим к твоей свекрови? Я давно не была у нее.

Чтобы не обидеть мать, Гокка отпила глоток.

– Пойду в медсанчасть, попробую достать для отца лекарство...А потом навестим Кеминат...

Мать не спешила пройти в дом, так и стояла на пороге с подрагивавшей миской айрана в руках. Будто не хотела отпускать дочь от себя. Потом прикрыла за собой дверь, проверила, не отходит ли задвижка, и зашептала на самое ухо дочери:

– Ты не знаешь, зачем к нам в аул слетелось столько черных птиц?

Что она могла ответить матери? Аул забит войсками НКВД, армейскими грузовиками, несколько раз она слышала непонятное, страшное слово «выселение», но никак не могла связать все это с матерью, отцом, сестренкой, соседями, с затерянным в горах аулом. Стоило «черношинельникам» появиться на фронте, все было ясно... А здесь?..

– Я не знаю, мама...

Гокка шла по аулу, машинально отвечая на приветствия военных в черных шинелях, – не обращала внимания, звездочки на погонах или «чистый» малиновый прямоугольник, будто не могла оторвать взгляда от кремнистой дороги. Вспоминала, как однажды в их госпитале появился особый пациент – сотрудник Особого отдела рядовой по фамилии Тороп. Всего-то был у него слегка приморожен большой палец на правой ноге. Ну, сними сапог, разотри пальцы снегом, пока не станут горячими и красными. А потом, где-нибудь в теплом штабном блиндаже, глотни из фляжки для профилактики пару раз... Так нет! «Особиста» положили наособицу, начальник госпиталя распорядился «организовать» для Торопа особое питание, а сам не вылезал от него часами...

«Напрасно я иду в медсанчасть, – подумала она вдруг. – Снотворные порошки на войне ни к чему. Мне-то не знать об этом...» И повернула в аульную амбулаторию.

В коридорчике тесно сидели, дожидаясь своей очереди, аульчане – значит, прием шел. Гокка объяснила, почему не может ждать, старики закивали – проходи, проходи, дочка, мы все понимаем? – и она вошла в кабинет.

– Смотрите-ка, кто у нас фельдшер! – Гокка даже приостановилась на пороге от неожиданности.

Соседская девочка Мариям перед самой войной, когда Гокка видела ее последний раз, была совсем еще ребенком, а сейчас самостоятельно вела прием! В белом халате, с «зубодером» в руках, мокрая от натуги, пыталась вытащить зуб. Тот не поддавался – ладно у молодого джигита, а то ведь у морщинистой старухи! Мариям заходила то справа, то сзади – прозрачным пальчикам явно не хватало сил. Наконец зуб перестал сопротивляться и, взметнувшись в воздухе кровяным сгустком, со звоном шлепнулся на дно лотка. Фельдшерица облегченно вздохнула. И только после этого заметила в кабинете Гокка. Бросилась к ней.

Они обнялись.

Проводив пациентку до двери и попросив ожидавших в коридоре не входить пока, усталая и чем-то встревоженная, Мариям, будто забыв, что ей надо бы поинтересоваться, как поживает ее подопечный, спросила Гокка почти что шепотом:

– Гокка, милая... Знаешь, что говорят в ауле? Что эти военные здесь для того, чтобы нас выселить! Как ты думаешь? Ты военный человек, ты, наверняка, знаешь...

– Знаю столько же, сколько и ты. И из тех же самых слухов. Только, понимаешь, не верю я слухам – мало ли что болтают в ауле? Если всему верить... – Гокка через силу заставляла себя говорить с Мариям твердым голосом, ведь у нее такие испуганные карие глазенки. – В одном уверена: не может такого быть в нашей стране. Ты большая девочка. Подумай сама. За что выселить? Те, кто фашистам прислуживали, за своими хозяевами чемоданы потащили. А простой народ, чем виноват? Нет, слухи все это...

– А почему же тогда они здесь? – не унималась Мариям.

– Война идет... Части выполняют разные задачи... неопределенно ответила Гокка.

Она не смогла бы сейчас сказать точно, верит ли в то, что говорит тоненькой девчушке в белом халате. Ехала домой из Микоян-Шахара, во всех поселках, аулах, райцентрах по дороге видела множество великое военных в черных шинелях. В Чауле – тоже. Последние дни сама все время думает об этом, сомневаясь, успокаивая себя, перебарывая какие-то смутные предчувствия.

Будто и не было того разговора, Гокка сказала:

– Отец по ночам совсем не спит. Если есть, дай мне для него порошочков. Хорошо бы подлечить его на курорте. Попробую в Микоян-Шахаре достать путевку. Только не поедет ведь. Знаю я его.

– Несколько штук всего-то... – захлопнула Мариям дверцу полупустого аптечного шкафчика и, протягивая на ладошке пухлые прямоугольные пакетики Гокка, словно в оправдание, поспешила объяснить: – Лекарств, можно сказать, нет. Нечем лечить больных... Война... конечно... я понимаю...

– Спасибо тебе... Увидимся...

Гокка бежала домой, беспокойно поглядывая по сторонам. Вспомнила вдруг: в детстве с соседскими ребятами часто убегала так от грозы, неожиданно заходившей из-за перевала и норовившей накрыть их дождевым покрывалом. А сейчас, подумалось почему-то, сейчас тоже заходит гроза, только другая какая-то, неведомая, невидимая, идет наперерез, заманивает под свой тяжелый полог, но нет сил остановить ее движение и нет сил остановиться самой... «Права мама. Столько «черных птиц» в ауле. Жмутся к земле, сбиваются в стаи, верно, как перед грозой...» Но уже через десяток-другой шагов попыталась отогнать гнетущие мысли: «Свои они... советские... хоть и «энкавэдэшники»...»

Беспокойство стало понемногу отступать, когда глазам ее вдруг открылось самое обыденное. Две девушки натягивают по фасаду аулсовета сшитое лентой из нескольких кусков кумачовое полотнище с размашисто выведенными кистью белыми буквами. Знакомый лозунг, но Гокка с каким-то особенным подъемом прочитала его про себя: «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!» Какая-то женщина, с кожаным мешком на плече, спешит на мельницу Ачакку смолоть кукурузу – и спрашивать не надо, туда идет, повернула на мост, переходит на левый берег Кубани... А в школьном дворе веселая кутерьма, гам, визг – переменка. Какое счастье, смотрит с грустью на окна их школы Гокка, что она училась в ней вместе с Асланом... Где он сейчас? Почти год – а кажется, вечность целую – ничего не знает Гокка о судьбе мужа. Писала ему в часть регулярно, даже из госпиталя. Но ответа не было. Сначала думала, наверное, адрес изменился – не дошли до него письма. Потом волноваться стала, вдруг тоже в госпитале... Да нет, не мог Аслан не написать ей. Значит, письма блуждают где-то – конечно же, после той бомбежки их госпиталь переформировали, присвоив другой номер полевой почты... «А вдруг в плену? – ужаснулась Гокка. – Или убит... Нет... Нет же? Сердцем почувствовала бы... – Кольнула рана, Гокка замедлила шаг. – Три дня отпуска использовала уже, а надо бы отцом заняться, болезнь у него запущена... Порошки порошками, лечить его надо...»

Заявила дома отцу, что завтра собирается в Микоян-Шахар, квартиру их с Асланом проведать и насчет путевки – для него – узнать.

– Какая путевка? – запротестовал Маджай. – Когда крестьянин, скажи ты мне, лечился в санаториях? Никуда не поеду. В своем доме помирать буду... Только почему помирать? Твоя мать лечит меня травами, помогут же они когда-нибудь! Говорю ведь тебе...

«Так я и знала – не поедет. А я все-таки съезжу завтра в город. Привезу хотя бы какие-нибудь вещи, одежду – пригодятся родителям... В обоих направлениях снуют военные машины, так что за день обернусь», – решила она, укладываясь спать в передней комнате.

* 2 *

«Как сюда залетел немецкий самолет?» – тревожно оглядывая тихую микояншахарскую улочку, думает Гокка. Она перебегает от дома к дому, стараясь выбраться из-под зловещей тени, нависающей над ней тяжестью надрывно стонущих моторов и прижимающей ее к самой земле. Даже под их с Асланом любимыми акациями невозможно укрыться от беспорядочно бухающих разрывов, от наползающей черноты... Черноту ночи сотрясали удары: кто-то сильно стучал в дверь. Гокка вскинулась на постели, прислушалась: колотили в несколько пар рук, требовательно, сбивчиво, приостанавливаясь ненадолго – передохнуть.

– Кто бы это мог быть в такой час? – послышался из другой комнаты дрогнувший голос матери.

Тяжелым, шаркающим шагом Хабибат подошла к комоду, выдвинула ящик, порылась в нем. Гокка услышала: звякнуло стекло лампы, чиркнула спичка, скрежетнула подвесная дужка. Глазам стало больно – комната наполнилась беспокойным оранжево-красным светом.

В дверь теперь уже били изо всех сил, безостановочно. Гокка накинула халатик и подошла к двери. Стук прекратился. Предчувствуя недоброе, Гокка спросила коротко:

– Кто?..

– Военные!.. Открывай!.. – раздался грубый мужской голос. «Вот кто...» – сердце Гокка упало, рука машинально потянулась к задвижке.

В комнату ворвались трое «черношинельников». Два солдата, отшвырнув автоматными прикладами Гокка, встали у двери, поглядывая то на застывших от ужаса женщин, то на своего лейтенанта, который рассматривал тех, кого они подняли среди ночи. Лейтенант походил по комнате и неожиданно крикнул, словно отдавал команды подчиненным:

– Собирайтесь! На все два часа!

– Куда собираться? Зачем? – Гокка недоуменно смотрела перед собой.

– На кудыкину гору... – зло сверкнули глаза лейтенанта. – Зачем, спрашиваешь? – ноздри его раздулись, как у взявшей в намет лошади. – С немцами похороводились, теперь манатки на горбяку – и за мной!

Гокка ничего не понимала.

– Почему вы с нами так разговариваете? Как с врагами...

– Отставить! – лейтенант ногой опрокинул венский стул. – Живо собирайтесь! Мне с вами нянькаться некогда! Вещей с собой – по сто килограмм. Если непонятно, объясню по-другому, – и ткнул автоматом в грудь Гокка.

– Кто пришел, дочка? И что нужно этим людям? – подал голос из своей комнаты Маджай.

– Сейчас, отец...

Гокка попыталась успокоить мать, дала ей воды, на плечи набросила платок. Но к отцу войти не удалось – в дверном проеме стоял лейтенант с автоматом наперевес.

– А ну, осади, вражина!

– Там мой отец... Он не встает... Ему надо помочь одеться...

– Сам справится. Или я помогу... – лязгнул затвор автомата.

– Да пойми же ты, он старый, больной. Ходить не может, не то что бешмет на себя надеть. Что ты за человек?! – вдруг осмелев, накинулась Гокка на лейтенанта. – Пусти, говорят!.. – и грубо отпихнула «черношинельника».

Подбежал солдат-автоматчик, но лейтенант уже овладел ситуацией, повел автоматным дулом возле самого лица Гокка.

– Ишь, ретивая! Может, там у тебя бандит бородатый прячется? Я те постромки-то укорочу!

– Пусть Аллах укоротит твой бесстыжий язык! – гневно бросила Гокка в лицо лейтенанту.

Тот отпрянул было, но уперся в косяк, набычился и передернул затвор.

– Еще слово скажешь, я тебя, сволочь, тут же и шлепну!

Гокка почувствовала, как что-то надломилось в ней. И в следующий миг она словно бы оглохла: лейтенант что-то кричал, размахивая автоматом, а ей казалось – по-рыбьи, беззвучно, разевал рот; мать, вся в слезах, протягивала к ней руки, а она смотрела на нее как на чужого, незнакомого человека и не понимала, где она и что происходит вокруг. Так бывало с ней на фронте, после суток напролет крови и стонов раненых и умирающих бойцов на операционном столе, вдруг вспомнила Гокка. Гулким молотом стукнуло сердце, она очнулась, вытащила из-под кровати чемоданы, сумки, баулы. Стала машинально собирать пожитки. Боялась смотреть матери в глаза.

– Мама... Постарайся одеться. Нам придется оставить наш дом.

– А как же твой отец?

– Меня не пускают к нему. Но я попытаюсь...

– Объясни им, дочка, мы ни в чем не виноваты... – глотая слезы, слабым голосом проговорила Хабибат.

– Я не могу, мама... ты ведь сама видишь: у них автоматы.

– Ну, тогда скажи им, что твоя сестра Кемисхан поехала на важное совещание.

– Они не будут ничего слушать. Пойми, мама, нас выселяют... Одевайся теплее. Кто знает, куда нас...

– Нас одних выселяют, дочка?

– Не знаю, мама...

Лейтенант курил, рассеянно посматривая, как Гокка собирает вещи, презрительно ухмыльнулся, когда она укладывала поверх наскоро сложенных платьев, рубашек, еще чего-то семейные фотографии; глаза его настороженно сузились при виде армейского вещмешка в руках Гокка, но тут же подернулись пеленой пренебрежительного равнодушия. Собрав вещи, Гокка остановилась посередине комнаты, оглядывая ее в нерешительности. Лейтенант заметил это, но потянул нарочно минуту-другую, прежде чем спросил:

– Что-нибудь еще?

– Мне нужно взять продукты... Мяса и картошки...

– Бери! – не выпуская изо рта папиросу, процедил лейтенант.

– Мясо на чердаке... А за картошкой надо спуститься в погреб.

– Из комнаты не отлучаться! – скомандовал «черношинельник». – Часовые! Не спать!

Продуктов под рукой оказалось немного: пяток кукурузных лепешек, миска вареного мяса, кусок сырого сушеного, узелок с пшеном, коробочка с солью – все это Гокка осторожно сложила в сумку. Хорошо еще, ведро картошки вечером принесла...

Закончив сборы, Гокка села на кровать рядом с матерью и только теперь обратила внимание на часовых. Тот, который находился у двери в комнату отца, переминался, словно на сильном морозе, с ноги на ногу, едва не наступая каблуками сапог на полы шинели – она была ему явно не по росту. Он старательно отворачивался, чтобы не встретиться взглядом с глазами женщин, а если их взоры перекрещивались, тотчас наклонял голову и закрывался козырьком под малиновым околышем. Другой часовой, у входной двери, совсем еще мальчишка, курносый и русоволосый, то и дело вытирал рукавом висевшей на нем мешком шинели залитое слезами лицо, со страхом поглядывая на своего командира. А тому, казалось, ни до кого и ни до чего не было ни малейшего интереса. Ссутулившись, сидел он на опрокинутом стуле, в густых клубах папиросного дыма, морщась от едкого запаха и оранжево-кровавых бликов, отбрасываемых лампой.

Ходики отстучали три часа. Глухая ночь. Тишина за стенами дома. И вдруг громко застонал Маджай и стал каким-то надрывным голосом звать Гокка.

– Доченька... – наклонилась Хабибат к самому ее уху, – он все время тебя кличет...

Гокка вскочила и, пока лейтенант и часовые не опомнились, бросилась в комнату к отцу. Обняла его, с трудом сдерживая себя, что бы не разрыдаться.

– Ты чего это надумала, вражья твоя душа?! – навис сзади над Гокка разъяренный «черношинельник». Обжигая пальцы вспыхивавшими одна за другой спичками, он долго рассматривал лежащего на кровати старика, потом, мелко вздохнув, чертыхнулся и уже властно крикнул:– А ну-ка, быстро одевайтесь оба, не то погоню так, в чем есть, голыми! Понятно?

Гокка уже не слышала угроз. Она подняла отца, усадила на постели, подперев его спину подушками, и принялась помогать ему одеваться.

Вошла Хабибат с лампой, запричитала:

– Отец наших детей, за что Аллах послал нам такое испытание? Нас выселяют! Такое горе на наши головы! Но мы никуда не уйдем, пусть нас хоть расстреляют! Мы умрем в доме предков!..

Маджай с трудом спустил ноги на турью шкуру, тяжело откашлялся, надо было еще надеть сапоги. Гокка пришлось с ними повозиться – боялась потревожить больные ноги отца. Наконец он встал, поддерживаемый Гокка, и так же медленно, как застегивал серебряной чеканки пуговицы на вишневом бешмете, произнес:

– Этого не может быть... Они же... наши советские... они... красноармейцы... не сделают этого...

Последние слова он выговорил не очень уверенно. Скольких недосчитался аул, когда в тридцать седьмом прокатилась по Большому Карачаю черная волна таких же вот нежданных ночных стуков в дверь. «Эти тоже пришли ночью» – горько подумал старый Маджай. Ноги не слушались его, и он опустился на кровать. Сев рядом, к нему прижалась Хабибат.

– Подождите здесь... Мне тоже надо собраться... – тихо сказала Гокка.

Но лейтенант снова преградил ей дорогу.

– Что ты все шепчешься с ними? Задумала чего, вражина?

– Одеться мне надо... И ногу перебинтовать... – Гокка уже без страха надвигалась на лейтенанта. – Ты что думаешь, брошу стариков одних?!

Он пятился из комнаты со вскинутым автоматом, будто боялся, что она может ускользнуть от него через потайной ход. И успокоился только тогда, когда боковым зрением отметил: автоматчики начеку. Закурил. И уже не отрывал взгляда от девушки.

Гокка села на низенький стульчик, вынула из вещмешка бинт и, отвернувшись к стене, стала перебинтовывать рану. Та все еще гноилась, старый бинт был буро-черным и задеревеневшим. Гокка отодрала его – острая боль пронизала ногу насквозь. Пришлось заняться обработкой – иначе сапог не натянешь. Пальцы не слушались, руки будто впервые делали такую обычную работу.

И это взбесило «черношинельника». Он и так подозрительно присматривался к повязке на ноге Гокка, раздражался, видя, что она прихрамывает, а тут его взорвало и он заорал:

– Долго ты еще будешь возиться? Давай быстрей! Сколько можно ждать!

Гокка одевалась за шкафом, а лейтенант прохаживался взад-вперед по комнате, поддавая сапогом опрокинутый стул, – со стены на стену в кровавых неверных отсветах металась черная тень, будто шарахаясь в неизъяснимом ужасе от своего хозяина.

Хабибат внесла в дрожащих руках лампу и осторожно поставила на стол. Посмотрела на лейтенанта, покачала головой и ушла в черноту спальни, где глухо постанывал Маджай.

Лейтенант вздрогнул и замер на полушаге: из-за шкафа вышла стройная женщина в офицерском кителе, с орденом Красной Звезды, на погонах блеснули капитанские звездочки. Лейтенант растерялся и вскинул было руку к козырьку – солдаты у дверей в эту же минуту вытянулись по стойке «смирно», перехватив автоматы на грудь, – но увидев змею, обвившую чашу, лейтенант отдернул руку и сердито махнул солдатам:

– К выходу! Смотреть мне!

Гокка подошла к кровати, застелила ее, в две горки переложила подушки со стола (на который их обычно убирали на ночь) – большие и маленькие, сняла с персидского ковра портрет Сталина в ореховой рамке, вынула его оттуда и стала медленно сворачивать в трубочку. «Он наверняка не знает об этом произволе. Это козни врага», – мелькнуло у нее в голове. Она положила портрет в чемодан и какое-то время стояла в задумчивости.

Новые команды «черношинельника» заставили ее очнуться.

– Все на выход? С вещами! Бы-ыстро!

Отец и мать сидели, по-прежнему прижавшись друг к другу. Хабибат плакала, не вытирая слез, Маджай старался держать голову прямо, но папаха, казалось, была слишком тяжела для обессилевшего старика.

– Доченька, – еле слышно заговорила Хабибат, – скажи им, что мы никуда не поедем, пусть нас тут и расстреляют... – она беззвучно зарыдала и уткнулась в бешмет мужа.

– Скажи им, – подал слабый голос Маджай, – по закону предков, последний свой час горец встречает в родном доме, так и мы...

Гокка не знала что делать, что ответить родителям. Она должна пойти к воинскому начальнику этих «черношинельников», и тогда, конечно же, все выяснится. Но в дверях стоят автоматчики, а в доме распоряжается сутулый лейтенант с вонючей папиросой в зубах. Кончается ее отпуск, надо возвращаться на фронт, но как оставить в такой беде стариков? И почему лейтенант даже не отдал ей, капитану, честь? Не посмотрел ее документы?

Все выяснится, теплилась где-то в глубине души надежда. Но холодным дыханием своим тревога задувала и так едва мерцавший ее огонек, и он из последних сил бился, как и тот обреченный, внутри закоптелого стекла над обуглившимся фитилем семилинейной лампы.

Терпение лейтенанта иссякло до последней капли. Он пнул сапогом стул и с ожесточением крикнул в дверной проем:

– А ну, выходи!

Ни малейшего шороха не послышалось в ответ.

Черная фигура лейтенанта метнулась из освещенного круга в комнату стариков, и вдруг в их лица уставился черный глаз автоматного дула.

– Сколько еще прикажете с вами цацкаться? – лейтенант грязно выругался. – Думаете, вы одни у меня? Некогда мне с вами канитель разводить! Встать! – прохрипел, наполняя комнату табачным перегаром.

Маджай отрицательно покачал головой, обнял жену, хотя никогда не делал этого при детях, и закрыл глаза. Гокка опустилась перед родителями на колени.

– Надо идти, родные мои... Это недоразумение... Ошибка исправится, и мы вернемся в наш дом...

Хабибат поднялась, надела длинную мерлушковую шубу с серебряными застежками. Поправила на муже бешмет, папаху.

– Я не могу встать, – простонал Маджай.

– Мы тебя понесем, – наклонилась к отцу дочь.

Руки Маджая повисли на плечах женщин, Хабибат и Гокка подняли его и на себе поволокли к двери.

– Отставить! – остановил их окрик «черношинельника». – Пусть идет сам! Гокка обернулась из-под руки отца.

– Я же тебе говорила, что он не может ходить. Чего ты хочешь?

– Ты и ты, – лейтенант показал автоматом на Хабибат, потом на Гокка, – живо выметайтесь отсюда со своими манатками, а его... – еще один тычок в воздух автоматом, теперь уже в сторону Маджая, – его мы сдадим в районную больницу.

– Тогда мы не сделаем больше ни шагу. – Гокка крепче обхватила отца за спину. – Стреляй, шакал!

– Будь приказ, со всем бы моим удовольствием, – пробурчал себе под нос лейтенант и отрывисто выкрикнул: – Ч-черт с тобой! Тащи своего бандита!

– Этот, как ты говоришь, бандит защищал советскую власть в наших горах, жизни не жалел... А ты?.. – Гокка захлебнулась от горя и обиды. – Шакал ты – не человек! Веди...

Лейтенант плюнул под ноги, пробурчал: «Ч-черт, ну и семейка досталась...» – зажал автомат под мышкой, закурил и первым вышел на улицу.

В распахнувшуюся дверь с улицы ворвались в дом какие-то чужие, нездешние звуки – ругань, плач, громыхание повозок. Сплошной стон от края до края навис над аулом. Горы, казавшиеся в ночном небе застывшими, безучастными к человеческому горю чудовищами, возвращали в аул зловещее эхо, которое умножало нарастающий стон в десятки, а может, в сотни раз.

– Подвода на улице... – процедил, полуобернувшись, лейтенант и скоро пошагал со двора.

Хабибат и Гокка подхватили Маджая под руки, но куда тут поспеть за лейтенантом! Расстояние, которое тот промахнул за минуту, они преодолевали целую вечность. Так показалось Гокка, да и лейтенант, прохаживавшийся возле повозки, нервно жевал папиросу, то и дело поглядывал на часы, с шумным фырканьем выпускал из ноздрей дым. Спешил, всем своим видом давал понять, что времени у него в обрез. Но не соизволил помочь женщинам подсадить старика на подводу. Неимоверных усилий стоило им взгромоздить на нее безжизненно-безвольное – почему-то подумалось Гокка – тело отца.

– Мама, побудь с ним, шепнула она, чтобы не услышали ни отец, ни конвойные. – Я сама перетаскаю вещи.

Но Хабибат бросилась ей вдогонку.

Только теперь, когда увидели стоявшего на часах в дверях их дома того, русоволосого автоматчика, поняли они, что отныне это не их дом и что им всего-навсего разрешили взять с собой кое-какие вещи. Часовой посторонился на полкорпуса, отпихнув сапогом белую пушистую кошку, которая терлась о дверной косяк в надежде, что ее покормят, раз уж так некстати разбудили...

Наконец вещи уложены – последние свертки прихватил часовой, в нарушение устава, усмехнулась Гокка, что ж, спасибо и на этом? – и подвода тронулась. Мерцающий свет керосиновой лампы в окне, подсвеченный изнутри беспокойными отсветами проем распахнутой настежь двери их – теперь уже бывшего! – дома, старинного дома большой, уважаемой семьи Боташевых, уменьшались, отдаляясь, и гасли, тускнели...

– Это души предков, – прошептала Хабибат. – Они собрались на печальные проводы...

Совсем недолго подпрыгивала и скрипела на кремнистой дороге увозившая их от родного дома повозка. Она остановилась в центре аула, на площади перед зданием аулсовета, неподалеку от праздничной трибуны. В черноте ночи трудно было разобрать, что творится на площади. Но Гокка, шестое какое-то чувство сработало, что ли, увидела: стенало, кричало, надрывалось истошным детским плачем, гулко билось о невидимые стенки человеческое месиво...

Гокка посадила своих стариков на вещи, но сама садиться не стала – всматривалась и вслушивалась. Подводы, одна за одной, одна за одной, – те самые десять-двенадцать подвод, которые с таким трудом, слышала Гокка, сумел собрать колхоз после оккупации! – доставляли все новые и новые партии несчастных. Словно какая-то ненасытная губка, впитывала площадь в себя людей...

Маджай за все время не проронил ни слова. Хабибат тихо плакала, но вдруг, вспомнив что-то, запричитала в голос:

– Доченька! Двери дома твоего отца остались настежь! Как же Аллах мог допустить такое?!

«Как... так... тик... так... – стучало у Гокка в висках. Да, действительно, она отчетливо слышала, в оставленном отцовском доме как ни в чем не бывало мерно тикают ходики... Постукивание маятника, обычно уютное и такое убаюкивающее, сейчас почему-то перекрывает крики и плач на площади. Ах, да... Потому что ходики отсчитывают теперь другое время. И начинает его черный день для карачаевского народа – второе ноября тысяча девятьсот сорок третьего года. Вторник, для чего-то отметила про себя Гокка.

В разбавленном рассветным молоком мраке Гокка наконец различила солдат в черных шинелях. Охранники, по-видимому, держали кольцо, внутрь которого упирали дула своих автоматов.

Женщины, расположившиеся поблизости от Гокка, узнав ее, заговорили, наперебой обращаясь к ней:

– Скажи им, чтобы они отпустили нас. Советская власть не простит им этого!

Неужели, ответь нам, Гитлер переодел их в форму «энкавэдэшников»?

– За что он толкнул меня прикладом в спину?

– Пойди, разбуди письмоносицу. Надо дать телеграмму товарищу Сталину. Он выручит нас из беды...

Гокка молчала. «Несчастные... Они думают, что письмоносица спит себе спокойно, а меня выпустит это черное кольцо...» Гокка подняла воротник шинели – холод пробирал до костей.

За горой Шхайты заалело небо. Звезды пропадали, тая, словно градинки на теплой земле. Разбегались облака – и Гокка подумала, что даже им невыносимо взирать на страдания людские... Становился прозрачным воздух, напитывался терпким запахом листьев тополя, пожухлых, облетевших редкими, уже буро-желтыми каплями – и тополя плачут, вздохнула Гокка... В свете утра смогла она теперь разглядеть тех, кого, как и их, среди ночи отогнали от родимых очагов «черные птицы». Безмолвно сидели, опустив седые головы, старики. Кое-как укрытые, на вещах, там, где кого подкосил сон, когда прошел первый страх, спали меньшие дети. Дети

постарше, подростки, с любопытством разглядывали солдат с автоматами, не понимая, что автоматные дула нацелены и на них тоже. И только женщины двигались беспрестанно, что-то делая – откуда, удивилась Гокка, берутся у них силы! – о чем-то говорили между собой, переходя, часто с полуслова, на причитания или плач. Вдруг взгляд Гокка выхватил из толпы группу мужчин в поношенной военной форме. Опытным глазом военврача определила: откомиссованные воины – один опирается на палку, другой через минуту-другую поправляет повязку на голове, третий нянчит руку на перевязи в кровяных пятнах; у четвертого левый рукав гимнастерки пусто вправлен за ремень... Гокка отвела от них взгляд и натолкнулась на полные ужаса глаза матери.

– Что с нашей Кемисхан? – прошептала она. – Отец! Дочка! – стала озираться по сторонам, хотя Маджай сидел, а Гокка стояла рядом. – Что с ней?.. А может... – спасительная догадка осенила ее, – может, городских не выселяют?

У Маджая не было сил сказать хотя бы привычное свое: «Говорю ведь вам...» Да и Гокка молчала, не зная, что ответить матери.

Подводы все прибывали. Должно быть, не укладывались «черношинельники» в отведенное время – теперь им приходилось умудряться грузить на подводы уже по три семьи. Но и это, видимо, не убыстряло дела. И не мудрено – две тысячи домов в ауле. Да и не только потому, – хотелось кричать Гокка, сами-то как они не понимают! – вековыми корнями врос древний Чаул, весь древний народ Карачая в эту каменистую землю, а они вырывают их из нее, они отрывают живое от живого, а это всегда непросто, ведь души и сердца людей, как и душа земли, кроваточат неостановимо, когда их разъединяют...

Вдруг в толпе раздались причитания:

– Вспомните, родимые, слова Пророка... «В предгорье будет жить народ, и однажды перед восходом солнца не ста-а-нет его...» О, Аллах, сбыло-ось...

Последние слова потонули в стенаниях, плаче, проклятиях – они безудержно выплескивались над головами несчастных; но равнодушно безмолвствовавшие, будто в оцепенении векового сна после чудовищного ночного пиршества, горы не приняли их. Гокка машинально зажала уши. Взглянула на мать. Она сидела без слез, казалось, не видя и не слыша ничего вокруг.

Гокка вспомнила: когда была еще совсем маленькой, не раз она слыхала от взрослых эти слова Пророка, да и мама рассказывала – Пророк поднялся на перевал Ыбчык (сейчас под ним райцентр Учкулан), сел отдохнуть на перевале, обвел взглядом ущелье Большой Карачай и обронил свое пророчество. Не было в Карачае человека, кто не знал бы этих слов... И вот

они сбылись, сбылись в точности... Гокка не верила в это, однако сейчас ей подумалось: «Нет, здесь не просто совпадение... Но что же?» Гокка попыталась вникнуть, о чем кричали и спорили аульчане.

– Что ты каркаешь? «Сбылось... не станет...»? Собрали сюда, наверное, чтобы поговорить о чем-нибудь...

– Скажи уж – согнали. Когда это было, чтобы с нами говорили сквозь ружейные прицелы?

– Да еще выгнав ночью из домов, с вещами, с детьми на руках?

– Нет матери несчастнее меня! – прорезал мужские голоса обезумевший женский. – На моих детей нацелены автоматы? А они, бедняжки мои, намаялись и спят на холодной земле... Вот они, посмотри! – растрепанная женщина тянула за рукав молодого солдатика. Тот, будто боясь вступить в кишащий и кричащий круг, отпихивал женщину, защищаясь от нее автоматом. Женщина ухватилась за ствол обеими руками, пытаясь вырвать: – У их отца тоже автомат. Но он бьет фашистов. А вы с детьми воюете... Вы – фашисты?

Солдат ударил женщину прикладом, она упала на спящих детей и зашлась плачем, дубася кулаками воздух.

«Свекрови что-то не видно, – подумала Гокка, и снова сжалось сердце, – почему же нет весточки от Аслана?» Последнее письмецо получила она от него в декабре сорок второго, из Сталинграда. Оно было совсем коротенькое, написано торопливым, бегущим почерком, наверное, в минуту редкого там затишья. Но сколько было в нем нежности, горячей любви!.. Гокка перечитывала его всякий раз, когда ей удавалось побыть одной. Оно спасало ее от накатывающего отчаяния, когда перестали приходить письма, оно придавало ей силы, когда надо было подойти к операционному столу, на котором, как ей казалось, лежит ее Аслан... Оно возвращало ее в светлые годы их дружбы, оно возвращало ей одну-единственную их ночь любви...

Хабибат достала из-за пазухи фотокарточку Харуна, покачала головой, пошептала что-то и снова убрала ее, прижала к сердцу.

– Тебе надо отдохнуть, мама, – попыталась уложить ее Гокка. – Голову... вот сюда... на чемодан...

Хабибат не шелохнулась, прямая, с остекленевшим взором.

Гокка сняла шинель, чтобы укрыть ноги отца. Но Маджай, все также не проронив ни слова, отрицательно качнул головой и, с трудом приподняв руку, остановил дочь. Скорбно прикрыл веки...

«Чем же помочь отцу? Кто же поможет всем этим несчастным?!» По ту сторону оцепления снова забегал тот самый лейтенант, который привез их сюда. К нему подошла женщина из только что доставленной очередной партии.

– Я все-таки очень прошу вас, – обратилась она к нему на хорошем русском языке, – разрешите мне съездить за отцом в Учкулан, он лежит в

районной больнице. Заберу его и сразу вернусь, это быстро, здесь же рукой подать. А у вас остаются моя мать и дети. Так что я никуда не денусь. От них-то я не убегу.

– Отстань! – дернулся лейтенант и направился к освободившейся от людей и пожитков повозке, на ходу раскуривая папиросу.

– Что же мне делать? – недоумевала женщина. – Я не могу бросить больного отца!

– Ой, лейтенант! – попытался вступиться за нее однорукий инвалид. – Разреши ей... Раз вы нас выселяете, значит, нам и больных своих везти с собой. Не по обычаю предков бросать их на произвол судьбы. Мы же люди, в конце концов!

Лейтенант даже не обернулся. Легко подпрыгнув, уселся на подводе. Отрывисто скомандовал:

– Впе-ред!

Женщины загалдели еще громче:

– Люди добрые! Не иначе, как нас пожгут здесь всех!

– Перестреляют! Разве ты не видишь, что у них в руках?

– Детей отнимут! Де-те-эй!

«Что же происходит?!» – Гокка опустилась на какие-то узлы и обхватила руками голову. Происходящее не укладывалось в сознании. Это ее, воспитанную в безграничной любви к Сталину, в преданности своей социалистической Родине, сутулый лейтенантик назвал врагом, бандиткой! Это ей, военврачу, полевому хирургу, – уже в первые месяцы ее работы на фронте она была представлена к «Красной Звезде», а недавно получила «капитана», – это ей приготовили «черные птицы» такие «почести»! Это она, приехавшая домой с фронта на побывку после ранения, – арестантка под конвоем не нюхавших настоящего пороха вояк! Ладно – она... У нее пока еще недлинная биография – школа, Ростовский медицинский, который она заканчивала, когда уже началась война, и сразу фронт, они ушли всем курсом, как только получили дипломы... Не было такого аула, поселка в Карачаевской автономной области, где все мужчины призывного возраста, да и не только, вернее сказать, все те, кто способен был носить оружие, уже в первые дни войны не пошли бы добровольно защищать Отечество... В городах тоже формировались добровольческие отряды... Отлично воюют – в газетах пишут, «Совинформбюро» сообщает. Разве это вина простых карачаевцев, что в августе сорок второго фашисты оккупировали Карачай, многие другие районы Северного Кавказа? Неужели эти несчастные старики, женщины, инвалиды войны, дети должны нести наказание за то, что кучка подонков, называвших себя карачаевцами, сотрудничала с оккупантами? Выходит, возмездие слепо, раз обрушило свою кару на тех, кто чем мог приближал светлый день освобождения, раз уберегло, укрыло немец-

ких холуев от расплаты. Сон это или кошмарное наваждение, что свои же, советские, «воюют» с беззащитными, ни в чем не повинными людьми?

К Гокка подошла – бывшая теперь уже – заведующая райздравотделом Зухра. Некоторое время они молча глядели на всех этих бывших аульчан.

– Мне надо тебе что-то сказать, Гокка, – проговорила тихо Зухра. Они протиснулись на заставленный вещами пятачок – здесь можно было поговорить более-менее спокойно.

– Вот как оно вышло. Разве я могла подумать тогда... Три дня тому назад в кабинет ко мне зашли двое молодых лейтенантов. Сели молча в сторонке и ждали, когда я освобожусь. А дел по горло, сама знаешь, каково все с нуля начинать. Люди – бесконечной чередой – идут и идут. С одними только медработниками, что в наш район приехали, добрый час просидела – надо было квартирный вопрос решить. Потом завхоз пришел. Я ему сказала, чтоб начинал заготавливать на зиму дрова для больницы. Тут один из военных сказал тихо: «Напрасно...» Думал, не услышу, но я расслышала. Спросила: «Что – напрасно? Больница должна отапливаться. Я вас не понимаю...» Лейтенанты терпеливо, не проронив больше ни слова, выждали, когда иссякнет поток посетителей, подошли ко мне вплотную, чтобы нас не могли услышать в коридоре. Заговоривший первым, смущенно кашлянул и продолжил: «Мы военные медики. Я – военфельдшер. У нас к вам просьба. Тяжело заболел наш командир. Нужен сульфидин, а он сейчас на вес золота, не вам говорить. Грамм всего. У нас нет. Распорядитесь, пожалуйста, чтоб выдали...» На десять граммов, не мешкая, написала я им рецепт – на днях мы получили полтора килограмма сульфидина. Тут кто-то вошел в комнату, лейтенанты опять сели, выжидательно поглядывая на дверь, которая впускала все новых и новых посетителей. Видя, что конца этому не будет, военфельдшер, загородив собою дверь, закрывшуюся за очередным ходатаем, решительно проговорил: «Мы хотели бы сказать вам кое-что с глазу на глаз». Я вышла в коридор и попросила пока не заходить ко мне. Мы отошли вглубь комнаты, и второй военный негромко и с расстановкой произнес: «Прибытие в район такого количества войск «энкавэдэ» и грузовиков не случайно. У нас предписание – этой ночью мы должны выселить ваш народ. Так что оставьте свои здесь дела, идите домой, вам собираться надо...» Знаешь, Гокка, весь мир в тот миг обрушился на меня, в глазах потемнело, я чуть в обморок не грохнулась. Но было бы лучше мне тогда умереть, чем видеть такое... – Зухра потупилась и замолкла.

Гокка могла бы сказать то же самое. Обняла подругу за плечи. Зухра, справившись с подкатившими слезами, стала рассказывать дальше:

– Да... Ко мне подлетел военфельдшер: «Вам плохо?» – в глаза посмотрел, испуганно так, налил из графина полстакана воды, протянул мне. «Ничего, – выдавила я, отпив несколько глотков. – Ничего...»

– Как будто кто-то за меня спросил: «Куда же нас хотят выселить? За что?» – «Куда-то, кажется, в Азию. За то, что фашистам пособничали...» – «Фашистам? Да тех, кто немцам служил, в помине давно нет. Их и след здесь простыл!» Надо мной склонился и второй лейтенант: «Прошу вас, не теряйте время, попрощайтесь с горами и готовьтесь в дорогу... Вы нам сделали такое доброе дело – ценное лекарство дали, мы тоже должны помочь вам. Но если то, о чем мы говорили узнает наше начальство, мы пойдем под трибунал. В Карт Джурте один из наших проговорился, теперь ему крышка... Прощайте...» Лейтенанты ушли, а из меня словно кто силы все, как кровь из вены, выпустил. Долго я не могла подняться со стула. Наконец пересилила себя, прибралась немного и, не закрыв кабинет на ключ, и в голову-то не пришло, побежала по коридору. И знаешь куда? В аптеку? Надо было в канцелярию, там зарплату выдавали, а я ринулась в аптеку – попросила десять метров марли: дефицит ведь!.. Нашла дефицит! Возьми сульфидин – весь, что получили, – столько денег! А я и не вспомнила о нем. Потому как себя не помнила в ту минуту. Да что я – и так не взяла бы... Бежала домой, в Чаул, да вдруг ударило в голову: что будет, Аллах мой, с теми, кто в районной больнице лежит, ведь многие из них нетранспортабельны! Побежала назад, но... предпринять что-нибудь так и не смогла...

Душераздирающие вопли заставили Гокка и Зухру повернуться в ту сторону, где сгружали с подвод скарб новой партии аульчан. Там в истерике билась растрепанная женщина, к которой тесно жались дети: один другого меньше. Над толпой разносились ее причитания:

– Люди! Помогите! Дома осталась моя мать. Она тяжело больна. Одна в пустом доме. А они не пускают меня к ней. Что же это? Люди! Они что хотят, то и делают, а вы молчите! Помогите! Люди! – Безумная, заметив в толпе председателя колхоза, метнулась к нему, прильнула к пустому рукаву шинели. – Председатель! Ведь ты... ты ведь у нас советская власть! Почему позволяешь, чтобы над нами вершилось такое? Верни меня к матери! Или убей этих фашистов! – и обеими руками вцепилась в председательскую шинель.

Председатель отводил глаза, не зная, куда глядеть, – отовсюду отчаянием и ужасом пронзали его десятки и десятки пар глаз, тянулись к нему руки, с обреченными растопыренными или гневно сжатыми в кулак пальцами, тонкие женские или немощные и сухие старческие, словно ветви пережившего свой собственный век дерева. То тут, то там в толпе над головами поднимали детей. Тягучим, на одной ноте, воем оседал над площадью детский плач.

Председатель попытался живой рукой пригладить лохмы несчастной, но она отшатнулась, страшно сверкнув на него глазами.

– Прекратите, сержант, это бесчеловечно! – закричала Гокка на конвойного сопровождавшего эту семью. – Отведите женщину домой. Пусть заберет мать.

Сержант смутился, увидев перед собой капитана.

– Да я, товарищ капитан... – взял было под козырек, но, различив значок медицинской службы, отдернул руку, смутился еще больше и промямлил: – То есть выселяемая... Я то что... Я приказ командира выполнял... Мне самому-то жалко очень...

– Я тебе покажу, слизняк, жалко очень! Как бы мамке твоей жалеть тебя, соплю, не пришлось. А ну – выйти из оцепления! – приказал словно из-под земли выросший лейтенант, взбешенный малодушием подчиненного. – Пожалел помешанную эту! – Подошел к ней, бросил грубо: – Какая тебе разница, бандитка, где твоя мать подохнет! Докуда ты ее довезешь-то? Стронь с места, тут и окочурится...

Женщина судорожно обнимала детей, но ее душа, показалось Гокка, витала уже где-то далеко.

– А ведь мне в больницу надо, – спохватилась Зухра, но, уткнувшись взглядом в автоматчиков, проговорила неуверенно: – Нельзя же их бросать на произвол...

– Там есть русские нянечки, медсестры. Они их не бросят.

– А чем они лечить их будут? Кормить чем? Медикаментов и продуктов на неделю, не больше... – размазывала Зухра по щекам крупные слезы.

– Ты слышала, Зухра, – оцепление? Боюсь, нам из этих цепей не вырваться... – вздохнула Гокка и осеклась: неподалеку лейтенант свирепым матом выругал какого-то солдата, но, заметила она, и явно прислушивался к их разговору. – Лейтенант... Тише...

– Те лейтенанты, которые приходили ко мне, – Зухра горячо шептала в самое ухо Гокка, – не чета этому... Жалко, предупреждением их не воспользовалась...

– А если бы воспользовалась, – перешла на шепот и Гокка, – что бы сделала? Помешать не сумела бы. Только собралась бы получше. Вот и все...

Зухра, прильнув к уху подруги, продолжала торопливо, будто боялась, что не успеет выговориться:

– Домой в тот день бежала ни жива, ни мертва. Все думала, вот приду, надо будет сказать домашним, а как? Говорить не стала, язык не повернулся. Да и лейтенанты просили молчать... Пока бежала домой и потом, в суете по дому, все твердила, успокаивала себя, что ли: «Не может такого быть! Не может!» И ждала – вот сейчас начнется. Но все обошлось. И ночь прошла спокойно. А утром, как обычно, отправилась на работу в район. У моста через Кубань встретила знакомых лейтенантов. Они покупали груши у старика. «Ну, как, подготовились?» – спросил тихо, чтобы тот не расслышал, военфельдшер. «Нет», – ответила я и обиженно подумала: «Зачем шутить так скверно?» Он будто прочитал мои мысли. «Должны были этой ночью вывезти, но отложили почему-то...» Лейтенанты сдержанно попро-

щались со мной, и я побежала дальше, уже не сомневаясь, что ребята разыграли со мной злую шутку. В нашей стране такого быть не может, очень скоро убедила я себя, и в хорошем настроении занялась делами. Раньше я старалась отгонять от себя слухи, что ползли по аулу из дома в дом – выселяют нас, для того, дескать, и толкутся здесь «черношинельники». А тут, после той встречи на мосту, и вовсе успокоилась... Только, видишь, оказалось не без дела они слонялись, как думали многие, а план операции на местности прорабатывали: в домах часами просиживали, выпытывали и высматривали, значит, расположение улиц и переулков изучали, шагами, наверное, мерили... чтобы вот так, в одну ночь, в несколько часов, весь аул поднять...

Зухра поцеловала Гокка и пошла к своим. «Хорошо, что я с дорогими моими в эту черную минуту, – подумала Гокка, глядя на мать и отца. Они сидели неподвижно и безмолвно, мать даже не замечала, что лицо ее мокро от слез.

Солнце понемногу пригревало. Беспорядочный стан измученных, на грани отчаяния, людей неистово закипал всякий раз, когда очередная подвода сбрасывала новую партию несчастных, десяток минут страсти ударялись о железное кольцо – и тогда работали прикладами автоматчики, слышалась ругань, причитания женщин, детский плач: дети просыпались и просили есть...

Вдруг на площади раздались выстрелы. Гокка увидела: стреляя поверх голов короткими очередями, автоматчики теснили с площади группу русских, которые жили и работали в ауле. А те что-то говорили солдатам, доказывали, размахивали руками, пытались перебросить за оцепление какие-то свертки, узелки и даже баулы. Вездесущий лейтенант отрывисто отдавал команды, но Гокка не могла разобрать их в страшном гвалте и автоматных хлопках. Примерно через четверть часа железное кольцо сомкнулось еще плотнее.

Однако вскорости кольцо это раздалось на несколько шагов. Нечто страшное подступило, заслонило даже ужас выселения – живой организм требовал отправления самой естественной нужды. Но противоестественно делать это, когда кругом глаза... Никогда карачаевец – свято почитаются в народе вековые традиции – не преступал малейших житейских канонов, а тут... А тут ничего не оставалось – деться некуда... Не в силах больше терпеть, хватаясь за животы, люди в отчаянье метались и, не найдя укромного уголка, притискивались к оцеплению. Но выйти из него было нельзя. Подавив на миг стыд, люди присаживались прямо у ног солдат. Те отступали. На шаг. Другой. Третий... Стан несчастных опоясывался еще одним, внутри железного, кольцом – зловонным, позорным, безжалостно отнимавшим у обезумевших и загнанных последнее, что у них еще оставалось, – имя человека... Люди поднимались и, потупя глаза, уходили на свое место...

«Горе... Позор... Унижение... – билось в сознании Гокка. – И это потомки прославленных историей гордых алан, – обвела она взглядом мятущихся в ощетинившемся железном, смрадном круге земного ада. – Красивые и белокурые, рослые, сильные люди, мастера на все руки, высшим законом всегда признавали они честь, справедливость и покой семейного очага. В средние века создали на Северном Кавказе цветущее государство, Аланию, включившее огромные территории, до самого Каспийского моря. Жили в мире со всеми. Торговали с соседями и даже с Византией. Аланский царь выдал свою сестру Борену за грузинского царя Баграта... Полчища Чингизхана разорили аланское царство. Но не уничтожили памяти о нем в народе – возведенные аланами храмы и крепости из века в век хранили ее... А теперь, похоже, – содрогнулась Гокка, – кто-то замыслил уничтожить и сам народ... «Похороводились с немцами...» – вспомнила вдруг слова лейтенанта. – Абсурд какой-то... Наши мужчины на фронте... В ауле остались старики да женщины с ребятишками... Нашли пособников! Никогда не будет карачаевец в услужниках тому, кто землю его и достоинство топчет грязными сапогами! Правда, прислуживали «зеленым» такие, как Зомма улу Сохта. Но горцы ли они?.. – и усмехнулась горько. – А мы теперь кто?»

Только внешне – люди. Знакомые и дорогие ей с детства. Абидат, соседка, жена сражающегося на фронте Абдулкерима, отца семерых детей. Почитается деторождение в карачаевских семьях. Дети – самое большое богатство, считают в каждом горском доме. А теперь... Теперь – горько смотреть на них. Абидат сидела в окружении жавшихся к ней детей, не мигая, уставившись в одну точку. Изваяние с обреченным взором.

Чуть поодаль сидел, опершись на посох, седобородый старик. Подслеповатыми глазами всматривался в молодого солдата, направившего на него свой автомат. В минутной хрупкой тишине расслышала Гокка едва внятное бормотание в седую бороду:

– Неужели и два моих внука где-нибудь тоже нацелили оружие на безвинных людей? Если так, пусть Аллах немедленно отнимет у них жизни!

Вдруг там, где возвышалась трибуна, вспыхнула свара. Две женщины, громко бранясь, то, казалось, намертво впивались пятернями одна другой в волосы, то, разойдясь на полшага, набрасывались друг на дружку с тумаками, изловчаясь ударить еще и ногой куда придется. И тогда криком заходились их дети, облепившие подолы своих матерей. Гокка стала пробираться к сцепившимся женщинам – разнять, скорее разнять этих несчастных! Но ей не удалось. Потеряв равновесие, женщины повалились: одна, подминая под себя детей, другая – на чьи-то головы. Но ругань не угасла.

– Убить тебя, черная змея, мало! Из-за таких, как ты да твой муж горе пришло сегодня к нам в аул. Наградил же тебя шайтан муженьком! Дезер-

тир – в полицаи записался! Скажи-ка, ну, сколько добра колхозного в свою нору перетаскали?! Убью-у! – потрясала она кулаками, порываясь снова ухватить за волосы полицаиху.

– Молчи, голодранка! Гляди вот! Гляди во все глаза, что делает хваленая твоя советская власть! Любуйся! – старалась та перекричать обидчицу. – И ее защищает твой верзила! Видел бы он!.. Как ты сидишь на земле под дулами автоматов... Сиди! Авось досидишься, все твои сопливцы как один передохнут! – усмехнулась со злорадством и победно огляделась вокруг.

Молча слушавшие перебранку, заговорили вдруг все разом:

– Люди -и! Ведь из-за них, пособников Гитлера, настал для нас этот черный день!

– А она еще надсмехается над нами!

– Бейте ее!!

– Задуши-ыть ее, тварь поганую!

Одна из женщин разъяренной тигрицей бросилась на полицаиху. И другие женщины, кто был рядом, накинулись на нее с кулаками. Опять вмешались солдаты, пустив в ход автоматные приклады. Женщин в конце концов разняли, но словесная перепалка не утихала.

– Только такие, как ты и твой кривобокий муж и могли обрадоваться приходу фашистов! Но, слава Аллаху, не долго судил он вам радоваться!

– Дали наши и «зеленым», и холуям немецким как следует по задницам!

– А сегодня ваши дают по вашим задницам! Получайте подарочек!

– Говорят, немцы, когда отсюда драпали, укокошили по дороге своих «помощничков». Видишь, и они понимают: кто предал своих, предаст и их. Так что твой муженек наверняка уже отправился к праотцам!

– Уж ты молчала бы! Твой-то ведь давно червей кормит, вызвался против немца и напоролся на пулю! В одной земле, радуйся, и мой, и твой!

– Мой предан земле. И у него есть могила. А твоего шакалы по косточкам растащили!

– Хватит, женщины! – послышался густой мужской голос. Старый учитель – географ, всеми уважаемый в ауле человек, приложил правую руку к груди, продолжил тихим, глухим голосом: – Это наша общая трагедия. Кто нам скажет, в чем виноват наш народ? Причина, думаю, таится где-то очень глубоко. Когда-нибудь она откроется. Обязательно откроется... А теперь успокойтесь... И подумайте о своих детях... Беда еще только постучалась в наш дом... В наш с вами общий дом.

И женщины притихли.

Гокка вернулась к родителям. Хабибат упрашивала Маджая съесть хотя бы кусочек, пыталась кормить его из рук, но Маджай будто окаменел, бессловесный, со стиснутыми зубами. Хабибат протянула небольшой ломтик мяса Гокка. Она отказалась – когда вся она закрученная до предела пружина, ей не до еды... Подводы уже не подъезжали. Гокка отметила, что к

площади со всех сторон подтянуты грузовики, они забили все выходящие на нее улочки и переулки. «Видно, давно стоят... Что же они медлят?» Посмотрела на свои часики в никелированном корпусе – их в день свадьбы подарил ей Аслан! Вторую половину дня отсчитывали они...

Преодолевшее полдень солнце яростно плеснуло оранжево-красным на здание аулсовета. Занялась, будто пожаром, покрашенная суриком крыша, кровавые потеки сползли на фасад и растеклись по нему двумя горячими, в белых прожилинах, мазками. Оказывается, под тем лозунгом, который видела Гокка, когда несла отцу лекарство из амбулатории, повесили еще один. Ветерок вяло шевельнул кумач, и Гокка прочитала: «Пусть осеняет нас великое знамя Ленина и Сталина!» Перевела взгляд на жалких, измученных людей, копошащихся в зловонном, плачущем, гудящем круге, потом на возвышающуюся алым кубом трибуну, которую тоже облепили женщины и дети. «Вот какое знамя осеняет нас сегодня...» – с горечью подумала и ужаснулась своей мысли. Подняла глаза на красные сполохи и почувствовала, будто пригвоздил ее раскаленным металлом суровый и требовательный взгляд Матери-Родины, спрашивавшей с завершавшего праздничное убранство плаката: «Что ты сделал для фронта?» Гокка хорошо знала этот плакат, он висел и у нее во фронтовой операционной, но здесь она увидела его словно впервые. Не одну ее, всех аульчан, всех карачаевцев спрашивала строго повязанная темным платком седоволосая, постаревшая от навалившихся испытаний женщина с усталым, в глубоких морщинах, лицом. А сделали все они – весь их маленький народ – не так уж и мало. И свидетельством того были напечатанные в газетах – Кемисхан прислала их ей на фронт вместе с письмецом – телеграмма товарища Сталина первому секретарю Малокарачаевского райкома ВКП(б) Хаджиеву с благодарностью трудящимся района за то, что собрали они сто тысяч рублей на строительство танка (Кемисхан восторженно писала, что женщины Карачая сдают в фонд обороны и свои серебряные украшения!), и обращение к жителям области первого секретаря краевого комитета партии Михаила Андреевича Суслова в связи с окончательным изгнанием немецко-фашистских оккупантов с Северного Кавказа. В обращении были названы имена героически сражавшихся с врагом карачаевских партизан. А сколько отличилось карачаевцев в боях! Сколько их ковало победу в тылу!.. Об этом тоже сообщали газеты, радио...

«Что ты сделал для фронта? – механически повторила Гокка. И вдруг спросила себя: – А что сделала ты для матери, для отца, для всех попавших в такую беду аульчан?» На фронте, в самых крайних, казалось бы, критических ситуациях, знала она, что делать, всегда отыскивала выход из положения... А здесь... сейчас... Сейчас она просто ненавидела себя за то, что бездействует и ждет чего-то, уповая на судьбу... «Что-то надо срочно делать... Надо что-то

предпринять... – лихорадочно соображала она, не находя решения. И снова откуда-то вынесло спасительную соломинку: – Надо сообщить в Москву. Товарищ Сталин, конечно же, ничего не знает об этом, словно со стороны кто-то возразил ей: – Ты ничего не сможешь сделать... Тебе нельзя двинуться с места... Не разрешат пересечь железное кольцо... Ничего нельзя... Не одной тебе... Вон, посмотри, офицеры Красной Армии – инвалиды войны, видишь, сидят, понуро опустив головы... А вон женщина... ее сын – командир партизанского соединения в Белоруссии Герой Советского Союза Осман Касаев... Так что сиди и жди, товарищ капитан медицинской службы...» Вдруг до нее долетел обрывок спора двух старых людей.

– Что же плохого сделал Сталину наш Чаул? Ведь самое дорогое – сыновей и дочерей – мы отдали фронту, весь наш труд, все сбережения, все – для победы! – сказал старик в ватнике.

– Ты мне Сталина не трожь! Он не мог позволить такое! – отрезал на это старик с палкой.

Они спорили бы еще, женщины продолжали бы копить одна на другую обиды, если бы их внимание не привлекла проходившая мимо группа мужчин нездешнего вида – по шапочкам Гокка определила, что это сваны. «Куда же они направляются? И зачем ведут с собой коров?» – Гокка представила, до чего неблизкий и непростой путь из Сванетии к ним в Чаул.

Истошный женский крик вернул Гокка на площадь.

– Моя корова! Моя Джулдуз! Видите? Звездочка у нее между рогов! Куда вы ее гоните?! – спотыкаясь о вещи, через головы пробиралась из толпы хозяйка доставшейся сванам коровы. Опомнилась, наконец, остановилась...

Прозрачный осенний воздух, густея, темнел. Холод, на несколько часов оттесненный в ущелье, выползал, чтобы снова мучить их – голодных, обезумевших, разуверившихся... Гокка боялась смотреть им в глаза. Особенно детям... Ведь им не объяснишь, почему матери не могут их покормить. Хорошо еще, если найдется кусочек сыра, холодная вареная картофелина или подсохшая кукурузная лепешка... Ну а как объяснить детям, почему им нельзя побегать на лужайке, почему и к реке пойти тоже нельзя? «Какие серьезные, уже взрослые у многих из них лица. Как пристально всматриваются ребячьи глазенки в солдат. Будто стараются на всю жизнь запомнить... На всю жизнь... – сжалось у Гокка сердце от страшного предчувствия. – Как бы не стала она для большинства из них слишком короткой...»

Снова по ту сторону оцепления Гокка увидела несколько аульчан из русских.

– Мама! Где ты, мама? – подымаясь на цыпочки и заглядывая через черно-малиновые фуражки, силилась отыскать свою свекровь соседка Боташевых – Клавдия. Она пришла с сынишкой Володей. Их не выселяли – русских не трогали,– хотя Клавдия была замужем за карачаевцем. Ее

Магомета перед войной взяли на срочную службу в Красную Армию, но война на неопределенный срок продлила ее – уже на второй военный день их часть перебросили на фронт.

– Здесь она! Здесь! – раздался из толпы голос. И тут же его перекрыл грубый окрик охранника:

– А ну, ку-да! Осади!

Гокка заметила, что Володя все-таки прошмыгнул в суматохе между «черношинельниками». Баладжан прижала внука к себе, наклонилась к нему, приблизила к светлой головке свое залитое слезами лицо и стала что-то быстро говорить, едва справляясь с дрожащим подбородком. Выговорившись, подтолкнула мальчонку назад к матери, на ту сторону.

«А если они задержат его. Не дай Аллах...» – испугалась Гокка. Но мальчик стоял уже возле матери и что-то возбужденно рассказывал.

Клавдия снова подошла к солдатам и хотела пройти за оцепление, но ее не пропустили, не дали попрощаться с Баладжан. Хорошо еще, хоть и с большими уговорами, уломала солдатика, чтоб разрешил передать свекрови кое-какие продукты.

Клавдия с Володей возвращались домой, а Гокка думала, вспомнит ли когда-нибудь этот мальчик черный день своего Карачая осени сорок третьего года...

Откуда знать было ей тогда, что через десятки лет суждено им будет встретиться и что седой генерал Советской Армии в подтверждение крепко сожмет ее руку и отведет повлажневшие глаза...

Будто сотни иголок вонзились в ногу, Гокка застонала и села, но тут же встревожено поднялась – толпа всколыхнулась снова, со всех сторон послышалось гудящее:

– Грузины... Грузины...

– Опять эти грузины!

– Куда они идут?

По запыленной одежде и оттягивавшим плечи переметным сумам легко было предположить, что поднялись они в Чаул из-за перевала. Останутся здесь? Или пойдут дальше? Кто-то крикнул:

– Не дай Аллах, займут они наши дома!

– Займут, видит Аллах! Потому нас и держат тут!

– Как не занять! Стены побелены! Очаги еще теплые!

Гокка поняла, что надежды ждать уже неоткуда... И ужаснулась человеческой беспомощности, когда какая-то женщина, упав на колени, простерла руки к портрету Сталина и стала просить его – не понимая, что перед ней всего лишь портрет! – заступиться за них, когда и другие женщины тоже встали на колени, как для молитвы... Гокка стало жутко. «Как же легко унизить человека! До чего же страшные гримасы строит человеку унижение! А как просто совершается эта самая страшная жестокость...»

Закат остывал за горами. Ущелье наполнялось холодным свинцом, когда все пространство вдруг заполнил собою рев моторов. Армейские грузовики, почти месяц простоявшие без дела серо-зелеными недвижимыми глыбами – аульчане стали привыкать к ним и даже не замечали их, – выползали на площадь. Натужно клокочущие двигатели, зажженные фары, ощерившиеся решетки радиаторов делали их похожими в предвечернем сумраке на каких-то доисторических чудовищ. Передний грузовик уткнулся радиатором в толпу, зашипел тормозами, дернулся и замер. Послышался сначала металлический скрежет, потом глухой удар – солдаты откинули борт.

Забыв обиды, люди инстинктивно жались друг к другу, страшась сделать первый свой шаг к этим чудищам – «студебеккерам».

* 3 *

Началась погрузка. Кузовы набивали вперемешку вещами и людьми – без разбора, лишь бы побольше, как можно плотнее, до отказа. Будто и не прекращались стоны стариков, пронзительный детский плач, перебранка солдат с женщинами.

– Лю-у-ди-и-и... – над площадью вдруг отчаянье и ужас взметнулись в диком крике. – Могилы наших предков... лю-у-ди-и!.. остаются без на-а-ас!

– А-а-а! – содрогнулась толпа, заревела, ударилась о невидимые стенки.

Хлопнули пару-тройку раз автоматные выстрелы. Неожиданно все смолкло. И тут, в провале мертвой тишины, послышался голос старого географа:

– Люди! Простимся с нашими предками. Помолчим минуту... Они счастливее нас – остаются в родной земле. Где-то лежать нам...

«Страна велика...» – подумалось Гокка.

– Давай! Шевелись! – толкнул ее плечом крутившийся поблизости солдатик. – Заканчиваем погрузку!

Хабибат и Гокка из последних сил подняли Маджая на ноги, но он не смог сдвинуться с места. На руках донесли его до грузовика, однако посадить в кузов не осилили – Маджай не удержался и мешком рухнул на землю. Застонал. Повалился на бок. Хабибат вскрикнула и зарыдала.

– Поможет мне кто-нибудь?! – бросила в темноту Гокка.

– Берись, давай! – откуда-то вынырнул толкнувший ее солдат. – Раз, два – взя-а-ли!

Втолкнули Маджая в кузов, подсадили и Хабибат, наскоро перебросали вещи. Видя, что она хромает, солдат помог залезть и Гокка. В кузове негде было поставить ногу, и она, даже не устроив поудобнее стариков, села на чьи-то узлы у заднего – уже поднятого – борта.

Солдаты подтянули брезентовый навес над кузовом и заняли свои места справа и слева от Гокка, отделив выселенцев от прежней их жизни зажатыми между колен автоматами.

Вдоль готовой к движению колонны шли два офицера в сопровождении охранника с автоматом наперевес.

– Дистанция – двадцать метров! – услышала Гокка знакомый отрывистый голос. – Спать, курить, разговаривать – запрещается! – Увидев Гокка, лейтенант замедлил шаг, на миг приостановился у борта, где она сидела, закурил и, поправив козырек, пошел в голову колонны. – Дистанция... Спать... запрещается... – Доносились команды. Потом послышалось: – Заводи! Первый, по-шел!

Взревели моторы. Их «студебеккер» дернулся и, кренясь с борта на борт, медленно сдвинулся с места... У Гокка будто захлестнуло дыхание, сердце перестало гнать кровь, вечерний мрак сделался вдруг ярче солнечного полдня. «Так, наверное, душа отлетает от тела», – подумала с тоской, провожая взглядом размытые очертания горных вершин, родной дом с так и не закрытой дверью, подворье своей свекрови, на котором мельтешили фигурки в сванских шапочках. «Что увидит здесь Аслан, когда вернется?» – едва сдерживала слезы Гокка.

В Чотчаевском квартале, на выезде из Чаула, их колонна остановилась, чтобы пропустить уже вползшую на взгорок такую же колонну, двигавшуюся из районного центра. «Значит, не только нас выселяют, – начинала понимать Гокка.

Под брезентом было тихо. Но Гокка знала: там тоже смотрят на растянувшиеся цепочкой сдвоенные огоньки.

Вдруг сзади Гокка запричитала женщина:

– Аллах мой! Глядите, сколько машин идет из Учкулана! Неужели выселяют весь Большой Карачай?!

Ей откликнулся другой женский голос:

– Сбылись... сбылись слова Пророка!..

Молчали под брезентом – не было сил возмущаться, взывать, плакать.

Под рев мотора не было сил даже думать о чем-нибудь, Гокка вглядывалась в темноту, с трудом узнавая знакомые с детства места.

Проехали последний аул в их районе. У моста Кылиян образовался затор – перед выездом на главную дорогу скопилось огромное количество таких же армейских грузовиков. Цепочка огней рассыпалась и по ней, насколько хватало взгляда.

Сомневаться не приходилось – выселяли поголовно всех.

За мостом колонна втягивалась в Кубанское ущелье. Гокка любила эти, самые красивые во всей округе, места, любила эту дорогу. Построенная в неза-

памятные времена ссыльным декабристом инженером Константином Игельстромом, узкой кремнистой лентой над стремительной Кубанью петляла она. Для Гокка эта дорога особая – по ней после свадьбы ехали они с Асланом из Микоян-Шахара к родне, в Чаул. Какими счастливыми были они тогда! Аслан читал стихи, которые написал к этому дню для нее – для своей любимой:

Расцвел в моем саду Цветок.

В Чауле нет его прелестней...

Вся жизнь была у них впереди! Они поедут в Москву – учиться: Аслан в Литературный институт имени Горького, она в аспирантуру медицинского... «Не надо! Сон развеялся...» – стучало сердце. Чем могла Гокка утолить его боль?

Грузовик с трудом вписывался в повороты. «Как же ухитряются такие громадины протискиваться там, где встречные горские арбы едва могут разминуться?» – удерживать равновесие непросто, когда машина черпает то одним бортом, то другим.

Перебралась к старикам, умостилась рядом с отцом, обняла за спину. Отец и мать молчали, будто не узнавая Гокка. Ей стало страшно...

Над ущельем поднялась луна. Свет ее не казался сейчас Гокка фантастическим, как тогда, когда они вдвоем с Асланом бродили за полночь по горным тропам. Сейчас и сами горы будто другие – холодные, облитые мертвенной бледностью, хмуро провожают они их в неизвестность. «Вот проедем самую узкую часть дороги, Аман Ныхыт, гиблое место, где далеко внизу шумит Кубань, и неизвестность выйдет встречать нас...» – с грустью смотрела Гокка на дорогу.

Резкий толчок. Машина остановилась. В кузове запричитали, заохали, придавленные соседями и вещами. Впереди что-то грохнуло, будто лавина сошла с горы. И над ущельем разнесся многоголосый истошный вопль. По дороге к голове колонны, откуда слышались отрывистые команды, бежали автоматчики. За ними – выселенцы.

– Скажи нашим охранникам, – проговорил кто-то за спиной у Гокка, – переведи им, пусть и нам разрешат сойти на минутку.

Автоматчики спрыгнули. Откинули борт...

В свете фар «черношинельники» осматривали обочину, смятую колесами «студебеккера» и оползшую под его тяжестью. Из обрывочных фраз поняла Гокка, что на повороте шофер не удержал машину, и она сорвалась с кручи. Лейтенанты в полукольце автоматчиков стояли у пропасти, совещаясь о чем-то. Показывали вниз, светили фонариками. Выселенцы с ужасом заглядывали в черноту. Лучики фонарей, не достигавшие дна ущелья, выхватили вдруг ветку сосны, под которой белело что-то. На ветке, вцепившись в нее ручонками, повис ребенок. – Его нельзя оставлять так! – крикнул какой-то подросток и, обвязавшись веревками, стал осторожно спускаться по склону.

Но успел погрузиться в зловещий провал только по грудь. Подбежали автоматчики, в шесть рук, за веревку, вытащили юношу. Повели куда-то.

– По ма-ши-ы-ы-нам! – раздалась команда.

– Быстро! Быстро! – подталкивали автоматчики выселенцев к «студебеккерам».

Машины с ревущими натужно моторами, заглушавшими плач оставшегося над пропастью ребенка, медленно поползли по дороге...

Будут проходить годы, но Гокка не сможет забыть брошенного в ущелье ребенка. И только через два с лишним десятка лет ей станет известна дальнейшая его судьба... Наутро две русские женщины из ближайшего поселка, собиравшие на склонах калину и шиповник, заметили к ужасу своему внизу на сосне маленькое человеческое существо. Позвали на помощь односельчан. С большим трудом сняли малыша, пришлось даже силой разжать его намертво сцепленные руки, чуть ли не отдирая их от смолистой шершавой ветки. Одна из женщин сказала, что возьмет мальчика к себе. Обессилевшего, без чувств, его положили на лавке у растопленной печки. Лишь к вечеру пришел он в себя, слабым голоском рассказал о случившемся... Оказалось, когда машина падала в пропасть, его выбросило из кузова и он ручками зацепился за какой-то сук... Вскоре взявшая мальчика женщина умерла. И его приняли в семью ее родственники. Воспитали. Вывели в люди... Он стал военным.

Колонна медленно прошла через аул Каменномостский. Ни огонька. Ни в одном окне. «Значит, и этот аул выселили – подумала Гокка.

Слева, на противоположном берегу Кубани, показались темнеющие в ночи нагромождения с редкими, приглушенно мерцавшими огнями. «Кому-то не спится в такой час... – вглядывалась Гокка в знакомые очертания Микоян-Шахара. Закрыла глаза, мысленно пробежала – всего-то несколько кварталов! – по улочкам к дому, где осталась – осталась ли?! – их с Асланом квартира. Но очутилась на какой-то незнакомой улице, стояла, растерянно озираясь по сторонам. – Кемисхан! Сестренка! Где ты? Я обегала весь город – и не нашла тебя...»

Гокка очнулась, когда Микоян-Шахар уже отодвинулся назад, а колонна двигалась дальше, на Черкесск. Расстегнула ворот шинели – душили отчаянье и горе...

Через годы будет снят покров тайны с подлунного движения колонны выселенцев из Большого Карачая. Черную ночь взяли себе в сообщницы «черношинельники», чтобы скрыть от русских и черкесов, что за «спецгруз» перебрасывается с такими предосторожностями! Накануне, еще с вечера, по всему пути следования колонны местным жителям было запрещено, под угрозой наказания, выходить из своих домов и зажигать в окнах свет.

* * *

Совсем рассвело, когда колонна остановилась на каком-то не то пустыре, не то поле. Автоматчики подгоняли, расталкивая, полусонных, продрогших до костей бедолаг, а они словно одеревенели от холода, не в состоянии не то что пошевелить рукой, а и разлепить налитые свинцом веки.

От машин слышались крики солдат:

– Сгружай, давай! Чего возишься?!

– Не спи – шевелись!

– Щас я тебя пужану-от!

Насколько хватало глаз – на поле «студебеккеры» и возле них копошащиеся с пожитками фигурки. Перед грузовиками – на железнодорожной ветке, протянувшейся, определила Гокка, из Черкесска, – вереница теплушек с зияющим черным нутром.

Это поле, рубежное между Черкесией и Усть-Джегутинским районом Карачая, еще долго оставалось немым свидетелем творившегося произвола. По одной только площади этого поля можно уже было судить о масштабах разыгравшейся трагедии. Но, видно, кому-то место это, сама память о тех ноябрьских днях сорок третьего, мешали, словно кость в горле. Кто-то предусмотрительно распорядился... построить здесь цементный завод, один из крупнейших на Северном Кавказе. И новый микрорайон Черкесска – Пештера, вырос на другом краю этого поля.

«Студебеккеры» все прибывали. Толпа росла. Люди беспорядочно выкрикивали имена своих родных и близких, с которыми растерялись во время выселения и в пути. Ничего нельзя было разобрать. Гокка ужаснулась... И все-таки напрягла слух, надеясь, что кто-нибудь назовет родные фамилии. Всматривалась в человеческое месиво. И вдруг ей показалось, что она увидела свекровь. Побежала было туда. Но дорогу ей преградил, выставив дулом вперед автомат, руководивший погрузкой в вагоны лейтенант.

– Стой! Тебе говорят! Куда бежишь?!

– Уберите автомат, лейтенант!– крикнула Гокка.

– Командуешь, капитан? – презрительно ухмыльнулся «черношинельник». – Видали мы таких! Марш назад! – и сорвал погон со змеей и золотыми звездочками.

Будто кипятком плеснули в лицо Гокка. Со всего размаха, в полную тяжесть руки, совершенно не думая о последствиях, залепила она лейтенанту пощечину. Тот тоже ударил Гокка наотмашь. Неизвестно, чем бы все это кончилось, не обступи их женщины. Они закрыли собой Гокка, успокоили немного. Под их гневными взглядами ничего не оставалось лейтенанту, как ретироваться, – могло и от начальства нагореть.

Гокка подняла с земли погон и побрела к своим старикам. Душили слезы. Горела рука, все еще ощущавшая покалывания от щетины на скуле «черношинельника». «Что произошло, дочка?» – спрашивал взгляд родителей. Но Гокка объяснять не стала, занялась вещами – над полем пронеслась команда грузиться в вагоны.

Забираться в теплушку надо было по круто приставленным сходням. Доски прогибались под ногами, поскрипывая и пружиня, особенно когда втаскивали тюки и громоздкие вещи. «По таким шатким мосткам, поняла Гокка, вдвоем с матерью подводя под руки отца к сходням, нам одним его не поднять. Неожиданно для Гокка к ним подбежали несколько женщин и подростков, подхватили Маджая, помогли втащить его в вагон.

Там уже негде было упасть яблоку – повсюду, на щелястом, заляпанном грязью и полусгнившей соломой полу, на грубых, на скоро сколоченных нарах, на ворохами сваленных пожиток, теснились выселенцы. На полу под нарами, почти у самой двери, удалось найти местечко. Маджая усадили, Гокка и Хабибат занесли вещи и устроились рядом с ним.

– Где погон, доченька? – спросила Хабибат. Глаза ее были полны слез.

Гокка вынула погон из кармана, зажала в кулаке.

– Знаешь, мама, второй сорвать почему-то не решилась. Ведь я принимала присягу. И обязана беречь свой мундир. Правда, меня он не уберег...

Хабибат высвободила погон, подержала на ладони, рассматривая звездочки и змею, обвивающую чашу, положила за пазуху, к фотографии Харуна.

Стремительно суживая проем, с металлическим скрежетом покатилась огромная, как стена, вагонная дверь, с лязгом громыхнул засов, и внутри теплушки воцарился сумрак. Лишь откуда-то из-под самого потолка сквозь крохотное зарешеченное окошко тонкими пыльными пучками просачивался уличный свет. Но и его было достаточно, чтобы различить усталые, искаженные горем, голодные лица.

Эшелон стоял. Закупоренная теплушка наполнялась плачем, причитаниями пополам с проклятиями. Один из подростков подтянулся к окошку.

– Там... Грузовики еще кого-то привезли... Тоже сгружают... Вон автоматчики бегают...

Какие теперь уже могли быть сомнения, права оказалась Зухра, не ошибка, не сон, а – действительно – в мельчайших деталях разработанная операция. В тыл перебрасываются части... Пусть части НКВД, но это вполне боеспособные войска, в драматической ситуации на фронтах, при наших неисчислимых потерях, они были бы хорошим подспорьем, подкреплением. Но их используют против своих же, советских людей. На переднем крае не хватало машин для снабжения передовых частей, да и раненые неделями дожидались отправки в тыловые госпиталя, а тут, выходит, во всех населенных пунктах Карачая –

да, наверное, не только в их области – десятки, сотни «студебеккеров» целый месяц стояли наготове в ожидании начала операции. А еще надо было проложить железнодорожную ветку из Черкесска, «оборудовать» не одну сотню теплушек... Да, настоящая военная операция, разработанная по всем правилам стратегии и тактики в каком-нибудь большом кабинете. Кто-то ведь не спал ночей, склонившись над оперативными картами, сводками, кто-то дежурил у телефонов, доводил приказы, их принимали к исполнению... Но кто-то ведь и запланировал эту операцию, продумывая ее шаг за шагом. Ведь в чьей-то голове созрела она!

Время назовет этого человека – Михаил Андреевич Суслов, тогдашний первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б) и руководитель партизанского движения в крае. Роковой, если не зловещей окажется его роль в судьбе партизан. Но ради спасения своего доброго имени он принесет в жертву... карачаевцев. Благо найти формальный повод труда не составило: бургомистр Карачая со своими приспешниками подарил Гитлеру белого коня с золотой сбруей – от имени карачаевского народа.

Охрипшим баском испуганно вскрикнул паровоз. Эшелон стал набирать ход.

* 4 *

Мерно стучали колеса. Поскрипывала теплушка. Люди умолкли, подавленные, обессилевшие. Жались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, – вагон продувало насквозь. А маленькую железную печку-буржуйку посредине вагона топить было нечем – «черношинельники» не «позаботились».

Гокка думала о своем, время от времени прислушиваясь к дыханию стариков, щупала у них пульс.

Слабый детский стон оборвал вдруг череду раздумий, и Гокка услышала: один из малышей Абидат, – кажется, ее четырехлетний, – захныкал, будто в бреду повторяя всего два слова «Мама... Вода...»

– Потерпи, мой милый, – Гокка и в полусумраке определила, ей даже не понадобился градусник, что у мальчика жар. Пододвинулась к нему (Гокка и Абидат со своими расположились по-соседски), положила ладонь на влажный лобик. – Потерпи, скоро приедем. – Погладила горячую головку. – Ты ведь и маленький не плакал. А сейчас ты совсем большой... – (Малыш посерьезнел и стал очень похож на своего отца Абдулкерима.) – Совсем большой... И тоже будешь солдатом, как папа, и защитишь нас... Попроси, попроси у него! – Гокка растолкала обессилено дремавшую Абидат и кивнула в дальний угол теплушки.

Там, прямо на голом полу, поджав под себя ноги, сидел Исмаил Хапаев, а над ним, лениво покачиваясь, нависал красный бурдюк с водой. Исмаил страдал диабетом и каждый час прикладывался к бурдюку: крошечный глоточек, но в нем спасение для бедняги. Поэтому-то, когда их выселяли, и взял его Исмаил, хоть много вещей пришлось оставить взамен.

– Дядя Исмаил, – поднялась с узлов Абидат, – мне бы... воды... Исмаил качнулся в такт с бурдюком.

– Передай сюда кружку.

Кружки у Абидат не было. Кто-то протянул ей алюминиевую миску, и она поплыла, точно священный сосуд, над головами измученных жаждой людей. Бурдюк утробно хлюпнул, и тусклая полоска алюминия, передаваемая бережно из рук в руки, стала приближаться к Абидат. Она заглянула в миску: Исмаил налил ровно столько, что вода едва закрывала донышко.

Малышу лишь сильнее захотелось пить от этого глотка и он попросил еще воды.

И тут началось такое, от чего у Гокка упало сердце. «Аллах, зачем ты дал мне увидеть этих безумных...» – только и прошептала она, не понимая, как удержать аульчан от беды. А они, всеми уважаемые в ауле старейшины, и совсем еще дети, и женщины в почтенном возрасте, и молодые матери, простирая не то к Исмаилу, не то к малиново-пепельно отсвечивавшему бурдюку руки, судорожно сжимавшие кружки, чашки, консервные банки, какие-то плошки, плотной массой молча надвигались на Исмаила. Он обхватил руками бурдюк и вжался в стену.

В шаге от Исмаила подступившая к нему толпа остановилась в немом выжидании. Он со страхом смотрел на соседей, родственников, добрых знакомых, не узнавая их и не шевелясь, будто десятки пар глаз пригвоздили его к раскачивавшейся переборке. И вдруг все разом закричали, тыча в лицо Исмаилу своими посудинами, забыв стыдливость или потеряв рассудок, стали требовать, умолять, просить Исмаила дать им воды, дать всем им воды. Небритое лицо его при тусклом свете казалось совершенно черным... Гокка протискивалась к нему, кого-то отталкивая, кому-то загораживая дорогу. Болела нога, было трудно удерживать равновесие между грудами вещей, между теми, кто сидел или лежал на ходившем ходуном на стрелочных переводах полу. Но она видела в эту минуту лишь выкатившиеся из орбит, наполненные ужасом глаза Исмаила, остекленевшие, будто он тронулся умом или, упаси Аллах, испустил дух. Гокка бросилась наперерез нескольким женщинам, которые, подминая сидящих на полу, потянулись к бурдюку, и заслонила собой Исмаила.

– Люди! Что же вы делаете?! Ведь он умрет без воды! – крикнула она чужим голосом.

Все они знали, что Исмаил Хапаев болен такой болезнью, когда без воды нельзя, но разум их затмили страдания и жажда.

– А если умрет мой ребенок?!.

– Я тоже умираю...

– Во-ды-ы-ы...

Людская обезумевшая масса сдавила полукольцом Исмаила и Гокка. Она уже не могла сдерживать ее, слова были попросту бесполезны. Казалось, еще мгновение, и от бурдюка, и от его хозяина не останется ни клочка, И тут каким-то чудом рядом с Гокка очутился незнакомый мужчина лет тридцати.

– Остановитесь!.. Горцы вы или нет?! – зычным голосом, перекрывая грохот колес, бросил он поверх голов, потом обернулся к Исмаилу. – Дай им по глотку... Скоро станция, наберешь воды... Дай хотя бы детям... Как потом будешь людям в глаза смотреть, если дети умрут? Как жить будешь? Ведь ты-то жить будешь!..

Исмаил отдал бурдюк, рухнул на пол и уставился в одну точку. Алюминиевая миска, из рук в руки, обошла теплушку. Не утолив жажды – сколько воды этой досталось, так, губы помочить! – все же не много успокоила людей. И пристыдила. Притихли аульчане – боялись друг на друга глаза поднять.

Колеса опять застучали монотонно и глухо, теплушка раскачивалась уже меньше. Хорошо было слышно, как что-то металлическое дребезжит и лязгает под полом и сухо потрескивает деревянная обшивка вагона...

Гокка осторожно стала пробираться на свое место. «Кто этот молодой человек? Я не знаю его, не видела раньше у нас в ауле, – задумалась она. – Если бы он не... А почему он не на фронте? – стала искать его, вглядываясь в лица мужчин. – Один он такой здесь, остальные в основном старики да инвалиды, ну, да и подростки еще...» Спросила о нем у оказавшейся рядом чаульской их письмоносицы.

– Хасан Айдинов. Родился в ауле Каменномостский, – чеканила письмоносица, будто перед ней лежала анкета юноши, – в Ростове окончил финансово-экономический институт, работал в Микоян-Шахаре, женился недавно. Он с женой в Чаул в гости приезжал. Я его знаю, писаный красавец, в темноте, правда, не разобрать, – голос ее потеплел, она вздохнула. – Я и жену его знаю. Замечательная пара...

– Что же он не на фронте?

– Со здоровьем неважно, военкомат забраковал, – в голосе письмоносицы появилось сочувствие и она, как бы защищая его, проговорила еще раз: – Я его знаю...

Наконец Гокка добралась до своих. Старики дремали, прижавшись друг к другу. Абидат, как наседка, согревала детей своим теплом. Гокка уселась поудобнее, настраивая себя хоть как-то немного отдохнуть – не было сил ни вспоминать, ни размышлять над тем, что произошло, ни думать о том, что предстоит всем им и что должна делать она, Гокка. Но не успела сомкнуть веки, как раздался пронзительный женский вопль:

– Ой, не могу, не могу больше!

Какая-то женщина каталась по полу, зажимая обеими руками низ живота. Вагон качнуло сильнее обычного, и она, на четвереньках, переваливаясь через чьи-то узлы, тела, чемоданы, ноги, подползла к вагонной двери.

Хасан сразу понял, в чем дело, пробрался к двери, попытался откатить ее, набычился, упираясь в край плечом, руками, даже побелел от натуги, в злой беспомощности стуча кулаками в глухо отзывавшиеся доски, но дверь не поддавалась, подрагивала вместе с вагонным остовом, точно подразнивая: «А ну – давай... А ну – давай... А ну – давай...» Но Хасану пришлось все же отойти от двери – женщина охнула, скрючилась и, опустившись на пол, затихла. Сидевшие рядом отвернулись, сделали вид, что роются в свертках, баулах, сумках, вжали головы в плечи, уткнули носы в воротники, отвороты пальто, платки. Женщина долго не смела подняться, чтобы вернуться на свое место. Боялась оторвать взгляд от щели в полу, лишь бы не натолкнуться на глаза соседей по вагону.

Но на нее никто не смотрел, никто не бранил и никто не стыдил – понимали, должно быть, что с каждым, не дай Аллах, такое случиться может, ведь терпеть приходилось уже из последних сил. И она, уставившись в пол, отползла от двери. Теплушка продувалась насквозь – теплушка, одно название, да и то словно в насмешку! – вытягивалось тепло человеческих тел, дыханий, развеивался кисловатый запах от тряпок, которые подкладывали детям, чтобы они могли облегчиться... В конце концов привыкаешь и к запахам...

Хасан стоял у стены, вжимаясь в нее лбом. Вдруг по его телу прошла судорога, он раскинул по стене руки и стал хлестать ими обшивку.

– Изверги! Так измываться над людьми!..

«Бедняга, он все еще считает себя человеком – отрешенно смотрела перед собой Гокка.

– Засунули в душегубку! Лучше расстреляли бы на месте! Фашисты! Нет – хуже фашистов! Страшнее!

Хасан замолк, руки его повисли как плети. Стоял, будто ждал чего-то... Но кто услышит его за решеткой окна? Если только темная ночь, прижавшаяся к окошку... Кто ответит Хасану? Разве что монотонный стук колес да поскрипывание деревянной обшивки... Кто скажет, сколько еще быть им на колесах, какие еще унижения предстоит испытать?.. Этого не мог бы сказать никто.

В который уж раз в темноте завели все тот же разговор: мол, Сталин, не знает об их беде. Слушая слабые, срывающиеся голоса, Гокка вдруг вспомнила грузин, которые на глазах у выселяемых аульчан занимали их дома. «Неужели с его ведома?» Но опять отогнала крамольную эту мысль. «С немцами похороводились», – Гокка увидела перед собой сутулого лейтенанта с вонючей папиросой в зубах. «Получайте подарочек», – хохотала, ощерив зубы, полицаиха...

Вдруг состав начал резко тормозить – несколько раз теплушка громыхнула на стрелках. Зашипели тормоза. Стукнули, потом еще и еще, друг о друга буфера. И в непривычной тишине послышалось снаружи похрустывание щебня, уминаемого сапогами с позвякивавшими о камешки подковками. Бухнул засов. Вагонная дверь, расширяя высветлявшийся в стене провал, медленно поехала вбок под двумя парами рук автоматчиков в черных шинелях. Утренний воздух, вкатывавшийся внутрь колючими клубками, обдавал холодом, и люди закопошились, жмуря глаза от дневного света.

– Что они собираются с нами сделать? – испуганно закричали со всех сторон.

– Может, уже привезли? – предположили неуверенно.

– А ну, выходь! – крикнули снизу. – Да не толпись на сходнях!

Стараясь опередить друг друга, волоча пожитки, выселенцы ринулись из теплушки.

– Ну, куда с вещами-то? – загородил выход солдат с автоматом.– Так выходь!

На сходнях Гокка осмотрелась. Полустанок оцеплен солдатами, до железнодорожного строения далеко – возле него пыхтит паровоз. На площадку высыпал весь эшелон, фигурки сливались в кишащую серую массу, окантованную черным.

Гокка прошла вдоль эшелона – здесь и там, под вагонами, под сцепками, возле колесных тележек, сгорбившись, на корточках, спина к спине и как придется, сидели, пряча лица, мужчины, женщины, подростки, – нужда подравняла всех их, требуя своего. Облегчившись, они забирались в теплушки, хватали подвернувшуюся под руки посудину и бежали с котелками, кастрюлями, банками, кружками к домику, облепленному народом... Оттуда несли воду, кому удалось пробиться к крану. Из него текла прерывистая, ленивая струйка, но люди терпеливо ждали. Здесь же, прямо на холоде, на виду у солдат и паровозной команды, женщины подмывали детей, пытались простирнуть кое-какое нательное белье, панталоны, детские рубашонки.

Гокка вернулась в теплушку за матерью. Помогла ей спуститься по сходням. Надо было еще помыть банку, которую мать подставляла отцу, и набрать в кастрюлю воды. Хабибат все боялась, что поезд вот-вот пойдет, и беспрестанно просила Гокка, чтобы та отвела ее на место.

Гокка оставила родителей в почти пустой теплушке и отправилась на поиски сестры и свекрови. Покончившие с «хозяйственными нуждами» разыскивали своих близких и родственников, выкрикивая имена, фамилии, название аулов. «Как можно кого-то узнать, – ужасалась Гокка, – когда все на одно лицо, не люди, а серые тени…» Люди-тени копошились у вагонов, метались от одних сходней к другим, заглядывали в черные провалы, где на полу и нарах тоже кричали и звали. Стоял такой гвалт, что разо-

брать что-либо в нем было просто невозможно. Гокка одно поняла: эшелон собрал в основном жителей Большого Карачая.

У одной из теплушек прямо на холодной земле, привалившись спиной к колесной тележке, сидела молодая женщина. Она раскачивалась из стороны в стороны, прижимая к груди руки, сложенные колыбелькой для ребенка. Безумные глаза ее глядели в одну точку. Около женщины стоял, переминаясь с ноги на ногу, средних лет бородач. Он как-то странно припадал на одну ногу – хромой, поняла Гокка, – и тогда из кружки, которую он сжимал обеими руками, выплескивалась вода.

– Что с ней? – спросила Гокка. – Как зовут ее?

– Зуруят. Она из Карт Джурта, из нашего аула. У нее сынок, первенец, шести лет, потерялся там, где сажали нас в теплушки. Видела, какая была каша… Вот она и лишилась рассудка… Давай отведем ее в вагон. Простудится она здесь… Отнесу только кружку…

Они подняли несчастную под мышки, ее тело безжизненно повисло у них на руках.

До своей теплушки доковыляла Гокка, прихрамывая сильнее обычного, – колола рана, подумалось даже, уж не разошлись ли швы? Села возле матери, вытянула ногу. Боль отпустила – вроде ничего опасного.

– Что делают эти солдаты? – спросила Хабибат.

Двое автоматчиков, старательно закрывая носы рукавом шинели, переворашивали пожитки и набросанную в кучи рухлядь автоматными прикладами. «Что они здесь ищут?» – обеспокоено следила за солдатами Гокка.

Из соседней теплушки раздался душераздирающий женский вопль, затопали по сходням сапоги. Через минуту, с белым, перекошенным от злобы и ужаса лицом, перед Гокка возник Хасан.

– Они говорили, что предают наших покойников земле с «почестями». Клялись, принимая саван, что бедняг омоют и оденут, выкопают каждому отдельную могилу. А вышло – все обман! Обман!.. Сволочи! Они их выбрасывали как дохлых собак! И сейчас... Крепкий, никогда не болевший старик, оказалось, умер еще тогда, когда нас заталкивали в телятники, не вынес измывательств. Сын у него на фронте, воюет за Родину! А они его – один за руки, другой за ноги – выволокли с почестями! Пригрозили еще: за укрывательство покойников... Теперь шарят по всем телятникам, мертвецов ищут!..

«Вот оно что!» – похолодела Гокка.

– ...Убью этих черных гадин! – рванулся было из теплушки Хасан. Гокка с трудом удержала его.

– Остановись! Не делай глупости! Не в них дело! Они всего лишь исполнители...

Хасан обмяк, уселся на пороге, поджав под себя ноги. Потупился.

Гокка заметила, что он плачет. Глотая слезы, Хасан стал кричать, запрокидывая голову и закатывая глаза:

– Не в них, говоришь? Говоришь, они только исполнители? А в ком тогда? Или в чем?.. Может, в том, что меня, как я ни просил, на фронт не взяли? Или в том, что у меня отец, а у них, почти у всех, тоже кто-нибудь, на фронте?.. А за что тебя так? Ты-то офицер, на передовой все время... Не могу я больше!.. Чего они хотят? Чтобы мы возненавидели отчий край, русских, с которыми живем как братья?

– Па-ва-а-го-о-о-нам! – пронеслось по эшелону.

Солдаты, шарившие в теплушке, направились к выходу. Напружинясь, Хасан вскочил и заступил им дорогу.

– Вагонам?.. Разве это вагоны? В них же скот возят, а не людей! Да вы нас и везете, как скот на бойню!

Солдаты переглянулись – счастье Хасана, облегченно вздохнула Гокка, что они не поняли по-карачаевски ни слова! – и оттеснили Хасана прикладами от двери.

– Ладно тебе... не ори... – проговорил, полуобернувшись, солдат, ступивший вторым на сходни.

Хасан кинулся на него, развернув, схватил намертво за грудки и втащил – откуда только силы у него взялись! – в теплушку. Солдат успел крикнуть товарищу и бросить ему автомат. Вцепился обеими руками в Хасана...

К ним подскочили, еле разняли. Гокка поговорила с солдатами по-русски, закинув автоматы за спину, они ушли, стуча сапогами по сходням. Гокка стала ждать, когда придут за Хасаном, даже выглянула из теплушки.

Серый, пасмурный день. За дождевой, с редкими хлопьями снега, завесой едва угадывалась дикая, голая степь – глазу не за что зацепиться... Площадка перед эшелоном очистилась от серой массы, только несколько фигурок одиноко направлялись к своим теплушкам, кто-то бежал от станционного домика с наполненными водой посудинами и даже охапками курая – на растопку печурок. Оцепление придвинулось к вагонам, солдаты направили автоматы на дверные проемы.

Тяжело дыша, сгибаясь под разбухшим от воды бурдюком, в теплушку ввалился Исмаил Хапаев. Метнулся к выходу. И вот уже втиснул внутрь несколько ворохов курая.

Расселись. Притихли. Тревожно-гнетущее ожидание томило нестерпимо... «Скорее бы закрывали», – боролись в душе Гокка беспокойство и усталость.

Вокруг стали рыться в сумках, свертках, – вспомнили о еде. Гокка пододвинула к родителям чемодан – ну, чем не тепси! усмехнулась горько, положила на нем перед отцом и матерью по лепешке и поставила миску с вареным мясом, себе отрезала сушеного сырого. Маджай отломил кусочек

лепешки, долго-долго жевал. К мясу даже не притронулся. Хабибат, обеспокоено поглядывая на мужа, больше делала вид, что жует, – боялась, не довезут они его, так он ослаб. Со страхом глядя на отца, о том же думала и Гокка: совершенно поседел за последние дни, глаза ввалились, молчит и молчит, и десяти слов не сказал за все это время, ушел в себя... За раздумьями она не заметила, когда снова монотонно застучали колеса...

Ехали уже вторые сутки. Обвыкались понемногу. У печурки образовалась очередь – те, кто в отведенные на сборы часы, успел зарезать барашка, набрать с собой других продуктов, а на остановках запастись водой и кураем, приноравливались к такому небывалому очагу, даже пытались варить в кастрюльках мясо. И Хапаев Исмаил повеселел, тоже крутился у печки.

Снова подступили к вагонному окошку сумерки. Гокка плотнее укутала одеялом ноги отца, прикрыла полой шинели мамины, в сафьяновых чуруках с глубокими резиновыми калошами, устроилась было подремать немного, как ее позвали откуда-то с верхних нар:

– Доктор! Доктор! Скорее! Моя мать умирает!

Гокка вскинулась. Сна как не бывало. С трудом вскарабкалась на второй ярус – все тело ныло, будто после побоев, мешала боль в ноге. Склонилась над женщиной почти без признаков жизни – слабое дыхание, пульс совершенно не прощупывается. «Голодный обморок»,– стало ясно. Погладила по головке плакавшую рядом девчушку лет десяти, попыталась успокоить:

– Дай глоточек воды. Через некоторое время еще. Она придет в себя. Но ее надо попоить горячим и уж потом, только совсем чуточку, покормить...

Девочка затравленным зверьком взглянула на Гокка, и она поняла: у этих несчастных нет даже глотка воды...

За вагонным окошком, на черном ночном бархате, временами проблескивала одинокая звездочка – то мигала из бесконечной дали, то неотрывно смотрела на Гокка, прижавшись к железному пруту решетки. «Что ей нужно от меня?» – беспокойно всматривалась Гокка в потустороннюю черноту. И вдруг вспомнила уже забытое, из детства... Совсем была еще маленькой, они сидели вдвоем с мамой у порога их дома и рассматривали россыпи бусинок на черном пологе над их головами, над аулом, над горными громадами. Не отрываясь от них, Гокка спросила: «А зачем там эти белые точечки?» – «Это звезды, – ответила Хабибат, благоговейно глядя в ночное небо.– Под ними приходят в этот мир люди. И у каждого своя звезда. Только у одних они счастливые, а другим приносят несчастье! – «А какая моя? Покажи, где она?» – «Вон та, самая красивая и яркая, как цветок» – «И счастливая?» – «Счастливая, конечно. Самая счастливая!» –

поцеловала Хабибат дочку... «Выходит, еще есть и коварные, изменчивые звезды, какой оказалась ее бусинка из детства», – горько усмехнулась Гокка. – А есть еще и странницы, как та, в зарешеченном окошке... – Гокка чувствовала, что не может отвести от нее взор. – Кто же она такая?» Гокка закрыла глаза, но звездочка продолжала мигать – успела проскользнуть между веками...

Во время утренней остановки солдаты обнаружили в их теплушке мертвого ребенка. Оказалось, он тихо скончался ночью, однако мать ни с кем не обмолвилась ни словом, прикрыв его тряпками, хотела везти с собой... Но когда солдаты наткнулись на трупик ее малыша, она не стала ни стенать, ни плакать, ни просить солдат оставить ей его, – пошла за носилками, простирая перед собой руки, будто боялась натолкнуться на стену. Люди не выдерживали ее страшного взгляда, отворачивались, расступались, не смея ни остановить, ни окликнуть, ни утешить ее. Цепочка автоматчиков разомкнулась, но настолько, чтобы пропустить солдат с носилками, и женщина не смогла сделать больше ни шагу, все-таки уперевшись в стену... Несчастную обступили соседки по теплушке. Подошла и Гокка. Обняла за плечи. Оторвала от кордона. Повела в теплушку. Женщина шла, ни на кого не глядя, шептала в неизбывном страхе:

– Наш единственный наследник. Что я скажу его отцу, когда он вернется с фронта? Три годика всего... Три годика...

В теплушке женщины стали наперебой кричать, грозя кулаками державшим оцепление солдатам:

– Люди! Если мы еще люди... Почему эти изверги творят с нами такое?!

– За какую провинность устилаем мы дорогу трупами своих близких?!

– Лучше я передушу детей и покончу с собой, только бы не видеть все это!

– Почему вы молчите? Люди! Если мы еще люди... – обступили Гокка, стали теребить за рукава, отвороты шинели.

– Вот ты... большой доктор... большой командир... Почему не скажешь, что нам делать?

– Ты два года воевала. Говорят, вся в ранах. Наверное, знаешь, кто может нас защитить...

– Никто не может, – встрял в разговор Исмаил Хапаев, он тащил на спине бурдюк с водой и остановился передохнуть. – Никто, раз уж секретарь нашего обкома партии не защитил нас. У станционного домика человека из Микоян-Шахара встретил, так вот он рассказал, что продал нас секретарь. Его, конечно, выселять не стали, в городе остался...

– Ой бедные мы, несча-а-стные...

– По вагонам! – неожиданно разнеслось по эшелону, и вагонная дверь стала отсекать несчастных от необъятной степи под таким же необъятным пасмурным небом.

Какая-то женщина бросилась к двери, попыталась протиснуться в неостановимо уменьшавшуюся щель.

– Моя мать осталась под вагоном! Несчастная я! Думала, успела подняться, а она... Мама!! Ма-а-ма-а!!! – но боясь, что дверь раздавит ее, в самый последний момент женщина отпрянула и, качнувшись от того, что дернул паровоз, обессилено привалилась плечом к доскам, подрагивавшим уже все сильней и сильней – эшелон с места резко набирал скорость. Страшен был ее плач...

Люди притихли, подавленные новым несчастьем.

Стучали, стучали, стучали колеса.

Кто-то из женщин возился у печурки, подживляя ее кураем. Из-под крышки крохотной кастрюли выползал сладковатый парок – дразнящий запах варившейся баранины, казалось, въедался в ноздри, царапал горло и щипал язык. Гокка попробовала пожевать сушеного мяса с сырой картофелиной, чтобы хоть как-то перебить появившийся вдруг аппетит, но такая еда вызвала у нее отвращение. Вдруг она поймала себя на том, что неотрывно смотрит на кастрюльку и ждет, когда сварится мясо, глотая толчками бьющую слюну. Огляделась по сторонам. Аллах мой, кастрюлька приворожила, привела в движение всех этих мучительно угасавших людей. Особенно страдали дети. Малыши плакали, тянули к матерям ручонки, дети постарше исподлобья поглядывали на кастрюльку, шумно втягивая носами воздух.

Хозяйка сняла варево, осторожно пронесла на вытянутых руках до своего места, поставила рядом с собой и накрыла тряпкой. «Мясо недоварилось, – подумала Гокка, – или стыдно стало, что одни будут есть?..» Подошла и, нагнувшись, отбросила тряпку. Женщина вцепилась в еще горячую кастрюльку, порукам пробежала судорога.

– Она моя! Слышишь? М-о-я!

Не бойся, вовсе не собираюсь отнимать ее у тебя, – не повышая голоса проговорила Гокка. – Посмотри на детей. Ждут, голодные, когда их накормят. Дай хотя бы попробовать на язык. И твоим достанется...

– Разве что так... – опомнилась женщина.

Она и Гокка стояли в нерешительности, не зная, как поделить на столько ртов горячую водичку с редкими блестками жира и полусырой кусок мяса. А им уже передавали кружки, миски, плошки.

Гокка до капли разлила в них «бульончик» – по глотку-другому всего, но хотя бы так... А мясо делить не стала – рука не поднялась.

– Это твоим...

Проглотив свои «порции», дети запросили еще. Еще!.. В беспомощности то тут, то там женщины запричитали снова, и вмиг теплушка на-

полнилась невыносимым плачем. Хасан, увидела Гокка, метнулся к двери, поднял было руки со сжатыми кулаками, но, словно подкошенный, стал оседать на пол, карябая пальцами доски обшивки, ткнулся в нее лицом и, зажав ладонями уши, замер, сгорбившийся, обмякший.

– Что же это такое? – горестно покачала головой Хабибат, когда Гокка опять села рядом.

Если бы она знала... И отец молчит все время, сидит, прикрыв веки, будто дух оставил его иссохшее тело...

В последнее время Гокка с ужасом думала о том, что в такой скученности, без воды, без элементарных удобств, необходимых человеку, неизбежна эпидемия или – тоже нисколько не лучше! – вши. Она приглядывалась к соседям. Те начинали проявлять признаки беспокойства – перетряхивали вещи, подолгу чесались. Особенно на остановках, когда уличный свет попадал в теплушку и можно было обнаружить и изловить докучливых «попутчиков». Гокка ужаснулась: да, вши – тело нестерпимо зудит. Передернула плечами. Этого еще не хватало! Все отдала бы, только б помыться!..

– Она совсем не шевелится. Но она еще живая... – услышала Гокка неуверенный голос Абидат.

На коленях у нее пластом лежала трехлетняя девочка, другие дети жались к матери, обессилев от голода. Абидат нечем было кормить их – что могла захватить она в дорогу из их скудного дома? Понимала, что дети, особенно ее малышка, не протянут долго, но не хотела смириться с мыслью, что когда-нибудь и их подстережет смерть... И сделать ничего не была в состоянии. Неожиданно пришло спасение: безысходность и отчаяние подстегнули ее материнский инстинкт, она закричала:

– Люди! Спасите моих детей! Дайте им поесть!

Кто-то протянул кусочек сыра, кто-то передал ломтик мяса, кто-то – половинку лепешки. Исмаил Хапаев – кружку с водой на донышке. А Хасану оказалось нечем поделиться с детьми, ему было невыносимо стыдно, и он сидел, уткнувшись лбом в колени. Только изредка отвечал односложно. Прижавшись к Хасану, молодая жена его, красавица, с каким-то детским на лице недоумением, глядела на происходящее широко распахнутыми глазами. В них, заметила Гокка, двумя черными огнями полыхали ужас и страх... «Единственное, что нам осталось, – горько усмехнулась она. – Где-то далеко наши горы, кто-то чужой у наших родных очагов. Где-то сложим новые... Если, конечно, уцелеем... Но они для нас никогда не станут родными... А будем ли мы сами... – даже перехватило дыхание от страшной мысли, – будем ли мы когда еще карачаевцами, о которых так хорошо сказал Лев Толстой: «Карачай – нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, отличается своей верностью, красотой, храбростью». Лучше не скажешь...»

– Привезут нас в конце концов куда-нибудь, – послышался вдруг хрипловатый старческий голос. – И тогда мы дадим знать товарищу Сталину. Он вернет нас назад.

Кого это нас? – спросил другой голос. Гокка узнала: говорил Хасан. – Пока привезут куда-нибудь, никого не останется. Пятые сутки едем. И уже семь покойников выбросили! Из одного нашего телятника – семь! А сколько их из всего эшелона выносят на каждой остановке! Сколько их мы оставили за собой? Что шпал под рельсами по всей дороге... Здесь у нас – вши, голод, холод, люди злобой исходят... А вы писать собираетесь товарищу Сталину... Да тут хоть головой расшибись о стену...

Старик с хриплым голосом возразил Хасану:

– Не может того быть, чтобы они сотворили с нами такое с его ведома.

– Ведь нам всегда говорили, что Сталин верный ученик Ленина, – поддакнул другой старик и уверенно заключил: – Ленин ни за что не допустил бы такой произвол. Значит, и Сталин не допустил бы, если б знал.

Гокка слушала молча. И думала с горькой грустью: «Люди! Красивые и сильные в своих горах, здесь, в этом завшивленном телятнике, который стучит колесами неведомо в какой дали от родимых очагов, хватаетесь вы за соломинку, для вас одна надежда – на Сталина. А он в далеком городе, за сотни верст отсюда...

Гокка услышала тихие всхлипывания Абидат, окликнула ее. Та не сразу отозвалась, с каким-то горячечным придыханием зашептала:

– Аллах взял к себе мою малышку. Но ты никому не говори. Пусть и дети мои думают, что их сестренка просто спит. Может, нас привезут скоро куда-нибудь, тогда я сама похороню ее...

«Бедняжка, – сжалось сердце у Гокка, – разве ты не понимаешь, что это нереально? Остановится эшелон, солдаты начнут шарить и найдут ее...»

– О-о-о! – раздался вдруг в полуночной тьме тягучий душераздирающий вопль.

Гокка вздрогнула. В теплушке всполошились, зашевелились, загудели.

– Несчастная я! Несчастная?! – причитала женщина. Другой голос, полный ужаса, прорезал пространство:

– Хасан! Хасан весь в крови!

Гокка вскочила, но тут же припала на больную ногу – сильно кольнула рана. Пересилив боль, пробралась туда, где ютились Хасан с женой. В свете чадящего и пригашающего самодельного фитиля увидела страшную картину. Хасан лежал на бурой куче тряпья, сжимая в правой руке раскладную опасную бритву. Из перерезанного горла едва заметными толчками била кровь.

– Покончил с собой во цвете лет! – за спиной у Гокка зарыдала женщина.

К ней присоединились другие:

– Когда еще было такое?

– Такой красавец!

– Люди' Что же это?!

– Жену красавицу оставил!..

А жена Хасана безудержно плакала. Никакая сила, казалось, не остановила бы ее слез. Испокон веков горская женщина не оплакивает мужа на людях. А тут все перевернулось с ног на голову.

Смерть Хасана ошеломила всех, никто в эту ночь не мог сомкнуть глаз. «Молодым таким по собственной воле уйти из жизни, – думала Гокка, возвратившись к своим. – Из жизни ли? А может, он прав? Может, этим он доказал, что остался, один из нас, человеком?..»

В окне, по ту сторону от решетки, забрезжил рассвет. Значит, скоро эшелон остановится, их выпустят «на обычные дела», заявятся солдаты и станут шарить по теплушке в поисках мертвецов.

– Пойду к ней... – сказала Гокка матери, выдавила с трудом:

– К вдове Хасана... Ее нельзя одну бросать в такую минуту.

В рассветном полусумраке увидела: она склонилась над трупом мужа, по-девичьи прозрачная рука гладила каштановую шевелюру. Наконец женщина подняла на Гокка лицо, и она не узнала в ней сидевшую всегда рядом с Хасаном его красавицу-жену. Лицо, постаревшее за эти несколько часов, страшное от горя, изодрано в кровь, залито слезами. Волосы всклокочены, в космах застряли соломины...

Колеса уже не стучали – гремели засовы, откатывались двери.

У их теплушки под солдатскими сапогами звонко захрустела щебенка. По сходням взбегали автоматчики в черных шинелях.

– Я никому не отдам его! Не отдам! Я должна сама предать его земле... по-человечески... Я... я должна... – несчастная старательно прикрывала труп мужа соседкиным барахлом, вещей у них не было, ведь они гостили в Чауле. Прикрывала, испуганно глядя на орудовавших автоматными прикладами солдат.

«И Абидат сторожит тельце своей девочки», – заныло сердце у Гокка.

Эшелонная жизнь шла, казалось, по раз и навсегда заведенному однообразному кругу. Перестук колес, поскрипывание деревянных стен, короткие остановки. Во время остановок всегда одно и то же: торопливые приседания прямо под сцепками или возле колесных тележек, поиски воды и растопки, встряхивание вшей из одежды, короткие проводы покойников, безответнее, тонущие в общем гаме выкрики фамилий, названий аулов... И снова монотонный перестук колес на рельсовых стыках, на стрелках, и снова ожидание, и снова неизвестность... Когда эшелон стоял, Хабибат и Гокка усаживали Маджая у самой двери – подышать свежим воздухом.

Маджай, белый как лист бумаги, с глубоко ввалившимися глазами, был безразличен ко всему, очень редко и неохотно, по нескольку воробьиных крошек, принимал еду, тая на глазах. В какой-то момент Гокка поняла, отец протянет совсем немного...

На этот раз эшелон шел очень долго без остановки. А когда вагонная дверь откатилась в сторону, поредевшие обитатели теплушки увидели зиму. Настоящую. Выбелившую станционные пути, крыши вагонов, деревья. Сыпавшую снежными хлопьями так густо, что Гокка едва разобрала надпись на видневшемся чуть в отдалении вокзальчике – «Уральск». Холодное какое-то, загадочное слово. «По Уралу, – вспомнила вдруг школьный урок географии, – проходит граница между Европой и Азией. – Слова Зухры вспомнились тоже: – Куда-то, кажется, в Азию должны выселить...» И закружились, воспаляя усталый мозг, кошмары выселения, всех этих дней и ночей, дороги в безвестность... Десятки вопросов наперебой, вдогонку один другому, в тягостном одиночестве приходили и безответными уходили. Все перепуталось в голове. Вся прежняя жизнь невесомым неосязаемым прахом развеивалась и развеивалась с перестуком вагонных колес.

– Скорей бы уж вывалили где-нибудь, – пробурчал кто-то.

– Никуда не привезут. Нас все меньше и меньше с каждым днем. Наверное, будут возить до тех пор, пока ни одной живой души не останется в эшелоне.

– Они-то лучше нашего знают, что еды у нас уже нет. И ждут, когда жажда, холод и вши доделают то, что начал с нами делать голод.

– А тут не ровен час, и тиф. Что говорить, конец наш близок...

– Пятнадцатые сутки на колесах... – вставил кто-то.

Опять замолчали. Даже дети – кому как не им порезвиться, пошуметь! – не нарушали затягивавшегося иной раз на многие часы гнетущего молчания, прерывавшегося ненадолго и то лишь тогда, когда эшелон или замедлял скорость перед остановкой, или же, только-только тронувшись, набирал ход. Все разговоры сводились к одному – думали-гадали, куда же везут их. Одни говорили – в северный край, где полгода – ночь, полгода – день, другие утверждали – в Сибирь, раз уж Уральск проехали. Но все эти предположения сошли, будто снег весною, – из белоснежной зимы эшелон снова перекочевал в хмурую холодную осень, опять останавливаясь в неохватной глазом серой степи...

Все чаще с тревогой, с каким-то неясным предчувствием, смотрит Гокка в угол под соседними нарами, где сидит Ибрагим, бывший учитель Чаульской школы. Гокка хорошо его знает – училась у него. Сидит, не проронив за две с лишним недели ни слова. Молча отказывается и от еды, которой с ним делятся соседи – как оставить в беде такого уважаемого человека!

А беда у него действительно большая, только и разговоров вокруг все эти дни. В свои пятьдесят с небольшим вернулся Ибрагим с фронта полным инвалидом – с трубочкой, вставленной в горло, через нее дышал с хрипловатым присвистом. И на него донес «зеленым» пройдоха Зомма улу Сохта – «коммунист, воевал против фюрера и рейха, старший сын на фронте, жена тоже учительница, кстати, русская». Бросили «зеленые» Ибрагима в тюрьму, и только внезапный приход Красной Армии спас его от расстрела. Двадцать шесть лет с женой прожили, троих детей дал им Аллах, от старшего получали солдатские треугольнички, а в ночь выселения, когда ей предложили: «Хочешь, собирайся с мужем, хочешь, оставайся – русских мы не трогаем» – она выбрала второе и собрала чемодан одному Ибрагиму. Он оттолкнул ногой чемодан, попрощался с детьми, накинул на плечи шинель и, не глядя на жену, будто ее и не было в комнате, бросил автоматчикам: «Ведите!» – вышел, не обернувшись, на улицу... Ибрагим повернулся к Гокка, и она увидела на его лице – с мягкими чертами, все еще красивом – черную печать отрешенности. «Нет уже в этом человеке жизни, двойное предательство лишило ее смысла – нелегко пережить такое. Жена, самый близкий человек, бросила в роковую минуту». Другая русская женщина встала вдруг перед глазами, Ефросинья, жена колхозного зоотехника Отара, едет с мужем и детьми в соседней теплушке. – «И власть, которую защищал не жалея себя, приписала его к врагам... Сидит, равнодушный к тому, на каком полустанке выбросят его тело...» Гокка присмотрелась: под шинелью на Ибрагиме вылинявшая гимнастерка, без погон, нашивка за ранение спорота, дырочка чернеет, где орден был привинчен. «Чтобы не оскорблять достоинства боевой награды, раз уж достоинство человека унижено... А у меня рука не поднялась сорвать орден. Надо было бы вообще-то во что-нибудь «гражданское» переодеться – нелепо ведь выгляжу среди всего этого в военной форме: завшивленный офицер под дулами автоматов! Во что? Одежонка сестры не по росту. А своя в Микоян-Шахаре осталась...»

Эшелон остановился, Гокка даже не заметила когда. Очнулась от испуганных вскриков: «Зима! Нас опять привезли в зиму! Вон сколько снега!»

Люди высыпали из теплушек – снег можно растопить, удастся вскипятить воды! – и стояли в недоумении. Какой-то он странный – не холодный и в руках не тает!

– Я лизнул, – подросток, с горящими от возбуждения глазами, перед самым носом у Гокка разжал кулак, и она увидела горку поблескивавших белых крупинок, – а оно соленое!

Попробовала на язык и Гокка. «Соль! Целые горы вдоль железнодорожного полотна. Откуда она здесь?» Огляделась. «Джамбул-Товарный Казахстанской железной дороги», – прочитала станционную вывеску. Непривычные для карачаевского глаза небольшие глиняные постройки.

– Люди! Со-о-ль! – крикнул кто-то.

И обитатели теплушек бросились набирать ее во что пришлось, не задумываясь, для чего им столько этого «продукта».

– Три хвостовых отцепить! На выгрузку! Остальным – по вагонам! – неожиданно разнеслись по эшелону команды.

Минутное замешательство. И снова сумятица. И снова заполошные крики, выворачивающие всю душу:

– Что это значит?

– Погибель их ждет! По-ги-и-бель!!

– А нас куда?

– Там мои родичи!

– И мои!

– И мои-и-и!

– Зачем отрывают их от нас?

– Люди! Что с нами будет?

Задвинулись двери-стены. Громыхнули сцепки. Эшелон тронулся... Опять горе напомнило о себе... Опять неизвестность... И в эту ночь никто в теплушке не сомкнул глаз. Неужели конец? Неужели никогда уже не выбраться из этих телятников? Неужели не даст им Аллах вдоволь подышать воздухом, перед тем как возьмет к себе?

«Поезд не тормозит, почему же отец так наваливается на мое плечо? – вздрогнула Гокка. – Уснул... – Но тут же страшная догадка обожгла сердце. – Или...» – схватила руку отца.

Пульса не было.

Почувствовав недоброе, пронзительно вскрикнула Хабибат. Зашлась рыданиями, захлебываясь слезами. Вокруг них столпились соседи, помогли положить Маджая на пол. С трудом оторвали Хабибат от тела мужа. Она, безутешная, рвала на себе волосы, причитая с тяжелыми хриплыми стонами:

– Несча-а-стный! Неужели ты был рожден на свет, чтобы умереть неизвестно где? Чтобы в чужой земле томились твои косточки? Чтобы душа твоя никогда не встретилась с душами предков, что стерегут наши горы? О, Аллах мой! Чем прогневал тебя наш отец? Тебе не знать ли, какой это был человек? Как же ты мог допустить такое?

Женщины вторили ей. А Гокка, страшно опустошенная, сидела без слез, не в силах пошевелиться, будто превратилась в камень.

Никто не ожидал, что эшелон остановится ночью. В теплушке заволновались, стали строить предположения, кто-то даже начал собирать пожитки. Но дверь оставалась закрытой. Снаружи слышался топот, лязг металла. Состав дернулся, но продолжал стоять. Причитания, такие громкие, что их было отчетливо слышно в закупоренном телятнике, разносились по ту сторону зарешеченного окошка.

– Отцепили еще три вагона!

– В голой степи высаживают!

– С веща-а-ми-и-и!!

– Мусса! Твоя сестра Зухра говорит! Слышишь меня?

– Отец! Слышишь меня? Это дочь твоя... Бийче!

Из теплушек откликались. Но голоса перемешивались, сливались, и вскоре стало невозможно разобрать что-либо. Сплошной стон навис над эшелоном.

Протяжно прогудел паровоз. Качнулись и заскрипели вагоны. Струйки морозного воздуха стали просачиваться через щели.

– Где их вывалили? – гадали то там, то здесь. – Что с ними будет? Почему оставили в степи, ночью?

Впервые за все дни эшелонной жизни, Гокка не торопила рассвет – только б несколько часов еще побыть с отцом, пусть он уже и не скажет обычное свое. «Не из-за чего изводить себя, говорю ведь вам...», да и мама наговорится с ним напоследок – прильнула к нему, крепко обняв остывшее тело, шепчет, что никому не отдаст, что сама похоронит его, когда они приедут... «Мама, бедная моя... – сокрушенно подумала Гокка, – утром придут солдаты, разве ты забыла?»

Утром Хабибат, как могла, собрала Маджая в дорогу, на все пуговицы застегнула бешмет, осторожно расчесала белоснежную бороду. Сидела над ним прямая, с сухими глазами. Будто и не было перед ней вагонной стены, смотрела куда-то вдаль, прислушиваясь к каким-то несуществующим звукам.

Гокка придвинулась к матери. Коснулась ее плеча.

– Слышишь, доченька? – Хабибат слегка повела правой рукой. – Черный скакун летит из-за перевала. За твоим отцом... Да вот же он уже здесь... Здесь! – Закрыла руками лицо. Зашептала молитву.

Солдаты недолго прочесывали теплушку – сильно поредело ее «население». И вот уже трое носилок, одни за другими, поплыли в серую степную бескрайность – посиневшее от холода, иссохшее личико ребенка, залитый кровью Ибрагим, сжимавший побелевшими пальцами вырванную из горла трубочку, Маджай, строгий и скорбный в своей высокой папахе...

Хабибат не отошла от дверного проема, пока носилки не скрылись из виду, стояла, перебирая дрожащими руками, янтарные четки мужа, и как заклинание повторяла и повторяла:

– Я буду ждать, Маджай, когда ты снова умыкнешь меня на своем скакуне... Буду ждать, Маджай...

Гокка хотела добежать до видневшегося у самого паровоза домика, чтобы узнать название станции, но солдаты покатили дверь. Через сужающийся просвет спросила у них.

– Просто разъезд, – ответили из-за двери. – Какой-то там километр. Черт его знает какой!

Через минуту паровоз прокричал отправление.

На двадцатые сутки пути как-то неожиданно оборвался перестук колес, не поскрипывали больше стены, эшелон замер, погрузившись на долгие часы в непривычно глубокую тишину. Прямоугольник окошка стал уже хорошо различим, подбеленный слабым утренним светом, когда послышались наконец какие-то голоса и вагонная дверь с глухим вздохом откатилась, не препятствуя напористым волнам холода, обдавшим измученных, смирившихся со своим вагонным затворничеством людей.

И вот разнеслась такая долгожданная, и одновременно страшившая неизвестностью, команда:

– Выходи с барахлом!

* 5 *

Утреннее марево нехотя приоткрывало для глаз приземистые пакгаузы, вокзальчик невдалеке, уныло-серую мерзлую степь, ближе к горизонту – очертания не то городка, не то большого села. Эшелон стоял в тупике товарной станции, на ее площадку выгружались выселенцы – редкие черные фигурки, скудный и жалкий скарб. Несчастных покачивало на ровной земле, от студено-игольчатого воздуха перехватывало дыхание, выгрузка отняла у них неизвестно откуда взявшиеся было силы – не в состоянии двигаться, они плюхались возле своих пожиток, будто кто веревкой спутывал им ноги, сидели безмолвно и бездвижно, не замечая, что земля покрыта корочкой льда. «Черношинельного» оцепления здесь не было. Вообще никакой охраны! В глубине товарного двора теснились десятка полтора подвод, с впряженными в странно длинные оглобли худоребрыми конягами, которые – это показалось Гокка тоже странным – все были одной масти – словно степь запорошила их в долгой дороге своим унылым серым однообразием.

От подвод к выселенцам направились какие-то люди в «гражданских» пальто, полушубках, ватниках. Немного не доходя, остановились, о чем-то переговорили и, разделившись на группки по двое, по трое, стали деловито ходить по площадке, со всех сторон рассматривая прибывший «спецгруз», как на базаре обычно разглядывают, прежде чем сойтись на подходящей цене, лошадь – ну разве что в зубы только не лазили! «Гражданские» оказались местными «властями» – председателями близлежащих колхозов, для которых им надлежало отобрать рабочую силу. Из этих несчастных изможденных, больных и голодных, равнодушных ко всему на свете... Временами председатели спорили, ругались – никому не хотелось брать глубоких стариков, многодетных женщин, порой не могли договориться между собой – как-то ведь надо было поделить подростков.

– Куда привезли нас, доченька? – подала голос Хабибат. Гокка пожала плечами. Спросила у проходившего мимо железнодорожника.

– В Киргизию. Станция Токмак. Город, вон виднеется, тоже так называется, – ответил тот.

Гокка перевела матери. Та закрыла руками лицо, всхлипывая, зашептала что-то...

Подводы начали развозить «спецгруз» по колхозам. Наконец очередь дошла до Хабибат и Гокка. На подводу к ним подсадили Абидат с детишками. И зацокали, зацокали копыта по мерзлой земле.

– Сколько нам еще ехать? – спросила Гокка у пожилого, подремывавшего на передке возницы в овчинном тулупе.

– Да почитай еще две республики проехать надо-ть, – хохотнул мужичок и поиграл вожжами: – Н-н-но, ми-и-лай!

– Как это? – ужаснулась Гокка.

– Да не пужайся. Недалеко тут. Восемнадцать верст еще будет Кантский район Киргизии. Переедем речку. Чу называется. А там уже Казахстан, Курдайский район. Еще три версты. И аккурат в колхоз «Трудовик» приедем...

Судя по дымкам, поднимавшимся над покрытыми какой-то травой крышами приземистых вымазанных белым домиков, «Трудовик» проснулся, хотя час был еще ранний, – верхушки голых пирамидальных тополей по обочинам тонули в сером утреннем сумраке.

Местные жители шли за подводами от своих домов, толпились плотной гудящей массой на площадке, на которой, сгрузившись, вновь прибывшие попадали в распоряжение человека в – ставшей уже такой ненавистной! – черной шинели с малиновыми петлицами. Хотя знаков отличия на петлицах не было, Гокка поняла, что человек этот, с красным, зло набыченным лицом, не последний здесь начальник – от него веяло грубой силой, вот и местные, кажется, неприкрыто побаиваются его!

«Да у них тут все отлажено. Самый настоящий санпропускник: людей – в баню, вещи – на дезинфекцию», – не проходило у Гокка горькое удивление, пока опять не очутилась на улице. Под хмурым небом, в котором бесновались тучи ворон...

С прошедшими обработку занимались двое в «штатском». Один – пожилой, с добрым лицом, на котором читалось сочувствие несчастным выселенцам. Другой, догадалась Гокка, председатель – она уже видела его на товарном дворе станции Токмак.

Гокка услышала, как председатель, просматривавший какие-то бумаги, сказал другому «штатскому»:

– Люди истощены, измучены. Слышите, Василий Андреевич, кашляют как? Забот у вас теперь прибавится.

– Боюсь, Гавриил Яковлевич, мой фельдшерский пункт не справится с такой нагрузкой. Надо быстрее отправлять людей!

Разгоряченные баней, в ожидании подвод, которыми их развозили по баракам, выселенцы сидели прямо на мерзлой земле. Нескольких минут оказывалось достаточно, чтобы открывался кашель, – простужались мгновенно.

– Вам с матерью, – сказал фельдшер, делая пометки в своих бумагах, – выделяется комната. Дом Фриды Ишиной спросите. – И объяснил, как найти им новое их жилище. – Мать у нее и трое детишек. Вам комнату уступила, – пояснил на прощание.

Саманный домик. С узкими сенями, служившими также и кухней. В сенях напротив одна другой двери – в «половину» хозяйки и в их с мамой комнату. А комната – в два небольших окошка, с промерзшими стенами и отдающим холодом земляным полом. Всей обстановки – стол и рядом выкрашенная красным голая деревянная кровать. Гокка расстелила на ней шинель, уложила мать. Села рядом, совершенно не в состоянии сосредоточиться на чем-нибудь – голова шла кругом. Но вдруг увидела, что мать вся горит – лицо пунцовое, на лбу испарина. Дотронулась губами – высокая температура! Не дай Аллах, потерять еще и маму? Да что же это... Порылась в вещмешке, но не нашла в нем лекарств – все вышли в дороге. «Придется обратиться к хозяйке». И Гокка решительно постучала во Фридину дверь.

Хозяйка открыла не сразу. Сначала образовалась узкая щель, через которую на Гокка уставился холодный удивленно-вопрошающий глаз. Сзади, в темноте, кто-то завозился, засопел, стал толкать Фриду. Она, вероятно, и для себя неожиданно, распахнула ее настежь, и Гокка увидела троих ребятишек возле Фридиной юбки, длинной, из хорошей шерсти, прятавшихся за ней, но поминутно показывавших свои личики – что ни говори, любопытство сильнее страха! Гокка смутилась.

– Аспирина у вас не найдется? И еще: где можно достать дров, чтобы затопить печь?

– Аспирин, кажется, есть. А дрова... их здесь не бывает... Мы топим камышом или кураем.

Фрида загнала детишек в комнату, строго-настрого запретив высовывать носы, через минуту-другую вынесла два – Гокка не могла и мечтать об этом! – пухлых пакетика и протянула новой соседке. Гокка поблагодарила.

Фрида прошла в дальний конец сеней и принесла в обеих руках ворох каких-то сухих стеблей.

– Это камыш. Топить печку. Возьмите... Да, постойте... – вынула из фартука спичечный коробок, разломила его на две части, дала одну Гокка, отсыпав ей в ладонь и спичек.

Камыш Гокка видела первый раз в жизни. «Как им топят?» – недоумевала она, засовывая стебли в топку. Вся охапка поместилась в ней. Только поднесла зажженную спичку, огонь коротко вспыхнул и тотчас погас, даже угольков не осталось. «Значит, надо сидеть возле печной дверцы и подкладывать, подкладывать беспрестанно – поняла Гокка. Но камыша больше не было. В комнате ничуть не стало теплее. Холод пробирал до костей. Гокка поежилась, встала, походила по комнате из угла в угол. Не могла согреться – все сильней колотила дрожь. «Нервы» – будто кто-то посторонний, отметил за нее рассудок. «Конечно же, нервы, – ответило ее усталое существо, – когда бесконечно думаешь об одном: о тепле и пище... И когда не знаешь, что предпринять... Но ведь что-то надо предпринять!» – подстегнула она себя.

В комнату вошла Фрида. Поставила на стол кастрюльку с двумя ломтями кукурузного хлеба и парой деревянных ложек с обкусанными краями и облупленной краской на ручках.

– Поешьте... Чем богаты, как говорят... Больше у меня нет – четверо на руках, а муж – на фронте... Кастрюльку я после заберу...

Гокка заглянула в нее, лишь Фрида ушла.

– Как вкусно пахнет! Будем обедать, мама.

Хабибат наотрез отказалась.

– Не до еды мне, доченька. Внутри жарко, сил моих нет. – И ни с того ни с сего спросила испуганно: – А вдруг в этой кастрюле варилась свинина?

– Ну, прими хотя бы порошок... Только вот воды у нас нет, запить нечем.

Хабибат с трудом проглотила содержимое пакетика – ну до чего же оно противное, горькое, это лекарство, даже язык жжет! – и снова легла.

– Ты не смотри на меня, доченька, поешь. Сколько уж дней не ела тепленького, домашнего. Со второго... А сегодня уже двадцать второе... Поешь... А я полежу...

Одной Гокка было стыдно есть – не полезет еда в горло, когда мать столько дней без пищи. Но Хабибат заставила дочь. Молча, сдерживая слезы, Гокка перехватила несколько ложек. Вышла во двор.

Не верилось, что можно свободно дышать, ходить. «Свободно ли? – подумалось почему-то с грустью. – Пусть ты не под автоматными дулами «черношинельников». Но вокруг, насколько хватает глаза, эта плоская земля, сливающаяся, кажется, всего в ста шагах с небом, – теперь она твой страж, никуда от себя не отпустит... Хоть бы кого из наших найти...» – и вдруг вспомнила, не таким уж и мрачным показалось утро на станции Токмак, когда неожиданно в суматошной суете нос к носу столкнулась она с Халимат и Разият, учительницами из Чаула, вместе с матерью, тетушкой Бибой, дожидавшимися своей очереди. За двадцать дней ни разу на остановках не виделись, а

тут счастье-то какое! Смеясь и плача вперемешку, они стояли, обнявшись, словно боялись снова потерять друг друга в гудящем человеческом буруне. Возница с остановившейся поблизости подводы, смеясь с лукавым прищуром в бороду, окликнул их: «Будя вам, девки, сырь-то разводить! Пошто реветь, ваш табор-то в «Трудовик» свезти велено!» Успокоил немного...

Прошла мимо, будто не видя постоялицу, Фрида. Сыпанула из фартука ячменя курам, зачерпнула колодезной воды подставила ведро теленку. «Так нельзя. Надо что-то делать... – простучали в мозгу невидимые молоточки. Гокка взглянула на свои часики. – Три часа всего. А день совсем серый...»

За огородом Фриды виднелась точь-в-точь такая же, как у нее, мазанка. Из нее вышла дородная женщина лет сорока, с добрым, улыбчивым лицом. Направилась к Фриде. Поравнявшись с Гокка, поздоровалась кивком головы. Гокка вдруг вздрогнула, услышав за спиной немецкую речь.

– Вии геет эс иинен, Фрииде?*

– Гутн тааг, Кристин! Гут вэре юбертриибн, майне лиибе**...

Оглянулась. Фрида и Христина без стеснения разглядывали ее.

– Вам, можно сказать, повезло, – Христина ближе подошла к Гокка. – Нас сюда, привезли, когда здесь ничего не было – голая степь кругом. Норы себе рыли, как кроты...

– Вас? Привезли?! – Гокка не хотела верить.

– Да. Десять лет уже... Как спецпереселенцев... Вас теперь тоже будут называть так...

– Как кулаков, – уточнила Фрида. – И не привезли, а сослали...

– Какие мы кулаки, – нервно усмехнулась Фридина соседка. – У отца три коровы, лошадей пара. Зато и семья – восемь душ. В колхоз не стал записываться, вот его и раскулачили. И отправили сюда, на край света.

– Не одних нас, – буркнула Фрида. – И русских, и азербайджанцев, мордовцев... Эти – кулаки, эти – баи, эти – ханы... Мироеды, одним словом. А потом, когда война с Германией началась, остальных, всех немцев из нашей Поволжской республики выселили, а саму республику, переселенцы рассказывали, упразднили. К нам их только часть попала, а так – рассеяли их, слышали мы, по всей Сибири, по казахстанским степям, по пескам среднеазиатским... – Фрида умолкла, в волнении покусывая губы.

– Наш народ тоже выселили... Весь... – глухо проговорила Гокка.

– А вас за что? – устало спросила Фрида.

Если б знать… – потухшим голосом ответила Гокка и вдруг оживленно поинтересовалась: – А этот... ну, что принимал нас сегодня... комендант ваш, что он за человек?

---

* «Как поживаешь, Фрида?»

** «Здравствуй, Христина! Хвалиться нечем, моя милая...

– Он теперь и ваш, – произнесла с нажимом Христина. – Кузнецов его фамилия. Будь он проклят... Про вас информировал: везут, мол, людоедов, бандитов каких-то... А у вас детвора все, женщины да старики... А вы? – наседала на Гокка Христина. – Вы – офицер, орден у вас... Вас-то лично за что?

– Честно вам говорю, – потупилась Гокка, – не знаю. Стараясь спрятать неловкость, Христина сказала торопливо:

– Пойду я... Принесу чего-нибудь съестного...

И побежала к своей мазанке, осторожно ступая между грядами. Провожая соседку сочувственным взглядом, Фрида пояснила:

– У самой негусто. Одна живет, муж где-то в рабочем батальоне. Жалеет, что детей нет, а сейчас оно, может, и...

Гокка отвела глаза, и Фрида осеклась.

– Мне нужно походить по селу, узнать, как наши устроились, – Гокка зябко поежилась. – Это разрешается?

– По селу разрешается, хотя кто его знает, палача нашего, что ему на ум взбрести может... – И уже от закуты, в которую загоняла теленка, Фрида крикнула: – Оденьтесь только! Холодно у нас!

Вслед за Гокка в комнату вошла Христина, минуту спустя – Фрида. В подобранном фартуке у Христины было что-то завернуто. Она подошла к столу и выложила на самый краешек два яйца, два соленых огурца, половину кукурузной лепешки. Фрида и Христина постояли над Хабибат, которая лежала на кровати прямо на голых досках, накрывшись шинелью, пошептались о чем-то между собой по-немецки (Гокка ничего не поняла – в школе изучала французский) и вышли с озабоченными лицами.

– Кто эти добрые женщины? Что за люди живут здесь? – спросила Хабибат, усаживаясь на кровати.

Гокка пододвинула к матери еду и стала рассказывать...

– Как же они живут, несчастные, в таких домиках? – задумчиво проговорила Хабибат и вдруг, неожиданно резким движением отбросив недоеденный кусочек лепешки, спросила с недоверием: – А может, это нам такой достался? – Накрыла старческой ладонью кукурузный комочек, погладила его и, глядя куда-то мимо Гокка, едва слышно прошептала с болью в голосе: – А помнишь, доченька, дом твоего отца?.. Большой... Из дерева...

– Здесь все домики такие, мама. – Гокка села к матери на кровать и обняла, пытаясь согреть. – А живут здесь, как и мы, спецпереселенцы. Со всей страны в свой час попали они сюда.

– Так мы не первые... – выдохнула Хабибат. И Гокка не поняла, чего больше в ее словах: смирения перед горькой участью – ведь в самом деле, они не первые! – или жалости к тем, с кем карачаевцам предстоит делить теперь их общую судьбу...

«Не первые, – с горечью повторила про себя Гокка. – Верно, и не последние... А будет ли когда-нибудь так, что человек перестанет бояться за свою судьбу, за судьбы матери, детей, самых дорогих ему и близких? Что бы ни катилось по земле – войны, революции, голод или болезни... Кто бы ни стоял над народом: вожди и старосты, коменданты и конвоиры... Сколько еще должно пройти лет? Сколько десятилетий?..»

– Ты очень бледная, доченька, – всполошилась Хабибат. – Что с тобой?

– Ничего... Не волнуйся, мама... Ты полежи, а я... – Гокка надела шинель, привычно перехватила ее ремнем, – я по селу похожу, разузнаю, где кто из наших...

Неожиданно сама собой распахнулась дверь, и в комнату вплыла довольно внушительная охапка сена, за ней показалась Христина. Она положила охапку на кровать, аккуратно расстелила сено, бережно подобрав до единого выбившиеся клочки.

– Тут вам и перина... Тут и подушка...

– Как мне благодарить вас... – Гокка порывисто обняла Христину.

– Соседи ведь...– смутилась та. – Пойду я... – Гокка уложила мать, поцеловала.

– Отдохни... Скоро вернусь...

* * *

В центре поселка виднелись длинные побеленные бараки. Гокка направилась к ним. Впервые за последнее время – сколько недель пролетело, она и счет потеряла, – почувствовала, что на нее смотрят, разглядывают во все глаза. Подтянулась. Вспомнилась военная выправка.

Крайний к ней барак оказался жилым, в одном-единственном, несуразном каком-то окне виднелись даже занавески, пестренькие, сшитые из отслуживших свое тряпок. Открыла дверь. Услышала карачаевскую речь – свои!.. В огромном, как у них в Чауле кузня Асланбека, помещении без перегородок разместился – насчитала Гокка – десяток семей. Пустая комната – ни кроватей, ни нар. Зато посередине – возвышающаяся под потолок огромная русская печь. В бараке – одни старики, высохшие, в чем душа держится, и детишки, с изможденными, синюшными личиками, выглядывавшие из-под куч тряпья, наваленного прямо на холодном земляном полу. Ни у кого не было сил подняться навстречу Гокка. И только лишь кошка – Гокка удивилась, откуда она здесь взялась, чья она? – безразлично шлялась, обнюхивая узлы и лежавших на них.

С тяжелым сердцем вышла Гокка из «карачаевского» барака. Гибнут люди, а она ничем не может помочь им... Когда подняла голову, в глаза бросилась тусклая вывеска фельдшерского пункта на бараке рядом. Зашла в него. Как только открыла дверь, в нос сразу ударил знакомый запах лекарств – так встречала ее на фронте операционная...

Старый фельдшер был один в кабинете – прием, решила Гокка, закончился. Предложил ей сесть, указав на белую крашеную табуретку.

– Как устроились? Впрочем, понимаю, «устроились» не очень подходящее слово. Но, поверьте, – фельдшер будто просил извинения зато, что его возможности оказались весьма скромными, – все, что я мог сделать для вас, что вам разрешили жить не в бараке, а на частной квартире.

Гокка готова была расцеловать этого интеллигентного человека с бледным, изборожденным глубокими морщинами, но таким добрым лицом.

– Вы приняли в нас огромное участие. Спасибо! Спасибо вам...

– Полноте... – смутился фельдшер и, заметив, что голос Гокка потускнел, вдруг сказал: – Вы, я вижу, чем-то удручены...

Гокка почувствовала, что может доверить ему все, что наболело на душе.

– Что дальше мне делать, ума не приложу!

– Что дальше делать? – переспросил фельдшер, привычно вынул из бокового кармашка халата стетоскоп и поставил перед собой на стол. – Жить! Надо жить... Ваше душевное состояние мне знакомо, очень даже знакомо... Я тоже прошел через это. Считайте, фортуна обошлась с вами не так жестоко, как с нами одиннадцать лет тому. Теперь тут село, колхоз. Правда, «колхоз» звучит тоже немного странно, ведь в нем бывшие кулаки, я сказал бы – так называемые кулаки, поскольку ни у кого из них не было наемных работников... Просто не пожелали мужики в «коммунию» вступать. Ну а я... я попал сюда как кулацкий сын, хоть и прошел всю гражданскую фельдшером в Красной Армии. Мне о душе подумать пора уже, а я все еще... Знаете, как говорят у нас, у русских? Помирать собираешься, а ржичку сей! А вам-то сам Бог жить велел!

– Какая это жизнь...

– Разумеется, можно себя ненавидеть за такую жизнь. Но что тут поделаешь, если у тебя отнято право самому строить ее. Конечно же, вам надо работать, вы ведь врач, хирург... Хотя бы в этой, пусть маленькой и убогой, амбулатории... Я охотно отказался бы от места в вашу пользу, когда-то надо и на покой... Могли бы вы и здесь недалеко, в Георгиевке, работать, могли бы и в Курдае, в райбольнице, там даже лучше – по прямой специальности. Устроить это было бы несложно, врачей там не хватает, если бы... – перешел на шепот фельдшер, – не наш комендант, а он у нас... Все решает своей волей... Чуть что не по его... Надо бы к нему сходить. Впрочем, не знаю... не знаю... Виноват, но своя рубашка, не правда ли, к телу ближе...

Почему-то не доходило до Гокка, что сказанное фельдшером самым прямым образом относится, конечно же, к ней. Кто теперь помнит, что она врач? Кому нужно то, что она умеет делать? Нет, они говорят о ком-то другом, в другой, принадлежавшей не Гокка, реальной жизни.

– Не буду задерживать вас, – поднялась Гокка. – И еще раз спасибо вам...

Единственная в селе пыльная улица, с голыми тополями по обочинам, с унылыми приземистыми саманными, на одно лицо, мазанками под камышовыми крышами, поскрипывающий колодец... Гокка вздрогнула и замедлила шаг. Какая тоска! Невыносимо... На улице никого – село будто притаилось, выжидая в тревоге, что же теперь будет, что сулит житье-бытье с новыми соседями, голодными, полураздетыми, облепленными детьми? Ведь сами еле-еле сводят концы с концами, поджимаются, из последнего дотягивая до нового урожая – все сдают в помощь фронту.

У одного из домиков увидела Халимат, подбежала к ней.

– А мы с тобой, оказывается, соседи! – воскликнула обрадовано.

– Да вот, здесь мы и живем, – показала Халимат на дом побольше, чем у Фриды. – Фамилия наших хозяев Ишины. Старик, жена и дочка. Сын еще у них, Иван. На фронте он... Твоя Фрида, выходит, сноха Ишинская... – пояснила торопливо.

– Фрида?

– Они отвели нам угол в сенях. Там у них и кухня. Тепло. Правда, нам надо вносить свою долю камыша на топку плиты. А я не знаю, где брать его...

– Я тоже, – призналась Гокка.

Неожиданно сумерки стали расползаться над селом, гнетущие, давящие.

– Здесь вообще все не как у нас, – тараторила Халимат. – Поливают поля. Обычно это делают мужчины. А сейчас поливать некому. Старик Ишин мне рассказывал. Русские и казахи на фронте, а немцев отправили в какие-то рабочие батальоны. Потому они и боятся жить рядом с нами. Еще за месяц им сказали, что везут к ним в село бандитов, а потом слух прошел: их самих выселяют куда-то, они уже и сухарей насушили... Старик Ишин мешок показывал. Смеялся, ждали, дескать, бандитов, басмачей, в кино когда-то их видел и, ну, думали, таких и доставят, а привезли... только рукой махнул.

Помолчали.

Халимат вдруг помрачнела, на глазах проступили слезы.

– Мама совершенно убита горем. Перед выселением получили похоронку на Исхака. Один он у нас... ты же знаешь... Скажи, за что погиб мой брат? За что воевал?

– Исхак и Харун знали, за что... – тихо сказала Гокка.

– Я пойду с тобой, можно? Хочу повидать твою маму.

– Пойдем, моя милая...

Хабибат поджидала Гокка во дворе, возле хлева, беспокойно посматривая на дорогу. Пошла навстречу девушкам. В глазах недоумение.

– Ни гор. Ни лесов. Глазу остановиться не на чем. Разве можно здесь жить?

– Как я рада, мама, что ты встала, – обняла ее Гокка. И тут же задумалась: «Чем поддержать силы ее?»

Халимат прошла за ними в низкую, холодную комнату.

– Хорошо, что через вас никто не ходит. А у нас, в сенях, я говорила Гокка, еще и кухня, там вечно толчется кто-нибудь. Но зато в ней тепло. – Халимат передернула плечами. – Да у вас печка есть! – воскликнула радостно.

– Топить ее нечем... – смутилась Гокка.

– Камышом! Я же тебе говорила! Ишины камышом топят!

– Где растет этот самый камыш? – поинтересовалась Хабибат. Она снова сидела на кровати, подвернув под себя полы своей длинной мерлушковой шубы и укутав ноги сеном.

Гокка пожала плечами. А Халимат предложила:

– Давай спросим у вашей хозяйки. Завтра же и сходим за ним!

– Сходим, говоришь? А может, за ним надо ехать?

– Может, и надо... Не знаю... Одно знаю, – в голосе Халимат появились сердитые, напористые нотки, – надо будет ехать, и поедем... Раз уж выкарабкались живыми из этого страшного эшелона, здесь-то должны выжить. Только не сидеть сложа руки!

– Пойду к Фриде.

Гокка вышла в сени и постучалась к соседке. На порог высыпали Фридины дети, с любопытством стали разглядывать тетю в военном кителе. Через некоторое время показалась и сама Фрида.

– Я хотела спросить, как заготовить камыш?

– Пойти в конец села, за выгон. Там, в воде, он и растет. А срезать его надо серпом.

– Мы не взяли с собой... – потупилась Гокка.

– Я дам вам свой. Только не потеряйте, другого нет. Фрида скрылась в комнате и минуту спустя вынесла блестящий узенький серп.

– Завтра идем! – повертела Гокка перед самым носом у Халимат закрепленное на удобной, бочонком, ручке дугой изогнутое лезвие с мелкими зубчиками. – Я зайду за тобой?

– Буду ждать! – повеселевшая, Халимат побежала домой. Укладывались спать в темноте. Расстелили сено. Легли валетом.

Хабибат – кутаясь в шубу, Гокка – не снимая шинель. Разуваться не стали.

Лежа с широко раскрытыми в кромешную тьму глазами, физически ощущая пугающую своей безжизненностью пустоту, Гокка не могла ни о чем думать. Но и заснуть не могла – ныла рана. Еще утром, когда были в бане, поменяла повязку. Бинт, напитавшийся гноем, промок и побурел. Вполне понятно – последний раз обрабатывала рану еще дома. В дороге притерпелась к боли, потому и не догадалась там, у фельдшера, предпринять что-нибудь. А сейчас рана мучительно болела... Сон в конце концов поборол боль и холод, и, чувствуя, что вот-вот заснет, Гокка успела подумать, что завтра первым делом надо обязательно узнать, где здесь почта, и бросить треугольничек Аслану.

Почта оказалась в том же «административном» бараке, где располагалась амбулатория и какие-то еще – какие, Гокка пока не поняла, – «учреждения».

Заведующая почтой, рыжеволосая девушка, даже рот разинула, когда Гокка и Халимат подошли к барьеру – одна из «новеньких», в военной шинели, держала в руке серп! Гокка попросила чистый лист бумаги, отдала серп Халимат и написала коротенькое письмо Аслану, правда, о выселении не обмолвилась ни словом. Сложила треугольничек. Спросила заведующую:

– Сюда как писать? Та продиктовала:

– Казахская ССР, Джамбульская область, Курдайский район, село Кышмыш. Или можно: колхоз «Трудовик».

«Такой обратный адрес, – подумала Гокка, – скажет ему все».

Теперь можно и за камышом! Шли мимо бараков, возле которых слонялись их соплеменники, бледные, полусонные, растерянные – что делать? за что браться? жить как? За выгоном открылись целые заросли. Высокий, стройный – Гокка залюбовалась им – камыш стоял сплошной стеной... по колено в воде. Девушки попытались было подобраться к нему по кочкам, высовывавшимся из подернутой дымчатым ледком воды, но кочки уходили из-под ног, ледяная корочка, оказавшаяся не крепче паутины, крошилась в невидимую пыль, сапоги – с ужасом Гокка ждала этой минуты – вот-вот, не дай Аллах, отведают льдистого хлебова, чего уж говорить про обувку Халимат. Нет, так им до камыша не добраться. Гокка огляделась. Справа и слева какие-то люди, в резиновых сапогах, доходивших до самого пояса, – Гокка позавидовала, вот бы такие! – углублялись в заросли, ловко обрушивая камыш своими юркими серпами. За местными, стараясь не отставать от них, в ледяную воду ринулся пяток карачаевцев. Подступив к камышу, одни принялись ломать неподатливые стебли руками, другие – неумело махать серпом... «Туда нам и соваться нечего!» – рассердилась Гокка. Что ж, остается побродить по мелководью. Правда, камыш здесь весь уже срезан, отдельные былинки торчат здесь и там. Но можно еще и на выгоне каких-то сухих трав подобрать...

Возвращались усталые, расстроенные – по небольшой вязанке всего лишь удалось заготовить на растопку. А тут опять эта Фрида... Как обухом огрела по голове... Фрида, наверное, не ожидала, что постоялица так рано вернется с заготовок, и решила спрятать в хлев свой запас камыша. Гокка ужаснулось: «Аллах мой! Зачем же так плохо думать о нас? Неужели я похожа на воровку?» Попыталась прошмыгнуть в дом незамеченной. Положила у Фридиного порога серп...

Пламя, едва подняв голову, коротко вспыхнуло и через минуту исчезло, не дав никакого тепла. А к вечеру станет опять холоднее. Если бы не холод,

можно было бы, кажется, и голод перетерпеть... Неожиданно скрипнула дверь, и в комнату, без стука, вошла пожилая женщина в ватнике, поверх которого темнел фартук. Остановившись посередине комнаты, покачивая головой и время от времени смахивая рукавом слезу, стала молча разглядывать «новеньких». «Странно, – подумала Гокка, – когда Фрида с Христиной рассматривали меня как вещь какую-то, что ли, мне сквозь землю провалиться хотелось, а эта женщина так глядит, что на душе тепло становится...» Женщина потянула Гокка к двери.

– Пойдем, – сказала коротко, но так, что Гокка не отважилась ей восперечить, пошла следом. – Меня кличь теткой Марьей. Можно просто Трифонихой. – Внезапно приостановилась, Гокка чуть не налетела на нее. Зашептала скороговоркой: – А Фрида твоя така жадоба, ну така жадоба, спасу нет, зимой снега у ней не допросисся. При мужуке скопидомок была, а щас-то и вовсе.

Во дворе Трифонихиного дома, что лепился к мазанке Христины, увидела Гокка пожилого, лет шестидесяти, мужчину, в старом замасленном ватнике, с шилом и каким-то ремешком в руках. Гокка поздоровалась. Дед оторвался от работы, кивнул и, пробормотав что-то вроде «Вот, дочка, сбрую починяю», во все глаза уставился на совсем уж необычную гостью. «Хороший какой у него взгляд, добрый, как у тети Марьи», – подумала Гокка, невольно залюбовавшись стариком. Будто мукой выбеленные мохнатые брови, кругло подстриженная борода, тоже присыпанная белым... Старик покашлял в кулак и, неумело пряча неловкость, проговорил, покачивая головой:

– И вас... с такими погонами... едрешкина поварешка... Гокка промолчала – что она могла сказать на это...

На пороге дома показалась тетя Марья. Одной рукой прижимает к ватнику молочную кринку, другой – что-то завернутое в белую тряпицу.

– На-кась, – сунула в руки Гокка кринку, – снеси домой гостинчик, молочка. По картошинке ишшо вам с мамкой, и творожку намедни откинула, – затолкала в карман шинели сверток. – Иди, иди... А я камыша притараню...

Смущенная, Гокка поблагодарила тетю Марью и ее мужа и, осторожно ступая, – богатство неслыханное у нее в руках! – пошла со двора.

Хабибат не поверила глазам. Выронила из окоченевших пальцев янтарные четки, с которыми теперь не расставалась ни на минуту...

Поели. Согрелись немного. И вдруг почувствовали неимоверную усталость. Как и вчера, легли валетом. Но сон не шел. Бесконечная осенняя ночь. Бесконечная череда раздумий... «Бедный мой Маджай, – сокрушалась Хабибат, – радость и горе делили мы с тобой столько лет. А теперь я даже не знаю, на каком полустанке солдаты выбросили твое несчастное тело. За что с тобой так обошлась судьба? Ведь душа была у тебя светлая и чистая, словно вода в горных потоках... Отец наших детей! Что могу тебе

сказать я о них?! О Кемисхан я ни чего не знаю. И о зяте Аслане – тоже... А могилу Харуна мы с тобой уже никогда не увидим... Благодарение Аллаху, Гокка со мной, не отходит от меня... Мучается, бедняжка... Как же я могла оставить ее? Хотя понимала, что должна была остаться с тобой, чтоб лечь рядом в ту же землю. Но даже если и судит мне Аллах дожить свои дни в сказочном дворце, моя боль да пребудет со мною...» Села на кровати, сложила, руки для молитвы. Но почувствовала, что Гокка тоже не спит. Окликнула ее. Гокка оперлась на локоть.

– Да, мама... Я не сплю... Что ты?

– Как бы нам разыскать Кемисхан, Аслана, твою свекровь? – задумчиво спросила Хабибат.

– Сегодня утром еще раз попытала судьбу – послала письмо твоему зятю на фронт. Уж какое по счету... Но его полевая почта молчит... Если городских выселяли, я думаю, с ними отправили и Кемисхан. Ну а свекровь я мельком видела, когда нас грузили в теплушки. Как теперь узнать, по каким краям разбросало их...

– А мой брат, племянники? Увижу ли я когда кого-нибудь из родни? – запричитала Хабибат. – Аллах мой, за что покарал ты нас?! Лучше было бы проститься с жизнью, как несчастный Хасан это сделал…

– Не надо, мама, прошу тебя. Побереги свое сердце. Мы должны поддерживать друг друга... – И совершенно неожиданно подумала: «Если бы не ты, мама, если бы не надежда найти Аслана, без раздумий свела бы счеты с этим адом...» Но вслух произнесла, стараясь, чтоб получилось уверенно, спокойно: – Устроюсь на работу. И Кемисхан найдем. Всему свой час... «Чему – всему? – насмешливо-грустно возразила сама себе. – Куда ты устроишься? Нет здесь для тебя, хирурга, работы. Так что никуда не отпустит тебя твоя забота: достать съестного, раздобыть камыша...»

Прочищая со сна горло, хрипло пропел Фридин петух. Скоро уже рассветет. Но что хорошего может им обещать новый день...

Гокка поднялась тихо, чтобы не разбудить мать. Но Хабибат поспешила сказать:

– Я не сплю. Какой может быть сон...

От саманных стен и земляного пола тянуло колючим холодом. Гокка поежилась. Начала ходить по комнате.

– Встань, мама. Надо подвигаться. И согреешься.

– Нет, доченька. Невмоготу мне. Ноги не держат.

В сенях зазвенели пустые ведра – наверное, Фрида собиралась доить корову. Хабибат тихо заплакала.

– Горе мне, горе! Бывало, и я вставала в такой ранний час, и меня поджидала моя Пеструшка. Потом я несла молоко – совсем еще живое, парное! – в дом. Это же дом твоего отца. И твоего деда. И деда твоего

деда!.. А в нем сейчас чужих людей согревает наш очаг... О, Аллах, как допустил ты такое вместо того, чтобы залить его водой? Почему ты не истер в порошок наши горы? Ведь теперь чужаки равнодушно смотрят на них. А тебе не знать ли, что чужой глаз лишает пристанища и покоя души предков...

Гокка обняла мать, прижала ее к себе.

– Слезами тут не поможешь, мама. Возьми себя в руки. Хочешь, сегодня же отведу тебя к Бибе? Посидите вместе, поговорите.

Но Хабибат плакала уже навзрыд.

– Больше двадцати дней не могу помолиться по-человечески – нет воды для омовения. О, Аллах! Ты простишь несчастную? Ты же все видишь! Видишь?! Я на чужой голой кровати. На столе чужие объедки. Мы заживо похоронены в этом земляном склепе!

Сердце у Гокка разрывалось на части – невыносимо видеть залитое слезами, все в морщинах от неимоверных страданий лицо самого красивого, самого дорогого на всей земле человека. «Надо жить! Сам Бог велел! – вспомнились вдруг слова старого фельдшера. – Ну, а раз велел, – встрепенулась Гокка, – надо принести воды. – Сняла шинель, почистить не мешало бы. Вышла в сени. – Фрида, наверное, не будет против, если я наберу воды из колодца. – И остановилась в недоумении. – Только во что?» Хозяйка не оставила и ведер в сенях, все убрала в свою половину. Сделалось муторно на душе. «Можно подумать, я взяла бы ведро без разрешения... Придется пойти к тете Марье».

– Гля-кась! Воды ей жалко! – удивилась та, поднимая полную бадью.

– Да нет, я не спрашивала... – смутилась Гокка. – Просто ведра не нашла...

– Приховала ведры-ты, Фридушка! Жадоба и есть! Эт штоб ты в ейнай колодези воду не брала. Вот ведь беспонятна душа! Да разишь убудит воды энтай – все одно из земли сочится... А вам не надо-ть рази? Совсем без догаду бабонька... Они, вишь, завели тута, што у кажнава своя колодезь – так и уперлись в энто лбами, немчурки недоструганныи... – сплюнула в сердцах Трифониха. Подставила под бадью видавшее виды жестяное ведро. – Подсобить донесть?

– Я сама... Спасибо вам, тетя Марья.

Стараясь не хромать, чтобы не пролить ни капли, Гокка понесла домой воду. Трифониха сунула ей еще и старенькую, во вмятинах, алюминиевую кружку – теперь можно будет и умыться, и горячего питья сделать. Возле закуты возилась Фрида. Ей помогал мальчик лет двенадцати, должно быть, старший ее сынишка. Заметив в руках у Гокка полное ведро, Фрида презрительно поджала губы и отвернулась. А мальчуган, показывая на «военную тетю» пальцем, закричал на весь двор:

– Ма! Смотри! Бандитка, а у ней орден!

«Бандитка!» – холодный пот прошиб Гокка, чуть ведро не выронила. Постояла у порога минуту – нельзя, чтобы мама видела ее слезы. А орден ни за что не снимет – на лучах этой звезды есть капельки и ее, фронтового хирурга, крови!..

На третий день комендант вызвал к себе вновь прибывших. Не поднялся со стула, не поздоровался. Тяжело опираясь локтями о стол с раскиданными бумагами, обвел стоявших перед ним свинцовым взглядом. Заговорил отрывисто и глухо, нисколько не заботясь, слышат ли его, понимают ли.

– Теперь вы спецпереселенцы. Два раза в месяц всем являться в комендатуру отмечаться. Расписываться – здесь! – Ткнул пальцем в бумажку со столбиком фамилий. – За самовольную отлучку за пределы колхоза – под суд! Завтра всем на работу. – Вышел из-за стола. – Ты, ты, ты... – отвел в сторону нескольких мужчин и подростков, – на мое поле. Тебе, тебе... – отобрал женщин помоложе, – ко мне на квартиру. Остальным – на свеколку! Всем! – многозначительно взглянул на Гокка, покатав желваки под синеватой кожей тщательно выскобленных лезвием скул, процедил едва слышно: – И «золотым» погонам тоже... – Грузно уселся за стол, придавил бумаги своими увесистыми кулаками. – Платить за работу, кормить не буду. Скажите спасибо, что вожусь с вами! – Выдвинул ящик стола, достал из него пакет, из пакета вынул отпечатанные на машинке листки. Стал читать приказ, по которому они будут теперь жить. – Подписано, – в голосе Кузнецова появился металл, – секретарь цэка вэкапебе Суслов! – Комендант стукнул кулаком по столу. – Подходи по одному расписываться! – И положил бумажку с фамилиями на противоположный от себя край стола.

Новые спецпереселенцы расписывались молча и так же молча выходили на улицу. «Суслов подписал... – с ужасом думала Гокка. – Что же происходит? С Кузнецовым говорить нельзя, опасно! Скрутит в бараний рог! Неужели, – об этом же шушукались вокруг те, до кого пока не дошла очередь ставить свою закорючку, – надо писать Сталину? Выходит, Суслов один все решает? Там один, и здесь тоже... А сколько их, Кузнецовых таких, по всей стране! И откуда они только берутся?» – Гокка вдруг вспомнила, перед самым ее отъездом на учебу в Ростов у них в Чауле неожиданно появился уполномоченный НКВД Басият – вот уж точно, как две капли воды похожи они с Кузнецовым! Занял полдома, в котором размещался аульский совет, и ретиво принялся «выявлять контру». И троих девушек комсомолок вызывал к себе в «кабинет» – их тоже заставлял под диктовку писать доносы на соседей, знакомых... Непонятное и страшное время. Гокка пыталась разобраться, но не отваживалась спросить даже у отца – его родного брата, дядю Ибрагима, тоже забрали. А сама ничего не понимала... Ты думала, тот – конюх, тот – пастух, а тот – старый друг отца... Ну, а выходит? Выходит, Чаул просто кишит «врагами народа»! «Теперь вот нас

«врагами народа» сделали. – Гокка машинально расписалась и, не поднимая глаз, вышла на улицу. Легче дышать почему-то не стало. – Не даст нам жить Кузнецов. – Но тут же в ней снова лихорадочно забилась неизбывная ее забота. – Надо поддержать мамины силы. И обогреть дом...»

Гокка походила между бараками и наконец увидала нужную дверь – на вылиняло-коричневой картонке по выгоревшим следам от чернильных потеков можно было угадать слово «лавка». Вошла. Триста двадцать один рубль оставался от «фронтовых» денег – сущие гроши, прекрасно понимала Гокка, но на первые дни, может, хватит... Однако доставать деньги не пришлось. На одной-единственной полке – глиняные какие-то миски, над полкой на гвозде – черный, в масле, висячий замок. И все! Не надо и спрашивать. Продавщица сочувственно поглядела на обескураженную посетительницу, развела руками... «Может, у Фриды есть какие-нибудь продукты на продажу?» – почему-то подумалось Гокка. И она побежала домой.

На деньги в руке постоялицы Фрида и не взглянула. Проговорила со снисходительной ухмылочкой:

– Сейчас эти бумажки ничего не стоят.

И повернулась, было, уйти. Но что-то ее остановило. Гокка заметила, в темных Фридиных глазах под длинными ресницами блеснул огонек – она с жадностью разглядывала ее обручальное кольцо. Сказала вкрадчиво;

– Я могла бы обменять на это...

Гокка отрицательно покачала головой. Нет, ни за что не расстанется она с кольцом – такой бесконечной будет наша любовь, сказал ей Аслан в день их свадьбы. Лучше голодная смерть... Лучше побираться... Ведь побираются же ее соплеменники... Одни – крадучись, стыдясь своих земляков. Другие – часами в открытую простаивая под дверями домов местных жителей. Третьи – несмело предлагая на обмен кое-какие вещички. «Местные» чаще всего отгоняли «чужаков», порой собаки, ревностно исполнявшие службу, не подпускали их близко, хозяева и прятались от попрошаек, и попросту не выходили на порог, заслышав робкий стук в дверь, только посердобольней кто – выносили каких-нибудь объедков или подолгу и так и эдак перед носом трясли самим не очень-то и нужным барахлом... Что ж, понять их можно... Каждое зернышко на счету, каждая тряпица – война ведь, и люда голодного понаехало сколько!.. Гокка попробовала было как все – с горящими от стыда щеками цветной мамин платок обменяла всего-то на небольшую тыкву. Но понести еще что-нибудь не хватило духу...

«Сварю тыкву, хорошая еда, – решила Гокка. – Прямо в ведре. Спасибо тете Марье... Надо только сухой травы на растопку набрать. Вышла на улицу. И только принялась обрывать засохшие стебли по огородным межам, как услышала сзади резкий голос хозяйки:

– У нас принято делать это на своем огороде. На чужие заходить не принято...

«Свой... чужой... Как они определяют, – опешила Гокка, – когда ни ворот ни у кого нет, ни калиток? – И чуть не закричала. – А если его просто нет?!» Фрида, видно, поняла, что перехватила малость, уже мягче продолжила:

– Когда буду готовить и на плите будет свободное место, можете ставить свое ведро...

«Сколько же обличий у смерти? – думала Гокка, сидя возле холодного печного устья. – Голодная. Холодная. От пули или осколка... Или от безысходности... отчаяния... Или... Какая же алчная она, безразборная... Казалось бы, раз уж выбрались люди живыми из этого кошмарного эшелона, отступись от них. Ан, нет! На второй день уже забрала старика и ребенка, открыв счет карачаевским могилам на бугре за околицей – там отвели место для переселенческого кладбища. Это власти сделать не забыли! Только вот почему-то забыли, что переселенцы тоже люди, что они имеют право жить, ведь жизнь дается человеку свыше! А чтобы жить, надо работать! – нервно усмехнулась Гокка. – Надо сходить к председателю...»

* 6 *

Гавриил Яковлевич Волынкин внимательно выслушал Гокка и Халимат, сказал с добрым теплом в голосе:

– Я вас очень хорошо понимаю. И сочувствую. Сам-то я тоже спецпереселенец. За то, что «единоличничествовал». А теперь, хоть и перевалило за шестьдесят, хоть и мордвин к тому же, даже председательствую в колхозе. Никогда не знаешь, куда судьба повернет... А колхоз наш в передовых по республике. По всем культурам план перевыполнили. Нам, правду сказать, по-другому и нельзя... Иначе комендант голову снимет. С Кузнецовым вам надо говорить, если по специальности хотите работать, а мне до райздравотдела и районо, как до Господа Бога... Только, думаю, Кузнецов и слушать не захочет. Забыли, что велел, когда собирал вас всех в комендатуре? Всех, без исключения, на колхозную работу. А у нас сейчас уборка сахарной свеклы, значит, топать вам, девушки, собственно говоря, на поле... Да, постойте-ка, мы тут, на правлении, решили вчера каждой семье спецпереселенцев выделить по пять кило ячменной муки. – Председатель вручил им по серой бумажке. – Кладовщик отпустит...

На краю простирающегося до горизонта свекольного поля, облепив бурты свежевыкопанных корней, сидели на корточках женщины, местные и спецпереселенки, все как одна в ватниках и перепачканных землей сапогах. В руках у женщин мелькали ножи, – у одних споро, у других реже, – которыми они отсекали от коричневато-бурых корней странной округловытянутой формы пышную красновато-зеленую ботву. Свеклу Гокка и Халимат видели впервые в жизни. Присели возле одного из буртов, взяли по

свеклине... Ботва плохо поддавалась – не было привычки у девушек, да и без ножей какая работа! Им дали по ножу, и женщины. Гокка чувствовала эти взгляды, стали исподволь наблюдать за неумелыми движениями «чернявеньких».

– Та хто ж так мутовки крушит? Показали б, как ловчей, бабоньки! – услышала Гокка над собой крепкий мужской голос. Подняла голову и увидела коренастого пожилого, под семьдесят, мужчину, который держал под уздцы серую лошадь.

– Бригадир наш, Пахно... – прошептала одними потрескавшимися губами соседка. – Стро-о-гай... – И почему-то улыбнулась с едва заметкой хитринкой.

Бригадир смотрел на жавшихся к буртам женщин долго и как-то не по-мужски, не по-бригадирски – печально, прикрывая глаза не то от порывов холодного степного ветра, не то потому, что не было сил видеть их потрескавшиеся красные руки.

– И это руки хирурга… – с горечью подумал он.

Одна из карачаевок, очистив свеклу, начала ее есть.

– О, сладкая какая! – радостно воскликнула женщина, и все последовали ее примеру. Местные женщины глядели на них с состраданием.

Да, свекла была белая, сахарная, но имела какой-то неприятный привкус. Гокка не стала есть, а тем, кто ел вовсю, сказала, чтобы остановились, потому что могут быть последствия. Тем не менее, голодные люди жадно продолжали есть сырую свеклу, а, уходя, рассовывали ее за пазуху и по карманам. Бригадир Пахно ходил между буртами и, как показалось Гокке, делал вид, что ничего не замечает. А женщины в душе радовались тому, что сегодня они могут наконец накормить семьи...

Гокка и Халимат возвращались домой без свеклы, так как не могли заставить себя взять без разрешения общественный продукт – пока еще одной ногой они стояли там, в своем прошлом... Взглянув на свои изрезанные, поцарапанные руки, Гокка подумала, что это все, наверное, страшный сон. Медиков везде не хватает, хирургов особенно, а тут...

Она только теперь, идя рядом с подругой, сорвала с шинели погоны и спрятала в карман. Халимат остановилась и смотрела на нее снизу вверх (была мала ростом) удивленными глазами.

– Не гляди на меня так, – с горечью сказала Гокка. – Я эти погоны заработала честно, а здесь они вызывают недоумение. И посмотри на эти руки, разве это руки хирурга?! А я ими за два года войны спасла сотни жизней. Теперь же я как бы физически чувствую, что они у меня лишние, руки-то мои?!

У нее задрожал голос, но она большим усилием воли сдержалась, чтобы не заплакать.

– Знаешь, на днях сынишка Фриды сказал обо мне: «Гляди, бандитка с орденом!»

– Я это знаю, с легкой руки коменданта нас окрестили бандитами. На иной прием мы и не могли рассчитывать. Но я все время думаю: где та правда, которой мы верили до самозабвения?! – воскликнула Халимат, вытирая глаза концом легкого платка.

– Оказывается, все зависит от прихоти человека, стоящего во главе государства...

– Ты что, считаешь, что это случилось не без ведома Сталина?

– Уверена в этом, хотя два года с минуты на минуту готова была отдать за него жизнь.

– А наши бедняги все еще считают, что Сталин не знает, и ждут, что он возвратит их домой.

– Страшно подумать, что единственная наша мысль – о куске хлеба, чтобы жить, а для чего жить? Во имя чего?! Мы лишены любимой работы, любимых гор. Судьба близких неизвестна. Я потеряла свою любовь и никогда больше не увижу Аслана. Мы уже «бывшие», так во имя чего жить-то?!

– Я ради мамы и сестры должна жить.

– Так вот это единственное, что у нас осталось.

– Смотри, что делается в бараках, – продолжала Халимат, – скученность страшная. Старики, дети, мужчины и женщины копошатся на холодном полу. Огромную печь, что стоит на середине барака, нечем растапливать. Старики и подростки ходят за камышом, но без высоких резиновых сапог там делать нечего. А страшнее всего видеть, как наши ходят и просят подаяние.

– И это те гордые люди, которые испокон веков ставили труд превыше всего.

– Мы с Разият не знаем уже, что и обменять. За одно мое платье ей дали одну тыкву...

– А у меня никакой одежды нет для обмена, – пожаловалась Гокка, – все, что есть, – на мне. Я сумела взять кое-что из одежды сестренки, но ее надо беречь на случай, когда она найдется... А вот часы да обручальное кольцо – это подарки Аслана.

Халимат бросила взгляд на подругу: лицо ее, как у всех спецпереселенцев, землистое и костлявое, только длинные черные брови да ресницы выделялись на нем. Из-под шапки-ушанки с красной пятиконечной звездой видны были такие же черные волосы. «А какая красивая была пара – Гокка и Аслан!» – вспоминала Халимат, шагая по сухой, глубокой пыли, от которой ее обшитые черным сафьяном бурошники и плюшевое пальто стали совершенно белые.

– Как бы нам ни было трудно, Халимат, но мы должны сходить к коменданту по поводу работы. Я чем-нибудь накормлю маму и зайду за тобой, ладно?

– Насчет меня, Гокка, ответ будет короткий – бандитку в школу не возьмут, хотя здесь и есть школа. Пошлют на свеклу, и, конечно, я вынуждена буду ходить. А вот ты другое дело – врачей всюду не хватает. Сходим с тобой и послушаем, что он скажет. – Халимат была практичней Гокки. На том и порешили.

Пять килограммов ячменной муки было немалым богатством, но не на чем было приготовить еду, и холод стал одолевать не меньше голода. Мать все так же лежала на сене, одетая в шубу, единственную теплую вещь. На столе лежали один соленый огурец, половина вареного яйца. Это она оставила для дочери. Гокка, поев, решила сейчас же сходить к коменданту по поводу работы, а оттуда на камыш – может, что-нибудь соберет и испечет лепешки. Затем она вспомнила про мельника-азербайджанца. Фрида сказала, увидев патефон у Гокки, что мельник мог бы дать за него муки. Надо будет сходить к нему.

Когда Гокка с Халимат пришли к коменданту, тот гневно расхаживал по своей конторе. У двери стоял худенький, с выступавшими лопатками, мальчишка-спецпереселенец, в отцовском бешмете до колен, с заплаканным лицом.

– В следующий раз я тебя отправлю в тюрьму, тогда и посмотрю, как ты будешь воровать капусту! Уходи! – показал он на дверь, и парнишка выскочил на улицу.

– Что вам от меня надо?! – обратился он к пришедшим, сверля их злыми глазами. Лицо его было в красных пятнах, а ноздри расширились еще больше.

– Мы по поводу работы, – заикнулась было Гокка, но коменданта тут же взорвало:

– Работы?! Ишь ты, работа для всех одна – идите на поле! Вкалывайте, к черту! Гокка не удержалась:

– Перестаньте с нами разговаривать таким тоном. Мы не перестали быть советскими людьми. Пришли к вам как к человеку, черт возьми! Врачей всюду не хватает, пошлите меня в районный центр или же рядом, в город Фрунзе, дайте и ей работу в школе, ведь все зависит от вас.

– Вот поэтому-то я сделаю так, как мне захочется, – сказал комендант зловеще тихо. Ему никто никогда не возражал – старые спецпереселенцы во всем подчинялись ему, новые тоже должны трепетать перед ним, – Так тебе захотелось в районный центр?! – Он приблизился к Гокке. – Но мало тебе этого, тебе нужен город, столица другой республики?! Нет уж, обойдутся без тебя, вкалывай на поле! Ненавижу гнилую интеллигенцию! Ты же бандитская сволочь! Ишь ты, видали, она считает себя человеком! Какой же ты человек?!

– Да, даже в этих условиях я останусь советским человеком, вопреки таким, как ты! – бросила Гокка и направилась к двери.

– Подожди, я покажу тебе, кто я есть! Построю КПЗ и первую тебя посажу в нее. Жаль, что сегодня мне некуда упрятать тебя, собака!

Наконец комендант их отпустил и они вышли на улицу. Гокка вся дрожала от обиды и бессилия. Шли молча, подавленные увиденным и услышанным.

– Пойдем к реке, в таком виде я не могу показаться матери, – сказала Гокка, и они спустились к воде, сели на кочки – камней здесь не было. Долго молчали, глядя в чистые воды Чу, вспоминая родную Кубань.

За рекой расположилась большая станица, сказали, что она называется Ивановская и что туда, якобы, тоже завезли карачаевцев. «Может, Кемисхан и родители Аслана находятся там?», – подумала Гокка. Но переходить мост категорически запрещено: за мостом чужая территория – Киргизия.

– Этот комендант – палач, с ним лучше не разговаривать и стараться не попадаться ему на глаза, – произнесла Халимат.

– Палач-то он палач, но откуда он – такой?!

– Как откуда? Все оттуда же. Разве 1937 год не породил зверей?! Да и до 1937 года они были, вспомни Павлика Морозова, так называемого пионера-героя. Нет, я не оправдываю действия его отца и не осуждаю мальчика за то, что он выдал его: его так учили в школе, в пионерской организации, выкорчевывая из детской души святая святых – сыновнее чувство.

– Ну, его поступок можно растолковывать по-разному. Зачем далеко ходить, мы же сами были такими. Разве не отреклись бы мы от родителей, если бы сказали, что они враги Советской власти?! Отреклись бы. Ну, да об этом позже можно порассуждать. – Гокка встала. – Холодно, и я не знаю, что делать. Сейчас мне надо пойти к мельнику, упросить, чтобы он дал муки за патефон. Затем постараться купить хоть сколько-нибудь камыша на мои деньги. Ваше счастье, что ваши хозяева отапливают печь, не ради вас, конечно, и вы всегда в тепле.

– Но наша хозяйка предупреждала нас, что мы должны внести свою долю камыша, – сказала Халимат.

– Что делать, что делать, ума не приложу, у меня разрывается сердце, когда гляжу на наших. Эти многодетные солдатки превратились в нищих – ходят и просят подаяние, каждый день похороны...

– А некоторые отправили письма своим на фронт и ждут не дождутся от них спасения. Напрасные ожидания...

– Пойдем, моя мама ждет меня, она надеется, что я разыщу Кемисхан. Но где? Как? Девчонка где-то скитается без денег, без запасного платья. Она поехала в Микоян-Шахар на совещание, как передовая доярка, – улыбнулась сквозь слезы Гокка.

– У многих ведь тоже так, семьи разрознены. А те, которые остались лежать в больницах или же в домах?! Аллах мой, лучше умереть бы всем нам на месте.

Они шли, съежившись. Пронизывающий морозный ветер конца ноября щипал лицо, руки. Разговор с комендантом все еще стоял в ушах Гокки. Во имя матери она вынуждена была проглотить это, хотя что она могла сделать, жаловаться некуда и некому...

Когда они вышли на единственную улицу, разделившую село на две половины, Халимат сказала:

– Посмотри, посмотри во-он на то дерево.

Гокка заметила Абидат, с которой ехали в одной теплушке. Она смотрела на дом, прижавшись к дереву. Со двора выбежала старшая дочь, что-то передала матери. Та отломила, видимо, это был кусочек хлеба, выпрошенный девчонкой. Мать показала ей дом на противоположной стороне улицы, куда та и побрела, а в это время другая дочь Абидат вышла из другого двора, неся что-то в ручонке.

Гокка вспомнила ее мужа – солдата Абдулкерима и тяжело вздохнула. Он был плотником, содержал свою семью неплохо, как и другие аульчане.

– Хочу обменять свой пуховый платок, может, это мне удастся, – услышала она голос Халимат.

– Пойдем к мельнику Хайдару, может, он возьмет за муку и патефон, и платок. К тому же, думаешь, он свое отдаст? Не-ет, ворованное, колхозное.

Местные жители, конечно, испугались приезда карачаевцев – этой нахлынувшей голодной толпы, боялись слухов, что их самих выселят куда-то в Сибирь, а мазанки с хозяйством останутся пришлым. И прятали все, сушили мешками сухари. Но были и такие, которые старались приобрести за бесценок дорогие вещи – часы, браслеты, серьги. Так, Хайдар выменял патефон и пуховый платок за два ведра муки. Как бы там ни было, это уже выход из положения на некоторое время. Гокка и Халимат теперь занялись добыванием камыша. Местные мужики жали камыш и продавали вязанками. Это было очень дорого, но делать нечего – за сто вязанок Гокка отдала все свои сбережения и габардиновый костюм сестры Кемисхан. Так на время была снята забота о еде и топливе, уступив свое место думам о работе.

Среди прибывших сюда трехсот семей абсолютное большинство составляли женщины и дети. Мужчины были в основном инвалиды или забракованные военкоматами. Они устраивались на работу в кошарах, на фермах. Женщинам же негде было работать, и они побирались или меняли вещи, если они были, на продукты.

Местные жители рассказывали, что спецпереселенцев привезли и в соседние колхозы – в села Каракунуз и Шортюбе. Говорили, что там проживают дунгане, некогда выходцы из Китая. Хотя эти населенные пункты находились недалеко от «Трудовика», спецпереселенцам ходить туда не разрешалось. Гокка надеялась, что сестра и свекровь, возможно, находятся

там, но как узнать? Три женщины-спецпереселенки работали прислугой у коменданта, и они имели право бывать в соседних селах. Они и стыдились своей привилегии, и радовались ей: как-никак можно узнать о тех, кто в эти села прибыл, из какого района. А вот обменивать вещи и просить подаяние в тех селах им не удавалось – люди в них жили хуже, чем в «Трудовике». Через этих женщин и узнала Гокка о том, что ее сестры и свекрови там нет.

Больных с каждым днем становилось все больше и больше: болели от истощения, из-за непривычного климата, из-за скученности. Старый добрый фельдшер Василий Андреевич часто обращался за консультациями к Гокке, и каждый раз с извинением, что не в состоянии оказать ей материальную поддержку. Местные жители тоже прибегали к ее советам. Больше ничем она не могла им помочь.

Декабрь был холодный, метельный. Гокка с матерью затапливали печурку, считая каждую камышинку. Тепла не было. На стенах комнатки белела изморозь. В ведре варили какую-то бурду из муки, на плите Гокка жарила крошечные лепешки, и то была, конечно, еда, о которой можно было мечтать.

Тетка Марья не забывала их, почти каждый день что-нибудь да заносила: то капусты соленой, то крынку молока, то кусочек хлеба.

В конце декабря произошло событие, взволновавшее и обрадовавшее всех спецпереселенцев: Баладжан получила письмо от сына Магомета, капитана Советской Армии. Письмо было с фронта. Он спрашивал, почему они – мать и братишка Борис – оказались в Казахстане, каким образом? Что касается его самого, то он жив, перенес несколько ранений, но в строю и вместе со своей частью гонит врага с нашей территории. Ждет срочного ответа. В сердцах измученных неизвестностью людей появилась надежда – и к ним придет долгожданная весточка.

На письмо Гокки Аслану ответа не было.

Гокка металась в поисках выхода из тупика. Что делать? Как быть? С жизнью ее связывали мать да надежда встретиться с мужем. Мать больше лежала, обессиленная горем, недоеданием и холодом. Гокка боялась за нее. Надо было работать. Написать в районное отделение НКВД, в чьем ведении они находились? Но за письмо ей может попасть от Кузнецова, и мать останется на произвол судьбы. Рискнуть и съездить с попутной подводой в район? Но ее могут посадить там же за самовольную отлучку – в приказе, подписанном Сусловым, это квалифицировалось как попытка к побегу, за что полагались двадцать пять лет каторги.

Она решила посоветоваться с председателем колхоза Гавриилом Яковлевичем Волынкиным и зашла к нему.

– Я очень хорошо понимаю всех вас и глубоко сочувствую. Лично ваше положение мне тоже понятно – хирург, а сидите без дела, когда всюду врачей не

хватает. Я буду в районе и зайду в райздравотдел, попрошу, чтобы он затребовал вас в район, посмотрим, что из этого получится. А у себя, где-то через месяц, я мог бы устроить вас на работу в детский садик, заведующая как раз уходит в декретный отпуск. У меня язык не поворачивается предлагать вам это, но что поделаешь, – сказал председатель, переставляя папье-маше на столе.

– Я подожду, что решат в районе, – сказала Гокка и вышла.

Ветер был пронизывающий, степной – в родных горах Гокка не знала такого ветра. Полы шинели то и дело разлетались в разные стороны. Поскольку земля подмерзла, пыли не было. Улица будто вымерла – холод загнал людей в дома.

Из двора какого-то дома выбежала с криком полураздетая девочка лет семи – за нею гналась собака. Девочка стремглав обхватила руками колени Гокки, вся дрожа от страха и холода. В руке ее были зажаты две картофелины, вероятно, чье-то подаяние.

– Где ты живешь? – спросила молодая женщина, обняв ее худенькие плечи, стараясь согреть и успокоить. Но ребенок, казалось, с перепугу потерял дар речи.

Гокка пошла с ней к ближайшему длинному бараку. В нем, вокруг нетопленной большой русской печки, кишмя кишели люди: на полу на соломе лежали старики и старушки, ползали дети. Все женщины были чем-то заняты. Людей в бараке было человек пятьдесят-шестьдесят. На приход Гокки никто не обратил внимания, а девочка, которую она привела сюда, перепрыгивая через лежавших людей, добралась до старика и отдала ему одну картофелину. Вероятно, это и был сегодня весь их обед.

Гокка вышла и направилась к себе. Мать все так же лежала на этой большой самодельной кровати, безучастная ко всему и, казалось, притерпевшаяся к холоду.

– Председатель пообещал, что узнает в районе о возможности моего вызова туда, – тихо сказала Гокка, кладя последний пучок камыша в печку. – Ты рада?

– Дочка, послушай меня, то, что выпало на нашу долю, нужно пережить вместе с нашим народом. Я готова умереть и от голода, и от чего угодно, лишь бы получить весточку от своих. Где они, что с ними, как там мой дорогой зятек на войне? Боль за них мне не дает думать о нас с тобой, – произнесла она слабым голосом.

– Мама, так ты не хочешь, чтобы мы переехали в район? У нас ведь ничего нет для обмена, кроме моих часов. А дальше что? – сказала Гокка, высыпая из кулька последнюю кукурузную муку для замеса. Вообще-то, она была почти уверена, что комендант Кузнецов сделает все, чтобы не отпустить ее в район. Он люто возненавидел ее за то, что она посмела быть дипломированным специалистом.

Мать, пропустив мимо ушей сказанное ею, вспомнила:

– Приходила Мария, если я ее поняла правильно, кажется, заболел ее муж, ты бы сходила к ним.

Гокка быстро испекла маленькие лепешечки на плите, подала матери; подогрев в ведре воду и в жестяной кружке поставив на кровать, сама поспешила к тетке Марье.

Муж ее Иван лежал на койке и тяжело стонал, схватившись за правую сторону живота. Гокка, пальпируя живот, определила: острый аппендицит. Конечно, надо оперировать. Но где? Как? Чем?

– Необходимо срочно отправить в район, это единственное спасение, – обратилась она к тетке Марье. – Нужна подвода и направление от фельдшера. Ты сходи в контору за подводой, – наказала она сыну тетки Марьи, – а я пойду за направлением, – и хотела выйти. Но пожилая женщина со слезами остановила ее у двери:

– Я прошу тебя, Галя (переделала ее имя на русский лад), сделай что-нибудь здесь, ты же видишь, что он не выдержит такую дорогу.

– Тетя Мария, поймите, что я не имею права лечить, оперировать. Я же враг народа.

– Пусть будут прокляты те, кто таким докторам, как ты, не дает работать. Господи, что же мне делать? Вася, дорогой мой, пятьдесят лет живем вместе, и я ничем не могу помочь тебе, – и заголосила.

Сын тетки Марьи пошел за подводой, а Гокка заторопилась к фельдшерскому пункту. Добрый старый фельдшер выписал направление, и они вдвоем вернулись к больному. Ему становилось все хуже. Несмотря ни на что, Гокка, наверное, принялась бы за операцию, но никаких хирургических инструментов не было. Пришлось больного уложить на подводу, укутать хорошенько и отправить с женой и сыном в район. Ей ехать с ними было нельзя.

Уходил 1943 год, этот страшный, трагический год не только для карачаевского, но и для балкарского, чеченского, ингушского и калмыцкого народов. Они были разбросаны по всей Средней Азии, по Казахстану, по Сибири. Друг о друге люди узнавали только понаслышке, кое-кому посчастливилось наладить связь со своими, находившимися на фронте. И в каждом письме фронтовики с тревогой спрашивали: почему семья оказалась так далеко от родных мест? Но отвечать на этот вопрос было запрещено.

В колхозе «Трудовик» каждый день кого-нибудь хоронили. Умирали от голода и холода. А холод был неимоверный – мороз временами доходил до сорока градусов. Гокка Среднюю Азию представляла себе как сплошной солнечный край, но это оказалось не так: если жара, то сильная, если холод, то страшный.

Гокка свои золотые часы обменяла на одноконку камыша, но печку топила раз в сутки, иначе камыша хватило бы не больше, чем на неделю. Серебряное кольцо матери отдали за чашку картофеля и небольшую тыкву. Больше у них ничего не осталось для обмена. Тем не менее, Гокка могла бы сказать себе, что они с матерью живут припеваючи, по сравнению с теми семьями, в которых были дети. Душа сжималась от боли, когда она видела полураздетых, синих от холода ребятишек, снующих всюду в поисках пищи.

Ходили упорные слухи о том, что Сталин уже узнал о трагедии этих кавказских народов и вот-вот вернет назад, на родину. Вера в эти слухи была крепкая, и люди во что бы то ни стало хотели дожить до такого дня. А кладбище все заполнялось, росли и росли холмики без нагробных камней (камней здесь вообще не было). Землю под него отвели на бугре за селом.

День был холодный, ветер разносил редкий снежок, а временами бил им в лицо. Гокка шла, завязав под подбородком уши своей серой армейской шапки. Чуть не столкнулась с шедшим навстречу человеком. Подняв глаза, узнала бригадира пятой бригады Пахно Семена Ивановича. Он остановился, поздоровался и без каких-либо предисловий сказал:

– Галя (теперь ее все называли так), завтра вечером приходите к нам домой, встретите с нами Новый год. Мы с женой будем вас ждать.

Гокка только раскрыла рот, чтобы отказаться, но он уже ушел. Она посмотрела ему вслед: крепко сложенный мужик лет семидесяти, в черных валенках, в теплом полушубке, он шел уверенной походкой. Его в колхозе хвалили как бригадира. А жил он совсем недалеко от дома Фриды. Гокка каждый раз, выйдя на улицу, видела его прямоугольный дом, загороженный глиняным дувалом, обсаженный тополями. Иногда шел дым из его баньки во дворе.

Гокка замечала, что местные жители к ней относятся благосклонно, с удовольствием заговаривают с ней, приглашают к себе в гости, но она, принимая эти приглашения за жалость к себе, отклоняла их, к тому же не могла себе позволить хотя бы попробовать в гостях что-либо, зная, что дома матери совсем нечего есть.

К Семену Ивановичу пошла, предварительно испросив разрешения у матери. Жена бригадира, его приемный сын и сноха радушно встретили ее и посадили за стол. Гокка была в своем неизменном кителе без погон, а что касается ордена, он по-прежнему блестел на груди. Гокка его не снимала, хотя понимала парадоксальность своего положения.

Чего только не было на этом праздничном столе! А главное – хлеб! Сколько хочешь и в разных видах: домашней выпечки, пироги с разными начинками, пирожки. И еще: отварная картошка с солеными огурцами. Глаза разбегались, но Гокка смогла сделать вид, как будто все это ей не в новинку.

На столе стоял большой графин с «баламуткой», так называли самодельную брагу из сахарной свеклы, и даже целая улица села называлась Баламутской из-за того, что здесь началось когда-то баламутоварение.

Гокка чуть пригубила рюмку со всеми вместе, когда произнесли тост в честь Нового года. С неописуемой болью и с чувством страшной обреченности в душе вдруг поняла, что ни новый наступающий, ни какой другой год ничего ей и ее народу не сулят в жизни, кроме гибели. И гибель эта неотвратима, как судьба. К горлу подкатил тугой комок, а мысленно виделся студенческий новогодний вечер в Ростове, куда приехал и Аслан...

Она так и не смогла дотронуться до этой обильной, вкусной еды – там, в холодной комнате, лежала голодная мать.

Она извинилась и покинула приветливых хозяев. Те не догадались или пожадничали положить ей что-либо для матери. Скорее всего, сытый голодного не разумеет...

В окнах Фридиной «половины» горел свет. Дверь в сени была приоткрыта, видимо, Фрида то и дело бегала к плите, на которой что-то кипело и жарилось. Гости у хозяйки – громкий смех и режущая ухо металлическая немецкая речь доносились из комнаты. Гокка вбежала в свою комнату и остановилась в немом оцепенении. Ледяная могила! Ни звука, ни огонька!

Молча легла. Прижалась к матери, укрыв, насколько это было возможно, ей ноги сеном. Хабибат пошевелилась. Обняла дочь.

– Гоккаджан... доченька... Я лежу, думаю все... Помнишь, как встречали Новый год в доме твоего отца? Вся семья собиралась к родному очагу. Маджай резал самого жирного барашка. Чего только я не готовила к столу – и хычины, и пельмени, и шашлык, и сохту, и джерме! А какую мы варили бозу! Отец говорил первый тост. Поднимал свой гоббан с бозой – помнишь его резную деревянную чашу? – и начинал: «Пусть Новый год принесет счастье нашей стране! Будет оно у нее, будет и в моем доме...» Подожди-ка, доченька... Что-то мысли у меня путаются... Скажи мне, а было ли счастье у нас в стране? Вроде как было – все равны стали, столько возможностей у каждого: хочешь – учись, хочешь – на земле работай, строй новую жизнь... А вроде и не было – все время под страхом люди жили: то неурожая боялись, то раскулачивания, то боялись, что придут ночью и заберут неизвестно куда, то войны... Вот и Маджай – с оружием в руках защищал новую жизнь, а и его... – Хабибат тихо заплакала, уткнувшись в шинель дочери.

Гокка молча гладила голову матери. Не было таких слов, какими смогла бы она утешить ее...

С нетерпением ждала Гокка результатов поездки председателя в район. Проходили дни. Неизвестность мучила страшнее, чем голод и холод. Не выдержав, сама пошла к нему в контору. Увидев ее, председатель смутился,

виновато пряча глаза. Гокка все поняла: у него ничего не получилось. Сказала мягко:

– Не переживайте, Гавриил Яковлевич. Попробую сама еще раз поговорить с Кузнецовым.

– Не знаю, удастся ли вам. Он даже нас, старых спецпереселенцев, держит в ежовых рукавицах. – Волынкин говорил шепотом, часто поглядывая на перегородку, за которой находился кабинет Кузнецова, будто опасался, не слышит ли он его «крамол». – Наши сыновья на фронте, да и мы перин не пролеживаем – колхоз в передовых по округе, а он, чуть не по его, мало за кобуру не хватается, все у него на крике: «Спецпереселенцы! Враги народа! Такие-рассякие!» Никого не поощрил, не представил к награде. «Спецпереселенцам? Ордена? Колы им осиновые!» Вот так и живем – в страхе перед Кузнецовым. Уже одиннадцать лет. Хорошо, класса три у него наберется. Грубый. Жестокий. И жадный до чужого – не только с колхоза тянет, и «подопечных» стрижет как овечек. Что хан сидит на мешках с добром. А попробуй скажи поперек или не выпиши, что душенька его возжелает, сразу «врага народа» приляпает и пойдешь по этапу, потому как вера ему, а не тебе, – председатель побледнел, снял с чернильницы крышечку, повертел в руках, вернул на прежнее место. Еще тише продолжил: – А какой я «враг народа»? Крестьянствовал. Собственным горбом наживал достаток. В середняки выбился. Только и пожить… да тут колхозы объявили. Своди скотину со дворов! Свози телеги! Сноси топоры, вилы! А мне жалко стало – им, что тем «комбедовцам», не в руки, коту под хвост! Так они в кулаки меня. И сюда определили. – Волынкин отодвинул чернильницу, поморщился, словно от сердечной боли.

Гокка выждала минуту. Все-таки отважилась спросить:

– Гавриил Яковлевич, не просто у вас в жизни, а как вы думаете, почему наше правительство и лично товарищ Сталин доверяют человеческие судьбы таким Кузнецовым? Ведь у них в кулаке судьба моего народа.

– Трудно ответить на ваш вопрос, – Волынкин встал. Прошелся по комнате. Сел, совсем близко придвинувшись к Гокка. – Может, раньше тоже так было, не знаю, но только в тридцатые, особенно в тридцать шестом, седьмом, восьмом годах, расплодились доносы. Ой, как прибавилось заботушки «малиновым». Разгулялись на все плечо на своей «жатве» – лучшие снопы в ригах у себя цепами порешили... Лучшие головы, то есть, долой... – заволновался Волынкин, снова повертел в руке, перепачкавшись чернилами, крышечку. – Ни за что не поверю, что они враги народа! Душа думать так противится... Вот вы – военный врач, офицер, муж на фронте... и такой вопиющий произвол. А за что народ ваш и других, которых тоже так виноватят? Нет слов оправдать несправедливость сию... Ума не приложу, как таким Кузнецовым доверяют, там... – председатель несколько минут сидел

молча, обхватив голову руками, потом продолжил совсем потухшим голосом: – Как говорят, каков поп, таков и приход... Да, знаете, что мне в райздраве сказали? Врач, дескать, вам очень нужен. Тем более хирург. Только пусть, мол, она, то есть вы – сама договаривается с райотделом НКВД. Им себе дороже туда обращаться, вдруг скажут: «А-а-а! О врагах народа беспокойство проявляете, о спецпереселенцах?!» Потом от неприятностей уже не отвязаться. Чего доброго и в райздраве отыщутся «враги народа»... – нервничая, Волынкин опять зашагал по комнате.

Поднялась и Гокка. Председатель подошел к столу, зачем-то переставил местами чернильницу и пресс-папье, порылся в бумагах.

– Конечно, конечно, попробуйте поговорить с Кузнецовым. Может, зверь этот в хорошем расположении духа окажется, чем черт не шутит... Извините, ради бога, разоткровенничался... Не с каждым, сами понимаете... – И добавил на прощание: – Зайдите все-таки. Чем черт не шутит...

«Из двери в дверь всего-то... Даже сапоги не успеешь испачкать – полы в этом бараке деревянные!» И Гокка решительно потянула на себя ручку двери, за которой вершил судьбы Кузнецов.

Комендант стоял спиной, когда Гокка вошла в кабинет, конечно же, не повернулся к ней, не поздоровался в ответ. Возился, нарочно долго, как показалось Гокка, с дверцей железного сейфа, то открывал, то закрывал ее, позвякивая связкой ключей и ключиков, «Не в этом ли сейфе наши документы?» – попыталась она заглянуть внутрь, но Кузнецов с грохотом захлопнул дверцу, повернул ключ на два оборота и, бросив связку на обшарпанный, без скатерти стол, сел за него, положив на стопки бумаг свои увесистые кулаки. Спросил свирепо:

– Ну? Какая нечистая тебя принесла? Выкладывай!

– Почему вы мне «тыкаете»? – не сдержалась Гокка. – Я старше вас по званию. При исполнении служебных обязанностей, на каком основании...

– А на таком! – оборвал ее Кузнецов. – Основания пришла искать! По званию она старше! Видали мы таких! Одно у тебя звание – бандитка! – захохотал в лицо Гокка. – Да я тебя с таким твоим званием, знаешь, куда могу упрятать? Знаешь, отлично знаешь! А ерепенишься! Я с вас, азиатов, три шкуры сдеру! Молчишь? Вижу, зачем пришла. Образованная нашлась! На-ко вот! Плевать мне на твое образование!.. Кругом, ма-арш! – и уткнулся в свои бумаги.

Совершенно потерянная от унижения и бессилия Гокка побрела домой. «Все. Теперь дорога в район заказана... Угораздило же сделать ему замечание... Да что это я? Уже и пожалела, что не смолчала? А почему человек вообще должен сносить такое? Это ты все еще считаешь себя человеком. Только не Кузнецов. И не его подручные. Спать не будут, пока не вытравят из нас все человеческое» – Гокка стало плохо от подобных мыслей. Обжигал холод. Лицо деревенело на колючем степном ветру, но шаг не

ускоряла. «Что же делать? – думала напряженно. И вдруг ухватилась за ставшую теперь и для нее спасительной соломинку: – Надо написать письмо товарищу Сталину. Рассказать об этом беззаконии, он должен узнать... Надо написать от имени всех переселенцев. – Но соломинка так же неожиданно, как появилась, исчезла, будто ветер, вырвал ее из несильно сжатых пальцев. – А как же сдать письмо на почту? Может, передать с тетей Марьей? Поедет к мужу в район, навестить после операции, и отправит письмо... Нет, хоть их поселок не чета Курдаю, но и там опасно. Могут изъять. Тогда уж накажут обязательно. И тетю Марью в покое не оставят. – Гокка представила перекошенное оскалом лицо Кузнецова. Но мысли продолжали свою лихорадочную гонку: – Лучше всего отправить из Фрунзе. Это ведь уже другая республика даже. Кто-нибудь из «Трудовика» поедет, попрошу... – Гокка послышалось, Кузнецов захохотал снова, теперь уже, что было глотки. – Там тоже могут изъять письмо... Заколдованный круг... Что же делать? Неужели сидеть, сложа руки?»

Поравнявшись с домиком, где «квартировали» Халимат с матерью и сестрой, Гокка решила зайти к ним. Семья ютилась в хозяйской кухне. Но здесь, по крайней мере, было тепло. И Гокка даже расслабилась, подставив застывшие на морозе руки и лицо струям воздуха, нагретого растопленной плитой. На ней хозяйка готовила обед. Гокка втянула носом аромат томящейся в чугунке баранины – совершенно уже забытый и такой дразнящий! Невыносимо хотелось есть. Но нечего и думать, что хозяйка – она все время стоит к ним спиной, точно боится, что чужакам достанется слишком много этого вкусного запаха! – если и не пригласит за стол, то поделится с ними чем-нибудь, косточками хотя бы. Гокка ничего, конечно, не взяла бы. Разве что для бедной своей матери, которая лежит сейчас одна в стылой комнате...

Гокка и Халимат вышли в сени. Гокка пересказала свой разговор с комендантом. И тут поняла окончательно: теперь-то у нее уж точно не осталось ни малейших сомнений – все пути отрезаны, котел, как говорили на фронте! Вдруг и Халимат заговорила о том, о чем не раз задумывалась Гокка:

Знаешь, что меня удивляет больше всего? Как мог товарищ Сталин положиться на таких, как наш комендант? Ведь в их руках судьбы десятков, нет – сотен, если не тысяч людей! Людей, которых они, ограниченные, жестокие, ослепленные злобой, превратили в заключенных. По всей Средней Азии, слышала я, по всему Казахстану такие поселки – лагеря...

Нам еще грех жаловаться. Мне один человек рассказывал про настоящие лагеря, для врагов народа и партии... Соловки называл, Колыму, Сибирь... Только я думаю, их гораздо больше, просто не обо всех известно...

– Да что же это?! – испуг и недоумение появились на лице Халимат. – Неужели полстраны у нас враги партии и народа?!

– Не кричи так, – понизила до шепота голос Гокка. – Я решила написать письмо товарищу Сталину. Он должен узнать, что творят Кузнецовы. Что ты на это скажешь?

Лицо Халимат помрачнело. Она ничего не ответила, с затравленно-вымученной полуулыбкой посмотрела на Гокка, помотала головой и убежала в дом.

А чего ждала Гокка? Что хотела услышать? Ведь надежды нет, и ждать ее оттуда безрассудство. Даже светлая их с Асланом любовь приходила к ней теперь уже только в мимолетном сне. И тогда болело сердце, вспыхивала поминутно слепящая взор молния, накатывались с неведомой выси грохочущие раскаты. Но Гокка чувствовала в себе и необыкновенные силы, она была почти уверена – еще минута, кошмар в свете дня рассеется, она вернется в прежнюю жизнь... Однако развеивался сон, силы покидали ее, она оставалась один на один с жестокой явью – без Аслана, без своих боевых друзей. И они не придут, попыхивая самокрутками, не спросят, как бывало, когда у нее на душе становилось черно: «Ну, что стряслось, дружок Галчонок?» – и не разведут беду добрым словом. Она вспоминала их часто, а когда слушала фронтовые сводки, представляла, будто была рядом с ними, как они, сосредоточенно-злые, в глубоко надвинутых касках, сжимая побелевшими пальцами автомат или гранату, почти не пригибаясь, молча бегут по ничейной полосе, с неотвратимостью возмездия приближаясь к первой линии вражеских окопов, и радовалась, что, конечно же, под их ударом враг, понесший невосполнимый урон, отброшен. Живы они? Ведь на фронте смерть, как говорится, ест с тобой из одного котелка. Но там ты знаешь, за что примешь ее – за Родину, за Сталина, за то, чтобы хоть на шаг, но приблизить такую долгожданную победу! А за что ее народ гибнет здесь, в этих заснеженных, выстуженных ветрами степях? В чем вина его, что даже своих покойников хоронит он не по обычаю предков, не в саване, у подножия родных гор, а как попало, в лохмотьях, под беспощадные, словно проклятья, удары жестких комьев чужой земли?.. Как жить, когда на ней тебе нет места?

Однажды Василий Андреевич пришел к Гокка против обычного серьезный, подобранный, по-выходному одетый – в черном полушубке и черных валенках, со свертком, который он неумело прятал подмышкой. Отвернул воротник полушубка, постоял посредине комнаты, оглядывая налет сизоватого инея, проступившего на саманных стенах. Присел на край кровати, где куталась в свою длиннополую шубу Хабибат. Она сжалась в комок – холодно, и сафьяновые чуруки не греют ноги. Гокка стояла в изголовье постели и молча смотрела на фельдшера, ничего пока не понимая, но и не отрываясь от его добрых, теплых глаз. Василий Андреевич положил сверток на стол, бережно развернул белую тряпицу, и перед Халимат и Гокка возникла половина буханки свежеиспеченного, пахнувшего вкусным печ-

ным духом, пшеничного хлеба. Кашлянув, достал из кармана ключ, тот блеснул рядом с золотистым кирпичиком.

– Отныне, уважаемая Гокка Маджаевна, вы хозяйка нашей амбулатории. Я ухожу на пенсию. Пора мне уже, как-никак за семьдесят перевалило.

– Нет, отец мой! Ни за что! Это вы из-за меня решили уйти. Лучше я умру с голоду, чем причиню вам плохое!

Смущенный словами Гокка, Василий Андреевич повел рукой, будто ему досаждала оса, пробормотал:

– Ну, полноте, полноте... Прошу вас... Вам жить надо...

Но Гокка, едва сдерживая переполнившие сердце слезы, не могла остановиться.

– Надо жить, говорите вы, милый Василий Андреевич... Но ведь мы не живем – цепляемся за жизнь. За такую, к которой у нас не осталось ни капли радости. Вот если бы смогли мы возвратиться в наши родные горы, там жизнь вернулась бы к нам. Но этого не будет. Что лишний день, если жизнь давно уже кончилась... – Гокка разрыдалась, прислонившись лицом к стене, а когда выплакалась, решительно заявила старому фельдшеру: – Спасибо вам, дорогой мой человек, сердце у меня разрывается, как я вам благодарна. Спасибо, но я не могу принять ваше место. Да и к коменданту с разрешением не пойду. А без разрешения... сами знаете...

– Господи! Совсем забыл! – спохватился фельдшер. – Простите старика... – Засунул руку во внутренний карман полушубка, через минуту протянул Гокка сложенный вдвое белый листок.

Она развернула. Пробежала текст – выписка из приказа райздравотдела о назначении врача Боташевой Гокка Маджаевны на вакантную должность фельдшера в колхозе «Трудовик». Не поверила глазам.

– Прежде чем ехать в Курдай, я поговорил с комендантом. Чтобы не получилось, будто через его голову... – пояснил Василий Андреевич

– Кузнецов недаром служит в НКВД. У этих людей вся власть в стране, законы – тоже. Вернее, действует один закон: что сегодня захочет левая пятка... – Старый фельдшер кашлянул в кулак. – На самом деле все оказалось проще простого... Я сказал коменданту, что уже стар и не могу работать. И предложил вас на свое место: молодой доктор, без сомнения, справится... При слове «доктор» Кузнецов поморщился... А я, зная эту его неприязнь к образованным людям, особенно к тем, кто владеет той или иной специальностью, ввернул ему, дескать, справится доктор, конечно же, справится, но для человека с высшим медицинским образованием, да к тому же еще для военного хирурга, должность сельского фельдшера, полагаю, будет, мягко выражаясь, унизительной. Кузнецову это понравилось! – Глаза Василия Андреевича лучились озорным блеском. – И он, изволите видеть, согласился!

Ошарашенная таким поворотом, Гокка с лихорадочным напряжением думала не о том, как примет фельдшерский участок, а совсем о другом – как же теперь будет жить старый фельдшер? Ведь пенсия у него сущие гроши.

По тому, как Гокка смотрела на него расширенными от ужаса, немой благодарности, сострадания глазами, Василий Андреевич понял, что беспокоило ее, что мешало ей радоваться за себя.

– Вы не тревожьтесь, доктор. У меня есть небольшие сбережения. И в огороде кое-что уродилось. Пенсия будет идти. Много ли нам со старухой надо... Да что и нажили, оставить некому. Был сынок – единственный наш... Погиб... Ушел добровольцем в истребительный батальон... В начале июля... Только два письма всего и получили. А потом, к зиме ближе – похоронка. И еще треугольничек, от нового комбата: оказывается, на исходе того же июля редкий заслон из бронебойщиков немецкие танки перетерли своими гусеницами... Не мне вам говорить, вы тоже повидали всякого... Теперь – жить! – воодушевился старик. – Выжить, во что бы то ни стало! Очень прошу тебя, доченька! – Василий Андреевич потрепал Гокка по плечу, раскланялся с Хабибат и, подняв по-стариковски воротник полушубка, тяжелой походкой пошел к двери.

Когда, проводив гостя почти до самого его дома, Гокка переступила порог своей комнатки, она все еще не могла поверить в то, что произошло. Остолбенело смотрела на мать, глотая слезы... Едва заметной в степном небе звездочкой вновь замерцала надежда...

Хабибат подошла к дочери, тревожно заглянула в ее мокрые, широко распахнутые глаза:

– Не скрывай от меня, доченька. У тебя плохие известия? Что-нибудь страшное? Кто? Кемисхан?! Аслан?!

– О них я ничего не знаю, мама. Хотя пишу твоему зятю, чуть ли не каждый день... Нет, нет... Совсем другое... Новости хорошие, мама. Нам теперь не страшен голод, я буду работать! Фельдшер, Василий Андреевич, приходил, знаешь, зачем? Приказ принес о моем назначении на его место и ключи от амбулатории, – протянула матери.

– Он сам так решил?

– Да. И сам добился разрешения. Сам документ оформил.

– Как истинный слуга Аллаха поступил этот человек, – сказала с почтением Хабибат и сложила руки для молитвы.

Последняя горсть камыша, все, что осталось от купленного, без сожаления бросила Гокка в печку, не размышляя о том, что больше нечем насытить ее прожорливое чрево. Сегодня такой праздник! В большой жестяной кружке вскипятила воды. Бросила душистых травинок. Разломила хлеб.

– Теперь мы живем, мама!..

Хабибат задумчиво жевала хлеб, отхлебывала из кружки маленькими глотками. Вдруг сказала горестно:

– Мы-то спасены. А как же остальные наши? Разве полезет кусок в горло, когда вокруг столько голодных?

Эти слова заставили Гокка задуматься, посмотреть на себя как бы со стороны. Теперь у нее будет работа, даже зарплата полагается, на кусок хлеба им с матерью хватит. Но имеет ли она право на все на это, когда ее соплеменники побираются, живут в нищете? Может, отказаться от амбулатории? А что это даст? Хлеба голодным не прибавит. А если она станет работать... Да! Работать! Она же будет помогать людям, а не отнимать у них последнее, не обворовывать их... Успокоилась немного. Первый раз, пожалуй, за все время после выселения, за все то время, какое длится кошмарный этот сон наяву. Правда, теперь все чаще и чаще стали врываться в него светлые пятнышки, и она увидела за всеми этими вершителями судеб в высоких кабинетах, сутулыми лейтенантами, автоматчиками в черных шинелях, озлобленными, безликими, вернее, на одно лицо с их Кузнецовым, другие – добрые, отзывчивые, человеческие! – лица: тетя Марья, Гавриил Яковлевич, бригадир Пахно, соседка Христина, Василий Андреевич... Гокка все еще не могла отойти от потрясения: милый старый фельдшер, он не просто спас от верной голодной смерти двух женщин – казалось бы, что ему до них? – в таких условиях он совершил неимоверной силы, огромного смысла поступок! А тетя Марья, а Христина... В них, во всех тех, для кого нет чужой беды, чужого горя, неважно какой ты национальности, – настоящая Россия. Сами спецпереселенцы, задавленные налогами и принудительными подписками на займы, гнувшие спину в колхозе от зари до зари за пустые «палочки», только перед войной смогли встать наконец на ноги. Да что там говорить, нетвердо они стояли на них. А тут война. Все подобрала – до зернышка, до копеечки! Кому в радость такие, как они – сбоку припека? Но общее горе, убеждалась все эти месяцы Гокка, нерасторжимо сплачивало людей.

Укутав ноги матери, Гокка стала собираться на работу.

– Пойду, мама, посмотрю, что и как там. Не беспокойся об ужине, у нас есть тыквушка...

На пороге, в клубах морозного воздуха, возникла тетка Марья.

– Здрасьтя вам! Как живетя-можитя?

Пришла, как всегда, с гостинцем – на этот раз поставила на стол кринку молока, положила горкой вареные картошины, а рядом – совсем уж невидаль! – два яблока.

– Куда направилась-то, деушка, в эдакой морозишша? – спросила.

– На работу, – сообщила Гокка.

– Эт кудышь?

– В амбулаторию. Фельдшером.

– Ой, добре-то как! Ба-альшой дохтур будит больных осматривать! Очередишша будут таперича, – засмеялась, – пушкай не пробьешь! – И вдруг спохватилась, спросила испуганно: – А куды шь Андреича-то?

– На пенсию он уходит...

– Хорошай мужик. Добрай. Може, и работал бы, да тебя, видать, жалеючи... Да оно и правильна. Пушшай помоложа хто... А мой-то Вася, – глаза ее радостно загорелись, – седни салазки смазал, здоровай я, грит, и на конюшню свою почапал. Оздоровел, дал Бог, и ладно... Ишшо, грит, вашаво однаво, которай по болести яво заменял, надо кудысь пристроить. А куды? Зимой у колхозя делов-то вобче негусто, сама знаешь...

Знала Гокка, своими глазами видела, как маются лишившиеся собственных подворий, оторванные и от ставших для них привычными колхозных забот «отбракованные» войной мужчины и чувствовавшие себя еще в силе старики. Особенно – карачаевцы. Ведь испокон веков карачаевец сызмальства приучался к труду, самой жизнью был он для него. Потому и хватались они за любую, какая выпадала, работу на комплексе животноводческом.

– Ну и добре, Галя, ну и ладна, – продолжала тетка Марья. – Таперича и я к табе приду, уж не погребуй старухой... – Налила в кружку молока, протянула Хабибат. – Попейтя-ка. Щас тока подоила... Ты иди, Галя, а я посижу чуток.

«Как странно, – думала Гокка, ступая по снежному насту, – иду на работу, а на душе муторно, будто, в самом деле, обокрала старого фельдшера. Нет, надо отказаться. Пока еще не поздно». И постучалась в дверь квартиры Василия Андреевича.

Открыла пожилая женщина. (Доброе, приветливое лицо – жена, догадалась Гокка.) Пригласила войти. Квартира всего-навсего оказалась выгороженной в амбулаторном бараке большой комнатой, разделенной русской печью на две части, В комнате опрятно, тепло, даже домотканый коврик постелен. Две пары валенок на печке сушатся: серые и черные. Жена фельдшера скрылась за пестрой занавеской, и из запечья послышалось:

– Василь Андреич. Спустись-ка. Пришли к тебе.

Появился фельдшер, в душегрейке, в теплых тапочках. Совсем какой-то домашний, старый...

– Что случилось, Галя? Почему вы не на приеме?

– Не могу я, Василий Андреевич... – не глядя ему в глаза, положила Гокка перед ним на стол, вычищенный ножом до блеска, листок с приказом и ключи.

Фельдшер пригладил редкие седые волосы, застегнул ворот рубашки, проговорил глухо:

– Полноте, матушка... Полноте... Мы же обо всем договорились... Присядьте-ка...

Гокка готова была разрыдаться.

Фельдшер позвал жену и попросил достать из сундука сберкнижку.

– Вот, Галя, взгляните, если вы не верите мне. Нам с женой на век наш хватит. Я вам говорил, – голос его стал жестче, – я все обдумал, прежде чем передать амбулаторию. Скажу прямо, – кашлянул смущенно, – передавать там особо нечего. Хорошо, йод пока есть. А лекарств, думаю, сейчас везде не хватает. Война... Так что составьте какую-нибудь бумагу. Как там полагается – «сдал – принял». Я подпишу. И все, все, доктор... – поднялся с табуретки, улыбаясь. – Возражения не принимаются. Вам пора, Гокка Маджаевна. Больные, наверное, ждут. – И уже на пороге мягко добавил: – Не терзай себя, доченька. Ты ни в чем не виновата... Всегда помогу тебе, чем смогу...

Когда Гокка вошла в амбулаторию, в передней уже толпился народ. Говорили все разом. При виде нового доктора примолкли, уважительно расступились. В кабинете огляделась, от запаха лекарств почему-то чуть дурно не стало. Сняла шинель. Подошла женщина, в халате поверх ватника, с охапкой камыша, которым подживляла печурку.

– Здрасьте. Я санитарка. Настей меня кличут.

– А я Гокка Маджаевна. Вот и познакомились. Дайте мне халат, Настя.

Та подала – далеко не первой свежести, мятый, с полуоторванным нагрудным кармашком. Гокка готова была взорваться, но сдержала себя: может, не успела постирать для нового доктора... Сказала мягко:

– Это непорядок, Настя. Приготовьте, пожалуйста, к завтрашнему приему...

Первой вошла девушка лет семнадцати. Плюхнулась на стул. Потребовала шепотом:

– Пусть санитарка выйдет. Скажи ей!

«Сразу на «ты»...» – с неприязнью подумала Гокка и ответила жестко:

– Она, как ты видишь, на работе. Говори, что тебе надо?

– При ней не скажу...

– Давай, не дури. Выгнать ее из кабинета я не имею права. Да она в том конце комнаты и не услышит тебя. Говори быстро, ну? Люди ждут...

– Сделай мне аборт. Второй месяц уже. – Частила на одном дыхании пациентка. – Без мужа я. Сделай. Я тебе хорошо заплачу.

– И не подумаю. Отлично знаешь, что аборты запрещены. Иди. И не задерживай людей.

– Пуд кукурузы тебе домой принесу. Хочешь, мешок принесу?.. – Гокка порывисто поднялась из-за стола.

– Хватит. Знала, небось, на что шла. Иди теперь со своей кукурузой вместе...

Видя, что ничего не высидит, девушка тряхнула короткой стрижкой – выругалась, что ли, подумалось Гокка, – и поплелась к двери. Гокка села на место и с замиранием сердца стала ждать следующего больного. «Надо же было, – досадовала и злилась одновременно, чтобы первый ее прием начался так. Но вскоре уже выбросила из головы эту злополучную «первую очередь». Работала споро, без устали. Родная стихия поглотила ее – сорок человек на приеме к «большому доктору»!

Улица, уже не казалась Гокка унылой и неприветливой, колодцы поптичьи озорно пересвистывались друг с другом, даже ветер, не унимающийся обычно, обжигающий, будто устал от каждодневных своих игрищ и забав, держался на почтительном расстоянии сзади, не налетал на Гокка, не швырял ей в лицо колючие иглы, приморaживая уши под фуражкой, не наметал под ноги в легких офицерских сапогах завалы снега – она так и не раздобыла себе ни валенок, ни зимней шапки-ушанки, а они ой как нужны здесь! Все было по-другому, ведь она возвращалась с работы. Она снова чувствовала себя че-ло-ве-ком, обретавшим смысл жизни, – она была нужна людям, в ней возгорелась надежда, что она отыщет в этой круговерти дорогих ее сердцу, что скоро уже кончится война, черная тарелка на столбе у «административного» барака все чаще передает победные сообщения, что ее народ переборет голод, холод, все мыслимые и немыслимые невзгоды и унижения, что настанет наконец тот час, когда карачаевцам – да и всем другим безвинно пострадавшим народам – будет возвращено их доброе имя... Когда смерть не будет больше торжествовать на своем страшном пиру...

«Ну а пока она торжествует...» – упало у Гокка сердце в недобром предчувствии, когда услышала истошный женский плач, вырвавшийся на улицу из одного из «карачаевских» бараков. Гокка поспешила туда. Обитатели барака, опустив головы, стояли тесным кругом над бездыханным тельцем мальчика. Рядом с ним на земляном полу сидела его мать. Она причитала, рвала на себе волосы, забыв от горя, что по обычаям предков нельзя этого делать на людях.

– Пятеро у нее было, – наклонился к самому уху Гокка седобородый старик, – все здесь поумирали, кто от голода, кто от болезни, а теперь вот последнего к ним собирает, перемерз мальчонка... У нее уж и материала на саван не осталось. Видишь? Женщины из лоскутов шьют, от заветных своих отрезали... А вчера от его отца получила вот, – старик протянул Гокка фронтовой треугольничек, – почитай...

Дрожащими руками Гокка развернула треугольник. Сероватый обрывок торопливо исписан химическим карандашом. В полутьме с трудом разбирала прыгающие буквы.

Дорогая Мариям!

В первых строках своего письма шлю приветы отцу своему Каплан-Герий, матери Сапият, сестре Шамхани и всей остальной родне.

После вашего долгого молчания письмо ваше меня обрадовало. Но я не пойму, почему пришло оно из Казахстана и почему о наших родителях и детях ты ничего не пишешь. Вас эвакуировали? Зачем, не пойму, немцев давно уже прогнали из наших мест. Пиши мне срочно ответ. Я жив и здоров. Чего и вам желаю. Гоним фашистских гадов к их логову. Получил медаль «За отвагу». Приеду – расскажу, как это было. Жду от тебя ответа.

Твой Мурадин.

– Что она ответит мужу? – глухо проговорил старик. – Похоже, несчастная лишилась рассудка...

Гокка бросила, письмо и порывисто вышла из барака. Тяжелый камень лежал на душе – ведь она, врач, тоже не уберегла этого малыша. Она вдруг со всей ясностью ощутила и свою ответственность, и вину за то, что ее народ так полюбился смерти.

Январь, морозный, буранный, казалось, не кончится никогда. В амбулатории тоже было холодно, даже вода в рукомойнике замерзала иной раз, – тепло выдувалось быстрее, чем нагревалось помещение. Но это еще полбеды. Беда – постоянная, катастрофическая нехватка лекарств, самых простых, самых обиходных. А их становилось нужно все больше – народ повалил к «большому доктору», даже из соседних сел. Гокка не раз обращалась в райздравотдел с просьбами помочь медикаментами, посылала Настю, но оставалось уповать лишь на чудо. А чудо не совершалось... Пыталась применять народные средства, но в здешних условиях это оказывалось нечеловечески сложным делом, а чаще просто невыполнимым.

Однажды в «Трудовик» приехала заведующая райздравотделом Амантаева, приехала специально, чтобы познакомиться с новым колхозным фельдшером. Поговорили коротко, но успели понравиться друг другу. Амантаева не стала ничего обещать, скрывать свои намерения и сомнения тоже не стала.

– Мне очень бы хотелось, чтобы вам разрешили работать в районе, – сказала заведующая доверительно. – Наш хирург любит закладывать. Никакими силами оторвать его от рюмки не удается. Сколько уже было случаев: больного к операции готовят, а он еле на ногах держится. Все понимаю, фронтовик, пережил много... Но нам-то что прикажете делать? В НКВД сообщит кто, что с ним тогда будет? «Энкавэдэшники» и так уже к нему присматриваются, кругами около него ходят, а он сам к ним в руки идет... Никаких наших уговоров не слушает... Горе с ним... О вас тоже с

НКВД говорить придется – надеюсь, догадываетесь. А туда я просто не решусь обратиться. Они ведь с меня голову снимут, если у вас что-нибудь, не дай Аллах, на работе случится.

Проводив заведующую, Гокка долго не могла избавиться от неприятного осадка: все упирается в НКВД, в то, что там кому-то взбредет на ум, а ведь сами-то «черношинельники» хуже трусливых собак, которые пугаются своего собственного хвоста, потому и нагоняют на всю округу страхов! Надо написать товарищу Сталину. Не может быть, что бы он, самый мудрый человек в мире, не разобрался во всем и не положил предел этому кошмару. Решила не откладывать. Писала тут же, за столом, за которым вела прием, в паузах между посетителями. После приема переписала начисто на листок из школьной тетради.

«Великому вождю мирового пролетариата
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Любимый вождь!

В светлый час и в трудные минуты каждый советский человек всегда обращает к Вам свои помыслы и чаяния. И я обращаюсь к Вам, верному ленинцу, в дни огромного несчастья, обрушившегося на мой народ, на карачаевцев. Насильно нас выселили из родных мест, разбросали по Средней Азии и Казахстану. Вывезли женщин, стариков, детей, инвалидов войны. Каждый день от голода и холода только у нас в поселке умирают десятки моих соплеменников. Нас называют бандитами, врагами народа. А ведь наши мужчины с оружием в руках защищали и защищают нашу горячо любимую Родину. Конечно, во время оккупации Карачая нашлись негодяи, сотрудничавшие с гитлеровцами. Но их наберется жалкая горстка – это я говорю Вам точно.

Я капитан медицинской службы. С первых дней войны хирург во фронтовом госпитале. После ранения приехала на побывку домой. И меня выселили вместе со всеми, не посмотрев на то, что на мне военная форма. Мой муж тоже на фронте. Но речь не о нас, а о нашем народе, влачащем жалкое существование.

Великий вождь!

Конечно же, Вы не знаете о нашей беде. Помогите, помогите нам! Мы умираем!

Мы бесконечно верим Вам и преданы Вам до последнего дыхания».

Волнуясь, Гокка перечитала письмо. Не очень, может, складно получилось, но суть изложена. Аккуратно вывезла свою фамилию и адрес. Задумалась на минуту, ясно представила как Сталин в свете настольной лампы с зеленым абажуром, низко наклонившись над столом, читает ее письмо.

Побежала к тете Марье. Та согласилась, как только Гокка вынула из-за пазухи письмо.

– Усе изделаю, Галя, как скажешь. Курочек завтрева на базар повязу. Да и сдам яво на пошту. А покудова в сундук схороню. Не переживай, доченька...

«Наверное, было бы лучше, если бы под письмом подписалось побольше спецпереселенцев, – раздумывала Гокка, лежа без сна. Да и как можно было заснуть, когда утром ее письмо начнет свой путь к нему! – Ничего... – стала себя успокаивать, – главное – он узнает, что произошло...»

Утром она вытащила из чемодана портрет Сталина, однако повесить на заиндевевшую стену побоялась – отсыреет! Глядела на портрет – и теплело на сердце. Хорошо, что он есть. Вот он, чуть улыбаясь, спокойно смотрит в рассветную даль. Он увидит и их в этой снежной степи. И поможет... Теперь надо только терпеливо ждать...

* 7 *

На самом исходе зимы среди спецпереселенцев – не только в «Трудовике», по всему району! – вспыхнул тиф. Без счета косил он людей. Круглые сутки приходилось Гокка быть на ногах. И Василий Андреевич, не жалея себя, помогал ей – кому другому довелось на своем врачебном веку столько же повоевать с этой страшной болезнью!.. Первое дело – срочно локализовать эпидемию. Для чего требовался изолятор. Стали искать для него помещение. Долго не удавалось найти мало-мальски пригодное. И тогда председатель колхоза вспомнил о заброшенной пекарне – все равно давным-давно уже не работает она, муки-то ведь нет... Совершенно неожиданный выход из положения. Высокий, длинный барак. Наскоро соорудили в нем двухъярусные нары. И вскоре изолятор заполнился до отказа... Теперь нужно скоренько нашить матрацев и набить их сеном, чтобы люди не лежали на голых досках. Колхоз вызвался – всем миром накинемся! Еще – продезинфицировать бараки со всем их «имуществом». Еще где-то раздобыть лекарств, правда, их нет и в районе, райздрав ответил, что помочь бессилен, повсюду обстановка тяжелее некуда... Ослабленные, голодные, замерзающие люди умирали, умирали, умирали... Не успевали хоронить умерших. Да и хоронили-то – где уж тут соблюдать горские обычаи! – женщины, сами едва державшиеся на ногах...

Однажды, забежав домой на минуту проведать маму, заставить ее съесть ложку-другую чего-нибудь тепленького, – как повелось уже за все эти недели «тифозного фронта», сама-то крутилась она дни и ночи напролет между изолятором и амбулаторией, – Гокка, к радости своей огромной, застала Хабибат за когда-то привычным для нее занятием: топчется у печки, помешивая что-то в кастрюле... Втянула носом запах – курятина варится!

Ага, значит, недавно тетя Марья приходила. Редкий день не заглянет. И не было ни разу, чтобы с пустыми руками. Вот и кастрюлька эта... Да разве она одна... Столько понатащила всего – из города привезла как-то даже простыню и ночную рубашку для Гокка из тонкой довоенной бязи... Это было, когда еще Гокка не работала. Может, потому и отказывалась брать деньги? И теперь отказывается, когда Гокка насильно сует ей деньги, хотя чего уж теперь-то – ведь Гокка получает «фельдшерские», нет-нет, да и удается ей иной раз-то камышу прикупить, то пару-тройку свекол выторговать, а то и тыкву... Хватает нам денег, всякий раз уговаривает Гокка тетю Марью, а вам надо налоги платить, на займ подписываться…

Хабибат сняла кастрюльку с плиты, налила дочери супу. Медленно поднося ко рту дымящуюся ложку, Гокка с удовольствием жмурилась, улыбаясь матери.

– Халимат была у меня, – проговорила тихо Хабибат. – Сказала, Магомет, сын Баладжан, бывшей нашей соседки, с фронта вернулся. Пока нашел мать и братишку, где только не побывал. Тебе поговорить бы с ним. Может, он что-нибудь знает о наших. Сходи к нему.

– Хорошо, мама, схожу. Сейчас. Их барак уже продезинфицировали. Гокка отхлебнула несколько ложек супа – маме пусть достанется побольше! – поцеловала Хабибат и побежала по своим делам.

«Весенний какой-то вкус у воздуха, хоть и холодный пока еще март, – подставила Гокка лицо свежим упругим струям. Чуть не потеряла равновесие, прикрикнула на себя: – Смотри под ноги! Грязища какая!» Чтобы попасть в нужный ей барак, надо было перейти улицу. Но по обеим ее сторонам, от тополя к тополю, растянулась цепочка спецпереселенцев – они провожали взглядами размесивший копытами и колесами уличную грязь в тягучую жижу бесконечный обоз подвод, на которых сидели, полулежали на узлах какие-то люди, закутанные в серое, коричневое, черное. «Как мы тогда, – подумала с горечью Гокка. И вдруг крикнула по-русски:

– Люди? Кто вы?!

– Балкарцы... – ответил мужской голос. – Не знаем, куда нас теперь.

– А мы карачаевцы. Нас в прошлом году выселили. Человек пятьсот сюда привезли. Сейчас совсем мало осталось. В других местах наши тоже есть. Увидите кого, передайте, что мы здесь. Я – Боташева. Может, где встретите моих...

– И моих!.. И моих!..

По обеим сторонам улицы, перекрывая плач, вслед за подводами понеслись крики:

Я – Темирбулатова!

Я – Сарыева!

– Шидаков!

– …Карамурзина!

– ...Кулов!

Подводы уже скрылись, а люди все стояли, ошеломленные увиденным. Грязная жижа растекалась им под ноги. Казалось, и последняя надежда, что они еще вернутся в горы своего родного Карачая, что Сталин вызволит их отсюда, раздавлена под колесами прошедшего по улице обоза, превратилась в ничто под утопавшими в грязи копытами понуро тащивших подводы лошадей...

Чуть не расплакалась Гокка, когда увидела Магомета. Стройный, подтянутый в своей военной форме – почему-то без погон тоже, подумала машинально, – и очень старый, хотя они были сверстниками. Будто наперед зная, о чем его будет спрашивать гостья, Магомет стал рассказывать:

– Меня вызвали в штаб полка и объявили, что я демобилизован и что имею право жить только в той среднеазиатской республике, где отыщу своих близких. Представляешь, Гокка, меня оглушило, будто в десяти шагах снаряд разорвался. Почему в Средней Азии? Почему демобилизовали? Ведь моя батарея на лучшем счету в артполку, сам на фронте с первого дня войны, грудь в орденах... Очнулся, головой помотал, вроде пришел в себя, спрашиваю, в чем дело. Начштаба ответил, что сочувствует, но свыше поступил приказ, и он обязан его выполнять. А в Среднюю Азию ехать мне, мол, потому, что карачаевцев расселили по тамошним краям. Скитался от одной спецкомендатуры до другой. Пока не нашел вот...

«Такого человека сломали...» – содрогнулась Гокка. Помолчала, потупившись. Спросила с замиранием сердца:

– Когда скитался, много встречал наших? Магомет кивнул.

– Это какой-то кошмар. Везде побираются. Голод их косит... Последнее время им стали нарезать земельные участки. Если только сумеют, голодные ведь, обработать свои клочки, будут осенью с каким-никаким урожаем. Только до него еще дожить надо... Стали и корову на две семьи давать. Но многим не под силу ходить за ней.

– У нас тоже нарезают участки, тоже коров дают, но людей пожирает тиф. Колхоз старается помочь семенами, тяглом, а у нас последние силы иссякли.

– Где только не скитался, везде меня уверяли, что Сталин уже знает о нашей трагедии и вот-вот вернет карачаевцев домой. А сегодня, видишь, новая беда – выселены балкарцы. Я ничего не понимаю, Гокка. Ведь мы кровь проливали за Родину, за Сталина.

– Я написала ему письмо. Как ты думаешь, наверное, надо было всем под ним подписаться?

Магомет будто не услышал. Спросил совсем о другом:

– Ты успела закончить институт?

– Успела. И еще много успела, – горько усмехнулась Гокка в ответ. – На фронте «Красную Звезду», погоны капитана получила, ну а здесь повышение звания – бандитка! Замуж вышла перед самой войной. А с августа сорок второго ни жена, ни вдова – ничего о муже не знаю.

– Кто он?

– Писатель Аслан...

– Аслан?! Постой, постой! Я где-то слышал, будто бы в тех же краях, что и я, он разыскивал своих.

– О, Аллах мой! Правда ли это? Скажи, Магомет, что мне делать? Как получить разрешение на розыски?

– Надо подать заявление в здешнюю комендатуру. И ждать, пока оно пройдет по инстанциям.

– Прости, Магомет... Я еще зайду...

Опрометью бросилась Гокка в амбулаторию – в голове заявление было уже давно составлено! Одна минута – написать его. Еще минута – занести в комендатуру. На пороге приостановилась, перед окнами комендантской квартиры две карачаевки – новенькие в его прислуге, подметила Гокка, – развешивали свежевыстиранное белье «хозяина». «Здесь как будто и не было никогда советской власти», – со злостью подумала Гокка и толкнула дверь в кабинет Кузнецова.

Комендант что-то читал, навалившись грудью на заляпанный чернилами стол. – Даже головы не поднял, когда Гокка поздоровалась с ним. Пришлось ждать, хотя и торопилась в свою «тифозку». Хотелось посидеть, ноги ужасно гудели, но в комнате даже скамейки для посетителей не было. Наконец Кузнецов дочитал бумагу, отодвинул ее в сторону, спросил, не взглянув, кто перед ним:

– Что там у тебя? Ну?

Гокка положила перед Кузнецовым заявление. Он долго читал, шевеля губами. Прочитав, сказал:

– Твое заявление пойдет в район...

«Слава Аллаху, – обрадовалась Гокка, – хоть какие-то человеческие слова...»

– ...А сейчас, – Кузнецов протянул ей сероватый листок, – читай вот это. И расписывайся.

Она стала читать.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР
об уголовной ответственности
за побеги из мест обязательного поселения лиц,
высланных в отдельные районы Советского Союза
в период Отечественной войны

В целях укрепления режима поселения для высланных Верховным Советом СССР в период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других, а также в связи с тем, что во время их выселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдельные районы Советского Союза указанных выше лиц

проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Определить меру наказания за данное преступление 20 лет каторжных работ. Дела о побегах выселенцев рассматривать в Особом совещании при Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР.

Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного поселения, или способствовавших их побегу, а также лиц, виновных в выдаче разрешения беженцам на возвращение их в места прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности. Определить меру наказания за эти преступления лишение свободы сроком на 5 лет.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь А. Горкин

Рука у Гокка сама собой разжалась, и листок, несколько раз качнувшись в воздухе, плавно опустился на стол. Негнущимися пальцами Гокка взяла тонкую деревянную ручку, машинально обмакнула перо в чернила и расписалась против своей фамилии в ставшем заметно короче списке спецпереселенцев. Молча направилась к выходу.

– Передай всем, кого встретишь, пусть приходят расписываться. А не то я вам... – вдогонку полетела яростная отборная брань, но Гокка беззвучно притворила за собой дверь.

Шла по улице, никого и ничего не видя вокруг. «Теперь нам никогда уже не вернуться к родимым очагам, – перед глазами стояли строки указа. – На законном основании отняли у нас их. Навечно... А без них нет и родины, нет народа. Теперь мы никогда уже не будем карачаевцами... Да разве мы одни в такой беде? Вон сколько народов перечеркнул этот серый листок! Никто, никто не защитит нас. Даже Сталин...» – и последних капель надежды не осталось, ведь указ, совсем свежий, от нынешнего месяца, подписан самим Калининым!

* * *

Эпидемия не спадала. Гокка валилась с ног от усталости, и у старого фельдшера силы подходили к пределу. Но переломить ситуацию пока не удавалось – райздрав ничем не мог помочь, и здесь, под рукой, не было самого главного: лекарств и еды. Три-четыре картошины, кукурузных лепешек, а то и кринку молока иной раз приносили в тифозный барак смельчаки из местных жителей – холодными костлявыми пальцами люто перехватывала им горло паника. Кто приносил милосердуя, кто – словно чтоб откупиться от старой карги с косой, вечно перемазанной кровью. На всех крох этих, конечно же, хватить не могло, хорошо хоть детей удавалось подкармливать...

Наступили теплые дни, солнце согрело землю, и она уже начала пылить под ногами, под колесами повозок, под лопатами, кетменями, плугами – местные и спецпереселенцы, кто был в состоянии работать, вышли поклониться земле-кормилице. Старики и детишки – на свои огороды. А женщины и редкие мужики – пахать и засевать колхозные поля. Теперь крестьянским трудом занимались даже те из спецпереселенцев, кто никогда раньше по-настоящему не держал в руках лопату или подойник. Гокка и Халимат с сестренкой, а их председатель пристроил нянечками в колхозный детсад, взяли на две семьи коровенку. Надо было и свои огородики поднять.

Жизнь вроде устраивалась как-то. Но жили в постоянном тревожном ожидании чего-то. Тревога не давала пробиться радости в измученные души и тогда, когда спецпереселенцам стали приходить – было их, правда, немного – письма от тех, кого растеряли семьи во время выселения или кого насильно оторвали от них. Будто боялись люди поверить в чудо, которого уже и не чаяли. Не случилось бы оно никогда, если бы не такие же, тоже нуждавшиеся в чуде... Проходили через «Трудовик» скитальцы, разыскивавшие родных «списанных с фронта», – от аила к аилу, от поселка к поселку скапливались у них уймы фамилий, адресов, и выходило, что не только своих искали, но и помогали, где им доводилось бывать, сотням несчастных. Лишь о близких Гокка и Хабибат не было ничего известно.

Однажды в «Трудовике» появился странный парень – в грязи с головы до ног, беспокойно озирается по сторонам, головой дергает, то ли мычит, то ли смеется – понять трудно. Останавливал встречных, выдыхая одно-единственное слово: «Боташевы». Кто-то, догадавшись, кого он ищет, указал на дом, где жила Хабибат с дочерью.

Чем могла Хабибат накормила бедолагу, обливаясь слезами, слушала горестный его невнятный рассказ. Оказалось, он дальний их родственник, такой дальний, что не могли они сообразить, кто кому кем приходится. Но тоже Боташев. Зовут Азаматом. Жил в соседнем селе, услыхал про них, вот и приплелся. Одному несладко, все поумирали, побирался по окрестным колхозам, но его отовсюду гнали, забрасывали камнями – детишки, застенчиво проговорил Азамат, это они так играют, – а тут вдруг ноги держать не стали... По лицу Азамата струился липкий пот. Из последних сил крепится, посочувствовала Хабибат, чтобы не повалиться на пол. Она постелила Азамату на полу на сене. Ночью то и дело вставала к нему – он стонал и метался в зыбком забытье. А утром ушел, Хабибат и не заметила когда. Ничего не стала говорить Гокка о странном госте, да и забыла о нем как-то сразу. Но через два дня вспомнила, пришлось вспомнить... Прибежав с работы, Гокка возбужденно сообщила матери, что за околицей нашли труп молодого человека, на вид карачаевца, судя по всему нездешне-

го, умершего от тифа. Тогда и вспомнила Хабибат и рассказала, что это Азамат, дальний их родич, ночевал у них, когда Гокка дежурила в тифозном бараке.

– Почему ты не отправила его ко мне?! – воскликнула Гокка. «Большое чудо произойдет, если все обойдется...» – подумала обеспокоено.

– Жаль стало, бездомный ведь... – ответила Хабибат. И добавила тихо: – Аллах милостив, доченька...

А через пару дней все-таки свалил ее тиф. Гокка перевезла мать в «тифозку», к себе в каморку. Свою комнату и сени тщательно продезинфицировала, чтобы Фрида успокоилась – та страшно боялась за мать и ребятишек, готова была согнать постояльцев с квартиры.

Всякую свободную минуту Гокка проводила возле матери. Силы покинули ее, она лежала больше с закрытыми глазами, бредила, облизывая пересохшие губы, все звала, чтобы черный скакун прилетел за ней оттуда... В этот день очень плохо было маме, но не могла предположить Гокка, что вернется после утреннего обхода и... не застанет ее в живых. Подбежала, наклонилась над ней – дыхания нет, зрачки подернуты мутной пленкой... Опустилась на краешек нар, обхватила голову руками. Нечем дышать, будто факел поднесли к животу... А-а, это пуповину отрезали, теперь уж совсем. Теперь Гокка одна остается... на всем белом свете... В каморку вошел Василий Андреевич. По-отечески обнял Гокка за плечи. Она порывисто встала, рванулась было из каморки, но, обессилено уткнувшись в грудь фельдшеру, зарыдала, не сдерживая слез... Четырнадцатое апреля сорок четвертого – до конца дней суждено помнить ей и этот день...

Наконец тиф пошел на убыль, медленно, отчаянно сопротивляясь, затаив мстительную злобу на вырвавшихся из его цепких пальцев, – меньше половины спецпереселенцев уцелело после эпидемии... Но у него остался верный союзник – голод. Он еще покажет себя, особенно осенью, ведь многие семьи спецпереселенцев, не находя пропитания, съели свой семенной запас – по пять кило кукурузы на посадку отпустил каждой семье колхоз – и теперь им нечем было засаживать свои клочки.

Неожиданно от райотдела НКВД вышло спецпереселенцам послабление – по воскресеньям им разрешалось ходить на базар в Токмак, надо только получить бумагу от коменданта. Люди оживились: что-то можно теперь будет обменять, что-то продать, что-то купить, а главное – появилась такая возможность повидать своих из других мест, ведь там уже Киргизия, разузнать, кто кого видел, кто что слышал, может, найдется кто из родни или знакомых... Потянулись из «Трудовика» в Токмак спецпереселенцы. Иногда удавалось кое-что узнать, но чаще возвращались ни с чем. Иногда хапар доходил до нужного адреса слишком поздно – некому было радоваться счастливому известию.

Когда Гокка была на базаре первый раз, она узнала, что сестру ее Кемисхан забрали в Микоян-Шахаре прямо из гостиницы, но куда отправили городских, никто не знал. Во второй раз ее окликнула незнакомая женщина:

– Ты Гокка, жена Аслана?

– Да. А ты кто?

– Я из Чаула. Я тебя знаю, видела на вашей с Асланом свадьбе. Хоть и сильно изменилась с того дня, сразу тебя узнала – ни у кого в Чауле нет таких лучистых глаз, черных вразлет бровей... Тогда у тебя две толстые косы лежали на белом платье. А еще...

– Хватит, хватит об этом... – перебила ее Гокка. – Скажи лучше, где живешь, есть у вас наши?

– Живу в русской станице Ивановка. Немного там наших.

– Постой, постой, соседка... Ивановка, говоришь? Та, что от нас, от «Трудовика», на другой стороне Чу, только мост перейти?

– Она самая, соседка.

– Послушай, – Гокка боялась сразу задать мучивший ее вопрос, спросила о другом: – Почему я не знала тебя в Чауле?

– Мы жили далеко от центра, в Темирбулатском квартале. Но я знала твою семью и семью Аслана, потому что мы были подругами с его племянницей Мариям. Он так любил ее. Наши семьи вместе попали в Ивановку. Только Мариям...

– Что Мариям? Она жива? Говори скорей! Что с ней?

– Она умерла страшной смертью, – потупилась женщина. – Ей нечем было кормить детей. Она не могла видеть этого и тронулась рассудком. Зимой это было. Она сначала затыкала уши, чтобы не слышать их плача и просьб, потом отбивалась от них, они теребили ручонками ее подол, потом стала прятаться, а потом, в самую стужу, в степь убежала. Дети, четверо их у нее, бросились следом. Однако далеко уйти не смогли, сил не было. На них наткнулись сразу, следы не запорошило еще, а ее искали, искали – все напрасно, должно, околела в степи... Детей, понятное дело, в какой-то детдом определили, куда – никому не сказали. А месяца через два муж ее Азрет с фронта вернулся. Списали его, как и других наших... Отправился на поиски детей, и о нем ничего пока не слышно... А об Аслане я ничего не знаю... Пойду, соседка, может, сумею что-нибудь обменять...

Женщина затерялась в толпе. А Гокка пожалела, что не спросила, как зовут ее, адреса не взяла на всякий случай... Все вспоминала страшный ее рассказ. Не могла представить себе в жизнерадостной красавице Мариям убегающую в снежную степь полоумную мать четверых детей...

Вскоре спецпереселенцы так привыкли ходить, что стали иной раз и обходить комендатуру. Целыми днями по «подсказкам» своих при-

служников Кузнецов мотался на лошади по округе, охотясь за преступавшими указ. И свирепел от тщетности своих рейдов... Но однажды он отвел душу...

Как-то довольно поздним вечером Гокка возвращалась с работы домой. (Слово это после смерти матери пугало ее.) Дома ждала ее тоска, одиночество. Хоть и начала как-то устраивать свой быт – смогла купить кое-что из вещей: матрац, ватную подушку, байковое одеяло, две ситцевые сорочки, простыню и даже примус, из одежды, правда, ничего не покупала, так и ходила во всем «военном», уже порядком поношенном… – покупки не радовали, когда Гокка внезапно останавливалась по среди комнаты и в который уж раз понимала, что осталась одна, кровь холодела у нее в жилах... Но больше идти ей было некуда. В тот вечер недалеко от амбулаторного барака Гокка увидела толпу спецпереселенцев. Толпа возмущенно гудела. Гокка протиснулась в середину и, натолкнувшись на пожилую плачущую женщину с исхлестанным плеткой лицом, воскликнула, пораженная:

– Тетя Апа! Что случилось?!

Со всех сторон, перебивая друг друга, люди стали рассказывать. Оказалось, тетушка Апа, раздобыв немного кукурузы, собралась в Ивановку, на тамошнюю мельницу, а за разрешением к коменданту не попала – думала, брать не обязательно. Кузнецов, как всегда верхом, настиг ее на мосту и вдосталь дал погулять своей плетке по голове, плечам, рукам непослушной старухи.

Гокка отвела несчастную в амбулаторию, принялась обрабатывать кровавые ссадины и шрамы. Возмущенные возгласы на улице перерастали в сплошной трубный гуд. Гокка выглянула в окно. Среди толпы, широко расставив ноги, с плеткой в руке, стоял комендант, по-звериному зыркая на обступивших его спецпереселенцев и местных.

– Чего муравьями гужуетесь? Рядите-судите? Ну-ну... Предупреждаю! Если кому еще в самолов приспичит, вспоминать тому как милость божью плеточку эту две десятки на каторге! – И щелкнул плетью, багровый от злобы, с раздувающимися ноздрями. – А ну разойдись, бандитская сволочь!

Не сдержавшись, Гокка выбежала на улицу, решительно подступила к Кузнецову, вышибла из его руки плетку.

– Бить не имеешь права! Тем более солдатку!

– Не имеешь!.. Не имеешь!.. – поддержали Гокка окрепшие голоса. Кузнецов опешил. Наступил сапогом на рукоять плети. Рука потянулась к кобуре.

– О правах заговорили, азиаты проклятые! На меня... на советскую власть замахиваетесь? Она дала мне права, не вам отнимать!

Это ты их тут баламутишь, харя бандитская?! – Кузнецов поморщился, будто ему без наркоза выдрали зуб: всякий раз эта «докторша» возжигает в нем неукротимую ярость! – Права, говоришь, не имею? А ты все права мои знаешь? Вот выпущу из этой твари дух, прямо здесь, и из тебя заодно, если сама не угомонишься! Предметно покажу, как на указы плевать! Все-о–о! – гаркнул вдруг, выпучив глаза. – Ра-зойди-и-сь! – И положил руку на оттягивавшую ремень кобуру.

Нагнув головы, люди послушно стали расходиться. Одна Гокка, прямая как гвоздь, осталась не шелохнувшись стоять напротив коменданта, с вызовом уперев в него свой колючий взгляд.

– Хватит тебе мозолить ему глаза! – Халимат потащила Гокка в амбулаторию. Усадила на стул. Дала воды. – Остынь...

– Жаль, что у меня нет пистолета! – все еще кипела Гокка. Подтолкнула Халимат к столу. – Садись! Пиши! Я не могу. Руки дрожат.

– Что ты надумала?

– Надо срочно отправить письмо в райотдел НКВД, сообщить об этом вопиющем случае издевательства коменданта над спецпереселенцами. К суровому обращению нам не привыкать. Но избивать-то людей, думаю, не положено!

– Как же мы это сделаем? Почтарка докладывает ему содержание наших писем.

– С тетей Марьей передадим. Эта почта не подведет.

Через час письмо было готово. Но сразу к Трифонихе не пошли – на улице слишком много народу, тут же и кузнецовская «прислуга» толчется. Чтобы немного остыть от стычки с Кузнецовым, девушки решили пройтись по селу. Очутились в недавно появившемся «земляночном» квартале. Многие спецпереселенческие семьи отрыли себе землянки, устраивались в них на долгие времена, как видно. Другие только приступали к земляным работам.

– А ведь есть такие, которые все еще верят, что произошла ошибка, – тихо проговорила Халимат, – и не роют землянок, ждут, что их вот-вот возвратят в родные места.

– Смотри, Абидат тоже с лопатой! – воскликнула Гокка. – Она мне как-то говорила, хочу, мол, иметь свой угол, хочу, чтоб у детей хоть такой дом был. А когда разрешат в родные горы ехать, землянку не жалко будет бросить.

Походили еще немного между землянками, поговорили со стариками, с детьми и повернули назад. Навстречу им шли возвращавшиеся с полевых работ спецпереселенки – с землистыми лицами, изможденные, бестелесные какие-то, словно тени. В руках у каждой узелок. Несут домой свой «колхозный обед» – жалкие крохи, одному-то лишь раздразнить аппетит, а у них почти у всех немощные старики, детишки... Хорошо еще, самых ма-

леньких, особенно тех, кто переболел тифом, колхоз взял под свою опеку – в садик их устроили, хоть как-то силенки можно будет теперь поддерживать... Всякий раз, когда Гокка видит этих женщин, ей делается стыдно – ведь она живет неплохо, если сравнивать с ними...

Попрощавшись с Халимат, Гокка завернула к тете Марье. Рассказала о случившемся, письмо показала.

– Об чем разговор, Галя. Завтрева и смотаюсь, – с готовностью закивала та. – С колхозу подводу погонют. И я с ими пристроюсь. Живой ногой обернусь, чай дорогу на пошту не заспала ишшо...

Гокка улыбнулась, отрицательно помотала головой.

– Не на пошту, гришь? А куда шь яво? – Трифониха к самому носу поднесла конверт, стала по складам читать адрес. – Ой, Галя, доченька! – чуть не выронила письмо. – Ох, и напужалась я, спаси-помилуй, Господи Исусе... Завсегда в пятки душеньку провожаю, коль помянет хто аль сама чево бухну про треклятыю энту каведе... прости, Господи, на черном слове! – Трифониха перекрестилась. Опасливо покосилась на окно. – Блазнитси, почитай чуть не кажнай день, восемь годов уже, стоит у хати Кузнецов, а стены да чугунки все яму докладают... Тока молитвай и спасаюсь... – И она зашептала вполголоса, крестясь на пустой угол: – Да воскреснет Бог, и раэндутся врази Его, и да бежат от Лица Его...

Вслушивалась Гокка в эти негромкие слова. И они будто завораживали ее с каждым звуком все сильнее и сильнее.

–...Ненавидящий Его, яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением...

Не все понимала Гокка из того, что говорила тетя Марья, но вдруг почувствовала: невидимый щит крепко сжимает ее рука...

Трифониха ловко приняла из печной утробы в расшитое красными петухами и черными цветами белоснежное полотенце каравай с румяной корочкой, положила его на подоконник – пущай отдышится чуток, – а тем временем выставила на стол кринку молока, две кружки. Гокка поднялась было уйти – хлебный дух дурманил так, что не было сил перебарывать искушение, – но тетя Марья уже водворила каравай на стол, нарезала горкой золотистые ломти.

– Наливай молоко, Галя, и садися. Как не отведать свеженькава. Ешь и ни об чем не сумлевайси, коль тетка Марья обещалась... – сказала твердо. – Моченьки нетути глядеть на вашу горюшку. Да и мы натерпелись от энтава, не мне рассказавать, не табе слухать! И как тока нелюдя такова земля носит да власти привечают. – Сплюнула в сердцах. Засобиралась куда-то. – Поешь, пока теплай, хлебушко-то. Посиди, отдохни минуту. А я щас, обер-

нуси мигом, тока соседу сваму Салюму подсоблю. Яму, об одной-та ноге, с коровенушкой не шибко управляться способно.

«Когда в таких руках хлеб, – подумалось вдруг Гокка, – смерти ни за что не одолеть жизнь. Точно – враги ее разыдутся, как говорит тетя Марья...»

О чем бы ни говорили последние дни в «Трудовике», все разговоры все-непременно сворачивали на Кузнецова и тетушку Апу. Ее жалели. И чем больше жалели ее, тем яростнее кляли коменданта. И вдруг, словно горный обвал прокатилась по селу новость: Апа взяла в долг барана, зарезала его и угощает коменданта по горскому обычаю. Вся семья в сборе – сама Апа, два ее сына – подростка и замужняя дочь. Благодарят «доброго человека», что великодушно простил выжившую из ума старуху, пожурив ее немного – а ведь мог и на каторгу на двадцать лет отправить!

На следующий день Гокка завернула к тетушке Апе. Осмотрела ее. Кровоподтеки и ссадины подживали плохо.

– Почему же так по-рабски вы поступили? – с возмущением и горечью спросила Гокка.

– А что нам было делать, уважаемая? – сложила на груди руки Апа.

– В ту же ночь пришел к нам. Долго сидел. Пугал по-всякому. Конечно, понимали мы, боится он, вдруг напишем на него жалобу. Потому и пугал... А с другой стороны, чего он будет бояться? Ему человека отправить на каторгу, что плюнуть раз. Вот и подумаешь тут, как поступить, уважаемая.

– Об этом случае уже сообщили в район.

– Как сообщили? – всплеснула руками Апа. – Кто? Теперь он будет думать, что это сделала моя семья! О, Аллах! Нет несчастнее меня! – запричитала на весь барак. – Теперь-то он запрячет меня на каторгу!

– Успокойтесь, тетушка Апа. – Гокка была уже не рада, что завела этот разговор, только разволновала старую женщину. – Комендант вас не тронет. Если уж на кого и обрушит свой гнев, так только на меня с Халимат. Это мы написали в райотдел. Послезавтра зайдите ко мне, тетушка, в амбулаторию.

– И ты не боишься, доченька?

Гокка улыбнулась одними уголками рта – она вдруг ясно увидела, Кузнецов надвигается во весь опор, подгоняя плеткой лошадь, вздыбливает ее прямо над ней и обрушивает на нее, но Гокка поднимает над головой руку, и черная громада разбивается в мельчайшую пыль, ударившись о тот – невидимый – чудо-щит.

А месяца через два «Трудовик» облетела радостная весть: Кузнецова сняли с работы, и он уезжает. Возликовали, воспрянули духом и спецпереселенцы – будто «вольную» им дали, и местные – в основном тоже спецпереселенцы, теперь, правда, как бы уже бывшие, они всяк в свое время под Кузнецова попали, стало быть, и им освобождение вышло. Гокка с Хали-

мат радовались, наверное, больше всех, уверенные, что с Кузнецовым так решилось потому, что «выстрелило» их письмо, хотя никакого ответа на него не получили. И по Кузнецову нельзя было ничего понять, вроде зло ни на ком не срывал, а что свирепел без повода семь раз на дню, так для этого ему и повода не требовалось.

В день отъезда Кузнецова жители «Трудовика» с утра потянулись «административному» бараку. Перед окнами комендантской квартиры стояло подвод десять – Волынкину было дано указание снять их с колхозной работы. Не глядя, по своему обыкновению, на весь этот поганый сброд, Кузнецов руководил погрузкой. Раздобревшая, как муха на жирном навозе, присадистая его супружница суетилась возле, размахивая пухлыми ручонками, говоря бестолковой «прислуге» куда что грузить. Услуженцы сновали из дома к подводам, от них в дом, вынося бесчисленные коробки, мешки, баулы, узлы, сундуки, кошелки.

– Эвон, сколь нагреб к себе комендант, – почесывали в затылках мужики. Покачивали головами женщины:

– Сколь добра завелось у него за двенадцать лет поборов с их горьких головушек и «с колхозу».

Когда погрузку закончили, Кузнецов обошел подводы, проверил, все ли погружено, крепко ли затянуты веревки, хорошо ли укрыто имущество. И только после этого дал команду трогать. Но лошади топтались на месте, не решаясь мять людей, обступивших площадку плотным кольцом. Привстав на узлах, Кузнецов, багровый от злобы, судорожно нашаривая на поясе кобуру, заорал:

– Разойдись, контра недострелянная!

Люди подались в стороны, расступились. Обоз тронулся. Подводы вытянулись цепочкой в сторону райцентра. За последней подводой пел кузнецовский отпрыск, на отцовский манер багровея и раздувая ноздри, от чего тупое лицо его становилось бесформенным куском мяса, гнал коров, нетелей, баранов.

В толпе загудели:

– Гляди ты, цельное стадо погнали!

– В колхозе таких нету!

– Да-а-а. Эти почишша будуть.

– Не-е, мужуки, не сняли его с работы, – предположил кто-то. – Так не сымают. Со всем барахлом-то.

Ему поддакнули:

– Теперя с других будить кровя пить. Такие Кузнецовы што лошади подковы, так што сымать не резон.

– Да што говорить-то! – взвизгнул обрадованный голосишко. – Весь вышел комендант! Были бы образа, ей Богу, перекрестился бы.

Через несколько дней в «Трудовик» прибыл новый комендант. Люди попридержали разгулявшуюся было радость, надо было присмотреться к новому хозяину. А тот даже не пошел в комендатуру, все маячил на дворе, о чем-то беседуя с председателем. Под сорок, рыженький, с голубыми глазами, худощавый. Какого-то «некомендантского» вида. И фамилия у него не из «грозных» – Яценко. Приехал один, семью привезет позже, когда обстановку изучит... Не успел человек приехать, а уж о нем «самое-самое» по всему поселку разошлось... Вызывать спецпереселенцев в комендатуру специально для знакомства Яценко не стал. Сам ходил по поселку, по баракам, землянкам и везде говорил с людьми.

Наведался и в амбулаторию, Гокка вела как раз прием. Поздоровался с ней за руку – неслыханное дело! Гокка была ошеломлена. Попросил уделить ему несколько минут. Сел на табурет у печки, удивленно оглядываясь по сторонам. Гокка отрекомендовалась, как того требовал военный устав. Услышав, что она хирург, да к тому же капитан медицинской службы – два года на фронте в госпитале, а работает фельдшером, порывисто вскочил и стал прохаживаться по комнате, бормоча под нос нечто невразумительное.

«Что-то есть в этом Яценко, – прониклась к нему симпатией Гокка и думала, глядя на его малиновые погоны: – Не вяжутся они с ним».

Яценко не спрашивал, казалось, а будто уточнял уже давно известное:

– Близких своих потеряли?

Гокка молча кивнула.

– Лекарств, конечно же, не хватает?

– Не то слово. Их просто нет!

Теперь кивнул Яценко, промычал «гм-м, да-а...» и снова протянул ей руку.

– До свидания, доктор.

«Аллах милостивый, – все еще не верилось Гокка, что не сон это. Вспомнила рыжие вихры коменданта и улыбнулась. – Лучик света в темном царстве. – И вдруг ее озарила надежда. – А что если он поможет разыскать Аслана?»

Потом Яценко долго сидел в конторе у председателя, а вечером уехал.

Волынкин распорядился отремонтировать для нового коменданта бывшую квартиру Кузнецова, вернее, половину – Яценко сказал, что больше ему и не надо, поместится и так. Действительно, когда он привез жену и семилетнюю дочку, под все их вещи с ними самими хватило одной подводы. Комендант сам таскал вещи, а «прислугу» своего предшественника, толпившуюся у крыльца, попросил разойтись, сказав, что их ждут дома.

В «Трудовике» очень быстро привыкли к Яценко и стали относиться к нему, несмотря на устрашающую его должность, уважительно, как к человеку, ведь и он увидел в них людей, с их бедами, нуждами, увидел и понял их трагедию... И хоть порядок для спецпереселенцев оставался прежним,

довольно скоро исчез у них страх перед тем, с какой ноги встал комендант, чье лицо не понравилось ему на улице, страх, что надо идти в комендатуру – за разрешением или расписываться, прекратились «самоволы», а «кутузка», печальная память о Кузнецове, пустовала теперь под большим навесным замком.

Гокка подружилась с женой коменданта, бывала у них часто, в свободные вечерние часы они подолгу просиживали за чаем и говорили, говорили... Оказалось, до того как надеть «энкавэдэшную» форму, Яценко был сельским учителем. «Такая резкая перемена», – задумывалась не раз потом Гокка. Но допытываться, почему, и в голову не пришло – хотелось верить, что на эту службу подвигнуло его желание сделать так, чтобы меньше, пусть на малую долю, но меньше стало в этом мире жестокости.

В душах спецпереселенцев теплилась надежда, что скоро они вернутся в родные горы, но что-то непостижимое, неосязаемое заставляло их думать и о самом насущном, сиюминутном – как выжить на этой земле. Одни зарывались в землянки, другие ставили из самана хатки и покрывали их камышом, третьи обустраивались в бараках. Даже колхозная работа была не в тягость – ждали, что осенью получат что-нибудь на трудодни, Волынкин обещал твердо. Женщины помоложе и дети поливали поля, пололи свеклу и кукурузу, возились с табаком, с которым прежде иметь дело не приходилось, мужчины, кто был в состоянии трудиться, вернулись к профессиям, какие у них были в довоенной жизни, кто работал на поле, кто за животными присматривал, кто следил за исправностью нехитрых механизмов на машинном дворе, Волынкии не мог нарадоваться на них, а пожилые женщины вспомнили горское шерстяное рукоделие... Вроде налаживалась жизнь... Но не переставали кровоточить в сердцах раны...

После разговора с Магометом Гокка жила между надеждой и страхом. Ждала, когда в один прекрасный день Аслан переступит печальный ее порог. И боялась, что не суждено им увидеться – не найдет ее Аслан или, не дай Аллах, вдруг умрет от тифа или от голода... Однажды рассказала о муже Яценкам. Комендант, неотрывно глядя на Гокка, внимательно слушал, а когда она умолкла и успокоилась немного, неожиданно предложил:

– Сделаем так. Я вам от себя дам разрешение на розыск мужа и близких, и вы поедете.

– Я не ослышалась, Петр Николаевич?

– Нет... – Яценко улыбнулся. – Будем считать, что все решили.

– Да, но... для вас это может обернуться… – попыталась было возразить Гокка.

Но комендант остановил ее.

– Знаете, мне рассказали одну историю... – набив самокрутку обрезками табачных листьев, он покрутил ее в пальцах, не решаясь курить при гостье. – В тифозный барак, к спецпереселенцам, попала русская женщина. И вот, вместо того чтобы отправить ее в район, фельдшер Боташева, фамилия знакомая? – хитро сузил глаза, они заулыбались еще больше, – принялась с неимоверными усилиями выхаживать эту русскую. А если бы та приказала долго жить, что сделал бы Кузнецов с Боташевой, как вы полагаете? – некоторое время выжидательно смотрел на Гокка, затем продолжил: – Обвинил бы, что она специально погубила русского человека. Тогда тюрьма, или уж не знаю, чем еще могло бы это обернуться...

– Тогда я думала только о том, чтобы спасти больного! Это мой долг!

– А почему я не могу исполнить свой? – Яценко поднялся из-за стола, отошел к окну и закурил.

– Петя, правда, подумай хорошенько... – подала голос жена и прижала к себе дочурку.

– Самое большое, что они со мной сделают, снимут с работы. Да я и сам чувствую, что долго не выдержу. Ничего, Раисонька, – улыбнулся жене, докуривая самокрутку, – поедем к матери в деревню, авось, первоклашек мне дадут. Вот и буду нашу Катюню учить, – прошел к ним, поправил развязавшийся бант на голове дочери. Сел за стол. И снова пристально поглядел на Гокка. – На наши запросы о розыске отвечают весьма редко. Лучше вам искать самой. Так что готовьтесь в дорогу... Деньги у вас есть?

– Скоро получу зарплату. Двести тридцать рублей.

– Не густо. Сколько вам колесить по Средней Азии... по Казахстану... Но все равно... Не откладывайте, собирайтесь...

Яценко ушел к себе в кабинет. И уже через пяток минут перед Гокка лежало разрешение за подписью коменданта и с печатью! На целый месяц!

Время для нее поползло улиткой – когда-то еще выдадут зарплату! Немного успокоилась, занявшись прикидкой маршрута. Собрала все записочки с адресами, попросила у Яценко подробную карту и подолгу смотрела на бесконечные ниточки дорог, рек и речек, на россыпи кружков и квадратиков с незнакомыми и с уже ставшими привычными для глаза названиями, среди которых затерялась едва приметная точка с надписью «Кышмыш». Вскоре она смогла бы хоть с закрытыми глазами пройти все намеченные километры. Сколько нужно преодолеть их, прежде чем она встретит Аслана, Кемисхан? Сколько понадобится, отвечала себе всякий раз... Казалось, учла все мелочи, а о главном забыла – амбулатория остается без фельдшера, это недопустимо, нужна замена, чтобы кто-то работал вместо нее, наверное, надо получить согласие райздравотдела. Решила, посоветоваться с Василием Андреевичем. Он рассудил спокойно:

– Заявление в райздрав посылать, полагаю, не стоит. Чтобы дать вам разрешение, им нужно самим испросить его у НКВД, а туда обращаться они не станут, побоятся. Езжайте так. Дней пятнадцать-двадцать поработаю за вас. Думаю, никто из районного начальства за это время не свалится нам на голову. Были недавно. Теперь через год пожалуют, не раньше.

«Даже если за руки будут держать, вырвусь, все равно поеду, – негодовала Гокка от беззащитности перед произволом тех, кому чужое горе и чужие надежды безразличны. – Комендант разрешил, пусть только арестуют. А с работы снимут, мы с Асланом проживем и на голом камне...» – успокоилась немного. Не сомневалась уже, что найдет Аслана, ведь он совсем рядом. Ей даже стало казаться в последнее время, что он просто вышел из дома, что вместе с другими под нещадным, иссушающим землю июньским солнцем тяжелым кетменем пробивает воде путь к дружно зазеленевшим всходам. Аслан всегда с горячностью хватался за самую тяжелую работу: копал огороды немощным старикам, колол на зиму дрова. И всегда Гокка помогала ему. Она должна помочь ему и сейчас, найти его, ведь ему трудно без нее... Он сам говорил так, когда им приходилось расставаться на время... По окончании фельдшерского училища, куда они поехали вместе учиться после школы, Аслана, конечно же, по его настоянию, направили работать в отдаленный аул, а Гокка поступила в Ростовский мединститут. Аслан приезжал к ней, когда мог вырваться, но все реже и реже, помимо основной работы с головой втягивался в газетную круговерть, откуда же свободная минута у одержимого, а он и не умел быть другим, газетчика? Теперь их соединяли письма. Однажды Гокка получила странное – написанное чужим почерком, без подписи! – послание из Микоян-Шахара. Никогда не вспоминала о нем, а тут оно почему-то всплыло в памяти... Некто сообщал (или сообщала), что Аслан смеется над ее любовью, показывает всем письма, в которых она, и так далее, и тому подобное, потому как у него есть другая девушка. Гокка решила не мешать их чувству. И перестала отвечать Аслану. Он тотчас примчался к ней в Ростов, бледный, взволнованный. Нет, не мог он предать ее, поняла Гокка по тому, каким чистым и пылким был его любящий взгляд. Прочитав «донос», Аслан расхохотался, а потом внезапно помрачнел: «Сеит!.. Сеит!.. Что с тобой сделала зависть... Сам не умеешь любить, и любовь других готов грязью выпачкать...» Разорвал в клочки листок, сказал тихо: «Я уж боялся, ты...» А как она испугалась, когда из газеты, где работал теперь Аслан, ей сообщили, что он упал с лошади и в тяжелом состоянии переправлен в больницу, как летела она тогда в Микоян-Шахар... Нет числа воспоминаниям. Торопят они друг друга. Переплетаются. Мешают сны и явь. «Я найду тебя, любимый, найду...» – как заклинание повторяла Гокка.

Долгожданный день наконец настал. Получив в сельсовете деньги, наскоро собрала вещмешок, попрощалась с Фридой, Христиной, тетей Марьей, Халимат, Василием Андреевичем. Добрый десяток советов дал ей на дорогу старый фельдшер, улыбнувшись с едва заметной грустинкой: «Я ведь, изволите видеть, с пустынями и степями здешними на короткой ноге...» Зашла напоследок и к Яценкам. В кабинете у коменданта еще раз пробежала по карте намеченный маршрут.

На околице, прослышав, что их доктор отправляется на поиски мужа и родичей, собрались чуть ли не все спецпереселенцы. Целая горка клочков бумаги с именами пропавших без вести – кого забрали из дома, из гостей, с работы, кто потерялся в дороге – оказалась в ладони у Гокка.

– Буду искать, обещаю вам, люди... – тихо сказала она.

– Помоги тебе Аллах... – раздалось ей вслед.

* 8 *

Гокка перешла по мосту на другой берег реки и ступила на чужую территорию. Киргизская земля ничем не отличалась от казахской на той стороне, но здесь уже другая республика, Гокка только что пересекла границу в этом месте, она проходит по реке, и за этой незримой чертой начинается для нее дорога в неведомое... Выбралась на шоссе Токмак – Фрунзе. Подняла руку в надежде, что кто-нибудь подберет – полуторки довольно часто сновали в обоих направлениях, тащились подводы. Остановилась повозка на двух странных колесах – сплошных деревянных кругах. В повозке сидели старик и мальчик лет десяти-двенадцати. Гокка поздоровалась – от волнения – по-карачаевски. Старик приложил руку к бороде. Куда направляются, спросила, не подвезут ли ее.

Старик закивал, понял, значит, но ответил по-киргизски:

– В Кантский район держим путь. Тебе подходит?

К удивлению своему, не очень и напрягаясь, Гокка тоже поняла почти все. «Вот как о нас позаботились власти, – подумала вдруг с грустью, – хоть и понимаем один другого, где непонятно, можно догадаться, а все-таки есть что-то, по чему сразу чувствуется: среди чужих мы здесь и для них чужие...»

– Мне все равно, – ответила Гокка, забираясь на какие-то мешки. Старик остановил взгляд на ее ордене. Показал на него пальцем.

– Ты военная?

– Была... – Гокка сняла вещмешок, положила рядом. «Незачем обманывать старого человека», – подумала машинально.

– Спецпереселенка теперь? – стрик сощурил и без того узкие глаза. – Как же тебе разрешили кататься?

– Разрешили... – тихо проговорила она. – Видит Аллах, разрешили... – и почувствовала вдруг, что неимоверной тяжестью давит на нее военная форма.

– Ладно... ладно... Мне что... – пробурчал возница. – Раз надо ехать, надо ехать... – и тронул поводья.

Вскоре, мерно покачиваясь вместе с повозкой, он задремал, не выпуская кнута из рук. Наверное, однообразие дороги убаюкало его – с однотонным поскрипыванием ступиц перемешивался гулкий перестук копыт, а может, разморило солнце, все еще палившее нещадно, хотя день перевалил уже на вторую половину.

Гокка почувствовала, что мальчик, все время поглядывавший на нее мельком и боязливо, будто страшился, что заметит старик, смотрит на нее во все глаза, а в них прочитала она мольбу и боль. Присмотрелась к нему. Бледное, с тонкими чертами личико. Осунувшееся и не по-детски печальное. Нос с горбинкой, орлиный. Черные густые брови... «Никакой он не киргиз! – вдруг заколотилось у Гокка сердце. – Хоть одет, как и старик, в тюбетейку и полосатый халат... А халат не его, явно с чужого плеча. Нет, не киргиз. Наш он! Карачаевец!!!»

– Ты наш? – спросила она шепотом. – Скажи что-нибудь по-карачаевски.

Мальчик заговорил торопливо:

– Меня зовут Салих Казиев. Я...

– Тебя зовут Сакен, – резко обернувшись, перебил его по-киргизски старик и с расстановкой продолжил; – запомни это, сын мой.

Мальчик съежился, в глазах показались слезы. Старик пояснил:

– Вся родня у него вымерла. Я и усыновил его. Ему неплохо у меня живется. Но печаль никуда не денешь. Я понимаю.

Еще одна трагедия. Еще одна зарубка на сердце Гокка... На окраине райцентра старик остановил повозку, вытер огромным платком голову под тюбетейкой, лицо, шею. Спросил у Гокка:

– Нам здесь налево поворачивать, в свой аил, а тебе дальше куда?

– Я ищу своих... спецпереселенцев. Есть они поблизости где-нибудь?

– Есть, дочка. Где их только нет. Везде в землянках живут. – Старик шумно вздохнул. – Да вон, гляди, они прямо тут и начинаются... – махнул рукой в сторону холмов земли, теснившихся на самой окраине поселка. – Дай тебе Аллах найти, кого ищешь...

Гокка спрыгнула с повозки. Протянула старику два рубля. Тот поднес бумажки к самому носу и стал их рассматривать. И вдруг мальчик соскочил на землю и вцепился ей в китель.

– Не оставляй меня! Я хочу пойти с тобой? Не оставляй! Я умею просить подаяние!

– Я попытаюсь найти кого-нибудь из твоих родственников, – Гокка старалась говорить уверенно, чтобы мальчик поверил. – Твоя фамилия Казиев. Видишь, я запомнила! – улыбнулась одними уголками губ и поспешно отвернулась, не нужно ему видеть ее смятение.

Старик, шумно вздыхая и кряхтя, слез с повозки, привязал вожжи к передку, неторопливо подошел к Гокка и мальчику. Притянул его к себе. Сказал тихим, ласковым голосом:

– Сакен, сынок... Поехали... Ты же теперь мой...

«Хорошо, не сказал еще: ты же теперь киргиз! – слезы душили Гокка. – Прочь, прочь от этого места! – подстегиваемая отчаянием, она бежала, боясь оглянуться и увидеть опустевший уже перекресток, боясь услышать за спиной топот мальчишеских ног. И успокаивала себя – Аллах справедлив, в добрые руки отдал мальчонку...» Остановилась перевести дух у крайних землянок. Огляделась. Пустынно, будто их обитатели запрятались в свои норы. У одной из дыр, служивших входом в землянку, заметила сидевших на земле старика и женщину. Подошла к ним, неслышно ступая, чтобы не мешать их занятию. Старик, в порыжевшем пыльном бешмете, на котором белоснежным клином лежала борода, сидел в молитвенной позе, прикрыв веки, и сжимал худыми длинными пальцами истертые, когда-то зеленого цвета четки. Губы старика шевелились. Женщина перебирала какие-то крупинки на разостланной перед ней тряпке. Гокка прислушалась, с жадностью вбирая в себя карачаевскую речь.

– О, Аллах... – шептал старик. – За какую провинность покарал ты своих детей? Ты дал им землю, и они честно трудились на ней... А если в чем и виноваты, своими жизнями отплатили за эту вину. Сделай так, за всех оставшихся в живых прошу, чтобы наши люди вернулись в родные горы... А там и упокой их косточки... – Старик воздел руки к небесам, провел ладонями по лицу, бороде, прижал к груди, у сердца.

Женщина подвернула с четырех углов тряпку, завязала узелком, поднялась на ноги и только тут увидела Гокка. Смущенно поздоровалась с ней. Окликнула старика.

– Отец, у нас гостья, а мы...

Старик отложил четки. Обратил на Гокка полный печали взор. Проговорил тихо:

– Принеси, дочка, саман для нашей гостьи.

В одну минуту появился саман перед Гокка, будто и не был таким неимоверно тяжелым.

– Садись, уважаемая. – Женщина взяла у Гокка вещмешок, аккуратно положила на землю. – Пока светло, быть лучше на улице. За ночь и так в землянке измаешься... – Села рядом. Устремила на Гокка такой же, как и у отца, печальный взгляд. – Ты откуда же будешь? Прости, что спрашиваю, и спрашиваю прежде, чем накормить... Не по обычаю это... Но как теперь придерживаться наших добрых обычаев, когда приходится перенимать чужие нравы?

Гокка стала рассказывать и вдруг заметила, что от соседних землянок, а потом и от более отдаленных, потянулись к ним люди. Вмиг обступили их плотным кольцом. Затаив дыхание, слушали рассказ молодой женщи-

ны в военной форме. А глаза выдавали нестерпимое желание спросить о своем. Когда Гокка умолкла, наперебой, не соблюдая старшинства, люди стали выкрикивать:

– Ты кого-нибудь из Узденовых встречала?

– А Урусовых?

– Чотчаевых?

– Лайпановых?

Сыпались и сыпались фамилии.

– В тех краях, откуда я, таких фамилий нет... – Тяжело было Гокка смотреть в глаза всем этим людям. И чтобы хоть немного ободрить опечалившихся соплеменников, она добавила: – Я запомню их. Может, посчастливится найти...

Кто-то с вызовом крикнул из-за спин стоявших в первом ряду:

– Нас скоро отправят домой? Товарищ Сталин узнал и приказал? Как бы тебе поторопиться не пришлось?

Люди загалдели, заспорили.

Гокка поднялась с самана. В воцарившейся тишине почувствовала, глухо стучит кровь в висках, страшно говорить эту правду, – ох, как тяжела она – но не говорить нельзя!

– Я тоже думала, что Сталин не знал о нашей беде. – Голос ее звучал ровно. – Но теперь думаю иначе... Ведь кроме нас еще выселены балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки... Только на одном Кавказе. А еще поволжские немцы, мордва, крымские татары... Не перечислить всех... Без ведома Сталина такое произойти не могло... Думаю, назад нас не отправят...

– А скоро и некого будет! – раздался возмущенный голос.

– У нас бригадир есть, – вклинилась какая-то женщина. – Киргиз. На свекле. За малейшую провинность его камча гуляет по нашим спинам и головам. Сегодня в кровь исхлестал подростка вон из той землянки. Пластом лежит мальчишка.

– За что?! – вскрикнула Гокка.

– За то, что горсть овса у лошади из торбы украл. Голодный был...

– Не знаем, доживем ли до урожая... – угрюмо сказал мужчина с лицом, заросшим щетиной до самых глаз. – Кто в состоянии работать на поле, как-то подкармливается. А кто не может... – махнул отрешенно рукой.

– А есть среди вас балкарцы? – спросил женский голос.

По говору Гокка поняла, что спрашивала балкарка. Ответила, отыскав ее глазами:

– Нет. На нескольких подводах провезли их через наше село. Куда – не знаю.

Гокка машинально отвечала еще на какие-то вопросы, а сама думала о том, как же спросить о муже – не принято у карачаевцев обнаруживать свои чувства при посторонних. Начала «с фланга»:

– Есть тут такие, кого списали с фронта?

– Есть... трое... – ответил безрукий мужчина. – Три дня назад Гебенов приехал. Повезло ему – родителей в живых застал. Больше никому так не посчастливилось. А те двое столько земли исходили, прежде чем своих нашли, да что осталось от их семей...

– А вы что-нибудь слышали о... писателе Аслане? Люди качали головами, нет, никто ничего не слышал.

Быстро темнело. На чернеющем пологе неба проступали, раскаляясь все сильнее, звезды. Очнулся от дневного тяжелого сна ветерок, потек с полей свежий запах набирающей стебель пшеницы. От землянок потянуло сыростью. Люди незаметно разошлись. Хозяйка постелила перед стариком и Гокка на землю какую-то тряпку, села на корточки, разломила на три части лепешку.

– Поешь, ты ведь с дороги. А завтра опять пойдешь... Как же тебя отпустили? У нас дальше пяти километров не разрешают уходить. Нам с отцом, правда, и искать-то некого. Девять нас в семье было. Когда еще на Кавказе жили, на мужа «похоронка» пришла и маму похоронили, а здесь пятерых тиф и голод забрали. – И вдруг словно засветилась изнутри. – Так значит, наш любимый писатель твой муж?! Пошли Аллах ему долгие дни! Как я зачитывалась им! А теперь не знаю, придется ли когда взять в руки книгу... – Хозяйка свернула тряпку и горько усмехнулась: – Такой тепси и убирать не надо... Вставать рано завтра, тебе – в дорогу, мне – на поле, пойдем спать...

Откинула вверх тряпку, прикрывавшую вход – может, не так будет душно. И Гокка увидела в зияющей черноте два топчана. Больше в землянке ничего не было. Старик лег на застланный травой. Женщины – на другой, под тощим тюфяком. Хозяйку тотчас сморила усталость – намоталась за день в колхозе. Старик немного пошептал что-то и затих. А к Гокка сон не шел, она беспрестанно ворочалась, обливаясь липким потом в душном, без малейшего дуновения, воздухе. В землянку заглянула звезда. Холодная. Равнодушная. Не стала задерживаться – что ей до трагедии людей...

Чуть забрезжило утро, Гокка потихоньку поднялась, взяла вещмешок и вышла из землянки. Долго стояла, повернувшись к востоку, после мертвенной сырой духоты не могла надышаться живыми запахами утренних росяных трав, зреющей пшеницы. Печально оглядела холмики земли под покровом застывшей тишины. «Нет роковых страстей, которых не остудит земля...» – вдруг представила себе, что перед ней потусторонние жилища людей и сама она только что выбралась из могилы...

Тропинка через пшеничное поле вывела Гокка на шоссе. В Кант идти бесполезно. Во Фрунзе тоже делать нечего. Теперь надо в Джамбул. По рассказам «списанных», там, на окраинах, много спецпоселений. «Три вагона от нашего эшелона в Джамбуле ведь отцепили...» – и сама вспомнила.

Солнце уже выкатывалось из-за горизонта, когда наконец распахнулась дверца кабины старенькой скособоченной полуторки – сколько грузовиков, сколько подвод прошло за это время, одним не по дороге, другие даже не остановились, – и Гокка услышала добродушно-озорное:

– Мне тока веселей. Садись. Подброшу.

До Джамбула добрались под вечер. Попросила остановить на окраине. Ей сюда... Немного растерялась – землянок нет, одни саманные домики, стены которых вымазаны ядовито-желтой глиной, – неужели тут нет спецпереселенцев? Решила спросить. Да и о ночлеге подумать надо бы... Вошла во двор крайней мазанки. И почувствовала, как отяжелели ноги, будто приросли к земле, свинцом налилось все тело, к горлу подступил голодный комок – на небольшой саманной плите женщина, повязанная белым платком, жарила в сковороде с высокими краями крупно порезанную баранью печенку. Со дня выселения ничего подобного не слышала Гокка. В голове помутилось от дурманящего запаха, и она чуть было не попросила кусочек, но усилием воли удержала себя. Женщина – средних лет, казашка, со скуластым вытянутым лицом, – обернулась к Гокка, спросила по-казахски:

– Спецпереселенка?

Гокка утвердительно кивнула.

– Здесь ты что делаешь?

– Ищу мужа, – ответила по-карачаевски. Осмелилась спросить:

– Переночевать у вас можно?

– Мужа в такой круговерти не найдешь... – буркнула женщина. – А переночевать иди вон туда, – показала рукой, – седьмая мазанка отсюда. Там живет одна из ваших. – И снова наклонилась над сковородкой.

Далеко идти не пришлось. За низким, в нескольких местах осыпавшимся дувалом Гокка увидела небольшой двор, приземистую мазанку. Прямо на земле сидела старуха казашка и теребила непослушными пальцами шерсть. Рядом старик, в тюбетейке и чапане, возился с упряжью. И больше никого – Гокка растерялась. Старик, заметив, что она будто ищет кого взглядом, насторожился.

– Кто ты? Кого тебе здесь надо? – спросил по-русски, всем своим видом показывая, что гостья ему очень некстати.

– Мне ночевать негде. Я слышала, у вас...

– Что ты слышала? Что у вас? – грубо перебил ее старик, не по душе она ему явно, и, вдруг отбросив ремни и шило, нервно заерзал на подстилке.

Из мазанки с ведром в руке вышла девочка лет пятнадцати-шестнадцати. «Правду сказала женщина, – затаила дыхание Гокка. «Наша!» Девочка остановилась в замешательстве посреди двора, боязливо поглядывая то на старика, то на старуху. На Гокка поглядывала исподволь. «Видно, узнала во мне свою», – обрадовано подумала Гокка и уже смелее спросила у старика:

– Можно мне переночевать у вас? Куда-то еще идти поздно уже...

Глаза девочки засветились едва заметным огоньком. Старуха с безразличным видом продолжала сучить шерсть. А старик проворчал раздраженно:

– Оставайся, раз пришла... Хотел бы я знать, чем мой дом лучше других...

Старуха оторвалась от работы и, увидев, что девочка все еще стоит с пустым ведром, тоже дала волю раздражению:

– Чего глаза вылупила? Принеси из арыка воды. И залей двор. Дышать нечем! Век бы тебя не видеть?

Последнюю фразу старуха сказала по-казахски. Но Гокка все поняла. Ей стало не по себе от этих слов и отчего-то неловко – будто чужие тайны подслушивает!

Девочка вздрогнула. Ведро качнулось в ее ручонке.

Не дождавшись, когда ей предложат отдохнуть, Гокка опустилась на какие-то саманные обломки – измучилась за день от духоты. Стемнело. Старуха вынесла из дома лампу. И дворик осветился тусклыми отблесками слабенького пламени. «Тут у них, наверное, вся жизнь проходит, – предположила Гокка, разглядывая сложенную из самана печку с плитой, странного вида лежанку, старый, медный самовар с многочисленными вмятинами, позеленевший местами, заменявшую стол, разостланную прямо на земле клеенку, которая была уставлена разноликой посудой.

Девочка принесла воды. Сделав, как было велено, – песок зашипел, остывая под водяными струями, – хотела подойти к Гокка. Но старуха прикрикнула на нее и приказала:

– Поставь самовар!

Безропотно подчинившись, девочка унесла его в дальний конец двора и стала хлопотать возле медного пузана – сначала его надо напоить водой, а выпивает он ведро с лишком, потом надо принести из очага углей и затолкать их в узкую трубу в середине, потом раздуть и не давать им погаснуть, пока не закипит вода. Так что от самовара не отойти! «Судя по всему, – начала кое-что понимать Гокка, – старики не хотят, чтобы девочка разговаривала со мной. Старуха люто ненавидит ее, – вон как посудой гремит! А старик, хоть и чадит самодовольно трубкой, плохо скрывает, что боится чего-то...»

Когда самовар закипел, старик велел, чтобы старуха помогла девочке принести его. Старики и девочка сели вокруг клеенки на землю, поджав под себя ноги. Так сидеть Гокка не умела – опустилась на корточки. Старуха разломила на четыре части лепешку. Из глубокого кармана платья вытащила узелок, развернула на клеенке тряпицу. Сверкнули сколами рафинадные обломки. Три кусочка старуха положила перед стариком, два – перед Гокка, себе взяла тоже три, а девочке не дала ни одного. Спрятала

узелок и принялась наливать в пиалы чай. Гокка пододвинула к девочке свой сахар. Но старуха отшвырнула рафинадины на середину клеенки и проворчала со злобой, говоря по-казахски:

– Ей хватит и того, что мужа у меня отняла! Гокка невольно вскрикнула.

– Какого мужа?! – спросила по-карачаевски. А старуха, оказалось, поняла ее тоже.

– Какого?! – закричала, обжигая пальцы о стенки пиалы. – Вот этого! – поставила ее перед стариком.

У Гокка волосы поднялись дыбом. «Аллах милостивый! Во внучки она ему годится. А он принудил ее... Бедняжка моя... – сердце Гокка вобрало в себя боль и этого несчастного ребенка с тонкой шеей, с выпирающими под стареньким пестрым платьицем лопатками, с тростинками – ножками. – Как же вызволить тебя отсюда?»

Старуха подала пиалу с чаем Гокка. И стала дуть на свою. Девочка сидела, потупившись, перед пустой клеенкой. Старик поставил свою пиалу перед «новой женой», грозно прикрикнул на «бывшую»:

– Шайтан тебя забери, старая карга! Налей-ка мне чаю! Тебе мало, что я тебя кормлю? Хочешь, чтоб я тебя из дому выгнал?

– Почему не выгнать? Я тебе вырастила сына, дочь, внуков. А теперь, видишь, мешаю баловаться с молодой! Бесстыжий! Будь она проклята, карачайка эта, свалившаяся на мою голову!

– Хватит, старая ведьма! – старик рывком отставил от себя пиалу. Чай выплеснулся на клеенку.

Девочка всхлипнула. Зажала рот ладошкой. Сидела, не поднимая глаз.

Гокка поблагодарила за чай, поднялась на затекшие ноги. Вышла на улочку. В недвижной и душной вечерней тьме тускло светились окошки мазанок... Где-то далеко рвутся снаряды, пули обрывают человеческие жизни. И здесь, в этой благоуханной, безбрежной тишине, тоже обрываются они – их могут взять и голод, и болезни, и унижения... Гокка все пыталась представить, как же эта карачаевская девочка попала к старику-казаху. Может, голодающая семья продала ее за пуд кукурузы или она пошла за тем, кто обещал ей игрушки... А может, осталась одна из всей семьи, осталась на свое горе – может, было бы лучше и ей умереть... Гокка ужаснулась, что могла подумать так. Лихорадочно стала искать выход – надо вырвать ее из этого ада. Безотчетный порыв – взять с собой! А потом что? Поймают и отправят на каторгу – побег, не посмотрят, что ребенок! – она ведь приписана к здешней комендатуре.

– Ты возьмешь меня с собой? – рядом стояла девочка и печально смотрела на Гокка. – Возьми... а то я брошусь в арык... – опустилась на колени и обняла ее ноги, прижалась к ним лицом. Продолжила быстро-быстро, словно боялась, что ее окликнут или придут за ней: – Мои все умерли.

Найду кого-нибудь из родных, из Хасановых, пристану к ним, не буду тебе обузой... Старика боюсь. И старуху тоже. Очень. Он меня подобрал, когда я просила подаяние. Думала, он пожалел меня. А он... Аллах мой... вспомнить страшно... – поднялась с колен, схватила Гокка за руку. – Не оставляй, не оставляй меня!

«Будь что будет», – подумала Гокка и потянула девочку за собой.

– Пошли!

Но в это время послышался голос старика:

– Эй! Где ты?

Девочка обеими руками обхватила Гокка. Не было, казалось, такой силы, которая расцепила бы их.

Старик позвал снова.

И тут ручонки безвольно разжались, повисли плетьми вдоль хрупкого тельца девочки. С покорностью прирученного зверька она поплелась на зов. На пороге мазанки, в одном исподнем, почесывая живот, переминался с ноги на ногу старик. Вцепился в плечо девочки, потащил в комнату...

* * *

Уже десять дней отпуска использовала Гокка. Поселки, аилы – русские, киргизские, казахские. Сбилась с маршрута, потому как большей частью приходилось двигаться пешком. Но оказалось, можно было идти в любую сторону, ошибиться практически невозможно... Отдохнуть или на ночлег останавливалась в земляночных кварталах – везде спецпереселенцы жили в них. Кто бы ни были они – балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы – одинаково устраивали свои жилища. Разговаривала со стариками, списанными с фронта бойцами и командирами, женщинами, детьми, расспрашивала о житье-бытье. И повсюду видела и слышала одно и то же. Спецпереселенки батрачили у местных казахов или киргизов или, задавленные нуждой, чтобы как-то прокормить свою малышню, добровольно, а кто и поддавшись уговорам, посулам или принуждению, мирились с участью вторых или третьих жен разжиревших новоявленных баев в лоснящихся, не запахивающихся на отвислых животах, расползающихся по швам халатах; дети-сироты ходили по домам, просили подаяние, готовые и на любую поденку. «И это гордые горцы!» – ужасалась Гокка. Были, правда, случаи, – немного, конечно, больше слышала она про них, – когда списанным с фронта, нашедшим свои семьи, удавалось определиться на работу в колхозе, – тогда настоящий праздник приходил в их землянки. А нет применения твоим рукам, одна дорога – в услужение к заплывшим от жира богатеям...

Бумажек с адресами и фамилиями все прибавлялось, но за это время всего лишь две семьи посчастливилось соединить Гокка... А об Аслане –

полнейшая неизвестность. Сама надежда ускользала... «Буду искать, – перебарывала Гокка накатывавшее отчаяние, – пока не кончатся отпущенные комендантом дни...» А пока решила, что поедет в Узбекистан. Благо, из поселка, где она провела эту ночь, не очень далеко до железнодорожной станции. Как всегда, вышла из землянки, едва забрезжил утренний свет. Только направилась на станцию скорым шагом, за спиной послышались торопливые шаги, а раздавшийся голос, вроде знакомый, вроде чужой какой-то, остановил ее:

– Эй, прохожий! Подожди, пожалуйста!

Гокка обернулась. К ней спешила женщина, худая, в обносках. Где-то я видела ее...» – пыталась вспомнить Гокка. И замерла, как вкопанная. Балдаш! Близкая родственница Аслана и ее школьная подруга. Жизнерадостная, миловидная девушка, сейчас выглядела как все спецпереселенки: поседевшие волосы, осунувшееся, землистого цвета лицо. И лишь глаза и брови напоминали о прежней Балдаш.

Обнялись. Не в силах произнести хоть слово, сели на землю. Плакали, плакали, плакали... пока Гокка не выдохнула наконец:

– Балдаш... это ты... А я не узнала тебя сначала...

– И я тебя не узнала, – глухо ответила Балдаш. – Смотрю, какой-то военный идет. Решила, наверно, списанный с фронта. Дай, думаю, окликну... Обернулся, вижу, хоть и стриженые, с сединой волосы, женщина... Пригляделась... Сперва не поверила. Ведь у тебя такие косы до войны были! Потом вижу, точно – ты... Какими судьбами в наших краях?

– Наш комендант дал мне разрешение на месяц, чтобы я могла поездить по Средней Азии и Казахстану, пока найду Аслана и родственников. Слава Аллаху, тебя нашла! – Гокка крепко обняла Балдаш.

– Мы здесь о нем слыхом не слыхивали, – сказала она с грустью. Задумалась. Тряхнула головой. – Да нет, он и не мог здесь появиться, он же на фронте, а воинский долг джигит не может нарушить. Солдат должен и приказу подчиняться. Тут ничего не поделаешь... Правда, кое-кто из наших все еще пишет с фронта, письма сюда приходят, значит, их пока еще не настиг приказ о спецпереселенцах.

– Тебя настиг?

– Нет, другой страшный сон со мной приключился. После ранения меня отправили домой на побывку. А на четвертый день нас... – Гокка рассказывала и вновь проходила, один за другим, судьбой определенные круги ада. Спросила в надежде, что Балдаш поведает подробнее о своих: – А как ты попала сюда? В Чауле в день выселения почему-то не видела тебя...

– Нас в Микоян-Шахаре взяли... Из Чаула пришлось года за три перед войной уехать. Да, сразу почти после того, как в тридцать седьмом арестовали моего брата Кемала. Мама не выдержала горя, вскоре умерла. Меня, как

сестру врага народа, из «шэкаэм» исключили, в городе тоже никуда учиться не взяли, так и осталась с «неполным средним»... А еще... – глаза Балдаш затуманились от слез, – Пачи мне изменил. Он любил меня, мы собирались пожениться. И вдруг, когда Кемал стал бывшим председателем аулсовета, он отказался от меня, женился на другой, будто и словом со мной ни разу не обмолвился... – проглотила горький комок, вытерла платком лицо. – Остались мы вдвоем с отцом... Что может нас ждать в жизни... Он совсем немощный. И мне иной раз таких сил стоит ходить в колхоз на работу. Колхоз бедный, трудодни – пустые палочки, даже полевые бригады ему кормить нечем. Вот и приходится воровать пшеничные колоски, они еще, конечно же, не спелые, но хоть как-то надо подкормить отца... Ой, Гокка, милая, до какого позора – до воровства! – докатились... – и снова заплакала.

– Не слышала ничего о моей свекрови Кеминат? А о Кемисхан, сестренке моей, тебе ничего не известно?

– Нет... А о дочери Кеминат – Дауте – слышала, что к ней муж с фронта приехал. Джамала тоже арестовали в тридцать седьмом. Перед самой войной выпустили. Но Дауте даже после его возвращения так и не разрешили больше в суде работать, ее тогда тоже с работы выбросили, не посмотрели, что она областной судья... Ну да что об этом говорить. Все равно повезло им – вместе они теперь.

– Где они живут?! – воскликнула Гокка, страшно волнуясь; а вдруг маленькая зацепочка?

– Не знаю... – глухо ответила Балдаш.

– Я должна идти, – порывисто поднялась Гокка. Балдаш встала с трудом, спина и ноги не слушались. Обнялись на прощание.

– Мне так хотелось бы не расставаться с тобой, Балдаш. Но сейчас это невозможно. У меня еще остались дни, надо побывать в Узбекистане...

– Остерегайся милиционеров. Они здесь совсем обнаглели – хватают за малейшую провинность, вымогательством занимаются, а то и пристанут, как репейник к подолу... Помогай тебе Аллах...

Гокка была уже совсем близко от станции – внимание привлек суетившийся у станционного здания человек в железнодорожной форме, он прибивал к стене плакат с кричащими кроваво-красными аршинными буквами: «Смерть фашистам!» – как вдруг сзади на ломаном русском языке приказали ей остановиться и предъявить документы.

Обернувшись, Гокка вздрогнула. «И подумать не успеешь, дьявол сам явится...» Милиционер. С винтовкой наперевес. Узкие глаза, прищуренные к тому же, одутловатое лицо – узбек, что ли... Протянула ему разрешение коменданта и свою офицерскую книжку. Милиционер долго водил по ним глазами, покачав головой и почмокав губами, сунул в нагрудный карман гимнастерки. И опять вскинул винтовку.

– Иды станция.

В небольшой душной комнате, с крохотным оконцем, с голыми, выкрашенными в грязную зелень стенами, за обшарпанным столом сидел потный толстяк, плечи его, казалось, придавливала малиновопогонная тяжесть. Милиционер положил перед ним документы задержанной. Комендант бегло просмотрел их и поднял на Гокка заспанное лицо.

– Кто дал тебе эту писульку? – глаза наливались злобой, появилось в них и знакомое Гокка презрение.

– Гляди-ка ты, и орден выставила!

– В разрешении сказано, кем выдано... – старалась оставаться спокойной Гокка. – И орден мною заработан...

– Я не спрашиваю, откуда у тебя орден! – заорал комендант, вскочив со стула. – Я спрашиваю тебя, сволочь бандитская, – стал расхаживать в промежутке от стены до стола, пытаясь заправить в ремень вытекший, словно опара из кадки, живот, – по чьему разрешению шатаешься по чужим республикам!

– По разрешению нашего коменданта... А за «бандитскую сволочь» ты мне ответишь. Пока ты здесь брюхо отъедал, я на фронте сутками у операционного стола... – отвернулась, безразличная, измученная.

Комендант плюхнулся на стул. Тот даже затрещал под ним. Стал вытирать рукавом с лица пот.

– Ты!.. Ты!.. На каторгу бы тебя спровадить за такие фокусы. Да пачкаться не хотца. Пусть у твоего благодетеля головушка поболит. Сдашь в сопровождение, – приказал стоявшему навытяжку задержавшему ее милиционеру. – Освободить помещение!

Конвоир сопел сзади, гулко топая сапогами. Вдруг приказал остановиться. Оборачиваться Гокка не стала.

– Тыбе Узбекстон нада?

– Надо...

– Тада иды. Я тыбе атыпускаю, – милиционер прикладом легонько подтолкнул ее в спину.

– Как это, – обернулась Гокка, – отпускаю? Не слышал, что комендант приказал? Вот и веди. Пожалел волк кобылу... Раньше надо было думать...

– Тада был служба.

– А сейчас не служба?! – вспыхнула Гокка.

– У-у, шайтан! Зачем звэр смотришь? Пашел служба, аил нет кушать. Сичас совсем шакал стал, ухадыт нада. Туда, аил нада.

– Мне-то зачем говоришь об этом? Чувствуешь, виноват. У меня документ, разрешение, близких своих ищу, а ты... Перед начальством решил выслужиться – поймал преступника! Теперь-то чего языком попусту молоть...

– Тада служба. Сичас иды чытыре старана. Иды! Чорргумать!

Милиционер сунул ей в руки документы, забросил на плечо винтовку, надвинул на глаза фуражку и, по-бабьи переставляя ноги, метнулся в ближайший переулок.

Гокка опустилась на какие-то саманные кирпичины, кучей наваленные на дороге, – ноги подломились от нервного напряжения. «Наверное, комендант вздумал просто-напросто попугать немного. Иначе этот гореслужака не отпустил бы меня. Видно, разрешение Яценко, всего лишь поселкового коменданта, не райотдела даже, тоже не пустая бумажка. Но как не попользоваться властью, не поизмываться над спецпереселенкой... – Гокка в тревоге стала озираться по сторонам. – Сбежал куда-то... А если прячется где-нибудь, из-за угла наблюдает сейчас, выслеживает? А то, чего доброго, сдернет винтовку и шлепнет прямо тут – «при попытке к бегству»?..

Поднялась. Прошла вперед-назад, высматривая конвоира. Но улочка была пустынна.

Вдали прокричал паровоз. «Станция. Надо идти... – рванулась было. И тут же остановила себя. – Куда? Рискованно. Снова нарвешься на какого-нибудь самодура в малиновых погонах, паука, поджидающего жертву. Билет, как все люди, и то не возьмешь...» Вышла на дорогу. Может, попутка подвернется, подберет. Безуспешно ждала – машин не было.

Километрах в двух-трех виднелись сады и среди зелени белели мазанки какого-то поселка. Гокка решила идти в поселок.

Не доходя до крайних мазанок, увидела словно изрытую полчищами кротов землю. И тут землянки... Гокка бродила между землянками. Смотрела. Слушала... Здесь тоже ютятся карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы.

У одной землянки остановилась. У входа, на драной грязной тряпке, сложив на груди руки, с закрытыми глазами сидел дряхлый старик, губы его шептали молитву. Гокка села рядом, прислушалась. Старик просил Аллаха: – Сделай так, чтобы душа моя встретилась с душами предков, что остались лежать в родной земле... Продли мои дни, сколько можешь, не дай внучке мыкать без меня сиротское горе, как-никак я ей подмога... Сделай так, чтобы отец ее живым вернулся с фронта, тогда уж меня заберешь к себе... Помоги Красной Армии прогнать фашистов, покарай этих шакалов за беды, что принесли они нашим людям... Дай нам мир. И накорми хлебом голодных...

Он шептал что-то еще, а Гокка, неотрывно глядя на старика, думала: «Аллах мой, если бы во мне жила такая же вера в тебя, как у этих почтенных людей, мне было бы легче... Было бы перед кем посетовать на судьбу. Было бы на чьи плечи переложить то, что не выдерживают мои... Но и веру отняли у меня... Ничего не осталось...»

Старик уткнулся лицом в землю, долго лежал так, обхватив голову руками, выпрямился, помолчал, глядя слезящимися глазами на закатное солнце, провел ладонями по лицу, по бороде, посмотрел на Гокка, покачал головой.

– Побудь с нами, дочка. Отдохни...

Старик аккуратно свернул тряпку, положил у порога. Сел рядом с Гокка и стал смотреть на дорогу.

Солнце раскаленным шаром катилось по степи, растекаясь по горизонту.

Прибежала с работы внучка старика, худенькая девочка лет тринадцати, приветливо поздоровалась, расстелила перед гостьей и дедом тряпку, развязала узелок и поставила жестянку с какой-то похлебкой, накрыла маленьким кусочком странного на вид хлеба.

– На колхозную работу ходит, – пояснил старик. – Сама, видишь, не ест, деду приносит. – Разломил, без единой крошки, ломоть на три части, положил перед каждым. Пододвинул жестянку гостье. – Поешь, доченька.

Гокка поблагодарила, но переставила похлебку к старику. Покопалась в вещмешке, протянула девочке свою купленную на базаре лепешку. Глаза девочки полыхнули голодным блеском, она поделила кукурузный кружок и стала с жадностью есть. Старик и Гокка тоже принялись за хлеб. Старик шамкал беззубым ртом.

– Вот здесь мы и живем... если можно это назвать жизнью. Не смогли даже, старый да малый, сами землянку вырыть. Спасибо людям, помогли. Из всей семьи двое нас осталось. Зачем ты, Аллах мой, – старик вдруг воздел руки к небу и закрыл глаза, – оставил меня на этом свете? Лучше бы ты оставил ее мать, сестренок и братьев! – опять провел ладонями по глазам и бороде, взял второй хлебный квадратик, бросил в рот. – Мой сын все еще на фронте. Пока не списывают. Сноха, упокой Аллах ее душу, написала, как только привезли нас сюда. Не надеялись, что придет ответ. Пришел, представь себе... Жив, здоров, сообщил, бьет фашистов. Фотокарточку прислал. Два ордена у него. Такие, как у тебя. Все спрашивал только, почему у нас такой обратный адрес, как мы здесь очутились? Об этом мы не писали. Да и как смогли бы объяснить, почему? И о нищете своей не пишем, и что двое нас с внучкой теперь – тоже. Нельзя его расстраивать – хорошо воюет. Весь в меня... – старик гордо приосанился. – Я тоже неплохо воевал в армии Кочубея в гражданскую... Вот чего я никак не пойму, дочка, – придвинулся к Гокка, – одних, у кого семьи спецпереселенцы, списывают с фронта, других же, как мой сын...

– Фронт огромный. Просто не дошел приказ...

– Скорей бы уж списали, – раздумчиво проговорил старик. И вдруг оживился. – Вон, погляди, к нам идет, – показал на приближающегося к их землянке в окружении нескольких женщин крупного, с седеющей шевелю-

рой мужчину в выцветшем кителе без погон. – Это Магомет. Полковником был. Списали с фронта. На днях вернулся. Благодарить должен Аллаха, повезло ему, вся семья уцелела.

«Тени какие-то, не люди, – ужасалась Гокка, украдкой поднимая глаза на обступившее их полукольцо. – Ни лиц запомнить. Ни возраста определить...»

– Услышали, что у вас гостья... – начала было одна из женщин. Ее перебили всхлипы:

– Скитаться, небось, пришлось...

– Столько земли исходить...

– Везде одно горе...

– ...Пришли расспросить, – продолжила заговорившая первой, – может, знаете что о ком-нибудь из наших...

– Среди вас Хасановы есть? – спросила Гокка.

– Есть! Есть! Говори скорей, кого ты встречала? – подступила к ней женщина в потерявшей свою форму кофте, из-под которой мешком свисало латаное-перелатаное платье.

– Дочь Гардоша – Хадиджат. Совсем молоденькая... – Ком в горле мешал Гокка говорить. – Я нашла ее на окраине Джамбула. У старика она живет. Не поняла, вторая жена, что ли. Пыталась вызволить ее. Ничего не получилось.

– За что, Аллах, покарал ты меня?! Хадиджат моя двоюродная сестра... Ах, я несчастная!

– Что поделаешь, – проговорил старик, – на нас кандалы...

Вдруг Гокка почувствовала, неотрывным, пронизывающим взглядом полковник уставился на нее в упор. Гокка сделалось не по себе.

– Простите, – обратился он к ней. – Мы тут прослышали, что вы разыскиваете писателя Аслана. Вы знали его?

– Конечно... Я... – осеклась, не зная, что сказать дальше.

– Постойте... постойте... Вы жена его?!

Гокка машинально кивнула. И в ту же секунду на ее лице появились удивление и тревога. Полковник поспешил пояснить:

– Аслан показывал мне ваше фото. Простите... я не сразу узнал вас.

– Аслан? Мое фото? Когда?! Где?! Да говорите же толком!!

– Недалеко отсюда, по нашим фронтовым меркам, конечно. В совхозе «Баяут». Мы часто виделись, разговаривали подолгу. Мучительно переживал, что списан из армии, даже рана плохо заживала. Был тяжело ранен в плечо, эвакуирован в какой-то небольшой городишко на Урале, я не запомнил название, мудреное такое. Однако до назначенного срока не долежал, чуть полегчало – вырвался, любимое его словечко, на фронт. Правда, недолго повоевать довелось – демобилизовали ни с того, ни с сего. Ничего не объясняя, предписали ехать в Среднюю Азию. В Микоян-Шахар, в Чаул писал, вас искал, родню – безрезультатно...

– Почему вы все время говорите о нем в прошедшем времени – «был», «искал»? Что с ним? Где он?

Будто не слыша Гокка, полковник продолжал:

– В «Баяуте» приютила его карачаевская семья, из бывших кулаков, высланных в тридцать втором...

– Говорите скорей, – Гокка уже не могла себя сдерживать, – что было потом?

– Потом... У него открылась рана. Заражение крови произошло. И...

– О-о-о, Аллах мой... – простонала Гокка и, не сдерживая при посторонних слез, зарыдала, уткнувшись в плечо полковнику.

Он дал ей выплакаться. Только после этого продолжил тихо:

– Я его и похоронил... В вещмешке у него осталось много исписанных тетрадей и блокнотов. Он обладал редкостной работоспособностью. Судя по названиям местностей, работал и в госпиталях, и когда скитался... Аллах мой, кому я говорю... Я просматривал их после похорон. Если я правильно понял, он писал большой роман. Байчоровы, у которых он умер, обещали мне, что будут беречь его вещи. Кстати сказать, это замечательные, отзывчивые люди. Чего они только не предпринимали, чтобы помочь ему. Даже профессора из Ташкента приглашали... Ехать туда сейчас, думаю, вам не следует – не так просто даже на попутках добраться, а потом и небезопасно. Слышал я, на днях новое положение вышло, еще более ужесточающее... Напишите Байчоровым. Они вам перешлют вещи Аслана и бумаги. А за могилой они обещали ухаживать... Прощайте... И дай вам Аллах жить долго-долго...

Люди молча разошлись, и, казалось, каждый с собой унес частичку ее горя. Но его не стало меньше. Как не стало меньше звезд на небе, хоть и ее, и Аслана звездочки закатились навсегда. «Стоит ли теперь жить? – Гокка огляделась. Со всех сторон ее обступала безбрежная черная степь. – Вот она, моя могила...» – подумала безучастно, погружаясь в вязкую черноту. И вдруг чей-то взгляд обнял ее. Перед Гокка возникла женщина в черных одеждах. Лица не разобрать. Но вроде мама, вроде Мариям... Нет, незнакомая какая-то... Женщина взяла руку Гокка, положила себе на грудь.

– Наша участь такая – оплакивать ушедших и идти к страждущим и уповающим на нас... Тебе надо набраться сил, тебе надо много сил…

Когда Гокка вернулась в «Трудовик», тиф уже упокоился, но теперь бал правила малярия, особенно косила спецпереселенцев. Противоборствовать ей оказалось дело нешуточное и затяжное – хинина отпускали скудные крохи. Гокка рвалась из последних сил, но как совладаешь с ней голыми руками?.. Спасибо Василию Андреевичу – опыт его очень пригодился, а то уж отчаялась было: самый разгар колхозных работ, Волынкин мечется по полям, ведь поливать их некому, свеклу полоть некому, табак обрабатывать некому, а она ничего не может, стыдно людям в глаза смотреть... Но и складывать руки не в ее

натуре. И отступить пришлось малярии... Убирать поля вышли стар и млад – и местные, и спецпереселенцы. Кое-что получили на трудодни. Запасали камыш. Утепляли на зиму дома и землянки – в них тоже ухитрялись ставить печки! Самыми большими событиями считали спецпереселенцы первое сентября, когда пошли в школу дети, и рождение первенцев в нескольких карачаевских семьях. Жизнь, стало быть, входила в привычный круг. С нетерпением ждали конца войны – теперь осталось недолго, скоро Победа, ведь Красная Армия уже восстановила западную границу СССР и неудержимым валом гонит фашистов к их логову... Ждали своих с фронта... Гокка ждала тоже. «Не верю, что Аслан умер, – не раз говорила она Халимат, которая приходила к ней ночевать, чтобы не оставлять подругу один на один с горем. – Полковник ошибся. Мы встретимся. Знаешь, я даже вижу, как он заходит в комнату...» Но приходили соседи, соплеменники – соболезновали ей, всякий раз как бы подтверждая, нет, не ошибся полковник... Гокка написала Байчоровым и каждый день бегала на почту, будто на свидание с Асланом спешила... Почтарка для виду копалась в ящичке и отвечала неизменное: «Пишут вам...» Не обманывает ли себя, допытывалась у тети Марьи, та опекала ее теперь по-матерински, а Гокка, нет-нет, да и всовывала ей немного денег. Трифониха всякий раз утирала концом платка глаза и говорила тихо: «А ты молись, доченька, – да воскреснет Бог, разыдутся врази Его…»

* 9 *

Весна сорок пятого выдалась затяжная, холодная. Солнце отчаянно пробивалось сквозь тучи к истомившейся под снегами земле, вместе с нею отогревало и людей, возвращая их к своим извечным делам на ней. Оправдывая славное имя «Трудовика», с посевной управились досрочно. Поля зеленели, радовали глаз. А души человеческие радовались сводкам «Совинформбюро» – Красная Армия уже вела бои на ближних подступах Берлина! – у «черной тарелки» возле «административного» барака целыми днями толпились, жадно вслушиваясь в слова Левитана и стар, и млад. «Теперь и жить хочется, и работа горит в руках!» – слышала Гокка то и дело. Появилось у людей настроение, с большим подъемом готовились встретить Первомай. Центр поселка украсили кумачовые лозунги. Торжественно и строго плескались на ветру флаги. Всякий раз, когда Гокка бежала на работу, читала над крыльцом сельсовета – «Да здравствует вождь мирового пролетариата великий Сталин!» И думала с дочерней благодарностью: «Это он, самый мудрый человек на свете, ведет нас к Победе. А потом, когда вернется он к мирным заботам, вспомнит о нас, и мы возвратимся в наши горы...» Над входом в колхозную контору висел призыв: «Все силы – фронту, Победе!» «А разве все эти годы было иначе?» – каждый раз лез в голову один и тот же вопрос. Ей не в чем упрекнуть себя, упрекнуть сво-

их соплеменников... Но почему-то мрачнела, когда видела над амбулаторными окнами слова: «Да здравствует СССР – самая справедливая в мире держава!» – вспоминалось карачаевское кладбище за околицей с безымянными, поросшими травой могилами, среди которых и могила ее матери...

Ранним утром девятого мая Гокка и Халимат проснулись от неожиданного стука в дверь.

– Откройте! Откройте же!

Кричала Фрида. Гокка вскочила и босиком по земляному полу бросилась к двери. Откинула крючок и очутилась в объятиях хозяйки. Всегда молчаливая и холодная, Фрида плакала и в то же время чему-то смеялась. Наконец остановилась на миг, глотнула воздуха и воскликнула:

– Война кончилась!

У Гокка перехватило дыхание. Она вдруг обмякла, чувствуя, что сейчас потеряет сознание. А Фрида тормошила ее изо всех сил.

– Подписана капитуляция! Безоговорочная! Теперь Ваня мой скоро приедет!!

Подбежала Халимат. Женщины обнялись. Плакали навзрыд. «Иван приедет... – подумала Гокка. – Он откуда-то из-под самого Берлина прислал недавно посылку, Фрида хвасталась не первой свежести женскими тряпками, детской одежонкой... А ей никогда уже не дождаться Аслана...»

Вволю наплакавшись, стали собираться на работу – в такой замечательный день тем более нельзя нарушать дисциплину! – Фрида в полевую бригаду, Халимат в садик, Гокка в амбулаторию. Ради праздника Гокка облачилась в свою военную форму, даже погоны прикрепила. Дошли только до школы. Сюда на площадь, отовсюду валил народ. Люди обнимались, плакали, смеялись. В самую гущу протискивался слепой инвалид с гармонью под мышкой. Ему помогли взгромоздиться на пустые ящики, подали гармонь и он затянул:

Темная ночь,
только пули свистят по степи...

Но вдруг оборвал мелодию, пробежал пальцами сверху вниз по кнопкам и заиграл бодро:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.

Толпа сотней голосов подхватила:

Могучая, кипучая, никем непобедимая...

Песня разожгла толпу. Кто-то крикнул:

– Танец давай! А ну оторви!

Гармонист растянул мехи, рявкнул басами и, притопнув костылем, объявил, расплывшись в улыбке:

– Ба-ар-рыня!

Закружился народ, взметнулись темные платки и пестрые косынки. В круг втянули Гокка, вдруг ее подхватили на руки и стали подбрасывать над смеющимися, ликующими лицами.

– Ура нашему фронтовому доктору!

– Ура Красной Армии!

Когда ноги коснулись наконец земли, Гокка порывисто высвободилась из подбрасывавших ее рук и поспешила сквозь толпу – через несколько десятков метров колхозный сад, она добежала до раскидистой яблони в самом конце сада, прижалась лицом к нагретому солнцем стволу и дала волю рыданиям... В белой кипени, молчаливая, словно сочувствуя Гокка, стояла яблоня. Гокка обняла ствол, мысленно зашептала: «Спасибо, что ты понимаешь меня... Плачу от радости, ведь на землю нашу пришла Победа, она за собой приведет и счастливую надежду... Плачу и потому, что велика в сердце боль от утрат, не дает ему спокойно биться трагедия моего народа... А еще плачу просто по-бабьи: не ожидала, что с таким уважением отнесутся ко мне люди...»

«Трудовик» гудел, как пчелиная семья на удачном взятке. У «административного» барака Гокка увидела Волынкина, Яценко, бригадиров в окружении наплясавшихся у школы сельчан. Велико было изумление, когда услышала от председателя (Гокка даже показалось, что язык у него заплетается отяжелело):

– Завтра наверстаем. А сегодня всем праздникам праздник – не каждый день война кончается! Да еще какая война кончилась, други мои!

Гокка все же решила провести прием. Однако никому в «Трудовике» амбулатория в этот день не потребовалась. Ближе к вечеру зашел Яценко.

– Разрешите пригласить вас на огонек, товарищ капитан. Победу отметим. Клавдия на стол накрывает.

Жена коменданта постаралась на славу. Яценко потирал руки, ходил кругами, повторял, с восхищением глядя на закуски: «Ну, отгрохала...» А Гокка заметила удивленно: «Из свинины ничего не готовила. Неужели из-за меня?»

Петр Николаевич откупорил бутылку «Хереса». Себе налил в граненый стакан по самый ободок, а женщинам – до половины. Встал, поднял стакан, ни капли не пролив.

– Давайте выпьем за Победу! Большую цену заплатили мы за нее и помянем, по нашему обычаю... – помолчал, низко нагнув голову, залпом осушил стакан, с шумом выдохнул, вытянув губы трубочкой, долго и жадно

втягивал ноздрями ржаной дух, нюхая черный ломоть, уже не так отчаянно выдохнул медленно и уткнулся в него носом.

Гокка тоже встала. Подняла свой стакан. Чувствовала, что волнуется.

– Сколько жизней отняли сталь и свинец... сколько – голод, холод, болезни... От живых низкий поклон... И не приведи Аллах пережить такое еще раз...

Помолчали. Яценко нарушил молчание.

– А ведь я, Гокка Маджаевна, тоже воевал. Правда, уже в июне сорок третьего по ранению был выбракован из армии. Приехал к старикам своим в Георгиевку. Бедствовали они по-страшному. А я не мог устроиться на работу – я учитель, а в школе все места эвакуированными заняты. На колхозную работу председатель не взял, говорит, дохлый ты, дескать, загнешься еще, потом хлопот не оберешься... А тут набор в «спецорганы». Хорошие деньги к малиновым погонам давали. Охотников мало – тридцать седьмой еще не забыли. Ну, а мне деться некуда. А сейчас вижу, надо было перебиться как-то, не для меня такая служба. Понял я это здесь только. Честно скажу, одно время думал о спецпереселенцах: виноваты перед Родиной, вот и получайте по заслугам! А что здесь увидел, заставило меня понять многое и о многом задуматься. И нехорошо становится. А уж как худо, когда спрашиваю себя, неужели по его воле целые народы обречены на бессмысленную гибель и страдания? Сколько лет существует наша власть, все время слезы, гонения, беды... Выходит, не верно что-то в нашей линии? Я ничего не понимаю, Гокка Маджаевна...

– Петя... – подала голос жена.

– Вот всегда так, – с досады махнул рукой комендант. – Боимся, как бы чего не сказать, не услышать лишнего, вдруг кто передаст кому, даже в такой вот, своей, компании, – распалившись, налил себе вина, одним глотком выпил, даже не притронулся к закуске. – А я чувствую, что-то не так в нашей линии. Я сам историк, знаю, что значит народ и что значит личность в истории. Народ виноват быть не может! Такого я представить себе не могу! А вот вожди...

– Петя... ты опять через край уже... – попыталась остановить мужа. Клавдия.

– Обвинить столько народов! Абсурд какой-то! – комендант вскочил, стал нервно ходить по комнате, мрачно поглядывая на жену, на Гокка. – Нарастание террора: сначала те, кто мог оказаться соперником, потом партия, Красная Армия, потом целые народы! – налил еще вина, торопливо выпил.

Уж не «проверяет» ли ее комендант, подумалось Гокка, отогнала эту дикую мысль: да нет вроде, не похоже.

– Я с самого начала говорила тебе, – начала было примирительно Клавдия, – эта работа не для тебя...

Но Яценко взорвался.

– Это не работа, как ты не понимаешь! Это ад, страшней самых страшных пыток, придуманных человеком... Преступление, наконец! – допил вино, вдруг обмяк, даже вроде успокоился, сказал с каким-то равнодушием и, показалось Гокка, с облегчением: – Думаю, скоро подам рапорт. Да и начальство последнее время недовольство мной выражает. Я ведь в ваше отсутствие всем им там плеши проел, чтобы вас взяли хирургом в районную больницу. Дескать, расточительство держать в фельдшерах такого специалиста. И буду говорить это, пока не вынесут положительное решение.

«Аллах мой, как же могла я сомневаться в таком человеке?» – устыдилась Гокка. Сказала смущенно:

– Петр Николаевич... может, не надо было хлопотать...

Яценко вскинул брови, пристально посмотрел на Гокка. Она выпалила:

– А если больной не пожелает лечь под скальпель врага народа? Я и сама вряд ли переступлю через это...

Помолчав минуту, комендант вдруг улыбнулся, и Гокка услышала совершенно для себя неожиданное.

– Для больного вы, как бы это выразиться... – Яценко, показалось Гокка, подбирал слова, – сначала обаятельная женщина, и один ваш облик для него лекарство, а уже потом врач, хирург, в чьи руки он отдает свою жизнь, хотя правильнее сказать, чьи руки дают ему ее... А то, что гнетет вас... Думаю, люди все понимают правильно...

– Просто вы меня успокаиваете, дорогой Петр Николаевич. Спасибо вам на добром слове... Я пойду...

Праздник гремел в каждом доме. А Гокка не хотелось идти домой – как тогда, после смерти мамы, – ведь дом их в карачаевском ауле у подножия гор с шапками ослепительного снега на вершинах. Но никогда уже не соберется за длинным столом большая семья Боташевых... Встречные весело здоровались с Гокка, поздравляли с Победой. Но ее душили слезы – разве может быть счастлив народ, даже в такой радостный день, вдали от земли предков, развеянный по бесконечным просторам, оставивший тысячи несчастных в безвестных могилах? Только переступила порог, безудержно хлынули слезы. Не раздеваясь, Гокка бросилась ничком на кровать – словно падала, падала, падала в бездонную черную пропасть...

Через несколько дней из «Баяута» от Байчоровых пришла посылка. Бережно, в обеих руках, несла Гокка с почты посылочный ящичек. Дома долго не решалась вскрыть его, с трепетным волнением оттягивая долгожданный миг встречи с любимым... Внутри оказалась гимнастерка. Осторожно развернула ее... Майорские петлицы. Ордена – «Отечественная война» и «Звездочка» медаль «За отвагу». Стопкой – тетради и блокноты. Отдельно, в платке с зеленой каймой, – недокуренная самокрутка, огрызок карандаша, сложенные вчетверо листочки из блокнота с обрывками фраз

и немного измятая, с загнутыми уголками, фотография девушки. Черные, дугой, брови, очень грустные глаза, тонкие губы, в такой же грустной улыбке, приоткрывают белоснежные зубы, на грудь падает толстая коса... Гокка сфотографировалась сразу же после получения диплома. Ну а грустная потому, что началась война, ушел на фронт ее любимый, через несколько дней и она вместе с сокурсниками наденет военную форму... Фотографию послала Аслану на передовую. И вот она вернулась к ней – с теплом его взгляда, прикосновений его рук...

Стала разбирать бумаги. Сложила по номерам тетради. Открыла первую. На титульной странице живым почерком Аслана выведено: «Годы и горы. Роман в двух книгах». И не смогла оторваться от чтения. Нет, не от чтения... Ведь в романе их жизнь: страница за страницей, год за годом повторялась она сейчас в этой комнате, и Гокка повторялась снова... Внезапно роман оборвался – на последней атаке Аслана. Гокка отложила тетради. Последним лежал блокнот в мягкой синей обложке. Стихи. Гокка жадно глотала строку за строкой... Сколько стихов написано ей, об их любви... «Вот мы и встретились с тобой, Аслан...» – сжалось у нее сердце. Последнее стихотворение поразило ее. Судя по зачеркиваниям, по тому, как Аслан искал точное слово, он не закончил его, но и в набросках оно обладало какой-то сверхчеловеческой силой. Аслан верил, что не Россия виновата в трагедии карачаевцев. Ни слова упрека Родине. Тяжело раненный, он снова рвался в бой за нее. И если будет убит в одной из атак, все равно не оставит строя – словно присягал России и клялся в сыновней любви к ней... Если раньше Гокка мучилась сомнениями, то теперь Аслан укрепил ее своей верой...

Осталось прочитать письмо Байчоровых. Как только вскрыла ящичек, сразу наткнулась на него, но отложила в сторону, решила, что прочитает последним, – не терпелось поговорить с Асланом, не хотелось начинать с крушения иллюзий. Но миг этот наступил. Осторожно развернула письмо.

«Аслан попал к нам истощенный телом, но не духом. Он долго искал своих, скитался, вот и у нас в «Баяуте» первым делом подал заявление в комендатуру. Но наш комендант себя не затруднял лишними заботами, и заявление Аслана, как и десятки других, наверное, даже и не отправили куда полагалось. Но Аслан верил, что произошла ошибка, что правда будет восстановлена. Страшно переживал. Мы, старые лишенцы, пустили корни в «Баяуте», но до сих пор тоска по нашим горам гложет нам души. Аслан был очень плох. Мы ухаживали за ним как могли. Слава Аллаху, он не голодал. Дни и ночи напролет писал и писал. Не могли понять, когда он спит. И все ждал ответ из НКВД. Тосковал по своей Гоккаджан. Когда рана в плече открылась, местный фельдшер перепробовал все возможные

и невозможные средства. Но Аслану становилось все хуже. Тогда фельдшер стал настаивать, чтобы отправить Аслана в районную больницу. Комендант запретил категорически, не посмотрел, что этот человек проливал кровь за Родину. Чувствуя, что скоро умрет, Аслан отдал нам свои записи и попросил сберечь их, а если Вы найдетесь, передать их Вам. Мы рады, что Вы живы и что мы можем исполнить последнюю волю такого человека, такого чистого, благородного, талантливого. Мы полюбили его как родного и оплакиваем как нашего сына...»

Гокка долго сидела недвижно, глядя на гимнастерку с поблескивающими наградами, платок с зеленой каймой, стопку тетрадей... «Вот и все, что осталось от той жизни, в которой они были вместе и были счастливы...» Нет, еще остались Кемисхан и мать Аслана. Но как найти их? Когда она заговаривает об этом, ей отвечают, что легче найти иголку в стоге сена... Гокка сложила аккуратно вещи Аслана в большой фанерный чемодан и закрыла его на ключ.

Немного улучшилось положение спецпереселенцев, и вдруг в один далеко не прекрасный день поселок всполошился – узнали, что коменданта Яценко сняли с работы. Люди недоумевали, спрашивали: «За что?» А Гокка даже не удивилась – давно кошки скребли на душе, со страхом и отчаянием ждала этого дня, – иначе и не могло быть: видно, белая ворона добрейший Петр Николаевич среди «черношинельников» в комендантских кабинетах. Мягкий, с отзывчивым сердцем. Дома ничего лишнего. Даже корову заводить не стал – сам с ней не управился бы, а иметь батраков не позволил бы себе – точно. Молоко покупал у соседей – Кузнецова и представить было странно с бидоном в руках, тому приносили молоко на дом как дань хану.

Когда Гокка зашла к Яценкам попрощаться, Петр Николаевич помогал жене собирать вещи.

– Как я и предполагал, Гокка Маджаевна... Так что ничему не удивляюсь. Все правильно – всяк сверчок знай свой шесток! Может, поумнею еще когда-нибудь... Жаль, что с вашим переводом в район так и не получилось, а теперь наврядли получится, на мое место приходит некто Сукманов, не сахар, скажу я вам, жестокий мужик, в тюрьме работал... Ну, да Бог даст, может, еще обойдется... – заправил в ремень белую льняную косоворотку. – А мне и учительства теперь не видать. Жаль, очень я люблю детишек... Что ж, поеду к старикам, буду землю пахать. Прощевайте, стало быть. И не поминайте лихом...

– Прощайте, Петр Николаевич... – только сейчас поняла Гокка, что теряет дорогого для себя человека. – И спасибо вам, ведь вы вернули веру людям в то, что добро не перевелось еще на этом свете. И я кланяюсь вам, вы были для меня опорой. Буду помнить вас, пока жива буду...

Сукманов не появлялся долго. А в «Трудовике», по всему было заметно, ждать его перестали очень скоро. Опьяневшие от запаха созревшей пшеницы, люди убирали поля, не оставляя ни единого колоска. На току подбирали все до зернышка. Бережно укладывали мешки с пшеничкой на подводы – готовились везти добрый урожай на хлебоприемный пункт в район. Подходила уборка табака, свеклы, кукурузы. И свои огороды, не в пример сорок четвертому году, дали хороший прибыток – везде виднелись горы кукурузных листьев, початки молотили домашним дедовским способом, много уродилось овощей и картошки. Теперь можно жить. Благо и мельница колхозная заработала, спецпереселенцам не стало нужды ходить тайком на противоположную сторону реки, а что длиннющая очередь, не беда – наговоришься с соседями, столько новостей узнаешь! Многие обзавелись ручными, похожими на те, какие были у них в родных аулах, мельничками – когда испек из своей муки лепешку, и землянка становится домом!

Сукманов объявился как гром среди ясного неба. Однажды утром всех спецпереселенцев собрали в комендатуре – для знакомства и расписаться, хотя до очередного срока было еще далеко. За столом сидел грузный, с несуразно оплывшим лицом мужчина без возраста, на узкий лоб падали клочья реденьких волос, из под них колюче сверлили собравшихся злые, узкие глазки. Сукманов долго изучал список жителей «Трудовика», Гокка даже подумалось, что он задремал над ним, покойно умостив подбородок на груди. Но вот наконец комендант очнулся от раздумий, не вдаваясь в историю вопроса, взял быка за рога.

– Я вам не Яценко. Зарубите себе по гроб жизни! За малейшее непослушание всем «кутузка». И еще запомните: из колхоза – ни шагу! Никуда! Даже в Токмак, на базар... Если вздумается кому, будем разговаривать по-другому! – хлопнул по кобуре, оттягивавшей на боку ремень.

«Зверь в человеческом облике, – думала Гокка, разглядывая Сукманова. – Такой способен на любую жестокость, ведь перед ним не люди – спецпереселенцы! Они, один за другим, молча расписывались и тихо выходили из кабинета. Последними расписались Гокка и Халимат. Задержались у стола.

– Что еще? – прохрипел Сукманов.

– Мы хотели узнать, можем ли через вас разыскать своих близких? – спросила Гокка.

Комендант брезгливо скривил губы, глаза-щелочки стали еще уже, еще колючей. Проворчал с ленцой:

– У меня нету ни времени, ни желания разыскивать всякую падаль. Радуйся, что сама не подохла... И не ходи сюда – за вшивыми собаками носиться не намерен!

«Куда уж ясней дал понять Сукманов, что у него и формальным правом на розыск не воспользуешься, – думала Гокка, готовясь к приему больных, –

что он здесь полновластный хозяин, если даже не единственная власть, и что все зависит от того, не чешется ли у него левая пятка...» Не надеялась, что Сукманов разрешит, спросила просто на всякий случай. Она ведь так и не получила ответ на свое, еще кузнецовской эпохи, заявление в НКВД. Все это время, тем не менее, продолжала поиски – расспрашивала «списанных» фронтовиков, не переставала связываться с теми, кто что-нибудь знал или хотя бы приблизительно слышал о ее сестре или свекрови...

Однажды ей сообщили адрес женщины, которую выселили из Микоян-Шахара и которая будто бы могла поведать о судьбе Кемисхан. Гокка тотчас послала письмо. Ответ пришел уже через пару дней. Женщина писала, что действительно была знакома с Кемисхан Боташевой. Микояншахарцев выселили в те же дни, что и чаульцев, тоже везли дней двадцать с лишним и выбросили в степи, как говорится, рукой подать от Токмака. Выходит, соседи они. Привезли их в казахский аил. Кемисхан, одна-одинешенька, рассказала, что вся ее родня осталась в Чауле, а она в областном центре находилась на совещании. Решили держаться вместе. Голодали. Побирались. А вскоре в одной из саманных хибарок, куда Кемисхан зашла, прося подаяние, старик казах изнасиловал бедную девушку…

Гокка сватали. Те, кого выгнали из своей семьи, да и «с приданым», у кого умерла жена, а детишки и хозяйство остались без догляда. Сватали и женатые мужики – одни обещали сделать «все по закону», развестись со «своими бабами», другие, казахи из местных, азербайджанцы побогаче, другие единоверцы с достатком во дворах, соглашались взять ее кто второй, кто младшей, кто любимой женой, осыпая посулами и прилипчивыми похотливыми взглядами. Такой любви Гокка не понимала. Просто она для них, в чем она не сомневалась, очень удобная вдова – молодая, работящая, красивая, а главное, подол детишками не облеплен.

Перечеркнула она свою личную жизнь. Ни к одному из искателей руки и сердца не испытывала даже чисто внешней симпатии, считая все эти заходы надругательством над памятью об Аслане...

Однажды о Гокка вдруг вспомнил Сукманов и вызвал ее в комендатуру. Она стояла – стулья для посетителей, конечно же, исчезли из кабинета – перед его столом ни жива ни мертва, пока он рылся в ящиках, найдя, что искал, читал какую-то бумажку, жуя воздух толстыми, лоснящимися от жирного налета губами. Наконец он соизволил заметить Гокка, хотя она – всякий раз пересиливая себя, потому как с души воротило! – громко поздоровалась с ним, когда вошла. Попробуй не поздороваться! Сукманов как будто ждал этого – вскакивал со стула и бил по лицу наотмашь. Ударил так отставника Азрета. Тот не стерпел, ответил по-фронтовому. И его под конвоем отправили в район. До сих пор о нем ничего не слышно... Гокка боялась не того, что ее ударит комендант, а что, ударь он, тоже не сдержится,

тогда уж больше ни на кого не поднимет Сукманов руку... Почувствовала на себе колючий его взгляд.

– Ну что ж, пляши, вражья морда! Тебя переводят в районную больницу. Теперь-то душу отведешь! Поорудуешь ножичком!.. Ехать двадцатого декабря! Шмотки забирай с собой!

Вышла от коменданта униженная, раздавленная. Колотил озноб – от бессилия, от гнева. Даже не было сил радоваться... Начала прием, но сосредоточиться не могла...

До отъезда осталось меньше двух недель. Но предстоящее событие не радовало и не огорчало Гокка – оскорбления в кабинете Сукманова, бесконечное горе вокруг превратили ее в камень. Иногда на короткие часы перебарывала себя, серьезно задумывалась о своей будущей работе. Всегда эти годы она думала о ней как о чем-то невозвратимо прошедшем – руки ее огрубели, а хирург должен тонко чувствовать пальцами, они должны беспрекословно и без малейшей заминки совершать самые точные и рациональные движения, без суеты, но и без пагубной медлительности. Значит, нужна практика, тренировка, необходимо восстановить форму. Думала и о том, о чем не раз говорили они с бедной мамой: в районе у нее будут сносные условия – зарплата, какая-никакая служебная квартирка, – но рядом не будет ее соплеменников, с кем пережили вместе так много черных дней, и тети Марьи, душевной ее заботницы, не будет рядом... Как она уедет, бросив всех их на погибель?.. Была б ее воля, не уехала бы. Но теперь на попятный идти нельзя – райотдел НКВД предписывал ей заменить районного хирурга. Ослушание тут недопустимо... И только рукописи Аслана возвращали ее к жизни. В них она отыскала ответ, как ей поступить и на этот раз. И тетя Марья подкрепила ее.

– Я, може, про усе не разумею, дак ты не серчай, доченька, – подсунула миску горячих оладий и сметану в чашке. – Горяченькаи... Поешь покуда, а я покалякую с тобой... Здеся, вишь, – ткнула узловатыми пальцами под иссохшую грудь, – завсегда болит. Сколь уж годов нас сюда с-под Рязани пригнали, а и щас деревню свою как живу вижу. Родителев тута, – краешком платка смахнула слезу, – на чужой погост спровадила, потом вослед и первенца сваво, Ванюшку. Горюнюсь век, а живу... Господь терпел и нам велел. Твой-то Бох рази, не тах-тошь? Ты молодая ишшо, дева моя... Табе ишшо гнездушко вить...

«Вот всегда так, придет вроде и без дела как бы, а будто специально, будто знает, что надо меня утешить», – думала Гокка, провожая Трифониху. И вдруг физически ощутила – прикипела душой к этой доброй женщине.

Ранним утром двадцатого декабря – в черной ушанке, в шинели и черных валенках – Гокка в последний раз вышла на порог Фридиного дома. Дядя Вася, в надвинутой на глаза ушанке, в просторном белом тулупе,

уже поджидал ее, чтобы отвезти в район. Прохаживался возле небольших легких саней, уминая валенками хрустящий на морозе снег, ласково похлопывал по крупу гнедую, со звездочкой на лбу лошадку, заиндевевшую под куцей попоной. Здесь же толпились спецпереселенцы и местные – как не проводить любимого доктора. Гокка поблагодарила Фриду за комнату. Обняла на прощание Христину, Халимат, тетю Марью. Подошла к Василию Андреевичу. Он вновь принимал фельдшерский пункт – отказывался, но райотдел НКВД предписал, так что вынужден был согласиться, даже пошутил грустно: «Что ж, придется опять тянуть лямку...» Поцеловала старого фельдшера и побежала к саням... Вещи уложены – всех вещей-то фанерный чемодан да несколько узлов, – можно ехать... Гокка зябко поежилась, холод, что ли, под шинель забирается... Запричитали, заплакали женщины. И мужики зашмыгали носами.

– Да рази шь так можна, ревьмя реветь на дорогу? – замахала руками Трифониха. – Всех делов двадцать верст до тудова. Пешим ходом, бывалыча, и не стока бегали...

– Наша веревочка слишком коротенькая, – сказала, вытирая глаза, Халимат. – Увидимся ли когда...

У Гокка перехватило дыхание, ком подкатил к горлу. Хотела что-то сказать пришедшим проводить ее, но слова подевались куда-то. Да и выразить ли словами то, что чувствует она сейчас, глядя на людей, с которыми сроднилась за эти годы? Невыносимо видеть их печальные глаза. Как будто хоронят кого... Пора ехать... Уехать! И окунуться с головой в работу, чтобы забыть обо всем! Но этих людей она будет помнить до конца дней своих. Села в сани. Привстала на минуту, махнула рукой. Прощайте, прощайте все... И уткнулась лицом в спину дяди Васи. Он тронул лошадь. Захрустел под полозьями снег. Черным облаком взметнулись в набрякшее свинцовой синевой небо вороны, с карканьем закружили над застывшими в ледяном сне тополями, над заваленной снегом дорогой. «И чего разговорились? Только тоску нагоняют»... – воронья стая будто придавливала Гокка своими криками.

– Эт они, растреклятые, к непогоде горланят. К холодам... Н-но-о, Маальчик! – причмокнул дядя Вася и переложил кнут из руки в руку.

«Хорошо, что не ударил лошадь, – благодарно посмотрела Гокка на возницу, – я загадала...»

На выезде из села, у спецпереселенческого кладбища, Гокка попросила дядю Васю остановиться на минутку. Но получалось, что придется задержаться – снег глубокий, сыпучий, надо протаптывать к могилам тропку, зарываясь в белую крупу по колено. Растерянно обернулась, подумывая, может, вернуться? Дядя Вася похаживал возле саней. Махнул ей рукой.

– Иди, иди, доченька! Попрощайся с мамкой!

Когда хоронила маму, ее могила была крайней. А потом кладбище разрослось, оградой обнести его не смогли, и оно оказалось летом и осенью на семи дорогах для пасущейся где попало скотины, равнодушно уничтожавшей все, что растет на могильных холмах без надгробий, а зимой – на семи ветрах, наносивших со всей степи столько снега, что он и сам кладбищенский взгорок ровнял со степным безбрежием. Наконец отыскала дорогой холмик – по фанерной табличке, обозначавшей, кто здесь похоронен, которую Гокка поставила в изголовье, – раскидала в стороны варежкой снежный намет и, сняв по фронтовому обычаю шапку, склонилась над матерью. «Бедная моя, как ты боялась умереть вдали от родных гор. Сокрушалась, что мы вернемся, а твои кости останутся в чужой земле... Похоже, нас никто не собирается возвращать в Карачай. Видишь, я еду в райцентр, меня перевели хирургом в больницу. Но я буду приезжать к тебе, родная моя»... Вернувшись к саням, оглянулась – на белом покрывале сиротливо чернел холмик мерзлой земли.

Долго ехали молча. Снежные комья мерно разлетались из-под копыт. Смахнув с усов иней, дядя Вася нарушил наконец молчание:

– Ишшо, може, и не такое пережить придется. Так что бери себя в руки, доченька...

– Другого не остается, – горько усмехнулась Гокка.

В морозной дымке неожиданно показался Курдай. На вид станица, а раскинулась по степи с городским размахом. Улицы, улицы, улицы... Повсюду над камышовыми крышами от труб тянулся дымок. Снуют взад-вперед сани, розвальни и даже на колесном ходу повозки – до стеклянного блеска наезжена дорога.

На крыльце районной больницы их уже поджидала заведующая райздравотделом Амантаева, полноватая, лет сорока, с озабоченным лицом.

– Слава Аллаху, приехали! Скорее пойдемте. Я покажу вам вашу комнату.

– Дядя Вася, вам надо погреться, отдохнуть, пойдемте, – позвала Гокка старика, – посмотрите мое жилище, может, кипяточку сообразим...

Дядя Вася дал Мальчику торбу с овсом, ослабил подпруги. Подхватив узлы, пошел следом за женщинами.

Комната оказалась небольшой, но с двумя окнами и деревянным полом. Гокка не поверила глазам: посередине добродушно урчала, обдающая таким нестерпимым жаром, раскаленная докрасна «буржуйка», рядом кучей лежали угольные брикеты – можно топить сколько угодно и не бояться, что назавтра будет нечем обогреться!

– Чувствовала, вот-вот приедете, – довольная, что услужила гостье, вывела ее из раздумий Амантаева, – распорядилась, чтобы в вашей комнате затопили печку.

В своей – подумать только, в своей! – комнате Гокка еще увидела заправленную железную больничную кровать, придвинутый к окну стол с двумя стуль-

ями, в углу возле двери – старенький, с хлюпающим носиком рукомойник. На окнах – белые казенные занавески. От этого комната совсем походила на больничную палату. Гокка пригляделась: «Действительно, обычная палата, а может, раньше тут приемный покой был раз вход отдельный... Все равно – роскошно!» – зажмурилась от переполнявшего ее счастья. Обняла заведующую:

– Спасибо вам, спасибо...

Гокка сняла с дяди Васи тулуп, усадила старика на стул перед печкой. Свою шинель повесила на крючок у двери, одернула китель и еще раз, в смущенье, оглядела новое жилище.

– Устраивайтесь, Гокка Маджаевна, – ласково проговорила Амантаева, невольно любуясь молодой стройной женщиной. И вдруг спохватилась: – Что это я стою? Вы же с дороги!.. Вас накормить надо! Я сейчас.

Вернулась она скоро, озабоченная и серьезная. За ней в узкую дверь протиснулась повариха с подносом в руках. И на столе задымились две миски с супом, котлеты в большой тарелке. Ударил аромат подового свежего хлеба.

– Спасибо, Роза Амантаевна... – тихо сказала Гокка. – Я и не мечтала о таком рае. – И склонилась над миской.

– А я мечтала, – задумчиво проговорила заведующая, глядя на орден на выношенном кителе капитана (увы, бывшего!) медицинской службы, – мечтала, что вы будете главврачом в нашей больнице. А то у нас, – продолжила извиняющимся тоном, – на этой должности фельдшер. Правда, – уточнила словно бы в оправдание, – у него стаж тридцать лет... Мечтала... – Амантаевна прерывисто вздохнула, как вздыхают, когда собираются сказать такое, после чего самый тяжелый камень с души скатывается. – Но ведь вы... понимаете сами... вы спецпереселенца...

– Я все понимаю. И ни на что не претендую... Мне бы немножко прийти в себя, восстановить форму – я уж и не помню, когда в последний раз держала скальпель...

– Боюсь, уважаемая Гокка Маджаевна, на все на это уже нет у нас времени... Вам прямо сейчас придется встать к операционному столу. Тяжелый у нас... Фронтовик, только-только домой вернулся, и на тебе, заражение от незаживающей раны. Гангрена ноги. Нужна срочная ампутация. Тянули до вашего приезда – до Фрунзе просто не довезли бы. Был-то плох, а тут совсем худо... В операционной все готово, сестра опытная...

Гокка машинально вытянула перед собой руки, привычно растопырила веером пальцы, словно уже стояла в операционной и проверяла «волной», не сковывают ли перчатки. Руки отогрелись, кисти стали послушными, вместе с теплом в них вливалась уверенность. Будто не было этих кошмарных лет, когда пальцы стали уже забывать холодок скальпеля. Будто полчаса всего лишь удалось ей отдохнуть после десятой сегодня или две-

надцатой уже операции. Тепло печки и горячий обед тоже сделали свое дело. Как бывало на фронте, когда страдания бойцов оставляли ей одну только мысль: «Я должна помочь!» – Гокка почувствовала, что вся она стремительно становится упругой и собранной. По фронтовой привычке переобулась в сапоги. Ну, все – теперь она, кажется, готова...

Гокка подошла к дяде Васе, наклонилась к нему, прижалась щекой к макушке с проплешиной в реденьком белесом пушку.

– Тете Марье передайте, на всю мою жизнь матерью она для меня останется. А вы вместо отца мне. Приезжайте, всегда ждать вас буду. Мой дом – ваш дом, пусть он нашим домом будет.

Гокка поцеловала дядю Васю и, не оборачиваясь, чтобы не расплакаться – нет, нужна твердость и твердость, сейчас операция? – вышла в коридор, стуча сапогами. Громко позвала оттуда:

– Роза Амантаевна! Идемте!..

Заведующая коротко представила нового хирурга медперсоналу, прочитала основное из истории болезни «тяжелого», особенно подробно – анализы, какие удалось сделать в их условиях.

– Согласие на операцию? – строго спросила Гокка.

– Сам просит, – ответила Амантаева. – Да и жена согласна. Оформлено как положено. – В руках у нее мелькнула бумажка с подписями и печатью. – Ваша бригада готова.

– Бригада? – удивилась Гокка.

– Я буду ассистировать вам, – отозвался главврач. – К вашим услугам... – он «по-старорежимному» поклонился Гокка.

В палате около «тяжелого» хлопотала сестра, заканчивая приготовления к операции. Он лежал с закрытыми глазами, лицо отсвечивало мертвенной бледностью. Когда Гокка взяла восковую руку, нащупывая пульс, с трудом разлепил веки.

– К вам пришел хирург, – наклонился над «тяжелым» главврач. – Хотите ему что-нибудь сказать?

– Надеюсь очень... доктор... – прошелестел голос из оставшегося неподвижным рта.

Гокка осмотрела больного, особенно тщательно – в буро-красных пятнах ногу. И резко поднялась:

– В операционную! Быстро!

В операционной Гокка почувствовала себя в родной стихии. Через минуту она уже была облачена в халат, фартук, шапочку, марлевую маску, перчатки. Сама проверила инструмент.

– Простите... Не подумайте, что не доверяю. Фронтовая привычка. Там иной раз солдатик вместо медсестры... Получше узнаем друг друга, уверена, будем понимать с полувзгляда, что нужно и когда...

«Бригада» согласно промолчала...

Когда больного увезли в палату, Гокка просто-напросто рухнула на табурет – здесь же, возле залитого кровью операционного стола. Устала... «А как же ты думала, несколько лет не было практики, а первую операцию пришлось делать рискованную, тяжелую – недаром называют гангрену огненной болезнью. Ну и что, что она первая, тут не скажешь – первый блин комом...» Подошла сестра, сняла с нее маску, перчатки. Гокка с удивлением, будто впервые видела, разглядывала свои руки...

Потом она сидела в ординаторской, в которой еще плавали клубы папиросного дыма – главврач, прекрасно помогавший Гокка, тоже устал ужасно, прежде чем уйти домой, сидел здесь, курил, полпачки окурков в пепельнице! – записывала в историю болезни ход операции, во всех мелочах восстанавливая его шаг за шагом: от мытья рук до наложения швов... Будто бы все соблюдено. Все должно быть нормально. Но почему же тогда сомнения не дают покоя? Ах да, на время операции забыла, кто она такая. Сейчас вспомнила... Если с этим русским фронтовиком что-нибудь случится, если, не приведи Аллах, исход операции окажется неблагоприятным даже по объективным показателям, ее, конечно же, обвинят в преднамеренных действиях, а проще говоря – в умерщвлении... Опять страх. И именно теперь, когда руки обрели уверенность.

Дежурная сестра принесла чаю. Гокка с удовольствием выпила. Чай немного успокоил взбудораженную душу. Оторвалась от истории болезни. Медленно поднялась на гудящие ноги, прошла полутемным коридором в палату к оперированному. Он спал – наркоз еще действовал. У изголовья сидела молодая курносенькая женщина – жена, догадалась Гокка. Она вскочила навстречу, умоляюще приложила к груди руки.

– Доктор, у нас двое детей... доктор... – и заплакала.

– Все будет хорошо, моя милая... – вымучила улыбку Гокка. – Приду через некоторое время...

Прошла к себе. В комнате приятное сухое тепло – жаркие угли дышат огненно, постреливая снопиками искр. «Все будет хорошо! – разозлилась на себя Гокка. – Откуда такая самоуверенность? А если ты что-нибудь сделала не так? Если твои руки, одеревеневшие за столько времени подвели тебя, а ты даже не заметила? Если больной не выживет? Что скажешь тогда этой женщине? Риск, он всегда присутствует в жизни... Вся жизнь – один сплошной риск... Особенно моя... Уж, не за себя ли боишься ты, моя милая? – разозлилась Гокка еще больше. – Что за истерика, доктор? Ты должна думать только о спасении больного, даже если и маячит тебе каторга!» Накинула шинель, пробежала в больничную половину по улице, чтобы немного унять нервную лихорадку.

Солдат лежал с открытыми глазами – наркоз отпускал его, могучий организм отбросил смерть... Что-то шептал наклонившейся над ним жене.

Гокка присела на краешек кровати. Взяла вытянутую поверх одеяла восковую руку. Нащупала пульс. «Наполнение хорошее», – облегченно вздохнула и улыбнулась.

– Ты, Макар, молодчина. Теперь дела пойдут на поправку.

– Я живучий, доктор, – косил Макар на жену смущенно-радостный взгляд. – Три раза раненый был, и то ничего. – Перевел дух. Облизал сухие губы. Попробовал улыбнуться. – Вот тока с левой стороны под одеялом пусто...

– Ничего, Макар... Не разлюбит жена... Вон какая она у тебя замечательная.

Женщина теребила концы съехавшего на шею головного платка и смотрела широко раскрытыми глазами то на Гокка, то на долгожданного своего, возвращающегося к жизни, – в глазах у нее стоили счастливые слезы.

В день выписки Макар поджидал своего доктора на пороге палаты, неуклюже, но бодро пританцовывая на костылях. Гокка воскликнула обрадовано:

– Да ты, Макар, бегаешь вовсю!

– Если б не вы, доктор, – фронтовик смахнул кулаком слезу, – бегать мне сейчас на том свете у чертей на посылках...

– От деток поклон, что не оставили сиротами, – жена Макара бухнулась Гокка в ноги, крестясь на доктора истово, как на икону.

Гокка бросилась поднимать женщину.

– Что вы делаете? Встаньте! – Сказала строго Макару: – Береги ее, солдат! И живите долго!

«И Аслан мог бы жить долго, если бы не самодурство тамошнего коменданта, – раскрыла фанерный чемодан, прижала к груди гимнастерку мужа и беззвучно зарыдала. – Аслан, Аслан... очень хочу к тебе поехать, но здесь тоже сидит самодур, почище Сукманова... – И вдруг представила одинокие безымянные холмики в степных просторах. – Надо накопить денег. Пошлю Байчоровым. Думаю, они помогут поставить памятник Аслану... И маме надо будет поставить тоже...».

Ужасно одинокой ощущала она себя на новом месте, а в такие моменты – особенно. На работе было еще ничего, сносно – операции, дежурства, наблюдения больных занимали ее мысли. А возвращение домой всякий раз оказывалось невыносимой пыткой – потому и старалась подольше задержаться в ординаторской, заполняя истории болезни, по нескольку раз обходила палаты, сидела у постели оперированных. Она так боялась наступления этой минуты! – остаться наедине с воспоминаниями, преследовавшими ее кошмарами, она просиживала ночи без сна, а утром совершенно разбитая переступала больничный порог... Время не лечило, не притупляло боль. Усиливалось одиночество, хотя иногда она все же на-

ходила в себе силы для общения со своими соплеменниками. «А так ведь и язык забудешь...» – заставляла она себя выйти из дому. Здесь, в Курдае, кроме нее, жили еще две карачаевские семьи спецпереселенцев. Одна, сантехника Муссы, была привезена сюда из селения Каракунуз, вторую, зоотехника Исмаила, доставили в распоряжение райсельхозотдела из поселка Шортюбе. Видно, немалая нужда в таких специалистах явилась, раз «энкавэдэшные» власти решились оказать доверие «бандитам»... Из «Трудовика» сюда никто не приезжал – Сукманов свое слово держал крепко! Хорошо еще переписку не запретил. Изредка получала от Халимат весточки. Она сообщала, что они с хлебом – и это немного утешало Гокка, – что детишки ходят в школу, что спецпереселенцы-«земляночники» постепенно собираются с духом и ставят саманные хибарки, что всем есть дело в поле и на животноводческом комплексе... Но чаще всего выручал ее из беды Аслан – при тусклом свете лампочки ночи напролет перечитывала его рукописи и до рассвета не возвращалась в свою комнату...

В последнее время Гокка часто думала об издании романа «Годы и горы». Это очень важно... Подрастут карачаевские дети, родившиеся на чужой земле, и своя история, и свой язык, и само слово «карачаевец» станут для них чужими. А разве может быть иначе, если народ рассеян – словно сухими степными ветрами – по всей Средней Азии и Казахстану? Гокка с болью видела, что карачаевцы теряют свой родной язык. Люди старшего поколения говорят уже на какой-то чудовищной смеси карачаевского, русского и преобладающего местного, а дети – по-казахски, по-киргизски, по-узбекски, по-русски, только не по-карачаевски. Праздник в доме, когда ребенок знает хоть несколько десятков карачаевских слов. А если дети считают себя карачаевцами, родители не устают благодарить Аллаха за то, что он так милостив к ним... Очень нужен роман. Это не просто художественное произведение, повествующее о событиях в Карачае с того времени, когда в горы пришла Советская власть, и до боев с фашистами под Сталинградом. В нем сама жизнь горцев, может, когда-нибудь придется возрождать прежнюю жизнь, вот тогда роман Аслана будет читаться как энциклопедия, как учебник... Нет, возвращалась всякий раз Гокка с небес на грешную землю, похоже, дети спецпереселенцев уже не будут стараться узнать, кто они такие, кто такие карачаевцы – их родители уже не так хорошо знают горские обычаи и культуру, а скоро и узнать будет не у кого и негде; еще немного, и не останется стариков, а книги, хранящие историческую память народа, недоступны, под семью запретами они! Нет, сейчас об издании романа и речи не может быть. Никому он не нужен. И завещать рукопись некому – значит, он умрет вместе с Гокка. Ей вроде как рано думать о смерти, но та не спрашивает, смерть сама выбирает жертву, и несть им числа, – ненасытная, она все еще не разлюбила карачаевцев... Опять и

опять Гокка спрашивала себя: ради какой высшей, скрытой от людей цели принесены в жертву тысячи и тысячи их, безвинных? Ради чего по воле вождей и отцов народов уничтожаются целые народы? Почему страдает и ее народ? Круг замыкался, на смену мучительной ночи, в завываниях вьюги, в песчаных летних ветрах, приходил день, надо было выбираться из-под одеяла и спешить к больным, сжав в кулак волю и нервы, – никакой поблажки себе, иначе за малейшую оплошность придется расплачиваться самым жестоким образом, сразу напомнят, что ты спецпереселенка, враг народа, а значит, занимаешься вредительством, так что оправдаться ни за что не сможешь. Нельзя сказать, чтобы ее не ценили как хирурга, к ней относились с уважением, но и – очень остро чувствовала Гокка – с каким-то налетом настороженности, ей даже казалось временами – недоверия. Честолюбивой себя не считала, действительно, делает свою обычную работу, а почему-то становилось горько всякий раз, когда предстояло подводить итоги месяца, квартала, года. У Гокка постоянно были самые хорошие показатели, и это ставило райздравотдел в затруднительное положение – и оставить без внимания нельзя, и поощрить спецпереселенку опасно, в НКВД могут соответственно отреагировать. Гокка понимала всю щекотливость ситуации с ней и сама отводила свою кандидатуру... Нет, ничего ей не надо. Она уже перестала видеть в себе человека – тень, отголосок потерянной жизни она, и кому какое дело, что ее израненное сердце пока еще живо, пока еще кровоточит...

* 10 *

Только весной сорок девятого, словно после изнурительной болезни или затяжного кошмарного сна, стала понемногу приходить в себя Гокка. Приоделась – купила пару штапельных платьев, черные и белые туфли на среднем каблуке, черное демисезонное пальто, белый берет и белую сумочку, еще кое-что по мелочи – неприлично все время ходить в одном и том же, да и пора военную форму на плечики повесить, как-никак дорогая сердцу память!

Однажды шла по центральной улице и вдруг невольно ускорила шаг, чуть ли не побежала вдогонку за мужчиной в шинели без погон, с потрепанной планшеткой в руке. Седые курчавые волосы выбиваются из-под фуражки – что-то знакомое почудилось в облике. Узнала. Вскрикнула:

– Коркмазов!

Мужчина обернулся. Гокка смутилась: «Нет, не он, обозналась...» Но приглядевшись, убедилась: Харун – нос с горбинкой, удлиненное лицо, тонкие губы и, конечно же, его глаза, их-то не спутать ни с чьими... А седина... что ж, это их общий отличительный знак... Харун подумал было от-

вернуться, но глаза его удивленно округлились, брови озорно подскочили и он тоже не удержался от восклицания:

– Гокка! Ты?!

Счастливые, что судьба послала им такую встречу, долго не разнимали рук и смеялись, смеялись от радости. Они были сокурсниками в мединституте. Харун был влюблен в нее до беспамятства, она не отвечала ему, отчаявшись, он пылко признался ей в своих чувствах, но она сказала, что у нее есть любимый, и он отступил, как настоящий джигит. Потом, в сорок первом, они встретились в огненной фронтовой каше – она оперировала его, – чтобы потеряться через неделю-другую на долгие-долгие годы. И вот они нашли друг друга. Брели куда-то, не замечая вокруг ни времени, ни пространства. Гокка пригласила Харуна домой. И за чаем они говорили и говорили… Оказалось, Харун потерял всех своих. Здесь у него отыскался племянник, – он единственный уцелел из всей родни, работает слесарем в ремонтных мастерских, теперь два бобыля коротают век под одной крышей. Сокрушался, слушая рассказ Гокка. Она почему-то умолчала об Аслане. Спросил о нем.

– Он умер от ран... – тихо ответила Гокка.

– Прости, не знал... – Харун помрачнел, долго смотрел перед собой в одну точку.

Гокка поинтересовалась:

– Где ты будешь работать?

– Предложили какую-то Черную Речку. Но там ни одной спецпереселенческой семьи, а я истосковался по нашим. Когда племянник сказал о тебе, я обрадовался, и вот нашел тебя?

– А в нашу больницу нельзя? У нас врачей не хватает. – И вдруг поймала себя на мысли, что спросила не лишь бы спросить, почему-то захотелось, чтобы Харун был рядом.

– Там оголен участок, скоро придется ехать... – пригасшим голосом проговорил Харун, а Гокка уловила другое: «Теперь ни за что не поехал бы...» Вскочил, словно его кнутом стеганули. – Прости, засиделся... Будто побывал в своей юности... Приду еще, если не возражаешь...

Конечно, нет, не возражает! Даже теплее на душе стало от этой встречи.

Харун приходил часто. Они сидели за чаем, говорили и не могли наговориться – о юности, о студенческой поре, вспоминали то и дело приключавшиеся с ними смешные истории, кто на что оказывался горазд. И ни слова о пережитых кошмарах. Точно другой кто-то прошел доставшиеся им круги ада. Молодость подгоняла их жить без оглядки, не давала минуты остановиться, передохнуть, опомниться.

Сначала робкая искорка вспыхнула в сердце у Гокка, но вскоре в нем уже бушевало неистовое пламя. Она пыталась потушить, обуздать его – у нее нет права на счастье, ведь столько ее соплеменников ушло из жизни,

самых дорогих своих потеряла она, потеряла единственную свою любовь, Аслана, и Харун лишился жены – Гокка знала ее, красавицу и умницу, они учились на одном курсе, – и трехлетнего сынишки, они умерли от тифа... Харун не раз уже намекал Гокка, что сама судьба соединяет их. «Но мы не будем счастливы, – со страхом думала Гокка, – между нами всегда будут тени Налмасхан и Аслана...»

Накануне отъезда Харун зашел проститься. Пили чай молча. На пороге Харун задержался, долго смотрел на Гокка, наконец решился.

– Гокка, дорогая... Мы с тобой чудом выжили. Как все живое друг к другу… Выходи за меня... Завтра мне ехать в Черную Речку принимать участок. А если ты будешь согласна, я стану ездить на работу отсюда...

Она ждала этого и боялась. А сейчас просто лишилась сил. Если скажет «да», предаст память об Аслане. Откажет – опять одиночество, тоска, назойливые женихи, осаждающие ее и здесь беспрестанно... Пусть не будет у нее в новом замужестве любви, не будет счастья, ей нужно просто немного тепла. В самых заветных уголках сердца останется Аслан с ней, вечный ее траур, – Харун даже не узнает об этом. Но все равно – пусть простят ее и Аслан, и Харун...

Вскоре Харун и Гокка стали мужем и женой. Харун перебрался к ней. Рано утром уезжал или уходил пешком в Черную Речку, а по вечерам в комнатке Гокка царил домашний, семейный покой. Мир раздвинулся для Гокка, она стала смотреть на него другими, ожившими глазами – она снова начинала жить, ведь ей всего лишь тридцать два.

Но так продолжалось недолго. Незаметно, со стремительной неудержимостью, вызревал разлом – не смогла Гокка пригасить свои душевные муки, все более жестоко винила себя, что предала Аслана, что радуется не счастью, а видимой оболочке, внутри которой обман, фальшь, какое-то угарное похмелье... Первая трещина появилась как бы из ничего.

Спецпереселенцы в райцентре теперь расписывались в комендатуре не два раза в месяц, а один. Об этом же писала и Халимат. Опять стали думать-гадать, мол, дело к возвращению идет...

Однажды Харуна вызвали в районное отделение внутренних дел – вместо четырех страшных букв, НКВД, теперь на вывеске было всего три, Министерства Внутренних Дел – и напомнили, что он должен, как и раньше, расписываться два раза в месяц. На вопрос Гокка, почему он, раздраженно ответил:

– Потому что я сидел!

– Как – сидел? Когда, ведь ты попал ко мне в госпиталь. Я сама тебя оперировала!

– Все верно, – Харун стукнул кулаком по колену. – Потом я лежал в тыловом госпитале. После выписки дали трехдневный отпуск домой. А в первую же ночь аул оккупировали фашисты. Выбраться оттуда было невозможно...

– Тебя схватили «зеленые»?! – вскрикнула Гокка.

– Н-нет... Притащили в комендатуру. Когда узнали, что я врач, заставили принять фельдшерский пункт.

– И ты лечил немцев?!

– Нет, своих они лечили сами. Мне было поручено местное население.

– Вот оно что... ты служил немцам... И получал немецкими марками?

– Ну что ты травишь мне душу?! – Харун вскочил со стула и стал нервно ходить по комнате из угла в угол.

Гокка тоже поднялась. Но к Харуну не подошла, мешало ей что-то. Спросила тихо:

– Сколько же ты отсидел?

– Пять лет... Освободили без права проживания на родине... Теперь я, как и все вы...

Что-то надломилось в ней. Она не стала больше ни о чем спрашивать, молча принялась готовить ужин. Слезы душили ее. И на дворе лил дождь, редкий в этих местах, весенний, но он не радовал Гокка. Мысли теснили друг друга: почему же она не расспросила его обо всем? А почему она думает о нем, как о предателе? Ведь он всегда был порядочным человеком. Воевал. Был ранен. Если бы отказался, немцы расстреляли бы его. А так он лечил наших... Но ведь мог бы и уйти к партизанам? Не ушел, наверное, связи с ними не было... Все равно должен был что-нибудь предпринять! Какой же это тогда защитник Отечества? Нашлась защитница, вдруг урезонила себя, а какая разница между тобой и Харуном? Оба спецпереселенцы, оба враги народа, оба одинаково бесправны...

Путались мысли. Раскалывали надвое душу. Нет, думалось все чаще, Аслан так не поступил бы... Все больше отдалялись они с Харуном. А он еще и подливал масла в огонь – бешено ревновал ее. К Аслану. Ко всем. Больным сделался. В ад кромешный превратилась ее жизнь, когда райцентровскую больницу расширили – появилась пристройка, стало больше коек, и медперсонала, врачей прибавилось тоже, – и Харун перевелся в нее из своей Черной Речки. Все врачи – от главного (Гокка обрадовалась, когда главврачом к ним прислали солидного терапевта) до молодых ассистентов – относились к Гокка с теплой симпатией, видя и уважая в ней прежде всего опытного и самоотверженного коллегу. А Харун в каждом из них подозревал соперника, поклонника, тайного счастливца. И устраивал дома безобразные, затягивавшиеся на недели скандалы. Гокка старалась не показывать на работе вида, что семейная жизнь у нее не ладится, считала для себя оскорбительным выметать сор за порог, но скрывать от людского глаза распрю с мужем становилось все труднее. И так ничего не ускользало от сослуживцев, от соседей, – как ни таись, все будто сквозь стены просачивается! – а тут Харун взял да и выплеснул на людях изъедавшую

ему нутро и душу ревность, как-то при всех залепил пощечину молодому врачу – не будет, дескать, подмигивать Гокка! Ничего подобного тот и в мыслях не держал. Гокка тоже возмутилась, что Харун бесчестит ее. А ему точно того и надо было, пуще рассвирепел, закричал на всю больницу, что его, Коркмазова, жена выпачкала грязью, снюхавшись с паршивым молокососом, а он-то, дурак простодушный, думал, что они коллеги. Врач заявил, что не намерен оставлять этот инцидент без последствий и что непременно сообщит о случившемся в МВД. С трудом удалось уговорить его не делать этого. Но Харун не отрезвел, не успокоился, не образумился – дома еще ожесточеннее накинулся с укорами и обвинениями на Гокка, теперь уже ни капли не сомневаясь, что у нее с этим сопляком интимные отношения – иначе он не послушался бы их и побежал в комендатуру. Выговорившись, потный, обмякший, бросился перед ней на колени, вымаливал прощение, клялся, что любит ее как безумный, что все забудет, все простит... «Что же ты собираешься мне простить? – с отвращением глядела Гокка на корчившегося на полу в нервном припадке Харуна. – Ничего человеческого не осталось... Ты ведь мужчина, врач, а так обращаешься со мной, убивая и меня, и своего ребенка, которого я ношу под сердцем...» Сказала жестко, решительно:

– Мы должны расстаться, Харун. Хочешь, уходи, я тебя не держу. Если тебе некуда идти, оставайся в моей комнате, уйду я, у нашей санитарки Дуси есть свой домик. Вместе нам не жить. И не будем больше говорить на эту тему.

Харун помотал головой, будто на голову ему опрокинули ушат ледяной воды, некоторое время сидел, широко раскинув ноги и упираясь руками в пол. Гокка отошла к окну, молча смотрела в вечернюю мглу. Не обернулась, когда Харун, кряхтя, поднялся на ноги, нетвердой походкой стал ходить по комнате, громыхнул чемоданом, потом, собирая вещи, еще и еще раз, когда, надсадно дыша, подошел к ней – она спиной чувствовала его тяжелый, вонзающийся в тело, словно сталь штыка, взгляд, когда медленно поплелся к двери, когда она совершенно бесшумно закрылась за ним...

Без особых сложностей оформили развод. Теперь Гокка видела Харуна только на утренних «летучках»– бледный, раздражительный, сидел он в стороне, уставившись в стену и, казалось, не слушал того, что говорили, – в коридоре нет-нет да и сталкивалась с ним, Харун пожирал ее глазами, а она пробегала, с замиранием сердца страшась какой-нибудь выходки с его стороны: бывало, особенно в первые дни, заступал дорогу, шел за нею следом, пытался что-то объяснить или кричал в приступе злобы. Гокка тяготилась его присутствием в больнице, мучительно было видеть его, но зато в своей комнате ей было хорошо и покойно. Совсем успокоилась, обрадовалась даже, когда Харун перевелся опять в Черную Речку. Не ве-

рилось, что можно спокойно идти домой, не ждать с тревожным волнением стука в дверь, что не нужно прятать от людей глаза, стыдясь истерик Харуна. Гокка вдруг ощутила зной лета, томление по влаге привядшей зелени, до нее только теперь дошло наконец что война кончилась – уже четвертый год, как войне конец, а ты в своей степной операционной все еще на фронте! Раны мучили фронтовиков, как там, в полевом госпитале, здесь тоже все решали минуты... И еще приметы мирного времени стала она замечать. Никогда не приглядывалась, а тут как-то остановилась и стала разглядывать на кофте у санитарки Дуси жаркой бронзы медаль с величественным профилем Сталина, потом она часто видела такие же, на красно-зелено-красной колодке, у многих, даже у спецпереселенцев, – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», у некоторых посверкивали и ордена. Играли свадьбы, правда, тихие больше, но и вдовы, и с детишками, выходили замуж. Рождались послевоенные крепыши... Гокка последнее время часто задумывалась, может, не надо было ей допускать ребенка? Что его ждет? Унижения, лишения, бесправие... Но тут же останавливала себя, корила за слабодушие. Ребенок – это вышний дар! Она прислушивалась к себе: в ней начинают бродить, вырвавшись из-под спуда, материнские чувства к тому крохотному существу, которое скоро – она горит ожиданием настоящего счастья! – уже очень скоро придет в этот мир. У нее тоже появится семья, пусть маленькая – она и долгожданный ребенок, хорошо бы мальчик! – но это будет ее семья!

В октябре пятидесятого у Гокка родился сын. Она дала ему имя любимого их с Асланом литературного героя – Артур. Они зачитывались романом «Овод», Аслан десятки страниц читал по памяти, когда по вечерам они гуляли в горах… Если бы малыш родился в горах Карачая, вся родня с обеих сторон – две бабушки, дед, тетушки и дядюшки, которых просто не перечесть, – многочисленные друзья и знакомые, соседи, аульчане, прохожие и проезжие, оказавшиеся возле дома Аслана и Гокка, собрались бы на торжество, завалили бы новорожденного с макушки до ножек подарками. А здесь... здесь ее поздравляли сотрудники роддома и сослуживцы, поздравляли тепло, от души, но, да простят они Гокка, – не по-карачаевски...

Выйти на работу пришлось Гокка раньше положенного срока. Пьянчужка-хирург, которого она заменила, когда ее перевели сюда, был временно взят подменным хирургом. Держался довольно долго. Но спиртовой дух, видно, победил старика, соблазнился раз, потом другой, вроде ничего – сошло с рук, и за старое принялся. Теперь церемониться с ним не стали – дисквалифицировали и выпроводили из больницы, еле устроился куда-то ночным сторожем... Санитарка Дуся согласилась присматривать за малышом – для Гокка она тетя Дуся, а для Артура – чем не бабушка? Когда и не на дежурстве, сорок раз на дню забежит в комнату Гокка, а де-

журит когда, колыбелька «внучонка» – ее еще один объект. Артурчик, они обе так его называли, наверное, чувствовал к себе любовь и заботу этой некровной ему бабки, наверное, жалел мамочку – и рос спокойным ребенком, хорошо спал, хорошо ел, хорошо делал все остальное, беспрестанно улыбаясь беззубым ротиком.

Гокка вся ушла в работу, она и помыслить не могла прикладывать к тому, что было для нее целью жизни, всего лишь полсилы, не поворачиваясь к больному душой. Натянутая пружина, ведь ей, спецпереселенке, ошибаться нельзя, это вопрос жизни и смерти. Коллеги понимали ее состояние, и она была им благодарна за это...

Как-то вечером пришел Харун – поглядеть на сына. Не выгонять же отца ребенка... Поставила чай. Говорили о чем-то пустом, отвлеченном. Наконец Харун сказал:

– По-моему, он похож на меня...

– Только не приведи Аллах, чтобы и характером тебя повторил, – грустно проговорила Гокка.

– Куда же я дену свой характер, коль уж родился таким?

– Ты мужчина... Ты должен обуздывать страсти. Куда же ты подевал свой рассудок? Устраивал скандалы, следил за мной, подозревал меня по мельчайшим пустякам! Как же ты мог так запросто оскорблять во мне женское достоинство – самое дорогое, что есть у женщины?! Жить невмоготу стало. Всех мужчин из-за тебя возненавидела. Не могу я с тобой жить. Дикий ты, страшный... Уходи!

– Не гони. Я пришел мириться. Пойми, у нас ребенок. А характер, дурацкий, понимаю, конечно, переломлю... Разве я не знаю, какая ты женщина, чистая и светлая, как горный ручей... Позволь мне остаться...

– Нет! Хватит с меня! Жизнь с тобой – хуже каторги. Только память об Аслане и спасала меня от петли. Ну, теперь-то уйдешь наконец?

– Ненавижу твоего Аслана! Будь он проклят! И мертвый стоит между нами! – И Харун с треском захлопнул за собой дверь.

Остро кольнуло сердце. Гокка тяжело опустилась на кровать. «Так тебе и надо... Расплата за то, что предала память об Аслане... Вот оно, твое счастье... Поделом...»

* 11 *

– Доктор? Идите скорее в ординаторскую! – послышался из коридора голос тети Дуси. – Щас по радио будут передавать важное сообщение!

«Аллах мой! Неужели опять война? – ужаснулась Гокка. И сразу мысль: – А как же Артур? Третий годик всего. Несмышленыш. Придется отвезти его к тете Марье...» Здесь за ним по-прежнему присматривала тетя Дуся – в

садик водить далеко, на другой конец райцентра, – а когда она отлучалась из больницы, Гокка приходилось брать сынишку с собой на дежурство. Артур, светловолосый, с голубыми глазами, страшный непоседа, был всеобщим любимцем – не только врачей и медперсонала, но и больных. Лица их, измученных недугами и болью, расцветали всякий раз улыбками, когда Артур ходил с матерью от койки к койке и лопотал с заговаривавшими с ним тетями и дядями по-казахски, по-русски: играя на улице со сверстниками, и особенно со старшими ребятами, он схватывал чужую речь и уже все тяжелее понимал, когда мать говорила с ним по-карачаевски... «Да, придется везти к тете Марье...»

– Скорее, доктор!..

Когда Гокка вбежала в ординаторскую, черная тарелка радио голосом Левитана извещала, что сегодня, пятого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, в Москве после тяжелой и продолжительной болезни на семьдесят четвертом году жизни скончался... Диктор сделал паузу, в комнате воцарилась гнетущая, оцепеневшая тишина, Гокка боялась услышать его имя, ведь четыре последних дня передавали бюллетени о состоянии его здоровья, а оно катастрофически ухудшалось. Несколько секунд, не больше, длилась пауза, но она показалась бесконечной. Но вот раздался голос, дрогнувший и осевший, – словно умирающие за горной вершиной громовые раскаты, ударили в висок три слова – Иосиф Виссарионович Сталин...

Левитан прочитал сообщение, полились скорбные мелодии, все стояли недвижно и молча, с опущенными головами. Кто-то сдавленно зарыдал. Засморкались в платки... Не верилось, что великий, бессмертный вождь окончил свой земной путь – как простой смертный. Плечи сгибались под тяжестью беспредельного горя. Не было обиды на него, что ж, и отец, оказывается, может несправедливо обидеть, но от него ждали и возвращения справедливости, а теперь, выходит, осиротели они – неоткуда им ждать освобождения.

Почти неделю Гокка не находила себе места. Самые противоречивые мысли терзали ее. И вдруг она ужаснулась одной: почему так – Ленин когда умер, от стужи вся Россия застыла, все живое будто перестало дышать от невосполнимой потери, а Сталин умер, сама природа будто воспряла от тяжелого сна – сдвинулись снега, весна ручьи гонит, вода урывается на свободу... А придет ли когда-нибудь к карачаевцам?

Появившаяся было надежда вскоре, однако, угасла, уступив безысходности и тревоге, ведь среди новых руководителей партии и страны – в газетах, по радио все чаще назывались фамилии: Маленков, Булганин, Хрущев – оставался и тот человек, которого спецпереселенцы знали, что называется, лично – Гокка прекрасно помнила, как подписанными этим

человеком приказами коменданты остервенело тыкали им в лицо... Суслов... Гокка заставляла себя не думать об этом, на работе и некогда было, а вот по вечерам, уложив Артура спать... Сидела с ногами на кровати, пыталась читать медицинские книги, но все время возвращалась к одному и тому же. Уставала от бесплодных раздумий, мысли съезжали на самое обыденное: Артурчик сопит во сне, попарить ножки ему надо, что ты будешь делать, опять по столу мышь пробежала, не прячется даже, ткнулась мордочкой в полотенце, под которым хлеб, пора завести кошку, завтра напомню Артуру, что игрушки на ночь убирают – они тоже должны спать... Сегодня как-то особенно остро ощутила тоску по своим, по тете Марье. Гокка сидела у кроватки сына, он, раскинувшись, безмятежно посапывал, возле ручонки лежали поводья красного коня, а тот замер в полупрыжке рядом с отдыхающим джигитом... Скакуна вырезал из дерева дядя Вася и передал с тетей Марьей в подарок для Артура, она ездила теперь в район часто – сюда из «Трудовика» ходил автобус, – всякий свой приезд наведывалась к Гокка и всякий раз гостинцев полны руки: соленья, варенья, свойский хлебушек и даже вот коня привела! Ну и, конечно, засыпала ее рассказами о житье-бытье. Правда, забывчивая стала, по десять раз одно и то же, будто впервой «сообчала», ну да не беда, если хорошие новости. «Молодцы твои карачаи, Галя, – любила повторять Трифониха, – трудяги, што стар, што мал. Построилися усе. Городы капают. А скока медалев понаполучали, ужась...» А осенью как-то приезжала грустная. «Знаешь, Галя, ребятов ваших апосля школы, сказывали намедни, никуда не берут. Да разишь можна тах-то?» – слезы и недоумение в добрых глазах Трифонихи. Халимат тоже писала об этом. Не раз Гокка задумывалась: что ждет Артура, неужели и ему дорога учиться закрыта?.. В один из последних приездов тетя Марья рассказала, что у них заложили фундамент участковой больницы и поликлиники – колхоз на свои денежки строит! Гокка и сейчас размечталась: как хорошо бы перебраться назад в «Трудовик», здесь без своих ей трудно. И тут же распрощалась с мечтами. Конечно же, придется и в этом случае испрашивать в МВД разрешение, а как там посмотрят на это?.. Ведь она спецпереселенка. А это слово как проклятье над нею, над всеми карачаевцами... И никого не интересует, что они хорошо показали себя в работе, что жили себе тихо, никого не трогая, ничего не требуя. Да и что могли они требовать, если не смели даже просить?.. Что скажет комендант, как представит дело, такое и будет о них мнение. Обычно – Гокка насмотрелась и наслушалась, когда искала по всей Средней Азии мужа, – комендант сгущали краски, докладывали по начальству: бандиты, глаз да глаз нужен, денно и нощно с отродьем этим они начеку! Потому и рука вечно на кобуре, хотя никто из спецпереселенцев никогда ни за что не стал бы на душу брать камень – а уж как вынуждали они, как испытывали че-

ловеческое терпение... Ночи напролет просиживала Гокка, глядя на спящего сына, и думала, думала... За десять лет подросли у выселенцев дети – благодарение Аллаху, пережили они голод, холод, тиф. Но и они, как и старшее поколение, обречены на бесправие – молодежь ощущала его на себе, болезненно воспринимала к себе иное отношение, нежели к местным (один такой факт: им разрешалось сдавать вступительные экзамены в вузы на территории среднеазиатских республик, но даже получив проходной балл, спецпереселенец не проходил – причины находились всегда!), и тем не менее молодая карачаевская поросль не понимала сути произошедшей с их народом трагедии, не испытывала тоски по национальным корням, по очагам в домах предков, все несправедливости относя исключительно к войне и тяготам послевоенного времени.

Подрастают дети, подрастают и тревоги за них. Как-то Артур пожаловался, что у него болит глазик. Гокка чуть с ума не сошла – бельмо затягивало зрачок правого глаза! – Артуру на будущий год в школу, а со зрением катастрофа. Надо срочно показать его окулисту, но для этого придется ехать во Фрунзе. А у нее нет разрешения, и не будет никогда – комендант запретил спецпереселенцам куда бы то ни было выезжать из Курдая. Обратиться к главврачу тоже не рискнула – зачем уважаемому коллеге лишние неприятности на немолодую уже голову! Отпросилась у него на несколько дней, посидеть якобы дома с ребенком. А сама рискнула – вышла на шоссе, и ее с Артуром взял в кабину шофер доверху нагруженного мешками с зерном грузовика. Шофер высадил их на окраине Фрунзе. И пока Гокка задворками, чтобы не напороться на милиционера, боясь даже спросить кого-нибудь из местных, разыскивала городскую поликлинику, рабочий день у врачей чуть было не закончился. Врач осмотрел Артура, приложил какую-то с неприятным запахом мазь, дал Гокка с собой баночку и сказал, что можно идти домой, лекарство прикладывать, как он сделал, через несколько дней должно пройти... Силы оставили Гокка, но душа пела от радости – теперь все будет хорошо! Артур ужасно устал, и по дороге к автобусной станции Гокка несколько раз брала его на руки. Купила билет, лепешку для Артура – их продавала девочка, которую едва было видно из-за горы товара на подносе. Села с сыном в укромном месте, автобус отправлялся нескоро. Солнце опускалось за верхушки тополей, тени от веток проползали мимо Гокка. Она устало провожала их взглядом, как вдруг остановила его на выросшей перед ней паре начищенных до блеска сапог. Медленно подняла голову – так и есть, милиционер! – мгновенным рывком прижала Артура к груди, поняла, что попалась.

– Вставай! Пошли! – равнодушно скомандовал блюститель закона.

«Только бы не отняли у меня моего мальчика. Артур, сынок! Никому не отдам тебя!» – Гокка взяла его на руки, пошла впереди милиционера. Обогнули здание автостанции, милиционер ввел задержанную в дверь с табличкой «Отделение милиции» и сдал дежурному лейтенанту, киргизу на вид. Тот спросил:

– Спэспереселенэс?

Отрицать глупо. Она кивнула. Макнув перо в чернильницу, лейтенант накарябал несколько строчек на довольно измятом листке. Продолжил допрос:

– Автовокзал сидел зачем? Бижать хотел?

– Я работаю хирургом в райцентре...

Лейтенант записывал, поглядывая то на нее, то на притихшего мальчугана.

– ...Приехала сюда, чтобы... – Гокка совершенно терялась, глядя на ничего не выражающее лицо лейтенанта. – … а теперь домой возвращаемся.

– Документ! – потребовал он усталым голосом и протянул руку, нетерпеливо пощелкивая пальцами.

– Вы же знаете, у нас нет документов! – вырвалось у Гокка.

– Комендант разрешение давал?

– Я ведь вам уже говорила...

Лейтенант еще что-то написал на листке. Швырнул на стол ручку – чернильные брызги веером полетели на бумаги. Покрутил у виска пальцами.

– Дальше пят километар спэспереселенэс нет права ехат! Не знал, скажешь?

– Знала... Но ребенок мог ослепнуть... Поймите... Я мать... – душили Гокка слезы.

– Приказ читал? Шутка шутить вздумал? Плахой шутка... Говори, кто есть такой? – и опять взялся за перо.

Гокка пошарила в сумке, нашла свою потрепанную офицерскую книжку, развернула до дыр истершийся на сгибах вкладыш, где было сказано, что капитану медицинской службы такой-то предоставлен десятидневный отпуск по ранению. Пока лейтенант читал, рассказала коротко, как получилось, что она стала спецпереселенкой... С каменным лицом он сделал на листке у себя какие-то пометки, бросил вкладыш на край стола. Помотал головой.

– Нет, не документ.

Подозвал милиционера. Долго по-киргизски говорил ему что-то, пристукивая ладонью по столу. Гокка напряженно вслушивалась, кое-что все же поняла: она арестована... приказ взять под стражу...

Снаружи скрежетнул в скважине ключ, и она с Артуром оказалась в грязной комнатушке – по углам паутина, весь пол замусорен окурками, не приведи Аллах, здесь еще и крысы! – уличный свет едва пробивался через маленькое, помутневшее от налипшей грязи и пыли окошко. В сум-

раке, напитанном песчаной пылью, Гокка увидела железную койку-нары с досками, заменявшими сетку. Артур измаялся за день, капризничал, все тянул куда-то мать, стоявшую недвижно, не понимал, что она убита горем! Малыш скоро устал, плюхнулся на пол и, обхватив ноги матери, уснул. Гокка уложила его на кровати. Сама всю ночь просидела без сна. «Теперь каторги не миновать. Бросилась в омут, чтобы спасти сына, а выходит, подставила его под удар...»

Утром милиционер выпустил их во двор, проводил до туалета. И сразу обратно, под замок. Прежде чем повернуть ключ, дал каких-то хлебных корок.

– Что вы собираетесь с нами сделать? – спросила Гокка, не надеясь, что услышит что-нибудь вразумительное в ответ.

– Сдават твой комендант. Каторга пойдешь.

Прошло еще трое суток, но их все держали под арестом и почему-то не отправляли. На четвертые в комнатушку просунул голову какой-то незнакомый милиционер и небрежным кивком указал на дверь:

– Давай, выходи...

Гокка послушно поднялась. Артур уже не мог встать – она с трудом взяла его на руки и вышла во двор. Там прогревал двигатель милицейский фургон с решетками на окошках. Двери фургона были открыты, по приставной лесенке с сыном на руках Гокка вскарабкалась внутрь, села на узкую лавочку возле кабины. Милиционер уселся рядом с шофером, и машина тронулась.

«Куда нас везут? – пыталась сориентироваться на местности Гокка. – Теперь каторги не миновать, это уж точно... Ладно, ей грозит наказание, а ребенок чем виноват?» Артур рассматривал странную машину. «Ох уж эти мальчишки!» – улыбнулась Гокка. Нащупала в кармане баночку с мазью, благодарно вспомнила доброго доктора и вздохнула: «Слава Аллаху, лекарство не отобрали...»

Машина остановилась минут через сорок – пятьдесят. Сквозь запыленные стекла Гокка ничего не увидела – не поняла, куда их привезли. Двери открылись, им приказали выйти. Оказалось, они во внутреннем дворе ее родного райотдела МВД – Гокка проходила через него иной раз, когда являлась к коменданту расписываться. Сопровождавший ввел ее в дежурную часть, протянул дежурному какую-то бумагу. Тот расписался в ней и вернул милиционеру, доставившему Гокка с сыном. Она усмехнулась: «Сдали – приняли...». Когда коллега из Фрунзе ушел, дежурный смерил Гокка любопытным взглядом и с каким-то неизбывным сожалением проговорил:

– Быть бы тебе на каторге, дамочка, со своим змеенышем, если бы не бумага, что пришла вчера... Иди на все четыре стороны!

Не верила Гокка своим ушам. Прижала к себе Артура и медленно, пятясь к двери, ошарашенная новостью, растерянная, взволнованная, вышла из помещения. Осыпала поцелуями сына. И что было сил побежала от этого страшного места.

Дома нагрела воды, выкупала измученного ребенка. Почти сонного, покормила его. Уложила в постельку. Артур заснул тотчас. Гокка привела себя в порядок. Не выходила из головы бумага, о которой упомянул дежурный. Побежала к главврачу. Не стала ничего от него утаивать. Он слушал сочувственно, а сказал с некоторым укором:

– Я сам отец. И понимаю вас. На какой только риск не идем мы, родители, ради своих детей. Но мне представить трудно, каковы были бы последствия вашего отсутствия, поступи к нам больной, которому требовалось бы срочное хирургическое вмешательство. К счастью, вашему и моему, такого не произошло... Что же касается бумаги, о которой вам сказали в МВД, это документ съезда по поводу осуждения культа Сталина...

– Я не поняла... – Гокка показалось, что она ослышалась. – Что все это значит – Сталин, культ, осуждение?

– Оказалось, ошибок у него было много, грубо попирал он ленинские нормы...

– Как можно о нем так? О вожде?

– Двадцатый съезд партии все поставил на свои места. Хрущев, теперешний первый секретарь, выступил с докладом. Теперь-то мы знаем, какому идолу молились... Ленина забывать стали...

Гокка мотала головой, будто пыталась стряхнуть наваждение.

– Для меня, Иван Иванович, все это, как обухом по голове. Нас воспитали беззаветно преданными Сталину. Мы остались такими, хотя с нами поступили бесчеловечно. Парадокс, согласна. Понять такое трудно...

– Я старше вас, Гокка Маджаевна. И повидал всякого. Часто задумывался над тем, почему с нашего советского народа уже почти сорок лет взимается самая страшная дань – человеческими жизнями. Никак не мог в толк взять, кто же сборщик этой кровавой дани... Извините, только пусть наш разговор между нами и останется... А Сталина почитать за божество, разумеется, мы привыкли. Не скоро это раболепие из нас вытравится. Но жизнь, я уверен, изменится к лучшему. Видите, и «внутренним делам» указано смягчить свои «специальные меры» – в пределах Средней Азии спецпереселенцам разрешено теперь ездить без отметок в комендатуре... Что ж, поживем – увидим... Так что приступайте к работе и работайте спокойно...

Но на душе спокойствия не было, одолевала тревога, не верилось, что она избежала каторги, что за отлучку без разрешения коменданта ее не накажут, будоражили ее, бередили ей раны разговоры о культе личности, о двадцатом съезде, о «перегибах» с коллективизацией, о необоснованнос-

ти выселения народов. Одни защищали Сталина, говоря, что если бы не он, ни за что войну не выиграли бы. Другие ругали, бросая ему страшное обвинение – репрессии, уничтожение людей... Хвалили Хрущева, дескать, смельчак, отважился на такой шаг – Сталина свалил с пьедестала! Другие самого его крыли на чем свет стоит, вынес, мол, сор из избы, сам при Сталине как сыр в масле катался, сколько лет молчал, боялся, а теперь, когда лев мертв, и шакал ему на грудь наступить норовит... Иван Иванович горячо вступал в разговоры, особенно когда они затрагивали Гокка, говорил что думал, за это и попал в немилость к партийному секретарю.

– Что-то вы разговорились... – обронил он как-то, многозначительно взглянув на Ивана Ивановича.

– Повод есть... – сердито ответил он.

Воспользовавшись первыми же свободными от дежурств днями, Гокка поехала с сыном в «Трудовик». Халимат заплакала от радости. А тетя Марья распалилась не на шутку:

– Эка безобразил, гад. А ишшо отец народам называлси. Помыкал народишко из-за яво горя, кровушкай да слезьми умылси. Штоб яму, проклятушшаму, в гробе тесно было! Ну да таперича полегшило. Може, и вам дорога домой ляжит...

Домой, на Кавказ! – одно у всех на устах, одно в мыслях. А ведь люди обросли хозяйством, очень часты смешанные браки. Значит, опять на разрыв, опять трагедии...

Гокка ночевала у Халимат. Подруги проговорили до утра – минутой показалась ночь! А утром Халимат отпросилась с работы, и они пошли на кладбище, к матери Гокка.

Печальная картина открылась перед ними – лишь несколько ухоженных холмиков на заросшем бурьяном взгорке. Заброшено, забыто людьми вечное пристанище ушедших в беспечальный край? Нет, осиротело кладбище, к ним теперь уже некому прийти... Ходили между могилами. Все они – Гокка охватило отчаяние – ничем не отличались одна от другой! Ввалившиеся, без надгробных камней... Гокка примерно помнила участок, но сейчас она не могла сориентироваться, не могла найти мамин холмик – табличка пропала куда-то... С тяжелым сердцем плутала Гокка по кладбищу, распугивая сусликов и змей, единственных здешних жильцов. Гокка и Халимат остановились на краю мира мертвых.

– Хоть один из них умер своей смертью? – как бы со стороны услышала Гокка свой голос. – Голод, холод, тиф, фронтовые раны... Теперь они умерли второй раз...

Халимат плакала. «Бедная девочка? – подумала Гокка, – как ей тяжело с ее живой душой в этой страшной жизни...»

С противоположной стороны забрели на кладбище две коровы – обилие бурьяна и травы, видно, притягивало их сюда. Гокка бросилась прогонять этих безмозглых гулен, но Халимат грустно сказала:

– Бесполезно. С одного края прогонишь, они с другого зайдут. Сколько на ограду камней или самана потребуется, страшно подумать. Да и некому осилить такое. Наших совсем мало осталось. Не только родственники должны заботиться о могилах. Все выжившие в этом аду. Так испокон века велось у карачаевцев... Аллах мой! Я ропщу на людей, а сама потеряла могилу родной матери! – Гокка горько зарыдала, уткнувшись в грудь Халимат.

– А ведь можно сделать дувал, – попыталась она утешить подругу. – Людям просто в голову не пришло. Они только-только очухались после кошмара... Сделают... – погладила Гокка по плечу.

Теперь уже Гокка твердо решила, что вернется в «Трудовик». Место в здешней новой больнице для нее, наверное, найдется... После кладбища зашла в бывший фельдшерский пункт, походила по новым палатам. Настя рассказала, что у них теперь трое врачей и главврач, окончивший в этом году мединститут в Алма-Ате, что есть еще не занятое место врача, и вдруг поднесла к глазам кончик платка – не хотела расстраивать, да не выдержала душа, Василий Андреевич недавно помер...

С заплаканными глазами переступила Гокка порог кабинета главного. Выслушав ее, он ответил без энтузиазма:

– Вакантное место есть, уважаемая коллега. Конечно, я бы не против. Василий Андреевич покойный отзывался о вас, кстати, с самой лучшей стороны. Но, как бы это вам сказать...

– Я поняла, можете не продолжать, – Гокка порывисто поднялась из-за стола, – не хотите осложнений, конечно, брать на работу спецпереселенку опасно, лучше иметь дело с чистыми. Прощайте. Не буду вам портить карьеру.

Только показалась на больничном пороге, тотчас ее обступили соплеменники – в каждом карачаевском доме ждали Гокка, самого дорогого для всех человека. А в одном доме даже свадьбу не начинали без почетной гостьи... Нет, не карачаевская вышла свадьба – до неузнаваемости исковеркан обычай, лучше было бы не видеть всего этого уродства! – ни обрядовых песен, ни танцев, ни зажигательной джигитовки, будто прикованные к лавкам, похоже, старались гости за молчаливо-тягучим застольем перешибить один другого тем, кто больше съест, кто больше выпьет свекольной «баламутки»...

На остановку автобуса провожать Гокка с Артуром пошли Халимат и Разият. И опять говорили о самом больном для всех.

Вдруг Гокка вздрогнула. Халимат говорила о том, о чем сама она боялась себе признаться:

– Ты знаешь, как я верила Сталину. Пока не увидела, что народ наш раздавлен по его воле. А теперь, кроме гнева и ненависти к нему, ничего не чувствую.

– Находятся сейчас такие, – сказала Разият, – которые оправдывают Сталина, говорят, что во всем виноват Берия.

«А у тебя все еще висит портрет вождя…» – будто горячее что-то ударило в грудь Гокка. Пальцы сжались в кулак...

Дома, только вошла в комнату, неровный свет лампы выхватил на стене кусочек окаймленного лесополосой свежевспаханного поля, на краю которого в утренних лучах, с плащом на руке, в белом кителе, стоял он, улыбчиво всматриваясь в открывавшуюся перед ним даль... «А у нашего народа утра не было...» – рука сама потянулась сорвать портрет. Но что-то остановило Гокка. Согрела на керогазе воды, вымыла Артура с дороги. Он так устал, что не притронулся к еде, заснул прямо за тарелкой. Уложив сынишку, Гокка открыла окно. В невыносимой летней духоте, к которой примешивалось угарное марево керогаза, перед глазами встали бурьянные заросли брошенного карачаевского кладбища, среди которых затерялась могила ее матери... Змеи и суслики, безымянные холмики земли над теми, чьи сыновья, мужья, отцы сражались за Родину, с именем Сталина в последнем вздохе отдавали за нее жизни, – вот она, правда! «Не может Правда жить в чертогах Лжи... – вспомнила Гокка вдруг строчки из стихов Аслана – Не может Ложь блистать в ее одеждах... – Гокка подошла к портрету на стене. Долго вглядывалась в него. – Но ведь живет!» Руки словно сами собой взметнулись. И на полу заплясали вырванные из стены кнопки. Бумажные клочья полетели в печку, и в одну секунду – едва успела Гокка отдернуть дрожащую руку – пламя со спички набросилось на них и, с жадностью изжевав помертвевшие комки, исчезло, оставив после себя жалкую горстку пепла. Гокка закрыла печную дверцу, оглянулась на окно. Прислушалась. Стучало сердце, отдавало в висках. Дрожь в руках не унималась. Подбежав к окну, Гокка, точно спешила куда-то, затворила его и рывком задернула занавеску. «Страх! Опять страх! – подумала с раздражением. Снова подошла к окну, рванула занавеску, толкнула створки. – Вся жизнь в страхе. Будто с закрытыми глазами жили. Будто и не было тех светлых пятнышек в жизни – в той жизни, какой жили до войны...» Забрезжило утро, а Гокка так и не ложилась. Разбудила Артура, пожарила ему яичницу и побежала на дежурство. Совсем не спала, а в операционной тотчас собралась – сегодня она должна вырезать у женщины кисту, операция несложная, но для Гокка нет «проходных» операций.

После операции, как всегда, усталая, опустошенная, сидела в ординаторской. Как всегда, небольшая комнатка была набита до отказа – говорили о культе Сталина, о послесъездовских переменах, пили зеленый чай.

Гокка не понимала вкуса этого странного чая, но заставляла себя пить его, когда надо было восстановить силы. Однако сегодня усталость не отпускала, страшно клонило в сон. Сквозь наплывающую дрему услышала голос пожилого терапевта:

– Как знать, чем все это обернется... Заварил кашу Хрущев, открыл клапаны. А не будет ли от этого вреда больше, чем от железной Сталинской руки?

Сон улетучился. Гокка стала прислушиваться к разговорам.

– Думаете, люди не сумеют воспользоваться тем, что жить стало свободнее? – спросил кто-то.

– Думаю, нет, – ответил терапевт. – В тридцатые годы из людей последние силы выжали...

– Если Хрущеву не помешают, он многое изменит. Должно так произойти... – проговорил подменный хирург и посмотрел на Гокка. – Думаю, и жизнь спецпереселенцев теперь изменится...

Когда была в последний раз в «Трудовике», Гокка слышала, что спецпереселенцы собираются направить в Москву делегацию. Сказала тихо:

– Наши хотят передать письмо Хрущеву с просьбой о возвращении карачаевского народа на землю предков.

– Скоро некому будет возвращаться. Мрут они, несчастные... – вставила операционная сестра. – По колхозам ездила, видела...

– Действительно, мрут... – мрачно выдохнула Гокка. Помотала головой. – Но те, кто выжил, хотят вернуться в родные горы! Даже лишь за тем, чтобы лечь в землю отцов и дедов! Ничто не удержит нас!

Когда закрывала за собой дверь, услышала:

– Молодцы они все-таки! Гнули их, крушили, а они все такие же, неистовые, гордые!

Самые уважаемые люди вошли в карачаевскую делегацию на встречу с Хрущевым. Восемь человек: Курджиева Нузула Хачьяевна, Герой социалистического труда, из Казахстана; Чагаров Ибрагим Джашарбекович, восьмидесяти восьми лет, из Киргизии; Гаджаев Маджир Ибрагимович, инженер-конструктор, ветеран войны, из Москвы; Курджиев Тауби Хамзатович, офицер запаса, из Казахстана; Байрамуков Юсуф Мамуроевич, бывший партизан, из Казахстана; Джаммаев Мурат Исхакович, офицер запаса, бывший секретарь бывшего Малокарачаевского райкома партии; Урусов Умар Исхакович, служащий, из Казахстана; Байрамкулов Ибрагим Узденович, колхозник, участник войны, из Казахстана.

Четвертого июля 1956 года в Кремле делегацию принял Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев.

Когда карачаевцы вошли в просторный светлый кабинет, их охватило смущение – Никита Сергеевич сидел за письменным столом, что-то писал. Увидел вошедших, поднялся, пошел навстречу, с каждым поздоровался за

руку. Пригласил сесть. Простой, добросердечная улыбка – смущение улетучилось куда-то. Появился настрой на серьезный разговор. Начал его хозяин кабинета:

– Я ознакомился с вашим письмом. Желание карачаевского народа мне понятно. Но это дело трудное, запутанное. Распутать его непросто. Вернувшись с Кавказского фронта, Берия доложил Сталину, что некоторые кавказские народы, как он выразился, продались врагу. Этого Сталину оказалось достаточно, чтобы выселить не только эти народы, но и те даже, которые не были оккупированы. Я на двадцатом съезде говорил, что Сталин и сорокамиллионный украинский народ выселил бы, если бы нашел куда. Тяжелым недугом страдал он последние годы, а такие, как Берия, пользовались этим. Я себя часто спрашивал, неужели Сталин не понимает, что весь народ виноват быть не может? Кучка предателей может отыскаться в любом народе. Но целые народы... Кто же тогда победил фашистского зверя? А Берия за то, что безвинных людей выселяли, ордена раздавал. Я был против таких мер, но Сталин, Берия тем более, никого и слушать не стали... Как я уже говорил, вопрос запутан. Он осложнен еще и тем, что на ваших землях теперь живут другие люди. Они ни в чем не виноваты, их тоже переселили. Есть еще одно обстоятельство: карачаевцы так хорошо показали себя, что местное руководство не хочет их отпускать... Как видите, целый клубок проблем. Мы занимаемся всеми этими вопросами. Наверное, медленнее, чем надо бы, но занимаемся. А что касается политической реабилитации народов, думаю, это вскоре мы решим. Думаю, будет правильно увязывать возвращение народа с его политической реабилитацией.

В разговор вступил Маджир Гаджаев:

– Тяжелый груз вам достался, Никита Сергеевич, мы понимаем. И очень хотим помочь делу. Карачаевцы просили вот что передать вам. Они обещают не требовать автономии, как было до войны. Домой на свои деньги поедут, не станут у государства просить. А дома не будут настаивать, чтобы сваны ушли из наших мест. В конце концов, они занимают примерно десять процентов земель в Клухорском, бывшем Микоян-Шахарском, районе, остальные земли свободны, мы можем поселиться и на них – ни с кем пререкаться не станем. Лишь бы те, кто сейчас живет там, не были против нашего возвращения.

– Вы о сванах упомянули. Действительно, у Берия был план увеличить территорию Грузии за счет соседних народов Северного Кавказа, – пояснил Хрущев.

– Теперь понятно, почему выселены карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, – проговорил Гаджаев.

Хрущев попросил рассказать, как живут спецпереселенцы. Гаджаев не стал сгущать краски, но и не умолчал о несправедливостях по отношению к ним, о лишениях, выпавших на их долю.

– Если судьба нашего народа сейчас не изменится к лучшему, лет через пятьдесят он просто исчезнет.

– Растворится в тех народах, среди которых живет, – поддержал мысль Хрущев. – Какова сейчас численность народа? – приготовился записать в блокноте.

– Около семидесяти тысяч осталось... – ответил Мурат Джаммаев.

– А может, не все захотят вернуться? – спросил Хрущев.

– Конечно, такие найдутся, – ответил Гаджаев. – Кто сотрудничал с немцами и не успел убежать вместе с ними. Их единицы. Кто связан семейными узами с местными жителями. Много их, очень много. Но все равно домой ехать надо – пусть думают, где их дом. Если наш вопрос не решится положительно, Никита Сергеевич, наш народ проклянет нас.

– А людям нашим так мало надо, – вставил Тауби Курджиев, – чтобы им разрешили умереть на земле предков.

Хрущев записал что-то в блокноте и поинтересовался, кто где работает.

– Я колхозница, – смутилась Нузула Курджиева. Хрущев улыбнулся:

– Не просто колхозница – Герой!

Нузула зарделась, скосила взгляд на «звездочку», посверкивавшую на платье.

– Я рабочий в городе Фрунзе, – ответил Джаммаев.

– Преподаю военно-физкультурную подготовку, – сказал Курджиев.

– Я механизатор в колхозе, – проговорил Байрамкулов.

– А вы? – спросил Хрущев у Чагарова. – Еще работаете? Все дружно подтвердили.

– Бывший инженер-конструктор, воевал, – по-военному отчеканил Гаджаев.

– До выселения прокурор. Сейчас заведую общепитом, – улыбнулся Байрамуков.

– Я председатель рабочкома в целинном совхозе, – сказал Урусов.

– Как урожай? – поинтересовался Хрущев.

– Урожай взяли хороший! – послышались голоса.

– Хлеб нужен... Очень нужен... – задумчиво проговорил Хрущев. Поднялся из-за стола. Пожал каждому на прощание руку. – Спасибо вам, товарищи. Будем решать ваш вопрос. Я приложу все усилия...

Пятьдесят пять минут длилась беседа в кремлевском кабинете.

Быстрее, чем утреннее солнышко съедает туман в лощине, восточный хапар донес во все уголки, где жили спецпереселенцы, весть о приеме карачаевской делегации Хрущевым.

В одно сплошное ожидание превратилась жизнь...

В одну сплошную тревогу...

* 12 *

В конце пятьдесят шестого получила Гокка первый в своей жизни отпуск. Решила съездить в «Баяут», на могилу Аслана. Отвезла Артура в «Трудовик», к бабушке Бибе, и холодным, уже по-настоящему зимним днем, тщательно собравшись и одевшись как можно теплее – черное суконное пальто с серым мерлушковым воротником, на голове серая мерлушковая шапка-кубанка, ноги в черных чудо-валенках, любой мороз им нипочем! – отправилась в путь.

Байчоровы приняли ее радушно и в тот же день повели к могиле Аслана. Для спецпереселенцев на местном кладбище, огороженном и ухоженном, был отведен отдельный участок. Но и здесь нет числа безымянным могилам. Байчоровы пояснили – это кулаки, переселенцы тридцать второго, они почти все теперь уже на вечный покой сюда переселились. Могила Аслана... Здесь он лежит. И все равно верить не хотелось, страшно было поверить, потому что пришлось бы тогда смириться с тем, против чего бунтовало сердце. Гокка погладила рукой шероховатый камень в изголовье – на ощупь прочитала буквы, хранившие дорогое для нее имя. Байчоровы оставили ее одну и вышли из оградки. Гокка склонилась над заснеженным холмиком, расчистила варежкой лунку, дотронулась ладонью до красноватой, под ледяной коркой, земли. От живого тепла корка растаяла, и Гокка показалось, что земля плачет вместе с нею... Все рассказала Аслану, во всем повинилась перед ним. Аслан молча слушал ее – ни слова в упрек, только тяжело вздохнул, почудилось ей, и будто его, исходящий из неведомых глубин, голос услышала вдруг: «Что ни случится, мы вместе навсегда, Цветок мой...»

Несколько дней прожила Гокка у Байчоровых и каждый день, только развиднеется, бежала к Аслану, чтобы поговорить с ним, побродить в их лунные ночи по заветным горным тропинкам, послушать таинственный рокот Кубани в клубах молочного тумана, вырывающегося из теснины…

В Курдай возвратилась простуженная, с высокой температурой. Утром надо ехать за Артуром в «Трудовик» – болеть совсем некстати! Затопила печку, наглоталась аспирина и забралась с головой под одеяло... Металась в горячечном, липком поту, забываясь в минутных снах. Но утром встала со свежими силами, простуду как рукой сняло. Поехала за сыном.

Артур освоился у бабушки Бибы, и ей уже казалось странным, что у нее должны забрать внука. Гокка собирала Артура домой, когда в домик Бибы набились спецпереселенцы. Загалдели, всем интересно, что слышно об их судьбе.

– Повсюду готовятся. Не только наши. И те, кого в тридцатые раскулачивали. Но никто не знает толком, будет ли разрешение, по-прежнему расписываются в комендатурах, – сказала Гокка.

– Но ведь теперь разрешают ездить своих искать, – вставил кто-то.

– В пределах среднеазиатских республик, – ответили ему.

– Мне почему-то кажется, – обвела Гокка взглядом горящие ожиданием лица, – нам не надо принимать все эти слухи, будто бы нас скоро освободят, за само освобождение. Понимаю, за четырнадцать лет тоска изъела душу. Но, видно, придется потерпеть, пока появится хоть какая-то определенность.

– Из такого ада выбрались! Терпели! Потерпим, разве нам привыкать! – послышались со всех сторон голоса. – Решится же когда-нибудь наша судьба!

Новый, 1957 год Гокка решила встретить со своими в «Трудовике». Накупила подарков для Бибы, Халимат, Разият, тети Марьи. Одела Артура в новое пальтишко с меховым теплым воротником. И они отправились на автобусную станцию. Отстояли длиннющую очередь – Артур смешно пританцовывал в своих серых валеночках, но не хныкал, молодец, джигит! – и наконец знакомый поворот на «Трудовик».

За все годы существования «Трудовика» спецпереселенцы не встречали Новый год с таким приподнятым настроением – чуть ли не в каждой семье резали барана, готовили праздничную еду, вспоминая, как, бывало, хлопотали в предновогодние дни в своих аулах. Все жили ожиданием чего-то значительного. Хотя никто ничего определенного сказать не мог.

Узнав о приезде Гокка, собралось полпоселка, все те, кто держался все эти годы вместе, поделив поровну трудности и невзгоды. На столе появились бутылки с «баламуткой» – карачаевцы, никогда на употреблявшие спиртного, здесь свыклись уже с этим обычаем и сами занимались «баламутоварением», – Карамурзин, фронтовик, отставной полковник, разлил мутноватую жидкость по граненым стаканам, поднял свой ровно в полночь:

– Дорогие мои! Многострадальные мои! Не знаем мы, что несет нам новый, пятьдесят седьмой год. Но, думаю, хуже того, что было, не будет. У нас впервые появилась уверенность, что правда восторжествует, что мы не исчезнем как народ. Я хочу выпить за это.

Все выпили. Гокка чуть пригубила. Вокруг все возбужденно говорили, пробовали, что получилось у поварих. Гокка встала. Подняла свой стакан. Румянец вспыхнул у нее на щеках.

– Дорогие мои! Пусть новый год принесет счастье всему советскому народу и его частице – народу карачаевскому. Не забыть непоправимой, необъяснимой беды, какая случилась с нами – больше половины наших людей погибло... Будем всегда помнить об этом... И будем считать своей священной обязанностью воспитывать наше молодое поколение так, чтобы они знали, кто они такие и как важно, чтобы карачаевцы не растворились в других народах. Нам надо передать им нашу историю, наши обычаи, наш язык. Еще лет десять, и они могут исчезнуть, тогда исчезнет народ...

Пожилых людей и ровесников Гокка ее слова не оставили равнодушными – заговорили все разом, шумно, перебивая друг друга, погружаясь с головой в азарт спора. И лишь «молодое поколение» – кто в те страшные дни сорок третьего были маленькими детьми, кто родился уже здесь – молчаливо поглядывали по сторонам, уписывая за обе щеки новогоднюю вкуснятину, благо никто не останавливал, а ремешок можно и ослабить на одну дырочку! Гокка показалось, что им безразличны разговоры старших. Для них родина – Средняя Азия. Когда, бывало, она принималась рассказывать в кругу молодежи о Карачае, о Кавказских горах, они просто не понимали ее, не только потому, что сами говорили на жуткой смеси из карачаевских, русских, казахских слов, а и потому, что не представляли себе того, о чем она им рассказывала, и воспринимали услышанное так, будто речь шла о придуманных для чего-то чудесах, и только...

Гокка не притрагивалась к «баламутовке», не слушала уже, о чем говорили за столом, кусок баранины у нее в тарелке остыл, но и к нему она не притронулась. Вспомнилось, как незадолго до смерти маме захотелось баранины. «У нас даже обменять нечего...» – сказала ей тогда Гокка, а сама пошла к тете Марье. «И не горюньей, Галя, – подхватилась Трифониха. – Щас к Виткаловым слетаю. Они корову надысь зарезали. Мяса пропасть. Все одно на базар сволокут. Дак я им свининки свеженькай снесу, а у их для мамки твоей говядинки обменю, она ж свинину-ту не ест. Говядинка первей баранины на скус, истиннай Господь!» – Гокка улыбнулась, теплее на душе стало...

Вокруг уже кипели страсти.

– Сейчас нельзя ничего продавать! – говорил седобородый старик.

– Не приведи Аллах, опять нищими станем. Забыли, как бедствовали? Когда скажут: возвращайтесь домой, тогда и распродадим все!

– Тогда у нас никто ничего не купит. Местные будут выжидать, когда мы все бросим и уедем, – возразил женский голос. – Нам только скажи: можете ехать, побросаем и двинемся!

Женщину поддержало несколько голосов:

– На чужбину голыми приехали! А уехать домой голыми не страшно!

– Там и горы нас накормят!

– Только бы отпустили, а что делать, мы сами знаем!

– Ничего не понимаю, – проговорила бывшая чаульская бухгалтер, по теперешней профессии табаковод. – Откуда вы все взяли, что мы уедем? Ведь никто ничего не знает толком. Ну, разрешили перемещаться в пределах Средней Азии. Но это еще не означает, что мы свободны и можем отправляться на Кавказ. Сами себя взвинтили. И уже не сидится. Мне ведь тоже не меньше вашего на родину хочется. Только я понимаю, что сейчас важно иметь выдержку и терпение. И уж, конечно, продавать я ничего не собираюсь...

Просидели до самого утра. Стали расходиться, когда последние звездочки растворились в голубизне прозрачных небес...

И вот автобус уже увозит Гокка с Артуром обратно. Проехали кладбище. У Гокка сильно кольнуло сердце – так и не нашла мамину могилу... Еще одна зарубка на нем на всю оставшуюся жизнь... Одно спасение – быстротечное время...

Гокка сидела в ординаторской и заполняла истории болезни. Откладывала карточку и задумывалась ни о чем и обо всем сразу... Вздрогнула даже, когда дверь с шумом распахнулась и на пороге появился Иван Иванович, запыхавшийся, взволнованный.

– Гокка Маджаевна! Какой день сегодня!

Она глянула в окно. Обычный день – мороз, метель.

– Середина зимы – семнадцатое января на дворе.

Иван Иванович замахал руками.

– Не о том вы... Сегодня пришло решение в органы. Вы свободны, Гокка Маджаевна! Понимаете?! Сво-обо-одны! – Обнял ее за плечи. Чмокнул в макушку.

Свобода... Выстраданная... Долгожданная... Весть эта оглушила Гокка. Она смотрела на Ивана Ивановича и будто не узнавала его. «Кто этот человек? Что он такое говорит? Я, наверное, стала плохо понимать слова... – И тут ее точно ошпарило. Она боялась даже про себя повторить услышанное. – Нет, это не слова. Это уже произошло!» Хлынули безудержные радостные слезы. Гокка, будто во сне, поднялась и поцеловала Ивана Ивановича.

В ординаторскую набились врачи, сестры, даже те, кто дожидался приема. Каждый что-то говорил ей, тянулся поцеловать или обнять ее, хотя бы пожать ей руку. «Аллах мой! Аллах мой! – не могла поверить Гокка. – Четырнадцать лет мы ждали этого дня! Четырнадцать! Неужели ты дал нам дожить до него?»

Иван Иванович поднял руку. Попросил тишины.

– По дороге в больницу я встретил нашего начальника «внутренних дел». Он и сообщил мне эту новость. Передайте Гокка Маджаевне, так и назвал – по имени-отчеству, передайте ей, говорит, что девятого января вышел Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о реабилитации спецпереселенцев и что теперь они могут вернуться домой!

Ординаторская снова наполнилась радостными криками, гулом возбужденных голосов. А Гокка плакала, не стыдясь слез, совершенно обессилевшая.

– Гокка Маджаевна, идите домой, – тронул ее за руку Иван Иванович. – Вам надо отдохнуть... Мы проведем ваш прием...

Молча, потупившись, какая-то вся потерянная, собрала карточки в папку, механически поставила ее в свою ячейку и, не поднимая головы, глубоко засунув руки в карманы халата, вышла из ординаторской. «Сколько же еще будет тянуться этот коридор? – думала, пока не дошла до своей комнаты. – Какой нынче день? – остановилась у окна, осторожно касаясь дрожащими пальцами затянувших стекла морозных кружев. – Иван Иванович говорил что-то... – Прижалась лбом к стеклу. В голове прояснело. – Ах, да. Надо сказать Артурчику. Скажу, когда проснется. Да ведь он ничего не поймет, для него дом здесь. А ты сама-то все понимаешь? – Гокка отстранилась от окна. – Если есть указ, то почему о нем не сообщили официально – по радио, в газетах? Может, кто-то слухи распустил? А мы и приняли селезня за утку...» Оделась потеплее и отправилась в райотдел МВД.

Ее там очень хорошо знали, от дежурных до начальника. Но никогда не были с ней так вежливы и предупредительны, как сегодня. Начальник, обычно не поднимавший головы от своих бумаг, вышел из-за стола навстречу, энергично пожал ей руку.

– Поздравляю вас, Гокка Маджаевна, с освобождением. Указ сегодня доведут до ваших во всех местах их проживания. Есть решение правительства образовать Карачаево-Черкесскую автономную область с центром в Баталпашинске. Отныне он снова будет называться Черкесском. Могу вас еще обрадовать: Клухори, бывший Микоян-Шахар, будет именоваться Карачаевском... Так что теперь можете ехать на Кавказ...

Гокка чуть не потеряла сознание. Покачнулась, но удержалась на ногах. Сказала тихо:

– Спасибо... Я и пришла к вам, чтобы услышать от вас об этом.

– Можете ехать... – повторил начальник.

На пороге, вдруг вспомнив о чем-то важном, Гокка обернулась.

– А как же с паспортами? У нас нет никаких документов?

– Будут...

Гокка послышалось, что-то человеческое появилось в голосе коменданта.

Домой бежала что было сил. Артур, наверное, проснулся, а тетя Дуся еще не пришла. Надо накормить его, надо, чтобы он поскорей узнал... Все, что произошло сегодня, что услышала она в комендатуре, не умещалось в голове. «Вот ведь как получается, указ вышел, а опять все шито-крыто, не хотят, чтобы в стране узнали, что с нами сделали в сорок третьем... Все равно узнают... рано или поздно... Автономию нам не вернули, объединили с черкесами, у них и областной центр... Ну, что ж, может, оно и справедливо – карачаевцев меньше половины осталось, не тянем на автономию. Скоро ли мы теперь восстановим урон – да и восстановим ли его вообще...»

Когда Гокка прибежала домой, тетя Дуся кормила Артурчика. Он совершенно не понял, чему так радуется мама, спросил, будто речь шла о прогулке по улице поселка:

– Мам, а я на своей красной лошадке поскачу, правда?

Гокка и Халимат договорились, что поедут все вместе поездом из Фрунзе. Халимат вызвалась съездить на вокзал за билетами – ей поближе, заодно и контейнер закажет, чтобы отправить багажом кое-какую мебелишку и крупные вещи. С трудом наскребли денег на дорогу, что из зарплаты отложить сумели. А ведь еще надо было на что-то и потом, когда приедут, жить первое время, пока все устроится, – государство никаких подъемных не давало. Семья Халимат, в свое время поставившая саманную хибарку, собиралась и ее продать, и корову, и лишний громоздкий скарб. А Гокка так и жила все время на казенной квартире – всех вещей у нее хорошо пара чемоданов наберется! – ей продавать было нечего. Но тем легче с места сниматься!

Спецпереселенцы ликовали, даже забыв на некоторое время, что придется – тем, кто уедет, – оставить здесь могилы своих сородичей, оставить и частичку своего сердца, ведь у многих в родне появились казахи, киргизы, узбеки, особенно у тех, кто дочерей повыдавал замуж. В нетерпеливом ожидании отъезда предлагали за бесценок купить у них дома, скотину, хозяйственную утварь. Местные покупать не торопились, выжидали, когда отдадут даром. Отъезжающие спешно, будто и теперь отведено им на сборы два часа, резали баранов, сушили и солили мясо, дни и ночи напролет готовились в дорогу. Разыскивали своих, списывались, чтобы ехать семьями, – почта трещала от перегрузки. Некогда было даже на минуту задуматься: а что же впереди?

Халимат заказала контейнер и купила билеты на двадцать третье мая. В первых числах мая Гокка уволилась с работы и, тепло простившись с коллегами, перебралась на подводе, которую дал в ее распоряжение Иван Иванович, в «Трудовик», в домик Халимат. Биба радовалась не меньше, чем отъезду – внучек приехал!

Без конца то тут то там слышалось одно и то же:

– Помните сорок третий год? Когда нас выселяли?

– Тогда мы оставили дома, построенные нашими отцами и отцами наших отцов. Со всем добром... А что бросаем мы здесь? Саманные хибарки, землянки...

– Помните, наших коров гнали по улице пришельцы из-за перевала, а мы и полшага не могли сделать из кольца автоматчиков в черных шинелях?

– Да разве здесь молоко! Вот в наших горах – мо-ло-ко... Хочешь, парное пей, хочешь, айран ставь...

– Здесь и хлеба такого, как там, у нас нет...

– Вам лишь бы поскорей бросить все и уехать! А как, думаете, легко бросить, если только-только на ноги встали?!

– Там снова на голом месте! А жить когда?!

Обсуждали. Спорили. Пытались в чем-то убедить друг друга. А выходило – все крутилось вокруг одного: скоро домой! Огороды зарастали травой, никто и не собирался их перекапывать, засаживать – тем более. Во дворах сушилось мясо, приправленное солью и чесноком. Все, что можно было взять с собой, готовилось к погрузке в контейнеры. Их ждали со дня на день... Правление колхоза, так и не уговорив никого остаться, – а как непросто лишаться таких надежных рабочих рук! – рассчиталось со всеми, кто собирался уезжать, а выдать им справки, что, мол, такой-то с такого-то по такой-то год работал в колхозе «Трудовик», не догадалось. Не все и спрашивали справки – лишь бы домой побыстрей! Начали приходить контейнеры, и первых счастливчиков со слезами и радостью провожали всем поселком.

Гокка почти каждый день наведывалась к тете Марье. Сдала она, за последние годы особенно, однако по хозяйству хлопотала, управлялась, будто все еще не вошла в преклонный возраст. Как-то сидели они за чаем. Трифониха, словно кого похоронила, молчала все, а после четвертой чашки дала волю мучившему ее последние недели.

– Ты уж, Галя, доченька, не взышши с бестолковай бабки. Душа за вас радуитси, как подумаю, што домой едятя. А как подумаю, што табе и соколика тваво не увижу боле, так и зальюси слезьми, родненькие вы мои! – И вдруг зашептала, поглядывая на дверь: – Господи Исусе, спаси и помилуй рабу твою Галину и отрока Артура, и всех карачаев. Прости, што за друговерцев прошу – хорошаи они люди. Кабы увидал их, полюбил бы, яко чада своя... – Наклонилась к самому уху Гокка. – А Сукманов-то, слышь... – и снова оглянулась на дверь, – на улицу не выходит, жена яво третьева дни сказывала, хворай лежит. Не-ет, Галя, такова борова никака лихоманка не ухватит, от страху, должно, што неровен час укокошит хто – скока людям зла натворил, вашим особливо.

– Нет, тетя Марья, никто не станет о него руки марать – всем как можно скорее родные горы увидеть хочется, – возразила Гокка.

– Почем знаешь, Галя, може, хто и примит грех, нашево иуду пришибет проклятаво! С тридцать втарова под комендантами, а такова ишшо не было. Таперича он над нами поглумитси, про нас указу ишшо и не слыхать.

Гокка поднялась из-за стола.

– Завтра мы уезжаем, тетя Марья. Очень тяжело с вами расставаться, родные вы мои. Я ведь жизнью вам обязана. И покойному Василию Андреевичу. До конца дней моих помнить о вас буду... – Гокка обняла старушку. – Буду приезжать к вам. И... к моим дорогим. Они же здесь остаются...

– Приду поране завтри проводить. Еды сберу на дорогу. Никак с дитем на другой край земли. Храни вас Господь... – Трифониха троекратно поцеловала Гокка и незаметно, вслед, чтобы не осерчал карачаевский Бог, перекрестила ее.

* 13 *

«До отправления пассажирского поезда «Фрунзе – Москва», – объявили по вокзалу, – осталось пять минут. Просьба...» Биба, Халимат, Разият и Гокка с Артуром – в отдельном купе. «Аллах мой, не прерывай этот сон!» – повторяла то и дело Гокка. Рассовали вещи, уселись, притихли – и вспомнились другие сборы в дорогу, другой поезд, завшивленные телятники с зарешеченными окошечками у самой крыши, мертвецы на кучах тряпья и голых досках нар... Сорок третий год... первые числа ноября... Поезд тронулся. В глазах у всех женщин стояли слезы. И только Артур прилип к окну, ему все в диковинку.

– Мам, а там домики поехали, и лошадка, и бабушка Марья, и все-все-все!

Оглянулся на мать и стал таращить глаза, не понимая, почему они плачут, когда вокруг так весело! И опять уткнулся в стекло.

Первой опомнилась Халимат, проговорила сквозь слезы, но уже успокоившись немного:

– Все-таки мы дождались правды.

– Но во что мы превратились... – всхлипнула Разият.

– Наши горы вернут нас к жизни, – подала голос Гокка.

– Наши горы... – покачала головой Биба. – В наших домах живут чужаки из-за перевала. Я не знаю, к чему приедем.

– Я тоже не знаю, – раздумчиво проговорила Гокка, – есть ли мне смысл ехать в Микоян-Шахар, – поправилась тут же, – в Карачаевск. Наверняка, кто-нибудь живет в нашей с Асланом квартире...

– Я думаю, тебе надо обосноваться в Черкесске, – вставила Разият. – Как приедем, сразу иди в облздрав или куда там надо... Ты же хирург! Таких специалистов еще поискать надо!

– Нет, – возразила Гокка, – я поеду с вами в Чаул, я должна посмотреть на дом отца, поклониться могилам предков. Не знаю, простят ли они меня...

– И я не дождусь, когда увижу свой родной дом, – Биба закрыла глаза, подбородок у нее мелко задрожал. – Взглянуть бы одну минуту. А там и умереть не страшно.

– Зачем ты говоришь так, мама? Ведь жизнь только начинается! – воскликнула Разият.

– У вас да, начинается. Благодарение Аллаху... А меня он и так слишком долго терпел пред собой, всех моих сверстников давно уже призвал к себе. Они, несчастные, в чужой земле остались, а мне одной, не пойму за что, судил он вернуться к могилам предков. – Биба вздохнула. – Боюсь, не сглазить бы, а то умру, не доехав...

– Ну что ты, мама, все о смерти, да о смерти, – упрекнула ее Халимат.

Артур отлип от окна и радостно сообщил:

– Там уже ничего не видно! Только светы стоят!

Гокка улыбнулась:

– Это электрические лампочки на столбах светят... – достала из сумки сверток. – Поешь, бабушка Марья напекла тебе в дорогу таких вкусных пирожков, и ложись спать, а утром будешь опять смотреть в окно.

У них в купе тоже зажглись «светы». Проводница принесла чай – казалось бы, что в этом особенного, но ведь она принесла им чай как всем! Наверное, с таких неособенных мелочей и начинается возвращение к жизни... Ели без аппетита, чтобы только поддержать силы. Думали каждый о своем, а спроси о чем, в один голос ответили бы: как бы поскорее увидеть родные горы!

Потушили свет и легли. Перестук вагонных колес тотчас убаюкал Бибу и Артура. Гокка лежала с открытыми глазами, сон не шел к ней, чувствовала, Халимат и Разият не спят тоже. Вагон качнуло несколько раз на стрелках, Гокка со страхом вжала голову в подушку – подрагивая и утробно хлюпая, у самого лица проплыл буро-красный бурдюк Исмаила Хапаева. Бурдюк отлетел в темноту, Гокка хотела подняться, но в грудь ей уперлась холодная сталь автоматного ствола – неужели опять солдаты пришли ворошить вещи в поисках мертвецов?! Гокка прижала к себе Артура, он спал, мирно посапывая и чему-то улыбаясь во сне... Поезд остановился в кромешной тьме, Гокка напряженно вслушивалась в тишину – сейчас захрустит под сапогами солдат щебенка, лязгнет засов, покатится с грохотом дверь – стена и хрипловатый голос заставит вздрогнуть, десятикратно повторяясь в ночи: «А ну выходь! Со шмотками!» Поезд уже мчался дальше, время от времени кричал паровоз, грохотали на стрелках колеса, в окно заглядывали станционные огни. Гокка вышла в полутемный коридор. В черном квадрате окна блестела одинокая звездочка. «Провожала меня, а теперь встречаешь у родного порога...» – маленькой девочкой Гокка снова сидела рядом с мамой у дверей старинного боташевского дома, и мама рассказывала ей о светящихся на черном бархате точках...

Москва – какой торжественностью, какой возвышенностью, остро чувствовала Гокка, горит в ее душе это дорогое слово! – встретила их вокзальной сутолокой. На перроне черно и тесно от людей, а еще больше от вещей, оттягивавших руки, пригибавших плечи и спины, горами громоздившихся на ручных тележках, которые толкали перед собой носильщики со смуглыми восточными лицами, бойкие, зычными голосами рассекавшие толпы ломившихся навстречу друг другу приехавших и отъезжающих. Но и в людском водовороте, подхватившем их, едва они вышли из вагона, Москва привораживала – причудливая башня с еще более причудливой птицей на шпиле, огромный сводчатый зал ожидания под пышны-

ми, словно яблони в майском цвету, люстрами, парящий где-то под самыми небесами воин-освободитель в развевающейся плащ-палатке, сапогом попирающий измятое знамя с фашистской свастикой, огромная привокзальная площадь, залитая солнцем, звенящая от трамвайных трелей, гудков машин и автобусов...

– На Курский? На метро надо, по «кольцу», выходить на следующей... – ответили им скороговоркой, даже не приостановившись.

И они, с суеверным страхом, с любопытством, с недоумением ступили на подрагивавшую, гудящую ленту, которая у них под ногами, вдруг, изломившись, превратилась в ступеньки и повезла их по белому наклонному колодцу куда-то вниз – пришлось даже закрыть глаза на минуту, голова пошла кругом... В блистающем золотом и мрамором зале остановились, разглядывая на потолке сложенные из разноцветных пластиночек-камушков картины... Сине-голубые с большими окнами вагоны с шипением распахнули двери, через минуту, будто чудовище клацнуло десяткой челюстей, они закрылись, и поезд, нырнув в черный, гулкий тоннель, еще через минуту-другую выскочил из темноты в ослепительно-белый с мраморными колоннами зал... Их снова подхватила толчея вокзала. Расположились в шумной тесноте, с трудом найдя свободное местечко – хотя бы для Бибы. Закомпостировали билеты на поезд «Москва – Кисловодск» до Невинномысска. Там надо было пересаживаться еще раз – до Черкесска. Но там-то они уже дома!.. Купили в буфете холодную, жилистую курицу, хлеба. Перекусив, отдышавшись, увидели, что до поезда еще целый день. Оставили Бибу с вещами – да и ноги у нее уже отказывались ходить – и отправились на Красную площадь, в Мавзолей.

Очередь подвигалась медленно, молчаливо. По тенистым аллеям парка, под старыми дубами и липами, в ворота чугунной решетки-ограды, направо, огибая сторожевую кремлевскую башню, потом вдоль стены по брусчатой мостовой вверх... Чем подходили они ближе к Мавзолею, тем сильнее стучало у Гокка сердце. Ее волнение передавалось Артуру, он не отходил от нее ни на шаг, а когда они поднялись на площадь, прижался к ней, с каким-то не по-детски серьезным выражением всматриваясь в красные гранитные глыбы, перепоясанные черной лентой… «Сейчас я увижу их... сейчас...» – лихорадочно повторяла про себя Гокка. Три ступеньки. Распахнутые створки тяжелой металлической двери. И справа и слева от входа – застывшие часовые: молодые ребята с хорошими светлыми лицами. Уступчивая широкая лестница вниз... «Сейчас... уже сейчас...» – Гокка старалась не дышать, чтобы унять бешеные удары сердца, которые, казалось ей, разрывали прохладную, в мягко приглушенном свете, священную для всех тишину... На миг Гокка перестала ощущать себя... В полумраке, над склоненными в глубоком трауре отливающими бронзой знаменами,

освещенные изнутри стеклянные гробницы. В своем неизменном френче – Сталин. Голова словно вдавлена в атласную подушку мучительными, тяжелыми снами. Рядом, отделенный от него узкой полоской черноты – Ленин. Лицо напряжено, левая рука, поверх покрывала, сжата в кулак. Кажется, к чему-то прислушиваясь, Ильич пытается сбросить с себя смертные оковы... «Как же так получилось, – думала Гокка, не замечая, что поднимается по лестнице, – что люди приходят поклониться и злодею, и гению?» Безмолвствовали могилы у Кремлевской стены, недвижно стояли у дверей Мавзолея часовые... Площадь заметно опустела. Но Гокка все стояла у гранитного бортика, вглядываясь в красные буквы на черной ленте над входом. «Как же так получилось?..»

Ее окликнула Халимат. Оказывается, они втроем уже успели потолкаться по ГУМу, что на противоположной стороне площади. И, видно, потолкались не зря – Артур счастливо улыбался, увешанный подарками.

– Это такой магазин, такой магазин! – щебетала Халимат по дороге к метро. – В нем ничего не стоит голову потерять!..

– По-моему, даже очень стоит... – попыталась пошутить Гокка.

Халимат слушала только себя:

– ...И Шахеразаде такое не снилось! Знаешь, там на первом этаже, как войдешь...

Гокка оглянулась. «Там... – взгляд выхватил островерхую кремлевскую башню, словно стиснутую домами с многочисленными вывесками, – святое место и... – сердце вдруг сжалось, она даже приостановилась, прислонившись к стене, – бойкая торговля, ярмарка!.. Да как же так получилось?»

Они спустились в метро. Артур бегал под арками от бронзового матроса к бронзовым пионерам, от них – к бронзовому летчику, что-то кричал, возбужденно размахивая руками. А Гокка отчетливо увидела ответ на свой вопрос и неожиданно подумала: «Вот если бы всему народу с колен подняться...»

В Невинномысске поезд стоял всего несколько минут. Быстренько ссадили Бибу с Артуром, в шесть рук побросали на перрон вещи. И остановились как вкопанные – не могли надышаться кавказским воздухом. Все необычно. Все светло. Все празднично. Даже паровозные гудки, даже облака, лоскутами плывущие по небу, необычные какие-то. И лишь вокзал, знакомый до малейшей выбоинки в штукатурке – столько раз томилась здесь Гокка ожиданием, когда ездила в Ростов, когда возвращалась домой, – встретил ее буднично и, показалось ей, равнодушно. Понемногу приходя в себя, карачаевцы перебирались в вокзальное помещение – поезда на Черкесск еще ждать и ждать. А у Гокка вдруг потемнело в глазах, она чуть не упала. Халимат и Разият подхватили ее под руки и отвели в медпункт.

– Нервное напряжение... давление подскочило... – пояснила молоденькая фельдшерица в накрахмаленном халате. – Сейчас уколю. Пусть полежит немного...

Через четверть часа Гокка поднялась с кушетки, недоуменно оглядываясь.

– Нуте-с, доктор, – с важным видом подступила к ней Халимат, стараясь говорить басом, поправляя на носу воображаемые очки, – вам лучше? Или доктора позвать? – не выдержала надутой серьезности, прыснула в кулачок.

Подруги рассмеялись. Слабо улыбнулась и хозяйка медпункта.

– Спасибо, сестричка, – обняла ее Гокка, – теперь лет тридцать думаю, болеть не стану, да и некогда будет...

Часа за два до отправления их поезда – его и не подали еще, да что с того! – карачаевцы со всем своим скарбом, с детишками высыпали на перрон, шумно рассуждали, кто из них куда отправится, когда приедут они в Черкесск. До самого прихода поезда перрон гудел возбужденным стоголосьем, кто-то плакал, кто-то просил о чем-то Аллаха кто-то кричал детям, чтобы те не уходили далеко – подросткам интересно везде полазить: никогда не видели они таких домов, таких деревьев, такого скопища вагонов. «Аллах мой, как благодарить тебя? – едва сдерживала слезы Гокка. – Даже плачут не так, как тогда…» Неожиданно долетел до Гокка обрывок разговора стоявших неподалеку женщин.

– Что за люди такие странные? – спросила одна.

– Говорят, карачаи. Те самые бандиты, – отвечала другая, – которых когда-то выселили из этих мест. Должно, отпустили. Вот они и двинулись всем табором.

– У нас в Сибири такие тоже есть. Только те калмыки называются.

– Все одно – бандиты...

У Гокка сжалось сердце. «Радуемся, что на родную землю приехали. А встречают нас, будто мы, как скот, клеймены этим словом...»

Подали состав. Люди ринулись в вагоны, беззлобно, в сутолоке оттесняя друг друга, боясь, что ли, вдруг машинист ждать не станет, когда все погрузятся, и снова придется ждать – сколько одному шайтану известно – на этом порядком надоевшем вокзале.

Подсадив Бибу с Артурчиком, Халимат и Разият вспорхнули на вагонную площадку, а Гокка стала снизу подавать вещи. Краем уха прислушивалась к тому, что бурчала себе под нос, сочувственно глядя на них, пожилая проводница.

– Дней десять едут и едут. А куда, господи? Небось и сами не знают. Дома-то, если и целы, заняты новыми хозяевами. А им, смотри ты, вроде все нипочем...

«Дома любой камень пристанище!» – чуть не вырвалось из груди у Гокка.

В Черкесск поезд прибыл под вечер – и тащился черепашьим шагом, и чуть ли не у каждого столба подолгу стоял, будто старенький паровозик все никак не мог справиться с одышкой. Истомились за несколько часов, как за всю многодневную дорогу не устали. По вокзальному радио объявили, что в такой-то комнате работает комиссия по приему и устройству возвращающихся на родину. Пробиться к дверям оказалось непросто, а уж втиснуться в комнату, в которой, словно стараясь утрамбовать, умять клубы табачного дыма, толпилось, переминаясь с ноги на ногу, человек сорок – пятьдесят, совсем невозможно.

– Послушай, уважаемый, – слышалось из толпы, – почему говоришь, что надо ждать до утра? Ты ведь карачаевец. Неужели не понимаешь, что все мы... – говоривший сделал паузу, обернувшись к людям, они одобрительно загудели, – все мы хотим как можно скорее увидеть свои дома?

– Потому говорю, уважаемый, – поднялся из-за стола, видимо, председатель комиссии, – что у нас всего две полуторки. Пока не стемнело, сможем развезти только тех, кто останется в Черкесске или поедет в ближние аулы...

– Нет, уважаемый, мы не хотим в Черкесске, – перебили его сразу несколько голосов. – Верните нас в Карачай.

Председатель продолжил:

– А по карачаевским районам сможем вас развозить только завтра с утра. Это не так легко сделать, как может показаться. Один лишь ваш поезд десятка два семей привез? Привез! А сколько таких поездов? А еще и на машинах привозят!

Кто-то крикнул:

– Ну что ж, люди! Одну ночь помучиться еще. Пересидим на вокзале. А там – дома!

Узнав, что Гокка врач, к тому же хирург, работала во фронтовом госпитале, председатель комиссии, отрекомендовавшийся отставным морским артиллеристом, начал вести прицельный огонь.

– Думаю, вам все резоны остаться в Черкесске. Недавно мы открыли областную больницу. Сейчас укомплектовываем ее личным составом. Пока всего несколько врачей приступили к работе. Вам рано или поздно придется постучаться в ее дверь. Мой вам совет – соглашайтесь... – почувствовав, что еще немного и крепость сдастся, ударил с главного калибра. – Вот вам ордер на комнату. – Черканул что-то в бумажке с круглой печатью. Схватил телефонную трубку. – Слушай, дорогой, надо отвезти нашего нового доктора с сынишкой домой. Давай сюда комитетскую машину!

Гокка расцеловала всех по очереди – Бибу, Халимат, Разият – пообещала, что как только устроится, они с Артуром сразу – может, завтра или послезавтра! – приедут в Чаул. И черная довоенная «эмка», с сухим шелестом проваливаясь в ухабы и с одышливым фырчанием истрепанного двигателя выбираясь из

них, чуть ли не пешком потащилась плохо освещенными улочками. Наконец остановились у небольшого двухэтажного дома с редкими огоньками в окнах. Сопровождающий и шофер помогли Гокка с вещами – оказалось, надо подняться на второй этаж. Гокка увидела очень длинный, узкий коридор, по обе стороны – двери, двери... Около одной из них поставили вещи. Сопровождающий вытащил из кармана ключ, поковырял им в замочной скважине и первым вошел в поглотившую его темноту. На секунду появился в дверном проеме, повернул выключатель. И Гокка очутилась в совершенно голой комнатушке.

– Пока поживете здесь, – сопровождающий сделал какие-то пометки в своем блокнотике и отдал Гокка ключ, – а там что-нибудь придумаем... дадим вам получше. – Перед тем как закрыть за собой дверь, добавил: – Да, завтра зайдите в облздрав. Насчет работы. – И попрощался, пожелав спокойной ночи.

Гокка раздумывала что делать, когда в комнату вбежал Артур – как же не заметила она, когда сын исчез! – и доложил, что он все разведал: умывальник в конце коридора, а туалет на улице. Умывшись, как говорила в таких случаях Гокка, предварительно – ведь о том, чтобы как следует вымыться с дороги, не могло быть и речи! – она вдруг почувствовала, что сейчас, через десяток шагов по гулкому пустому коридору, придет к себе. Из двери соседней комнаты, будто ждала их, высунулась моложавая светловолосая женщина в цветастом ситцевом халатике. Поздоровалась, с интересом разглядывая новую соседку.

– Вас в эту вселили? Да ведь в ней ничегошеньки нет, все жильцы увезли с собой. Как же быть-то?.. – Неровными, с желтизной, зубами погрызла ноготь большого пальца, махнула рукой и, улыбчиво подмигнув ей, крикнула в дверь: – Коля! – Поманила за собой соседку. – Сообразим что-нибудь...

В такой же малюсенькой, как у Гокка, но уже обжитой комнатенке стояли две железные, из простых гнутых труб, койки, заправленные на общежитский манер. К окошку был притиснут узенький шкаф, рядом крохотный стол-тумбочка и две табуретки. На койке у левой стены, сгорбившись, сидел мужчина в майке, с растрепанными кудреватыми волосами. Женщина запустила в них пятерню, растрепала их еще больше и хохотнула.

– Нам с тобой, Колюшка, и на одной тесно не будет! – Она переложила постель, скатала матрац, водрузила его на живот, обхватив что было сил обеими руками. Кивнула на железный остов. – Понесли, ребята!

Гокка и Николай с трудом протащили гремящее чудище в одну и другую дверь, поставили так же слева, накрыли матрацем. «Вот и обновка – подумала Гокка. – Все равно сиротливо как-то...»

– Ничего, обживетесь, – отдышавшись, сказала соседка. – Ну а пока будем делиться чем можем. Мы уже который год в этом общежитии. Квартиру и не обещают, хоть сами с мужем строители. Может, теперь зачнут

побольше строить, вона сколь народу понаехало. А то поживем так... Да... – спохватилась уже на пороге, улыбнулась, совсем как тетя Марья, – Паня меня зовут… Прасковья, значит...

– А меня – Галя... – улыбнулась в ответ и Гокка.

Лежала без сна, боясь поверить, что дорога домой, нечеловечески трудная, протяженностью в четырнадцать лет, осилена, что скоро войдет она в отцовский дом, увидит родные горы под снежными папахами, что всегда будет с нею рядом ее Артур. Единственное сокровище, что осталось у нее в жизни. Что удержало ее в этой жизни. Что придаст ей сил, ей, седой опустошенной женщине сорока лет, ведь все придется начинать с нуля, тут не побежишь к тете Марье за лепешкой или ведром, здесь не придет Фрида с супом в кастрюльке и председатель Волынкин не выпишет, свесив ноги со своей таратайки, пять кило пшеничной муки.... Все дальше и дальше от околицы Гокка, а они все стоят, ее милые тамошние земляки, у Фридиного дома, стоят и машут ей, машут на прощание руками, платками, шапками...

Гокка разбудили чьи-то раскатистые шаги по коридору, шум примуса неподалеку и яркое, солнечное утро в узком окошке. Натянула халат и вышла умыться. У примуса, помешивая в кастрюле чумичкой на длинной ручке, топталась толстуха в неопрятном, мятом халате. Не расчесанные с ночи волосы чуть ли не свешивались в булькающее варево. Гокка осторожно, вжимаясь в стену, обошла стряпуху, тихо поздоровалась с ней, вернее, с ее заплывшей жиром спиной. Соседка, не повернув головы, сердито пробурчала:

– Заполонили город! Надо же было, чтобы и к нам подселили.

«Ну, что же ты не договорила – бандитов?! – чуть было не крикнула Гокка, но чудом каким-то сдержала себя. – То ли еще будет...»

Артур проснулся, лежал на кровати, разглядывая незнакомую комнату. Захныкал, увидев мать.

– Домой хочу. Когда мы домой поедем?

– Мы уже дома, сынок, – погладила его по головке Гокка.

– Нет, я хочу к Шурику, в «Трудовик», домой... – не унимался Артур.

– Ты уже большой, джигиту стыдно капризничать... Говорю ведь тебе... – вырвалось неожиданно, и она усмехнулась незаметно для Артура, вспомнив, что так любил говорить отец: «Вот и я стала совсем как он...» Потормошила сынулю. – Вставай, вставай! Пора завтракать!

Разложила на газетке «завтрак» – что недоели в дороге. Артур уплетал за обе щеки, а она думала, будто слыша голоса тех женщин на вокзале в Невинномысске, будто, вытирая спиной стену, обходила толстуху возле примуса в коридоре: «Сколько еще камней швырнут в нас? Неужели, вырвавшись из одного ада, мы должны будем пройти через новый?»

Белую кофточку, стального цвета коверкотовый костюм, белые лодочки на невысоком каблуке надела Гокка ради такого дня – первого дня на

родине. Весело подпрыгивая, рядом шел Артур, в матроске и новых ботиночках. В городе пахло травяной зеленью – такой необычный для города запах доносило с полей, начинавшихся сразу же за окраинами. Сладкий, знакомый дурман. Так пахло в Чауле, когда зеленели альпийские луга, когда отец с Харуном возили на подводе свежее сено. Никакие другие городские запахи не перебивали царившего аромата лета: машины – редкость в городе, промышленности тоже почти нет. Да и городом назвать трудно открывшееся сейчас Гокка. Скорее, это небольшая станица, с маленькими домиками под соломенными или травяными крышами, со скамейками почти у каждых ворот и с горами налузганной семечковой шелухи почти у каждой скамейки, с рвущими цепи собаками в подворотнях, с грязной центральной улицей – улицей Ленина! – под ободранными, словно по ним ураган прошелся, деревьями, с кусочком потрескавшегося, местами провалившегося асфальта у Дома Советов. Какое-то жалкое, безликое зрелище. Да и может ли быть лицо у города, когда у него так долго не было настоящего родного имени? Баталпашинск. Потом Ежово-Черкесск. А когда сам «сталинский нарком» попал в «ежовые рукавицы», город переименовали в Сулимов. Говорили, большой работник в Совнаркоме РСФСР. Но и года не продержалось название. Вроде опять Баталпашинском сделали, а кто-то его, по старой памяти, Черкесском называл, только уже теперь, конечно, без Ежова. И вот совсем недавно официально Баталпашинск стал Черкесском, центром новой автономии карачаевцев и черкесов. То же самое происходило и с Карачаевском. Почти тридцать лет понадобилось, чтобы это имя пришло к городу – сначала был Микоян-Шахаром, потом печальной памяти Клухори... А сколько еще таких, под чужим живущих именем, будто скрываются они от кого-то, городов на Кавказе, по всей стране?

Гокка спросила местного вида женщину, где находится переселенческий комитет. Оказалось, как раз в Доме Советов. По своему накалу обстановка здесь напоминала оперативно-штабную перед наступлением по всему фронту: звонили телефоны, туда-сюда сновали дежурные, кто-то требовал, кто-то приказывал, кто-то обещал три шкуры спустить... Между столами, от телефона к телефону, от одной группы приехавших к другой сновал полноватый рыжеволосый человек, которого все останавливали, дергали за рукава, к которому все поминутно обращались с просьбами, которого одновременно подзывали к двум-трем телефонам, которого все называли товарищем Эбзеевым. «Тот самый, что комнату мне дал», – узнала Гокка председателя работавшей на вокзале комиссии. Он тоже узнал ее, проговорил, как и все делал, бегом:

– Слава Аллаху, жить вам есть где. Конечно, идите в облздрав. В областную больницу... Сейчас, сейчас, уважаемый... Извините...

И уже повернулся к рассерженному, красному от возбуждения мужчине. Тому не терпелось задать вопрос.

– Будет ли нам помощь от государства?

– Пока неизвестно. Обещать не могу. Слышал только, что будут давать ссуду на строительство домов.

– Каких домов? – не понял мужчина. – Я в свой дом возвращаюсь! Поставьте меня на учет. За этим к вам и пришел. Больше мне от вас ничего не нужно!

– А ты уверен, что твой дом так и стоит все четырнадцать лет?

– Почему спрашиваешь? Еще мой дед строил его! На века!!

– А если в нем сейчас живут другие? Мужчина переменился в лице.

– Почему другие? Дом – мой! И я войду в него!

Но Эбзеев уже не слышал этих угроз. Его потащили к столу, заваленному папками, подсунули ему кипу бумаг на подпись. А он и не сопротивлялся. Лицо его сияло от счастья – пусть дел невпроворот, приходится крутиться, иной раз без сна по две, по три ночи, но он приносит пользу людям, и будет крутиться и не спать ночами, пока хоть у одного человека останется нужда в Эбзееве. А пока у целой Карачаево-Черкесской автономной области в нем нужда. И никакого преувеличения в этом: бывших выселенцев разместить в местах прежнего проживания, по возможности закрепить в областном центре специалистов, интеллигенцию. Да мало ли еще разных хозяйственных дел!

«В облздрав успею...» – решила Гокка. И они с Артуром пошли на автобусную станцию. Маленький, наполовину вросший в землю домик. И тут очередь – в Карачаевск всего один рейс, а желающих уехать не сосчитать, в основном карачаевцы, которые потеряли надежду, что их отправит переселенческий комитет, они и так уже столько суток прождали, когда их очередь настанет, вот и побросали вещи на общественного сторожа и отправились по своим аулам раздобывать подводы... Автобус выехал из Черкесска, когда на город и окрестные поля опускался теплый тихий вечер. Гокка всматривалась в такую знакомую – их с Асланом! – дорогу и, глотая слезы, шептала, чтобы никто не услышал, уткнувшись мокрым лицом в стекло: «Прости меня, Аслан... Я не уберегла нашу жизнь... Прости...» Артур спал у нее на коленях, прижавшись к ней всем тельцем... «Хорошо, что сын не видит, как я плачу... – Гокка вдруг рассердилась на себя. – Но видят посторонние. А ведь ты горянка!»

Через какой-нибудь час Гокка и Артур уже шли по улицам Карачаевска. Артур вовсю глазел по сторонам, а она, казалось ей, могла бы пройти по городу и с закрытыми глазами – так мало он изменился. Разве что набрали силу их с Асланом любимые акации. Когда Аслан и она студентами сажали их, они были совсем слабенькими, тонкими прутиками, а теперь зелеными шатрами нависали над головой. И у Дома Советов появились каштаны-подростки – перед самой войной закончили его строить, а пустырь, теперь превратившийся в площадь, тогда не успели озеленить... Подошли к двухэтажному дому с небольшим зеленым двором. У Гокка все задрожало внутри.

– Поиграй здесь, – сказала она Артуру. – Мне тут надо зайти в одну квартиру. Я недолго.

Поднялась на второй этаж. Четвертая квартира... Сейчас нажмет она кнопку звонка, и... Сердце готово было выскочить из груди. Рука потянулась к звонку.

В дверях появилась пожилая женщина, с неприязнью окинула стоявшую на площадке незнакомку, трезвонившую здесь так долго. Грубо, с резким грузинским акцентом спросила:

– Што надо, почэму рвешься в мой дом?

– Я жила в этой квартире, – тихо сказала Гокка. – Перед войной. Все оставила. И ушла на фронт. – Видя, что у хозяйки ее квартиры заходили от злобы желваки, поспешила добавить: – Я ни на что не претендую. Но и не придти сюда не могла. С этой квартирой меня связывает память...

– Памят! Памят! – зло заворчала женщина. – Мнэ зачэм твой памят? Чэтырнадцат лэт живу. Твоево ничего нэт! Нэ ходи суда! – и захлопнула дверь.

«Конечно, приходить не надо было, – сетовала на себя Гокка, возвращаясь на автостанцию, – смешно думать, что квартира дожидалась тебя, что кто-нибудь ждал тебя в ней...»

На автостанции негде было упасть яблоку – все, кто не смог уехать, будут ждать утренних автобусов в карачаевские аулы, придется здесь провести ночь и Гокка с Артуром. Она с трудом отыскала для него местечко, где бы он мог прикорнуть немного, а сама всю ночь и утро ходила между сидящими...

Память в обратной последовательности переворачивала страницы – здесь луна безучастно провожала страшный караван, растянувшийся по Кубанскому ущелью, здесь «студебеккер» с людьми покатился в пропасть, здесь урчащие, с выпученными глазами-фарами чудовища наползали на людей, обезумевших от горя и страха под автоматными дулами, отсюда в последний раз увидела Гокка оставленную настежь дверь их дома, старинного дома Боташевых... А сейчас она не находила его, как ни напрягала зрение.

Не узнавала своего квартала, своей улицы. Не шла, а бежала по ней, по чему-то едва уловимому вспоминая ее шаг за шагом... Вот большой круглый камень, местами покрывшийся лишайником. В детстве она, Кемисхан и Харун играли на нем в «крепость» – кто-нибудь один, кто первым забирался на камень, объявлял себя ханом, а двое других свергали ненавистного властелина. Камень почему-то лежал почти на самой дороге. Чья великанская рука выкатила его сюда? И зачем? Ведь он, до половины вросший в землю, никому не мешал во дворе, между хлевом и домом... Гокка подняла глаза и замерла, не в силах даже дышать... Дома не было. Ничего не было в подворье, кроме груды камней, обгорелых обрубков бревен и мусора. Все, что осталось от родного очага... Гокка опустилась на камни, спрятала в

ладони лицо – если прибежит Артур, он застрял у ручья, не сразу заметит, что она плачет, – и дала волю слезам. Выплакалась, но боялась отнять от лица ладони. Вдруг рядом где-то заскулила собака. И Гокка почувствовала, теплая собачья морда уткнулась ей в колени. «Аллах мой! Неужели?..» – Гокка приглядывалась к собаке, гладила ее, трепала по загривку, по ушам и не смогла сдержать радостного крика, увидев метку на правом ухе, сделанную рукой отца:

– Самыр!

Пес вилял хвостом, лизал руки Гокка и жалобно, протяжно скулил. Гокка гладила его, перебирая когда-то огненную, а теперь густо пересыпанную пеплом шерсть.

– Старенький стал. Но ведь не забыл, верный пес!

Гокка поднялась, вышла на улицу. Самыр крутился возле ее ног неотступно. Подбежал Артур. Самыр кинулся к нему, лизнул в щеку и замахал хвостом, отскочил на шаг, пригнул голову, снова налетел, играя, на Артура. И они веселым клубком побежали по улице. А Гокка медленно пошла от подворья к подворью. Повсюду полуразрушенные остовы, заросшие бурьяном фундаменты, одичалые сады. Вспоминала, кто где жил. И опять перед глазами из снежной поземки вставали сиротливые холмики на заброшенном карачаевском кладбище в беспредельной казахстанской степи... «Сколько же раз должен умереть наш народ, чтобы наконец возродиться на земле предков?» – думала, едва сдерживая душившие ее слезы. От квартала осталось всего несколько домов, но и выжившие пребывали в страшном запустении, хотя в них, по всему заметно, кто-то обитал. И только один дом, под железной крышей, дом бывшего старшины аула, казалось, жил своей прежней жизнью.

– Мам, куда мы идем? – подлетел Артур.

– К бабушке Бибе, сынок.

– А он пойдет с нами?

– С нами, конечно... Его зовут Самыр.

– Откуда ты знаешь?

Гокка только грустно улыбнулась в ответ.

Во дворе одного из уцелевших домов, прямо на земле, был устроен очаг, неподалеку грудой свалены чемоданы, сумки, мешки. Гокка остановилась.

– Вы кто будете? Откуда? – спросила у сидящего у огня пожилого человека с небольшой круглой совершенно седой бородой.

– Гебеновы. Из Узбекистана приехали, – ответил он. – А в нашем доме живут сваны. И не хотят нас пускать.

«Да, основательно устроились» – усмехнулась Гокка, глядя на занавески в окнах, развешанное на веревках белье, на красных кур, деловито расхаживавших под самым носом у теленка, отдыхавшего в тени под навесом

и равнодушно посматривавшего на большую кавказскую овчарку, грозно ощерившуюся при виде Самыра и чужих людей.

– Что же теперь будет?! – воскликнула Гокка. – Так и будете жить?

Глава семейства тяжело поднялся с расстеленного на земле покрывала, повернулся к дому лицом и, поглаживая бородку, задумчиво ответил:

– А что делать? Он (Гокка поняла, что старик имеет в виду поселившегося в его доме свана), ты же видишь, уважаемая, не хочет съезжать. Говорит, государство дало ему этот дом. Я говорю, дом мой, своими руками построил его, столько трудов положил, никуда не уйду отсюда. А он слушать не хочет... Ночь провели здесь, слава Аллаху, не холодно, лето... Я буду ждать, когда он уйдет к себе за перевал. Пусть там живет на здоровье! Должна же у него совесть быть, пусть уйдет! Я буду ждать, я хочу, чтобы все было по-хорошему. Но могу и по-плохому... – старик легкими шажками стал прохаживаться рядом с Гокка. – Зачем вынуждать? Вчера, знаешь, приехала семья Хасановых. Вошли они, как и мы, в свой двор, а тот, кто распоряжался в его доме, кинулся на возвратившегося хозяина с дубиной и убил несчастного. Сегодня хоронят. Только и утешения, что будет лежать в земле предков... Вот такие дела, сестра, попали из огня да в полымя... – Старик заметно разволновался, подбежал к дверям и несколько раз стукнул в них слабыми кулаками. – Отопри и выйди, трус несчастный, посмотри мне в глаза, если сможешь!

Рядом с Гокка появилась маленькая сухонькая женщина во всем черном. Взяла Гокка за руку, заглянула ей в глаза. Горячо зашептала:

– Пусть накажет Аллах тех, кто людей довел до такой жизни! Скажи, сестра, этот сван виноват разве? Его тоже сорвали с насиженного места. А что разжился за наш счет, так тоже не по своей воле. И мы не виноваты, что живы остались и домой вернулись... Вот и пойми тут...

Гокка пошла дальше. Артур с Самыром – неразлучная пара – не отставали от нее. Гокка не узнавала центральной улицы своего родного Чаула: прежде по обеим ее сторонам дома стояли плотно, а сейчас тут и там зияли пустыри. Гокка не покидало недоумение.

К ней подошла женщина; в соседнем дворе, у дверей своего дома, ее семья располагалась на узлах.

– Вот я тоже стояла тут и глазам не верила. Соседей в песках похоронили. Сюда приехали, будто второй раз они умерли, домов их нет. А все эти сваны. Они, знаешь, сестра, ломали пустующие дома, дрова продавать в Черкесск возили...

У Гокка похолодело внутри, когда в одном из дворов увидела настоящий кулачный бой между мужчинами под аккомпанемент громко причитавших женщин, пытавшихся разнять их. Гокка вмешалась. Но ее чуть не поколотили. Увиденное потрясло. «Аллах милостивый! Верни людям разум. Брат поднялся на брата...»

В соседнем дворе приехавшие спокойно переносили свои вещи в дом. На удивленный вопрос Гокка женщина, согнувшаяся под тяжестью узлов, показала свободной рукой на помогавшего им свана.

– Купили у него свой собственный дом. Пришлось! Ну да чего уж теперь... Сказал, на днях уедет, а пока в одной комнате поживет...

«Продавать то, что не твое, да еще истинному хозяину, надо совсем потерять все человеческое» – думала Гокка, подходя к кварталу, где прежде жила Халимат. Боялась, что и она со своими тоже поселилась во дворе своего же дома.

Вошла во двор и удивилась, что он весь выложен какими-то плитами. Присмотрелась – из-под припорошившей их земли кое-где проступали надписи арабской вязью. «Неужели могильные камни?» – ужаснулась Гокка. Увидела Разият, развешивавшую какие-то вещи на каменной изгороди.

– Как хорошо, что ваш дом целехонек! – воскликнула Гокка. – Что, в нем никто не жил?

– Жила семья, – сказала Разият, обрадовавшись приезду Гокка. – Сейчас они перешли во времянку. Сами открыли перед нами двери дома. «Входите, просим вас, живите в своем доме. А мы вернемся в свой. Будем молиться, чтобы Господь отмыл наши грехи, ведь мы ваше хозяйство (так сказали, представляешь!) за перевал переправили! И стали креститься... А мы и пустым стенам рады. Скоро вещи придут. Начнем обживаться. Пойдем в дом...

Халимат мыла окна. Так, с тряпкой в руках, и бросилась навстречу Гокка.

– До сих пор не могу поверить счастью нашей семьи, подумать только, мы одни вернулись из «Трудовика» без потерь. Мама молодец, не подкачала!..

Гокка подбежала к старушке – она доставала из мешка пожитки, – обняла ее. Показалось Гокка, маленькая тетушка Биба в родном доме выглядела моложе и выше ростом.

– ...И только нам уступили дом добровольно! – звенящий голосок Халимат вдруг дрогнул. – Знаешь, я уже начинаю бояться такого везения. Ведь здесь кровавое побоище чуть ли не за каждый дом, многие так и живут на улице.

– А я не понимаю, – подала голос Биба, – почему начальство не вмешивается.

– Как оно вмешается, – Халимат даже рассердилась, – когда само же и разрешило?

В дом вбежал Артур, Самыр остался на пороге, виляя хвостом в нетерпеливом ожидании.

– Мам, как интересно здесь! – глазенки Артура возбужденно горели. – Течет большая-пребольшая вода. А там зеленые-презеленые горы с чем-то белым наверху!

– Это горные вершины, покрытые льдом и снегом, – пояснила Разият. – А большая вода – река Кубань.

– А это ваш Самыр? – удивилась Халимат. – Совсем старый стал. Дождался хозяйку. Ну, иди поешь... – дала ему хлеба, налила в жестянку воды.

– Так они с Артуром и ходят парой, – погладила Гокка собаку. – Не знаю, чем он жил все эти годы, ведь нашего дома больше нет...

– Да, мы знаем... – тихо сказала Халимат и смахнула слезу.

– Мышами, наверное, – предположила Биба, – может, что и от людей перепадало... – вдруг нахмурилась, напустилась на дочерей: – Когда в Карачае встречали гостей разговорами? Забыли разве, что надо стол накрыть?

Посередине комнаты на коробки, чтобы получилось повыше, положили самый большой чемодан, постелили на него полотенце – чем не обеденный стол под скатертью! – разложили нехитрую снедь, все, что осталось с дороги: ломтиками порезанное сушеное мясо, сыр, несколько лепешек и даже конфеты «подушечки» и пряники. Расселись вокруг на узлах и коробках – не очень удобные стулья, но зато мягко сидеть и ноги отдохнут немного... Разият во дворе поставила на костерке алюминиевый чайник. Артур помогал – подносил щепочки и бросал их в огонь. Вскоре чайный дух наполнил комнату. Всей посуды было всего две жестяные кружки. Одну дали гостье, из другой пили по очереди. «Как из семейного кубка, – подумала Гокка и улыбнулась. Сидели до поздней ночи. Вели неторопливые разговоры. А куда торопиться? Они дома!

Спать легли на полу, на свежей альпийской траве, которую, как только приехали, специально для постелей натаскали Халимат с Разият. Гокка вдыхала медвяный запах и видела маму, провожающую прохладным утром Пеструшку в колхозное стадо, видела отца с Харуном в мокрых от пота рубахах, вдруг выраставших из травы по грудь на лугу и приостанавливавшихся на минуту передохнуть, опираясь на косовища, видела улыбающееся лицо Аслана – вот он опускается на колени, собирает в охапку летнее разнотравье, зажмурив глаза, зарывается в него лицом и жадно вдыхает этот пьянящий, настоянный на медах трав аромат...

Провожали Гокка с Артуром втроем: Халимат, Разият и Самыр.

– Ты жди нас обязательно, – сказал ему серьезно Артур. – И дом сторожи.

Биба попрощалась с Гокка и внучком на пороге.

– Мама почти не выходит. Ей становится плохо, когда она видит плиты во дворе, – сказала Разият.

А Халимат пояснила:

– Это могильные плиты. Сваны с наших кладбищ надгробные камни переправляли за перевал на строительные нужды или же находили им здесь такое, как ты видела, применение. – Вытерла слезы. И возмущенно продолжила: – Ладно, имущество увозили, но могильные памятники! Дойти до такого кощунства! У меня дрожь по телу...

– Я обратила внимание, когда шла к вам, – тихо сказала Гокка и задумчиво добавила: – Неужели никогда не кончится этот кошмарный сон?

Болезненное и долгое, понимала Гокка, предстоит освобождение от этого сна – прошлое и настоящее всегда были рядом, будто бы заслоняя от людей их будущее, прошлое не отпускало их от себя, а настоящее принимало неохотно, словно пасынков к скудному столу, за которым и без них тесно. Рука об руку встречали возвращавшихся в Карачай радость и горе. Приходилось отвоевывать у пришельцев из-за перевала своя же дома, осада часто затягивалась, часто бесплодность ее становилась очевидной очень скоро. Горько об этом думать, но в лучшем положении – Гокка ужасалась, им даже завидовали! – оказались те, кто находил свои дома разрушенными – в таких случаях полагалась ссуда, которой хватало и на то, чтобы построиться, и на то, чтобы приобрести скот. Застучали в аулах топоры, завизжали пилы, и не стало вдруг хватать в лесном краю строительного материала – запестрели тревожными заметками страницы возобновленной областной газеты «Красный Карачай». Но появлялись в ней время от времени и хорошие новости: обживают люди землю предков, и о детях своих думают, к новому учебному году в пригодных зданиях открывают школы. Работа закипела по всей Карачаево-Черкесской автономной области: образовывались новые районы, закладывались аулы, создавались колхозы и совхозы. Правду сказать, в большинстве мест все это начиналось с «постановляющего» клочка бумаги с подписями и печатью да с бескрайнего неба над головами людей. Но дома и камни помогают, и небеса – желанная крыша. В родных горах постепенно возвращалась все же к людям уверенность, ощущение, что вернулись они хозяевами на свою землю. Однако в городах по-прежнему что-то давило: карачаевцев назначали на вторые должности, будто боялись – или не хотели? – доверить первые...

Несказанно возликовала Гокка, когда узнала, что директором областного книжного издательства стал карачаевец, – благодарение Аллаху!– тот самый отставной полковник Магомет, который, когда она скиталась по Средней Азии в поисках мужа, рассказал ей о смерти Аслана и дал адрес Байчоровых. Перепечатала рукописи на машинке и, набравшись храбрости, отправилась с ними в издательство. Магомет обрадовался Гокка, принял ее очень радушно.

– Я почему-то не сомневался, что вы придете. Вы не могли не прийти, ведь у вас такое сокровище, рукописи Аслана. Они тоже достояние нашего народа. И наш долг теперь вернуть его, отнятое, поруганное... И не только за последние десятилетия... Понимаю, задача наша огромна – возродить духовную культуру народа. Пусть Аслан поможет нам сделать первые шаги. Талантливый писатель должен вернуться к людям!

Директор предложил Гокка чаю с пряниками, а сам углубился в чтение. Давно был вечер, но Гокка терпеливо ждала. И вот Магомет, с просветленным лицом, восхищенно воскликнул:

– Достойно печати! Завтра же отдам рецензенту. И – зеленую улицу!

Со спокойным сердцем вышла Гокка из дверей издательства. Теперь книга Аслана в надежных руках...

Гокка устроилась хирургом в областную больницу, ютившуюся в нескольких совершенно не приспособленных для нужд медицины низких строеньицах. Хоть и жалела временами, что не поселилась в Карачаевске – больница там сохранилась и оборудована была неплохо, – работала с полной отдачей, не уступая троим своим коллегам мужчинам, да еще вела прием в районной поликлинике. И еще – по старой своей привычке – не могла мириться с безалаберностью в стенах больницы. Где, как не здесь, должен главенствовать порядок! Высказала свои соображения главврачу. Тот чуть не поперхнулся – очевидные вещи говорила «новенькая», а он замотался, проглядел, прошляпил, хоть и спотыкался обо все об это изо дня в день. На собрании ее предложения были приняты дружно, и, к удивлению своему, все вдруг вскоре увидели: налаживается у них жизнь в больнице, легче и интереснее становится работать. Инициативность Гокка не осталась незамеченной в облздраве, ей поручили контролировать, как в районах решаются вопросы медицины. В свободные от дежурств дни Гокка выезжала в аулы, не только инспектировала функционирующие и вновь открываемые медицинские учреждения, но и встревала во всякие мелочи, касалось ли дело индивидуального строительства, трудоустройства людей, выдачи ссуд, продажи товаров первой необходимости – всего не перечислить! Жила как бы взахлеб, словно боялась хотя бы несколько минут отдать воспоминаниям и где-то внутри затаившейся боли...

И все-таки не могла, несмотря на всю эту суматоху, не задуматься над сообщением, поразившим, без преувеличения сказать, всю карачаевскую общественность. Только-только начали возвращаться карачаевцы в родные места, неизбывная трагедия здесь еще сильнее жгла сердца, не было такой силы, которая могла бы унять человеческие страдания и горе, – и вдруг стало известно, что готовится праздник. В октябре в Москве должна пройти декада карачаевской литературы и искусства, приуроченная к стотридцатилетию добровольного вхождения Карачая в состав России, а художественным руководителем декадной программы приглашен Вано Мурадели. Слов нет, всеми уважаемый в стране композитор, но почему опять пришелец из-за перевала в знатоках национальной карачаевской культуры? Почему именно сейчас, когда так трудно карачаевцам на их истерзанной родине, появилась идея такого праздника за тридевять земель отсюда? А праздник ли это для карачаевцев? Неужели только для того, чтобы никто никогда не узнал о нынешней трагедии горских народов Кавказа, кому-то понадобилось извлечь на свет этот замшелый, фальшивый миф о добровольном присоединении земель в кавказских предгорьях к державе Российской? Ведь история говорит обратное:

у подножия горы Хасаука в Кубанском ущелье кровавую победу над горцами праздновали солдаты генерала Эмануэля. Не понимала Гокка приготовлений к таким торжествам. Другие даты отсчитывал ее календарь – четырнадцать лет минет уже с того черного ноябрьского дня... А простым людям и вовсе не до праздников – надо поставить до холодов хоть какое жилище, позаботиться, чтобы дети пошли в школу, им ведь придется и родной язык изучать как чужой, надо что-то делать, чтобы молодежь, уже закончившая школу, смогла осилить вступительные экзамены в местные учебные заведения, а для этого им нужны азы хотя бы в русском языке или в карачаевском, надо еще как-то поднять на ноги нехитрое свое хозяйство. Еще много надо... Слава Аллаху, земные, житейские, человеческие заботы появились наконец-то у людей, значит, жизнь стоит на пороге карачаевского дома!

Подрос и дом, в котором Гокка обещали квартиру. В начале пятьдесят восьмого справили с Артуром, серьезным, старательным школьником, новоселье, понемногу стало уютно и светло в двухкомнатной квартире, перед окнами которой буйно разрасталась акация. Весной из издательства прислали долгожданный пакет – сигнал романа Аслана. Гокка прижимала книгу к груди, жадно вдыхала запах свежей типографской краски. Шептала, боясь открыть глаза: «Здравствуй, Аслан! Вот ты и вернулся в родные горы. Будем вместе воскрешать наш народ. У нас с тобой столько работы!..»

* * *

Прошли годы. Гокка закончила аспирантуру в Москве, получила степень кандидата медицинских наук. Стала заведовать хирургическим отделением областной больницы. «За высокие достижения в труде и в связи с пятидесятилетием со дня рождения», как говорилось в Указе Президиума Верховного Совета СССР, была награждена орденом Ленина.

Самый уважаемый в области доктор... «Самая красивая на земле мама» – любил повторять Артур, глядя на совершенно седую, с улыбчивыми глазами на удлиненном лице, стройную женщину в белом халате. Но очень часто родные мамины глаза были печальны. Когда у нее выдавался свободный вечер и Артуру не надо было никуда бежать, Гокка надевала свой капитанский китель со змеей на погонах и рассказывала, рассказывала, рассказывала сыну о пережитом, чтобы оно осталось с ним, когда не станет ее...

И вот Артур уехал в Москву, он поступил учиться в Бауманский, а она сидит долгими вечерами в полутемной комнате, с замиранием сердца всматривается в ночное небо, где в бесконечной дали мерцает и ее звездочка, вслушивается в то, что говорят меж собой живые души предков...



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

* * *

Добродушие этого народа и хороший нрав, полнейшее отсутствие в нем ненависти и подозрительности должны быть вполне оценены путешественниками. Еще большего восхищения заслуживает полнейшее отсутствие в среде этого народа воровства и разного рода насилий и жестокостей... Они носят с собой кинжалы и пистолеты, но не пускают их в дело...

...Карачаевцы отличаются своим громадным ростом, силою и грациозной поступью. Они очень стройны. В пище очень воздержанны. Едят мало и редко. При необходимости они могут идти целый день без крошки хлеба и после подобной прогулки не будут казаться истомленными или даже слишком голодными. Карачаевцы плечисты и мускулисты. Черты лица их мелки, но правильны, форма головы не представляет никаких уклонений от нормы. Цвет кожи белый и румяный, волосы русого цвета, также рыжеватые и редко темные. Движения ловкие и не лишены присущей горцам грации. Женщины карачаевские тоже красивы. Карачаевская красавица может похвастаться тонкою и красивою, точно выточенною, талией.

Граве,
английский путешественник.

Песня-плач

Неизвестный автор.
(Поют до сих пор.)

Ой, горы Кавказские
прекрасные горы,
крепостью высились вы во все времена.
С нами плачьте сегодня,
плачьте с нами,
сегодня нам суждено расстаться...
Путь нам в безвестную даль,
далеко от древней нашей земли.
Что плакать
о могилах предков -
они счастливее нас, живых.
Нет сил слышать,
как воют собаки,
сторожившие наши подворья.
В полчаса не стало
во всем Большом Карачае
ни одного аула,
где не померк бы от слез солнечный свет,
Наши коровы не дождутся хозяек,
ревут взаперти, недоенные.
А нас огромные грузовики
увозят в неизвестность.
Последний раз осталось взглянуть
на родные Кавказские горы.
Солдаты в черных шинелях
окружают нас.
Нас пересчитывают,
как рогатый скот.
Плачут мертвецы в могилах,
ведь мы оставляем их.
Как же им не плакать?
Ушли те, кто навещал их.
За один только год
вымерли все старики
на казахстанской земле.
Мне надо рассказать так много.
Но у меня не хватает на это сил.
Здесь умирают от голода,
а не своей смертью.

* * *

«Нас, несколько семей, привезли в колхоз «Елюм кер» Пахта-Аральского района. «Елюм кер» в переводе с казахского означает «встречайся со смертью». Странное название для колхоза. Но оно не случайно. Здесь была голая безжизненная степь.

Мы жили под худыми камышовыми навесами, наши «жилища» насквозь продувались ветрами. Спали на земле. На нас вспрыгивали черные жабы. А вокруг ползали с шипением и свистом змеи.

Люди пухли с голода. Помню, однажды всю семью Хаджибекира Бижиева, до выселения жил он в ауле Сары-Тюз, нашли мертвыми. Мы с одной женщиной выкопали, как смогли, яму, совсем не глубокую, стащили в нее трупы, всю семью кучей. Без обряда. Положили в тех лохмотьях, какие на них были. Едва присыпали землей. Похоронили, называется…»

Фатима Борлакова,
г. Черкесск.

* * *

«...Осенью 1944 года фронтовик Азрет Хыбыртов, не зная о том, что семья его выселена, возвращаясь из госпиталя, приехал на поезде в Кисловодск. Прежде рослый здоровяк, он имел жалкий вид и был очень слаб после ранения – в него попало девять пуль и осколок бомбы. С трудом мог передвигаться.

Азрет вышел на дорогу, которая вела в его родной аул Терезе, что в двадцати километрах от Кисловодска. Ни одной попутки. Однако решил: пойдет пешком. Но пройти столько километров не так-то легко. И все же он пошел. На второй день пути какая-то подвода нагнала его. Фронтовика подвезли до аула.

Азрет не узнал своего Терезе. Повсюду пустыри, полуразрушенные дома. Только в некоторых, чудом уцелевших, кто-то жил – над крышами дымились трубы. На месте своего дома Азрет нашел развалины. В Терезе его двоюродная сестра Анисат была замужем за кумыком Пахрутдином Ратбадановым. Азрет пошел к ним. К счастью, они жили в своем доме. Они и поведали ему о разыгравшейся здесь трагедии.

На третий день после приезда Азрета в дом Ратбадановых нагрянули «гвардейцы» Берия, сотрудники НКВД Кривлякин и Козлов. Приставили наганы к виску фронтовика, приказали: «Встать!» Азрет еле поднялся. Они схватили его, бросили в грузовик.

Азрет ничего не понимал – с ним, с бывшим командиром взвода, обращаются как с врагом народа. А он в кавказском корпусе генерала Доватора защищал Москву, потом воевал на Смоленщине, на других направлениях. Тяжело раненный, долго лежал в госпиталях. Инвалидом вернулся домой, но оказался бездомным. И вот теперь арестант.

В Кисловодске его бросили в одиночную камеру. Правду сказать, нашлись люди, не чета Кривлякину и Козлову, разобрались. Азрета выпустили. И он, хоть это ему было неимоверно трудно, отправился в Среднюю Азию на поиски своей семьи.

Несколько раз мне об этом рассказывал, старый кумык Пахрутдин. А в пятьдесят шестом – я учительствовал в школе – начали возвращаться карачаевцы, тогда я и познакомился с Азретом Хыбыртовым. Богатырь, лицо красивое. Продолжал носить военную форму. На груди орденам тесно. Он мне тоже рассказывал о своей эпопее.

Он умер от старых фронтовых ран. У него осталась дочь Таня. Сейчас она живет в ауле Верхняя Мара».

Зауаль Аджибеков, учитель
(«Из огня да в полымя»,
газета «Ленинни байрагъы»
(«Ленинское знамя»)
от 26 июля 1988 года)

* * *

«...Я сражался за Сталинград, не щадя жизни. Но все, что я пережил на фронте, не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал, будучи спецпереселенцем.

В сорок третьем году одним из первых в нашей части меня вызвали в Москву для вручения боевой награды. Вручал М.И. Калинин в присутствии С.М. Буденного. Нас в Москве приняли очень хорошо.

А в 1946 году я был сослан в Среднюю Азию, с трудом нашел семью. В Средней Азии был свидетелем жесточайших несправедливостей, унижения человеческого достоинства. Член партии, кавалер многих боевых наград, я еле избежал двадцати пяти лет каторги за то, что пошел из своего села в соседнее в поисках кого-нибудь из родни».

Адрахман Темирджанов,
ветеран войны, партии и труда.
г. Карачаевск.

* * *

«В самом начале пятидесятых молодым преподавателем я должен был принимать вступительные экзамены в университете по русскому языку и русской литературе.

Тогдашний ректор собрал нас и после обычных напутствий сообщил как нечто само собой разумеющееся: «Да, еще... Тут подают заявления спецпереселенцы – чеченцы, карачаевцы, прочие. Есть указание: делать так, чтобы они не поступили...»

Это означало, что экзаменаторы должны ставить «непроходные» баллы, глядя в глаза вчерашним школьникам и играя комедию непредвзятости, которая, конечно же, никого не обманывала. Мы должны были, как говорилось в старину, споспешествовать подлости.

Нас было трое – Иванова, Есенина и я. На дворе стояло лето 52-го года. Муж Евгении Олимпиевны Зениной, старый большевик, находился в тюрьме, в воздухе пахло «делом врачей», на душе было более чем скверно.

Но когда мы вышли из начальственного кабинета и Павла Васильевна Иванова как-то растерянно произнесла: «Вы слышали... Как же быть? Что же мы теперь?..» – Евгения Олимпиевна жестко и четко отрезала: «Будем принимать по совести!»

Сейчас, спустя много лет, думая о тех, кто в сталинское лихолетье помог мне сохранить «душу живую», я вспоминаю эти экзамены и этих людей, противостоящих злу. Могу даже назвать запомнившиеся имена абитуриентов, которым мы всяческими хитростями (признаюсь в этом) помогли преодолеть препоны и поступить в университет. Среди них был и чеченец Мякиев (теперь партийный работник на Кавказе), и другие».

А. Жовтис,
профессор Казахского педагогического института
(«Учительская газета» от 23 июля 1988 года)

* * *

В Бюро Ставропольского
крайкома КПСС
г. Ставрополь

Мы, группа карачаевцев, прибывших в Москву по поручению своих соотечественников с просьбой к ЦК КПСС о возвращении карачаевского народа на Родину в Ставропольский край, 4 июля сего года были приняты Первым секретарем ЦК КПСС товарищем Хрущевым Никитой Сергеевичем.

Во время исключительно теплого приема Никита Сергеевич вселил в нас надежду о возможности скорого положительного решения нашего вопроса. Понимая, что вопрос находится в стадии разрешения и, полагая, что Ставропольский краевой комитет партии положительно отнесется к этому жизненно важному для нас вопросу, мы просим Бюро Ставропольского крайкома КПСС поддержать просьбу карачаевского народа о возвращении его в родной край.

г. Москва, 6 июля 1956 года.

(Письмо подписали присутствовавшие на встрече с Н.С. Хрущевым. В Ставрополь с письмом были направлены Нузула Курджиева, Тауби Курджиев и Мурат Джаммаев.)

* * *

«Первому секретарю ЦК КПСС
т. Никите Сергеевичу Хрущеву.

Дорогой Никита Сергеевич!

Убедительно просим Вас принять представителей карачаевского народа в количестве 10 человек, прибывших из Казахстана и Киргизии для личной встречи с Вами по вопросу о дальнейшей судьбе карачаевце

Никита Сергеевич! Эта группа представителей нашего народа вторая. Первая группа представителей вернулась, не добившись встречи ни с одним из руководителей Партии и Правительства. После этого карачаевцы направили вторую группу представителей с заданием – не возвращаться до тех пор, пока не услышим от Вас твердого ленинского слова о дальнейшей судьбе карачаевцев.

Среди нас есть такие представители, как Герой Социалистического Труда т. Нузула Курджиева, которая приехала к Вам на прием, оставив в далеком Казахстане своего грудного ребенка. Есть и такие, как 88-летний колхозник Ибрагим Чагаров, который впервые сел на самолет и пролетел четыре тысячи километров, чтобы попасть к Вам на прием.

Ваше историческое заявление на XX съезде КПСС в защиту нашего народа светлой надеждой на счастливое будущее озарило сердца всех честных карачаевцев. Карачаевцы ждут своих посланцев вместе с Вашим ленинским словом.

Потому, дорогой Никита Сергеевич, просим Вас уделить нам несколько минут для передачи Вам чаяния нашего народа.

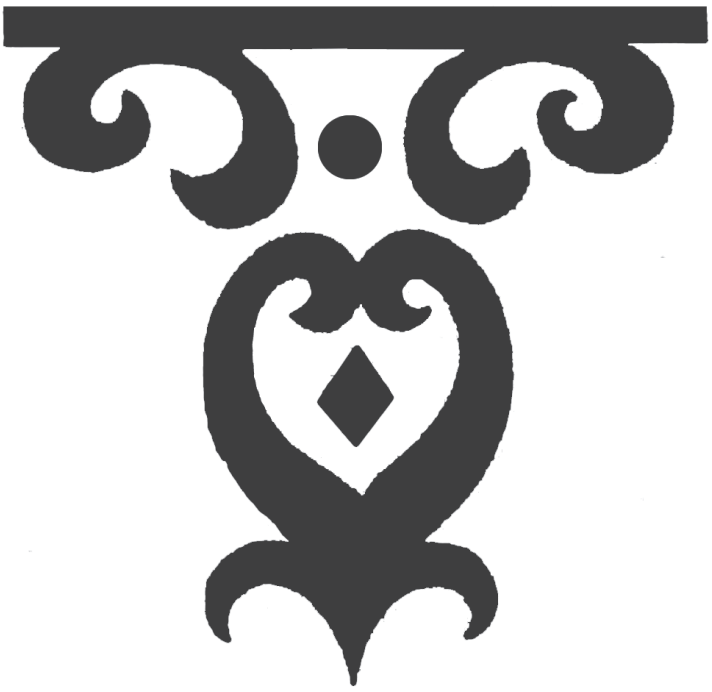
Карачаевцам стало известно, что представителей чеченцев и ингушей принял товарищ Микоян Анастас Иванович, а представителей калмыков – товарищ Ворошилов Климент Ефремович. Мы ждем Вашего согласия на прием и надеемся, что Вы не откажете нам в просьбе.

О Вашем решении просим уведомить по адресу:

Москва, Д-57, Первый Цветковский проезд, д. 16-а, кв. 3. Гаджаеву Маджиру Ибрагимовичу.

С искренним братским приветом к Вам:
***Курджиева Нузула** – Герой Социалистического Труда, колхозница;*
***Чагаров Ибрагим** – колхозник, 88 лет;*
***Гаджаев Ибрагим** – инженер, коммунист,*
участник Великой Отечественной войны;
***Богатырев Харун** – Герой Советского Союза;*
***Курджиев Тауби** – бывший офицер Советской Армии, коммунист,*
участник Великой Отечественной войны;
***Байрамуков Юсуф** – юрист, коммунист,*
партизан Великой Отечественной войны;
***Джаммаев Мурат** – бывший секретарь Малокарачаевского райкома*
КПСС, бывший офицер Советской Армии, коммунист,
участник Великой Отечественной войны;
***Урусов Умар** – служащий, кандидат в члены КПСС;*
***Байрамкулов Ибрагим** – колхозник, кандидат в члены КПСС,*
участник Великой Отечественной войны;
***Кубанов Сафар** – служащий, коммунист,*
бывший офицер Советской Армии,
участник Великой Отечественной войны.
г. Москва, 3 июля 1956 года».

(Харун Богатырев (из-за болезни) и Сафар Кубанов во встрече с Н.С. Хрущевым не участвовали.)



Из альбома писателя

Х. Байрамукова. 1933 г.

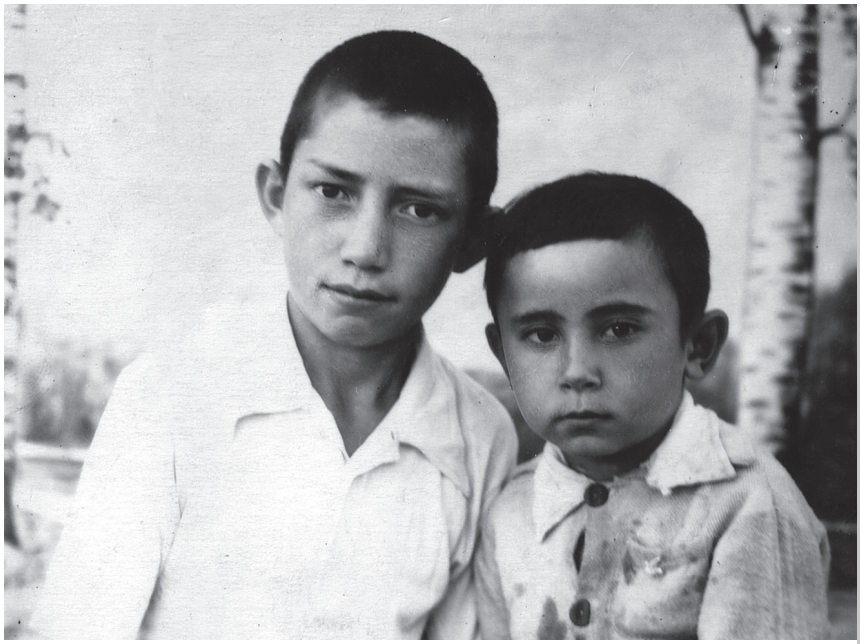




Х. Байрамукова и композитор
А. Поздняков. 1936 г.



Х. Байрамукова. 1941 г.



Сыновья Х. Байрамуковой Эдуард и Арсен. Казахстан,1955 г.



Х. Байрамукова, с одним из основоположников карачаевской поэзии Даутом Байкуловым. Микоян-Шахар. 17 июля 1931 г.



Ханафий Токов, отец старшего сына Х. Байрамуковой. Погиб на фронте. Довоенная фотография



Х. Байрамукова в редакции газеты
«Кызыл Карачай». 1958 г.



Х. Байрамукова с переводчицей Г. Каменной. М., 1963 г.



Х. Байрамукова. 1963 г.



Х. Байрамукова, Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.И.Микоян, писатель Раиса Ахматова на приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца после II съезда писателей РСФСР. Москва, 1965 г.



Х. Байрамукова с чешскими учеными. 1965 г.



Х. Байрамукова с первой учительницей Ангелиной Николаевной Козорезовой. М., 25.04.1965 г.



Леонид Соболев и Халимат Байрамукова на семинаре молодых писателей в Черкесске. 1966 г.



Х. Байрамукова и Расул Гамзатов на IV съезде писателей СССР. Москва, 1967 г.



Х. Байрамукова. У памятника легендарной тачанке. Каховка. 1971 г.



Х. Байрамукова после выступления во Дворце метростроевцев. Москва, 1971 г.



Х. Байрамукова с украинским поэтом М. Братаном на берегу Днепра в Херсоне. 1971 г.



Писатели Карачаево-Черкессии в Волгограде. 1973 г.



У Волжской ГЭС. Поэтесса М. Агашина
и Х. Байрамукова. Май 1973 г.

Халимат Башчиевна в Пантеоне Мамаево Кургана.
Волгоград, май 1973 г.





Х.Байрамукова с супругом Хамзатом Кубановым.

Х. Байрамукова на VI съезде писателей СССР. Москва, июнь 1976 г.





Х. Байрамукова. 80-е годы.



В Доме печати Сергей Михалков, секретарь обкома партии С. Семенов, Х. Байрамукова. г. Черкесск, 1978 г.



VI съезд писателей РСФСР. Халимат Байрамукова и Африкан Бальбуров. Москва, 1976 г.



Слева направо - младший сын Арсен Кубанов и его супруга Земфира Борисовна, Халимат Байрамукова, старший сын Эдуард Токов. 1978 г.



Писатели Карачаево-Черкесии: А. Суюнчев, А. Семенов, Х. Байрамукова, А. Охтов, Х. Жиров, С. Капаев.

Старший сын Х. Байрамуковой Эдуард
с супругой Марией. Черкесск,1986 г.



Младший сын Х. Байрамуковой Арсен с супругой Земфирой.





Халимат Байрамукова со своими внуками Эльдаром и Айшат



Декан художественно-графического факультета КЧГПИ Исмаил Байрамуков, поэт Фатима Байрамукова, Халимат Байрамукова, поэт Хамит Боташев (США), поэт Азрет Акбаев. Черкесск, 1991 г.

ОТЗЫВЫ О ТВОРЧЕСТВЕ Х. БАЙРАМУКОВОЙ

«…Стихи Халимат Байрамуковой трогают своей непосредственностью, искренностью, простотой, органически связанные с народом песенным творчеством, с фольклором, лучшие её стихи душевны.

Байрамукова – мастер короткого, точного стихотворения, стихотворения-реплики, стихотворения-афоризма».

Е. Винокуров,
из рецензии в издательство
«Советский писатель», 1963 г.

* * *

Небольшая книжка Халимат Байрамуковой вызывает у читателя много мыслей. И это потому, что в собранных в ней стихах запечатлелся духовный мир поэтессы. Перед нами человек страстного поэтического темперамента, борец. Х. Байрамукова поэт небольшого народа, но, как и её народ, она всецело связана с большим миром, и поэтому она – выразительница чувств. Халимат Байрамукова – талант весьма оригинальный. Её товарищ стих, как правило, тяготеет к афористичности. Поэтесса любит лирическую формулу. Её афоризмы всегда насыщены глубиной и своеобразной мыслью».

А. Дышмиц, критик,
лауреат Государственной премии.

* * *

«…На этого автора (Х. Байрамукова) следует обратить пристальное внимание. Она обладает пристальным глазом художника. Она выявляет себя как человек талантливый».

М. Светлов,
из рецензии в издательство
«Советский писатель», М., 1962 г.

* * *

«…У Халимат Байрамуковой есть стихи, которые называются «Люблю тебя, жизнь». Как и все творчество поэтессы, они отличаются какой-то скромностью, деликатностью в выражении мысли, тонкой поэтичностью.

В стихах говорится о прелести уходящего солнца и лунного света… И отношение к жизни у лирического героя не потребительское. Восхищаясь красотой жизни, щедростью красок, автор все время думает о творческом начале, о том, что несет земле людей.

О любви написано и пишется много, золотые дворцы красуются во многих произведениях восточной поэзии. Ценность в том, что Байрамукова, не растеряв того, что накопила её родная поэзия, сумела сказать о любви по-своему, с большим чувством («Пообещай мне золотой дворец»).

Надолго запоминаются короткие, четырех- и восьмистрочные стихи. Краткость, говорят, сестра таланта. И еще говорят, что это не просто – писать коротко. А вот Халимат Байрамукова это умеет.

Приятно сказать и о том, что наряду с такими стихами – элегическими, грустными – таланту Байрамуковой не чужд юмор».

А. Марков, критик,
из рецензии на сборник «Исповедь».
«Советский писатель», М., 1965 г.

* * *

«Халимат Байрамукова очень знакома в стихах. Стихи её отточены, они зачастую афористичны: «иль время спешит, увлекая меня за собой, или я тороплюсь, увлекая его за собой». Она даже понятие отвлеченное умеет нарисовать зримо».

В. Журавлев,
из рецензии на дипломную работу,
Литинститут, 1964 г.

* * *

«…Я прочел кучу Ваших стихов не отрываясь, залпом. Я всегда знал и говорил, что Вы человек талантливый, но и стихи последних лет гораздо выше первых. Так и должно быть.

Ваши стихи подлинны, человечны. В них я чувствую выразительность и хорошую образность. Горская мысль всегда была лаконичной и образной. Вы верны этой неумирающей горской традиции. И во многом именно эта верность придает силу и очарование Вашим стихам. Мое убеждение такое: в прочитанных мною стихах много обаяния, искренности. Вы верны своей трудной биографии. А это большое дело. Ваша биография, все пережитое Вами, конечно, не должны были позволить Вам кривить душой, жеманничать, позировать. Если бы случилось так, то Вы не были бы поэтом. Тут, конечно, я не путаю поиски с позой. Поиски в творчестве я обожаю. Без них нет художника. Это ясно. Конечно, сейчас я старался сказать Вам главное. Сейчас я пишу вам, взволнованный Вашими стихами. Вы талантливый человек и Ваши произведения заслуживают всяческого поощрения. Мне, например, представляется, что Вы – одна из лучших поэтесс всего Кавказа. Я очень люблю поэзию Сильвы Капутикян. Я ставлю Вас рядом, хотя Вы разные, как и должно быть.

Мой сумбурный разговор – результат того, что стихи взволновали меня».

К. Кулиев,поэт,
Лауреат Государственной
премии.

* * *

«Вот книга стихов, покоряющая поэтической и энергической силой. Русскому читателю открывается лирический родник, в котором своеобразно слились три струи. Струя национально-песенной традиции горцев с их гордым свободолюбием и влюбленностью в жизнь. Струя классической поэзии востока, искусной в афористическом выражении мыслей зрелых и значительных. Могучий ключ современного поэтического мышления народов, нового мышления, вобравшего в себя опыт русской поэзии с её гражданским пафосом и умением выразить внутренний мир человека, динамику души».

А. Макаров.критик,
Лауреат премии им.Белинского.

* * *

«…У этой поэтессы не только с настроением, но и с характером есть собственный, притом поэтический голос, умение при помощи обычных, заурядных жизненных фактов сказать важное и нежное, большое и драматическое».

Р. Гамзатов, поэт,
статья «Горянка» из нашего аула»,
кн. «Верность таланту», М., 1970 г.

* * *

«…Звучное слово «айран» стало мне понятным и родным, как только я прочитала рассказ карачаевской писательницы Халимат Байрамуковой. «Айран» – так произносится название этого рассказа не только на карачаевском, но и на русском, украинском, молдавском, бурятском, монгольском, польском, литовском, французском и других языках мира.

Переводчиков покорил этот небольшой рассказ психологической остротой. В нем также удивительно гармонично соединились и древние обычаи карачаевского народа, и внутреннее богатство советского человека, и радость дружбы, любви.

…Я перевела этот рассказ на украинский язык, этот завораживающий искренностью чувств рассказ, и зажглась желанием побывать в Карачаево-Черкесии – крае полулегендарного айрана.

…И вот в Черкесске, захожу в кабинет Халимат Башчиевны Байрамуковой. Большая комната заставлена книгами, свыше семи тысяч томов собрано в личной библиотеке писательницы. На столиках – подарки от благодарных почитателей задушевного слова Халимат Байрамуковой…

К писательнице приходят письма со всех концов Советского Союза, взрослых, детей, стариков, написанные прозой и стихами.

Письма частично переплетены и составляют четырнадцать пухлых папок».

Е. Вербицкая,
доцент Харьковского университета,
журнал «Дон», № 11, 1971 г.

* * *

«…В город Черкесск меня доставил самолет «ИЛ-18» и два поезда, а привела – одна тоненькая книжка стихов. Тёплым осенним днем в развалке книжного лотка на Кузнецком мосту я раскрыла наугад «Исповедь» Халимат Байрамуковой:

Что там за дерево
Из камня выросло?
Спросила: «Как зовут?» -
Ответа не дало…
Но это дерево
Из камня вынесло
Нектар,
Которого
В том камне не было.
Из камня выжало
Росу,
И – выжило.

Книжка было куплена и прочитана залпом – в тот же вечер. Не скажу, чтобы все в ней понравилось. Но «ровных» поэтов мне пока не попадалось – идеально обтекаемой бывает только посредственность: на то, что даже у классиков не каждая строчка – откровение, было бы странно сетовать… А стихи поведали о душе человека, не согнувшегося под бременем невзгод. Дерево, которое «из камня выжало росу», показалось мне тогда основополагающим образом сборника. Забегая вперед, скажу, что в этом образе – жизненное кредо Халимат Байрамуковой и ключ ко всей её поэзии.

«Судьба поэта – вся в её стихах». Это строчка из короткой стихотворной автобиографии – раздумья из её книги «Весенний полдень». Сборник читался уже в Черкесске, после двух вечеров, проведенных в обществе Халимат. И эта строчка напомнила немного странное ощущение, испытанное еще в Москве, на Кузнецком мосту. Тогда стихи «Исповеди» поразили меня своей камерной и вместе с тем необыкновенной, светлой, солнечной интонацией. Впечатление было настолько сильным, что представился голос автора – негромкий, пожалуй, чуть глуховатый женский голос, исполненный доброты и мужества. Именно таким и оказался в действительности. Впрочем, в этом, наверное, нет ничего необыкновенного: вместе с судьбой в стихи попадает и физический портрет автора как бы озвученный тем настроением, которое они создают у читателя».

О. Леснова, журналист,
из статьи «Без восклицательных знаков»,
«Литературная Россия» от 2 августа 1968 г.

* * *

«… И также закономерен образ гор в строках, где речь идёт о суровом, честном жителе долин. В сборник включены отрывки из поэмы, давшие ему (сборнику «Суд аула») название и два венка сонетов. Эти произведения обращены к тем, кто заложил нравственные основы в душе поэтессы – к её аульчанам. Уже сама возвышенная форма сонета определяет меру уважения автора к теме, к конкретным людям, которые всю жизнь возделывали землю и не замечали, сколько они вложили души в формирование человека. Они – эти люди – и высший суд, и смысл писательского труда поэтессы.

Но зато как насмешлив стих Х. Байрамуковой, когда жизнь даёт повод для борьбы. «О, молчальники, славные люди» – рефрен одного из таких стихотворений – выразителен ничуть не меньше иных клеймящих эпитетов. Счастливое умение самой тональностью стиха, коротким, но единственно точным определением передать суть явления и своё к нему отношение – дар немногих поэтов. Он есть у Халимат Байрамуковой».

Л. Бондина, критик,
из статьи «Делами обернутся добрые слова»,
«Литературная Россия» от 13 сентября 1974 г.

* * *

«Лет десять тому назад мне довелось участвовать в творческой конференции прозаиков Северного Кавказа. Тогда в Нальчике мало говорили о повествовательных жанрах в карачаевской литературе: успехи в этом направлении были ещё невелики. Приехавшая из Черкесска Халимат Байрамукова была хорошо известна как лирический поэт, но мало кто знал, что она делает серьёзные опыты в художественной прозе… Познакомился я и с её рассказами «Айран» и «Гырджын» и почувствовал эмоциональную остроту и романтическую устремлённость, которые были свойственны её поэзии».

Меня ничто не сторонилась -
Не шла по жизни стороной…

«И вот перед нами роман Халимат Байрамуковой «Утренняя звезда». Можно сразу сказать, как проявляются в нем новые черты её литературного дарования.

…Хорошо передан здесь взрыв народного гнева: его сильные и слабые стороны со всеми противоречиями, которые присущи людям, измученным многовековым угнетением и постоянной несправедливостью».

Г. Бровман, критик,
«Литературная Россия» от 7 февраля 1975 г.

* * *

«Благодарю за стихи, в которые вложено сердце человека с большой буквы. Пусть Ваша жизнь будет полна радости и счастья. Ваш сборник стихов стал для меня настольной книгой. Целую Ваши руки».

Г. Середа,
г. Черкесск.

* * *

Госпоже Халимат Байрамуковой!

«Уважаемая госпожа, мы имеем удовольствие поздравить Вас, хотя с некоторым опозданием, за что просим нас простить, с наградой, которая присуждена Вам за хороший рассказ «Черное платье». С нашей живейшей благодарностью за сотрудничество мы направляем Вам наши самые сердечные поздравления».

Ивонна КИЛЬ,
комитет редакции журнала «Женщина мира»,
Берлин.

* * *

«… Вы так одарили меня, что вот уже несколько дней подряд я не выпускаю из рук Ваших книг, всё читаю, читаю и сердечно благодарю Вас за Вашу доброту! Спасибо, большое спасибо Вам. В них заряд огромной силы, сильно трогают душу Ваши стихи. Сказать, что они хорошие – мало. Они – сама жизнь. Поэтому и волнуют».

О. Юренко,
г. Полтава,

* * *

«Родная Халимат! Желаю Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни, плодотворного труда.

Большое спасибо Ольге Леоновой за то, что познакомила с Вами и отрывками из Ваших стихотворений. Пишу под впечатлением статьи «Без восклицательных знаков», «Литературная Россия», № 31 от 2 августа 1968 г. Очень хочется прочесть «Весенний полдень», «Исповедь» при самом большом желании в наших краях не могу найти. Напечатанные отрывки очень понравились».

Е. Поночевная, г. Сумгаит.

* * *

«Уважаемая Халимат! Поздравляю тебя с юбилеем, 50-летием твоей жизни. Да, Халимат, было видно ещё в твои юные годы, что в тебе таился какой-то талант. Была ты серьёзной девочкой, когда ещё училась в педтехникуме. Мы, учителя, много говорили после уроков в учительской о твоей серьёзности и прилежности к урокам. Мне также помнится, как завуч техникума, преподаватель русского языка Андрей Данилович Жарихин отзывался о тебе хорошо и всегда говорил: «Всё-таки Байрамукова Халимат большая умница, у неё будущее будет богатое». Как он далеко предвидел!

Милая Халимат, ты себе представить не можешь, как обрадовалась, когда узнала о решении обкома по проведению твоего юбилея.

Ты наша умница, ты наша хорошая, сильная, ты наша гордость! Живи много, много лет, радуя своими успехами, творя, дерзая, оставляя хорошие следы для наследников. Вот что я желаю тебе. Целую крепко и жму руку за твои успехи. Твоя бывшая учительница, заслуженная учительница РСФСР».

Х. Аджиева, учительница,
г. Карачаевск.

* * *

«Здравствуйте, Халимат Башчиевна! Примите мои самые хорошие пожелания в эти весенние дни и на долгие-долгие годы будьте счастливы. В школе мы готовим вечер, посвященный Вашему творчеству. Мы гордимся Вами и хотим быть такими, как Вы, наша национальная гордость!»

Н. Чотчаева, учительница,
аул Джага.

* * *

«Родная моя! Я давно ждала тебя. Тогда ещё я не представляла, кто она: она – мой зримый в мыслях друг. Но она должна была быть такой, какая ты встретилась мне: скромная, задумчивая, преодолевшая какой-то путь. Я рада всем дорогам, которые привели нас к встрече. Друг мой, Халимат, я перечитываю твои стихи, чудесный рассказ «Письмо Аси» и все более убеждаюсь, что иначе не могло быть: ты должна бессонить, писать».

Р. Ахматова, поэтесса,
г. Грозный.

* * *

«…Вновь хочу повторить, что встреча с Вами, работа над Вашим портретом доставили мне истинное удовольствие, большую радость. Ваша книга стихов «Суд аула» прекрасна и её с наслаждением читают все мои друзья.

Меня же в них (в стихах Ваших) восхищает ёмкость, лиричность, умение увидеть мир, планету словно с высокой вершины, парящей над родным аулом».

«…о Вас, Халимат Башчиевна, всегда думаю, как о Человеке, с которым очень и очень хочется вновь свидеться и говорить.

Что-то удивительно яркое и тёплое наплывает к памяти при думах о Вас».

Б. Плевакин, художник,
г. Новочеркесск,
из писем от 13/VIII-1978 и 2/XI-1979 гг.

* * *

«Образ Аслана самый дорогой в карачаевской литературе. Мы считаем, что место, которое занимает Павел Корчагин в русской литературе, занимает Аслан в карачаевской литературе. Для нашей развивающейся литературы, для нашей молодежи, желающей много знать, «Годы и горы» – прекрасный подарок».

М. Узденов, М. Шидаков,
военнослужащие.
газета «Ленинни байрагъы».

* * *

«…Итак, три инфаркта, две клинические, но я должен поблагодарить Вас, дорогая Халимат Башчиевна, и Кайсына Кулиева за мужественные строки стихов, которые поддерживали меня в самые тяжёлые дни моей прошедшей болезни. Каждая строчка Ваших стихов согревала меня: «Хоть и не легкая мне доля в жизни выпала, не заплачу, не вздохну, и не посетую, сколь ни горькую, ни злую чашу выпила, повторять себе о том – не посоветую».

Ю. Худенский, инженер,
г. Харьков.

* * *

«…С давно забытым увлечением прочитала Вашего чудесного «Вечного всадника» и искренне Вам благодарна за это удовольствие. Я, конечно, верна себе: отличную прозу предпочитаю любым отличным стихам. Что касается Вашей книги, то помимо исключительной живости и тепла её стиля, я с огромным интересом впитала в себя те черты быта, которые мне были совершенно неизвестны и в изложении которых у Вас звучит масса тепла и уважения своему народу, вольно и невольно Вы это делаете».

Р. Малышева,
доктор медицинских наук, профессор,
г. Свердловск,
из письма, август 1978 г.

* * *

«…Сегодня мы предложили его (рассказ «Айран») своим читателям в гоббане главной газеты Казахстана.

Как хорошо, что через утоляющий жажду символический напиток Вы так прекрасно сумели выразить великую любовь человека к родному народу, ко всему светлому и доброму, что понятно и дорого всем людям на земле! Белоснежная чистота и аромат айрана не только звучат у Вас как замечательная метафора, придают рассказу прозрачный национальный колорит. Очень уникальная художественная находка, счастливая деталь, крепко схваченная острым видением художника в самом обыкновенном, простом».

З. Сакиев,
переводчик, г. Алма-Ата,
из письма, июнь 1978 г.

* * *

«…Я получил письмо в день, когда прочитал в «Правде» одно из лучших стихотворений 80 года – Вашу «Джоконду».

В. Михельсон,
профессор Краснодарского университета,
из письма, 1980г.

* * *

«Имя Халимат Байрамуковой известно в Советском Союзе широко. Не только на карачаевском и русском, но и на многих других языках нашей страны звучат её стихи, несущие в себе заряд высокой нравственной энергии, человечности.

Ценность стихов Х. Байрамуковой прежде всего в том, что в них заключён образ достойного, красивого человека.

…Лирический герой стихов Х. Байрамуковой притягивает тем, что он живет независимо от мнения обывателей, не гордится своей славой и не боится принизить её якобы недостойными заботами».

В. Ермакова,
из рецензии в издательство «Современник», 1979 г.

* * *

«…Дорогая Халимат Башчиевна, я давно знаю Вас как чудесную поэтессу и люблю Ваше творчество. Ваше творчество мне очень дорого, так как Ваши стихи полны больших человеческих чувств и той земной красоты, которая вызывает эмоциональные чувства. Читающий не может быть равнодушным. Кавказ воспет многими поэтами, но Ваши стихи захватывают душу первозданной красотой этого края и чем-то величественным и неуловимым, что можно чувствовать всеми клетками. Спасибо Вам, от всей души спасибо».

В.М. Леус,
шахтер-горняк, Таджикская ССР,
из письма, декабрь 1979 г.

* * *

«В одном из своих стихотворений Вы написали, что поэты всегда бодрствуют, движутся, как реки. Ваша поэзия – как Кубань. Прекрасные мысли, сравнения. Желаю Вашим стихам присущим им живой жизни и красоты, прекрасных, как Кубань».

В. Михельсон,
профессор Краснодарского университета,
из письма, декабрь, 1981 г.

* * *

«Глубокоуважаемая Халимат!

Лет пять тому назад я совершенно не сомневался в том, что Вы ещё не раз обрадуете своих многочисленных читателей новыми произведениями, но я вообще не думал, что в этом десятилетии у нас будут музыкальная комедия и опера.

Мы пока ещё находились в радостном состоянии от первой и единственной музыкальной комедии в жизни карачаевского народа «Тукъумсуз келин», которую создали вы, именно создали, а не просто были автором, как появилась в жизни и карачаевского народа опера «Последний изгнанник». Создателем этой оперы опять явились Вы.

Этим самым Вы обогатили, осчастливили нас всех. Здесь, в г. Карачаевске, где Вы начинали свой творческий путь, мы поздравляли друг друга, восторженно говорили о Вас.

Зная, что теперь и у Вас есть музыкальная комедия и опера, мы сами стали по- хорошему гордиться и казаться себе лучше, чем раньше.

Большое Вам спасибо, будьте счастливы, хотя в данном случае обычные слова благодарности кажутся малозначительными».

М. А. Хубиева,
доцент Карачаево-Черкесского госпединститута,
кандидат филологических наук,
г. Карачаевск,

* * *

«Халимат, милая! Рассказ «Айран» очень хороший. Я читаю его, пропиталась нежностью к тебе. Я люблю тебя. Очень и очень».

В. Чубакова, писательница,
г. Ленинград.

* * *

«…Вы свой жизненный путь переплавили в волнующие стихи, каждая ваша строка – спор, стремление познать назначение поэта».

А. Модестова,
заслуженная учительница РСФСР,
г. Пятигорск,
из письма, март 1982 г.

* * *

«…А за нею следует особо выделенный литературный портрет первой женщины-литератора Халимат Байрамуковой, творчество которой не укладывается в какой-либо один род или жанр литературы и имеет принципиально-новаторское значение для карачаевской литературы».

З. Кедрина,
критик, ст. научный сотрудник института
мировой литературы им. Горького АН СССР,
из отзыва на книгу А. Караевой «Очерк
истории карачаевкой литературы».

* * *

«…Пишу письмо Вам со слезами на глазах, это такие светлые слёзы радости и волнения. Радость за то, что смогла впервые познакомиться с Вашей книгой «Мать отцов», волнение оттого, что прикоснулась к истории, Вашей жизни.

…Ваша любовь к родной земле, земле отцов, любовь к своим землякам так искренна, так пламенна, что передаётся другим.

Огромного человеческого счастья Вам, удач во всех Ваших делах».

А. Махиева,
Киргизия, Иссыкульская обл,
из письма от I5 июня1982 г.

* * *

«Милая Халимат!

Сижу в праздники над Вашей книгой и чувствую в себе праздник открытия хорошего настоящего человека – через ваши стихи… Сейчас нахожусь просто под огромным впечатлением, давно не работала с таким упоением. Я много встречаюсь и теперь везде, когда меня просят прочитать или назвать интересных, любимых мною поэтов – читаю Ваши стихи».

Е. Андреева,
поэт, прозаик,
редактор издательства «Современник»,
из письма от 7 ноября 1982 г.

* * *

«В лице талантливой поэтессы Халимат Байрамуковой карачаевская литература выходит на всесоюзную арену. Признание таланта карачаевской поэтессы всесоюзным читателем – стимул для дальнейших творческих усилий литераторов Карачая. Оно придаёт им большую уверенность – сознание необходимости идти в ногу с современностью, быть на уровне лучших достижений советской литературы».

А. Караева,
«Очерки истории карачаевской литературы»,
издательство «Наука»,
Москва, 1966 г., стр. 233..

* * *

«…Рад и тому, что первую свою работу в новом году (буквально только что законченную, правда, небольшую) посвятил вашей книге «Восьмой день недели».

Б. Плевакин,
художник,
из письма, январь 1983 г.

* * *

«Дорогая Халимат Башчиевна!

Только что купил вашу книжку «Восьмой день недели» и услышал ваш голос.

Позавидовал статье (предисловию) Карима, такой же талантливой, как и книге: критик поистине должен быть адекватен писателю.

Какой большой общечеловеческий мир с высоты Ваших гор виден Вам. Как верно Вы говорите, что человеку всегда нужен пятый угол и восьмой день, если он их не видит и не ищет – он мещанин».

В. Михельсон,
профессор Кубанского университета,
из письма, январь 1983 г.

* * *

«…Читая рукопись («Свое дерево» Х. Б.), я вспомнил Гомера, да не смутит никого это мое воспоминание. Дело, видимо, в том, что у Гомера описаны – а главная его сила в описаниях – самые простые, будничные (самые главные) вещи, события, явления: огонь, еда, дом, оружие, животные, война, любовь, ненависть, храбрость, трусость, зло, скитания, бури, восход и закат солнца…

Байрамукова также описывает саклю, очаг, медный казан на цепи перед всегда открытой трубой – в неё залетают снежинки, дождь, листья, видны звёзды, описывает не как обстановку неким действиям, событиям, а как нечто самостоятельное, незабываемое, вечное – ведь это же родительский дом, первый корабль в бурном море жизни, самый дорогой и светлый, даже если это темная землянка, сакля, юрта, хата».

А.Губин,
из рецензии, 27 декабря 1982 г.

* * *

«Какое счастье даровали Вы мне своими стихотворениями. Ваша книга стала для меня настольной. Я часто перечитываю, и буду перечитывать вечно молодые, глубоко искренние, открытые стихи Халимат Байрамуковой.

Спасибо за радость душевно красивых откровений».

Е. Вербицкая.
г. Харьков,
из письма, март 1985 г.

* * *

«…Столько Вы сделали для народа, Вы уже в судьбе и памяти народа. Вместе с Вами радуюсь той могучей энергии и результатам этой Вашей деятельности, которую Вы уже совершили».

С. Магометов,
генерал-полковник,
из письма, январь 1983 г.

* * *

«…На путь знакомства с Вашим замечательным творчеством меня навела песня «Некрасивых женщин не бывает». Будучи в гостях у родственников в Черкесске, я случайно услышал эту песню. Сначала мне очень понравились слова. Потом я проиграл на баяне музыку Аслана Даурова, добавившую к песне ещё одну яркую краску. Песню я увёз с собой в Воронежскую область. Спел её на праздничном мартовском вечере в селе Старая Криуше Петропавловского района. За песню меня чуть не расцеловали женщины и девушки. С этих пор я стал искать Ваши поэтические сборники. В который раз я перечитываю Ваши стихи и оторваться от них не могу.

Спасибо Вам за настоящую, истинную поэзию!»

И. М. Корчагин,
ветеран Великой Отечественной войны,
письмо в СП, апрель 1984 г.

* * *

«Ваши поэтические строки всегда были жемчужинами наших передач».

В.И. Липнягова,
старший редактор краевого радио,
из письма, май 1983 г.

* * *

«…Вы – истинная гордость Карачая, великая труженица, умеете спружинивать время.

Благодаря Вам Карачай виден ясно и рельефно из далеких краев».

С. К. Магометов,
генерал-полковник,
из письма, октябрь 1984 г.

* * *

«…Ты настоящая труженица, Халимат, большой писатель, ты внесла огромный личный вклад в наше дело и всем нам, твоим братьям и сестрам по Высшим Литературным курсам, приятны твои непростые достижения».

Н. Родичев, писатель, из письма, август 1985 г.

* * *

«Листаю, отобрав из десятков сборников наиболее заметные, запоминающиеся книги.

Я стихом своим не стараюсь
Удивлять или потрясать.
Я сама всему удивляюсь,
Оттого-то и стала писать.
(Пер. Н. Матвеевой)

Так карачаевка Халимат Байрамукова афористично выражает великую истину поэтического естества. Её книга «Одержимость» («Современник», 1983 г.), переведенная многими поэтами, может послужить примером того, что характеру автора не страшна никакая переводческая разноголосица, если переводчики постарались».

Л. Васильева,
статья «Кризис жанра?»,
«Литературная Россия» № 30, 1986 г.

* * *

«На русском языке в Москве в издательстве «Советский писатель» вышла книжка стихов Х. Байрамуковой «Исповедь».

Это первая книга карачаевской литературы, вышедшая в Москве на русском языке» («Исповедь» вышла в 1965 г.).

Из информации в газете
«Ленинни байрагъы» от 26 февраля 1966 г.

* * *

«…Пусть бережёт вас судьба и дает силы и здоровья, чтобы написать ещё одну книгу с таким же талантливым задором. Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо».

М. Лев,
г. Москва, май 1985 г.

* * *

«Дорогая Халимат Башчиевна! Прочитанные впервые и перечитанные не раз новые стихи ещё раз убеждают меня в том, что в Вашем лице Северный Кавказ да и литературная Россия в целом имеет превосходную, очень самобытную поэтессу. И я рад за карачаевский народ, к которому, как и к балкарскому, питаю особые, вполне понятные Вам чувства симпатии, уважения и солидарности. Рад тому, что у этого народа, издавна стоящего у истоков просвещения своей области, сегодня переживает пору блистательного расцвета такой большой художник, как Вы».

Н. Скребов, поэт,
г. Ростов-на-Дону.

* * *

«Уважаемая Халимат Байрамукова! Я – карачаевец, но пишу Вам по-русски. С Вашими произведениями знаком с 1955 г., с удовольствием читал Ваши стихи, какие появились в печати. Хорошо пишете. В моей личной библиотеке есть все Ваши книги. Недавно прочёл Вашу поэму «Залихат», повествующую о славной дочери нашего народа. Поэма мне понравилась. Халимат, пишу Вам это письмо, но не с целью разбора Ваших произведений, а с просьбой прислать мне Вашу фотографию с дарственной надписью как своему читателю, т.е. мне. Во-вторых, я прошу Вас прислать мне собственноручно написанное Вами Ваше стихотворение «Когда стою у твоего окна».

А. Тоторкулов,
аул Къызыл-Октябрь,
из письма.

* * *

«…Благодарю и низко кланяюсь Вам за всё, что называется творчеством Х. Б. Байрамуковой, которое чем больше узнаешь, тем больше любишь».

Т. Астахова,
г. Теберда,
из письма, 1989 г.

* * *

«…За этот Ваш благородный труд (роман «14 лет») Вас должны благодарить не только я или остальные карачаевцы, но и весь честный народ».

Ю. Байрамуков,
Малокарачаевский район,
из письма, 1989 г.

* * *

«…Вы достойнейшая, Вы самая сильная и великая дочь наших гор, родная, любимая, гордость наша, Халимат».

У. Тхабисимов,
композитор, г. Майкоп,
из письма 1989 г.

* * *

«…Очень хочется пожелать Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, большого человеческого счастья.

Это великое счастье – быть звездой для своего народа. Действительно, Ваши книги являются трамплином для размышлений. Заставляют думать о прожитом, настоящем, будущем, делать выводы. Читая Ваши книги, душа переполняется радостью, гордостью и, как ни странно, лично я обретаю уверенность и веру в будущее.

Спасибо Вам большое».
Ф. Узденова,
г. Ставрополь.

* * *

«…Мне очень нравятся Ваши стихи, кажется, в каждом алмазно сияет частица Вашего поэтического таланта».

А. Яни,
г. Одесса,
из письма, июнь 1987 г.

* * *

«Постоянно со мной Ваши стихи, перечитываю всякий раз, отходят трудности, мелочью кажутся вчерашние проблемы. Это счастье для меня и многих таких, как я, что есть Вы, есть Ваши песни! Спасибо вам!»

Азиза,
Киргизия, Иссык-Кульская обл,
из письма, март 1987 г.

* * *

Пускай немало за плечами
Следов оставили года,
Под светлым небом Карачая,
Да будут счастливы всегда!
А если что-нибудь случится,
И станет трудно Вам дышать,
Под горным воздухом лучистым,
Пусть волей полнится душа!
Пусть будет шаг упруг и ровен –
Назло метелям и ветрам –
Желаю Вам всего я, кроме
Того, что скучно Вам.
Пусть Ваша песня песню сложит,
Чтоб горя Вам не испытать.
Желаю Вам всего того же,
Что может сын Вам пожелать.

В. Кудимов,
поэт,
г. Москва, январь 1977 г.

* * *

«Дорогая Халимат Башчиевна! Огромное спасибо Вам за книгу «Стихотворения». Начала читать и не могла оторваться, пока не прочитала всю. Какая Вы умница! Горжусь вами, как гордится весь карачаевский народ».

В.Невская, профессор.
Ставрополь, июль 1986 г.

* * *

«…Я люблю Ваши стихи, правдивые, сильные духом и в чувствах, и в любви к жизни, ясные, отточенные мастерством, образностью мысли.

Переводя Вашу «Мать отцов» на язык великого Ауэзова, я стал уважать Вас ещё сильнее, любить Ваш талант еще крепче. Тем самым, если до перевода Вашей лирической книги мерою и горизонтом моего творчества образность была родная, ровная казахская степь, то после прямого знакомства с Вашим репортажем с гор она, кажется, хочет быть возвышенной. Не найду слов, как Вас за это отблагодарить».

Э. Ибрагим,
казахский писатель, переводчик книги «Мать отцов»,
из письма, декабрь 1977 г.

* * *

«Уважаемая Халимат Башчиевна!

Я литератор, книголюб. В моей библиотеке свыше семисот книг с автографами советских писателей. Хочется иметь и Вашу книгу, обращаюсь с большой просьбой: если есть возможность, пришлите мне свою книгу с автографом. Ваш читатель».

К.Хромов.

* * *

«Родная Халимат Башчиевна! Низко кланяюсь Вам за Ваши стихи. Столько в них жизненной правды, глубины мысли, мудрости. Даря свои стихи, Вы приносите в дар саму себя. И чем можно отблагодарить за такой бесценный дар? Спасибо за то, что Вы есть, за то, что просто живете, за то, что щедро делитесь с людьми своим огромным талантом».

Н. Валяева,
преподаватель Пятигорского института
иностранных языков.

* * *

«Халимат Башчиевна!

Встреча с Вами и наш разговор дали мне такой заряд бодрости и работоспособности, что я, возвратившись домой, сразу же взялся за рукописи, пересмотрел их, несколько раз перечитал и сегодня высылаю Вам!»

А. Петрушенко,
молодой прозаик.

* * *

«Халимат – гордая и несгибаемая горянка с солнечной душой, дарящая радость своим творчеством, и любовь, согревающую с детства наши сердца, человек, в чью смерть не веришь потому, что для таких людей нет смерти, ибо их души в их творениях остаются с нами.

«Ни злой не будучи,
ни лживой,
По чести я умела быть.
Такой несчастной,
Столь счастливой,
Что мне не страшно
уходить.

* * *

В дни трагедии народной, «когда лишились хлеба мы и песен, когда мы скалы на плечах несли», Халимат Байрамукова была рупором народным. Никогда карачаевцы не забудут свою дочь, благодаря таланту которой о Карачае читали на 50 языках мира…

Л. Хабичева,
заслуженная артистка РФ.

* * *

«Дорогая Халимат!

Благословляю день, давший тебе жизнь, а для Карачая – величайшую и замечательную поэтессу. Обнимаю по-балкарски».

Ю. Соттаев, г. Нальчик.

* * *

«Печально. Умерла дочь Карачаево-Черкесии Халимат Башчиевна Байрамукова.

Сердце сжимается от боли, не хочется верить в эту печальную и горькую весть: закончила свой земной путь Халимат Башчиевна Байрамукова, наша Халимат, великая труженица, прекрасная мать, золотой души человек, замечательная поэтесса. Когда у меня было трудно на душе, когда невзгоды жизни огромной глыбой давили мне на плечи, я раскрывал томик Халимат и она, как добрая, заботливая мать успокаивала своими проникновенными строками, снимала бремя забот, подсказывала путь в жизни. Как-то будучи в Москве зашел в Сокольниках в крупнейший книжный магазин и среди тысяч томов увидел в разделе «Поэзия» портрет своей землячки и книгу ее стихов. И весь вечер читал их своим близким, которые слушали зачарованно. Вот такую силу и власть имеет над душами людей моя любимая поэтесса. Среди горных отрогов есть вершины и выше, и ниже. Я бы назвал Халимат Башчиевну одной из вершин Эльбруса, другая вершина – аварская поэтесса Фазу Алиева. Но вершина Халимат выше. Старейшая поэтесса Кавказа, да и, пожалуй, России, она была и останется образцом совершенства, самой яркой жемчужиной в короне российской словесности. А как она любила людей, как страстно призывала жить в мире и дружбе. И сама была другом и желанной гостьей и в родном Хурзуке, и в Черкесске, и в Москве, и в Париже.

Халимат, подобно легендарному Данко, словно факел несла в поднятой руке свое пылающее любовью и светом сердце, освещая нам путь. Чтобы мы не заблудились, не споткнулись на тернистых, порою крутых и извилистых тропах, вышли на широкий путь, где каждому есть место под солнцем.

Она любила беззаветно седовласый Кавказ, его горы, его народы, считала себя их дочерью. И они отвечали ей взаимностью.

Вот такой она и останется в наших сердцах, наша Халимат, большой любовью, путеводной звездой, до последней капли крови отдавшей свою жизнь людям. И мы, живые, отвечаем ей взаимностью, передадим свою любовь и память о ней детям и внукам».

П. Коденцев,
журналист.

* * *

Совсем не трудно мне
(Поверьте!)
Не затеряться после смерти.
И снова сделаться живой».

Да, дорогая и любимая, ты всегда будешь с нами, твой голос будет звучать в наших сердцах. Мы сохраним светлый образ в душе».

* * *

«Наша милая Халимат! Прочитал в газете Ваш рассказ «Сапар». Считаю, что он по форме и содержанию является одним из лучших произведений в карачаевской литературе».

Х. Лайпанов,
г. Москва.

* * *

«Тяжелая утрата постигла всех нас. На 80-м году из жизни ушла Халимат Башчиевна Байрамукова, талантливая поэтесса и писатель, достигшая большой известности, чьи произведения переведены на 52 языка мира. Она автор 34 книг. Ею написано либретто первой карачаевской оперы «Последний изгнанник». Халимат – автор первой карачаевской музыкальной комедии «Бесфамильная невеста».

Своим творчеством Халимат Башчиевна охватила все жанры литературы – ее с правом можно назвать родоначальником карачаевской поэзии. Творчество нашей землячки оценено критиками Советского Союза.

С 1939 года Х.Б. Байрамукова была членом Союза писателей страны, а затем и членом ее правления.

Деятельная по натуре, она принимала активное участие в общественной жизни страны и Карачаево-Черкесии, была удостоена высоких правительственных наград. Она стала примером высокого бескорыстного служения своему народу, который скорбно оплакивает свою дочь…»

А. Хабичева, А. Бабоев,
В. Панов, В. Сорока, В. Литовко.

«НЕ ШЛА ПО ЖИЗНИ СТОРОНОЙ...»

Эти строки могли бы стать эпиграфом нелегкой судьбы и творчества поэта, прозаика и публициста Халимат Байрамуковой, которой в августе нынешнего года исполнилось бы 85 лет.

Большую часть своей жизни Халимат Байрамукова отдала литературной деятельности. Её восхождение к вершинам творчества, по существу, началось в 1957 году. Это был знаменательный год возвращения её народа на Родину. Это был год возвращения в семью народов Карачаево-Черкесии, год возрождения родной культуры.

Так случилось, что 1957 год стал годом празднования 400-летия вхождения народов Карачаево-Черкесии в состав России. В составе делегации от области были и мы – посланцы литератур: Халимат Байрамукова и я, как участники декады литературы и искусства в Москве. Есть глубокий символический смысл в этих совпадениях. Дело в том, что карачаевские писатели, вынужденные молчать ровно 14 лет, вновь обрели возможность донести свое художественное слово до всех народов страны, рассказать миру о красоте души, о духовности карачаевцев во весь голос через восстановленный диалог культур.

Чтобы понять многообразие чувств, переполнявших Халимат Байрамукову – лирика от природы – достаточно перечитать ее два рассказа: «Айран» и «Гырджын», отмеченных глубоким философским смыслом. Символика этих произведений базируется на осознании природной доброты ее народа, готового протянуть руку дружбы ближним.

Первый сборник стихов Х. Байрамуковой в переводах на русский язык не случайно был назван «Люблю я жизнь». Стихи, вошедшие в сборник, фактически составили первые строки ее лирического эпоса, ее песни, что слагалась ею как гимн жизни родному народу, который она любила больше жизни. Себя она считала неотъемлемой частью народа. В ее лирике судьба народа неотторжима от судьбы поэта. Более тридцати книг стихов и прозы написала Х. Байрамукова. Ее можно уподобить образу вечно зеленой сосны, взобравшейся на высокую скалу, вписавшуюся в вечно зеленый пейзаж родных хурзукских вершин. Ее можно сравнить с образом хрупкого деревца, которое выжило на ветру, выжав из камня соки для жизни.

Колесо жизни, колесо войны прошло по судьбе народа и его верной дочери Халимат, которой было небом предназначено рассказать, как выстоял и выжил народ. Не случайно Расул Гамзатов, познакомившись со стихами Х. Байрамуковой, пришел к мудрому заключению: «У этой поэтессы не только с настроением, но и с характером есть собственный, притом настоящий поэтический голос, умение при помощи обычных заурядных жизненных факторов сказать важное и нежное, большое и драматическое».

В двух поэтических строках обобщила поэтесса свою жизнь и судьбу целого поколения женщин, чьи биографии определила война 1941-1945 гг.:

И молодость
я запахнула в шинель,
И плотно шинель
застегнула...

Вернувшись в родные места, Халимат Байрамукова проникается неистребимым желанием петь во весь голос. Она заявляет: «Я без немоты была немая, и теперь, когда заговорила, все хочу сказать».

В стихах и прозе Халимат Байрамукова талантливо воспела и рассказала обо всем, чем жив человек. Это родной очаг в семье братских народов Карачаево-Черкесии, эта Карачай и семья Карчи, как она символически называла карачаевцев.

Она родом из древнего карачаевского аула Хурзук, похожего на орлиное гнездо. О смелых людях аула, о том, что с детства прошло перед глазами, трепетно и с любовью писала в стихах и прозе Х. Байрамукова. И с детства пришел в ее стихи образ русской учительницы, о которой она сказала:

Когда явилась в школу
в первый раз,
Глаза учительницы голубые
Внимательно рассматривали нас.
Был этот день - как будто
день рожденья,
Я русский говор
слышала впервые.

Для горца «типично русское», по мысли Халимат, не в светлых волосах, не во внешних приметах, а в руках, спасающих тебя в беде, в больших сияющих зрачках, в большой сердечной теплоте.

Беспредельно широк тематический диапазон лирики и прозы Х. Байрамуковой. Главный ее вклад в литературу народов России состоит в том, что во многом благодаря таланту Х. Байрамуковой вновь во всю мощь и силу зазвучала прерванная песнь народа.

В образе вечно зеленой хурзукской сосны предстает сегодня и будет жить в веках бессмертная муза Халимат Байрамуковой, по заслугам удостоенной ордена Дружбы народов. Десять лет возглавляла Х. Байрамукова Карачаево-Черкесскую писательскую организацию. Она скрепляла, сплачивала народы, была всегда их центром притяжения. Творчество Х. Байрамуковой и сегодня в строю, оно работает на время, способствует утверждению добра и мира в нашем общем доме, составляя бесценный фонд художественной культуры народов Карачаево-Черкесии.

Л. Бекизова, председатель Союза писателей КЧР

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЗВЕЗДОЮ СВОЕГО НАРОДА

С 1987 года госархив собирает и пополняет документами личный фонд Халимат Байрамуковой – известной карачаевской писательницы и поэтессы.

За 14 лет собрано и передано на хранение в архив более 4 тысяч личных документов Халимат Башчиевны.

Рукописи-черновики, личные дневники, копия диплома, грамоты, оттиски статей и рецензий, стенограммы выступлений и тезисы докладов, фотографии, воспоминания, письма от читателей, коллег – все это дает многостороннюю характеристику Х. Байрамуковой. Здесь видна вся та огромная и тяжелая работа поэтессы, которая остается «за кадром». Это работа с молодыми писателями и с теми, кто по-любительски писал стихи и кому Халимат Башчиевна помогала своими советами пробиться на газетную полосу. А сколько труда уходило на переписку с переводчиками произведений Х. Байрамуковой. Ведь поэтесса писала в основном на родном карачаевском языке. Переводчиками Х. Байрамуковой были Н. Матвеева и Р. Казакова, Вс. Рождественский и А. Яни. Произведения Халимат Башчиевны переведены на английский, немецкий, французский, испанский, японский, болгарский, язык хинди и многие другие языки.

Каждый день на ее имя приходили письма, телеграммы, бандероли. Жанры посланий – от сердечных исповедей до стихов. Нашей именитой землячке писали школьники и коллеги, поклонники и критики, и все они выражали свою благодарность и любовь Халимат Башчиевне. Потому что ее стихи, ее жизнь, ее боль, ее радость становились для других людей их жизнью, их болью, их радостью, их стихами.

Сегодня, когда Халимат Байрамуковой уже нет с нами, хочется еще раз вспомнить строки из писем читателей, которые бережно собраны и переданы на хранение в госархив КЧР.

«Когда я думаю о Вашем имени, мне вспоминаются слова классика Некрасова о женщине: «Вынесет все - и широкую, ясную грудью проложит дорогу себе». Как будто о Вас писал Некрасов, потому что Халимат, как я узнал, в переводе на русский – «выносливость».

А. Яни,
переводчик.

О ХАЛИМАТ

Мне по роду своей деятельности пришлось много и глубоко заниматься творчеством Халимат Байрамуковой, которая вошла в историю нашей словесности как большой поэт-лирик. Характер Халимат, личность её глубоко национальны, и в то же время сложились под влиянием тех больших, масштабных событий, перемен, катаклизмов, которые выпали на долю каждого нашего современника.

Если окинуть взглядом её более чем полувековой путь в литературе, начиная от стихотворений 1941 года в сборнике «Вперёд, за Родину!» и первой пьесы «Два сердца» до романов «14 лет», «Мёлек», автобиографической повести «Моя жизнь» («Джашауум»), можно сказать, что Халимат Байрамукова жила всем тем, чем жила её страна, её народ, её современники. Реальная жизнь во всех её проявлениях – светлых, радостных и тяжёлых, горестных – всегда привлекала, интересовала её, всегда была главным героем её произведений.

В её характере удивительно сочетались женская мягкость, теплота с огромным мужеством, которое помогло ей первой в нашей литературе воплотить в художественных образах долгое время остававшуюся запретной тему депортации народа.

Её бесстрашие художника и понимание роли и призвания поэта помогли ей преодолеть психологические табу, присущие менталитету горца, тем более горянки, и требующие сдержанности в выражении чувств, эмоциональной закрытости.

Халимат Байрамукова первая в нашей поэзии искренне и доверчиво раскрыла читателям мысли, чувства, переживания женщины-горянки, её душевные метания, её сомнения и обиды, её надежды и радости. И чем откровеннее она говорила о своей слабости, тем более сильной духом она представала в своих произведениях. А карачаевская поэзия благодаря ей стала тоньше, искреннее, внимательнее к нюансам, оттенкам, деталям, к красоте.

Халимат Байрамуковой удалось создать образ женщины-горянки не только в поэзии, но и в прозе, в романе «Мёлек». И реалистичность этого образа, его глубина и неоднозначность во многом определяются большой долей автобиографизма в этом романе. Потому что сама Халимат прошла теми же дорогами войны, что и её героиня.

Х. Байрамукова, как и всякий большой писатель, – личность; в зрелые годы она всё чаще ощущала потребность осмыслить пройденное, свою жизнь, события, которым была свидетелем и современником, обратиться к своим истокам, то есть к детству, к жизни своих предков, к истории. Размышления обо всём этом вылились в автобиографическую книгу «Моя жизнь», которая во многом итожила пройденный путь. В этой кни-

ге особенно остро переданы впечатления детских лет, всё сильнее звучат ностальгические мотивы, поэтизация родного селения. Главное же в книге, как и во всём творчестве Байрамуковой, – это понимание ценности жизни, утверждение жизни во всех её проявлениях. Из поэтических строк и страниц прозы, из самой сути её творчества, из разговоров и встреч с нею передо мной оживает её облик: незаурядная личность, большой художник, гордая и сильная – и в то же время тонкая и ранимая, умеющая владеть собой и быть спокойной в самые трудные минуты жизни.

Она создала незабываемые образы, обозначила самые болевые точки национальной истории, обозначила целую эпоху в карачаевской литературе.

Халимат Байрамукова навсегда останется одним из самых ярких представителей нашей литературы, культуры.

А. Караева,
кандидат филологических наук,
г. Черкесск, май 2004 г.

«СВОЙ МИР Я ЗАНОВО ОТКРОЮ…»

(К 70-летию писателя)

Халимат Байрамукова... Как рассказать в коротком очерке о судьбе писательницы, её творческих поисках и находках, её тревогах и надеждах? Как передать трепетную и одухотворенную атмосферу её поэзии? Непростая задача. Тем более что о Халимат Байрамуковой написаны монография, многочисленные статьи, очерки, эссе... А писали о ней такие известные критики - литературоведы, как А. Макаров, А. Дымшиц, А. Исбах, Е. Вербицкая, Л. Бондина, Т. Кожевникова, В. Панков, Э. Кедрина, Г. Бровман, II. Воробьева, З. Османова, С. Хитарова, Н. Кагиева, А. Караева. Л. Егорова, Т. Батурина... Не обошли ее вниманием и собратья по перу, замечательные советские поэты Михаил Светлов, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Мустай Карим, Олесь Гончар, Михаил Луконин, Евгений Винокуров и др.

Я много раз встречалась с Халимат Башчиевной – и в официальной, и в не официальной обстановке – и каждый раз поражалась ее огромной работоспособности, одержимости в работе, духовной наполненности ее

Жизни. Жизнь ее была далеко не из легких: в ней были и голод, и холод, и война, и потери самых близких людей, и разочарования... Но, несмотря на все эти лишения и невзгоды, она сохранила веру в жизнь, людей, добро и способность работать и работать до седьмого пота...

Халимат Байрамукова – автор 13 поэтических сборников, четырех повестей, трех романов, двух публицистических книг, либретто первой национальной оперы «Последний изгнанник», а также первой карачаевской музыкальной комедии «Бесфамильная невеста»... Ее произведения печатались на 40 языках народов Советского Союза, Европы и Азии. Выход литературы Карачаево-Черкесии на всесоюзную арену связан с именем Х. Байрамуковой.

С каждой новой книгой – будь то стихи, эссе, поэма, повесть, роман, пьеса, лирический репортаж – писательнице становилась все более подвластна чудесная сила художественного слова. Об этом свидетельствует обширная читательская почта Халимат Байрамуковой.

«Вы пишете о том, что думаете, чем живете, к чему стремится народ. Поэтому так чист, светел и могуч источник Вашей поэзии», - пишет Николай Уландай из Чувашии. «У Ваших стихов одна особенность, - отмечает читательница из Москвы Н. Макарова, - чем больше их читаешь, тем больше к ним тянет»... А инженер из Харькова Юрий Худенский написал: «Итак, три инфаркта, два клинических, но я должен поблагодарить Вас, Халимат Башчиевна, и Кайсына Кулиева за мужественные строки стихов, которые поддержали меня в самые тяжелые дни моей прошедшей болезни». «Я люблю Ваши стихи, правдивые, сильные духом», - написал Ибрагим Еркеш из Казахстана.

«Вы – истинная гордость Карачая, великая труженица, умеете спружинивать время. Благодаря Вам Карачай виден ясно и рельефно из далеких краев», - написал генерал-полковник С. Магометов.

Неделю тому назад мне принесли друзья Вашу новую, пахнущую типографской краской книгу, - писал карачаевский писатель Мусса Батчаев, рано ушедший из жизни, - Вы еще раз, как никто до этого, талантливо воспели мать отцов наших – Карачаево-Черкесию».

Вот такие добрые чувства вызывают книги Халимат Байрамуковой в сердцах читателей!

* * *

Как случилось, что девочка из отдаленного карачаевского аула, из семьи простого деревенского плотника стала писательницей, чьи произведения нашли широкое читательское признание в нашей стране и за рубежом. Где корни её таланта?

Говорят, что раскрытию таланта, в первую очередь, способствует родная земля. Если это так, то истоки творчества Халимат Байрамуковой следует искать в живописнейшем уголке Карачаево-Черкесии – ауле Хурзук, расположенном у самого подножия Эльбруса. Здесь она родилась, выросла, познала первые радости и горести.

Все, кому когда-либо приходилось бывать в Хурзуке, отмечали величавую и своеобразную красоту окружающей природы. «Кто бы ни был его первооткрывателем, кем бы ни был тот, кто сказал: «Тут я поставлю саклю!», я благодарю его, потому что он понимал красоту», - напишет позднее Халимат Байрамукова о своем родном ауле.

Здесь, в ауле Хурзук, произошло приобщение будущей писательницы к фольклору родного народа, к его сказкам, легендам, песням. Не случайно в народе говорят: «В детстве услышанное – как на камне высеченное»...

Х. Байрамукова вспоминает. «Эти вечерние часы у очага за сказкой для всей семьи были каким-то необыкновенным праздником, и мы заранее готовились к ним: клали рядом кучу наколотых дров, чтобы во время рассказа не бегать за ними: наливали полную лампу керосина; на низенькие стульчики клали подушечки, чтобы мягко было сидеть, и даже барбарисовую воду ставили рядом, если кому-то захочется пить...

Здесь, в ауле Хурзук, будущая писательница приобщилась к богатейшему миру русской поэзии.

А понять смысл и красоту поэзии Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Блока ей помогла русская учительница Ангелина Николаевна Козорезова – человек большой душевной красоты, благодарность к которой Халимат Башчиевна сохранила на всю жизнь.

Большую роль в формировании духовного мира будущей писательницы сыграла мать – Нюрсолтан (Кеминат) Тутаровна, человек неутомимого трудолюбия, щедрый и гостеприимный.

Отца она лишилась рано. Прошли годы... Халимат Байрамукова стала известной писательницей, мудрой в своих раздумьях и наставлениях, утонченной в своем мастерстве. За страницами ее книг были годы упорного каждодневного труда; учеба в Микоян-Шахарской медицинской школе; работа в областной газете «Кызыл Карачай», вступление в Союз Писателей; война, с ее лишениями и потерями; жизнь в Средней Азии: работа учительницей русского языка и литературы: возвращение в родные края; сотрудничество в газете «Ленинни байрагъы» и книжном издательстве; учеба в Москве в Литературном институте имени Горького, а также на Высших Литературных курсах, работа в Областной писательской организации, которую она возглавляла многие годы, вплоть до ухода на пенсию...

За эти годы она объездила вдоль и поперек всю нашу страну, была в Болгарии, во Франции.

Но где бы она ни была, куда бы ни забросила ее судьба, в душе поэтессы жил чудесный уголок России – аул Хурзук. Об этом хорошо сказала сама Халимат Байрамукова:

В чужой стране, в сверкающем отеле,
Где атлантический не молкнет гул.
Мне видится трава родных ущелий,
Отцовский мне мерещится аул.
Я вспоминаю саклю под скалою
С широкой дымоходною трубой,
И дым – какой он сладкий, со смолою! –
Уходит ввысь дорогой голубой,
Вот солнышко со мной заговорило,
Мне что-то петухи кричат с плетней...
А за рекой – отцовская могила,
Растет сосна крылатая над ней.
Казалось бы, ну что такое эти
Картины будничного бытия?
Иль мало их найдешь на белом свете,
Когда в чужие попадешь края?
Но там и дым иной – другой, немилый,
Петух зовет другого, не меня,
И там не над отцовскою могилой
Растет сосна, чужой покой храня.
Там окна светятся, - да все чужие,
Там говор звонок, да не наш, иной,
Я знаю, как дитя, к груди России
Прижался крепко мой аул родной.

Все, кто писал о Халимат Байрамуковой, отмечали достоверность, искренность ее поэзии. И действительно, в целом поэзия Х. Байрамуковой воспринимается как откровенная исповедь, раскрывающая душевный мир женщины – нашей современницы. Связующим началом служит образ самой поэтессы. Но истинный поэт всегда «эхо мира, а не только нянька своей души», как сказал М. Горький. Халимат Байрамукова, так же говоря о себе, своих волнениях, тревогах, радостях, одновременно говорит о том, что тревожило, волновало, радовало тех, кто жил рядом.

Опираясь на прожитые годы, накопившиеся впечатления, опыт своего поколения – «поколения ровесников Октября», «суровых романтиков», Х. Байрамукова пишет обо всем, что волнует её. И о чем бы ни писала поэтесса – о земле, что, «как танцор, на одной ноге кружит на своей оси», о родном крае,

где «сосны пьют прозрачный воздух, свои досматривая сны», о первом космонавте Ю. Гагарине, который «заговорил с иной орбиты и звездный век провозгласил» - она находит ёмкие художественные образы, верную интонацию.

Духовный мир лирической героини Халимат Байрамуковой сложен и многообразен. Доминируют здесь такие чувства, как патриотизм, гражданственность, интернационализм, чувство братского единения народов нашей страны. Поэтессе одинаково дороги и родные хребты Карачая, и Азербайджан, и Ленинград, и Абхазия. Особенно дороги сердцу лирической героини Байрамуковой Москва и москвичи. Она обращается к Москве – столице нашей Родины – со словами искренней любви и признательности:

Люблю твой гул и смех в твоей толпе,
Приподнятость в рабочей повседневности.
Где б ни была,
Я черпаю в тебе
Ответы на вопросы современности.

На вопрос: «В чем проявится типично русское», лирическая героиня Халимат Байрамуковой отвечает так:

Оно – в руках,
Повсюду находящих
Тебя в любой обиде и беде,
Оно – в глазах,
Светло на мир глядящих,
Оно –
в сердечной русской простоте.

Поэзия должна быть на переднем крае борьбы за утверждение правды, добра, справедливости, передовых взглядов и идеалов времени. Осознавая огромную ответственность за свое поэтическое слово, Халимат Байрамукова заявляет:

Быть для моей страны всего полезнее,
И значит для меня служить поэзии.

Заметное место в творчестве Халимат Байрамуковой занимает тема любви. Поэтессу интересует прежде всего нравственная сторона этого чувства. Самопожертвование, тревога, боль неразделенной любви, беспредельная верность в разлуке – таковы основные мотивы любовной лирики Х. Байрамуковой.

Мотив верности в любви постоянно звучит в творчестве Халимат Байрамуковой наперекор всем модным сейчас рассуждениям о «рациональности» любви в наш век – век научно-технической революции:

Когда б любовь имела облик зримый,
Весь мир бы лег у ног любви моей,
Весь мир бы мог назвать ее любимой,
Но ты один остался б дорог ей.

Не раз обращалась поэтесса к женским образам. Женщина – родоначальница жизни, хранительница семейного очага, воплощение добра, человечности, самоотверженности. Ее руки умеют всё: пеленать ребенка, выращивать цветы, сеять хлеб и строить дома, лечить людей, водить космические корабли.

Недаром в народе благоговейно возвышают женщину, находят для нее удивительно поэтичные сравнения.

По убеждению поэтессы, нет на свете некрасивых женщин, просто нужно видеть их красоту. Разве может быть некрасивой любимая женщина?! Мать?!

В переливах радуг и росинок
На земле, под небом голубым
Не бывает женщин некрасивых
Среди тех, кто любит и любим.
Годы, вы над женщиной не властны,
И, конечно, это не секрет,
Для детей все матери прекрасны,
Значит некрасивых женщин нет!

Х. Байрамукова принадлежит к поколению, что «знала войну», перенесла на своих плечах все её тяготы. На всю жизнь она запомнила переполненную площадь перед военкоматом в те тревожные для страны дни, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.

Ушел на фронт и погиб муж Халимат. На второй день войны пришла в военкомат и сама Халимат с просьбой отправить её на фронт. И как велико было её огорчение, когда вместо фронта ее, выпускницу фельдшерско-акушерской школы, отправили в эвакогоспиталь! Откуда ей было знать, что это тот же фронт?! «Помню, в наш эвакогоспиталь № 2436 поступила первая партия раненых, и впервые в жизни я стала перевязывать раны молоденького солдата. У меня дро-

жали руки, сердце мое билось учащенно, а из глаз полились слезы. Солдату было больно, очень больно, но он стал успокаивать меня», - вспоминает Халимат Башчиевна. Естественно, что военная тематика заняла видное место в творчестве поэтессы («Залихат», «В Волгограде», «Сегодня умер ветеран», «Кровь солдата», «Страх», «Девчонки учатся на солдата» и др.).

В поэме «Залихат» Х. Байрамукова взволнованно поведала о подвиге своей землячки Залихат Эркеновой, которая в первые же дни войны с фашистской Германией, оставив свою малолетнюю дочь, ушла сражаться в партизанский отряд. Память о славной дочери гор, расстрелянной фашистскими извергами, живет в благодарном сердце поэтессы.

Нельзя без волнения читать и стихотворение «Той страшной ночью»:

Его хлестнуло по глазам -
Огню войны легко обидеть,
- Он будет жить, - нам врач сказал.
- Он будет жить - не будет видеть.
А чтобы он ушел из тьмы,
И видел все, что видеть хочет,
Свои глаза той страшной ночью
Отдать готовы были мы.

Сколько в этих словах подлинной боли за судьбу ослепшего солдата!

По убеждению поэтессы, надо, чтобы все люди на земле знали, что счастье, радость и мир прошли через слёзы, смерть, страдания людей военного поколения, которое познало и вой снарядов, и кровь.

Неотступна память о безвременно ушедших солдатах Великой Отечественной, неподдельно ощущение утрат, и преклонение перед теми, кто вынес тяготы и лишения кровопролитной войны. Проникновенно выражена, правда войны и в стихотворении «Сегодня умер ветеран». И сегодня, говорит поэтесса, фронтовикам по ночам снится война, и сегодня пули настигают тех, кто прошел войну, кто был изранен осколками, контужен бомбами... Никто и никогда не сможет точно сосчитать потери советского народа в Великой Отечественной войне. Такова главная мысль стихотворения «Сегодня умер ветеран».

Евгений Винокуров в рецензии на один из поэтических сборников Х. Байрамуковой заметил: «Байрамукова – мастер короткого, точного стихотворения-реплики, стихотворения-афоризма».

В творчестве поэтессы представлено немало поистине талантливых коротких стихотворений. Вот, например, такие:

Оба злы они и лицемерны,
Но друг другу льстят и льстят безмерно.
Знает каждый суть вранья такого,
Но – один зависит от другого.

Или вот это:

Назвать ли сердце сжатым кулаком?
И как же солнце уместилось в нем?

или:

Муха бьет слону поклон,
Потому что,
слон есть слон.

Нетрудно заметить, что ни в этих коротких стихотворениях-репликах, ни в произведениях, написанных поэтессой в форме философских раздумий, ни в повествовательных, основанных на описании какого-то жизненного эпизода, нет стремления удивить необычной фразой, сложной метафорой оригинальных сравнений... Но не в этом ли – верно описанном, «не ряженом» чувстве, четкой мысли, естественном голосе, богатом всеми интонациями живой разговорной речи, секрет популярности поэзии Халимат Байрамуковой?!

Свое веское слово сказала Халимат Байрамукова и в прозе. В ее романах «Годы и горы», «Утренняя звезда», «Мёлек», повестях «Семья Карчи», «Вдова пророка», «Вечные всадники», «...И плакал сын» нашли художественное обобщение важные события в жизни народа: ломка старого и зарождение нового строя, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, обогащение духовного мира нашего современника. Романы и повести Х. Байрамуковой насыщены монологами, авторскими отступлениями.

Х. Байрамукова – автор многих рассказов, для которых характерно углубление в нравственно-психологическую сферу жизни («Айран», «Гырджын», «Черное платье», «Вторая жизнь», «Эльдар - мой сын» и другие). Красота человека труда, его жизненная стойкость, душевная чуткость, гуманизм, доброта – основные темы этих рассказов. Так с ее творчеством в карачаевской литературе утвердилась лирическая проза.

Значительны достижения Халимат Байрамуковой в публицистике. Как известно, этот жанр требует «лирического» наполнения, доверительности, страстности. Этими качествами обладают книги Х. Байрамуковой «Мать отцов» и «Моя песня». В сущности, перед нами – лирические репортажи, в которых исходное начало – личность писательницы, ее биография. В то же время тысячами нитей связаны они с жизнью народов Карачаево-Черкесии, с ее историей, ее людьми. «Нынешнее мое путешествие, - отмечает писательница в своем кратком вступительном слове к книге «Мать отцов», - не требует никакого транспорта, потому что это путешествие по собственному сердцу. Сердце мое – Карачаево-Черкесия, Мать моих отцов, Песня моя о ней»...

Драматургия Х. Байрамуковой представлена пьесами «Два сердца», «Бесфамильная невеста» и «Суд», которые были положительно оценены критикой и зрителями. Как это ни парадоксально, само обращение писательницы к прозе, драматургии, публицистике помогло ей, на наш взгляд, еще прочнее утвердиться в лирической поэзии. Не случайно критики-литературоведы отмечают лиризм её прозы.

О Байрамуковой, как о поэтессе со своим индивидуальным почерком, своей неповторимой интонацией, хорошо сказал Расул Гамзатов: «У этой поэтессы есть собственный, при этом настоящий голос, умение при помощи обычных, заурядных жизненных фактов сказать важное и драматическое».

* * *

Свою многогранную писательскую деятельность Халимат Байрамукова успешно сочетает с активной общественной работой. Много лет она возглавляла писательскую организацию Карачаево-Черкесии, неоднократно была делегатом, краевых и областных партконференций, съездов писателей СССР и РСФСР, членом правления СП РСФСР, членом совета по национальным литературам республики, а также членом совета по очерку.

Халимат Байрамукова является почетной метростроевкой Москвы, почетной лаборанткой Сумгаитского каучукового завода, почетной гражданкой города Пятигорска, почетным членом клуба доярок-трехтысячниц Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Много лет была в составе краевого комитета защиты мира, краевого общества советско-болгарской дружбы.

Часто выступает Халимат Башчиевна с публицистическими статьями на страницах областных, краевых и центральных газет, по радиовещанию. В них затрагиваются самые злободневные проблемы нашего времени.

В свое время ее дипломная книга «Стихи» была отмечена Почетной грамотой Министерства высшего образования СССР; ее вклад в борьбу за мир – Почетной грамотой Советского комитета защиты мира. Награждена также Почетной грамотой Пазарджикского народного собрания Болгарии...

Заслуги в развитии многонациональной советской литературы отмечены высокими наградами Родины…

Р. Ортабаева,
Заведующая карачаевским отделом
Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований,
академик Международной тюркской академии.
14 августа 1987 г. Газета «Ленинское знамя»

«…Я БУДУ ЛУЧ ЖИВОЙ НЕСТИ ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНЬЯМ…»

Безмерно благодарен судьбе, подарившей мне возможность быть знакомым с этим на редкость удивительным человеком и по-настоящему крупным поэтом тревожного 20 века. Общаясь с ней, каждый раз впитывая в себя, как губка, её глубокие мысли, я невольно ощущал огромную гордость за славную соотечественницу, еще при жизни получившей статус классика. Каждая встреча с Халимат Байрамуковой превращалась в открытие чего-то неизведанного и непознанного. Она была невероятно талантлива. Проста и доступна. Открыта и щедра. Своим горячим сердцем и чистой, озаренной любовью к человеку, душой. Вечный источник её неиссякаемого вдохновения – родная земля и люди, живущие на ней – питал звонкую лиру поэтессы, оберегал от непредсказуемости тяжелого бремени жизни и обстоятельств.

Поэт нелегкой, драматической судьбы она поражала своей неутомимостью и жаждой жизни. Являла пример не только беззаветного служения нелегкой миссии настоящего художника, но и умением стоически переносить трудности, которых на её долгом пути хватило с лихвой.

« Мы выросли совсем не на готовом,
мы знаем силу ветра и огня…».

Эти сроки, написанные еще в начале творческого пути, вызывают уважение к автору. И особое к нему доверие.

Халимат Байрамукова взяла в руки перо не для того, чтобы, как писала сама поэтесса, «болтать языком, а гореть языками огня». И ей, как никому другому, это удалось. Свидетельство – широкое признание читателей в разных уголках бывшего Советского Союза, высокая оценка взыскательной критики.

Жизнью одержимая, каждым рассветом одержимая, верой в доброту и человеческую порядочность одержимая, она сумела создать в своем творчестве целостную картину огромного мира, глубоко, философски осмыслив его через призму собственного опыта, непрекращающихся поисков истины. Истины разума, света и добра.

Это весьма тернистый путь, не каждому он под силу. Ведь изначально Халимат Байрамукова поставила перед собой, как поэтом, нелегкую, но благородную нравственно-эстетическую задачу «грея доброе, злое сжигая дотла». И мы сразу ощущаем здесь аналогию с Цветаевской формулировкой её творческого кредо: «Два на миру у меня врага. Два близнеца - неразрывно слитых: голод голодных и сытость сытых».

Следовать правде в искусстве – удел, бесспорно, избранных, действительно, наделенных Божьим даром. В этом и суть харизмы подлинно талантливых людей, ярко проявляющейся в их жизни и творчестве.

«Я за правду в искусстве, - писал народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев, - какой бы горькой или суровой она не была. Только тогда работа художника становится плодотворной, полезной и нужной людям».

Уже в своем первом сборнике стихотворений на русском языке, изданном в 1957 году в Черкесске, «Люблю я жизнь», Халимат Байрамукова четко обозначила траекторию своего движения в литературе, философию своего особого, Байрамуковского, мировидения и мировосприятия: «Люблю я жизнь, но лучше умереть, чем не гореть, а только тускло тлеть».

Для настоящего художника-мыслителя, коим и была Халимат Башчиевна, чрезвычайно важно иметь свою четко выраженную гражданскую позицию. И следовать ей, ни при каких обстоятельствах не сворачивая с избранного пути.

В противном случае поэт не имеет права на исповедь перед читателями, а желание быть услышанным и понятым останется безответным. Недаром ведь Гораций несколько столетий назад пророчески заметил: « Ни люди, ни Боги, ни книготорговцы не прощают поэту посредственности». «Чтобы строчка и грела, и жгла» Халимат Башчиевна прошла нелегкими дорогами не щадившей её судьбы, испытала горечь потерь родных и близких, трагедию неслыханной по своим масштабам войны, когда «забыв не для славы, для чести, пошла, презирая старинный адат на битву с мужчинами вместе». Она часто вспоминала этот страшный период в жизни. И я замечал, как менялось её лицо, а глаза наполнялись печалью и грустью. И думаю, именно в такие моменты рождались стихи, не оставляющие никого равнодушным:

Его хлестнуло по глазам –
Огню войны легко обидеть.
– Он будет жить, –
Нам врач сказал.
Он будет жить,
Но ничего не видеть.
Какие были у него глаза,
Сказать нельзя.
Одна лишь мать об этом знала.
И чтобы он ушел из тьмы,
И видел все,
Что видеть хочет.
Свои глаза той страшной ночью
Отдать, готовы были мы.

Вот настоящая правда войны. Вот как звучит не утихающая боль от нанесенных врагом ран. Вот реквием по всем сложившим свои головы на полях сражений.

И эту правду мог рассказать только очевидец, чтобы через века люди помнили, какой невероятно высокой ценой завоевана великая Победа. Мужественно и весомо слово Халимат Байрамуковой, написанное в разные годы о трагедиях века минувшего. Оно, вырванное из клокочущего сердца поэта, взывает к благоразумию и созиданию, неустанному миротворчеству и сплочению людей и народов.

В своих воспоминаниях поэтесса часто обращалась к не менее суровому и беспощадному в своей судьбе времени – депортации карачаевского народа в районы Средней Азии и Казахстана. Вместе с народом она перенесла вся тяготы, выпавшие на его долю.. Но не сломилась, выстояла, чтобы потом рассказать и об этом в назидание всем, кто личные амбиции ставит выше общечеловеческих норм морали, для кого главные добродетели в жизни – зло и ненависть, неисчислимые страдания матерей, смерть сотен безвинных детей, не успевших ощутить полную радость жизнь. Она вернулась на родину, чтобы первой, невзирая на строжайший запрет, поведать о чудовищной трагедии выселения и пережитых муках на чужбине. Вернулась, чтобы написать роман «14 лет», спеть гимн родному народу, широко представить его миру:

Родные хребты Карачая
Меня в колыбели качали.
Здесь детство мое подрастало
И здесь оно юностью стало.
Народ мой, ты дал своей птице
Могучие крылья орлицы.
О край мой любимый, чудесный,
Ты дал мне и голос, и песни.
Ты дал все, что я попросила,
Горячее сердце и силу.
И тем, что гостей привечаю
Обязана я Карачаю.

И даже в далекой дороге со мной
Надежный и строгий,
Мой маленький, мудрый народ.
Тобой мое сердце живет…
Ты трижды любимый втройне
Великий в великой стране.

Верная дочь своего народа, Халимат Байрамукова всегда оставалась на позициях подлинного интернационалиста. Как-то в одной из наших бесед она мудро заметила: «Любить свой народ – это, прежде всего бережно, проявляя глубокое уважение, относиться к рядом живущим народам.». И напомнила знаменитое стихотворение своего собрата по перу, с кем была хорошо знакома, Расула Гамзатова:

Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто пытается
Чернить какой-нибудь народ.

«Красота и сила горных лугов, – не раз говорила Халимат Башчиевна, – в их удивляющем взор многоцветьи.

Один цветок всегда подвержен опасности исчезнуть, а когда их много и они разные, проливные дожди и холодные ветра им не страшны. Так и в жизни. Не может быть счастлив народ, когда рядом живущий в беде и находится на грани исчезновения. Вот откуда эти строки, раскрывающие широту души самой поэтессы:

Одолжи мне, земля,
Все слова
Всех народов твоих;
Я цветами,
Плодами,
Садами верну тебе их.

В далеком 1938 году в Микоян-Шахаре (ныне г. Карачаевск) состоялась встреча Халимат Байрамуковой с будущей первой профессиональной черкесской писательницей, автором знаменитой трилогии «Фатимат» Цуцой Меджидовной Коховой. Мимолетное знакомство, казалось, не обещавшее ничего, переросло в крепкую дружбу. Обе талантливые женщины пронесли её через всю свою жизнь, восхищая окружавших, своим трепетным отношением друг к другу, неподдельной искренностью и глубокой порядочностью. И на память приходит холодный декабрьский день 1996 года. Через месяц после смерти Халимат Башчиевны в Дом радио, с трудом передвигаясь по покрытым первым льдом тротуарам, пришла Цуца Меджидовна, чтобы поделиться своими воспоминаниями о верной подруге, большом поэте и просто прекрасном человеке. Она долго не могла проронить ни слова. Слезы наворачивались на глаза. «Я потеряла сестру, – с болью в сердце, сказала писательница. – Я осталась одна. А каким

Халимат была поэтом – знает вся страна. Таких, как она, уже не будет». Запись с воспоминаниями Цуцы Коховой бережно храниться в фонде республиканского радио.

«Факелом, освещающим путь своему народу» назвала Халимат Байрамукову народная поэтесса Дагестана Фазу Алиева. Они встречались несколько раз на съездах Союза писателей СССР и России. Но и этого было достаточно, чтобы «орлица дагестанской поэзии», как назвал Фазу Алиеву Николай Тихонов, прониклась неподдельным уважением к лучшей поэтессе Карачаево-Черкесии, распознав в ней недюжинный талант настоящего поэта.

Десятки, сотни писем приходили к Халимат Башчиевне из разных уголков Советского Союза и ряда зарубежных стран. В каждом из них – искреннее признание за силу её вдохновляющего слова, способность проникать в самые затаенные уголки сердца, за яркий свет, который щедро дарила писательница своими стихами, повестями и рассказами всем и каждому.

Она была знакома и дружна со многими выдающимися мастерами слова, общественно-политическими деятелями, представителями культуры и искусства. Одно перечисление их имен вызывает законную гордость за славную дочь наших гор, всегда достойно представлявшую родную Карачаево-Черкесию на высоких уровнях: Александр Фадеев, Мариэтта Шагинян, Николай Тихонов, Леонид Соболев, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Раиса Ахматова, Кайсын Кулиев, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Берды Кербабаев, Майя Румянцева, известный общественный деятель Болгарии Цола Драгойчева, великий пакистанский поэт лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира и дружбы между народами» Фаиз Ахмад Фаиз и многие, многие другие. Халимат Башчиева с восхищением рассказывала о встречах с каждым из них. Иногда вспоминала интересные факты, добавлявшие новые штрихи к образам широко известных тогда в стране и за рубежом людей.

Как дорогую реликвию храню в своей личной библиотеке последнюю, вышедшую на русском языке в Москве, книгу стихотворений Халимат Байрамуковой «Одержимость» с памятной надписью: «Мише, которого давно знаю и люблю».

Написав более сорока книг (страшно и подумать то!) прозы, поэзии, драматургии и публицистики, изданных на многих языках народов СССР и России, Халимат Байрамукова на всех этапах своего творческого пути оставалась невероятно общественно активной. Пожалуй, не было ни одного события в стране и Карачаево-Черкесии, на которое не откликалась бы поэтесса своими страстными публицистическими выступлениями в местных и центральных средствах массовой информации. Полагаю, моло-

дым пытливым исследователям предстоит еще большая работа, связанная с научным прочтением и осмыслением публицистики Халимат Байрамуковой, в которой она предстает настоящим трибуном, глашатаем, поборником сохранения лучших традиций и обычаев, завещанных предками мудрых, как сама жизнь, неписаных законов гор.

Известно, как порой слава, и признание портят людей, постепенно деградируя в них лучшие человеческие качества. Халимат Байрамукова тысячу раз могла сказать о себе: «Я безгранична талантлива». И имела на это полное право. Все, однако, было по-другому. Передавая однажды новые стихи для готовящейся на радио передачи о её творчестве, она, почти извиняющимся тоном сказала: «Вы посмотрите, подойдут ли? И разрешаю внести изменения. Возможно, они зазвучат по-иному». Было от чего задуматься. И это говорил уже давно признанный поэт, чьи произведения переводили лучшие мастера слова Советского Союза, цитировали крупнейшие ученые-литературоведы Черкесска, Ставрополя и Москвы. Поэтесса, награжденная за свой напряженный многолетний литературный труд рядом высоких правительственных наград. Вот такой она была, Халимат Байрамукова, – классик карачаевской литературы, сумевшая в своей поэзии подняться так высоко, как этого доселе не удавалось никому из писателей Карачаево-Черкесии.

Всенародная любовь к ней была заслуженной. За лучезарный талант, за неуемный труд, за особое состояние души. За отношение к жизни и людям. Хотя, впрочем, была и обратная сторона этого признания. Поэтесса не раз становилась объектом открытой травли, зависти, познала подлость и предательство еще вчера клявшихся ей в дружбе и преданности. Но вслед за своей великой современницей Анной Ахматовой, Халимат Байрамукова, поэт хвалы и хулы, с сознанием дела могла повторить: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие – и убедилась, что в сущности это одно и то же».

Наша последняя встреча с Халимат Башчиевной состоялась за несколько месяцев до её смерти. Она позвонила и предложила записать на магнитофон её воспоминания о Муссе Батчаеве, одном из лучших прозаиков Карачаево-Черкесии, безвременно ушедшем в 1982 году. Мы давно не виделись. Я знал: поэтесса тяжело болела, перенесла не одну операцию. Взяв, репортер, направился по знакомому адресу. Дверь открыл внук Халимат Башчиевны Эльдар. Любезно пригласил пройти в кабинет бабушки сплошь обставленный полками с сотнями книг. Халимат Башчиевну я узнал не сразу. Перенесенная болезнь изрядно отразилась на её здоровье. Как и всегда приветливо улыбнулась, протянув тонкую, аристократического склада руку. Говорила она тихо, живо интересовалась происходящими в республике событиями. Мы сели за журнальный сто-

лик. И тут я увидел рукопись её статьи, испещренную знакомым почерком. Казалось, по листкам бумаги только-только пробежала шариковая ручка в руках поэтессы. Поставлена последняя точка. Но натруженная мысль продолжала работать.

–Я хочу оставить это для потомков, - проведя рукой по рукописи, сказала Халимат Башчиевна. – А записывать меня придется долго. Боюсь, сразу не хватит сил. Заранее прошу простить меня.

Тридцатиминутное, к сожалению, последнее выступление Халимат Байрамуковой на радио было записано, что называется, на одном дыхании. Без одной остановки репортера. Будучи очень тактичным, вежливым и внимательным человеком, Халимат Башчиевна, невзирая на ослабевшее здоровье, не могла позволить себе даже короткой передышки, чтобы не затруднять процесс записи выступления на пленку.

Я уходил из гостеприимного дома Байрамуковых без ощущения, что вижу её, знаменитую хозяйку, в последний раз. И теперь знаю почему: поэты такого огромного, не побоюсь сказать, планетарного масштаба не уходят. Даже тогда, когда теряют физическую связь с живыми. Не уходят. Они навсегда остаются звездами, солнцем, лазоревыми рассветами и яркими закатами, обновляющей и освежающей природу радугой, теплым летним дождем. Остаются, чтобы мы, живущие, не были равнодушны друг к другу, не жгли свои сердца и души в огне братоубийственных воин, зла и ненависти. Остаются, чтобы в этом, пока еще не спокойном мире, было как можно больше света, добра и тепла.

…Я буду луч живой
Нести грядущим поколеньям.
Я стану деревцем, травой
И ветра легким дуновеньем.

Я музыкою зазвучу,
Торжественной, высокой нотой,
Весенней птахой прилечу,
Мечтой крылатой и заботой.

Потомки дерзкие пройдут
То, что сама я не успела,
Те песни до конца споют,
Которые я не допела.

М. НАКОХОВ, журналист.
г. Черкесск.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХАЛИМАТ БАЙРАМУКОВОЙ

На карачаевском языке

Два сердца. Пьеса. – Микоян-Шахар: Карачаевское книжное издательство,1939.
Любимые горы. Стихи и песни. –
Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство,1959.
Семья Карчи. Повесть. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1962.
Залихат. Поэма. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1963.
Годы и горы. Роман. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1964.
Рассказ женщины. Рассказы. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1965.
Пой, сказали горы. Стихи. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1969.
Чолпан. Роман. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1970.
Рассказы, повести, путевые заметки. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1974.
Добро. Стихи и поэмы. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1977.
Мёлек. Роман. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1981.
Кузница. Рассказы, пьесы, статьи. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1987.
Узоры жизни (в соавторстве с Ю. Пензиковым). – Черкесск:
Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1988.
Четырнадцать лет. Роман. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1988.
Моя жизнь. Автобиографическая книга. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1996.

На русском языке

Люблю я жизнь. Стихи. – Черкесск, Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1957.
Стихи. – Черкесск, Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1963.
Исповедь. Стихи. – М., Советский писатель, 1965.
Весенний полдень. Стихи. – Черкесск, Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1966.
Дым очага. Стихи. – Черкесск, Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1968.
Рассказ женщины. Рассказы. – Ставрополь, Ставропольское книжное издательство, 1969.
Песня моя. Лирический репортаж. – Ставрополь, Ставропольское книжное издательство, 1971.
Снова в путь. Стихи. – М., Советская Россия, 1972.
Вдова пророка. Повесть. – Байкал, № 5 1972.
И плакал сын. Повесть. – Наш современник, №7, 1972.
Суд аула. Стихи и поэмы. – Ставрополь, Ставропольское книжное издательство, 1973.

Утренняя звезда. Роман. – М., Современник, 1974.
День за днем. Стихи. – М., Советская Россия, 1975.
Вечные всадники. Повесть. – М., Детская литература, 1977.
Мать отцов. Лирический репортаж. – М., Советская Россия, 1977.
Восьмой день недели. Стихи. – М., Детская литература, 1982.
Одержимость. Стихи. – М., Современник, 1983.
Айран. Проза. – М., Советская Россия, 1984.
Стихотворения. – Карачаево-Черкесское книжное издательство, Черкесск, 1985.

О жизни и творчестве:

Гамзатов Р. Горянка из нашего аула. – Литературная газета, 17 мая 1966.
Гамзатов Р. Горянка из нашего аула. – Ставропольская правда, 19 мая 1966.
Балтин П. Поэзия карачаевского народа. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1958.
Черный К. Поэзия светлых чувств и мыслей. – Ставрополье, № 18,1958.
Николаев Р. Сестра наша Халимат. – Литературная Россия, 8 марта 1963.
Черный К. Зрелость. – Ленинское знамя, Черкесск, 31 мая 1966.
Федорова Н. От имени ровесников. – Дружба народов, № 4, 1964.
Капиева Н. Слово о друге поэте. – Литературная газета, 20 октября 1965.
Соболев Л. Ещё одно звено. – Литературная Россия, 8 июня 1966.
Дымшиц А. Исповедь благородного сердца. – Москва, № 8, 1966.
Караева А. Очерк истории карачаевской литературы. – Москва, 1966.
Кагиева Н. Халимат Байрамукова. Очерк творчества. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1966.
Подсвиров И. История двух фотографий. – Ленинское знамя, 27 октября 1967.
Панков В. Традиции, героизм, интернационализм. – Литературная Россия, 29 сентября 1967.
Леонова О. Без восклицательных знаков. – Литературная Россия, 2 августа 1968.
Бекизова Л. Поэзия мысли и сердца. – «Дым очага», Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1968.
Егорова Л. Дороги дружбы. –Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1969.
Гончар Олесь. Золотые мосты дружбы. – Литературная Россия. 1 января 1971.
Гамзатов Р. Горянка из нашего аула. – Верность таланту. – М., Советская Россия, 1970.
Скрёбов Н. Путь поэта и слово критика. – Дон, № 11, 1970,
Михалков С. Созвездие талантов. – Литературная Россия, 26 марта 1971.
Васильева Л. Песня о песне. – Литературная Россия, 29 сентября 1972.
Макаров А. Стихи горянки. – В глубине России. – М., Современник, 1973.
Стихи. Халимат Байрамукова. – Критик и писатель. М.,1974.
Климович Л. Наследство и современность. – М., Советский писатель, 1975.

Батурина Т. Утренняя звезда (о романе «Чолпан»). – Дон, № 2, 1976.
Ботвинник С. День за днем. – Звезда, № 7, 1976.
Рябчиков Н. Вечные всадники. – Детская литература, № 3, 1978,
Ортабаева Р. Чтобы строчка и грела, и жгла. – Ставрополье, № 5,1987,
Мустай К. Восьмой день недели. Предисловие к книге. – М., Детская литература, 1982.
Известные люди Карачаево-Черкесии. Краткий биографический словарь. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство 1997.
Егорова Л. Халимат Байрамукова. – Литература народов Северного Кавказа. Очерки. – Ставрополь, 2004.
Вербицкая Е. Не шла по жизни стороной. – Дон, №11,1974.
Логинов А. Песня моя. – альманах Ставрополье, 1974.
Урусбиева Ф. Вечные всадники. – Ленинское знамя, Черкесск, 11 января 1978.
Батурина Т. Мать отцов. – Дон, №1, 1976.
Крякова И. Там, где театра не было. – Огонек, № 33,1978.
Лехтина Л. Горский напев. – Литературная Россия, 5 декабря 1980.
Аннинский Л. Неюбилейное. – Литературная газета, 17 марта 1982.
Телешко С. С днем рождения (об опере). – Ленинское знамя, Черкесск, 20 мая 1982.
Егорова Л. Время в стихах. – Ставропольская правда, 21 июня 1985.
Батчаев М. Терен къараргъа. – Ленинни байрагъы, Черкесск, 4 октября 1966.
Батчаев М. биринчи опера. – Ленинни байрагъы, Черкесск, 3 июня 1982.
Хубиев М. Китабла сёлешедиле. – Ленинни байрагъы, Черкесск, 7 января 1982.
Телешко С. Гордый взлет. – Ленинское знамя, Черкесск, 7 октября 1982.
Джаубаев Х. Болгарияны сыйлы саугъасы. – Ленинни байрагъы, Черкесск, 9 декабря 1982.
Телешко С. В одной семье, содружестве великом. – Ленинское знамя. Черкесск, 29 июня 1983.
Денисова И. Жду новых дней, ещё покрытых тайной. – Литературная Россия, 22 августа 1986.
Караева А. Позиция автора и стиль повествования (о романе «Мёлек») – Традиции и современность, Черкесск, 1986.
Мокаев М. Къарачайны фахмулу къызы. – Коммунизмге жол, Нальчик, 19 августа 1987.
Прытков В. Язык мой древний и певучий. – Ленинское знамя, Черкесск, 20 мая 1988.

Литературно-художественное издание

Халимат Башчиевна Байрамукова
Я спустилась к тебе за огнем

Составители:
Ф.И. Байрамукова, Л.А. Батчаева

Редактор Ф.И. Байрамукова

Корректор- О. Киселева
Технический редактор- М.Кривалев

СОДЕРЖАНИЕ

Судьба поэта. Пер. Н. Матвеева 11
Горы. Пер. Н. Матвеева 11
Читатель мой. Пер. Р. Казакова 12
«Чтоб каждый мог...» Пер. Н. Матвеева 12
О счастье. Пер. И. Фоняков 13
Родина. Пер. А. Яльмаров 13
Родной язык. Пер. И. Фоняков 14
«Что со мной…» Пер. Н. Матвеева 14
Родные хребты Карачая… Пер. Г. Каменная 15
«Начинается Родина с точки отсчета…» Пер. Е. Андреева 15
Сердце. Пер. Н. Матвеева 16
Все взывает к людям. Пер. В. Кудимов 17
В Хурзуке все было по-иному. Пер. Вс. Рождественский 18
«Меня ничто не сторонилось…» Пер. Г. Корин 19
Мой дом. Пер. В. Кудимов 20
Моя дверь. Пер. Л. Барбас 21
Нести я буду свет живой... Пер. Н. Матвеева 22
«Не прошу в отчаянье: «Постой…» А. Яльмаров 22
Садами верну. Пер. Н. Матвеева 23
«Ты будешь жить и после смерти…» Пер. Вс. Рождественский. 23
Люблю весну. Пер. Н. Матвеева 24
Мой жребий. Пер. Н. Матвеева 24
Песня. Пер. Н. Матвеева. 25
Спросите, что ценю я. Пер. Е. Андреева. 25
Неписаный закон. Пер. Н. Матвеева 26
Открытым сердцем познаем. Пер. И. Фоняков 27
«Всю жизнь пишу о сердце…» Пер. И. Фоняков 28
Теберда. Пер. А. Яльмаров 28
Здесь, у подножья, замерла... Пер. П. Кобзаровский 29
Ответить не могу. Пер. Е. Андреева 29
Говорят, что я живу не так... Пер. И. Фоняков 30
Тишина. Пер. И. Фоняков 31
У Эльбруса. Пер. Г. Корин 32
Некрасивых женщин не бывает. Пер. М. Пляцковский. 32
Восьмой день недели. Пер. И. Фоняков. 33
Жду новых дней. Пер. Р. Казакова 33
Мне говорят. Пер. И. Фоняков 34
Мамины руки. Пер. Д. Злобин. 34
Любви не хватает... Пер. Г. Каменная 35
Я молча жизнь отдам. Пер. Н. Матвеева 36
«Болеро» Равеля. Земфире. Пер. И. Фоняков 36
И тянет, и манит... Пер. Н. Матвеева 37
Я в жизни жизнь люблю. Пер. Д. Злобин 37
Страх. Пер. Л. Барбас. 38

Сильнее становлюсь. Пер. Вс. Рождественский 39
«В гремящую, спешащую эпоху…» Пер. Н. Скребов 39
Время. Пер. В. Кудимов 40
Разлука. Пер. В. Стрелков 41
Иному критику. Пер. И. Фоняков 42
Мое поколение. Ш. А. Урусовой. Пер. Г. Каменная 42
«Что значу я!..» Пер. Е. Андреева 43
Благодарность. Пер. И. Фоняков 44
Не отрекаюсь. Пер. И. Фоняков 45
«Я похвалы не раздаю легко…» Пер. Е. Андреева 46
Ожидание. Пер. Н. Матвеева 46
«Размеренной жизни, как смерти, боюсь...» Пер. Е. Андреева 47
Нестареющая женщина. Пер. Л. Барбас. 48
Увези ты меня при луне. Пер. М. Пляцковский 48
Август. Пер. Н. Матвеева. 49
«Пчела лежала на полу…» Пер. Н. Матвеева 50
«Не зову, не молю…» Пер. Н. Матвеева 51
Мой день встает. Пер. В. Кудимов 52
«Одна ли я, в кругу ль друзей, подруг…» Пер. Р. Казакова 52
«Прошел и этот день…» Пер. Н.Матвеева 52
О слабости. Пер. Л. Барбас 53
Весна. Пер. И. Сосновский 53
Жизнь – это ожиданье. Пер. Н. Матвеева 54
«Нередко горец нежным быть скупится…» Пер. Н.Матвеева 54
Расплескался чай. Пер. Н. Матвеева 55
Сынишке снится. Пер. Р. Казакова 55
Эльдару. Пер. И. Фоняков 56
В общежитии литинститута. Пер. Г. Корин. 57
«Он вверх, других расталкивая, рвется…» Пер. Е. Андреева. 57
«Я тебя одного в тот буран отпустила…» Пер. Г. Орловский 58
«Не зовите женщину бабой…» Пер. И. Фоняков 58
В цирке. Пер. А. Николаев 59
Хлеб. Пер. И. Фоняков 60
«Минуты уходят, уходят…» Пер. Н. Матвеева 61
Моя броня. Пер. Л. Барбас 62
Мои портреты. Пер. И. Фоняков 62
«Мы счастье ценим…» Пер. Г. Корин 63
О, жалкая беспомощность моя... Пер. Н. Матвеева. 64
«Горянку стройную поэт сравнил с сосной…» Пер. Д. Злобина 64
Луна. Пер. Н. Матвеева 65
«Лишь семь часов сегодня скрасят тьму…» Пер. Вс. Рождественский . . 65
«Быть может, век мой и не так уж краток…» Пер. Н.Матвеева 65
Синяки. Пер. Е. Андреева 66
Снежное утро. Пер. Н. Матвеева 67
А я бываю осенью такая... Пер. И. Фоняков 68
Сосна. Пер. П. Кобзаревский 68
Горский тост. Пер. Е. Андреева 69

Мороз. Пер. Г. Каменная 69
«Пусть на заре…» Пер. И. Свирин 69
«Черновики…» Пер. Н. Матвеева 70
«Всегда я в пути…» Пер. И. Озерова 71
Своя песня. Пер. Н. Матвеева 71
Какие высокие горы! Пер. Н. Матвеева 71
«Я вижу: ты теряешься со мной…» Пер. А. Яльмаров 72
«Когда б любовь имела облик зримый…» Пер. Н. Матвеева 72
«Чем к тебе другие холоднее…» Пер. Н.Матвеева 72
«Детишки под окном...» Пер. Г. Корин 72
Моя тревога. Пер. И. Елисеев 73
Да. Ошибалась я. Пер. Казакова 73
В Кисловодске. Пер. Г. Каменная 74
Думы в мастерской скульптора. Пер. И. Фоняков 75
«Мой карандаш... Простой, обыкновенный…» Пер. И. Озерова 75
«Куда бы ни ушла я…» Пер. Н.Матвеева 75
Шагреневая кожа. Пер. И. Фоняков 76
«Я чья-то возможность в любви объясниться…» Пер. И. Озерова . . . 77
Завтра. Пер. И. Фоняков 77
«Давно подмечено…» Пер. Е. Андреева 77
Мать и сын. Пер. Н. Матвеева 78
Сыну Эдику. Пер. Н. Матвеева 78
«Нет, никогда не уходят годы в Лету…» Пер. Н. Матвеева 78
Индире Ганди. Пер. И. Фоняков 79
Хороший осетин. Пер. Л. Барбас 80
«Всю жизнь веду я бой незримый…» Пер. Н. Скребов 80
Красная площадь. Пер. И. Кашпуров 81
Осень. Пер. И. Фоняков 81
«Уходят дни в далекие края...» Пер. А. Яльмаров 81
Утро (венок сонетов). Пер. Г. Каменная 82
Мой аул. (венок сонетов). Пер. Г. Каменная 90
Из «Французской тетради» 98
Из «Азербайджанской тетради» 101
Из «Болгарской тетради» 103
В Хурзуке 105
Моя страна. Пер. Г. Каменная 109
«Война всю жизнь мою перевернула. Пер. Вс. Рождественский 109
До сих пор. Пер. И. Фоняков 110
Земле досталось больше всех. Пер. А. Николаев 110
Девушки сороковых годов. Пер. Н. Матвеева 111
Залихат (Вступление к поэме). Пер. Г. Орловский 112
Одержимость. Пер. И. Фоняков 114
«Подобно ветке раненой березы…» Пер. Н. Матвеева 115
Горсть земли. Пер. Е. Андреева 116
В тот страшный день. Пер. Н. Матвеева 118
Бедой чужой пришла ко мне война. Пер. Л. Барбас 119
Когда слова становятся бессильны! Пер. Л. Барбас 119

В больнице. Пер. Л. Барбас 120
«Его хлестнуло по глазам…» Пер. Г. Каменная 120
Восстановительный период. Пер. А. Николаев 121
Время для меня разделено надвое. Памяти Х.А. Токова. Пер. Л. Барбас. . . 122
Из «Волгоградской тетради» 124
Женские песни. Пер. Н. Матвеева 128
«Так хочу я писать... » Пер. Г. Каменная 128
«Чтоб раз отрезать, говорят…» Пер. Е. Андреева 129
Помоги мне, мама. Пер. И. Елисеев 129
«Думаешь, я ослепла, любя…» Пер. Н. Матвеева 129
Мой новый день. Пер. И. Фоняков 130
«Какой сегодня день!» Пер. Н. Матвеева 131
«Одна ли я ...» Пер. Р. Казакова 132
«Я полагала, что любовь мудрей…» Пер. Н. Матвеева 132
«Любовь ушла», - глаза твои сказали…» Пер. А. Яльмаров 132
«Смогу ли я без ветерка с Эльбруса!..» Пер. М. Ибрагимова 132
«У красивых украв красоту…» Пер. Н. Матвеева. 133
«Раньше не могли наговориться…» Пер. О. Фокина. 133
Всем заново любуюсь... Пер. И. Фоняков 134
«Уходишь ты, но я не верю. Нет…» Пер. А. Яльмаров 134
«Впереди идущего порой…» Пер. Е. Андреева 135
О боли. Пер. И. Фоняков 135
«Боль с безбольем…» Пер. Н.Матвеева. 136
«Картошку разрезаю на кружки…» Пер. А. Яльмаров 136
«Мы сетуем нередко на мужчин…» Пер. Е. Андреева 136
«Солдат вернулся из армии домой…» Пер. Е. Андреева 137
«Пишу я сердцем, сердце ноет…» Пер. Е. Андреева 137
«Когда устану от работы и заботы…» Пер. Д. Злобина 137

«Избороздив весь шар земной…» Пер. Е. Андреева 138
«И деньги мне нужны, конечно...» Пер. Е. Андреева. 138
«Люблю народ мой…» Пер. Н. Матвеева 139
«Всю жизнь я что-то раздаю...» Пер. Е. Андреева 139
«Редактор статью возвращает опять…» Пер. Н. Матвеева 140
«По-прежнему живу неэкономно…» Пер. И. Фоняков 140
«Вот тебя превзошел ученик…» Пер. М. Пляцковский 140
«Тот день мной вычеркнут из дней идущих…» Пер. А. Журавлев 141
Последняя любовь. Пер. И. Фоняков 142
«Сыны мои, я жду вас каждый час…» Пер. Вс. Рождественский 142
«О, день сегодняшний весь мой, совсем!..» Пер. Вс. Рождественский. 143
«Я так собою недовольна!..» Пер. Н. Матвеева 143
Моё одиночество. Пер. Л. Барбас. 143
«Возврата в чей-то дом беды и тьмы…» Пер. Н. Матвеева 144
«Люблю! Пусть не я придумала…» Г. Каменная 144
Мой август. Пер. И. Кашпуров 145
«Лейся, песня, лейся!..» Пер. Н. Матвеева 145
Взойти единым днем... Пер. Н. Матвеева. 146

РАССКАЗЫ. Перевод с карачаевского автора.

Айран 148
Наша бабушка 154
Черное платье 161
Рассказ женщины. 168
Гырджын 175

ВЕЧНЫЕ ВСАДНИКИ. Повесть.
Перевод с карачаевского автора. 186

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ. Роман.
Авторизованный перевод Михаила Крапивина. 321

ФОТОАЛЬБОМ 527

ОТЗЫВЫ О ТВОРЧЕСТВЕ Х. БАЙРАМУКОВОЙ. 544
«Не шла по жизни стороной...» 568
Счастье быть звездою своего народа 570
О Халимат 571
«Свой мир я заново открою» 572
«…Я буду луч живой нести грядущим поколеньям…» 581
Основные издания произведений Халимат Байрамуковой 588